

Марк Алданов Очерки

Марк
АЛДАНОВ
ОЧЕРКИ



ВПЕРВЫЕ ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ

Насосъ

Насосъ

ОЧЕРКИ

Москва, 1995

Впервые в России
МАРК АЛДАНОВ
Сочинения в 6 книгах

Книга 1. Портреты

„Жозефина Богарне и ее гадалка“
„Сталин“
„Пилсудский“
„Уинстон Черчилль“ и другие очерки

Книга 2. Очерки

„Ванна Марата“
„Печоринский роман Толстого“
„Французская карьера Дантеса“
„Мата Хари“ и другие очерки

Книга 3. Прямое действие. Рассказы

„Фельдмаршал“
„Грета и Танк“
„На „Розе Люксембург“
„Рубин“ и другие рассказы

Книга 4. Начало конца

„Начало конца“. Роман
„Десятая симфония“, „Могила воина“
Исторические повести

Книга 5. Живи как хочешь

„Живи как хочешь“. Роман
„Линия Брунгильды“. Пьеса

Книга 6. Ульмская ночь

„Ульмская ночь“
Сборник философских диалогов
Статьи о литературе

**Марк
Алданов**
ОЧЕРКИ

Новості

Москва, 1995

ББК 84Р
А49

*Под общей редакцией
доктора филологических наук, профессора
Андрея ЧЕРНЫШЕВА*

Орфография, пунктуация, написание географических названий и собственных имен в книге приведены в соответствие с современными нормами русского языка.

*Шеститомное издание произведений Марка Алданова,
впервые выходящих в России, выпущено при участии фирмы
„Авеста“.*

По вопросам оптовой закупки книг обращаться по телефонам
265-50-53 и 265-56-62.

- © А. А. Чернышев, составление, подготовка текста, 1995
- © Б. Н. Федюшкин, рисунки, 1995
- © В. В. Анохин, оформление, 1995



Юность Павла Строганова

I.

На внутренней стене сольвычегодского Благовещенского собора сделана вязью надпись, относящаяся к 1584 году:

„А ставил сей храм своею казною Иоанникий Федоров сын Строганов и его дети Яков, Григорий и Симеон, и его внучата Максим Яковлев сын, да Никита Григорьев сын, да Андрей и Петр Симеоновы дети Строганова, и по себе на память, и на поминоку ныне и впредь“ („Памятники древней письменности и искусства“, 1886 год).

Дошла до нас опись всех пожертвований и вкладов, сделанных на Соли Вычегодской до 1579 года разными членами семьи Строгановых. Ее напечатал П. Савваитов, и она занимает в журнале более 90 страниц! Дары были разные: „Четыре цаты серебряные, чеканные, позолоченные, с пятьюдесятью драгоценными камнями, и жемчуг, коего счетом двести шестьдесят три зерна — положение Максима Яковлева сына Строганова...“ „Четыре камня лал, да три яхонты лазоревы, да шесть зернят жемчужных окатных больших гурмынских, да две пряди жемчужных, в них триста восемьдесят три зернети — положение Никиты Григорьева, сына Строганова“. Не менее богаты были другие вклады: блюда, братыни, водосвятные чаши, стопы, ковчеги, ковшечки, украшенные яхонтами, лалами, винисами. Некоторые обозначения в списке не совсем понятны. Если „руковедь“, конечно, означает рукоятку, а „иссерешки“ — серьги, то, например, относительно значения „совруль“ („две соврнули жемчугом сажены“) никакая догадка не приходит в голову; быть может, это областное слово?

Сохранилось от древних строгановских драгоценностей немного: у большевиков были предшественники. Сольвычегодский летописец рассказывает о

„Литовском приходе“ 1613 года: „В 7121 году, января 22 дня (в пятюк), в том городе Соли Вычегодской были Польские паны, Яков Яцкой с товарищи, и Русские воры-казаки...“ „Жили в городе три дни, — говорит вежливо летописец, — и уехали мимо город Устюг на реку Юг“. После этого трехдневного визита в Соли Вычегодской не осталось буквально ничего ценного. Чего не увез с собой пан Яков Яцкой, то было „сожжено без остатку“.

Несметное, создававшееся веками богатство семьи Строгановых представляет собой, быть может, беспримерное явление в истории. По своему размеру оно, конечно, уступает состояниям современных миллиардеров Запада. Но едва ли где бывало так, что одна семья сохраняла по богатству первое (или одно из первых) место в стране в течение пяти столетий. Еще в XV веке Строгановы внесли татарам за великого князя Василия Темного выкуп в размере 200 000 рублей — сумма по тем временам неслыханная. Вероятно, гораздо больше они истратили, снарядив „свою казною“ поход Ермака, доставивший русскому государству Сибирь. В Смутное время Строгановы дали займы казне 840 тысяч рублей, из которых половины назад не получили и не требовали. Великая Северная война велась Петром в значительной мере на их средства. О графе Александре Сергеевиче императрица Екатерина II шутя говорила, что у него в жизни трагедия: очень хотел бы прожить свой доход, да никак не может. Богатство Строгановых сохранилось до самой революции, но в XIX веке Юсуповы, Шереметевы, Браницкие, а также московские и киевские промышленные короли уже могли оспаривать у них первое место.

Происхождение этой семьи, сыгравшей большую и почетную роль в русской истории, в точности неизвестно. Прежде предполагалось, что Строгановы происходят от татарского мурзы, который принял крещение, а затем попался в плен своим единоплеменникам — они с него за измену вере будто бы сострогали кожу. Эту легенду опровергал еще Карамзин. Достоверно лишь то, что первые Строгановы были торговцы: „купецкаго чина люди“. Положение их в

допетровской России было своеобразное. Ни один из русских царей им не „сказал боярства“, однако породнились они не только с боярами, но и с князьями древних родов. Один из Строгановых был женат на княжне Волконской. Это трудно понять при очень строгом служебно-родовом местничестве той эпохи, когда потомки великих князей считались много выше потомков удельных князей, а потомки удельных не жсдали считать себе равными рядовых бояр.

Петр Великий в 1722 году пожаловал Строгановым баронский титул, а сорока годами позднее они получили графское достоинство Римской империи.

Свои художественные богатства Строгановы собирали с незапамятных времен. Еще в XVI веке они заказывали лучшим мастерам иконы, и эта традиция переходила из поколения к поколению. Н.П.Лихачев в своей „Новой Строгановской именной иконе“ и некоторые другие исследователи говорят даже о строгановской школе в иконописи. Знаменитый дворец Строгановых на Невском проспекте у Полицейского моста был построен бароном Сергеем Григорьевичем, вероятно, в пятидесятых годах XVIII века. Это один из сравнительно немногих дворцов, в самом деле созданных Растрелли: можно сказать с большой уверенностью, что очень многих провинциальных „домов Растреллиевой постройки“ граф Растрелли никогда в глаза не видал.

Почти все Строгановы были коллекционеры и знали толк в искусстве. Их художественное собрание составлялось в течение нескольких столетий, вплоть до наших дней. Граф Григорий Строганов, умерший в 1910 году, владел в Риме на Via Sistina дворцом, художественные богатства которого не поддаются учету и оценке. А.Полак и А.Кунез посвятили ему монографию, которая в продажу не поступала. Но и эта монография недостаточно полна. Достаточно сказать, что коллекция гравюр Рембрандта не вошла в описание собрания, так как владелец считал ее недостаточно характерной для своего дворца. Мне приходилось слышать, что часть этих сокровищ после смерти гр. Григория Строганова была перевезена в Россию. Может быть, и она была в свое время продана берлин-

ским антикваром Лепке, который выпустил „роскошным изданием“ каталог проданного его фирмой краденного добра из петербургского дворца Строгановых.

Колыбелью строгановского рода был восток, они открыли России дорогу в Сибирь. Однако почти весь род был направления „западного“. Особенно ярко представлял западный либеральный дух граф Александр Сергеевич и еще больше его сын Павел, ближайший сотрудник императора Александра I по Комитету общественного спасения.

Александр Сергеевич Строганов получил образование в Женеве, где изучал физику, химию и металлургию, — не могу понять, зачем ему была нужна металлургия. Науки он вперед не подвинул, но в искусстве был тонким ценителем. Его собрание картин, его библиотека и коллекция в шестьдесят тысяч монет славились по всей Европе. В новом дворце у Полицейского моста собирались известнейшие люди России. Бортнянский у Строганова исполнял свои потрясающие концерты, Лампи написал его портрет, Державин, Левицкий и Боровиковский часто у него бывали. А.С.Строганов вывел в люди Кипренского, — едва ли не он и дал эту фамилию безымянному русскому Ван Дейку. Александр Сергеевич был чрезвычайно добр: он всячески укрывал раскольников от преследований, жертвовал огромные деньги на благотворительные учреждения, щедро помогал всем нуждающимся. В мемуарах того времени говорится, что обедать у графа мог любой человек с улицы, — хозяин ставил лишь одно условие, чтобы незнакомые с ним люди не входили в его собственные комнаты. А.С.Строганов занимал в течение двадцати семи лет должность петербургского предводителя дворянства и был долгое время президентом Академии художеств. В последние годы жизни главным его делом была постройка Казанского собора. На его освящении Строганов простудился, слег и через несколько дней умер. Перед смертью он велел вывезти себя в креслах в свою картинную галерею — и в последний раз полюбовался своими сокровищами.

А.С.Строганов был несчастлив в семейной жизни. Женился он молодым человеком на Анне Михайловне

Воронцовой, дочери государственного канцлера. Через четыре года Строгановы разошлись. Некоторые из современников объясняли это тем, что в пору петербургского переворота 1762 года Александр Сергеевич сразу принял сторону императрицы Екатерины, тогда как вся семья Воронцовых стояла за Петра III. Едва ли это объяснение можно считать серьезным. Из-за „партийного разногласия“ иногда расстраивались браки у русских молодых людей конца XIX века. Тогда политические страсти такого выражения не находили. Были, вероятно, другие причины. По крайней мере, Анна Михайловна, славившаяся своей добротой и кротостью, в письмах потом себя именovala: „Воронцова, бывшая, по несчастью, Строганова“.

Во второй раз Александр Сергеевич женился на княжне Екатерине Трубецкой и тотчас после свадьбы надолго уехал с женой за границу. Строгановы направились в Ферней — представляться Вольтеру. Восемидесятилетний старец принял их чрезвычайно мило, — любезности красивым женщинам он, вероятно, расточал по привычке совершенно автоматически. Графиню Строганову, посетившую его в солнечный день, Вольтер не задумываясь приветствовал восклицанием: „Сударыня, какой счастливый для меня день! Я видел солнце и вас!“ — графиня до последних лет жизни вспоминала об этом приветствии знаменитого писателя.

В Париже у Строгановых родился в 1772 году сын Павел (родители и друзья называли его „Попо“). Радость была необыкновенная. Портрет ребенка был заказан самому Грезу. Александр Сергеевич нашел в Париже и гувернера, — гувернера весьма своеобразного. Это был Жильбер Ромм, впоследствии принявший близкое участие в Революции и очень трагически кончивший жизнь. По образованию Ромм был математик, по убеждениям горячий сторонник Руссо. Человек он был очень ученый, не очень даровитый, скорее добрый, чем злой (в молодости и просто добрый). Я никак не берусь судить об уме Ромма, но, не скрою, многое в его сложной биографии объясняется довольно просто, если предположить, что он был глуп.

Вскоре по возвращении в Россию граф А.С.Строганов разошелся и со второй своей женой. Это дело

очень шумело в свое время по всей Европе. О нем есть подробные рассказы в трудах вел. кн. Николая Михайловича, Валишевского, Бартенева, в мемуарах той эпохи. Рассказывать — в десятый раз — не стоит.

II.

Замечательный род. В нем эстеты чередуются с деловыми и государственными людьми. Самым выдающимся из Строгановых был граф Павел Александрович. Как известно, великий князь Николай Михайлович написал о нем трехтомный труд. И все же личность главного деятеля петербургского Комитета общественного спасения остается неясной. Что-то недосказанное есть как будто и в труде великого князя. Он использовал огромный материал из строгановского архива, но сам же сообщает в предисловии, что произвел чрезвычайно трудный выбор в материалах, во сто крат более обильных. Будет ли когда-либо опубликован строгановский архив целиком? Его потеря была бы истинным бедствием для русской науки. Достаточно напомнить, какую услугу истории оказал „Архив князей Воронцовых“, как ни бестолково он издан.

В одном из своих писем к царю (от 1802 года, без числа) П.А.Строганов говорит: „Le saque sent toujours le hareng, comme on dit, et l'éducation sauvage que j'ai reçue, Sire, fait souvent apercevoir encore les traces de son influence“*.

Под „диким воспитанием“ Строганов мог разумеать приемы Жильбера Ромма вообще; мог разумеать и один лишь эпизод из своей ранней юности: поездку в революционный Париж. Этого эпизода я и коснусь в настоящей статье. К сожалению, мои поиски в архивах парижской полиции не дали для его освещения почти ничего. О Строганове там нет сведений, ни в отделе регистрации подорожных, ни в отделе перлюстрированных писем. Материалы о Ромме, разумеет-

* „Как говорится, горбатого могила исправит, а то ужасное воспитание, которое я получил, Государь, еще часто дает о себе знать“ (Фр.). — Здесь и далее переводы текстов на иностранные языки даны ред., если это не оговорено особо.

ся, в архиве F⁷ есть; попадались мне и неопубликованные документы, касающиеся этого странного человека. Но они относятся к более позднему времени: Ромм навсегда расстался со своим воспитанником в конце 1790 года.

Александр Сергеевич всецело предоставил французскому гувернеру воспитание своего сына. В доме Строгановых Ромм был никак не на роли мосье Трике. В своих письмах к нему Александр Сергеевич называет Попо „наш сын“. Добродушнейший глава семьи не только любил и уважал Ромма, но как будто даже несколько его побаивался. Во всяком случае, он чрезвычайно ценил педагогический труд будущего члена Конвента. И в самом деле Жильбер Ромм относился к своим обязанностям серьезно и добросовестно; он воспитывал мальчика в духе Руссо, руководясь принципами „Эмиля“. Некоторое осложнение заключалось в том, что вместо хижины савойского священника был растреллиевский дворец у Полицейского моста, а вместо садика с огородом — миллион триста тысяч десятин строгановской земли. Идеи Руссо в обстановке екатерининского Петербурга воплощались в жизнь довольно забавно.

Сохранились педагогические письма, которые Ромм писал маленькому Строганову. Жили они, собственно, рядом, но Ромм предпочитал письменное слово устному и по любому поводу посылал своему воспитаннику, в соседнюю комнату, длинные, цветистые, курьезнейшие послания. Попо, хороший мальчик, ленился, любил сласти. Ромм мрачно обличал его пороки: „Malheureux! Fils ingrat!* — писал он. — Вы впали в невежество, обжорство, леность, в самую возмутительную неблагодарность! Несчастный! Если это будет так продолжаться, вы станете самым презренным и отвратительным существом! Сердце холодное и черствое, что из вас будет? Предоставляю вам выбор между хорошим столом и презрением всех честных людей!“ — Будущий член Конвента был совершенно лишен чувства юмора. Со всем тем он и его воспитанник очень любили друг друга.

Когда Павлу Строганову пошел тринадцатый год,

* „Несчастный! Неблагодарный сын!“ (фр.)

отец отправил его с гувернером в далекое путешествие. К ним, кроме лакеев, егерей, гвардейского унтер-офицера, был приставлен еще крепостной художник Воронихин, впоследствии знаменитый архитектор, строитель Казанского собора, Горного института и многих великолепных дворцов. Они долго путешествовали по России; гувернер читал в дороге лекции своему воспитаннику, составлял гербарии и изучал русский быт. Ромм свободно говорил и писал по-русски; он перевел на французский язык православный катехизис. На юге Попо был представлен князю Потемкину и зачислен к нему в „адъютанты“.

В 1787 году Ромм, Строганов и Воронихин выехали за границу, прожили года полтора в Швейцарии, а затем поселились в Париже, где их и застала Французская революция.

III.

Жильбер Ромм мечтал о ней всю жизнь. Теперь он ушел в нее всей душою. Филипп II улыбнулся единственный раз в жизни, при известии о Варфоломеевской ночи. Мрачный Ромм впервые просиял, увидев на улицах Парижа вооруженную пиками толпу. Вместе со своим питомцем он присутствовал при взятии Бастилии, — верно, оба они немного и помогали делу. Затем ураган их завертел. „Мы не пропускаем ни одного заседания в Национальном собрании“, — писал Ромм. Он что-то подписывал, составлял петиции, изобличал интриги, пожертвовал на революционные цели восемьсот ливров. То же самое делал и его воспитанник. Шестнадцатилетний граф Строганов был настроен очень революционно. Впрочем, графа Строганова больше не было. Из предосторожности или по убеждению он решил переменить фамилию и стал гражданином Полем Очером — по исковерканному названию одного из владений отца.

Взгляды у него были радикальные, но смутные. Его наставник был настроен определеннее: бывший переводчик катехизиса теперь специализировался на атеизме и, подобно Анахарсису Клотцу, считал себя „личным врагом Иеговы“. Вместе с Очером и несколь-

кими друзьями они решили основать революционный клуб, — тогда все основывали революционные клубы. Было придумано название: „Клуб Друзей Закона“. Была приобретена библиотека. Было положено начало архиву. Было снято помещение, — как сейчас увидим, на редкость удачно. Библиотекарем назначили Поля Очера; а заведование архивом взяла на себя с энтузиазмом хозяйка снятой квартиры.

Этот революционно-атеистический клуб, основанный будущим товарищем министра внутренних дел Российской Империи на средства екатерининского вельможи, выстроившего Казанский собор, — был, можно сказать, и сам по себе достаточно замечательным явлением. Но все же главной его достопримечательностью следует признать личность заведующей архивом. Такого архивариуса, вероятно, не имело ни одно учреждение в мире. Хозяйкой квартиры, где помещались „Друзья Закона“, была — Теруань де Мерикур!

Я предполагаю памятной читателям фигуру этой знаменитой куртизанки, сыгравшей очень видную, хоть и несколько преувеличенную историками, роль в кровавых сценах Французской революции. Ее называли „красной амазонкой“, — ни одна гражданская война в истории не обошлась без таких амазонок. Чекисткой назвать ее нельзя. Однако значатся за ней и дела, которые сделали бы честь любой чекистке. Теруань де Мерикур едва ли не собственноручно отрубила голову Сюло. Ее карьера, кончившаяся в доме умалишенных, в ту пору, собственно, только начиналась. Не знаю, как велся архив в „Клубе Друзей Закона“*. Но не требуется особенной проницательности для того, чтобы понять, на какой платформе заведующая архивом объединилась с библиотекарем клуба: Сохранившиеся бумаги не оставляют в этом сомнения. Юный Поль Очер вступил в связь с красавицей. Бюджет Теруань де Мерикур стал пополняться доходами от „Большой и Малой Соли“.

Теруань де Мерикур имела множество друзей. Поль Очер перезнакомился со всеми знаменитостями.

*Задача клуба заключалась в том, чтобы способствовать усовершенствованию нравов. *Здесь и далее прим. автора, если это не оговорено особо.*

В красной фригийской шапочке он гулял с „архивариусом“ по парижским улицам, посещал митинги, комитетские собрания. В августе 1790 года на его долю выпала большая честь: адъютант князя Потемкина был принят в якобинский клуб, получил диплом за подписью самого Барнава и поклялся: „Vivre libre ou mourir!“* Как отнесся к присяге молодого барина замечательный художник, от рождения служивший у Строгановых крепостным, не берусь сказать: Воронихин воспоминаний не оставил.

Ромм, по-видимому, покровительствовал любовно-му увлечению Поля Очера. Впрочем, у самого Ромма, как рассказывает Дедевисс дю Дезер, был в ту пору роман, в ином, гораздо более буржуазном роде, но тоже довольно курьезный, вплоть до мелочей. (Так, Ромм получил от своей возлюбленной в подарок — зубочистку.)

Смутные слухи о том, что подделывает в Париже юный граф Строганов, стали доходить до Петербурга. Неожиданно кое-что попало в печать. В сентябре 1790 года умер лакей Ромма и Очера. Они устроили ему „революционные похороны“ и положили в гроб Декларацию прав человека и гражданина. Это погребение заинтересовало французских журналистов, особенно когда они узнали, что под именем Поля Очера скрывается „сын русского сатрапа, перешедший на сторону революции“. Сведения обо всем этом, вероятно достаточно приукрашенные, появились немедленно в парижских газетах. О Поле Очере, без большого восторга, узнал его отец. В Париж полетели грозные письма, за юношей был тотчас послан старший родственник Новосильцев с предписанием немедленно отставить Ромма от должности воспитателя. Миссия была нелегкая. Отецеская власть графа Строганова, равно как и предписание императрицы, не имели большой силы в Париже. Поль Очер не слишком желал вернуться в Россию, где его, очевидно, ждал неласковый прием. „Ромму стоило сказать одно слово, — замечает де Виссак, — и русский воспитанник его навсегда остался бы во Франции“. Вероятно, некоторое значение могло бы иметь и мнение Теруань де

* „Жить свободным либо умереть!“ (фр.)

Мерикур. Но с ней будущему председателю Государственного Совета не пришлось вести личных переговоров: Теруань в это время находилась не в Париже. Как бы то ни было, 1 декабря 1790 года Ромм в последний раз в жизни пообедал с Очером. Затем они навсегда расстались. Вероятно, прощание было трогательное. „Я убит горем“, — писал Ромм одному приятелю вскоре после того. Он вручил юноше свой письменный завет из трех слов: Человечество. Равенство. Справедливость.

В семье Строганова осталось теплое чувство к Ромму. Александр Сергеевич прислал ему в подарок чек на десять тысяч франков. Этот чек Ромм вернул. Граф Строганов подумал — и послал другой чек на тридцать тысяч. Этого чека Ромм не вернул.

Что до юного якобинца, то его и в самом деле встретили в России очень неласково. Снова переименованный и возвращенный в первобытное состояние, он был водворен на жительство в деревню. Его французская политическая карьера навсегда кончилась, русская началась лишь десятью годами позднее.

Она в общем известна. П.А.Строганов был одним из самых просвещенных и привлекательных людей александровского времени. Время блистательное, и выдающихся людей тогда было много везде, много и в России. Создавались они по-разному. Что общего в начальных главах биографии между членами Комитета общественного спасения и, например, Сперанским, хоть цели их, в сущности, были очень сходны. Но и среди деятелей Комитета П.А.Строганов занимает особое место. Он мог называть полученное им воспитание диким, мог вести с С.Р.Воронцовым беседы о „гидре революции“, — пребывание в Париже 1790 года не прошло для него бесследно: здесь и главный интерес этой маленькой главы *petite histoire**. Идеи, которые породили настоящий Комитет общественного спасения — парижский, просачивались в далекие углы мира самыми странными путями. И не только просачивались, но и фильтровались: отголоски Французской революции были значительно лучше, чем она сама.

*Малая история (*фр.*).

IV.

Ромму участие в революции обошлось много дороже, чем Очеру. Для революционной деятельности у него не было никаких данных: он был крошечного роста и хил телом, писал плохо, говорить не умел совсем, имел вдобавок твердые убеждения и нравственные принципы: С этим-то багажом он сунулся в революцию! Разумеется, пучина скоро его поглотила. В революциях всегда побеждают негодяи, — так, по крайней мере, сказал перед казнью достаточно компетентный человек: Дантон. Ромм негодяем, конечно, не был. Фанатизм его рос с каждым днем. Избранный членом Конвента, он подал голос за казнь короля, за перенесение в Пантеон тела Марата. Он же создал революционный календарь. Вполне возможно, что во всех этих выдуманных им вандемисрах (от *vendanges**), прериалях (от *prairie**) и т.д. сказались его исследования по русской истории: древние названия месяцев в России или в отдельных ее частях (просинец, студень) также исходили из состояния земли, атмосферы, погоды.

Ромму случалось вносить в Конвент и весьма ценные предложения: он был, повторяю, человек большой учености. Но в общем его предложения в эпоху террора носили мрачно-комический характер. Так, например, в день посещения Конвента „Богиней Разума“ (отставной содержанкой герцога де Субиз) Жильбер Ромм с волнением потребовал, чтобы председатель собрания обнял и поцеловал разум в лице богини. На заседании революционной секции своего квартала Ромм неожиданно предложил, чтобы секция нашла для него жену — „вдову какого-либо защитника отечества, умершего бездетным“. Жену секция ему немедленно подыскала, но поставленное им условие было, по-видимому, соблюдено лишь отчасти: некоторые обстоятельства указывают, что Ромм покрыл чей-то грех, — может быть, грех защитника отечества.

*Время сбора винограда (*фр.*).

*Луг (*фр.*)

Семейная жизнь Ромма продолжалась, однако, недолго: замешанный в беспорядки первого прериаля, „дело последних монтаньяров“, он вел себя на суде совершенным героем, а по вынесении смертного приговора закололся вместе с двумя соучастниками. Другие трое были казнены. Народ не слишком оплакивал своего служителя. Одна из газет того времени, „*Courrier français*“ (номер 1 мессидора III года), пишет: „Их смерть вызвала всеобщую радость“. Еще резче выражается другая революционная газета, „*Gazette française*“ (за то же число): „Смерть шести разбойников не произвела ни малейшего впечатления. Через минуту после нее народ осыпал их бранью, а к вечеру он вообще о них не думал“. Возможно, однако, что газеты победителей лгали: самоубийство трех осужденных и тогда не было явлением повседневным. Во всяком случае, в течение нескольких лет во Франции держался упорный слух о том, будто Жильбер Ромм спасся и укрывается в России у своего воспитанника, графа Строганова.

Ромм покончил с собой, по-видимому, в состоянии полного иступления: протокол отмечает многочисленные удары кинжалом в грудь, в шею и в лицо. Кинжал, которым закололся несчастный член Конвента, приобщен к его делу и находится в Архиве. Это небольшой нож с черной рукояткой, с длинным, тонким, зазубренным лезвием. В Архиве же (F⁷—4774—98) я нашел подлинник протокола военной комиссии, приговорившей Ромма к смертной казни. В заголовке этой канцелярской бумажки значатся его излюбленные слова: „Свобода. Равенство. Справедливость. Человечество“...

Бумаги Ромма через столетие приобрел великий князь Николай Михайлович. Он успел напечатать лишь небольшую часть этих бумаг. Где они находятся в настоящее время, я не знаю.

Большая Лубянка

У ада есть традиции
Сент-Эвремон

Передо мной официальное издание: недавно выпущенная Госиздатом книга под развязным и малограмотным заглавием „Вся Москва в кармане на 1924—25 гг.“. Это путеводитель по Москве. Есть в нем все, что полагается. Есть, например, описание художественных богатств Москвы — описание замечательное и по глубокомыслию, и по слогу. Так, например, о знаменитой картине Репина „Убийство Грозным сына“ там тонко сказано: „Ее мощь — в живописи и общем факте сыноубийства“ (стр. 96). Метко определен и Врубель: „Этот художник одинок и загадочен. Вечно ища, он натолкнулся на идею воплотить в красках демона — ангела, снедаемого ужасом невыразимого мрака и тоски“ (стр. 98). Недурен также Крамской: „Мастер вызывает впечатление не самой картиной, а вложенной в нее идеей. В его портретах мощный реализм разворачивается вовсю“ (стр. 96). Добавлю, что „Брюллов не только технически высок, но и значительно глубок по психологии“, что Щедрин „отлично изображает негу Италии“, а Савицкий сумел показать „тяжесть участи рабочего, подчеркнутую сытой фигурой подрядчика“ (стр. 94—95). Не менее ценен данный в книге исторический очерк с тем же характерным для большевиков сочетанием самодовольной развязности стиля с поразительной пошлостью мыслей. Он начат с давнего времени и доведен до наших дней. Описана постройка кремлевских стен, „над которыми в поте и крови 10 лет трудились русские каменщики“; в стенах этих „мы увидим характерные черты средневековых европейских замков и крепостей, доселе бытующих в городах северной Италии“ (стр. 20). Описана и гробница Ленина. „Отсюда воодушевленные памятью о дорогом вожде, звавшем вперед для создания нового мира, раскатываются по

фабрикам и заводам волны революционного пролетариата, чтобы под знаменем ленинизма, в „советские будни“ у станков, котлов и моторов, капля по капле творить великое дело мировой революции и тем выполнить славные заветы Ильича“ (стр. 36). — Зачем пишут пародии на этих людей? Ни один „доселе бытующий“ юморист лучше не сказал и не скажет.

Большую часть книги (150 страниц из 250) занимает перечень советских учреждений. Его я прочел „с неослабевающим интересом“.

„Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ) Б.Лубянка, 2 комм. ОГПУ. Предс. ОГПУ Дзержинский Ф.Э.“

Номер дома по Лубянке не указан. Из этого можно заключить, что вся она в последнее время занята органами чекистов. Так рассказывают и приезжающие к нам москвичи*.

Я не знаю, почему большевики, подыскивая подходящее место для своих застенков, остановились именно на Лубянке. Ничего, казалось бы, в этой шумной центральной улице, почти сплошь занятой в 1917 году страховыми обществами, не представляло выгод для такого назначения.

Не могу не подивиться тому, что в старину называли „перстом судьбы“.

Я очень недостаточно знаю запутанную, сложную и трудную историю города Москвы. Думаю, впрочем, что толком ее не знает никто, по крайней мере, с тех пор, как умер Забелин. А в книгах этого историка, при его свособразной манере исследования и изложения, разобратся нелегко.

Но, однако, достоверно известно, что несколько столетий тому назад там, где находится теперь Лубянка, была пустынная местность, именовавшаяся Кучковым полем. На поле этом с незапамятных времен производились в Москве казни.

— А не на Лобном месте? — скажут удивленно иные москвичи.

*Одна из центральных московских улиц — Большая Лубянка — волею большевиков превращена в сплошную тюрьму. Что ни дом, то тот или иной чекистский застенок“. (Сборник „Че-Ка“, стр. 152).

На том Лобном месте, которое известно москвичам, казни вообще никогда не производились: оно построено в 1786 году. Да и во времена Ивана Васильевича едва ли мог грозный царь говорить купцу Степану Калашникову: „А ты сам ступай, детинушка, на высокое место лобное, сложи свою буйну головушку“ и т.д. Потому едва ли мог говорить, что знаменитые казни Иоанна Грозного (как впоследствии петровские казни) происходили на „Пожаре“ (Красная площадь) — у рва между Спасскими и Никольскими воротами, „на довольном расстоянии от Лобного места“, стоявшего против Ильинской улицы. Но это были именно *знаменитые* казни. Казни же обыкновенные, не парадные, „бытовое явление“, совершались на Болоте и на Кучковом поле.

Один из наших беллетристов описал казнь Шарлотты Корде на Гревской площади — и очень хорошо описал, но в действительности Шарлотту Корде казнили на нынешней Пляс де ла Конкорд. Гревская площадь в самом деле была в течение столетий обычным местом казней. Однако в парадное революционное время эшафот и в Париже переехал на лучшую из городских площадей.

Кучково поле было Гревской площадью старой Москвы.

Позже по Большой Лубянке тянулось бище, — быть может, кладбище казненных. В начале семнадцатого века на углу этой улицы и Кузнецкого Моста (там, где до революции была третья гимназия) находилась усадьба князя Пожарского, из которой доныне существующий подземный ход ведет будто бы в Кремль.

Почему народный герой поселился в таком зловещем месте, сказать трудно. Мы знаем, впрочем, что последние годы жизни князя Пожарского протекли довольно мрачно. Им овладел „черный недуг“, „меланхолия кручина“. По-видимому, люди опротивели Пожарскому. Это бывает с руководителями гражданской войны. Особенной признательностью современников он вдобавок похвастаться не мог. Возведенный им на престол царь по местническим счетам выдал его голову Борису Салтыкову. Боярин Тушинского

вора, сподвижник Заруцкого, кн. Дм. Трубецкой был награжден молодым царем гораздо лучше.

Это тоже бывает, и даже довольно часто. Анатолий Франс где-то говорит, что люди, доказавшие свою беззаветную преданность в трудное для престола время, могут твердо рассчитывать на совершенную неблагодарность монарха: с наступлением благоприятных времен он предпочтет вознаградить преданных не так беззаветно. Ибо наград всегда меньше, чем кандидатов, а „беззаветные“ будут верно служить и без награды.

Впрочем, для „меланхолической кручины“ у князя Пожарского были причины не личного, а общего характера. После изгнания поляков и окончания смуты значительная часть победителей, по словам Палицына, „в прелесть велику горши прежняго впадоша: вдавшися в блуд, и питию, и зерни; и пропивше и проигравше вся своя имения, грабяху, насилующе многим в воинсте, пачеже православному крестьянству; и исходяще из царствующаго града во вся грады и села и деревни, и на пути грабяще и мучище не милостивно, сугубейше перваго десятирицею. И кто может изглаголати тоя тогда беды сотворшиися от них! Ни един бо от неверных сотвори толико зла, ежели они творяху православным христианом, различно мучаще. И бысть во всей России мятеж велик и нестроение злейшее перваго. Бояре же и воеводы не ведуще, что сотворити“.

Так было. Но так не будет.

В документах XVI—XVIII веков, которые мне приходилось читать, упоминание о Лубянке попадает не часто. В одной из записей говорится о живущих там „на данных местех“ дворовых людях верного государева слуги и полковника Егора Лукина сына Милюкова*. Еще упоминается живущий на Лубянке (в XVII веке) государев наплечный мастер *Серезжа Павлов*. Не нужно, впрочем, думать, что это был палач: „наплечными мастерами“ назывались портные. Характерно это пренебрежительное обозначение имени портного в официальном документе. Чудесный

*Из тверского рода Милюковых (если не ошибаюсь, татарского происхождения). К этому роду, дважды породнившемуся с семьей фельдмаршала Суворова, принадлежит П. Н. Милюков.

язык того времени, как известно, пользуется легкими изменениями слов для выражений самых различных оттенков чувств. Так, например, когда речь заходит о царе или, особенно, о патриархе, все имеющие к ним отношение предметы (иногда весьма низменные) обозначаются в официальных записях не иначе как нежно-ласкательно: царь спит на *подушечке*; патриарх носит *ряску, башмачки, чулочки*.

Займствую из „Строельной книги церковных земель“ (года 7265, то есть 1657) картину тех мест, где теперь владычествует Дзержинский.

„А в скаске старожильцов Веденских старых прихожен *Ивашка* Чернова, да *Ивашка* Банщика, да Веденского сторожа *Елизарка* Арефьева, да просвирницы *Анницы* написано, что по сторонь церкви от боярского двора жили Пятницкой поп *Матвей* Афанасьев, да пономарь *Дмитрейко*, да *Ивашка* сторож, да меж тех дворов стояла богадельня князя *Дмитрея Михайловича Пожарского*... И по государеву указу старое кладбище огорожено заборами наглухо, а новое очитное кладбище отгорожено надобами изредка...“

В двух шагах отсюда помещалась в XVIII веке Тайная канцелярия. Подворье на Лубянке, где она находилась, пытки, которые там производились, подробно описаны очевидцем А.М.Тургеневым. Тайная канцелярия, по крайней мере, не называла себя коротко „Домом лишения свободы“ и не пользовалась гнусным чекистским девизом: „Труд победил капитал, победит и преступность“.

В доме № 14 по Большой Лубянке помещается МЧК со своей тюрьмой и со своим „подвалом расстрела“.

Очевидец (Ф.Нежданов) описывает (1921 г.): „Большая Лубянка ныне ненавистная не только для Москвы, но и для всей России улица. Особенное омерзение этот застенок внушает ночью, когда все кругом погружено во мглу и только одна улица — Большая Лубянка — маячит электрическими фонарями у подъездов ВЧК и МЧК. Маячит и без усталости принимает в эти подъезды свозимых со всей России и без усталости выпускает в подлежащие „гаражи и подвалы расстрела“.

Дом этот, бывший Московского страхового обще-

ства, насчитывает два века истории. Таких старых особняков осталось в Москве немного. И можно сказать с некоторой уверенностью: не только в Москве, но и в целом мире едва ли найдется дом, имеющий столь ужасную историю. Она, кстати сказать, еще совсем почти не изучена.

В середине XVIII века жил на этих местах гвардии ротмистр и внук смоленского воеводы Глеб Алексеевич Салтыков, человек богатый и очень знатный. Больше о нем ничего не известно. Он рано умер, и после него остались в его доме, как говорит приобщенный к следствию документ, „весьма не маловажные криминальные дела“.

Дела были действительно немаловажные. В доме Салтыкова чудовищными пытками было замучено насмерть более ста человек. Глеб Алексеевич оставил молодую вдову Дарью Николаевну. Предшественницей Феликса Дзержинского на этом месте „проклятой улицы“ была Салтычиха*.

Как догадываются, вероятно, читатели, я рассказываю прошлое Лубянки не для обличения „проклятого царизма“. Но если б я задался целью его обличать, то не остановился бы, конечно, на деле Дарьи Салтыковой. Самое дело это большой публике, вероятно, очень мало известно. Однако ссылками на „Салтычиху“ брошюрная литература наша немного злоупотребляла. Дарья Салтыкова, замучившая сотню дворовых людей („зажженными щипцами припекательными тянувше за уши“ и т.д.), была, надо думать, душевно больная.

Интересно то, что некоторые из худших злодеяний Салтычихи были вызваны страстным чувством любви. Добрая половина преступлений на нашей грешной земле происходит от „альтруизма“. Молодой Баррер, на днях задушивший сторожа тюрьмы в Рамбуе, на

*По преданию и по некоторым литературным указаниям, дом Московского страхового общества (теперь МЧК) и есть дом Салтычихи. Мне не удалось найти в парижских книгохранилищах указания, когда и кем был построен этот зловецкий дом. В.А.Никольский считает домом „душегубицы“ усадьбу № 14 по Кузнецкому Мосту. По данным следственного дела (по крайней мере, в его части, опубликованной в „Русском архиве“ и „Русской старине“), видно, что дом Салтыковой находился в приходе церкви Введения Пресвятой Богородицы, приблизительно на углу Б.Лубянки и Кузнецкого Моста. Это соответствует положению обоих домов № 14.

ограбленные 40 франков купил подарок своей любимице и сводил ее в ресторан.

Следственное дело о Салтычихе говорит, что она „жила незаконно с обретающимся у межевания земель капитаном Николаем Андреевичем Тютчевым“. Капитан этот скоро бросил нежную красавицу (от которой он, по-видимому, не очень далеко ушел в моральном отношении). Тютчев влюбился в другую даму, в Пелагею Денисовну Панютину, и сделал ей предложение. Разъяренная Салтычиха приказала тогда своему конюху Роману Иванову поджечь дом Панютиной, „чтобы оной капитан Тютчев и с тою невестой в том доме сгорели“. Конюх отправился ночью „подтыкать состав под застреху“, но в последнюю минуту не решился поджечь дом и, вернувшись, объявил своей госпоже: „сделать того никак невозможно“, за что и был подвергнут жестоким истязаниям. После неудачи поджога Салтыкова подослала к Тютчеву и Панютиной убийц. На Брянской дороге, по которой должны были проезжать в свое имение молодые, их ждала засада. Не удалось и это покушение. Но следствие установило „в сих законопреступных страстях ея, Салтыковой, участие“.

Насколько мне известно, в печати никогда не указывалось, что „обретавшийся у межевания земель“ капитан, любовник Салтычихи, был родным дедом нашего великого поэта. Иван Аксаков, биограф и зять Тютчева, возведя род Тютчевых к флорентийской семье Дуджи, о ближайших предках Федора Ивановича говорит кратко: „Если верить запискам Добрынина, брянские помещики Тютчевы славились лишь разгулом и произволом, доходившими до неистовства“. Свою знаменитую остроту о том, что история России до Петра — панихида, а после Петра — уголовщина, великий поэт, быть может, выводил отчасти из своих семейных преданий. Семья его матери была неизмеримо культурнее. Но и здесь близким родственником Тютчева был гр. А.И.Остерман-Толстой, который из ненависти к Французской революции держал у себя швейцара камердинера специально для того, чтобы „бить по морде гражданина свободной республики“.

Прямое потомство самой Салтыковой в России угасло (есть, кажется, ее потомки французы). Бли-

жайшим же родственником „вдовы-душегубицы“ в настоящее время является наш известный историк, мой товарищ по партии С.П.Мельгунов, правнук женатого на племяннице Салтычихи ярославского генерал-губернатора, любимца Елизаветы, Петра III и Екатерины II. Если не ошибаюсь, к Мельгуновым перешла и часть салтыковского богатства (костромские имения на Ветлуге)*. Я отнюдь, впрочем, не „инсинуирую“, что „Голос минувшего“ и издательство „Задруга“, в которых принимают участие чуть ли не все передовые писатели России, созданы на деньги Салтычихи.

Другой родственник Салтыковой (по линии Чернышевых) — известный глава течения „Я никого не ем“ В.Г.Чертков, благополучно продолжающий при больших успехах свою полувекую борьбу с мясоедением.

Темная вещь — наследственность!

Салтычиха, объявленная мужчиной непонятным распоряжением Екатерины („как недостойная называться женщиной“), окончила свой долгий век в Ивановском монастыре. Подневольные сообщники ее были „с вырезанием ноздрей“ сосланы в Сибирь.

Дом № 14 по Большой Лубянке достался новому владельцу.

При нем сто четырнадцать лет тому назад в этом доме произошла еще одна кровавая трагедия. Сама по себе не очень большая: убит был человек, ничем особенно не замечательный. Современники поговорили об этом деле (не из-за убитого, а из-за убийцы) и скоро перестали говорить. Не слишком интересовались им и историки. Однако преступление это никогда не будет забыто. По странице уличной хроники прошел гениальный писатель. Маленький исторический *faits divers** стал бессмертным шедевром литературы.

В доме Московской Чрезвычайной Комиссии в 1812 году жил граф Ф.В.Ростопчин. По его приказу на подворье дома растерзан толпою купеческий сын Верещагин.

Знаменитая сцена „Войны и мира“, конечно, во всех подробностях памятна каждому читателю. Но

*По крайней мере, Потемкин в 1781 году, желая купить эти имения, запрашивал о них А.П.Мельгунова.

*Хроника (*фр.*).

приведу то, что служило источником Толстому: несколько строк из записок Ростопчина:

„Я спустился на двор, чтобы сесть на лошадь, и нашел там с десяток людей, уезжавших со мною. Улица перед моим домом была полна людьми простого звания, желавшими присутствовать при моем отъезде. Все они при моем появлении обнажили головы. Я приказал вывести из тюрьмы и привести ко мне купеческого сына Верещагина, автора наполеоновских прокламаций... Я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать свое отечество; я объявил ему, что он приговорен сенатом к смертной казни и должен понести ее, — и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя убить его саблями. Он упал, не произнеся ни единого слова... Я сел на лошадь и выехал со двора и с улицы, на которой стоял мой дом. Я не оглядывался, чтобы не смущаться тем, что прошло. Глаза закрывались, чтобы не видеть ужасной действительности, и приходилось отступать назад перед страшной будущностью“.

Фразу об „ужасной действительности“ Ростопчин вставил явно для красоты слова. Он действительно не очень „смущался тем, что прошло“, а в пору составления записок всего менее думал, конечно, о Верещагине. Записки его документ во многих отношениях замечательный. Цель последних лет жизни Ростопчина заключалась главным образом в том, чтобы опорочить и запятнать всех его современников, в том числе подлинных героев 1812 года, а себе приписать свою заслугу спасения России и Европы. Этот „главнокомандующий“, отроду не видавший поля сражения, в самом ужасном виде изобразил Кутузова, да еще сослался на умершего Багратиона, который будто бы называл старого полководца мошенником и предателем. О князе Багратионе Ростопчин ничего не мог придумать дурного и ограничился намеком, что у Багратиона была „испорченная кровь“. В таком же роде отзывы его о других деятелях отечественной войны. Зато собой он был очень доволен. Граф Ростопчин, как Троицкий, больше всего на свете заботился о том, чтобы создать на собственном челе „печать мрачного величия“. В записках его есть характерная фраза:

„Сев в карету, я отправился в генерал-губернаторский дом и дорогою *старался придать лицу подобающее выражение*“. Ростопчин, собственно, всю жизнь только это и делал: придавал лицу подобающее выражение. Для „печати мрачного величия“ он и приказал убить Верещагина.

В своей злобной и несправедливой книге „Россия в 1839 году“ маркиз Кюстин говорит, что русские люди совершенно напрасно ставят французам в упрек зверства Французской революции. У нас, замечает он, эти зверства совершались опьяненным, обезумевшим народом в течение короткого промежутка времени. А у них без всякой революции каждый день происходят всевозможные зверства, о которых никто не пишет, не говорит и не думает. Когда в России произойдет революция, сказал сто лет тому назад Кюстин, это будет нечто ни с чем вообще не сравнимое. „Методическая, холодная и упорная жестокость мужика“ даст себя знать, и по всей русской земле, от Смоленска до Иркутска, начнутся небывалая резня и небывалый грабёж. „Все темно в будущем человечества, — писал маркиз Кюстин, — но одно совершенно достоверно: мир будет свидетелем очень страшных сцен, которые явит перед ним эта отмеченная судьбою нация“.

Раздраженный и пристрастный, хоть и очень умный человек, маркиз Кюстин приехал в Россию искать зла — и зло нашел. Мысли этого русофоба через сто лет повторил (почти буквально) Максим Горький. Спорить здесь не о чем. Поживем лет сто — увидим. Не в России создан миф об Ормазде и Аримане. Религия Зенд-Авесты знает *географическую точку зла*. Русской истории пришлось бы поместить ее на Лубянке.

Неизданные произведения Пушкина

(В связи с конгрессом спиритов)

Очень рад, что могу предложить читателям такую редкость, никому не известные произведения Пушкина. Их, правда, немного: всего два рассказа, — оба небольшие и оба на французском языке. Есть у них еще особенность: они не написаны Пушкиным при жизни, а продиктованы совсем недавно его духом медиуму и со слов этого медиума точно воспроизведены спиритом Шарлем Дорино.

Это бывает — и не должно особенно удивлять читателя. Так, много лет тому назад Шатобриан продиктовал с того света несколько поучительных страниц основателю спиритского учения Аллану Кардеку. Один известный, ныне здравствующий, литературный критик (спирит) требует даже включения этих страниц в собрание сочинений Шатобриана. Должен сознаться, я прежде с интересом читал статьи этого критика, не подозревая, что имею дело с полумным.

В Париже только что закончился всемирный съезд спиритов. Я следил за его работами, видел много фотографий духов и слышал в Ваграмской зале лекцию Конан-Дойла. Интерес к конгрессу был, судя по газетным отчетам, необыкновенный и притом чрезвычайно почтительный. Скажу и по своему опыту. Я видел в Париже много сенсационных зрелищ: был до войны в Опере на сборном спектакле, где выступали одновременно Карузо, Шаляпин и Тито Руффо. Слышал в рабочих кварталах анархиста Себастьяна Фора, на которого когда-то молился французский пролетариат. Видел Версальский дворец в день подписания мирного договора. Видел даже матч бокса „двух Сэмов“ (имена Сэма Лангфорда и Сэма Макви, верно, уже немного говорят человечеству — пятнадцать лет тому

назад их знал каждый ребенок). Но ничего подобного тому, что происходило у дверей Ваграмской залы в вечер лекции Конан-Дойла, я во Франции не видал. Дело было, конечно, не в личности автора „Шерлока Холмса“, — каким писателем можно удивить Париж? И, пожалуй, еще больше, чем столпотворение у дверей конгресса, поражала благоговейная тишина в зале. В тишине этой все росло, все сгущалось настроение сумасшедшего дома. Говорились с эстрады вещи самые изумительные, подобных которым, быть может, никогда не слышали стены Ваграмской залы. А ведь уж они-то ко всему привыкли, и ничем их не прошибешь. В последний раз, когда я здесь был, Филипп Шейдеман на франко-германском рабочем митинге под бурю аплодисментов утверждал громовым голосом, что никакая война впредь невозможна между цивилизованными народами Европы: пролетариат ни за что не допустит. Это было не то в 1912-м, не то в 1913 году.

Мне не везет с изучением спиритизма. В свое время обращал меня в спиритскую веру один польский ученый, ныне профессор Варшавского университета. Несколько спиритских книг я прочел и теперь в связи с конгрессом. Прочел, что перисприт есть душа в состоянии зародыша; что красный цвет несовместим со светом астральным, а фиолетовый совместим; что звезда волхвов была превращением периспритального флюида в световую точку. Узнал, что сказал Аллану Кардеку дух Людовика Святого о вертящихся столах и о животном магнетизме. Ознакомившись немного со спиритской литературой, я с надеждой принялся читать литературу антиспиритскую. Первой мне попала недавно вышедшая книга графа Эммануэля де Руже. Этот автор всей душой ненавидит спиритов; он считает их обманщиками и шарлатанами: никакие покойники ни с каким медиумом ни в какие сношения никогда не вступали. Голоса же, по словам графа, спириты действительно слышат. Но голоса эти подают отнюдь не души умерших людей — а не кто иной, как сатана. В доказательство граф ссылается на некоего аббата Жиро, который собственными глазами недавно видел в Париже сатану: его вызвал в присутствии аббата один подозрительный

русский, князь Померанцев: сатана был в смокинге, очень молодой на вид, всего лет двадцати, краснощечный блондин без усов. Но „в глазах его была бесконечная печаль и глубокое отчаяние“. Граф де Руже тут же указывает заклинание, при помощи которого легко предохранить себя от дьявола. Заклинание это составил и сообщил графу месть Матерн, живущий на бульваре Распай, № 126. Тем не менее возможность появления сатаны в Париже *en plein Paris, dans la capitale du monde civilisé dans la ville lumière** приводит автора книги в крайнюю ярость. Граф де Руже, по-видимому, все приписывает козням масонских лож. Еще слава Богу, что он не настаивает на высылке из Франции русских — ввиду явно зловредных действий князя Померанцева.

Появилась книга графа де Руже не в тринадцатом столетии, а четыре года тому назад. Она, как и почти все книги спиритов, очень красиво издана: бумага, обложка, шрифт — лучше желать нельзя. Богатая страна Франция! И то сказать, тираж книг Аллана Кардека доходит до 150 тысяч. „Мир как воля и представление“ Шопенгауэра, жившего одновременно с Кардеком, понравился публике меньше: его за 25 лет разошлось триста экземпляров. „Карьера открыта талантам“.

Перехожу к неизданным произведениям Пушкина. Они, собственно, к настоящему конгрессу не имеют прямого отношения. На книгу Шарля Дорино я натолкнулся случайно. В книге этой есть несколько рассказов, записанных со слов медиума. Диктовали духи Золя, Мопассана, Ренана, Бальзака, Теофиля Готье, из иностранцев же только Диккенс и Пушкин. Рассказы Пушкина называются „Adieu“ и „L'histoire russe“^а. Действие „Adieu“ происходит в Сибири между деревней Мокоткин и городом Иркутском, в бедной крестьянской *isba*. Есть и „l'isbne“, и „le kvass“, и „le chtchi, la soupe aux choux si appétissante“^а. Есть и пейзаж:

*Посреди Парижа, в столице цивилизованного мира, в просвещенном городе (*фр.*).

^а„Прощание“ и „Русская история“ (*фр.*).

^а„Щи, такой аппетитный суп из капусты“ (*фр.*).

Иркутск совсем близко, так что из избы ясно виден „силуэт мечети татарских жителей“. Герой пушкинского рассказа — бедный, забытый крестьянин Арсантье Владимиров, жертва самодержавного режима. Царь объявил войну и назначил рекрутский набор. *Le Pègre a parlé, il faut obéir**. Арсантье должен бросить родную избу и любимую жену Машу. Сцена их расставания раздирает душу. Арсантье вскакивает в свою бедную тройку и вихрем мчится по степям в город Иркутск, к станции железной дороги. Там он долго, вместе с тысячами других несчастных, лежит, распростершись перед иконой, в вокзальной часовне („dans la chapelle de la salle d'attente“), затем с обычным русским смирением встает и садится в вагон, который увозит его на смерть.

Не привожу содержания второго пушкинского рассказа, тоже из сибирской жизни. Кроме двух художественных произведений, Пушкин дал Шарлю Дорино еще и политическое интервью. Он горько жаловался на бесхарактерность русского народа с его неизменным „Nitchewo“, выбрал помещиков, царя и духовенство, но изругал также секту русских нигилистов и германскую социал-демократию, а в заключение высказал горячие симпатии спиритизму.

Что следует думать об авторе? Обманщик, вероятно, навел бы справку, — когда жил Пушкин. Но, может быть, для своей аудитории он счел это излишним: сойдет и с железной дорогой. Если есть „степь“ и „тши“, какое же сомнение? Очевидно, рассказ диктовал Пушкин.

Да, сойдет, все сойдет... Я смотрю на добродушное, благообразное, разумянившееся лицо сэра Артура Конан-Дойла, на его безмятежные голубые глаза. В течение часа с лишним он мерным голосом рассказывает изумительные вещи. Некоторые из них он видел собственными глазами. Другие видели собственными глазами люди, которым он верит „как самому себе“.

Давид Юм говорит где-то, что в чуде, то есть в единичном отступлении от так называемых законов природы, нет ничего невозможного. Оно только мало вероятно. „Поэтому, — прибавляет Юм, — когда мне

*Слово отца — закон (*фр.*).

какой-нибудь почтенный джентльмен описывает, как он своими глазами видел чудо, я вовсе не доказываю ему, что этого не может быть. Я только про себя сравниваю вероятность двух гипотез, которые обе вполне допустимы: может быть, действительно, на глазах почтенного джентльмена случилось чудо; а может быть, почтенный джентльмен врет“.

Зачем делать столь невежливые предположения? Достаточно взглянуть на Конан-Дойла, — все сомнения в его совершенной невинности тотчас исчезнут. Он действительно видел все это, как аббат графа де Руже видел краснощекого сатану в смокинге, как медиум Шарля Дорино слышал от Пушкина рассказ о несчастном сибиряке Арсантье. Люди эти неизлечимы.

Английский зоолог Ланкастер поставил себе в свое время целью разоблачать спиритов. Как только до его сведения доходило, что перед публикой появляется медиум, Ланкастер немедленно привлекал его к судебной ответственности за злостный обман и злоупотребление человеческим легковерием, — надо быть зоологом и англичанином для того, чтобы избрать себе такое занятие. Разумеется, на судебных процессах происходили самые курьезные сцены. Ланкастер вошел в соглашение с знаменитым фокусником Мэскелином, который являлся в суд в качестве эксперта и проделывал в зале заседаний разные спиритические чудеса, — без вмешательства потусторонней силы, без духов, без эктоплазмы, без периспиритов: столы вертелись, шкафы передвигались, звонки звонили. Процессы Ланкастер выигрывал, однако посрамить спиритов ему совершенно не удалось; они объявили Мэскелина медиумом.

Другое, более скандальное и более сенсационное дело слушалось в парижском суде в 1875 году. В деле этом выступал знаменитый адвокат Лашо, „жертвами“ были люди высшего общества, а обвиняемыми и свидетелями — главари спиритского мира того времени. На скамье подсудимых сидел Лемари, редактор „Ревю спирит“. Лемари вошел в соглашение с другим спиритом, фотографом Бюге, и с медиумом Фирманом. Они основали на бульваре Монмартр процветающее торговое предприятие. За умеренную плату всякий

желающий мог вызвать умерших близких и получить их потустороннюю фотографическую карточку. Делалось это следующим образом. Людей, желавших вступить в сношения с мертвецами, дурачили разными торжественными обрядами и незаметно выспрашивали о наружности умершего родственника. Получив приблизительные сведения, фотограф подбирал в составленной им громадной коллекции кукол то, что ему казалось наиболее подходящим, и при помощи несложных технических приемов изготовлял умышленно неясное изображение куклы в саване. Остальное достигалось музыкой, „пассами“, полутьмой, гробовой обстановкой и вдохновенным видом медиума: почти все клиенты признавали в изображении своих покойных родных. Плата взималась от 20 до 2000 франков. Самую большую сумму уплатил граф де Бюлле, вызвавший тень императора Максимилиана, — так и не знаю, зачем был нужен император Максимилиан этому графу, который, вероятно, приходится родственником графу де Руже. Случилось, однако, что один из посетителей, недовольный полученной им карточкой, подал жалобу префекту полиции. Префект подослал в фотографию, в качестве клиента, сыщика Ломбара. Сыщик растроганно вызвал тень своей невесты. Но пока снимок безвременной погибшей красавицы проявлялся в темной комнате, неутешный жених наложил руку на коллекцию кукол. Арестованные спириты во всем сознались и были приговорены к году тюрьмы. Я разыскал в старых газетах отчет об этом сенсационном процессе. За одним-единственным исключением, все клиенты фотографа во главе со вдовой Аллана Кардека остались при глубоком убеждении, что видели подлинные изображения своих умерших близких. Сознание подсудимых, их улыбки на очных ставках, куклы, лежавшие на столе, нисколько не поколебали спиритов.

После этого дела интерес к спиритизму сильно ослабел в Париже. Но теперь оно давным-давно забыто. В начале своей лекции Конан-Дойл благоговейно показал на экране портрет Аллана Кардека, а после ее окончания публике раздавались номера „Ревю спирит“.

„Нельзя относиться ко всему этому поверхностно... Это очень много таинственного в природе... Видные ученые были спиритами...“

В природе действительно очень много таинственного. Но в учении спиритов ничего таинственного нет. Напротив, им все точно известно и все совершенно ясно. Они хорошо знают, что испытывает душа в момент расставания с телом, и через какие воплощения она проходит в потустороннем мире, и какие страсти в ней там остаются, и из каких флюидов состоит перисприт разных духов. Аллан Кардек дал спиритическое объяснение всем библейским чудесам. Своих противников спириты с жалостью называют материалистами. В действительности, нет грубее материалистов, чем они сами. Блестящая критика их учения дана Эдуардом Гартманом, который ни в материализме, ни в позитивизме неповинен.

„Видные ученые были спиритами“. Это действительно непостижимо. Правда, их очень немного. Обычно называют Шарля Рише, но он себя не причисляет к спиритам и к фотграфиям духов относится весьма недоверчиво. Однако два-три известных имени в самом деле есть на золотой доске спиритской истории. Этими людьми все время козыряли с эстрады только что закрывшегося конгресса. Ученые, которые — от Фарадея до Менделеева — считали спиритизм бредом больных людей и общественным скандалом, на конгрессе не назывались. Аудитория была, добавлю, не только очень многочисленная, но и очень блестящая. Стоит ли удивляться, что в Америке чуть не стал главой государства человек, оказавшийся совершенным дикарем. Точно во Франции, в Германии, в России нет на верхах своих Брайанов.

О русском спиритизме, кстати будь сказано, можно было бы написать интересный роман. Такие люди, как Бутлеров или А. Аксаков (племянник Сергея Тимофеевича, — у нас почти неизвестный, но имеющий очень большое имя в западной спиритской литературе), для писателя клад. Король медиумов Ноте часто бывал в России и сталкивался со всеми русскими знаменитостями, от Герцена до Александра II. Думаю, что это его изобразил Толстой в „Анне Карениной“ в лице

француза Ландо, усыновленного графиней Беззубовой. (Ноне вывела в люди графиня Купшелева-Безбородко, выдавшая за него замуж свою сестру.)

Спиритизм вообще доставлял много тихой радости Толстому. Во главе спиритского движения стоял оккультист, действительный статский советник Аксаков, — Лев Николаевич недолюбливал всю семью Аксаковых, терпеть не мог чиновников и не выносил оккультистов. Бутлеров был известный ученый, — Толстому ничто не могло быть приятнее, чем изобразить дураком профессора. В действительности, спиритические приключения Бутлерова и Аксакова были разоблачены Менделеевым. Автор „Плодов просвещения“ признал достаточным поручить это дело горничной.

Печоринский роман Толстого

I.

Называю так роман Толстого с В.В.Арсеньевой, — называю с некоторым упрощением: он не был „печоринским“ во всем смысле слова; но в нем было немало от лермонтовского Печорина. Выяснился вполне характер этого романа лишь теперь, после появления в полном виде дневников Льва Николаевича за 1854—1857 годы*.

Очень многое в Толстом освещается этими дневниками по-новому. Освещается к лучшему или к худшему? Не все ли равно? Всем известно, что величайший писатель был и человеком высокого душевного благородства. Так называемые теневые стороны его характера принадлежат нам по собственной его воле. Они и интересны главным образом потому, что объясняют путь этого столь необыкновенного, ни на кого не похожего человека.

Мы теперь привыкли к тому Толстому, которого еще застали наши поколения, к Толстому доброму, кроткому, просветленному. Разумеется, мы знали, что он не всегда был таким, — и все же дневник Льва Николаевича за 1854—1857 годы вызывает у нас удивление. Правда, это было самое худшее время его жизни. „Я был тогда отвратителен“, — писал он на старости. Он был тогда совершенным мизантропом. Это сказывается на каждой странице его дневников. Приведу несколько его отзывов (личные впечатления) о людях — известных нам и неизвестных, близких ему и от него далеких: „Филимонов, в чьей я батарее,

*47-й том полного собрания сочинений, под редакцией М.А.Цявловского, В.Ф.Саводника и В.И.Срезневского. Москва, 1937 год. — Редакционные примечания составлены превосходно, с совершенно исключительной добросовестностью и эрудицией. См. статью Р.Словцова („Посл. пов.“, № 6002). Часть дневников напечатал в 1927 году в „Голосе минувшего“ покойный Т.И.Полнер.

самое сальное создание, которое можно себе представить...“ „Генерал — свинья...“ „Кригскомиссар — ужасный дурак...“ „Ковалевский — сукин сын...“ „Сазонова внушила невыразимое отвращение...“ „Погодина с наслаждением прибил бы по щекам...“ „Полонский смешон...“ „Панаев нехорош...“ „Писемский гадок...“ „Лажечников жалок...“ „Гр. Блудов — стерва...“ „Авдотья (Панаева. — М.А.) — стерва...“ „Горчаков гадок ужасно...“ „Волков — черт знает что такое...“ „Мордвинова — отвратительная, лицемерная либералка...“ „Мещерские — отвратительные, тупые, уверенные в своей доброте, озлобленные консерваторы...“ — Не привожу отзывов совершенно непечальных.

Разумеется, он так отзывался далеко не обо всех. Есть в дневниках отзывы и добрые и лестные. Но обычно люди, вначале ему нравящиеся, очень скоро вызывают у него скуку и антипатию. Так, он не раз без большого, впрочем, восторга хвалит И.С.Тургенева. Позднее пишет: „Тургенев скучен...“ „Увы, он (Тургенев. — М.А.) никого никогда не любил...“* „Тургенев — дурной человек...“ При первом знакомстве Лев Николаевич был очень увлечен личностью декабриста Пущина (Михаила): „Пущин — прелестный и добродушный человек...“ Потом в дневнике встречаются такие записи: „Вечером сидел Пущин и хвастался изо всех сил...“ „Счастливый человек Пущин, ему все кажется, что в нем сидит что-то много прекрасного, чего он не может высказать — особенно когда он выпьет. Ежели бы он был умнее, он увидел бы, что все, что сидит — гадость...“ Всем известна любовь Толстого к тетушке Ергольской — Соне „Войны и мира“. В пору нежных разговоров и переписки с ней он заносит в дневник: „Скверно, что начинаю испытывать тихую ненависть к тетеньке, несмотря на ее любовь. Надо уметь прощать пошлость...“

Почти так же резок он в суждениях о людях церкви. Еще более резок в суждениях о литературе, о больших писателях, которых он лично не знал, кото-

*Тургенев через много лет сказал о нем дословно то же самое: „Этот человек никогда никого не любил...“ Возможно, что оба были правы.

рые уже были классическими и в его время: „Читал Пушкина, 2 и 3 часть. „Цыганы“ прелестны, как и в первый раз, остальные поэмы, исключая „Онегина“, — ужасная дрянь...“ „Читал полученные письма Гоголя. Он просто был дрянь человек. Ужасная дрянь...“* О России будущий автор „Войны и мира“, только что вернувшись из-за границы, пишет: „Противна Россия. Просто ее не люблю...“ „Прелесть Ясная. Хорошо и грустно, но Россия противна...“

Во имя чего же судил он обо всем столь резко и несправедливо? Не понять. В сущности, он был тогда совершенным нигилистом — не в базаровском, а в подлинном смысле слова. После смерти брата он писал в дневнике: „Во время самых похорон пришла мне мысль написать материалистическое евангелие“. Тогда же писал Фету: „Правду он (брат Николай. — М.А.) говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни ничего нет“. Без всякой смерти близкого человека — запись в дневнике от 16 августа 1857 года: „Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Материальное наслаждение тоже к чему? Скоро ночь вечная“. В одном из писем к Арсеньевой он вскользь замечает: „Я во всем мире сомневаюсь, исключая, что добро — добро“. О „дobre“ в дневниках говорится много, но весьма неясно. Есть и такая запись — „...страннее в 100 000 раз (опускаю несколько слов. — М.А.), что мы живем, зачем сами не знаем, что любим добро и ни над чем не написано: то добро, то худо“.

Какие могли быть причины его нигилизма, мизантропии, тоски? Толстой прощался с первой молодостью, — это обычно тяжелое время в жизни человека. Других внешних причин мы не видим. У него как будто было все нужное для счастья. Дневники его полны жалоб на болезни. Мы знаем, однако, что он был в общем вполне здоровый человек и прожил до 82 лет. Выбор карьеры был сделан. „Детство“, „Отрочество“ уже появились и имели большой, хоть, быть может, не очень шумный успех. Толстой был — и

*Впоследствии он, как известно, отзывался о Пушкине, о Гоголе, о Тургеневе совершенно иначе.

навсегда остался — писателем и для „масс“, и для „элиты“. Широкая публика тогда, впрочем не слишком еще многочисленная, читала его первые произведения с восторгом. „Со всех сторон от публики сыпались похвалы новому автору“, — вспоминает Головачева-Панаева. „Элита“ хвалила сдержаннее, но хвалила. Мне уже приходилось говорить, что знаменитый отзыв о „Детстве“ Некрасова — первый отзыв первого читателя, — столь часто приводимый в доказательство критической проницательности редактора „Современника“, скорее, по своей крайней сдержанности мог бы свидетельствовать о противном. Прочитав книгу, составившую эпоху в русской литературе, Некрасов написал Толстому: „Не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе есть талант... Если в дальнейших частях (как и следует ожидать) будет побольше живости и движения, то это будет хороший роман“. То же самое любой редактор мог, собственно, сказать писателю второстепенному или даже третьестепенному. Очень скоро, однако, Некрасов высказался более определенно, а после личного знакомства с Львом Николаевичем писал Боткину: „Что это за милый человек, а уж какой умница! Милый, энергический, благородный юноша-сокол! а может быть — и орел... Читал он мне первую часть своего нового романа — в необделанном еще виде. Оригинально, в глубокой степени дельно и исполнено поэзии“. „Это талант первостепенный“, — писал почти одновременно Колбасину Тургенев. Из Сибири Достоевский просил непременно ему сообщить, кто такой автор появившихся в „Современнике“ „Детства“ и „Отрочества“.

В совокупности это можно было считать началом литературной славы. Во всяком случае, в середине пятидесятых годов вопрос, тревожащий молодых людей: что делать в жизни? — для Толстого уже был вполне разрешен, и разрешен не только теоретически. Несмотря на беспрестанное самобичевание за „лень“, он в действительности (как всю жизнь) работал очень много. В советском издании теперь впервые опубликованы его записные книжки. Они полны черновых заметок для писательской работы, — это та самая литературная кухня, которую Чехов полунасмешливо

изобразил в „Чайке“. Если не ошибаюсь, от Толстого первого в русской литературе остались столь пространственные страницы „тригоринщины“. „Солнце блестит на его глянцевице сертуке...“ „Любовник на театре перебирает пальцами по руке любовницы...“ „Господин с волосами и бородой рамкой наслаждается своей ловкостью, кидает куски в рот, надевает хлеб на вилку, все делает как будто — раз два...“ „Толстый немец без галстука рассказывает, как он моет спину. Он ужасен за свое здоровье. За одно здоровье его убить можно...“ Эти записи Льва Николаевича в большинстве тоже весьма неблагоприятны к людям.

Наряду с мизантропией был в нем — и странно уживался с тоской — огромный запас чисто физической, физиологической жизнерадостности. Черта эта осталась у Толстого до конца дней. Он глубоким старцем от беспричинной радости иногда прыгал на столы или через стулья. Прыгал, верно, и в те времена, когда писал „Не могу молчать“.

Был он баловнем судьбы и помимо своей гениальности. В своих дневниках молодой Толстой беспрестанно жалуется еще на безденежье. В самом деле он был кругом в долгу — был должен родным, друзьям (если они у него были, что не очень вероятно), сослуживцам, даже мало знакомым людям, как тот же Пущин*. Однако к его услугам всегда было надежное убежище: Ясная Поляна.

Люди, знакомые с мемуарной литературой первой половины прошлого века, знают, что жизнь в имении в те времена не стоила помещику ровно ничего или, по крайней мере, могла ничего не стоить. Господствовала система натурального хозяйства: дом, мебель, прислуга, отопление, освещение, лошади, еда, даже одежда, все было свое. Деньги средний помещик тратил лишь на французские вина (водки и наливки тоже были свои), на поездки в город, на игру, на книги, на коллекции**, на „мадаму“ для детей, на какую-нибудь „кармскую мелисную воду“ или на „амбровые ябло-

*Все долги он полностью кредиторам выплатил: был в денежных делах совершенно безупречен.

**Богатые помещики тратили на коллекции очень большие суммы. Кн. Лобанов-Ростовский продал свою коллекцию тростей за 75 тысяч рублей.

ки“, безошибочно предохранявшие от заразных болезней. Съестные припасы стоили денег только записным гастрономам вроде Рахманова, — у него раки содержались в сливках с пармезаном и рокфором, а из рыб им признавался лишь какой-то „вырезуб“, ловившийся из всех рек России в одной реке Сосне, приток Дона, и оттуда ему доставлявшийся за сотни верст. По общему правилу гастрономия уходила главным образом в количество — это отразилось и в бытовой поэзии того времени*. Бедные или скупые помещики жили даром в самом настоящем смысле слова. Вдобавок, Ясная Поляна приносила в те времена ежегодно две тысячи рублей серебром, — на наши деньги примерно 35—40 тысяч франков. Около тысячи рублей в году уже тогда давала ее владельцу литературная работа. Таким образом, о бедности молодого Толстого (как впоследствии о его богатстве) можно говорить лишь с большой натяжкой.

II.

Раздражал его, по-видимому, и вопрос об „аристократах“. Это трудно понять. Очень редко люди бывают вполне равнодушны к своему знатному происхождению (я в жизни знал лишь двух таких людей). Верно говорят французы: „On est toujours l'aristocrate de quelqu'un...“⁴⁴ Что до Льва Николаевича, то он, без сомнения, принадлежал к числу родовитейших людей России. Толстые, как известно, происходят от „мужа честна Индриса“, который вышел в XIV веке „из царских земли“ в Чернигов с трехтысячной дружиной, то есть сам был важным лицом. Проследить всех предков человека, род которого восходит к XIV веку, немислимо. Известный французский генеалог Ле Арди в своей книге „О принципе аристократии“ математически точно подсчитал, что в 20-м колене у чело-

* „Ботвинью я всегда хвалю, — Селянку ем без привужденья, — Уху я тоже страсть люблю, — Зреть не могу без умиленья. — Кишки ко шам, баравий бок, — Крупою с маслом насыщенный, — И лучший вечины кусок — Суть три предмета несравненны. — Пирог любимый мой есть тот, — С трудом в руках несут что трое, — Когда кладешь кусочек в рот, — Насытились бы оным двое“ и т.д.

„Аристократы тоже кому-то подчиняются...“ (Фр.)

века есть 1 048 576 предков. А Толстой был от Индриса именно в 20-м колене. Но поскольку основная генеалогическая линия Льва Николаевича нам известна, в ней нет, по выражению XVI столетия, ни единой „мерзючки“. С большим правом, чем кто бы то ни был, он мог сказать о себе и о своих предках: „...Люблю встречать их имена. — В двух-трех строках Карамзина. — От этой слабости безвредной, — Как ни старался, видит Бог, — Отвыкнуть я никак не мог“.

Несмотря на позднейшее теоретическое положение о равенстве всех потомственных дворян, титулованная аристократия в европейской истории всегда считала себя гораздо выше нетитулованного дворянства. Герцог Сен-Симон даже баронов не считал людьми, хоть герцогский титул — за весьма сомнительные заслуги — получил всего только его отец. В России в XVI веке старые князья считали равными себе из нетитулованных лиц только Захарыных, да разве еще в меньшей мере Бутурлиных. У Толстого почти все предки были именно князья, Рюриковичи или Гедиминовичи: Волконские, Горчаковы, Щетинины, Трубецкие. Однако под „аристократами“ или „так называемыми аристократами“ он в дневниках обычно разумел других людей. По-видимому, для него главным признаком тут было сочетание близости ко двору с большим состоянием. Это сказывается и в „Анне Карениной“: Рюрикович князь Облонский называет аристократом Вронского — „человека, отец которого вылез из ничего пронырством“. Но Облонский говорил об аристократизме Вронского без всякой иронии. Толстой говорит об „аристократах“ то с иронией, то чаще просто со злобой. Флигель-адъютантов, например, он положительно ненавидел. Не любил и гвардейцев. Усмотрев в каком-то замечании Салтыкова, адъютанта фельдмаршала Паскевича, нечто вроде „социального пренебрежения“ к себе или отношения сверху вниз, он пипет в дневнике: „Это было для меня во время бессонной ночи, которую проводил нынче, одним из тех воспоминаний, при которых вскрикиваешь“. Об аристократии вообще Лев Николаевич говорит то как бы изнутри, то как бы извне, хотя в условном смысле чистоты „синей крови“ он стоял выше почти всех людей, которых когда-либо в своей жизни встречал.

Определенных политических взглядов в только что опубликованном дневнике Толстого мы не видим, да их, собственно, и не могло быть при еще общем философском нигилизме. В „Воскресении“ вице-губернатор Масленников говорит Нехлюдову: „Я знаю, ты либерал“. „Не знаю, либерал ли я или что другое“, — отвечает Нехлюдов, „всегда удивлявшийся на то, что его все причисляли к какой-то партии и называли либералом только потому, что он, судя человека, говорил, что перед судом все люди равны, что не надо мучить и бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены“. В таком приблизительно смысле мог считаться либералом и молодой Толстой. С другой стороны, он уже тогда был отчасти и анархистом. Он громил ту цивилизацию — что сказал бы о нынешней? В Париже видел казнь — и потерял веру в прогресс. „В бытность мою в Париже вид смертной казни обличал мне шаткость моего суеверия прогресса“, — говорит он в „Исповеди“. Теперь одной казнью едва ли кого-либо можно поколебать в чем бы то ни было или просто произвести впечатление.

Впрочем, политика его интересовала меньше, чем многое другое. Читал он запоем все, что попадалось. „Я почти невежда, — пишет он в дневнике. — Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками без связи, без толку и то так мало“. Тургенев подавлял его своей ученостью. Впоследствии Толстой стал одним из наиболее разносторонне образованных людей своего времени — он был и остался ученым из всех русских писателей-беллетристов. Однако в 50-х годах не будучи, конечно, „невеждой“, Лев Николаевич не был и тем, что французы называют *un lettré**. Огромный природный ум — истинно необыкновенный и в некоторых отношениях неповторимый — заменял ему книги: ум чрезвычайно пронизательный, недоброжелательный, недоверчивый и скептический. Было в нем, разумеется, и сознание своей гениальности, — по привычке хорошо воспитанного человека он ее скрывал даже от самого себя, даже в дневнике.

Совершая в 1857 году поездку с Тургеневым из Парижа в Дижон, он в дороге (на глазах у спутника?)

*Эрудит (*øp.*).

записал: „Тургенев ни во что не верит, вот его беда, не любит, а любит любить...“ Это было, кажется, более верно в отношении его самого, чем в отношении Тургенева. Во всяком случае, Полины Виардо — как бы ни относиться к этому знаменитому роману — в его жизни не было. „Тургенев, — пишет Лев Николаевич, — плавает и барахтается в своем *несчастье*“. Сам он не плавал и не барахтался, — „несчастья“ не было. Верно, и его романы, как многое в нем, раздражали Тургенева. „Толстой, — писал он тогда Анненкову, — смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича, что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо, — высоко нравственное и в то же время несимпатичное“.

В ту свою заграничную поездку Лев Николаевич был „влюблен“ несколько раз. В Париже влюбился в княжну Александру Львову, — записей об этом в его дневнике немного, их можно привести целиком: „Вечер к Львову, его племянница славнейшая барышня, и вообще приятно...“ „Зашел к Львовым, и княжна так мила, что я вот уже сутки чувствую на себе какой-то шарм, делающий мне жизнь радостною...“ „Зашел к Тургеневу, он к Виардо, я к Львовым. Княжна была. Она мне очень нравится и, кажется, я дурак, что не попробую жениться на ней. Ежели бы она вышла замуж за очень хорошего человека и они были бы очень счастливы, я могу прийти в отчаяние...“

Это был, так сказать, апогей любви; дальше начнется снижение. „Княжна Львова слишком старается быть по-русски умна, но мила очень. С ними ужинать, разные пошляки русские, мне было хорошо, но по робости и рефлексии сидел мало с Львовой, проводил ее“. Затем, в Женеве, до него дошел слух, что княжной увлекается князь Орлов. Он пишет письмо Тургеневу, просит узнать, так ли это, и добавляет: „Но ежели этого вовсе нет, скажите откровенно, может ли случиться, чтобы такая девушка, как она, полюбила меня. То есть, под этим я разумею только то, что ей бы не противно и не смешно бы было думать, что я желаю жениться на ней...“ Однако Лев Николаевич немного подумал и не отослал этого письма Тургеневу, — очевидно, Бог с ней, с княжной! Он встретился с ней еще раз вскоре после того в Дрездене и написал А.А.Толстой: „В Дрездене еще совершенно

неожиданно встретил кн. Львову. Я был в наиудобнейшем настроении духа для того, чтобы влюбиться: проигрался, был недоволен собой, совершенно празден (по моей теории, любовь состоит в желании забытья, и поэтому так же, как сон, находит на человека, когда недоволен собой или несчастлив). Кн. Львова красивая, умная, честная и милая натура; я изо всех сил желал влюбиться, виделся с ней много, и никакого!***

Думаю, что Ромео, Вертер, Мортимер, Алеко умерли бы от негодования, ознакомившись с этой теорией любви от скуки, от проигрыша и „чтобы забытья“. Нет, Толстой описывал любовь в своих романах лучше, чем ее переживал. В том же роде было и другое его увлечение в ту поездку: некоторое подобие романа с кн. Е.Н.Трубецкой (о ней он 4/16 марта 1857 года кратко пишет в дневнике: „Княжна разонравилась...“). Это были, конечно, ненастоящие увлечения. Какие же были настоящие? На старости лет он сказал, что никогда не был влюблен в Софью Андреевну. Десятки свидетельств есть, что был страстно влюблен. Однако знал же он, что говорил.

Замечу тут же, что в своем отношении к женщинам из общества он проявлял совершенно исключительную порядочность. Ведь у нас теперь кое-что и в „Анне Карениной“ вызывает недоумение. Вронский „скомпрометировал“ Китти тем, что часто бывал в доме Щербацких и танцевал с ней на балах! Анна Каренина — погибшая женщина! Что было бы с современным обществом, если бы считались погибшими все женщины, совершившие такие преступления, как Анна? Нравы тогда были другие? Мемуарная литература свидетельствует, что нравы в XIX веке были точно те же, что в XX, если не хуже. Это он, Толстой, смотрел на многое не так, как смотрели его и наши современники. Поэтому и роман его с Арсеньевой был все-таки не вполне печоринским.

О Валерии Владимировне Арсеньевой мы знаем (я по крайней мере) очень мало. Она была восемью года-

*То есть условно то, что он говорил в осуждение Тургенева: „Не любит, а любит любить“.

ми моложе Толстого, ей, следовательно, в пору их романа шел двадцатый год. Несколько позднее она вышла замуж за А.А.Талызина, в 1893 году овдовела и вступила во второй брак с Н.Н.Волковым; скончалась за границей в 1909 году. По-видимому, это была милая, красивая, неглупая барышня. Семья Арсеньевых старая, дворянская, татарского происхождения: они происходили от Ослана-мурзы, выехавшего в Россию из Золотой Орды и принявшего крещение с именем Прокопия. Старший сын его Арсений был родоначальником Арсеньевых. В 1699 году пятьдесят пять членов этой семьи владели в России имениями; многие занимали видные государственные должности. Роль двух сестер Арсеньевых в биографии князя Меншикова, женившегося на младшей из них, всем достаточно известна.

У отца Валерии Владимировны, служившего в лейб-гвардии уланском полку, большого состояния, кажется, не было. По крайней мере, в одном из писем к ней Лев Николаевич, определяя их средства к жизни в случае брака, говорит, что „у него (он говорит о себе в третьем лице. — *М.А.*) есть 2000 р. серебром дохода с имения (то есть если он не будет тянуть последнего, как делают все, с несчастных мужиков), есть еще около 1000 серебром за свои литературные труды в год (но это не верно, он может поглупеть или быть несчастлив и не напишет ничего)“; у нее же „есть какой-то запутанный вексель в 20 000, с которого, ежели б она получила его, она бы имела процентов 800 руб., — итого, при самых выгодных условиях, 3800 рублей...“. Надо ли говорить, что Лев Николаевич не искал приданого за женой. Он и „влюблялся“ всегда в барышень небогатых. Арсеньевым принадлежало имение Судаково, расположенное недалеко от Ясной Поляны.

Первое упоминание о Валерии Владимировне встречается в дневнике Льва Николаевича 13 июня 1856 года, но в форме, уже предполагающей доброе знакомство: „Валерия приехала (в Судаково). Завтра поеду к ним“. Через два дня он пишет, что его друг Дьяков „советовал жениться на Валерии. Слушая его, мне кажется тоже, что это лучшее, что я могу сделать“.

III.

„В то время студенты были почти единственными кавалерами московских красавиц, вздыхавших невольно по эполетам и аксельбантам, не догадываясь, что в наш век эти блестящие вывески утратили свое прежнее значение...“ „Кто из нас в 19 лет не бросался, очертя голову, вслед отцветающим кокеткам, которых слова и взгляды полны обещаний и души которых подобны выкрашенным гробам притчи. Наружность их — блеск очаровательный, внутри — смерть и прах...“ „Женщины в наш варварский век утратили половину прежнее всеобщее свое влияние. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить об этом смешно...“

Это не из Марлинского, а из Лермонтова. И говорит это не Грушницкий, а сам автор „Княгини Лиговской“ и „Героя нашего времени“. Так писали всего только за двадцать лет до появления в литературе Толстого, и если перестали так писать, то в значительной степени благодаря ему. Стилистически между его печоринством и лермонтовским — пропасть; по существу — пропасти нет. Лермонтовский Печорин очень подробно излагает свои любовные и другие теории, — многое и тут теперь у нас вызывает улыбку: „Есть минуты, когда я понимаю вампира...“ „Сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления...“ Несмотря на всю художественную красоту, на редкую словесную прелесть „Бэлы“, „Максима Максимыча“, „Тамани“, чеховский Соленый навсегда стал между нами и героем нашего времени.

По существу же печоринство заключалось в том, что центральное место в жизни холодного, замкнутого, невлюбчивого человека занимали весьма странные и запутанные любовные романы, не очень страстные, разведенные мыслью и самоанализом, ни к чему не ведущие, да, собственно, никакой цели себе и не ставившие. „А ведь есть, — говорит Печорин, — необъятное наслаждение в обладании молодой, едва распустившей души! Она, как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца;

его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось кто-нибудь поднимет...“ Он говорит также (и уж это никак улыбки не вызывает): „Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки со строгим любопытством, но без участия. Во мне два человека: один живет в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его...“

Первое большое письмо Толстого к Арсеньевой написано 23 августа 1856 года. В этом письме (я приведу выдержки из него дальше) он уже как будто почти ее жених. Объяснение в любви последовало между 13 июня (день приезда Арсеньевых в Судаково) и серединой августа. Вот как отразилась эта глава их романа в дневнике Льва Николаевича:

„Бедняжка... ее тетка дрянь... Беда, что она (Валерия) без костей и без огня, точно лапша. А добрая. И улыбка есть, болезненно покорная...“ (15 июня). „Валерия была ужасно плоха, и совсем я успокоился...“ (24 июня). „Валерия в белом платье. Очень мила. Провел один из самых приятных дней в жизни. Люблю ли я ее серьезно? И может ли она любить долго? Вот два вопроса, которые я желал бы и не умею решить себе...“ (26 июня). „Валерия ужасно дурно воспитана, невежественна, ежели не глупа...“ (28 июня). „Валерия славная девочка, но решительно не нравится. А ежели этак часто видеться, как раз женишься. Оно бы и не беда, да не нужно и не желается, а я убедился, что все, что не нужно и не желается, — вредно...“ (30 июня). „Провел весь день с Валерией. Она была в белом платье с открытыми руками, которые у нее нехороши. Это меня расстроило. Я стал щипать ее морально и до того жестоко, что она улыбалась недоконченно. В улыбке слезы. Потом она играла. Мне было хорошо, но она уже была расстроена...“ (1 июля). „Валерия очень мила, и наши отношения легки и приятны. Что, ежели бы они могли остаться всегда такие...“ (10 июля). „Валерию дразнили коронацией до слез. Она ни в чем не виновата, но мне стало неприятно, и я долго туда не поеду. Или, может, это от того, что она слишком много мне показывала дружбы. Страшно и женитьба и подлость, то есть забава ею. А жениться — много надо переделать; а мне еще над собой надо работать...“ (13 июля). „В

первый раз застал ее без платьев, как говорит Сережа. Она в 10 раз лучше, главное — естественна. Закладывала волосы за уши, поняв, что это мне нравится. Сердилась на меня. Кажется, она действительно любящая натура. Провел вечер счастливо...“ (25 июля). „Странно, что Валерия начинает мне нравиться как женщина, тогда как прежде, как женщина именно, она была мне отвратительна. Но и то не всегда, а когда я настраюсь. Вчера я в первый раз заметил ее bras*, которые прежде мне были отвратительны...“ (28 июля). „Валерия совсем в неглиже. Не понравилась очень. И говорила глупо, что Давид Копперфильд много перенес несчастий и т.п...“ (30 июля). „Валерия, кажется, просто глупа...“ (31 июля). „Валерия была в конфузном состоянии духа и жестоко аффектирована и глупа...“ (1 августа).

После этого — он решил на ней жениться! В самом деле, в следующей записи сказано: „Мы с Валерией говорили о женитьбе, она не глупа и необыкновенно добра...“ (10 августа). „Она была необыкновенно проста и мила. Желал бы я знать, влюблен ли или нет?..“ (1 августа). „Я все больше и больше подумываю о Валериньке...“ (16 августа).

По свидетельству всех биографов, свой роман с Арсеньевой он изобразил в „Семейном счастье“. Это далеко не лучшее произведение Толстого, — его единственное произведение бледноватое: только в „Семейном счастье“ мы у него не видим ясно, не представляем себе людей — ни этой Маши, ни этого Сергея Михайловича, — у них, как нарочно, даже и фамилий нет, да и все действующие лица не по-толстовски называются буквами: г-жа Н.Н., графиня Р., маркиз Д., леди С. Все же сопоставление дневника с его прославленной повестью о любви поучительно: вот как он все это описал, — вот что было в действительности. Кое-что опускаю, — не очень удобно приводить из дневника факты характера интимного, тоже по-новому освещающие поэзию „Семейного счастья“.

26 августа 1856 года состоялась коронация императора Александра II. Коронационные торжества в России всегда отличались пышностью, но это коронава-

*Руки (фр.).

ние было особенно блестящим. В Москву съезжались люди со всех концов Европы*, — за балкон на пути следования царской процессии платили до трех тысяч рублей. Сестры Арсеньевы тоже отправились в Москву и очень веселились на разных балах. Валерия Владимировна, по-видимому, танцевала с какими-то флигель-адъютантами; было у нее платье не то цвета смородины, не то с украшениями в виде смородины, и что-то с этим платьем случилось, и о происшествии она написала тетушке Ергольской. В ответ Лев Николаевич послал ей письмо, в котором говорилось следующее^а:

„Сейчас получили *милое* письмо ваше... Я всеми силами старался удерживаться... от тихой ненависти, которую в весьма сильной степени пробудило во мне чтение вашего письма к тетеньке, и не тихой ненависти, а грусти и разочарования в том, что *chassez le naturel par la porte, il revient par la fenêtre*^б. Неужели какая-то смородина *de toute beauté*^в, *haute volée*^г и флигель-адъютанты останутся для вас вечно верхом всякого благополучия?.. Вы должны были быть ужасны в смородине *de toute beauté*, и поверьте, в миллион раз лучше в дорожном платье“.

„Любить *haute volée*, а не человека нечестно, потом опасно, потому что из нее чаще встречаются дряни, чем из всякой другой *volée*, а вам даже и невыгодно, потому что вы сами не *haute volée*, а потому ваши отношения, основанные на хорошеньком личике и смородине, не совсем-то должны быть приятны и достойны — *dignes*. Насчет флигель-адъютантов — их человек 40, кажется, а я знаю положительно, что только два не негодяи и дураки, стало быть, радости

*Об этом см. „Русскую старину“, № 38, стр. 16—22, письма баронессы Радеп и др. Иностранцев особенно поражал обед в Граповитой палате, где царь обедал на троне, а после первого блюда и первого бокала вина, по обычаю, сохранившемуся от Иоанна III, в зале могли оставаться только русские — все иностранные гости и дипломатический корпус во главе с герцогом Морни и лордом Гравиллем покинули палату, им обед подавался в другом зале.

^аВследствие недостатка места привожу из писем Толстого лишь отрывки.

^бТы его в дверь, а он в окоп (*фр.*).

^вПросто прелесть (*фр.*).

^гВысокий полет, положение (*фр.*).

тоже нет. Как я рад, что измяли вашу смородину на параде... Хотя мне и очень хотелось бы приехать в Москву, позлиться, глядя на вас, я не приеду, а пожелав вам всевозможных тщеславных радостей с обыкновенным их горьким окончанием, остаюсь ваш покорнейший, неприятнейший слуга гр. Л.Толстой“.

Казалось бы, преступления Валерии Владимировны были невелики; да и женихом-то Лев Николаевич был тогда еще не вполне, так что на такие нотации, быть может, не имел и права. Мы видим, однако, что в письме он сказал Арсеньевой все неприятное, что только мог сказать, — поговорил и о ней самой, и о ее платье, и даже о недостаточной знатности ее семьи. Сам Печорин не мог бы быть более неприятен в разговоре с княжной Мэри.

Инцидент со смородиной и флигель-адъютантами удалось замять, — Толстой почувствовал, что зашел слишком далеко. Затем Валерия Владимировна вернулась в Судаково. В дневнике появляются следующие записи:

„Приезжала m-ле Вергани (гувернантка Арсеньевых), по ее рассказам Валерия мне противна...“ (24 сентября). „Ездил к Арсеньевым. Валерия мила, но, увы, просто глупа...“ (25 сентября). „Была Валерия мила, но ограничена и фютильна* невозможно...“ (26 сентября). „Валерия нравилась мне вечером...“ (28 сентября). „Валерия не способна ни к практической, ни к умственной жизни. Я сказал ей только неприятную часть того, что хотел сказать, и потому оно не подействовало на нее. Я злился. Навели разговор на Мортье*, и оказалось, что она влюблена в него. Странно, это оскорбило меня, мне стыдно стало за себя и за нее, но в первый раз я испытал к ней что-то вроде чувства...“ (29 сентября). „Она страшно пуста, без правил и холодна как лед, от того беспрестанно увлекается...“ (1 октября). „Не могу не колоть Валерию. Это уж привычка, но не чувство. Она только для меня неприятное воспоминание...“ (8 октября). „Смотрел спокойно на Валерию, она растолстела ужасно, и

*От фр. futile — ничтожно. — Прим. ред.

*Пианист Мортье де Фонтен, у которого Валерия Владимировна брала уроки музыки.

я решительно не имею к ней никакого, дал ей понять, что нужно объяснение, она рада но рассеянно...“ (19 октября). „Поехал на бал. Валерия была прелестна. Я почти влюблен в нее...“ (24 октября). „Приехала Валерия. Не слишком мне нравилась, но она милая, милая девушка, честно и откровенно она сказала, что хочет повесть после истории с Мортье, я показал ей этот дневник, 25 число кончалось фразой: я ее люблю. Она вырвала этот листок...“* (27 октября). „Она была *для меня* в какой-то ужасной прическе и порфире. Мне было больно, стыдно, и день провел грустно, беседа не шла. Однако я совершенно невольно сделался что-то вроде жениха. Это меня злит...“ (28 октября). „Нечего с ней говорить. Ее ограниченность страшит меня. И злит невольность моего положения...“ (30 октября). „Она не хороша. Невольность моя злит меня больше и больше. Поехал на бал, и опять была очень мила. Болезненный голос и желание компрометироваться и чем-нибудь пожертвовать для меня. С ними поехали в номера, они меня проводили, я был почти влюблен“ (31 октября).

Решаю утверждать: в этих кратких записях только что появившегося дневника — новый Толстой! В них человек с неврастенической раздражительностью, „влюбленный“, чувства которого меняются каждый день, если не каждый час, в зависимости от платья, от прически, от случайного слова. И с этими-то, столь же несправедливыми, сколь резкими рассуждениями — „глупа“, „противна“, „отвратительна“ — он стал женихом и писал невесте милые, нежные, иногда восторженные письма! „Увлечение“ свое он изобразил в повести о любви, силой поэзии преобразив почти все. Теперь и некоторые главы „Войны и мира“, „Анны Карениной“ придется читать по-иному: мы ведь больше не знаем, что сказали бы в дневниках о Китти — Левин, и о Наташе — князь Андрей.

В искренности же Льва Николаевича сомневаться не приходится; он был искренен в каждую отдельную минуту. У Печорина тоже бывали минуты, когда он чувствовал себя почти влюбленным в княжну Мэри.

* Действительно, записи от 25-го числа в дневнике нет.

IV.

Став полуофициально женихом В.В.Арсеньевой, Толстой все же решил уехать на некоторое время в Петербург, „чтобы их чувства могли быть проверены“. Его чувства, действительно, нуждались в проверке.

Покинул он Ясную Поляну 31 октября 1856 года и на следующий день в дороге записал: „Думаю только о Валерии...“ 2 ноября из Москвы он послал невесте длинное письмо. Но уже 4 ноября в дневнике появляется следующая запись: „Костинька (Иславин) нагнал на меня тоску по случаю Валерии. О ней я думаю поменьше; но испытываю тоску невыразимую везде...“ Мы не знаем в точности, что именно мог ему сказать Иславин; однако Лев Николаевич и до этой беседы находился в мрачном, раздраженном состоянии духа. 3 ноября в дневнике записано: „Обедал у Боткина. Григорьев и Островский, я старался оскорбить их убеждения. Зачем? не знаю...“ В самом деле, к Аполлону Григорьеву и особенно к А.Н.Островскому он вообще относился хорошо.

Приехав в Петербург, Толстой, по собственным его словам, написал Арсеньевой „злое письмо“, он ревновал ее к Мортье. Этого письма он не отправил — послал другое, — оно, впрочем, тоже едва ли могло порадовать Валерию Владимировну: „Сейчас написал было вам длинное письмо, которое не решился послать вам, а покажу когда-нибудь после. Оно было написано под влиянием ненависти к вам...“ Последние слова Арсеньева, очевидно, должна была принять как шутку.

Затем записи о невесте становятся в дневнике краткими и редкими. „Видал во сне вальс с Валерией...“ (10 ноября). „Написал крошечное письмо Валерии, думаю о ней очень...“ (11 ноября). „С Трусоном приехал домой, он отсоветывает жениться, славный человек...“ (11 ноября). — Оттого ли славный человек, что не советует жениться?

По-видимому, в Москве Толстой узнал (вероятно, именно от Иславина), что увлечение Валерии Владимировны французским музыкантом было несколько

более сильным, чем он думал. Письма становятся холоднее. В первом письме (до разговора с Иславиным) он говорил: „Я уже люблю в вас вашу красоту, но я только начинаю любить в вас то, что вечно и всегда драгоценно — ваше сердце, вашу душу... Я берегу чувство, как сокровище, потому что оно одно в состоянии прочно соединить нас во всех взглядах на жизнь, а без этого нет любви... Мы только верим друг другу; я иногда, глядя на вас, готов согласиться, что *il n'y a rien de plus beau au monde qu'une robe brodée d'or**, но не согласны еще во многом... Я вас вспоминаю особенно приятно в 3-х видах: 1) когда вы на бале попрыгиваете как-то наивно на одном месте и держитесь ужасно прямо, 2) когда вы говорите слабым болезненным голосом, немножко с кряхтением и 3) как вы на берегу Грумантского озера в тетенькиных вязаных огромных башмаках закидываете удочку... Нет ли у m-lle Vergani вашего лишнего портрета?“

Тон письма из Петербурга от 8 ноября уже иной. „Отдавайте себе искренний отчет в своих чувствах и со мной будьте искренни самым невыгодным для себя образом. Рассказывайте все, что было и есть в вас дурного. Хорошего я невольно предполагаю в вас слишком много. Например, если бы вы мне рассказали всю историю вашей любви к Мортье с уверенностью, что это чувство было хорошо, с сожалением к этому чувству и даже сказали бы, что у вас осталась еще к нему любовь, мне бы было приятнее, чем это равнодушие и будто бы презрение, с которым вы говорите о нем и которое доказывает, что вы смотрите на него не спокойно, но под влиянием нового увлечения. Вы говорите и думаете, что я холодно равнодушен; да не дай Бог вам столько и так тяжело перечувствовать, сколько я перечувствовал за эти пять месяцев...“

Если судить только по его письмам, Валерия Владимировна заблуждалась: „холодно равнодушен“ он не был. После холодка в письме от 8 ноября (это можно объяснить ревностью), его письма вновь становятся ласковыми, нежными, полными любви. „Вы милая, точно милая, ужасно милая натура, — пипет Лев

*В мире нет ничего прекраснее платья, тканного золотом (*фр.*).

Николасвич. — Особенное чувство мое к вам, которое я ни к чему не испытывал, вот какое: как только со мной случается маленькая или большая неприятность — неудача, щелчок самолюбию и т.п., я ту же секунду вспоминаю о вас и думаю — „все это вздор, там есть одна барышня, и мне все ничего...“. „Ради Бога, не придумывайте своих писем, не перечитывайте, вы видите — я, который мог бы щеголять этим перед вами, — а неужели вы думаете, что мне не хочется кокетничать перед вами? — я хочу щеголять перед вами честностью, искренностью; а уж вам надо тем паче, — умнее вас я знаю много женщин, но честнее вас я не встречал. Кроме того, ум слишком большой противен, а честность чем больше, полнее, тем больше ее любишь. Видите, мне так сильно *хочется любить вас* (подчеркнуто мной. — М.А.), что я учу, чем заставить меня любить вас...“ Он начинает называть ее: „милый друг, Валеренька“ и „голубчик“, ставит в письмах длинный ряд точек и поясняет: „Точки означают разные нежные имена, которые даю вам мысленно“.

Во всяком случае, теперь он пишет Валерии Владимировне как жениху, — обсуждает даже с ней их будущий бюджет. „Знаете ли вы, что такое 3800 руб. в Петербурге? Для того, чтобы с этими деньгами прожить 5 месяцев в Петербурге, надо жить в 5-м этаже, иметь 4 комнаты, иметь не повара, а кухарку, не смей думать о том, чтобы иметь карету и поплиновое платье с point d'Alençon* или голубую шляпку, потому что такая шляпка jurega* со всей остальной обстановкой. Можно с этими средствами жить в Туле или Москве, и даже изредка блеснуть перед Лазаревичами, но за это — мерси. Можно также и в Петербурге жить в третьем этаже, иметь карету и point d'Alençon, и прятаться от кредиторов, портных и магазинщиков, и писать в деревню, что все, что я приказал для облегчения мужиков, это вздор, а тяни с них последнее, и потом самим ехать в деревню и со стыдом сидеть там годы, злясь друг на друга; и за это — мерси. Я испытал это. — Есть другого рода жизнь на

*Алапсолское кружево (фр.).

*Не будет гармопировать (фр.).

пятом этаже (бедно, но честно), где все, что можно употреблять на роскошь домашнюю, на отделку этой квартирki на 5-м этаже, на повара, на кухню, на вина, чтобы друзьям радостно было прийти на этот 5-й этаж, на книги, ноты, картины, концерты, квартеты дома, а не на роскошь внешнюю для удивления Лазаревичей, холопей и болванов...“

Эта картина „бедной“ жизни, с отделанной квартиркой, картинами, винами, с поваром, которого не то можно, не то нельзя будет иметь, и с лишениями вроде отсутствия алансонских кружев, теперь, конечно, вызывает у нас улыбку. Но столь определенные планы жизни не оставляют сомнения, что Лев Николаевич считает Арсеньеву своей будущей женой. Одно из следующих его писем начинается словами: „Сейчас получил ваше славное, чудесное, отличное письмо от 15 ноября. Не сердитесь на меня, голубчик, что я в письмах так называю вас. Это слово так идет к тому чувству, которое я к вам имею. Именно, голубчик... Не сердитесь, голубчик (ужасно весело мне вас так называть), за замечания, которые я вам сделаю: 1) Вы всегда говорите, что ваша любовь чистая, высокая и т.д. По-моему, говорить, что моя любовь высокая и т.д., это все равно, что говорить, что у меня нос и глаза очень хороши. Об этом надо предоставить судить другим, а не вам. 2) В отличном вашем дополнении плана жизни Храповицких (так почему-то они шутливо себя называли. — М.А.) нехорошо то, что вы хотите жить в деревне и ездить в Тулу. Избави Бог! Деревня должна быть уединением и занятием, про которые я писал в предпоследнем письме, и больше ничего. Но такой деревни вы не выдержите, а тульские знакомства порождают провинциализм, который ужасно опасен. Храповицкие сделаются оба провинциальными и будут тихо ненавидеть друг друга за то, что они провинциалы. Я видел такие примеры. Да, я к тетенке испытывал тихую ненависть за провинциализм главное. Нет-с, матушка, Храповицкие или никого не будут видеть, или лучшее общество во всей России, то есть лучшее общество не в смысле царской милости и богатства, а в смысле ума и образования. У них комнаты будут в 4-м этаже, но собираться в них будут самые замечательные люди в России. Избави

Бог вследствие этого быть грубыми с тульскими знаковыми и родными, но надо удаляться их — их не нужно; а я вам говорил, что сношения с людьми ненужными всегда вредны...“

Написано это 23 ноября. А вот что почти в то же самое время (25—29 ноября) он писал в дневнике:

„В зверинце барыня со сладострастными глазами... С ужасом думал о Валерии по случаю мины сладострастной барыни...“ „Получил глупо короткое письмо от Валерии, поехал к Ольге Тургеневой, там мне неловко, но наслаждался прелестным трио*. Заехал к Панаеву, он нагнал на меня тоску...“ „Получил письмо глупое от Валерии. Она сама себя надувает, и я это вижу насквозь, что скучно...“ „Написал холодное письмо Вальке...“ „О Валерии мало и неприятно думаю...“

Неискренности и тут не было, — повторяю, его чувства менялись каждый день. В „Юности“ Николаенька Иртенев рассказывает: „Я влюбился в Сонечку в третий раз вследствие того, что Любочка дала мне тетрадку стихов, переписанных Сонечкой, в которой „Демон“ Лермонтова был во многих мрачно-любовных местах подчеркнут красными чернилами и заложен цветочками. Вспомнив, как Володя целовал прошлого года кошелек своей барышни, я пробовал сделать то же и действительно, когда я один вечером в своей комнате стал мечтать, глядя на цветок, и прикладывая его к губам, я почувствовал некоторое приятно-слезливое расположение и снова был влюблен или так предполагал в продолжение нескольких дней“.

Сходство, разумеется, неполное, отдаленное. Неполным окажется и всякое объяснение: это был слишком сложный, необычайно сложный человек. С большим упрощением скажем, что он был влюблен, но не очень влюблен, готов был жениться, но не слишком к этому стремился. „Не любит, а любит любить...“

По его выражению, у Валерии Владимировны

*Бетховелским. Как сообщают редакторы примечаний, Толстой устраивал тогда музыкальные вечера и у себя. Боткин писал Тургеневу: „Один такой вечер был у Толстого. Для меня, который давно не слышал Бетховена, это было великим наслаждением... Толстой просто упивается им“.

была только одна соперница: литература. Писательская среда в Петербурге тогда встретила Толстого отлично. Он ей взаимностью не платил. Его ближайший литературный (да и личный) друг Дружинин, который тоже вел дневник, 8 ноября записал: „Приехал Толстой, к великой моей радости, и мы с ним были два дня неразлучны“. Великую радость Дружинина нужно считать односторонней — Толстой почти одновременно пишет: „Вечером Дружинин и Анненков, немного тяжело с первым...“ „В 4-м часу к Дружинину, там Гончаров, Анненков, все мне противны, особенно Дружинин, и противны за то, что мне хочется любить, дружбы, а они не в состоянии. Поехал за ними на извозчике к Кушелеву и отбился от них, чему был очень рад...“ „Собрание литераторов и ученых противно...“ „Литературная подкладка противна мне так, как ничто никогда противно не было...“

Не знаю, что он разумел под „литературной подкладкой“, — кажется, писательскую среду и торг с издателями и редакторами. Но свое творческое дело в те времена (да, собственно, и до конца дней) он любил страстно. Его дневники свидетельствуют об этом на каждой странице. „Я никого не видел женщин, — пишет он невесте, — нигде не был и, la main sur la conscience*, могу сказать, что в эти 3 недели ни одна женщина не обратила моего внимания нисколько. Зато вашей главной соперницей — литературой — во все это время я занимался много и с удовольствием...“ Сообщая Арсеньевой, что он обещал рассказ в „Отечественные записки“, Толстой добавляет: „Я написал, но сам недоволен, чувствую, что надо переделать, некогда и я не в духе, а все-таки работаю. С одной стороны, надо держать слово, с другой, боюсь уронить свое литературное имя, которым я, признаюсь, дорожу очень, почти так же, как одной вам известной госпожой. Я в гадком расположении духа, недоволен собой, поэтому всем не свете, злюсь, зачем я давал слово, хочу работать над старыми — отвращение, и, как на беду, лезут в голову новые планы сочинений, которые кажутся прелестны...“

*Положа руку на сердце (*фр.*).

V.

Жюль Ренар когда-то писал о людях, требующих, чтобы в жизни и в литературе все всегда хорошо кончалось: „Они желали бы выдать Жанну д'Арк замуж за Карла VII“. Печоринский роман Толстого не кончился браком; но едва ли и брак оказался бы в этом случае счастливой развязкой. Убедившись в своей ошибке, Толстой положил конец роману. Он и не мог поступить иначе.

С нынешней стороны — это был, пожалуй, вариант на тему знаменитых стихов Генриха Гейне: „Nun ist es Zeit dass ich mit Verstand — Mich aller Thorheit entled'ge. — Ich habe so lang als Komödiant — Mit Dir gespielt die Komödie...“ По существу это совершенно не так. „Комедии“ не было. Была тяжкая ошибка. Толстой, по-видимому, думал, что ошибался в Валерии Владимировне. В действительности он ошибался относительно самого себя.

Быть может, некоторую роль сыграла в деле и ревность (все в прошлом, к тому же платоническому увлечению Арсеньевой французским музыкантом Мортье). Но, кажется, большого значения ревности тут приписывать не приходится: в письмах к Валерии Владимировне о Мортье говорится гораздо больше, чем в дневнике.

Странные фразы, противоречившие общему характеру их отношений и всему тону переписки, были и в более ранних письмах Льва Николаевича. Но с декабря в его письмах меняется все. В одном из них он даст Валерии Владимировне советы просто как приятель или даже как добрый знакомый... Она скучает? Она не знает, что с собой делать? Да мало ли что можно делать! „Поезжайте за границу, выходите замуж, подите в монастырь, заройтесь в деревню...“ Вероятно, этот тон старательно прикрывал и раздра-

* „Довольно! Пора мне забыть этот вздор. — Пора мне вернуться к рассудку. — Довольно с тобой, как искусный актер, — Я драму разыгрывал в шутку“. Превосходный перевод А.К.Толстого все же не вполне передает силу подлинника. Из дневников Льва Николаевича мы узнаем, что он в ту пору увлекался Гейне и даже переводил какую-то его балладу (какую именно, неизвестно; перевод до нас не дошел).

жение и чувство неловкости. 12 декабря Толстой пишет Арсеньевой откровенное письмо — самое замечательное в их переписке, чрезвычайно важное и для понимания характера Льва Николаевича вообще:

„Насчет вашего письма я думал вот как: или вы никогда не любили меня, что бы было прекрасно и для вас и для меня, потому что мы слишком далеки друг от друга; или вы притворились и под влиянием Женички, которая посоветовала вам холодностью разжечь меня. Мне кажется, что тут il y a du* Женичка. Mais c'est un mauvais moyen со мной, j'envisage la chose trop sérieusement pour que les petits moyens naïfs puissent avoir prise sur moi. Je vois depuis longtemps le fond de votre cœur“, и эти миленькие хитрости для меня не скрывают, а засоряют его.

Ну что же есть между нами общего? Смотря по развитию, человек и выражает любовь. Оленькин жених выражает ей любовь, говоря о том, как они будут целоваться; вы выражаете любовь, говоря о высокой любви; а меня хоть убейте, я не могу говорить об этих вздорах. Верьте еще одному, что во всех моих и ваших отношениях я был искренен сколько мог, что я имел и имею к вам дружбу, что я искренно думал, что вы лучшая из всех девушек, которых я встречал и которая ежели захочет, я могу быть с ней счастлив и дать ей счастье, как я понимаю его. Но вот в чем я виноват, и в чем прошу у вас прощения: это, что, не убедившись в том, захотите ли вы понять меня, я как-то невольно зашел с вами в объяснения, которые не нужны, и, может быть, часто сделал вам больно. В этом я очень и очень виноват; но постарайтесь простить меня... Мне кажется, что я не рожден для семейной жизни, хотя люблю ее больше всего на свете. Вы знаете мой гадкий, *подозрительный, переменчивый* характер, и Бог знает, в состоянии ли что изменить его. Нешто сильная любовь, *которой я никогда не испытывал и в которую я не верю*. Из всех женщин, которых я знал, я больше всех любил и люблю вас, но все это еще очень мало...“

*Замешала (фр.).

„Это со мной дурной способ действий. Я слишком серьезно смотрю на дело, чтобы на меня могли оказать влияние мелкие наивные средства. Я давно вижу глубины вашей души“. — Пер. с фр. авт.

В дневнике Толстого разрыв с Валерией Владимировной отразился мало. За два дня до отправки цитируемого выше письма он записывает: „От Валерии получил оскорбленное письмо и, к стыду, рад этому...“ Последние слова как будто усиливают печоринский характер его странного романа, но им большого значения придавать нельзя. 12 декабря — только несколько строк: „Утром поправил „Юности“ первую тетрадь, написал последнее письмо Валерии, гимнастика, обедал один у Дюссо... Мне очень грустно...“ Затем до Нового года об Арсеньевой в дневнике есть одно упоминание: „Встал поздно, получил длинное письмо от Валерии, это мне было неприятно...“

Und nun ich mich gar säuberlich
Des tollen Tands entled'ge...*

Как обычно бывает с людьми, только что пережившими горе, он становится добрее. Не решаюсь утверждать положительно, но кажется, суждения его о людях (не все, правда) в эти дни после разрыва становятся мягче и снисходительнее. Попадаются оценки почти восторженные, на которые он был скуповат в течение всей своей жизни: „Анненков прелестен...“ „Лир (так он, по-видимому, называл А.М.Тургенев) прелестен...“ „Столыпин прелестен...“ „Получил милое письмо от Тургенева...“ „Анненков ужасно мил...“ Толстой хвалит даже Чернышевского, которого всегда терпеть не мог: „Чернышевский мил...“ „Чернышевский умен и горяч...“ Более лестными становятся и его заметки о книгах, об искусстве. Так он в восторге от статей Белинского: „Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться...“ „Прочел прелестную статью (Белинского) — о Пушкине...“ „Статья о Пушкине — чудо. Я только теперь понял Пушкина...“

4 января он записывает: „Обедал у Боткина с одним Панаевым, он читал мне Пушкина, я пошел в комнату Боткина и там написал письмо Тургеневу, потом сел на диван и зарыдал беспричинными, но блаженными поэтическими слезами. Я репнительно счастлив все это время...“

*И теперь я совершенно скидываю с себя — всю эту суету...
(нем.)

*Это его письмо к И.С.Тургеневу не сохранилось.

„Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько“, — сказал он в старости. Может быть, этот день 4 января и надо включить в число счастливых. Для счастья тогда не было никаких внешних оснований, но о внешних основаниях не приходится и говорить при мысли о человеке со столь удивительной, переменчивой и тонкой нервной организацией. Во всяком случае, это был только день, быть может, связанный с чувством освобождения.

Печорин говорит: „Другой бы на моем месте предложил княжне *son œur et sa fortune**, но надо мной слово *жениться* имеет какую-то волшебную власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости, любовь! Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь, поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего...“

Толстой женился шестью годами позднее; быть может, 34 лет от роду испытал ту „сильную любовь“, в которую „не верил“ в молодости. Но с уверенностью мы этого не скажем.

Noch immer elend fühl' ich mich,
Als spielt ich noch immer Komödie...*

В сущности, он виноват был перед Арсеньевой немногим больше, чем Вронский виноват перед Китти. О „неблагородстве“ этой истории говорила гувернантка Арсеньевых мадемуазель Вергани, написавшая ему чрезвычайно резкое письмо, да еще кроткая тетушка Ергольская. Лев Николаевич отвечал тетушке:

„...Хотя я признаю себя виноватым в непоследовательности и признаю, что все могло произойти совершенно иначе, думаю, что я поступил вполне честно. Я не переставал говорить, что сам не знаю своего чувства к Валерии, но что это не любовь и что я считаю

*Свое сердце и свою судьбу (*фр.*).

*Доселе болит еще сердце мое — Как будто играю я драму. — *Пер. с нем. авт.*

необходимым себя испытать. Испытание выяснило мне мою ошибку, я это и написал Валерии со всей искренностью. Кроме того, наши отношения были так чисты, что воспоминание о них, я уверен, не будет никогда ей неприятно, если она выйдет замуж. Поэтому я написал ей, что желал бы, чтобы она писала мне... Пусть бы мадемуазель Вергани, написавшая мне столь нелепое письмо, соблаговолила вспомнить все мое поведение в отношении Валерии, вспомнить, что я старался приходить возможно реже, что она сама меня просила бывать чаще... Я уверен, что в Туле меня считают величайшим чудовищем...“

Письмо это с легкой, печоринской, попыткой перейти в моральную контратаку (надо, впрочем, помнить, что оно было совершенно конфиденциально и адресовано человеку очень близкому и надежному), довольно верно передавало внешнюю сторону романа. В последнем же письме к самой Арсеньевой Толстой ни в какие контратаки не переходил, признавал свою вину и просил у нее прощения. Привожу это светское, джентльменское, довольно холодное письмо, отправленное им из Парижа 20 февраля (4 марта) 1857 года:

„Письмо ваше, которое получил нынче, любезная Валерия Владимировна, ужасно обрадовало меня. Оно доказало мне, что вы не видите во мне какого-то злодея или изверга, а просто человека, с которым чуть было вы не сошлись в более близкие отношения, но к которому вы продолжасте иметь дружбу и уважение. Что мне отвечать на вопрос, который вы мне делаете: почему? Даю вам честное слово (да и к чему честное слово, я никогда не лгал, говоря с вами), что перемене, которую вы находите во мне, не было никаких причин. Да и перемены, собственно, не было. Я всегда повторял вам, что не знаю, какого рода чувство я имел к вам, и что мне всегда казалось, что что-то не то. Одно время, перед отъездом моим из деревни, одиночество, частые свидания с вами, а главное, ваша милая наружность и особенно характер, сделали то, что я почти готов был верить, что влюблен в вас, но все что-то говорило мне, что не то, что я и не скрывал от вас, и даже вследствие этого уехал в Петербург. В

Петербурге я вел жизнь уединенную, но, несмотря на то, одно то, что я не видал вас, показало мне, что я никогда не был и не буду влюблен в вас. А ошибиться в этом деле была бы беда и для меня и для вас. Вот и вся история. Правда, что эта откровенность была неуместна. *Я мог делать опыты с собой*, не увлекая вас; но в этом я отдал дань своей неопытности и каюсь в этом, прошу у вас прощения, и это мучает меня; но не только бесчестного — в скрытости меня упрекать нельзя.

Что делать, запутались, но постараемся остаться друзьями. Я с своей стороны сильно желаю этого и все, что касается вас, будет сильно интересоваться меня. Верганичка в своем письме поступила как отличная женщина, чем она никогда не перестанет для меня быть, то есть она поступила не логически, но горячо, так как она любит.

Я вот уже две недели живу в Париже. Не могу сказать, чтобы мне было весело, даже не могу сказать, чтобы было приятно, но занимательно чрезвычайно. Скоро думаю ехать в Италию. Как вы поживаете в своем милом Судакове? Занимаетесь ли музыкой и чтением? Или неужели вы скучаете? Избави Бог, вам этого не следует делать. Французы играют Бетховена, к моему великому изумлению, как Боги, и вы можете себе представить, как я наслаждаюсь, слушая эту *musique d'ensemble**, исполненную лучшими в мире артистами.

Прощайте любезная соседка, от души жму вашу руку и остаюсь вам истинно преданный гр. Лев Толстой“.

Он встретился с Валерией Владимировной после года разлуки, в сентябре. Записи его о ней после этой встречи имеют вполне печоринский характер. Не привожу их. Тогда же он пишет: „Боже, как я стар! Все мне скучно, ничто не противно, даже сам себе ничего, но ко всему холоден. Ничего не желаю, а готов тянуть, сколько могу, нерадостную лямку жизни. Только зачем не знаю...“ — Зачем?..

„О своем писанье решил, что мой главный порок — робость. Надо дерзать“. „Петербург сначала огорчил,

*Музыка, исполняемая ансамблем (фр.).

а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала, или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился; но теперь я спокоинсе, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а там, что хочет говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь...“

Это было его „*quo non ascendet*“*. Он думал о своих несказанно прекрасных „Кзаках“.

* „Чего он только не достигнет“ (*лит.*). — Девиз Фуке, написанный на его гербе под белкой. — *Прим. ред.*

Из записной книжки 1918 года

(Отрывки)

День первой годовщины февральской революции. Усталый шахматный игрок с сумрачным интересом разбирает потерянную партию, отыскивая роковую ошибку. Для чего? Вероятно, для теории. Игра, однако, еще не кончена: ведь не последняя партия.

Говорят, русский человек задним умом крепок. Это было бы еще не так плохо, если б было верно: все-таки некоторая гарантия для будущего. Но, кажется, поговорка преувеличивает: особых проявлений заднего ума у нас пока незаметно.

Впрочем, открывается „Просветительное общество 27 февраля“, — с участием почти всех видных деятелей прошлого года. Русская революция, начавшаяся с освобождения Вселенной, переходит к просветительному обществу. От „воззвания к народам всего мира“ мы — какую ценою — пришли к букварю.

Самая достойная, но и самая скучная в мире страна имеет смелость называть себя „вселою Англией“. Наша родина, где творятся нигде, кажется, не виданные и не слыханные ужасы, носит кличку „святой Руси“.

Странная это, однако, „гражданская война“, и не сразу поймешь, по какому логическому принципу делятся в ней стороны: большевики сражаются с украинцами, поляки с ударниками, матросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. По-видимому, люди воюют с кем попало — по соображениям географического удобства. Одним Марксом здесь ничего не объяснишь. Нужно еще обратиться и к психиатрам. „Не все сумасшедшие находятся в лечебнице“ — утверждает итальянская поговорка.

Прежде у нас классовая борьба осложнялась некоторой застенчивостью: самое подлинное купечество

почему-то занималось мимикрией под „внеклассовую интеллигенцию“, а добрая часть настоящей внеклассовой интеллигенции гримировалась под рабочий пролетариат. Возможны осложнения всякого рода и в близком будущем. Так, люди, очень довольные внешней политикой Троцкого, вероятно, не простят ему того, что он распял Христа.

„Проклятые буржуи...“ — Что ж, „les sales boches“* и „Gott, strafe England“** не намного умнее. Тупость, одно из самых мощных проявлений человеческой энергии, следует, по-видимому, основному общему закону: ее количество в мире неизменно, она только меняет форму.

По простодушному выражению Шиллера, „физический человек реален, а моральный только проблематичен“. Что и говорить, проблематичен, все более и более проблематичен. Уже три года „человечество идет *назад* и мы в первых рядах“. Логически всегда будет трудно объяснить, почему отрубили голову Тропману, если Вильгельм и Ленин умрут естественной смертью.

Разумеется, все, что делается, есть чистейшая импровизация. Чего стоит, по замыслу и подготовке, этот поход на капиталистический строй: сегодня одно, завтра другое! Заранее подготовленные позиции всегда найдутся (в Швейцарии?), а Россия все стерпит. Так на статус Тюргона слепой ведет парализованного.

Прежде мы утешались формулой, *оставленной нам Пушкиным* (это обычно забывают): „чем хуже, тем лучше“. Теперь нет и этого слабого утешения. Теперь чем хуже, тем хуже.

Утешения не видно, однако бывают и довольно бессельные минуты. В газетах краткая телеграмма: „Император Вильгельм пожаловал Железный Крест генералу Маннергейму...“ Говорят, прекрасный генерал и очень смелый человек. Судьба сыграла с ним злую шутку. Теперь он поистине самый заслуженный воин в истории: *за одну войну* получил и орден св. Георгия, и орден Железного Креста.

* „Грязные боши“ (фр.).

** „Боже, покарай Англию“ (нем.).

Хотел поставить восклицательный знак, но воздержался. „В философии удивление признак ума“, — говорит старинный мыслитель. В политике удивление скорее признак глупости. Поэтому утешительно хоть то, что вызвать его становится из года в год господам политикам все труднее.

„Народные комиссары“, „революционный трибунал“, „декларация прав трудящихся“... Почти все революции XIX и XX столетий подражали образцам 1789—1799 годов, и ни один из переворотов, происходящих регулярно два раза в год в Мексике, не обошелся без своего Робеспьера и без своего Бабефа. Любопытно, что образцы, в свою очередь, не блистали особой оригинальностью, и тот же Бабеф, который по паспорту прозаически назывался Франсуа Ноэлем, окрестил себя сперва Камиллом, а затем Гракхом. Тогда был в моде Древний Рим.

Правда, герои Великой революции играли премьеру. И, надо сказать, играли ее лучше. Есть жрецы и жрецы. Есть Прометей и есть Калхас. Нельзя сказать с уверенностью, что в кофейнях Женевы туристам XXI столетия будут показывать столик комиссара Троцкого, как в парижском кафе „Прокоп“ гордятся столом Робеспьера. Но так грандиозен фон, на котором действуют эти пигмеи, и так велика власть исторической перспективы, что, быть может, и вокруг народных комиссаров создастся героическая легенда. История терпела и не такие надругательства над справедливостью, над здравым смыслом.

Doch werden sich Poete finden
Der Nachwelt deinen Ruhm zu kuenden,
Durch Thorheit zu entzünden*.

„В нашем коммунистическом государстве безграмотность будет искоренена беспощадно!“ — Этот полумный человек — подлинный юморист, и сам этого совершенно не замечает.

Так Кампанелла триста лет тому назад, перечисляя преимущества коммунистического строя солариев, с восторгом предсказывал, что граждане „Государ-

*Однако пайдутся поэты, — Которые провозгласят твою славу в будущей жизни — И безумием воспламят ее (нем.).

ства Солнца“ будут менять белье не менее одного раза в месяц. Это ему, по тем временам, казалось идеалом чистоты и гигиены.

Меньшевик-интернационалист убедительно доказывал мне губительность большевистских действий для России, Европы, человечества, свободы, демократии и социализма. Я совершенно с ним соглашался.

— Какой же выход из положения при создавшейся конъюнктуре? — спросил он.

Я отвечал, как умел. *Medicamenta*, наверное, *non sanant*. Может быть, *ferrum sanat*?*

— Ни в коем случае! — ужаснулся он. — Социализм погибнет, если они будут раздавлены силой.

В этом тоже была небольшая доля правды (правда, очень ничтожная). Тем не менее я считал возможным изложить меньшевику-интернационалисту следующий эпизод из жизни Бодлера, рассказанный Анатолем Франсом:

Знакомый поэта, морской офицер, показывал ему однажды изображение идола, вывезенное из диких земель Африки. Показав фигуру, офицер непочтительно бросил ее в ящик.

— Берегитесь, — с ужасом воскликнул Бодлер. — Что, если это и есть настоящий Бог? .

Я не догадался, а следовало бы напомнить завет их же собственного учителя (не совсем учтиво ни разу не назвать имя Маркса в политическом разговоре с меньшевиком): с трибуны парламента не грозить гражданской войной, а в пору гражданской войны не вести себя парламентарно.

Разговор был, впрочем, чисто теоретический и совершенно бесполезный: этот враг большевиков (искренний) нутром (а не умом) никогда не забудет, что в эмиграции годами каждый вечер попивал пиво с Лениным.

В ясном уме этого человека все было предусмотрено: концентрация капитала, хроническое перепроизводство товаров, наконец, экспроприация экспроприаторов. Правда, с „категорией времени“ выходили не раз неловкости. Последняя, кажется, случилась с Эн-

*Лекарство не лечит. Железо лечит? (лат.)

гельсом, который ровно тридцать лет тому назад уверял, что „царское правительство этот год уже не протянет, а когда в России начнется — тогда ура!“. Но недоразумения с категорией времени не могли подорвать теорию. И вдруг из „тупика перепроизводства“ нашелся, в июле 1914 года, второй, запасной выход „на случай пожара“. Вместо обобществления ценностей произошло их разрушение, невиданное и неслыханное.

Жорес сказал в одну из тяжелых своих минут: „социализму достанется в наследство слишком развращенный мир“. До наследства еще далеко. В частности, у нас в России единственным орудием производства является в настоящее время штык. В сущности, пугачевщина XVIII века открывала перед нами почти такие же „экономические предпосылки социализма“, как пугачевщина нынешняя. Не говорю о предпосылках не экономических. Наша республика только полустолетием отделена от крепостного права. У Ленина есть современники, отцы которых лично знали Аракчеева.

Недурно предсказывали и другие. Читаю старых классических писателей. Сколько пророчеств, и хоть бы одно сбылось.

Вот и Тютчев, например, тоже „предсказывал“:

„Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — Революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны; существование одной из них равносильно смерти другой. От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества“.

К этому предсказанию скифский писатель Иванов-Разумник добавляет следующее талантливое послесловие:

„Да, подлинно величайшая здесь историческая углубленность, и ни слова не можем мы выбросить из вдохновенного прозрения Тютчева. Одно лишь: за три четверти века, прошедшие с тех пор до сегодняшнего

дня, Россия и Европа поменялись местами. Тогда — Россия стояла на страже старого мира против всей революционной Европы, теперь — старая Европа стоит на той же страже против революционной России“.

Это „одно только“ чудесно. Поэт предсказал. „Одно только“ — в действительности случилось нечто прямо противоположное. Но комментатор-скифф все же видит здесь величайшую углубленность и вдохновенное прозрение. Поистине, поэты без риска могут предсказывать что угодно.

„Царь Иван Васильевич кликал клич: кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку при них? По трое суток кликал он клич — никто не являлся. Приходит Борма-ярыжка и берется исполнить царское желание. После тридцатилетних скитаний он, наконец, возвращается к московскому государю, приносит ему Вавилонского царства корону, скипетр, рук державу и книжку и в награду просит у царя Ивана только одного: дозвожь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках“.

Владимир Соловьев видит в этой легенде „не лишнее знаменательности заключение для обратного процесса народного сознания в сторону диких языческих идеалов“... — Какис уж тут идеалы? А если идеалы, то почему „языческие“? Римский сенат, бесспорно языческий и по-язычески встретивший известие о битве при Каннах, ничего ни в каком отношении не теряет по сравнению с самобытным советом рабочих и солдатских депутатов, который так дружно аплодировал сообщению о Брестском договоре.

Что до самой легенды, то она не только „не лишена знаменательности“, но исполнена грозного смысла, раскрывшегося во всей полноте лишь в настоящие дни. Борма-ярыжка, став владыкой, осуществил давнишнюю мечту — немедленно отправился в кабак, бросив на произвол судьбы и корону, и скипетр, и рук державу, и книжку. В особенности книжку.

Да, демократической идее придется у нас пережить нелегкое время, она, по-видимому, пришла в некоторое противоречие сама с собой. Опыт нам показал, что массам в достаточной мере чуждо уважение к чужому праву, к чужой мысли, к чужой свободе.

Интеллигенция воссоздавала народ из глубин собственного духа, вроде как Врубель писал Гамлета с самого себя. Плохо ли, хорошо ли, мы сеяли „разумное, доброе, вечное“. Но услышали мы в ответ не „спасибо сердечное“, а нечто совершенно другое. Я не забуду окровавленных тел Кокошкина и Шингарева в мрачной часовне больницы. Буду вечно помнить и мучительные их похороны, глухую враждебность многотысячной петербургской толпы...

Все же *это* ничего не доказывает. Легко сказать „демократия обанкротилась“. Надо бы еще „внести конкретное контрпредложение“ — и притом контрпредложение хорошее. Его что-то не видно. Все другое обанкротилось много хуже. Не осталось более и келий для „идейных одиночек“: со всевозможных Монбланов ныне спускаются „в долину“ самые великолепные отшельники. Наши Штокманы и Заратустры записались в реакционные партии — только и всего. Такова старинная традиция послереволюционных периодов.

На практике у нас Бакунин временно восторжествовал над Бернштейном. Но в теории Бернштейн наголову разбил Бакунина.

Что будет дальше, мы не знаем. Политические истины, подобно радиоактивным элементам, испускают свет лишь в течение определенного времени. Однако в свете первых тысячелетий истории пока лучший выход — демократия. В этом ее скромное оправдание. Не нужно ни поминок, ни апофеоза.

От идей *той*, февральской революции, нам отказываться не приходится. На трудном ее пути одни ошибались больше, другие меньше. Одни могут говорить „*mea culpa*“, другие „*mea maxima culpa*“*. Независимо от ошибок, над всеми нами тяготел неумолимо рок мировой войны. Ведь *ценой Бреста* могла сохранить власть и демократия. Много теперь людей, которые „с первого дня все предвидели“. Первый день мы вспоминаем ясно, но их предвидений решительно не помним. Нет ничего легче, чем предсказывать то, что было.

* „Моя вина“, „моя главная вина“ (лит.).

Из воспоминаний секретаря одной делегации*

I.

После совещания, которое состоялось в Яссах в конце 1918 года, три организации, действовавшие в ту пору на юге России (левая, правая и центральная), решили, частью по собственной инициативе, частью по настойчивому приглашению союзных послов в Румынии, отправить совместную делегацию в Париж и Лондон „для изложения положения дел в России“. В состав делегации входили: В.И.Гурко, К.Р.Кривоусков, П.Н.Милюков, А.А.Титов, С.Н.Третьяков и Н.Н.Шебеко.

Мы выехали из Одессы 3 декабря 1918 года на пароходе „Александр Михайлович“, который предоставило в распоряжение делегации одесское городское самоуправление. На пароход мы перебрались поздно вечером 2 декабря. Человек пятнадцать общественных деятелей, имевших за собой обязательный путь 1918 года: Петербург—Кисв—Одесса, — явились в порт провожать делегацию. Это могло считаться подвигом; в ту пору в Одессе прогулка ночью из порта в центр города была приблизительно равносильна путешествию в старину по Брынским лесам. Впрочем, предполагалось, что и делегация подвергается опасности: Черное море кишело минами, а команда „Александра Михайловича“ считалась неблагополучной по большевизму.

На минах пароход не взорвался, команда нас в море не выбросила, и на следующий же день мы увидели „минареты Константинополя“. Не стану описы-

*В задачу настоящего очерка не входит „политическая история“ названной делегации. Многого я вовсе касаться не буду; остановлюсь лишь на отдельных сценах из того, что припало увидеть во время этого путешествия. Отрывки из первых константинопольских глав уже были напечатаны несколько лет тому назад.

вать этих минаретов, — они в мировой литературе достаточно хорошо описаны. Марк Твен, который терпеть не мог писателей, изображающих „погоду“, раз навсегда выделил в особую брошюру все картины природы: летнее утро и зимний вечер, зеленые поля и тенистые рощи, фиолетовые облака и розовые закаты, — и в сносках всякий раз отсылал к этой брошюре читателей: летнее утро — смотри описание на странице такой-то. Следуя этому примеру, я за константинопольскими минаретами отошлю читателей к романам современного французского писателя, который уверяет, что у него в крови Стамбул:

„J'ai Stamboul dans le sang“, — говорит этот писатель, родившийся, кажется, в Оверни.

На рейде Босфора стоял без признаков жизни низкий темный гигант „Иавус“ — рожденный „Гебен“ и более знакомый миру под своим первоначальным именем. Вокруг германского дредноута, кончавшего здесь свою бурную жизнь, стояли „Верньо“, „Дидро“, не помню какие еще жирондисты, монтаньяры и философы. Здесь же поблизости остановился и „Александр Михайлович“. Часа через полтора мы были в центре Константинополя, у Токатлиана. Мы шли к Токатлиану пешком. По дороге едва ли не из каждой витрины нам приветливо улыбалось лицо Венизелоса.

II.

Константинополь в декабре 1918 года представлял собой в политическом отношении довольно точную картину дома умалишенных. Незадолго до того было подписано перемирие в Мудросе, младотурецкий комитет „Единение и прогресс“ объявил себя распущенным, все три диктатора, Талаат, Энвер и Джемаль, бежали за границу, а для управления страной, к десятилетиям свободы и конституционного строя, был призван престарелый Тевфик-паша, бывший долгие годы любимым министром Абдул-Хамида. Тевфик-паша считался в то время самым подходящим человеком, как давний сторонник союзных стран и как враг младотурецкого режима. Но самые горячие его доброжелатели признавали, что великий визирь „не молод“.

Он был даже настолько не молод, что, представив султану список своего кабинета, включил в него несколько человек, которые, при разных достоинствах, имели существенный недостаток: они давным-давно умерли. Во время визита, сделанного русской делегацией великому визирю, дряхлый Тевфик-паша, осведомившись о национальности делегатов, радостно закивал головой и сразу перешел к делам: заговорил о Берлинском конгрессе, в котором принимал участие, о своих добрых друзьях, графе Шувалове и князе Горчакове, вспомнил и день вручения ему ноты, объявлявшей войну — войну 1877 года: Тевфик-паша был в ту пору дипломатическим представителем Турции в Петербурге.

К великому визирю делегация явилась с визитом из учтивости. Все прекрасно понимали, что никакой властью султанское правительство не обладает. Желающих приобрести по дешевой цене Константинополь было довольно много. Но вся власть принадлежала верховным комиссарам союзников, точнее, двум из них: французскому и английскому адмиралам. Политическая жизнь турецкой столицы определялась расхождением французских и английских интересов на Востоке и глухой (впрочем, не очень даже глухой) борьбой верховных комиссаров Англии и Франции. Всеобщий страстный и радостный интерес к проявлениям их длительной дуэли на шпильках — вот то, что бросалось в глаза каждому в Константинополе. Да еще весьма распространенное желание граждан Оттоманской империи отдаться, в защиту от друзей и наследников, под покровительство президента Вильсона, его многочисленных пунктов и еще более многочисленных долларов. Четырнадцать пунктов были тогда очень популярны во всем мире. Особенно страстно их защищала газета „Сербести“, орган молодых курдов.

Весть о приезде русской делегации вызвала в Пере необычайную сенсацию. Константинопольские конфереры*, видимо, очень истосковались по построчным, и делегатов, в особенности П.Н. Милюкова, буквально облепили интервьюеры. На следующий день газеты были полны сведений о панславистах, приехавших на

*От фр. confrère — собрат. — Прим. ред.

пароходе „Михайлович“. По обязанности секретаря делегации я заведовал прессой и составил коллекцию вырезок (преимущественно на французском языке). Большинство журналистов сходилось на том, что делегация едет в Париж требовать для России Константинополя. В одном из органов греческой печати (кажется, в „Неологосе“) появилась по этому случаю возмущенная передовая статья под грозным заглавием „Никогда!“. Греческий журналист с моральной, исторической и политической точек зрения опровергал притязания приехавших на „Михайловиче“ панславистов: Константинополь не должен и не будет принадлежать России — он должен и будет принадлежать Греции. Ибо греческая армия решила судьбы войны... Дальше следовали необычайно цветистые комплименты по адресу Венизелоса, который с самого начала все, решительно все предвидел. Сравнивался Венизелос с многими великими людьми, в частности с Юлием Цезарем, причем сравнение было не в пользу Юлия Цезаря.

Другой интервьюер сообщал, что панславист Милоков хитрил, скрывая истинные цели делегации; но зато интервьюеру удалось выяснить состав образумого Милоковым правительства: в правительство это должны были войти преимущественно социалисты-революционеры во главе с адмиралом Колчаком. Видное место и в милоковском правительстве, и в делегации занимали также Терещенко и какой-то Сербачов — так мы и не узнали, кто это, собственно, такой; может быть, это был отзвук генерала Щербачева? Еще какая-то газета установила, что во главе делегации, требующей Константинополь, стоит, собственно, князь Львов, но он путешествует инкогнито. Такую же осведомленность проявляла печать и в вопросах западноевропейских: так газета „Земан“ сообщала, что во Франции вспыхнула большевистская революция и что Пуанкаре бежал из Парижа.

Впрочем, смеяться над константинопольской печатью нам никак не годится: конечно, о турецких делах большинство из нас знало (и знает) никак не больше, чем турки о наших. В этом немедленно пришлось убедиться и мне. Я читал переводы газетных статей, разговаривал с неожиданно встреченным петербург-

ским знакомым, талантливым константинопольским журналистом К. И все яснее чувствовал, как трудно разобраться во всех этих двойных и тройных именах беев, пашей и эфенди и как трудно понять, что именно произошло в стране чудес, соединяющей Азию с Европой.

III.

В Константинополе, одном из прекраснейших городов на земле, мне случилось побывать три раза. Впервые я был там вскоре после падения султанского самодержавия. Я видел, таким образом, начало и конец царствования трагической партии младотурок.

В те далекие дни было упоение победы. Турецкая революция тоже была самой светлой, самой бескровной в истории. Впрочем, когда я приехал, на улицах уже перестали обниматься незнакомые люди и орлы больше не вились в небе над площадями Константинополя: по старинной традиции, освященной газетами, романами и даже учебниками истории, в особенно торжественные минуты в жизни народов в небе всегда взвизывает орел. На моей памяти, первый такой орел взвился в редакциях газет 17 октября 1905 года. Орлов больше не было, но в освобожденной столице был необыкновенный энтузиазм. Во всех витринах тогда тоже красовались портреты — не старика Венизелоса, а молодого Энвера: он председательствовал в историческом заседании комитета „Единение и прогресс“ в Салониках, когда было решено поднять восстание против Абдул-Хамида и двинуть на Константинополь младотурецкие дивизии. Турки братались с армянами, в газетах печатались пламенные статьи о великой, свободной, миролюбивой Оттоманской империи. Лозунг был брошен в июле 1908 года Энвером в его речи в салоницком „Сквере свободы“: „Самодержавие, произвол уничтожны! Нет больше в Турции болгар, греков, сербов, армян! Под этим синим небом все мы братья, все мы гордимся тем, что мы оттоманы!..“

Энвер давно погиб в бою, убиты Талаат и Джемаль, погибли Джавид, Назим, другие вожди младотурецкого движения. Болгары, сербы, греки отпали от Отто-

манской империи, и приобрели иной, ужасный смысл слова „нет более в Турции армян“, впоследствии повторенные Талаатом в его беседе с американским послом Моргентау.

Я никогда не видел вождей младотурецкой партии; но ее рядовых деятелей встречал в былые времена. Многие младотурки, большие и малые, проживали в качестве эмигрантов в Европе и делали, как водится, то, что теперь делаем мы, а до нас и до них делали немецкие, венгерские, польские эмигранты. Четверть века тому назад участие Ахмета-Ризы (по общему отзыву, честного и чистого человека) во всевозможных международных митингах, когда требовалось что-либо *flétrig**, было так же обязательно, как теперь речь Виктора Баша и письмо графини Ноайль (выражающей глубокое сожаление, что не может явиться *flétrig* лично).

Для чего турки ввязались в войну? Народ, разумеется, желал мира, — в этом трудно усомниться людям, наблюдавшим в Константинополе философское спокойствие, благодушие, вежливость турок. Родовая аристократия, презиравшая, как „плебсев“, и Энвера, и Талаата, и Джемалья, не хотела о войне слышать. По словам очевидца, великий визирь, принц Саид-Халим *плакал*, когда узнал о бомбардировке „Гсбеном“ Одессы, предпринятой без его ведома (четыре оттоманских министра подали в этот день в отставку). Из трех младотурецких диктаторов двое недолюбливали немцев, а третий (Джемаль) их ненавидел. Вдобавок и в победу Германии верили они далеко не твердо. Талаат, по крайней мере, был убежден, что союзный флот прорвется через Дарданеллы и превратит в развалины Константинополь. Войну младотурки вели с энергией истинно необычайной, твердо решив, в случае прорыва Дарданелл, „сжечь Константинополь, как русские сожгли Москву“, и взорвать на воздух св. Софию[†]. Не буду касаться и другого — того, о чем

*Заклеймить (*фр.*).

†Узнав об этом намерении властей, американский посол Моргентау отправился к великому визирю и протестовал во имя уважения к древнему искусству, бесценным сокровищем которого является св. София. Талаат с улыбкой ответил, что младотурки равнодушны к древнему искусству: „Мы предпочитаем стиль модерн“.

говорилось на берлинском процессе Соломона Телириана, убийцы Талаата-паши. Превращение радикальных интеллигентов, столпов разных Лиг прав, в то, чем стал во время войны комитет „Единение и прогресс“, всегда будет одним из самых непонятных явлений истории.

Впрочем, главного вождя, несмотря на его „убеждения“, трудно отнести к радикальной интеллигенции. Выходя из партийного комитета, Энвер-паша верхом уезжал в лес и там упражнялся в стрельбе из пистолета: он на глазах Моргентау всаживал в туза пулю за пулей (как известно, это искусство сыграло немалую роль в биографии Энвера). Говорили, что по взглядам Энвер „конституционалист английского толка“. Но как-то, в гневе, с турецкой парламентской трибуны он назвал председателя парламента „собакой“, что вряд ли соответствует традициям английского конституционного строя. Энвер не был турецким Наполеоном, каким его представляли когда-то. Он не был и вообще политическим деятелем. Это был Хаджи-Мурат — вероятно, единственный Хаджи-Мурат в новейшей европейской истории.

За несколько лет младотурецкого владычества Турция потеряла большую часть своих владений, потеряла Сирию, Аравию, Месопотамию, Палестину. В ту пору все были убеждены, что пришел конец и самому существованию независимого оттоманского государства. Наша делегация приехала из страны, жившей в крайне тяжелых условиях. Но судьба турок, разумеется, представлялась гораздо более трагической. Очень трудно было себе представить, как они могли бы выйти из своего отчаянного положения.

Спаситель Турции был не за горами.

IV.

Почти одновременно с нашей делегацией в Константинополь прибыл — не на собственном пароходе, а по-старинному, верхом на коне — тридцатисемилетний боевой офицер. Мы о его приезде ничего не знали; вероятно, и вообще не знал почти никто. Встречен он был без торжественности, без интервью, и газеты —

по крайней мере, газеты Перы — интересовались им, по-видимому, гораздо меньше, чем панславистской делегацией, так несправедливо покушавшейся на Константинополь. Между тем для судеб Турции приезд этого офицера имел некоторое значение. Это был Мустафа Кемаль.

В ту пору в Европе он был совершенно неизвестен. Даже много позднее посвященная ему — не в константинопольских газетах, а в Британской энциклопедии (издание 1922 года) — сухая маленькая заметка кратко сообщала, что он убит. Назло Британской энциклопедии и Британской империи Мустафа Кемаль оказался жив. Теперь у него есть биографы. Мы знаем, что он родился в Салониках в очень небогатой семье и был прозван в военной школе Кемалем за необыкновенные успехи в науках („Кемаль“ по-арабски значит „совершенство“). В ранней молодости он был замечен Абдул-Хамидом, который, недолго думая, отправил юношу в ссылку: кровавый султан обладал некоторым знанием людей. Мустафа Кемаль основал тайное общество „Родина“, сыгравшее огромную роль в истории турецкого освободительного движения. Из этого общества вышли и младотурки, впоследствии лютые враги Кемалю. Сам он долго оставался в тени. В пору революции 1908 года он был начальником штаба армии Махмут-Шевкета, которая первой вошла в Константинополь. Мало были тогда известны и его исключительные боевые заслуги в четырех войнах. По-видимому, он был душой знаменитой обороны Дарданелл (хоть очень велика была в ней и роль Энвера-паши*). В пору великой войны младотурецкий комитет запретил упоминать имя Кемалю в сообщениях генерального штаба. Говорили о нем только то, что он не берет взятку. Это считалось чудом.

Биография верить вообще не надо, это самый lively род литературы. Но если им верить, то про-

*Энвер-паша рассматривал дарданелльские бои как личное состязание между ним и Черчиллем, которому он когда-то в Лондоне доказывал неприступность дарданелльских укреплений. Теперь, кажется, военные историки находят, что укрепления эти отнюдь не были неприступны. Такого же мнения в 1915 году держался и сам Линал фон Салдерс, ожидавший падения Дарданелл с минуты на минуту.

грамма, с которой Мустафа Кемаль приехал после Мудросского перемирия в Константинополь, отличалась чрезвычайной простотой. Он желал продолжать войну! Могущественная Германия была разгромлена, на дарданелльских укреплениях хозяйничали враги, в Босфоре стояли английские и французские броненосцы, победоносные союзники диктовали свою волю миру, — а молодой генерал находил, что Турция может и должна продолжать собственными силами борьбу за самостоятельное существование. Он явился к Магомету VI и убеждал султана бежать в Малую Азию, с тем чтобы там формировать новую армию и бороться до конца в надежде на утомление союзных народов, на раздоры союзных правительств. Султан, естественно, послал к черту сумасшедшего офицера — и это стоило престола династии Османов. Гениальная идея Кемалья была единственным спасением для Турции.

Повторяю, нам, иностранцам, очень трудно разобраться в восточных событиях. Приходилось читать и слышать самые различные суждения о политике кемалистов. Но, кажется, из многочисленных врагов Кемалья никто не отрицает его необыкновенной энергии и дарований.

Внутренние реформы турецкого диктатора по их колоссальному размаху можно сравнивать только с реформами Петра Великого. Но Петр родился у трона; отец Кемалья был таможенным чиновником. В области внешней политики Мустафа Кемаль шел от успеха к успеху. Замечу, что он единственный из правителей Европы, неизменно побивавший большевиков их собственным оружием. Французы, немцы, англичане несли в сов. Россию свои капиталы и там их благополучно оставляли. Мустафа Кемаль ухитрился получать деньги от большевистского правительства, не оказывая ему никаких услуг. Он же сумел обратить против большевиков столь им удобное разграничение между уполномоченными советского правительства и деятелями Третьего Интернационала. Для европейских государств это разграничение стало настоящим бедствием. Мустафа Кемаль беспощадно расправлялся с попавшими на его территорию большевиками, всякий раз любезно заверяя Москву, что это были агенты

Третьего Интернационала: представителей дружественного московского правительства он, конечно, встретил бы с расprostертыми объятиями.

V.

Почти в каждом современном романе, изображающем русские дворянские гнезда, есть непременно „старинный дом с колоннами“. Это твердо установленная формула, — точно все помещики в России обладали именно такими домами. „Старинный дом с колоннами“ представляет собой и Блистательная Порты. Я думал, что она много блистательнее. Запущенные, грязноватые коридоры. Не слишком богато обставленные комнаты. От „восточного стиля“, в олеографическом представлении о Востоке, разве то, что вместо дверей везде висят портьеры. Скрывавшиеся за этими таинственными портьерами мирные чиновники Порты, кажется, не заваленные делами, необыкновенно предупредительно давали разные справки, точно были чрезвычайно рады, что вот и они для чего-то пригодились.

Мы побывали и в иностранных посольствах, у всех трех верховных комиссаров. Благодушный адмирал Уэбб очень оживленно, с видимым интересом, беседовал с нами о погоде. Штатский комиссар Италии (впоследствии министр иностранных дел) расспрашивал нас о большевиках и вздыхал, сочувственно кивая головой. Он был из знаменитого рода графов Сфорца, но, по-видимому, не унаследовал темперамента своих предков, родоначальников кондотьерства: это отчасти сказалось в дальнейшей политической карьере графа Сфорца. Гораздо интереснее был визит, сделанный делегацией французскому верховному комиссару. Старый адмирал Аметт в течение доброго часа вел с П.Н.Милюковым политический спор — и вел его тонко, умно, с совершенным пониманием того, что происходило в России.

В заключение интересной беседы делегация просила верховного комиссара визировать ее паспорта для проезда во Францию. Адмирал ответил столь же любезно, сколь уклончиво, ссылаясь на необходимость

запросить по телеграфу свое правительство. Я не стану рассказывать, почему французский комиссар в Константинополе был не слишком рад поездке, принятой делегацией по приглашению французского посланника в Румынии. Но любезности генерала было недостаточно для того, чтобы загладить уклончивость его ответа.

У одного из правых делегатов (у В.И.Гурко) было частное поручение: императрица Мария Феодоровна просила его передать письмо ее сестре, английской королеве. С этим письмом В.И.Гурко, тщетно прождав дня три результата телеграфных сношений адмирала Аметта с французским правительством, отправился снова к адмиралу Уэббу. При первом официальном визите всей делегации в британское посольство ничего не было сказано ни о письме к королеве Александре, ни об уклончивом ответе верховного комиссара Франции. По-видимому, и то и другое произвело сильное впечатление на адмирала Уэбба — второе, быть может, больше, чем первое. Британский адмирал немедленно и с чрезвычайной радостью предложил делегации ехать без всяких виз на английском военном судне „Героик“, которое как раз в этот вечер отходило к берегам Италии. Не решаюсь, конечно, предположить, что адмирал Уэбб специально отрядил для нас это судно с целью удружить своему французскому коллеге по управлению Константинополем. Сокращу несколько рассказ и не остановлюсь на дипломатических шагах, спешно предпринятых делегацией для того, чтобы смягчить неловкость в отношении адмирала Аметта. Скажу только, что приблизительно через час после разговора в гостиницу „Токатлиана“, к всеобщей сенсации, прикатил на огромном автомобиле сам адмирал Уэбб. За ним следовал еще другой огромный автомобиль. Английский адмирал так и сиял от радости. Его желание оказать услугу русским общественным организациям было настолько велико, что он собственноручно (в буквальном смысле слова) помогал делегатам переносить и укладывать вещи в казенные английские автомобили. Адмирал Уэбб отвез нас и на пристань, где готовился к отходу „Героик“. Нас поместили в каютах военного судна, любезно предоставленных нам британскими моряками. Так,

вследствие исторического соперничества двух великих западных держав, делегатам Союза Возрождения России помогал перевозить багаж представитель короля Георга V на Ближнем Востоке.

VI.

„Героик“ стоял где-то вблизи Дольма-Бахче, и мы еще видели под вечер волшебную громаду мраморного дворца. Солнце взошло, но огни не зажигались в Дольма-Бахче. На Босфор, кажется, выходит знаменитый Тронный зал, который, наряду с Николаевским залом Зимнего дворца, считается чуть ли не самым большим в Европе. Не горели огни и в других дворцах над Босфором, медленно погружавшимся в мрак. Эту картину забыть трудно. С незапамятных времен люди сходились на том, что нет прекраснее места для мировой столицы. Недаром говорит Нестор-потурченец в заключение своего замечательного труда, посвященного взятию турками Константинополя: „И седе беззаконный Магумет на престоле царствия благороднейша суща всех иже под солнце...“

„Героик“ отошел. Нас позвали обедать. Помню, обед был довольно скудный: я думал, что английские моряки живут роскошнее. На том же военном судне путешествовал знатный гость, молодой румынский принц, которого отправляли учиться в Англию. С ним были еще именитые румыны — не то свита принца, не то политическая делегация. Принц обедал отдельно; его спутники — с нами и с офицерами судна. Разговор не клеился. Говорили о погоде, о турецких папиросах, о том, что в стамбульской лавке Хаджи-Бекира продается лучший в мире рахат-лукум. Касались слегка и политики. Наши попутчики настойчиво, с несколько беспокойным видом объясняли, что румынские Гогенцоллерны не имеют ничего общего с прусскими. Это ни с чьей стороны возражений не вызывало: ничего общего, так ничего общего. Кто-то заметил, что Дарданеллы, конечно, протралены, но случайные мины попадают. Это не увеличило веселья. В десять часов все разошлись по каютам.

Мы запаслись в Константинополе книгами, — преимущественно немецкими, которых не видели четыре года. В книжных магазинах Перы их еще оставалось очень много. Пропаганда у немцев была поставлена образцово. Бертран Рассел утверждает, что во все времена военные и политические победы достигались при помощи пропаганды. Геродот состоял на жалованьи у афинского правительства; гвельфы побеждали гибеллинов потому, что папа в отличие от императоров организовал широкую сеть пропагандистов. О методах и правдивости военной пропаганды знаменитый английский философ высказывает весьма мрачные мысли. В самом начале мировой войны немцы распространили по всему свету фотографии, изображавшие „русские зверства в Восточной Пруссии“. Эти же самые фотографии затем показывали союзники с надписью „немецкие зверства в Бельгии“. „Самым мощным средством пропаганды, — пишет лорд Рассел, — является бесспорно кинематограф, ибо туда ходят люди, которые не способны даже читать газетные передовые. Ученые политические теоретики редко упоминают о кинематографе, так как о нем ничего не сказано ни у Аристотеля, ни у Монтескье. Тем не менее он представляет собой одну из величайших политических сил нашего времени“.

Стоили немецкие книги дешево; очевидно, их уже мало покупали: так как Германия проиграла войну, Гёте и Шопенгауэр понизились в цене.

Утром мы подошли к Дарданеллам. На палубе кто-то неопределенно показывал вдаль рукою и называл — быть может импровизируя — наиболее прославленные места пролива. Смесь новейшей истории с древней мифологией производила сильное впечатление. Кто только здесь не проходил и не воевал: Аргонавты и „Гебен“, Агамемнон и фон дер Гольц, Александр Македонский и Ян Гамильтон! „Вон там, слева, подалее, развалины Трои... Здесь место первого десанта англичан... Тут была стоянка Энвера-паши... Тот холм — гробница Ахилла...“ Румынский политик объяснял, что главной целью дарданелльской экспедиции было воздействие на Болгарию. На это намекает в своих воспоминаниях и Черчилль. „В Болгарии, — говорит он, — Стамболийский, пренебрегая

гневом короля Фердинанда, гордо направился в тюрьму, где провел много месяцев, *шепча имена Англии и России...*“ Последние слова надо, очевидно, признать случайной данью порыву красноречия: английский государственный деятель несколько не отличается наивностью.

Мифология в чистом виде ждала нас на Лемносе. „Героик“ почему-то здесь остановился, и делегация в полном составе отправилась погулять в глубь острова.

Читатели, вероятно, помнят миф, относящийся к Лемносу. Царь Филоктет, один из неудачных женихов Елены Троянской, обладал удивительными стрелами, завещанными ему Гераклом. Какая-то нимфа, обиженная Филоктетом, подослала к нему змею, которая, исполняя волю нимфы, с полной готовностью ужалила царя. Рана Филоктета издавала столь отвратительный запах, что его спутники по походу на Трою возроптали. Хитроумный Одиссей тотчас нашелся: он предложил коварно высадить царя на пустынный остров Лемнос. Так и было сделано. Филоктет оставался на Лемносе десять лет в полном одиночестве. Однако на десятом году оракул — с некоторым опозданием — разъяснил грекам, что без филоктетовых стрел невозможно взять Трою. Греки горько раскаялись. Хитроумный Одиссей тотчас нашелся опять: он предложил привезти Филоктета обратно. Посланная Гераклом делегация съездила на Лемнос и, преодолев отращение, доставила царя к стенам Трои. Все кончилось прекрасно. Врач Махаон сделал царю операцию. Филоктет убил Париса. Троя пала. Затем кто-то убил Филоктета и получил то же драгоценное наследство — стрелы Геракла... Это, кажется, наименее умный из всех мифов, оставшихся нам от „маленького рабовладельческого народца“, — так называл древних греков Толстой (одна из его фраз, о которых невольно сожалешь: зачем Толстой это сказал?). Перед грубой незстетичностью Филоктетовой истории остановился бы, вероятно, и Золя. Но Софокл сделал из нес высокий шедевр поэзии. Искусство всеильно.

Остров в древности назывался „пылающий Лемнос“. Вулкан, „кузница Гефеста“, давно провалился в море. Однако и без вулкана песчаная пустыня Лемно-

са очень мрачное место. Мы гуляли часа три, не видав ни одного дерева. Не видели мы и пещеры Филоктета, главной достопримечательности Лемноса. „Это будет сожаление моей жизни“, — как говорят по-русски учтивые французы.

VII.

Делегация должна была осведомить о положении дела в России также итальянское правительство. Но и Орландо, и Соннино в декабре 1918 года находились в Париже. Таким образом, задерживаться делегации в Италии было незачем, и мы пробыли в Риме лишь очень недолго. П.Н.Милюков, В.И.Гурко и А.А.Титов прочли доклады в русском посольстве, которым, в отсутствие М.Н.Гирса, также выехавшего в Париж, управлял г. Персиани. Со своей стороны делегаты просили их познакомиться с политическим положением Италии. Положение это было очень неблестящим.

О Муссолини тогда еще не говорили в Риме. Разумеется, в итальянских политических кругах его хорошо знали. Но широкой публике имя это было мало известно, как, конечно, и той части русской колонии, которая соприкасалась с посольством на виа Гаэта. Гораздо лучше он был известен эмигрантским революционным кружкам. Вся молодость Муссолини прошла среди русских революционеров, — его там звали „Бенитушка“. Официальные биографы итальянского диктатора вскользь сообщают, что он в молодости был влюблен в русскую революционерку Елену М. Некоторые биографы делают даже политические выводы из этой юношеской любви дуче. Так Маргарита Сарфатти в своей книге „Муссолини“, предисловие к которой написал сам диктатор, говорит несколько неожиданно: „Глава итальянского правительства сумел добиться результатов в переговорах с СССР, думаю, по той причине, что он на своем двадцатом году познал взбалмошную, увлекающуюся по пустякам русскую душу. Тот, кто любил женщину чужой страны, эту страну понимает“. Известна и долголетняя дружба, связывавшая Муссолини с г-жой Балабановой. По словам итальянского биографа, у нее Муссолини

встречал и самого Ленина. „Нельзя себе представить без волнения, — пишет Сарфатти, — эту бедную комнату Анжелики Балабановой в Цюрихе, хозяйку, впоследствии восседавшую в шелковых креслах Кремля, ее товарища с татарским обликом — ему суждено было стать могущественнее королей и императоров, ибо звали его Лениным — и бледного юношу, переводившего на итальянский язык Энгельса и Маркса, — юноша этот был дуче, Муссолини...“ Много лет спустя, в декабре 1919 года, Ленин, принимая в Москве делегацию итальянских коммунистов, мрачно ее спросил: „А что же Муссолини? Почему вы его потеряли? Жаль, решительный был человек. Вот кто привел бы вас к победе...“

Как бы то ни было, в ту пору, когда делегация приехала в Италию, другое имя было у всех на устах. Никаких личных воспоминаний у меня с ним не связывается, но читатели, быть может, извинят многочисленные отступления моей статьи.

VIII.

Все необыкновенно в Габриеле д'Аннунцио: и его талант, и его биография. Он стал известен пятнадцати лет от роду, выпустив первую свою книгу. Десятью годами позднее он был уже знаменитостью и в литературе и в обществе. Римская аристократия носила его на руках. Чуть ли не вся итальянская молодежь захлебывалась от восторга, повторяла стихи нового поэта, которого сравнивали с Альфьери и с Петраркой. Сам он скромно себя сравнивал с Леонардо да Винчи*, указывая, что лишь они двое в Италии сочетали в себе ум и гениальность.

Виктор Гюго, умирая, говорил: „Пора перестать загромождать собою свой век“ („Il est temps de désencombrer le siècle“). Д'Аннунцио с любовью повторял это изречение. В Италии многие считали его кандидатом на мировой пост, освободившийся со смертью Гюго. Другие, правда, считали его „королем шарлата-

* Дж. Папини писал не без досады, что д'Аннунцио признает только тех писателей, которые умерли по крайней мере пятьсот лет тому назад.

нов". В искусстве он был „неронианцем“, „сатанистом“, „богоборцем“ и писал с себя антихриста. Некоторые его произведения сделали бы честь комсомольцу. Одна из книг д'Аннунцио вызвала небывалый скандал. Кардинал Дженапи велел отслужить мессу во искупление того, что христианином в христианском государстве могло быть написано подобное произведение. В политике же д'Аннунцио был консерватором, даже реакционером — всякие сочетания бывают на свете. В 1897 году он был по реакционному списку избран в парламент и заседал три года на крайней правой скамье. Но однажды во время заседания, раздраженный речью единомышленника, он неожиданно порвал со своей партией и, к всеобщему изумлению, пересел на крайнюю левую скамью. Палата была вскоре вслед за тем распущена, и политическая карьера д'Аннунцио прервалась надолго.

Осталась частная жизнь. Ни для кого, впрочем, не тайна, что именно частной жизни д'Аннунцио в значительной мере обязан своей славой. Женщины сходили по нему с ума. О его бесчисленных романах и победах распространялись легенды. Самый шумный из этих романов — с величайшей артисткой Италии — доставил ему и европейскую известность. Быть „первым в Риме“ было так же недостаточно д'Аннунцио, как быть „первым в деревне“. Он хотел стать первым в Париже. Вдобавок кредиторы не давали ему покоя в Италии: на все его счета у издателей был наложен арест.

Габриель д'Аннунцио переселился во Францию и стал писать по-французски. К его французским стихам критика отнеслась без особого восторга. Но шум, романы, сенсации сопровождали д'Аннунцио повсюду. По общепринятому выражению, „перед ним открылись все двери“. Французские писатели не без иронии рассказывают о светских успехах итальянского собрата. Неподражаемо описал один из них (Купос) визит д'Аннунцио к Саре Бернар. „Он остановился как вкопанный в нескольких шагах от Сары и сказал точно в экстазе: „Belle!.. Magnifique!.. l'Annoncienne...“* Затем помолчал и добавил:

* „Красавица!.. Великолепая!.. Аннунциата!“ (Фр.)

„Bonjour, Madame“*. Сара была поражена, хоть, видит Бог, нелегко было удивить ломанием Сару Бернар.

Жил д'Аннунцио очень роскошно. Бони де Кастеллан, судья вполне компетентный, говорил, что только два человека умеют как следует швырять деньгами: он сам и д'Аннунцио. Как на беду, денег у д'Аннунцио было очень мало. Вернее, их совсем не было, и его положение становилось все более трудным. Французские лавочники упорно не поддавались чарам нерониической поэзии. Другой писатель с юмором рассказывал, как д'Аннунцио вышел по настойчивому требованию кредитора в переднюю и величественно приказал наглецу прийти через неделю, в ответ на что кредитор яросто орал: „On la connait, votre semaine, c'est celle de quatre jeudis!..“*

В 1914 году вещи д'Аннунцио были опечатаны судебным приставом. Вспыхнувшая война все изменила. Французское правительство распорядилось в спешном порядке освободить имущество знаменитого писателя-франкофила (Пьерфе, стр. 167).

Он вернулся на родину — и точно переродился. Его огромная роль в агитационной кампании, которая вызвала вмешательство Италии в войну, общеизвестна. Общеизвестна и храбрость, проявленная Габриелем д'Аннунцио на театре военных действий. На шестом десятке лет он пошел добровольцем в авиацию, дослужился до чина подполковника и был тяжело ранен. Перед его патриотизмом и самоотвержением склонились и многочисленные враги. Большой поэт, сорок лет изумлявший Италию, стал национальным героем.

Италия в 1915—1918 годах жила под гипнозом идей тайного договора, заключенного с союзниками перед ее вступлением в войну. По словам историка, народ, не имевший о Лондонском соглашении никакого понятия, был убежден, что тайный договор принесет ему какие-то необыкновенные, неисчислимые блага. Война кончилась — блага оказались маленькие. По крайней мере, таково было мнение итальянцев — президент Вильсон, напротив, находил чрезмерными сделанные Италии уступки. Разочарование было необычайное. Лондонский договор не давал Италии даже

* „Здравствуйте, мадам“ (фр.).

* „Знаю я вашу неделю, после дожличка в четверг!..“ (фр.)

Фиуме. И в силу сложного процесса, в котором массовая психология, быть может, сказалась сильнее, чем политические и экономические соображения, Фиуме стало „ударным требованием дня“. Оно облеклось в исторический лозунг „Фиуме или смерть!“. Как известно, лозунг этот имел громадное значение и в скалочной карьере Муссолини.

12 сентября 1919 года Габриель д'Аннунцио во главе небольшого отряда занял Фиуме и учредил новое Карнарское государство. Это неожиданное событие повергло в изумление мир. Овладев городом, поэт заперся на несколько дней у себя в кабинете и написал конституцию Карнарского государства. Конституция эта состоит из 65 статей. Фиумские граждане были разделены ею на десять корпораций, из которых десятую составляют люди, „улучшающие и украшающие человеческий род“. 14-я статья конституции утверждала основной символ веры Карнарского государства: „Жизнь прекрасна“. Статья 64 объявляла музыку „религиозным и социальным учреждением“. Законодательная власть принадлежала двум палатам, — им конституция вменяла в обязанность говорить возможно короче: „usando nel dibattito il modo laconico“ (замечу в скобках, статья неожиданная в устах д'Аннунцио, но по существу превосходная и заслуживающая подражания). Исполнительной властью наделены были семь ректоров, а также коллегия эдилов, поддерживающая красоту жизни, „заботливо избранная из людей тонкого вкуса и отличных способностей“ (ст. 63). В минуты особой опасности для государства вся власть — и законодательная, и исполнительная, и судебная — вверялась по конституции особому диктатору или коменданту. Надо ли говорить, что комендантом оказался сам поэт?

Будущий историк Парижской конференции должен будет отметить, что Карнарское государство существовало почти полтора года!.. Как же союзникам было свергнуть большевиков? В ответ на неудовольствие, высказанное участниками конференции итальянскому правительству, д'Аннунцио выпустил прокламацию, в которой говорил, что окажет отчаянное сопротивление всякой попытке удалить его из Фиуме,

и клялся, что победа останется за ним; „Франция не может вмешаться в это дело: она импотентна, как ее мужское население. Англия тоже не вмешается, ибо в Ирландии, Индии и Египте ее трясет сифилитическая лихорадка. Что же касается до убогого, то ему придется скоро сдаться. Мы победим...“*. Эта речь, по дипломатическому выражению, „произвела неблагоприятное впечатление“, особенно на соотечественников „убогого“ (то есть Вильсона). Кончилась, однако, истерия лишь в декабре 1920 года. По-видимому, Карнарское государство и его диктатор несколько надоели Муссолини, который вначале по своим соображениям их поддерживал. Этим воспользовался глава правительства, престарелый Джолитти. На Фиуме были двинуты войска, и по дворцу коменданта было сделано с моря несколько выстрелов. Тут, по словам восторженного биографа д'Аннунцио, „произошло нечто неслыханное. На балконы домов, выходящих к морю, повыскакивали женщины с новорожденными младенцами на руках. Отрывая их от груди, они кричали, рыдая: „Этого, этого бери, Италия, но не его!“ Не желая губить младенцев, которых матери подставляли за него под выстрелы, д'Аннунцио сдался и уехал из Карнарского государства, воскликнув несколько загадочно: „Что с того, что я побежден во времени, если меня ждет победа в пространстве!..“ „Он добр, — говорит Дорни, — разве не Доброта побудила д'Аннунцио дружески протянуть руку большевистскому правительству Москвы?“ (стр. 248)

Теперь этот необыкновенный человек живет в своей вилле в Гордоне. Ему пожалован титул князя Монте-Невозо. Вилла д'Аннунцио представляет собой настоящий дворец. В его библиотеке пятьдесят тысяч томов. На озере стоит собственная флотилия поэта, которая приветствует его залпами, когда он выходит на прогулку. Муссолини окружил своего друга царской роскошью. Но, по словам Пьерфе, отношения оставляют желать лучшего. Когда д'Аннунцио получил княжеский титул, он написал диктатору письмо, состоявшее из одной фразы: „Ты меня сделал князем, я тебя сделаю дуче!“ По-видимому, д'Аннунцио ис-

*I N Macdonald A Political Escapade, p.152

кренне убежден, что он создал Муссолини. В действительности диктатор, со свойственным ему умом, сумел использовать в интересах фашизма талант и славу поэта.

Разумеется, и в Гордоне д'Аннунцио продолжает занимать собой молву. Недавно газета „Фигаро“ сообщила, что он хочет уйти в монастырь и стать кардиналом! Возвращение бывшего антихриста к католической вере приняло тоже весьма своеобразную форму: он послал свою фотографию высокопоставленному кардиналу и сделал на карточке надпись: „в знак почтительных чувств христианина“. Пошли слухи о вступлении д'Аннунцио в монашеский орден францисканцев. Де Пьерфе навел справки у одного из руководителей ордена и напечатал полученный им ответ (от 7 апреля 1929 г.). В этом ответе слух категорически опровергался. „Ни в каком случае не должно представлять д'Аннунцио вернувшимся в лоно католической церкви. Это вызвало бы возмущение, особенно в Италии, где хорошо знают его магометанский образ жизни“.

Таковы факты. Но сухой их перечень не дает, конечно, верного представления о д'Аннунцио. Много в нем привлекательно. Громадный талант автора „Франческа да Римини“ находится вне спора. Я вполне понимаю и то гипнотическое действие, которое он оказывал у себя на родине. Его речи, собранные в книге „Италия итальянцев“, представляют собой явление удивительное. Смысла в них немного. Но по ритму, по силе выражения, по необыкновенному подъему речи д'Аннунцио должен быть причислен к величайшим ораторам нашего времени. Очень он любит шум, но эта черта профессиональная. Где нет маленьких д'Аннунцио? Они, хоть слава Богу, не берут никаких Фиуме.

IX.

Для делегации устроили обед в ресторане Маринезе. В ту пору жизнь в Риме еще подчинялась правилам военного положения: кофейни закрывались в одиннадцать часов вечера; хлеб, сахар, масло отпускались в ограниченном количестве по карточкам. Но,

как везде, в Риме надо было знать слово, и его очевидно знали младшие служащие посольства. В тот день в ресторане Маринезе на столе в изобилии находилось все, чему полагается быть на банкете. Речи были полны надежд. Хорошо помню восторженное слово г. С-ва. „Через три месяца все мы, без различия партий, добро возьмемся за дружную работу в новой, свободной России!..“ Очень тяжело вспоминать теперь настроение тех далеких дней. Один из ораторов спрашивал: „Как же это могло случиться?“ Помнится, А.А.Титов отвечал...

По совести, я и теперь, через двадцать лет, не знаю ответа на вопрос, заданный в ресторане Маринезе. Кто прожил 1917—1918 годы в Петербурге, кто видел собственными глазами, сколько раз все висело на волоске, от каких случайностей зависел исход уличного боя и 3 июля, и в день октябрьского переворота, и в пору восстания левых эсеров, тот очень подумает, прежде чем дать „победе пролетариата“ ученое, историческое, социологическое объяснение. И с горестным недоумением остановится он перед истинно дьявольским счастьем большевиков, перед злым роком, тяготившим над всеми их противниками без различия направлений. Армия Юденича подходит к воротам Петербурга, армия Комитета Учредительного Собрания имеет все шансы взять Москву — и оба кончатся разгромом. В течение нескольких часов Дзержинский со своим штабом находится в плену у дружины левых эсеров — и он же эту дружину арестует. В Москве Каплан три раза в упор стреляет из браунинга в Ленина — и через шесть недель он снова председательствует в совете народных комиссаров. Под Екатеринодаром веселый командир говорит полупьяному артиллеристу: „Васька, ну-ка жарь туды еще разок!“ — и снаряд, пущенный с нескольких верст расстояния, убивает наповал генерала Корнилова...

Х.

Сомс, герой известного романа Голсуорси, глава богатой английской семьи, после окончания мировой войны долго колебался, какую следует теперь носить шляпу: демократический „котелок“ или же цилиндр,

как в лучшие времена. И только когда выяснился провал всеобщей забастовки 1921 года, колебания старого англичанина рассеялись — он с полной уверенностью снова надел цилиндр: социальной революции больше опасаться не приходилось.

Приблизительно в таком же положении была и вся Англия в ту пору (декабрь 1918 г.), когда наша делегация приехала в Лондон. После выборов, закончившихся полной победой Ллойд Джорджа, руки инстинктивно потянулись к цилиндрам — и в прямом, и в переносном смысле. Но полной уверенности в прочности старого порядка ни у кого тогда не было. Не было прочной уверенности и ни в чем другом.

Помню, на одном из приемов, устроенных в честь делегации, была высказана и такая мысль: „Кто знает, быть может, недалек тот час, когда Ллойд Джорджу придется бежать в Южную Россию в поисках убежища у генерала Деникина!..“ Мысль была неожиданная и по тем временам, однако принадлежала она человеку с именем, да и в аудитории смеха не вызвала.

На ресторанных пиршествах наступает неприятный момент, когда ужин съеден, вино выпито, дружеские излияния надоели. Люди ждут появления метрдотеля со стыдливо сложенным вдвое листиком счета на тарелке. Нечто в этом роде наступило тогда и в Англии. Первое опьянение победой прошло. В заверениях междусоюзной дружбы вдруг проскользнули неожиданные неприятные нотки. Статистики уже готовили счет — счет в истории невиданный и неслыханный*. Он составлял девять с половиной миллиардов фунтов — более триллиона нынешних франков. Один из составителей счета поставил прямой и мрачный вопрос: „Стоило ли?“ Вопрос был нелепый: тут суждениями экономического характера обойтись было трудно. Но в связи с этим возникали другие вопросы — прежде всего: куда пошли деньги? В Англии военная прибыль облагалась налогом, доходившим до 80 процентов. Тем не менее бесконечное число новых богачей мозолило всем глаза. Возникали проекты законов (с обратной силой) о полной, стопро-

*Трехлетняя война 1812—1815 гг. стоила России 155 миллионов рублей. В пору мировой войны эта сумма уходила в три дня.

центной конфискации военной прибыли. Но и эти проекты, очевидно, были обречены на неудачу. Капитал, подлежащий обложению налогом, обладает чудесной особенностью: он заключает в себе не сто процентов, а гораздо больше. И те правительства, которые вводят обязательную подачу показаний о доходах под присягой, лишь автоматически обращают в клятвопреступников большинство своих граждан.

В Англии люди, обладающие доходом ниже двухсот пятидесяти фунтов в год, составляют 95 процентов населения. По английским понятиям это даже не середняки, а бедняки. Среди них раздражение против Ллойд Джорджа, против власти вообще, против новых богачей да и против старых росло весьма быстро. Солдатам в течение четырех лет газеты наперебой давали обещания столь же щедрые, сколь неопределенные. Говорилось, что после победы мир заживет по-иному. Победа была достигнута. Мир продолжал жить совершенно как прежде. Только получить работу было труднее.

Собственно, сознательного обмана ни с чьей стороны не было. Было то, что называется демагогией. Это понятие, однако, не так легко поддается точному определению. Доза демагогии в пору войны была несколько больше обычной. Но на то, естественно, и война.

На смену демагогии войны теперь шла демагогия мира. Она тоже вызывала чрезвычайное раздражение в англосаксонских странах. Один из британских публицистов выразил его резкой фразой: „Нам надоело вращаться между беспринципным умом Ллойд Джорджа и строго принципиальной глупостью Вильсона“. Начинался сказочный послевоенный рост английской рабочей партии. Намечался постепенный сдвиг и в ней самой. Уже тогда знатоки предсказывали, что скоро у власти, впервые в великобританской истории, могут оказаться социалисты. Назывались и имена рабочих кандидатов в премьеры. Их было трое: Гендерсон, Клайнс и Томас. Имени Рамсея Макдональда не называл никто.

Макдональд пользовался в Англии большим престижем до войны. Вышел он из народа, но по жене своей, племяннице знаменитого лорда Кельвина, имел

давние большие связи в английском обществе. Он считался лучшим оратором и чуть ли не самым образованным публицистом в социалистическом лагере. Один из восторженных биографов нынешнего премьера недавно писал, что Рамсей Макдональд — единственный английский социалист, которого можно поставить наравне с континентальными гигантами (giants) Второго Интернационала, — кто из знакомых с этими гигантами решится возражать против столь любезной оценки? Друзья и противники очень лестно отзывались о работоспособности Макдональда, о его красноречии, даже о его наружности (Мастерман называл Макдональда „самым красивым человеком в парламенте“).

В день объявления войны Асквит предложил лидеру рабочей партии войти в состав правительства. Рамсей Макдональд категорически отклонил это предложение. Вечером того же дня, стоя у окна с министром финансов, прислушиваясь к полуночному бою часов, он сказал: „Ллойд Джордж, это конец книги, настал конец целой эпохе!..“ Разойдясь по вопросу об участии в войне с мнением своей партии, Макдональд сложил с себя звание ее лидера и повел в стране решительную агитацию — вначале почти в одиночестве: его единомышленник Сноуден находился в Австралии.

С той поры говорить о Макдональде в Англии стало как бы не совсем приличным. Он был зачислен в „пораженцы“, а с 1917 года и в большевики. Имя Макдональда, говорит тот же биограф, было вычеркнуто из списка всеми хозяйками домов в Лондоне... Застенчивые приятели избегали его приглашать „из уважения к чувствам других гостей“. В собственной своей партии он встречал „ледяную враждебность“. Исключил Макдональда из своего состава клуб для игры в гольф в его родном городке Лоссимуте. А как-то в гостинице почтенная дама, случайная соседка по столу, разговорившись с нынешним премьером, выразила ему сочувствие: так, должно быть, неприятно носить ту же фамилию, что и этот ужасный Рамсей Макдональд...

Большевиком нынешний глава правительства, разумеется, никогда не был. Не был он и „поражен-

цем“. Но понять его общую позицию в свете событий последних двух десятилетий довольно трудно. Если не следовало в 1914 году вести войну с Вильгельмом, то, казалось бы, незачем теперь воевать с Махатмой Ганди. И с принципиальной точки зрения, и с точки зрения национальных интересов та борьба была все же несколько значительней.

Наиболее естественное предположение: жизнь с тех пор многому научила Макдональда. Однако ему и в 1914 году было далеко за сорок лет... Как-то за несколько лет до войны в пылу парламентской полемики (отчасти в связи с вопросом о защите границ) Пенлеве напомнил главе правительства Бриану некоторые грехи его антиимпериалистической молодости. „Собственно, вы тогда далеко не были юношей, — сказал Пенлеве ядовито, хоть и не слишком великодушно. — Скажите же нам, ради Бога, в каком возрасте вы заметили, что у Франции есть границы?..“ Бриан со свойственным ему очаровательным благодушием качал головой и разводил руками: „Долго, мол, был глуп, не отрицаю, ничего не поделаешь...“

Тогда, в начале 1914 года, звезда Макдональда еще была в закате. Партией правил Гендерсон, гораздо более правый. Он потерял место в парламенте на выборах 1918 года. Но его влияние в стране было очень велико. Газеты писали — весьма условно — о двух Англиях: одна сгруппировалась вокруг коалиционного правительства на Даунинг-стрит, другая вокруг Центрального бюро Рабочей партии. Газеты разных направлений уже довольно резко поругивались между собой. Впрочем, больше всего английские газеты были, помнится, тогда заняты бракосочетанием принцессы Патриции Коннаутской.

На Даунинг-стрит делегация отправилась в полном составе, теперь, однако, сократившемся: П.Н.Милокова с нами не было. С.Н.Третьяков остался в Париже.

ХІ.

Магические слова „Даунинг-стрит“ известны всему миру. Улица, на которой расположены главные

правительственные учреждения Великобритании, названа в честь человека, который был большевиком XVII века, причем большевиком-перебежчиком. Джордж Даунинг в пору гражданской войны поочередно изменял всем партиям. Летописец той эпохи называет его двойным клятвопреступником и предателем. После реставрации Карл II пожаловал бывшему цареубийце, ближайшему сподвижнику Кромвеля большой участок земли (нынешние Даунинг-стрит и Уайтхолл), выразив в милостивом рескрипте пожелание, чтобы Даунинг построил для себя на этом месте дом „красивый и полный изящества“. Этот дом (номер 10) существует и в настоящее время: в нем живут первые министры Англии. Но красивым его назвать никак нельзя.

Ллойд Джордж находился в Париже. Делегацию принимало другое лицо, гораздо менее влиятельное, однако высокопоставленное и очень сильное. Против имени этого лица я нашел в календаре целый ряд таинственных букв: С.В., G.C.M.G., G.C.V.O. Буквы означали, что означенное лицо имеет орден Бани, Большой крест святых Михаила и Георгия. Большой крест ордена Виктории. Указывалось также в календаре, что мать лица — вторая дочь первого графа Кранбрукского, а жена его — первая дочь второго графа Миддлтонского. В отделе „recreations“ отмечались любимые развлечения лица: рыбная ловля и гольф.

Лицо заговорило с делегацией по-французски — для англичанина недурно, хоть понять было не всегда возможно. Н.Н.Шебеко изложил положение дел. Юг России охвачен пожаром. Петлюра немногим лучше большевиков. Единственная надежда на Добровольческую армию. Немцы всячески ей вредили, и вредили с успехом. Оружия, снарядов, одежды у нее чрезвычайно мало. У большевиков и петлюровцев всего этого гораздо больше. Если вы думаете, что у союзников есть обязательства перед той Россией, которая осталась им верна и, быть может, из-за этого погибает, то не пошлете ли вы Добровольческой армии оружие, снаряды и одежду?

Лицо внимательно слушало, вздыхало и говорило:
— Се диффисилл... Тре диффисилл...

Н.Н.Шебеко перешел на английский язык — англичанин сразу же ожил. А.А.Титов, К.Р.Кровопусков развили те же мысли — почему же, собственно, так трудно? За снаряжение будет заплачено, если не сразу, то со временем*.

— О, дело не в деньгах, — сказала тотчас лицо. — Мы верим России, да и снаряжения у нас после войны очень много... Но, во-первых, в России нас все время подстерегают сюрпризы. Вот недавно нам обещали, что в Архангельске к нашему корпусу присоединится сто тысяч русских добровольцев, а их в действительности оказалось три тысячи...

— Зачем же вы верили тем, кто вам обещал такую ерунду? — вмешался со свойственной ему вспыльчивостью В.И.Гурко. — Откуда же там могло взяться сто тысяч добровольцев? Да в Архангельске и населения-то всего тысяч тридцать. Не медведей же вербовать в армию!.. Во всяком случае, мы просим об одном: ускорьте ответ. Можете дать снаряжение, дайте; не можете, так и скажите.

Лицо не обиделось, но, видимо, было несколько смущено.

— Есть и другая, главная трудность, — сказала оно. — Наши рабочие слышать не хотят о помощи вашей армии, а правительство должно с этим считаться... Отчего бы вам не повидать рабочих лидеров? Постарайтесь их переубедить, — ласково говорило лицо, — тогда, обещаю вам, правительство сделает все возможное... Мы хорошо помним жертвы России.

Лицо знало, что в состав делегации входят люди самых разных политических партий, но обращалось оно преимущественно к правым делегатам, быть может, потому, что социальным инстинктом сразу признало в них „своих“, или же просто оттого, что

*Замечание отнюдь не бесполезное. Впоследствии Савинков со своим обычным мастерством рассказывал, как он был на утрепнем чае у Ллойд Джорджа (Ллойд Джордж восстановил обычай XVIII века — принимать гостей рано утром). В присутствии хозяина и Черчилля Савинков подробно излагал свой план интервенции Ллойд Джордж очень внимательно его выслушал, подумал и спросил (к немалому смущению Черчилля): „А кто же нам за все это заплатит?“

Н.Н.Шебеко говорил первый. Не думаю, что в этом совете, данном Н.Н.Шебеко и В.И.Гурко, повлиять на английских рабочих, была скрытая ирония. Лицо просто не вполне разбиралось в русских делах, а может быть, и в своих? Узнав, что делегация собирается в Париж, оно просветлело.

— Это отличная мысль... Теперь все решается в Париже. Там первый министр... Без него ничего не делается, — сказало лицо, в выражении его, в тоне слов „первый министр“ чувствовалось, каким огромным престижем еще пользовался тогда „валлийский колдун“.

ХII.

Делегация разбилась на группы, которые самостоятельно посещали разных английских политических деятелей. Вместе были, кажется, только у Бьюкенена. Бывшему английскому послу в России большевистские (частью и немецкие) историки до сих пор приписывают скрытую колоссальную роль в подготовке событий февральской революции. В одном из фильмов, посвященных новейшей русской истории, демонический Бьюкенен по телефону с дьявольской усмешкой отдает коварные приказы послушным и раболепным деятелям Временного правительства. В действительности это был в 1919 году очень усталый, больной старик с мутными, выцветшими глазами, видимо, плохо разбравшийся в русских событиях, многое и многое перезабывший. Жил он в какой-то второстепенной гостинице, кажется в „Брикленд-отель“, и находился не у дел. Он посоветовал нам обратить особое внимание на печать и говорил по этому поводу что-то очень скучное о значении печати в Англии. Нет, по-видимому, автор фильма ошибся: не Бьюкенен устроил русскую революцию.

Приемов и заседаний было много. Помню большое заседание в посольстве, где из иностранцев был только покойный Вильямс. Помню парадный обед в русско-британском клубе под председательством лорда Денби и прием в Национальном либеральном клубе.

Клуб этот, когда-то очень влиятельный, был основан в пику консервативному Карльтонскому клубу. Даже в Англии людям разных взглядов иногда неудобно встречаться частным образом. Был, например, такой момент в жизни Гладстона и Дизраэли, когда они порвали личные отношения и едва кланялись друг другу. Национальный либеральный клуб, первый камень которого заложил сам Гладстон, должен был дать возможность либералам встречаться в своем кругу*. Впрочем, клуб, кажется, давно стал общедоступным и утратил политическое влияние.

Англичане, независимо от направления, были чрезвычайно любезны и с большим вниманием слушали то, что им говорили делегаты. А.А.Титов, К.Р.Кривоусков и я побывали у людей, считавшихся особенно влиятельными в левом лагере, от Гендерсона до знаменитого романиста Уэллса.

Теперь может показаться, что мы делали заведомо безнадежное дело: делегаты Союза Возрождения России убеждали английских социалистов не препятствовать тому, чтобы всем антибольшевистским силам была Англией оказана помощь. Однако в ту пору дело обстояло несколько иначе. Гендерсон, правда, был сдержан и не сказал нам ничего определенного, но ничего определенного не сказали В.И.Гурко и английские коронованные особы, которые его принимали. Симпатий же к большевикам у Гендерсона было, думаю, немногим больше, чем у коронованных особ. Вероятно, он был бы искренне рад, если б помощь антибольшевистским силам оказывалась с полным успехом, но в глубокой тайне от него и от рабочей партии. Я этого не скажу о некоторых других английских социалистах. Они тоже неизменно говорили, что резко расходятся с большевиками. И неизменно вслед за таким предисловием шло „но“, не всегда вразумительное и понятное, однако всегда энергичное.

Помню, в Петербурге в 1918 году левый меньшевик доказывал мне губительность большевистских дей-

*Известен этот клуб еще и тем, что он совершенно твердо узаконил курение в общественных местах, бывшее в Англии когда-то предметом ожесточенных споров: Вальтер Скотт, например, его допускал, но Маколей отрицал.

ствий для России, Европы, демократии, свободы. Я совершенно с ним соглашался.

— Какой же выход? — спросил он.

Я отвечал как умел. *Medicamenta non sanant*, наверное. Может быть, *ferrum sanat*?*

— Ни в коем случае! — решительно заявил меньшевик. — Социализм погибнет, если они будут раздавлены силой.

Я напомнил меньшевику эпизод из жизни Бодлера, рассказанный Анатолем Франсом: знакомый поэта, морской офицер, показывал ему однажды фигуру идола, вывезенную из диких земель Африки. Показал, а затем непочтительно бросил фигуру в ящик.

— Берегитесь! — с ужасом воскликнул Бодлер. — Что, если это и есть настоящий Бог?

Думаю, у многих из западноевропейских социалистов было (и, по-видимому, осталось до сих пор) сходное соображение: да, разумеется, действия большевиков некультурны, грубы, жестоки, но лучше, если... Притом и разобраться в русских событиях не так ведь просто. Телеграммы Рейтера заключали в себе странные сообщения. По какому логическому принципу делились стороны в „классовой борьбе“? Большевики сражались с украинцами, поляки с ударниками, матросы с финнами, чехословаки с красногвардейцами. Наконец, не приучены ли литературой англичане к самым непонятным поступкам русских людей? Настасья Филипповна, как известно, бросила в печку сто тысяч рублей. У Чехова тоже кто-то сжег в печке большие деньги. Помнится, не отстал и Максим Горький. О закуривании папирос сторублевыми ассигнациями и говорить не приходится. Что ж делать, если в этой удивительной стране было при „царизме“ так много лишних денег?.. Теперь Настасья Филипповна, быть может, служит в Париже в шляпном магазине и очень сожалела бы о сожженных деньгах, если бы она и в самом деле их сожгла. О политическом вреде, принесенном ею России, она не подозревает. В Центральном бюро Британской рабочей партии сидели обыкновенные, несколько не inferнальные люди. Они получали скромное, приличное жалованье и чрез-

*См. споску на стр. 71.

вычайно редко жгли его в печке. Русские степи, благородные босяки, „ничего“, „все позволено“, Грушенька и Коллонтай, Челкаш и Зиновьев — как же было во всем этом разбраться занятым политическим деятелям Англии.

ХIII.

Уэллс был очень любезен, остроумен и блестящ. Но его чисто литературный подход к большевизму был слишком очевиден. Поэты, как статуя Мемнона, поют, когда над страной восходит солнце. Или же тогда, когда оно над ней заходит. Особенно же им удобно „петь“, если дело идет о чужой стране. „Мука жизни — наслаждение мысли“, — говорит немецкий писатель. Слова глубокие и прекрасные, но нельзя их осложнять своеобразным разделением ролей: одни пусть живут и мучаются, другие пусть пишут о них и наслаждаются... Уэллс очень типичный литератор. Недаром он считает величайшим событием в мировой истории изобретение бумаги. К большевикам он относился враждебно, но, кажется, „отдавал должное“. Его историко-политические оценки, впрочем, малоинтересны. Мы знаем, что Наполеон представляется Уэллсу малозамечательным человеком и даже плохим полководцем. Зато Марата он называет величайшим мыслителем Революции*. Уэллс съездил ненадолго в Россию и вывез оттуда книгу, которая ничего к его славе не прибавила. Она даже убавила бы славы Уэллсу, если б не было так ясно, что ему нет никакого дела до большевиков и до России вообще. Теперь все писатели куда-нибудь ездят в поисках темы: в Конго, в Абиссинию, в Ангору. Уэллс для этого съездил в голодающий Петербург. Это была удачная мысль. Десятки других писателей бросились за ним вдогонку. Из всего их творчества роман Мориса Декобра, надо думать, еще окажется наиболее бессмертным. Сказан-

*Это мне напоминает, что друг и биограф Макдональда назвал Радека „одним из умнейших людей в Европе“. По этому поводу полагалось бы сказать: „Нет пророка в своем отечестве“, но как назло поговорка не подходит: Радек родился не в России, и она, следовательно, гордиться не имеет права.

ное несколько не мешает Уэллсу быть чрезвычайно талантливым и обаятельным человеком. Разговор с ним остается одним из самых приятных воспоминаний за всю поездку.

Гайндману было под восемьдесят лет. Как у нас Плеханов, он в Англии был одним из основателей социалистического движения, однако влиянием больше не пользовался. Человек он был умный, желчный и озлобленный. Гайндман по рождению принадлежал к правящим классам и знал, кажется, всех политических деятелей последнего полувека, начиная от Маццини и Дизраэли. Тесная дружба когда-то связывала его с Карлом Марксом; потом они разошлись благодаря Энгельсу. Так, по крайней мере, утверждает в своих мемуарах сам Гайндман, бывший настоящим кладом для любителей *petite histoire**. По его словам, Маркс был в денежной зависимости от Энгельса, ловкого, неприятного, богатого человека; и если не сам он, то его жена этой зависимостью чрезвычайно тяготилась и Энгельса чуть только не ненавидела. Автора „Капитала“ Гайндман считал гениальным человеком, наивным в практической жизни, плохо разбиравшимся в людях, и относился к нему с чрезвычайным уважением. Очень высоко он ставил еще Клемансо — что в его устах было несколько неожиданно. Но другие... Отзывы Гайндмана дышали насмешкой и презрением. Он делал исключение для Бальфура: „Этот, по крайней мере, джентльмен“. Отнюдь не щадил он социалистов: „независимую рабочую партию“ и „зависимую рабочую партию“.

Ему, конечно, виднее... Вспоминая теперь свое — очень поверхностное — знакомство с левой, полуправительственной Англией, я ищу причины не слишком доброго чувства, которое в результате этого знакомства осталось. Все это были люди неглупые, порядочные, выпешдые из низов и поднявшиеся несколько позднее на высоты власти благодаря своему упорному труду, энергии и способностям: в кабинеты Макдональда входили бывшие литейщики, как Гендерсон, бывшие чистильщики локомотивов, как Томас, бывшие парикмахеры, как Стюарт, бывшие горнорабо-

*См. своску на стр. 17.

чие, как Адамсон, проработавший двадцать пять лет под землей. Учить их практической политике никому из нас не приходится; они своей страны большевикам не отдали — какие Носке вышли бы из этих людей, если бы кто посягнул на их коттеджи, на их сбережения, на их газеты! Да, они признали большевиков — как их признают Тардье, Гинденбург или Муссолини. Да, они с большевиками любезны, но они ли одни? Как раз на днях королева Англии приняла в частной аудиенции Сокольникова, члена ц.к. той партии, по приказу которой в России зверски убиты, сожжены, сброшены в шахту ближайшие родственники королевы. „У политики есть свои права“, — жаль, пределы этих прав неопределенны. Вождей английской рабочей партии часто бранят за то, что они заступаются лишь за социалистов. Это и само по себе очень стоит внимания; надо бы, однако, добавить: если б они заступались как следует хоть за социалистов! (Об этом, кажется, можно получить кое-какие сведения у грузин.) Но им, как всем, вообще довольно безразлично то, что ни прямо, ни косвенно их интересов не касается. Главным образом им можно поставить в упрек тот необыкновенный, возвышенный тон, которым подносится миру самая обыкновенная прозаическая политика. Большевиков они не любят. Они всю жизнь нападали слева; нападать справа им непривычно и неудобно. Многие из них были бы в душе рады, если бы генералы свергли большевиков: всем им было бы настолько приятнее ругать и поносить генералов.



Графиня Ламотт

I.

Дело об ожерелье королевы было как будто создано для романистов и драматургов. Им в значительной мере навявна пьеса Гёте „Великий Кофт“, хоть в ней имена не называются. Александр Дюма написал о деле один из самых слабых своих романов и с историей в нем не поцеремонился. Вдохновило это дело и Карлейля — его очерк „Бриллиантовое ожерелье“ с одинаковым правом можно назвать и историей, и поэмой. В отношении „интриги“ дело об ожерелье стоит любого уголовного романа. Отличается же оно от самых плохих романов тем, что было совершенно бессмысленно. Обычно в уголовных процессах подобного рода, например в делах Терезы Эмбер, Рошетта, Ставиского, расчет преступников строился на легковерии жертв; в деле же ожерелья королевы одинаково легковерны были и жертвы, и преступники.

Как известно, в 1769 году сложная придворная интрига, которой руководил граф Жан Дюбарри (сыгравший какую-то небольшую, еще, кажется, никем не выясненную роль и в русской истории), привела в Версальский дворец Жанну Бекю, незаконную дочь служанки и некоего Гомара, — по профессии не то модистку, не то компаньонку, поведения легкомысленного. За нсобыкновенную красоту ее прозвали „ангелом“, из этого образовалась фамилия или псевдоним „Ланж“*, так что звали ее и Бекю, и Гомар, и Ланж. Она была последней любовью Людовика XV. Старый король влюбился в нее без памяти. Чуть не в первый день знакомства он послал ей бриллиантов на 100 тысяч ливров. В ее приемную хлынул „весь Версаль“.

*От фр. l'ange — ангел. — *Прим. ред.*

Такого низкопоклонства в отношении власти, которое мы наблюдаем в наше счастливое время, восемнадцатый век не знал. Однако и Жанна Бекю видела на своем веку немало человеческой низости. Достаточно сказать, что какой-то генеалог составил для нее родословную, возводившую ее род к Жанне д'Арк! Быть может, в связи с этим в Париже втихомолку распевали стишки: „France, quel est donc ton destin, — D'être soumise à la femelle! — Ton salut vint d'une pucelle, — Tu régiras par la catin...“* Брат названного выше графа Дюбарри за приличное вознаграждение предложил фаворитке руку, сердце и имя. Король назначил графине Дюбарри содержание в триста тысяч ливров в месяц. Для нее выстроили недалеко от Версаля знаменитый павильон Лувесьен. „Не жалеете золота и мрамора, — приказывал король архитектору, — как жаль, что нельзя построить для нее дворец из алмазов!..“ Во Франции мучительно завидовали и ей, и графу Жану. Зависть была преждевременна — вечная история Солонова предсказания Крезу: „Подожди смерти: тогда только будет видно, был ли ты счастлив“. Через двадцать пять лет и графиня Жанна, и граф Жан взопли на эшафот — она за то, что была „любовницей развратного тирана“, он за то, что ее тирану сосватал, — подходящих статей закона не нашли и в то мало церемонившееся с законом время.

Теперь некоторые историки признают за Людовиком XV большие государственные заслуги: он заключил, например, с испанскими Бурбонами так называемый *pacte de famille* (забавным повторением которого можно, пожалуй, считать нынешние отношения между Францией и Испанией). Большая публика помнит о Людовике XV главным образом „Après nous le déluge!“^а, а о госпоже Дюбарри „La France, ton café fout... le camp!“^б и „Encore un moment, monsieur le bourgeois!“^в. Это была необразованная, но не глупая и не злая женщина, очень раздражавшая страну своим

* „Что у тебя за судьба, Франция, — Быть подчиненной бабе! — Быть спасенной девственницей, — И погибнуть из-за шлюхи...“ (фр.)

“После меня хоть потоп!” (фр.)

“Франция, твой кофе... убежал!” (фр.)

“Минутку, господин палач!..” (фр.)

мотовством. Психология французского народа в ту пору не совсем походила на нынешнюю. Время было щедрое, сбережений в высшем обществе не делал почти никто. Графиня Дюбарри и в XVIII веке удивляла мир своей расточительностью: при годовом окладе в 40 миллионов нынешних франков она имела огромные долги!

Куда уходили миллионы? Много денег поглощали туалеты госпожи Дюбарри. На стол тратились немалые суммы. В ту пору гастрономия у вельмож — особенно во Франции и в России — вообще была необыкновенная, нам теперь даже не совсем понятная. У графа А.С.Строганова, учившегося гастрономическому делу в Париже, подавались к столу лосиные губы, разварные лапы медведя, жареная рысь, жаренные в меду кукушки. Другой вельможа поил домашнюю птицу сливками с пармезаном и рейнским вином. Третий, чтобы увеличить печень налимов, травил их аршинными голодными щуками. Большие деньги уходили и на игру, особенно в связи с тем, что доступ в высшее общество был довольно легкий и часто проникали к карточным столам люди, которых в России в XVIII веке называли „картежными академиками“. Знаменитый версальский шулер, греческий дворянин Апулос, благодаря которому во Франции шулера и по сей день столь странно и нелюбезно называются „греками“, оставил после себя школу. Очень много денег госпожа Дюбарри тратила и на драгоценные камни. Она косвенно, без всякой вины, и была причиной возникновения дела об ожерелье.

Ювелиром французского двора был в ту пору саксонский еврей Боемер, а его компаньоном — тоже саксонец, потомок французских гугенотов, Бассанж. У них был магазин на улице Вандом. Зная любовь новой фаворитки к драгоценным камням, Боемер решил создать для нее самое прекрасное в мире ожерелье. Он достал взаймы большую сумму и стал объезжать европейские столицы в поисках лучших камней. Через некоторое время — по-видимому, не очень скоро — было готово то самое „collier de la Reine“*, из-за

* „Ожерелье королевы“ (фр.).

которого, по преувеличенному суждению одного из современников, произошла Французская революция.

В бумагах Боемера сохранились рисунки, изображающие это ожерелье; но они не вполне между собой совпадают. Число камней в нем огромно — я пробовал сосчитать по рисункам и не мог. Боемер назначил за него цену: 1 600 000 ливров. Нельзя сказать, что для того времени эта цена была совершенно неслыханной. Бриллиант „Регент“ обошелся герцогу Орлеанскому в два с половиной миллиона. Граф Орлов заплатил за камень, носящий его имя, 450 тысяч рублей (продавец получил сверх того дворянство и пожизненную пенсию в четыре тысячи). За грушевидный бриллиант „Санси“, имеющий сказочную историю*, было Демидовым (правда, много позднее) заплачено полмиллиона рублей. Как бы то ни было, частных покупателей для столь дорогих вещей в конце XVIII века было чрезвычайно мало, и едва ли Боемер стал бы составлять ожерелье, если б не получил обещание, что оно у него будет куплено фавориткой.

Случилось, однако, непредвиденное событие. В конце апреля 1774 года Людовик XV выехал в одно из тех небольших путешествий, „которыми он, по свидетельству барона Безенваля, пытался заполнить свою бесполезную жизнь и отогнать следовавшую за ним всюду по пятам скуку“, — в известном смысле, король был прообразом героев Байрона. Вернувшись, он вдруг почувствовал головную боль и озноб. К нему позвали врачей. Их собралось четырнадцать: шесть лейб-медиков, пять лейб-хирургов, три аптекаря.

*Этот бриллиант попал в Европу из Индии, где, вероятно, был глазом в статуе какого-либо божества (все знаменитые бриллианты, в том числе „Орлов“ и полумифический „Великий Могол“, почему-то были, по преданию, глазами в статуях Брахмы или Кали). Но с достоверностью известно, что „Санси“ находился на шпаге Карла Смелого в роковой для него день сражения под Нанси. Найденный швейцарским солдатом у трупа бургундского герцога, он перешел к португальскому королю Аятову, потом к Ле Санси, потом к Генриху III, потом к английским королям. После Второй английской революции Людовик XIV купил этот бриллиант у Якова II, чтобы помочь королю-эмигранту. Французские короли носили „Санси“ в дни своих коронаций. В 1835 году Павел Демидов купил его либо по тем же мотивам, что Людовик XIV, — чтобы помочь старшей линии Бурбонов, — либо просто назвал Людовику Филиппу. От Демидова „Санси“ перешел к русским царям, а теперь находится у большевиков, которые, вероятно, и не знают его фантастической истории.

Они сначала было признали болезнь неопасной лихорадкой. Но вечером у короля на лбу, на щеках выступили зловещие красные узелки. Их умели отлично распознавать и врачи XVIII века: оспа, черная оспа!

Это в те времена была, пожалуй, самая страшная из всех болезней. От нее в XVIII веке в Европе умерло около двадцати королей и принцев. В России, по цифрам Димделя (конечно, очень преувеличенным), от оспы ежегодно умирало до двух миллионов людей. Знали хорошо и ее заразительность. Боялись оспы так, что, например, Кауниц, знаменитый министр Марии Терезии, запретил произносить при себе самое название этой болезни. Ужас объял Версаль. Очень жутки эти страницы у Безенваля, у другого очевидца, герцога Лианкура: отвратительные реалистические подробности оспы, бегство людей, внезапная пустота вокруг Дюбарри, вчера еще всемогущей... Король вел себя с достоинством. Перед кончиной просил у всех прощение за „скандальное зрелище, которое являл своему народу“. В завещании он написал: „J'ai mal gouverné, et administré, ce qui provient de mon peu de talent et de ce que j'ai été mal secondé...“* Это было совершенно верно. Многие, очень многие государственные люди могли бы сказать о себе на смертном одре то же самое — и не сказали.

В Париже говорили, что Людовика Возлюбленного оплакивали во всем мире только четыре человека: его внук Людовик XVI, госпожа Дюбарри (ее тотчас стали снова звать La Vésue*) и два друга детства короля. С большой вероятностью можно добавить и пятое имя: придворный ювелир Боемер был, конечно, в отчаянии: ожерелье! кто же теперь купит ожерелье! Он попробовал предложить свое создание испанскому двору — предложение отклонили: дорого. Во всей Европе столь дорогую вещь могла купить только новая французская королева. Мария Антуанетта тоже очень любила бриллианты. Ожерелье было королеве показано. Она поколебалась — и ответила отказом. У нее бриллиантов было и так достаточно (драгоценно-

* „Я плохо правил, так как не был способным и имел плохих помощников...“ (фр.)

* Длинноклювая (фр.).

сти французской короны в пору революции были оценены в 22 376 609 франков).

Тут в деле есть некоторая неясность. Ожерелье пролежало у Боемера около десяти лет, и за это время, при высоких процентах, долг его, несомненно, очень вырос; проще было бы продать камни по частям. Он, однако, этого не сделал, хоть, видимо, находился на краю банкротства. Боемер упорно искал посредника, который убедил бы королеву Марию Антуанетту купить у него ожерелье. Искал и, наконец, нашел на свое горе. Точнее говоря, посредники отыскали Боемера.

II.

Люди, знавшие графиню Ламотт, говорят, что она не отличалась красотой — красавицей ее сделала позднейшая легенда. Граф Беньо, подробно описывая ее наружность, отмечает „прекрасные руки“, „необыкновенно белый цвет лица“, „выразительные голубые глаза“, „чарующую улыбку“, но отмечает также „маленький рост“, „большой рот“, „несколько длинное лицо“ и какой-то физический недостаток — какой именно, нелегко понять при вычурном слого автора: „Природа, по странному своему капризу, создавая ее грудь, остановилась на половине дороги, и эта половина заставляла пожалеть о другой...“ „Она была не очень красива“, — прямо говорит аббат Жоржель. Тем не менее успех у мужчин графиня Ламотт имела большой. Все современники в один голос говорят, что она была очень умна. Может быть, это и так, однако все, что она делала, отличается, скорее, тупостью. Афера с ожерельем королевы была детской, ни при каких условиях не могла окончиться удачно и кончилась, действительно, катастрофой. Многие объясняют, если предположить, что графиня Ламотт была истеричкой. Во всяком случае, жизнь ее сложилась очень несчастно. О графе Калиостро хоронивший его в Италии аббат сказал в надгробной речи: „Он несчастным родился, еще более несчастным жил и совершенно несчастным умер“ (по-латыни выходит гораздо сильнее: „Nascitur infelix, vixit infelicio, obiit infelicissime“).

С еще большим правом можно сказать то же самое о графине Ламотт.

У нее довольно типичная биография авантюристки. Она родилась в бедности, в детстве просила милостыню на улицах и говорила прохожим, что в ее жилах течет королевская кровь, — прохожие, вероятно, пожимали плечами и ускоряли шаги. Однако в отличие от многих других авантюристок, в отличие, например, от княжны Таракановой, героиня дела об ожерелье не „всклепала на себя имя“: в самом деле она происходила по прямой линии от французского короля Генриха II, от его внебрачной связи с госпожой Сен-Реми. Незаконному потомству короля было разрешено носить родовую фамилию, и девичье имя графини Ламотт было де Люз де Сен-Реми де Валуа. Семья была совершенно разорена. Отец графини, по ее словам, умер „в объятиях благотворительности“ — его не на что было похоронить. Романтика положения — далекая правнучка Франциска I просит у прохожих подаюния — поразила богатую маркизу Буленвилье, к которой шестилетняя девочка обратилась за милостыней на одной из парижских улиц. Маркиза проверила родословную девочки и отдала ее в пансион, затем взяла к себе в дом. Когда девочка подросла, к ней стал приставать муж маркизы. Не желая „платить черной неблагодарностью своей благодетельнице“, она покинула дом Буленвилье и поселилась в монастыре в Иерре, под Парижем, потом в аббатстве Лоншан: у нее всегда была „склонность к уединенной жизни, посвященной чистому созерцанию“.

Так рассказывала впоследствии сама графиня Ламотт*. Но ни одному ее слову, не подкрепленному посторонними свидетельствами, верить нельзя: лживость этой женщины была тоже совершенно истерической.

Когда начались ее авантюры, трудно сказать. В начале 80-х годов она в провинции на любительском спектакле встретила с молодым де Ламоттом: он

*Цитирую по ее показанию следователю в Бастилии (от 20 января 1786 г.) и по ее книгам: „Mémoires justificatifs de la comtesse de Valois de la Motte“ и „Vie de Jeanne de St.-Remy de Valois ci-devant comtesse de la Motte“, Paris. L'an premier de la République.

играл лакея, она горничную. Ламотт до конца своей жизни уверял, что он граф знатнейшего рода; но его родословная, по несчастной случайности, пропала в Бастилии. 15-летним мальчиком он был за шалости исключен из школы и служил на очень скромной должности жандарма.

За мгновенной влюбленностью скоро последовала свадьба. О жизни молодой четы в первые годы после брака мы знаем мало. Госпожа Ламотт, кроме богатой фантазии, обладала способностью все рассказывать совершенно бессвязно: о точной хронологии тут нет речи. Жили они в провинции, и, по-видимому, дела молодых супругов были очень плохи. Случайно им стало известно, что в Страсбурге проездом находится маркиза Буленвилье. Госпожа Ламотт бросилась в этот город разыскивать свою прежнюю благодетельницу. Кто-то сказал ей, что адрес маркизы она может узнать у недавно приехавшего в Страсбург графа Калиостро.

III.

Вероятно, госпожа Ламотт тогда впервые услышала это имя. Оно только начинало греметь. Незачем, разумеется, рассказывать жизнь знаменитого итальянского авантюриста. Гёте, чрезвычайно им интересовавшийся и посетивший в Палермо его семью, говорит, что он был мелкобуржуазного происхождения и начал свою карьеру с незначительных уголовных дел. Настоящая его фамилия была Бальзамо, а называл он себя в разное время и в разных странах по-разному: Типшио, Милисса, Анна, Бельмонте. Последние имена его были с титулами. В ту пору человек уже не „начинался от барона“, как при Людовике XIV, однако титул был, как и теперь, очень полезен; в обществе же, пока дело не доходило до суда, родословных не проверяли. Жозеф Бальзамо стал графом Фениксом, потом маркизом Пеллегрини и, наконец, графом Калиостро: имя весьма удачное и по звучности, и по некоторой национальной неопределенности.

О своем происхождении Калиостро говорил зага-

дочно. Талейран как-то сказал одной из своих приятельниц: „Я хочу, чтобы в течение веков люди спорили о том, что я был за человек и к чему именно я стремился“. У Калиостро, помимо этой слабости, могли быть и более основательные причины окружать себя тайной. Он иногда называл себя египтянином, а чаще говорил: „я человек“, „я гражданин мира“, „мое отечество вселенная“, или просто: „я тот, кто есть“ („je suis celui qui est“). Несколько более определенно он высказывался о времени своего рождения: родился несколько тысячелетий тому назад. В молодости он неоднократно встречался с Сократом, которому и предсказал его печальную участь. Был также немного знаком с Авраамом и Исааком, хоть это, так сказать, было, скорее, шапочное знакомство. В Египте он постиг тайны жрецов и стал после патриарха Еноха „Великим Кофтом египетского масонства“. Врал он вообще изумительно — спокойно, торжественно и беззастенчиво.

Это был умный, даровитый и образованный человек, хорошо понимавший свое странное время. Вольтер „разрушил все верования“, однако, когда на прогулке слева от него каркали вороны, он возвращался домой сам не свой. Так рассказывает граф Беньо, сообщающий также, что при дворе герцога Шартрского „все решили больше не верить в Бога, но были готовы верить в Калиостро“. Сам Великий Кофт, впрочем, атеистом не был: его поклонники уверяли даже, что он распознает атеистов по запаху и что их вид вызывает у него эпилептические припадки.

Главной его специальностью вначале была медицина. Он утверждал, что в Петербурге, при дворе „королевы русских“, исцелял неизлечимо больных и что лейб-медик Екатерины II (известный Роджерсон) вызывал его из зависти на дуэль. Вместо поединка на шпагах Калиостро предложил поединок на пилюлях: пусть каждый проглотит по пилюле с ядом, изготовленной противником, — он останется жив и невредим, а Роджерсон непременно умрет и согласно условиям поединка будет в посмертном порядке „объявлен свиньей“. От такой дуэли лейб-медик отказался.

По-видимому, Великий Кофт и в самом деле обладал некоторыми познаниями в медицине и даром гип-

нотизера. Таково, по крайней мере, заключение диссертации, которую не очень давно защищал при парижском медицинском факультете доктор Сидней Бенсимон. В этой докторской работе серьезно обсуждаются и рецепты Калиостро, и его способ лечения сифилиса, и его гипнотические приемы. Лечил он мазями, кроме того, изготовлял эликсир жизни (по одним сведениям, „из растительных ароматов“, по другим — „из оленьего сердца“).

Все это — и мази, и эликсир, и даже олень сердце — было довольно банально. В 80-х годах главной специальностью Великого Кофта стало предсказывание будущего. Впрочем, сам он будущего не знал, но при нем были ясновидящие (они назывались „голубками“ или „воспитанницами“), которых он приводил в состояние мистической прозорливости. Стать ясновидящей было нелегко. Для этого требовалось родиться под определенным созвездием, быть „девицей ангельской чистоты“ и иметь голубые глаза.

В Национальном архиве сохранились протоколы допроса Калиостро в Бастилии, два больших мелко с обеих сторон исписанных листа сероватой бумаги, с выцветшей печатью, с коричневым шнуром: „Interrogatoire fait par nous Jean Baptiste Maximilien Pierre Titon conseiller du Roi en sa cour de Parlement et Grand'Chambre d'y celle... contre le nommé de Cagliostro“*. Внизу на каждой странице подписи: Титон и — огромными буквами — граф де Калиостро (хоть следователь упорно его титула не признавал). Этот документ и теперь трудно читать без смеха. На допросе, очевидно, нельзя было сказать „я тот, кто есть“, и в ответе на вопрос о личности Великий Кофт „après serment par lui fait de dire verité“# невозмутимо сообщает, что происхождения он благородного, а родился, кажется, в Медине — из Медины властям было бы трудно получить метрическую справку. Без малейшего стеснения Калиостро рассказывает и о своих сеансах: как предварительно знакомился с „воспитанницами“, как приводил их в состояние мистического

* „Допрос, проведенный нами, Жалом Батистом Максимилианом Пьером Титоном, королевским советником, на заседании парламента и Верхней палаты против так называемого Калиостро“ (Фр.).

„После клятвы, обязывающей его говорить правду“ (Фр.).

транса, как с ними разговаривал. „Я ей сказал: стукните вашей маленькой невинной ножкой“ и т.п. Так он говорил со следователем. Жан Батист Максимилиан Пьер Титон, вероятно, отроду не слышал показаний в таком тоне. Невольно кажется, что Калиостро издевался, хоть дело для него могло кончиться плохо. На том месте, где показания приняли веселый характер, он даже и расписался как будто с особым удовольствием, сделав кляксу. Некоторые подробности я опускаю.

В день сеанса на стол ставили стеклянный шар с „чистейшей водой“. Приводилась „голубка“ в белом переднике. Произносились какие-то заклинания, заканчивавшиеся магическими словами: „Гелиос. Мене. Тетрагамматон“... Затем Великий Кофт ставил девицу на колени перед столом и, положив ей руку на голову, вызывал „добрых гениев“. „По-видимому, добрым гениям вовсе это не нравится, — замечает скептик, случайный посетитель сеанса, — среди них есть упрямцы, не желающие входить в стеклянный шар с водою“. Случалось, что непослушные души приводили Калиостро в ярость. Так однажды, когда дух Моисея не явился на его вызов, Великий Кофт в гнев назвал законодателя вором. Но в громадном большинстве случаев великие люди и добрые гении, которых вызывал Калиостро, в конце концов входили в стеклянный шар: вода мутнела, ясновидящая с криком падала на ковер и в конвульсиях безошибочно предсказывала будущее.

Успех сеансов был огромный. В Париже Калиостро снял дом, существующий и по сей день: он расположен на улице Сен-Клод (№ 1), на углу бульвара Бомарше. Теперь в этом странно и неправильно построенном доме живут портные и лавочники; часть дома снимает ветеринарная лечебница. Полтора года тому назад здесь изготовлялось золото, продавался жизненный эликсир и глупым людям предсказывал будущее умный шарлатан. По вечерам в этот дом съезжался „весь Париж“. Великий Кофт был в необычайной моде. Знаменитый скульптор Гудон вылепил его бюст. Во Франции появились „кольца Калиостро“, „браслеты Калиостро“, „брошки Калиостро“. В магазинах продавались его портреты с надписью в стихах:

De l'ami des humains reconnaissez les traits;
Tous ses jours sont marqués par de nouveaux bienfaits,
Il prolonge la vie, il secourt l'indigence,
Le plaisir d'être utile est seul sa récompense*.

Лечил он и в самом деле как будто бесплатно. На допросе в Бастилии следователь очень интересовался вопросом, на какие средства жил Калиостро. Великий Кофт отвечал уклончиво. По-видимому, система его заключалась в том, чтобы ничего не брать с большинства пациентов: он отыгрывался на жертвах, которые им намечались среди богатейших вельмож. Все это, впрочем, было значительно позднее, в 1785 году. В ту пору, когда к нему приехала госпожа Ламотт за справкой о маркизе Буленвилье, Калиостро находился в Страсбурге и парижской славы еще не имел. Справки он дать не мог, однако в маркизе больше не было и никакой надобности. Самозванный граф и самозванная графиня познакомились. Они были как будто созданы для совместной работы. Работа, однако, наладилась не сразу. В „голубки“ госпожа Ламотт не попала. Голубые глаза у нее были, но ангельской чистоты, очевидно, не хватало.

В числе первых поклонников Калиостро во Франции был кардинал де Роган. Можно даже предполагать, что Великий Кофт и приехал во Францию по приглашению кардинала.

Роган принадлежал к одной из самых знатных французских фамилий. Всем известен их родовой девиз: „*Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan je suis...*“⁴ Несмотря на этот девиз, в их семье в течение веков набралось множество титулов — и герцогских, и княжеских, и других. Есть несколько ветвей знаменитого рода: Роган-Жие, Роган-Рошфоры, Роган-Субизы, Роган-Гемене, Роган-Шабо, Роган-Роганы (австрийские). Кардинал принадлежал к княжеской ветви Роган-Гемене, колоссальное банкротство которой надедало много шума в восемнадцатом веке. Сам он, одна-

*Вглядитесь в черты друга людей;
Каждый день он творит добро,
Продлевает жизнь, спасает от нужды,
Его единственная награда — чувствовать себя полезным (фр.).
“Король не может, принц не желает, но я Роган...” (фр.)

ко, не был задет этим финансовым крахом. Личное его состояние было не так велико, но он имел множество должностей, званий и синекур, приносящих ему большие деньги. Его доходы расценивались современниками и историками по-разному: мне попадались цифры от 800.000 до 3 000 000 ливров в год. Тем не менее кардинал был кругом в долгу.

Это был очень любезный, приятный, красивый человек, имевший большой успех у женщин. Хроника той эпохи говорит о его многочисленных победах. Он был в свое время французским послом в Вене, где навлек на себя немилость Марии Терезии. Позднее кардинал занимал должность великого дародателя и страсбургского епископа, хоть, по-видимому, был человеком неверующим. Считали его честолюбцем. Один из его современников не без основания недоумевал: о чем еще может мечтать „князь из рода Роганов, кардинал, великий дародатель Франции, командор ордена св. Духа, страсбургский епископ, владетельный князь Гильдесгеймский, глава аббатств Нуармутье и Сен-Вааст, провизор Сорбонны и т.д., член всех академий и любимец (la coqueluche) всех знатных дам Парижа?“ Говорили, что кардинал хочет стать главой французского правительства. Но едва ли это было верно.

Насколько мы можем судить, основной чертой Рогана была непостижимая доверчивость. Того, что неопределенно называют скептицизмом, у людей почти никогда не бывает в меру — ровно столько, сколько нужно: у одних его слишком много, у других слишком мало. Кардинал де Роган в житейских делах был точно лишен способности сомневаться. Он верил каждому слову Калиостро. Великий Кофт ему сказал: „Ваша душа достойна моей“ и обещал изготовить для него горы золота при помощи философского камня — он поверил. Естественно предположить, что Калиостро рассчитывал поживиться на кардинале, которому безденежье при миллионном доходе не мешало быть щедрым. Однако из протоколов допросов не видно, чтобы Великому Кофту достались от кардинала большие суммы: были только дружеские подарки.

Графиня Ламотт познакомилась с Роганом почти тогда же, когда с ним познакомился Калиостро. По

собственным ее словам, она сейчас же после знакомства поехала к нему за деньгами — именно поехала: госпожа Ламотт говорила, что милостыню можно просить только в том случае, если приезжаешь за ней в собственной карете. Почти не зная или даже совсем не зная просительницы, кардинал дал ей „не считая горсть золота“. Это было недурно, но одной горсти золота графине показалось мало.

Роган и Калиостро позднее в Париже ввели ее в самое высшее общество. В одной из своих книг графиня сообщает, что за ней очень волочился граф д'Артуа, впоследствии король Карл X, имевший репутацию „самого обольстительного человека в мире“, и что она отвергла его ухаживания. Столь поразительная суровость с ее стороны внушает некоторые сомнения. Со многими другими мужчинами она не была так жестока. „Моя свежесть заменяла мне красоту“, — говорит она в труде, который совершенно серьезно назвала: „Défense de l'innocence outragée“.

У нее было все — кроме денег. Жила она на то, что давал Роган. На допросе (протокол 20 января) графиня показывала, что всего перебрала у кардинала от 70 до 80 тысяч ливров и что деньги эти он ей давал „за советы“: „je l'aidais de mes conseils“.

Однако весь Париж знал, что она была любовницей Рогана.

Поселились они все трое, кардинал, Калиостро и графиня, в разных домах квартала Бастилии, точно предчувствовали, что скоро все там, в крепости, и окажутся. Бывали на сеансах ясновидения, вместе рассуждали об эликсире жизни, о философском камне. Думаю, что ни один из них сам толком не знал, чего, собственно, хочет. Калиостро, кажется, просто забавлялся зрелищем человеческой глупости. Кардинал мечтал неопределенно, по-маниловски. Королева Мария Антуанетта унаследовала нерасположение к нему от своей матери, Марии Терезии. Как потомки бретанских герцогов, Роганы имели при версальском дворе ранг иностранных принцев и шли на церемониях тотчас за французскими принцами крови. Однако

* „Защита оскорбленной невинности“ (фр.).

“ „Я помогала ему советами“ (фр.).

в тесный круг королевской семьи кардинал доступа не имел. По-видимому, он был немного влюблен в королеву; главная его мечта заключалась в том, чтобы попасть в ее круг. Что до графини Ламотт, то, как она говорит, ее терзало честолюбие — „благородный недостаток возвышенных душ“. Сколь ни трудно переводить на простой язык чувства этой истерической женщины, должно думать, что прежде всего и больше всего ей нужны были деньги. Однако дело было не только в деньгах. У нее была природная склонность к шарлатанству — черта, которую Гёте в мрачную минуту признал обычным свойством замечательных людей.

Госпожа Ламотт уверяла всех, что очень хорошо знакома с королевой и пользуется большой ее милостью. Кардинал был твердо убежден, что графиня пользуется при дворе королевы очень большим влиянием. Графиня неопределенно обещала использовать свое влияние в интересах кардинала. В каких интересах? Ответить трудно, — повторяю, в этом деле все бессмысленно.

Довольно бессмысленна была и та знаменитая сцена, которая, конечно, встает в памяти каждого читателя, когда речь заходит о деле об ожерелье: сцена с подставной королевой в версальском „боскете Венеры“. Между тем именно эта сцена к делу прямого и тесного отношения не имела. Напомню ее лишь кратко.

В ту пору центром Парижа был сад и галерея Пале-Руаяльского дворца. Благодаря предприимчивости владельца, герцога Орлеанского, их слава именно тогда стала распространяться по всему миру. „Пале-Руаяль — это маленький город, нет, это целое государство!“ — восторженно писал позднее Дюкке. В саду этого дворца, от которого столь непонятным образом отлетела жизнь, в три часа дня гулял весь веселящийся Париж. Там гуляли, естественно, и Ламотты. На одной из таких прогулок (в конце весны 1784 года) граф познакомился с девицей Николь Леге; она называла себя модисткой. В ней не было ничего замечательного, кроме одной особенности: Ламотта поразило ее сходство с королевой Марией Антуанеттой. Сходство, по свидетельству современников, было

действительно необыкновенным, — знатоков, безошибочно распознающих в человеке „породистость“, „расу“, синюю кровь, белую кость, это обстоятельство должно было бы повергнуть в смущение: парижскую модистку, дочь инвалида Леге, нельзя было отличить от французской королевы знатнейшего в мире Габсбургского рода!

Кому именно пришла в голову гениальная мысль, графу или графине, — этого мы не знаем; думаю, что скорее — графине. Заключалась мысль в следующем: кардинал де Роган хочет войти в милость к королеве, — что, если ему выдать за королеву девицу Николь Леге?! С какой целью? Роган, конечно, выразил бы благодарность людям, устроившим это дело. Однако уж очень велик был и риск. На всем этом предприятии был налет шалой истерической шутливости, свойственной именно госпоже Ламотт. Шутливость сказалась и в том, что модистку Леге называли „баронессой Олива“. Это имя, *Oliva*, было анаграммой имени королевского рода Валуа, к которому принадлежала графиня Ламотт. Таким образом, уже без всякой необходимости, уголовный элемент в деле усиливался, против организаторов создавалась новая улика или подобие улики.

Рогану было объявлено, что королева по ходатайству госпожи Ламотт согласилась в величайшем секрете назначить ему свидание в версальском парке. Кардинал был в восторге. В ночь 11 августа он прокрался в темный „боскет Венеры“, расположенный у лестницы, поблизости от дворца. Через несколько минут появилась Николь Леге, в белом платье из индийского муслина, с какой-то „*Thérèse blanche*“* на голове, — ее одели под королеву, но впоследствии госпожа Ламотт говорила: „*La pauvre fille était parée comme une châtée*“#. Ламотты убедили глупую модистку оказать им эту услугу, не вполне объяснив ей, в чем дело^Δ. Обещали ей 15 тысяч ливров (дали только 4 тысячи), приехали за ней в коляске, по-видимому, немного ее

* „С белым убором“ (*фр.*). — *Thérèse* — старинный женский головной убор. — *Прим. ред.*

„Бедная девушка была разукрашена, как церковная рака“ (*фр.*).

^Δ*Interrogatoire de la fille Leguay, dite d'Oliva (19 janvier 1786).*

напоили и сопровождали ее к месту свидания. Тем не менее дрожала она как осиновый лист: при всей своей глупости должна была понимать, что такая шутка может кончиться плохо. Все было заранее условлено. Увидев кардинала, Ламотты исчезли. Роган поклонился до земли и поцеловал юбку „королевы“. Она что-то* пролепетала и не то подала, не то уронила розу, которую держала в руке. В это мгновение к ним подбежал „придворный“ и взволнованно прошептал: „Сюда идут...“ „Королева“ исчезла. Кардинал восторженно прижимал розу к сердцу (он потом носил эту розу в драгоценной оправе).

Если можно себе представить вопрос, который очень трудно было бы связать с этой глупой комедией, то позволительно таковым считать равноправие евреев во Франции. Думаю, что и тут дело не обошлось без игривого ума госпожи Ламотт. Ровно через десять дней после сцены в „боскете Венеры“ графиня явилась к кардиналу с сообщением: королеве очень нужны деньги, чтобы помочь семье одного бедного дворянина. Немного: всего 50 000 ливров, — но, как на беду, у нее нет свободных денег, а короля она беспокоить не хочет. Королева думает: быть может, кардинал согласится оказать ей небольшую услугу.

Каким образом старый придворный человек мог поверить такому сообщению, остается не совсем понятным. Но от королевской розы Роган, видимо, опалел. Он был и счастлив выше меры — какая честь! — и безумно расстроен: как на беду, свободных 50 тысяч не было и у него. Вероятно, выход подсказала графиня: не попросить ли денег у евреев? Кардинал тотчас пригласил к себе богатого члена еврейской общины Серф-Беера и попросил у него 50 тысяч ливров: „Ваша любезность будет иметь огромное значение и для вас лично, и для всех ваших единоверцев“. Не знаю, уточнил ли Роган свое обещание, но Серф-Беер деньги дал. Вечером 50 тысяч были у графини Ламотт, — разумеется, „для передачи Ее Величеству“. Семья бедного дворянина едва ли получила поддержку, но графиня купила себе дом.

*Показания кардинала и Оливы в этом и в некоторых других подробностях расходятся.

IV.

В „Тысяче и одной ночи“ поставлен вопрос, что хуже: лежать мертвым под землей или гулять бедным на земле? Восточная мудрость отвечает, что хуже гулять бедным на земле. С другой стороны, Андре Шенье сказал: „Une pauvreté libre est un plaisir si doux“*, — и тысячу раз умиленно цитировалась эта глупость большого поэта — бедности он не знал, а „свобода“ привела его на эшафот. Графиня Ламотт в детстве просила милостыню, и, по-видимому, „свободная бедность“ не оставила у нее приятного воспоминания. Она стремилась к богатству, не останавливаясь ни перед чем, почти не обдумывая своих поступков: мелкие аферы приносили ей небольшие деньги — значит, нужно заняться крупной аферой.

Придворный ювелир Боемер в ту пору, вероятно, уже потерял надежду продать свое ожерелье. В отчаянии он говорил, что охотно заплатит 20 тысяч ливров комиссии тому, кто поможет ему ускорить это дело. Некий Лапорт, неоднократно слышавший, что графиня Ламотт „имеет огромное влияние на королеву Марию Антуанетту“, предложил графине заняться этим делом: не купить ли все-таки королеве? Как водится, Лапорт рассчитывал получить комиссию с комиссии: дело того стоило, разумеется, Боемер заплатил бы и не 20 тысяч, а гораздо больше.

Госпожа Ламотт радости не проявила: свысока ответила, что комиссионными делами не занимается — разве так, при случае, без всякого вознаграждения? Вероятно, она и до того была, как все парижские дамы, знакома с придворным ювелиром; но с этого дня их отношения становятся самыми добрыми: то граф и графиня обедают у Боемеров, то Боемеры обедают у Ламоттов. Старый ювелир был, надо думать, в восторге: приятное знакомство в высшем кругу, надежда на столь большую да еще бескорыстную услугу. Он умолял графиню: если она не хочет денег, пусть выберет себе в его магазине какую-либо драгоценность. Графиня с достоинством отказывалась: с какой стати, какие подарки? Граф был не так горд. Не

* „Свободная бедность — это такое удовольствие“ (*фр.*).

желая обижать ювелира, он согласился принять от него на память — в ожидании ожерелья — часы и кольцо.

Чего хотела госпожа Ламотт? Уж она-то ведь знала, что отроду с королевой не встречалась. Ее умом, изобретательностью, хитростью восторгались и современники, и историки. Карлейль говорил по поводу этого дела: „Век чудес еще не кончился“. „Графиня Ламотт от рождения вела борьбу с социальным строем“, — сказал Беньо. В этом деле, однако, нет ни ума, ни тонкости, ни чудес, ни борьбы с социальным строем. Гениальный план графини сводился к самой обыкновенной краже, притом к такой, которая неизбежно должна была очень скоро раскрыться. Думаю, что графиня просто была во власти навязчивой идеи: лучшее в мире ожерелье в 1 600 000 ливров — это чужое богатство должно, должно перейти к ней. Чего только нельзя сделать, чего нельзя купить на 1 600 000 ливров! О последствиях она просто не думала: там будет видно. Вероятно, такая же психология была и у Ставиского. Особенность всех этих гениальных, но обычно (далеко не всегда, впрочем) плохо кончающих авантюристов — в сочетании хитрости с навязчивой идеей. Это, в сущности, одна из форм сумасшествия — на основе чрезмерного житейского оптимизма.

Несмотря на прекрасные отношения с Боемером, госпожа Ламотт, конечно, понимала, что *ей* ювелир ожерелья не доверит. Естественно, возникла мысль: надо опять использовать кардинала Рогана. Прием был почти такой же, как в афере с „семьей бедного дворянина“. Рогану было объявлено, что королева очень желает приобрести великолепное ожерелье Боемера, но заплатить сразу 1 600 000 ливров ей трудно. Она хотела бы приобрести это ожерелье в рассрочку, с уплатой в четыре срока, по 400 тысяч. Первый взнос будет сделан 1 августа (разговор происходил в январе). Однако вступать с ювелиром в переговоры о рассрочке королеве неловко. Не согласился ли бы кардинал заключить соглашение с Боемером, не вмешивая ее формально в дело? Деньги, разумеется, будут вносить в условленные сроки королева.

Кардинал поверил. Это было, если угодно, затмение, — но так же люди верили в наше время Терезе

Эмбер, что в ее шкафу лежит многомиллионное наследство Крауфорда, так же верили Ставискому, что в Байоннском ломбарде заложено испанскими эмигрантами бриллиантов на сотни миллионов франков. Все же легкое, маленькое, совсем маленькое сомнение как будто шевельнулось в уме кардинала: он попросил, чтобы королева письменно одобрила соглашение, которое он заключил с Босмером. Это требование не затруднило графиню Ламотт. У нее был добрый знакомый, по-видимому, ее любовник, некий Рето де Виллет, который умел (впрочем, не очень хорошо) подделывать чужой почерк.

Кардинал побывал у ювелира и легко с ним договорился: 1 600 000 ливров, четыре взноса, по 400 тысяч каждые полгода, первый взнос 1 августа. Босмер был счастлив, передавая Рогану ожерелье. Больше он, разумеется, никогда не видел ни ожерелья, ни денег. Десять лет он ждал этого дня — и это был день его гибели.

Они заключили письменное условие; госпожа Ламотт „показала это условие королеве“; Рето написал на документе: „*Approuvé. Marie-Antoinette de France*“*. Подпись королевы была подделана плохо; к тому же никогда французские короли и королевы не прибавляли к своему имени в подписи слов „*de France*“. Кардинал ни в чем не усомнился. В его оправдание должно сказать, что накануне у него было совещание с Калиостро: он запросил Великого Кофта, будет ли к добру дело? Калиостро вызвал духов — они признали, что из дела выйдет большое благо. Вопрос о том, получил ли Калиостро от графини вознаграждение, остается невыясненным. Может быть, он просто издевался. Как бы то ни было, кардинал лично отвез ожерелье на квартиру графини. Туда при нем за драгоценностью явилось „от королевы“ уполномоченное лицо: Рето де Виллет.

В тот же день у графини происходил дележ добычи. Ожерелье было разобрано. Большую долю камней, естественно, взяли себе Ламотты. Кое-что досталось Рето. В самом спешном порядке вору приступили к продаже драгоценностей. Графа отправили в Лондон;

* „Одобрено. Мария Антуанетта, королева Франции“ (фр.).

там он продал разным ювелирам одну часть бриллиантов. Другую распродала в Париже графиня. Продавали они дешево и в общей сложности едва ли выручили больше 700 тысяч. Но и 700 тысяч по тем временам представляли собой богатство.

В этой афере еще можно было бы усмотреть практический смысл, если б Ламотты попытались затем бежать за границу, в далекие страны, в Америку. Однако ни малейших попыток к этому они не делали. Напротив, они тотчас приступили к покупкам, которые должны были обратить на них внимание. Отделали свой дом в Бар-сюр-Обе, накупили мебели тысячу на полтораста, всякого добра, лошадей, наняли множество прислуги, истратили большие деньги на туалеты. Едва ли здесь даже была психология: хоть час да мой. Графиня Ламотт просто не представляла себе того, что ее ждет.

Дело неизбежно должно было раскрыться в день первого взноса Босмеру. Оно могло раскрыться и еще раньше. С одной стороны, парижские ювелиры обратили внимание на то, что некий Рето де Виллет стал продавать по слишком дешевой цене великолепные бриллианты, которые могли принадлежать только очень богатому человеку. Полиция, по доносу, даже задержала Рето и произвела у него обыск, — по небрежности полиции того беззаботного времени это последствий не имело. С другой стороны, и Босмер, и кардинал иногда видели королеву на церемониях — их несколько удивляло, отчего же королева не носит своего нового ожерелья? Госпожа Ламотт им объяснила, что королеве неловко его носить до тех пор, пока оно не будет оплачено. Придворный ювелир, казалось бы, должен был хорошо знать дам, но объяснением удовлетворился и Босмер — „этот роковой дурак“, — называет его одна из придворных дам („*Cet imbécile de Boehmer*“*, — говорит как-то и Мария Антуанетта). Он написал королеве письмо, в очень изысканных выражениях благодарил ее: „Мы с истинной радостью думаем о том, что самая прекрасная из существующих в мире драгоценностей принадлежит величайшей и лучшей из королев“. По случайности Мария Антуа-

* „Этот дурак Босмер“ (фр.).

нетта получила это письмо в занятую минуту, — прочла, ничего не поняла и не обратила на слова о драгоценности никакого внимания.

Высказывалось мнение, что умная, хитрая, тонкая графиня Ламотт в этом деле безошибочно играла на психологии кардинала: узнав об обмане, о том, что его водили за нос, он из боязни насмешек заплатит весь долг Боемеру. Думаю, что это неверно. Дело шло о слишком большой сумме. Едва ли кардинал и мог бы заплатить 1 600 000 ливров, если б даже хотел (хоть, по свидетельству г-жи Оберкирк, он рассматривал церковное имущество как свое собственное): Роган был кругом в долгу, и для уплаты 50 тысяч по первой афере ему пришлось ведь просить об услуге Серф-Беера. Во всяком случае, если б таков был, действительно, расчет госпожи Ламотт, она логически должна была бы тотчас обратиться к кардиналу — в форме ли для покаяния или для открытого шантажа: обманули, попался, плати, — надо же было дать ему возможность приготовить хоть часть денег, вступить в переговоры с Босмером. Ничего этого графиня не сделала. Она заволновалась лишь за три дня до 1 августа. Рогану было принесено новое подложное письмо: королева просит добиться у ювелира отсрочки первого взноса еще на три месяца, она готова уплатить проценты за это время, — госпожа Ламотт действительно вручила кардиналу 30 тысяч ливров процентов.

Ни о каком расчете все это не свидетельствует. Поступки госпожи Ламотт по-прежнему бессмысленны: отсрочка расплаты на три месяца решительно ничего в положении не меняла; в новом подложном письме все было совершенно неправдоподобно — вплоть до размера процента, который соглашалась платить королева по отсроченной сумме (30%); и эти 30 тысяч ливров графиня отдавала без всякой для себя пользы. В лучшем случае, если бы поверили и кардинал, и ювелир, она получала бесполезную передышку на три месяца. Но она и от их доверчивости требовала слишком многого. Роган достал образец подлинной подписи королевы, сверил с подписью на договоре и, вероятно, остолбенел от ужаса: подпись грубо подделана, все обман!

Ничего не предпринимая, кардинал заперся в своем дворце, графиня уехала — не в Америку, а в Барсюр-Об, — еще отсрочка на несколько дней. Растерялся, по-видимому, и Боемер. Он понесся за справкой к придворной даме, госпоже Кампан. С первых же слов мошенничество выяснилось: „Никакого ожерелья королева не получала, вы стали жертвой воров“.

Г-жа Кампан, разумеется, доложила о странном деле королеве. Мария Антуанетта потребовала к себе придворного ювелира — он в отчаянии. Боемер подробно рассказал все, что знал: купил ожерелье — для Ее Величества — кардинал Роган.

Тотчас решено было потребовать объяснений у кардинала. 15 августа, в большой праздник, перед выходом в придворную церковь, Людовик XVI пригласил кардинала в свой кабинет и потребовал объяснений. Королева и два министра присутствовали при допросе. При первом слове об ожерелье кардинал побледнел. Растерялся он, по-видимому, чрезвычайно. Роган ничего не скрыл, — да и не мог скрыть. Стали выплывать новые имена: графиня Ламотт, граф Ламотт, быть может, Калиостро. Кончилось это совершенно сенсационной и небывалой сценой. В соседнем с королевским кабинетом зале выхода ждал „весь Версаль“. Внезапно на пороге появился министр двора, барон Бретей, и громко, во всеуслышание (он всю жизнь ненавидел Рогана), именем короля, приказал начальнику стражи, герцогу де Виллеруа:

— Арестуйте господина кардинала!

Роган был отвезен в Бастилию. Туда за ним вскоре последовали графиня Ламотт, Калиостро, Рето де Виллет, модистка Леге—Олива. Скрылся только граф Ламотт, ему удалось бежать в Англию.

Началось самое громкое уголовное дело XVIII столетия.

V.

Сенсация в Париже, во Франции, во всем мире была необычайно велика. Произошло — в мировом масштабе — приблизительно то, что в гоголевском городе было вызвано разоблачением аферы Чичико-

ва. „Город был решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять...“ Графиня Ламотт; совершенно как Ноздрев, чуть не о каждом уличавшем ее свидетеле сообщала свои сведения: один в свое время пытался ее изнасиловать, другой поставлял женщин ее мужу, третий участвовал в самых грязных аферах. Допрашивали ее пять раз (может быть, в Национальном архиве сохранились и не все ее показания), — разобраться в этой противоречивой чепухе очень трудно. Ожерелье? Сцена в „боскете Венеры“? Ни о чем таком она отроду не слыхала: „Tout cela est très faux...“ „C'est un songe...“ „Elle est indignée de ces horreurs-là...“ „C'est un trait de folie...“ „Cela n'a pas le sens commun...“ „C'est une fable mal ourdie“* — вот содержание и тон ее ответов в сохранившихся протоколах. Потом она понемногу делает уступки. Ожерелье украл кардинал^Δ, но он действительно передал ей для продажи часть бриллиантов, — она указывает точно: получила драгоценных камней на 377 тысяч ливров, а, впрочем, во всем виноват Калиостро; это очень темный субъект, следствие должно было бы обратиться на него особое внимание... Свидание в „боскете“, правда, было, но ведь она просто хотела подшутить над своим любовником Роганом: через несколько дней она ему объяснила, что это была шутка, самая обыкновенная шутка! Потом графиня заявляет следователю, что с делом связана государственная тайна, которую она могла бы раскрыть разве только наедине министру двора. Следователь относился к ней с унылой иронией („Elle a représenté que ce qu'elle nous a dit paraît très extraordinaire“^Δ, — записывает он), но допрашивал ее очень вежливо. Тем не менее она устраивает дикие сцены. Допросы порою сопровождаются рыданиями, нервными припадками, объявлением голодовки. Пос-

* „Все это ложь...“ „Это сон...“ „Она оскорблена такой мерзостью...“ „Это граничит с безумием...“ „Это противоречит здравому смыслу...“ „Никуда не годные вымыслы“ (фр.).

^Δ Эта версия не так давно нашла защитника в исторической литературе. Луи де Судак в ученой статье („Тан“, 1 апреля 1902 года) доказывал, что ожерелье украли кардинал и Калиостро, все взвалившие на беззащитную графиню Ламотт.

^Δ Она воображала, что все рассказанное ею казалось нам необыкновенным“ (фр.).

ле одного допроса она укусила выведившего ее сторожа; после другого зачем-то разделась догола в своей камере; на очной ставке с Калиостро графиня бросила в него канделябром, причем горевшая свеча попала ей в глаз и обожгла ее. Очень трудно согласиться с лучшим историком дела в том, что на следствии госпожа Ламотт „защищалась с поразительной находчивостью, энергией и мужеством“. Нет, она вела себя в Бастилии как совершенная истеричка.

В ином роде давал показания Калиостро. Очень ловко себя выгораживая, Великий Коффт рассказывал невероятные и не имевшие к делу ни малейшего отношения истории о своих открытиях, о своих приключениях, о значении иероглифов, о каких-то Ибрагиме и Зелеиде. Говорил он и писал о себе в тоне обреченного мученика. В одном из его писаний перечисляются „двенадцать свобод Бастилии“: свобода болезни, свобода смерти, свобода скуки и т.д. „Шести месяцев заключения в этой крепости достаточно для искупления какого угодно преступления...“ В действительности жилось им в тюрьме не так плохо. По правилам Бастилии на содержание заключенных отпускалось в день от 3 до 50 ливров, в зависимости от ранга и общественного положения: князь обходился казне в 50 ливров, маршал — в 36, генерал — в 16, судья, финансист или священник — в 10, адвокат — в 5, мещанин — в 4, слуга — в 3. Даже на три ливра, по тем временам, кормить арестованных можно было хорошо, лучше, чем теперь в пансионе среднего разряда (многое, правда, оставалось у крепостного начальства). На содержание кардинала Рогана, по неизвестной причине, было из казны назначено 120 ливров в день, и он в Бастилии устраивал для приглашенных „с воли“ друзей обеды с шампанским! Госпожа Ламотт, Калиостро, Рето жили не столь богато, но и они не могли пожаловаться на тюремный режим.

Общественное мнение, особенно в высшем кругу, было, как это ни странно, почти целиком на их стороне. Родовую аристократию раздражило „оскорбление“, нанесенное кардиналу. Все многочисленные Роганы выражали глубокое возмущение (позднее на процесс они явились в траурном платье!), — семья была очень могущественная; на княжне из рода Роба-

нов был женат член царствовавшей династии принц Конде. Общество же стояло за арестованных потому, что ненавидело существовавший строй и, в частности, ненавидело Марию Антуанетту.

Что, собственно, могло компрометировать королеву во всем этом деле? Какие-то люди, совершенно ей неизвестные, воспользовались ее именем для мошенничества. Вина королевы заключалась в том, что старый строй был, с вполне достаточными основаниями, чрезвычайно непопулярен во Франции. Столь же непопулярна была и она сама. Репутация *viveug'a** почти никогда в Париже не губила. Напротив, на этой репутации от Генриха IV до Эдуарда VII отчасти покоилась популярность многих высокопоставленных людей. Но Марии Антуанетте молва не прощала и этого, — быть может, потому, что ее фаворитами считала преимущественно иностранцев: англичан (Уитворта, лорда Сеймура, герцога Дорсетского), русского (Румянцева), немца (принца Гессен-Дармштадтского), шведа (Ферзсна). О роли королевы в деле об ожерелье молва стала распространять самые фантастические слухи.

Одни говорили, что г-жа Ламотт ни в чем не повинна: ожерелье украла королева, Боемера обманула королева, в „боскете Венеры“ была королева, и когда дело раскрылось, то взвалила все на бедную госпожу Ламотт опять-таки королева! Эта версия была глупа и противоречила твердо установленным фактам, однако „что-то всегда остается“. Менее неспособные к рассуждению люди говорили, что королева ожерелья не крада и в „боскете Венеры“ не была, но обо всем этом отлично знала: хотела посмеяться над бедным кардиналом Роганом, поэтому и сделала вид, будто не поняла письма, в котором Босмер ее благодарил за покупку ожерелья. Говорили даже, что подсудимые самоотверженно выдумали фантастическую версию, чтобы отвести подозрения от королевы... В пору ита-ло-абиссинской войны газеты сообщали, что негуса в боях сопровождает некий „мангаша“, одетый в императорское облачение: его задача заключается в навлечении на себя ударов, предназначавшихся Хайле Се-

*Прожигатель жизни (*фр.*).

ласние. Эту выигрышную роль современники пытались приписать — графине Ламотт!

Более сильна была позиция тех критиков, которые признавали, что королева виновата в одном: в том, что приписанные ей поступки показались осведомленным людям вполне правдоподобными. Она тайного свидания кардиналу в „боскете Венеры“ не назначала, но почему же столь близкий ко двору светский человек, как Роган, поверил, что французская королева назначает ему тайное свидание? Она не покупала у Боемера ожерелья в рассрочку, тайно от короля, за чужим поручительством. Но почему же придворный ювелир поверил, что французская королева покупает у него ожерелье в рассрочку, тайно от короля, за чужим поручительством? Вывод был: хороша же репутация нашей королевы!

Король предложил кардиналу выбор: дело будет либо решено в порядке королевского декрета, либо передано на рассмотрение обыкновенного уголовного суда. Роган предпочел суд, очевидно, опасаясь *lettre de cachet**. Он избрал себе *шесть* защитников. Во главе их стоял мэтр Тарже, один из двух знаменитейших адвокатов XVIII века. Другим был мэтр Жербье, которого Вольтер невозмутимо серьезно называет „защитником вдовы“ („*le défenseur de la veuve*“).

В ту пору адвокаты еще до процесса выпускали „мемуары“ в защиту своих клиентов. Тарже издал мемуар в 150 страниц. Он был единственным адвокатом XVIII века, попавшим во Французскую академию, и, вероятно, поэтому был убежден, что пишет превосходно, прямо как Вольтер. На первой странице мемуара Тарже мы читаем: „*M. le cardinal de Rohan est dans les fers!*“^Δ, а на последней: „*O, le plus malheureux des hommes!*“^Δ Мемуар был составлен в строго монархическом духе. Главный ужас положения кардинала, по словам его защитника, заключался в том, что он огорчил короля и королеву: „*Pensées déchipantes: suspect au Roi, accablé de sa disgrâce, poursuivi par l'affreuse idée*

*Письмо с королевской печатью (*фр.*). — Как правило, вручалось в случае ареста или ссылки без суда. — *Прим. ред.*

Δ „Господин кардинал де Роган в кандалах!“ (*фр.*)

Δ „О, несчастнейший из людей!“ (*фр.*)

d'avoir pu déplaire à la Reine** и т.д. В 1793 году, в начале террора, Людовик XVI, преданный суду революцией, обратился к Тарже с просьбой взять на себя его защиту. Тарже отказался, сославшись на „сильнейшие головные боли“. Но в 1785 году у него голова еще не болела и защиту кардинала в столь сенсационном деле он взял на себя с восторгом. Ни в Национальном архиве, ни в печатных трудах Компардона, Фенк-Брешано и других историков я не мог найти указаний, какой именно гонорар получил великий адвокат, хоть старый, очень неудобный, закон предписывал защитникам „signer leurs escritures, et en bas de leur seing, écrire et parapher de leurs mains ce qu'ils auront reçu pour leur salaire, et ce sous peine de concussion...“*.

Графине Ламотт следовало бы обратиться за защитой к Жербье. Ее защита заключалась в том, чтобы топить кардинала, а оба мэтра, естественно, ненавидели друг друга. Однако она этого не сделала (быть может, потому, что „защитник вдовы“ незадолго до того был временно лишен права практики, по дисциплинарному делу, за подкуп свидетелей). Графиню защищал старый адвокат Дуалло. Он тотчас влюбился в свою клиентку. Одновременно влюбился в модистку Леге ее молодой защитник Блондель. Сложная и без того история еще осложнилась этими двумя внезапными романами. Адвокаты печатали мемуар за мемуаром. Интерес к ним публики был необычайный. Мемуар Тарже разошелся тремя изданиями в один день; мемуара Дуалло было продано пять тысяч экземпляров за одну неделю. Каждый день объявлялись новые сенсации. Рето де Виллет пожаловался, что его хотели отравить. Графиня подала заявление (ложное) о своей беременности. О графе Ламотт прошла весть, что он из Лондона уехал в Константинополь, там принял мусульманскую веру и подвергся операции обрезания. Естественно, все подробности дела подхватывались в анонимных памфлетах, в подпольной ли-

* „Мучительные мысли: подозретелен королю, углетен его немилостью, преследуемый идеей, что он не понравился королеве“ (Фр.)

** „Визировать свои бумаги, а под подписью собственноручно указывать полученную сумму, и все это под страхом наказания за взяточничество...“ (Фр.).

тературе, в стихках. Не останавливаюсь на всем этом: самое дело об ожерелье королевы входит лишь как материал в этот психологический очерк.

VI.

Граф Ламотт в Турцию не уезжал. Уголовный характер его преступления никаких сомнений вызывать не мог. Но договор о выдаче уголовных преступников был между Англией и Францией заключен только в 1843 году. До того, если не ошибаюсь, точных правил не было: преступники иногда выдавались, иногда не выдавались. Как это теперь ни странно, Лондон в те времена считался раем всевозможных злодеев, а Англия — родиной преступления. „В Лондоне — колония проворовавшихся кассиров, расстриженных монахов, бесчестных литераторов и специалистов шантажа“, — пишет Карре. Вот какие перемены может произвести столетие культурной, разумной и устойчивой государственной жизни.

В своих воспоминаниях граф Ламотт рассказывает, что на него было организовано покушение или даже два покушения, — не совсем ясно кем: не то агентами французского правительства, не то сторонниками кардинала Рогана. В Лондоне он оставался недолго. По неясным причинам он все переезжал из одного английского города в другой — под вымышленной фамилией: д'Арсонваль. Быть может, он укрывался от кредиторов? Однако в те времена долги никого особенно не пугали. Монтескье так и определял грансеньера: „Это человек, у которого есть предки и долги“. Пример всем подавался выше. Граф д'Артуа 24 лет имел 24 миллиона долга; Роган-Гемене был должен 33 миллиона; Шуазель — 10 миллионов; Лозен и Ламуаньон по 2 миллиона; Монморен одному портному задолжал более миллиона ливров. Возможно, что у Ламотта были и какие-либо другие причины избегать столицы.

Случайно в Эдинбурге он познакомился с 82-летним итальянским учителем по фамилии Коста (или Дакоста), завел с ним дружбу и сообщил ему свое настоящее имя. Этот старик решил за приличное воз-

награждение выдать его французским властям. Тут начинается самая темная сторона всего этого дела. Конечно, Ламотт был преступником. Тем не менее одной заботой о правосудии трудно объяснить то, что последовало: для поимки Ламотта французское правительство идет на весьма рискованные дела, которые в своем роде были хуже, чем кража Боемеровского ожерелья. Министр иностранных дел знаменитый граф Верженн, скончавшийся через год после этого, заканчивает свою блистательную карьеру делом весьма темным.

20 марта (1786 года) Коста пишет французскому послу в Лондоне Адемару письмо, в котором предлагает выдать Ламотта французским властям, если ему будет заплачено десять тысяч гиней, с авансом в одну тысячу. Посол мог бросить это письмо в корзину, мог признать его интересным. В этом последнем случае он, очевидно, был обязан переслать письмо министру иностранных дел. Вместо этого Адемар пересылает письмо — королеве Марии Антуанетте. Королева от себя передает письмо Верженну и сообщает ему, что король согласен на условие итальянца. Верженн пишет Адемару, что предложение принимается. Коста излагает свой план: французское правительство пошлет судно в Ньюкасл: он, Коста, обязуется убедить графа переехать в этот город; там он незаметно напоит Ламотта усыпляющим средством; французские сыщики его свяжут и перенесут на судно, которое и отвезет его во Францию! Весь этот план принимается — по соглашению посла с министром иностранных дел! Нанимается судно, нанимаются четыре сыщика, которым правительство обещает по 50 тысяч ливров и пенсию. Они выезжают в Англию. В последнюю минуту все расстраивается: по словам Ламотта, Коста раскаялся и отказался от дела.

Еще менее понятно другое: если бы Ламотта удалось доставить в Париж, он на процессе, конечно, объяснил бы, как именно его изловили. Вышел бы скандал на весь мир. С другой стороны, для Косты в Англии такое дело кончилось бы, надо думать, каторжными работами. С большей вероятностью можно предположить, что Коста и не собирался выдавать графа. Он получил аванс в тысячу гиней. Вполне

возможно, что итальянец поделился этой суммой с Ламоттом, с которым действовал по дружескому соглашению. Высказываю лишь догадку. Объяснить же действия французского правительства не берусь. Адемар был человек легкомысленный (о нем есть неизвестные французским историкам сведения в письмах С.Р.Воронцова). Но о глупости или легкомыслии графа Верженна говорить никак не приходится. Личная месть? Едва ли. Уступка чужому давлению? Не знаю.

Ламотт доставлен во Францию не был. Процесс открылся без него.

Дело рассматривалось в парламенте. Обвинял один из самых видных деятелей магистратуры, Жоли де Флери, человек ученый и цветисто-красноречивый. В Париже говорили, что генеральный прокурор подкуплен двором, который хотел во что бы то ни стало добиться осуждения оскорбивших королеву людей. Вероятно, это обвинение ни на чем основано не было. Прокурор добивался обвинительного приговора потому, что он был прокурор: Жоли де Флери в общем вел себя на процессе довольно корректно.

Что до судей, то у них настроение было, по-видимому, смешанное. Старый строй, в отличие от современных диктатур, не сажал всюду своих, вполне преданных и надежных людей. Большинство членов парламента принадлежали к оппозиции и возмущались злоупотреблениями двора. Возмущение было основательное, но злоупотребления судебного ведомства в ту пору ничем не уступали королевским. В тот самый год, когда слушалось прогремевшее по всему миру дело об ожерелье королевы, в Шомоне без большого шума три несчастных крестьянина были за кражу приговорены к колесованию. При том самом старом строе, при котором кардиналу Рогану разрешалось в Бастилии устраивать обеды с шампанским, людей вешали по приговору суда за браконьерство. Это было одно из многочисленных противоречий либерального века. Как бы то ни было, большинство судей графини Ламотт были не прочь сделать королю неприятность. С другой стороны, не очень большую симпатию вызывал у них и кардинал де Роган. Судей-

ское дворянство (*noblesse de robe*) очень недолюбливало родовую аристократию; их взаимная неприязнь проходит через всю французскую историю XVII и XVIII веков. Позднее д'Ормессоны, Пакье, Ламуаньоны, Жоли де Флери сами стали знатью и подтрунивали над богатой буржуазией. Но в ту пору над ними и над их женами, „не умеющими ни есть, ни одеваться“, посмеивались Роганы, Ларошфуко, Монморанси. Понятие аристократии условно. Так и в России когда-то князья Пенковы, Шуйские, Бельские, Мстиславские, Патрикеевы относились с пренебрежением к княжеским и боярским семьям, составившим знать позднейших веков, а эта знать иронически относилась к петровской и скатерининской аристократии, которая в свою очередь не очень жаловала новых людей и богатое купечество XIX и XX столетий.

Допрос подсудимых и свидетелей занял немало времени. В газетах печатались отчеты о деле. В ту пору в Париже особенное распространение имели иностранные (преимущественно голландские) газеты, выходившие на французском языке. Парижская и лондонская печать в обществе доверием не пользовалась из-за слухов о „секретном фонде“ (этот фонд действительно оплачивал до трехсот журналистов). Но к „Лейденской газете“ доверие было полное, и читал ее в те дни весь Париж. Отчеты этой газеты и теперь составляют ценный исторический материал. Интерес к делу был чрезвычайно велик. В кофейнях говорили только о нем. Большой интерес оно вызывало и во дворцах принцев, в салонах, в масонских ложах — особенно в тех, в которые допускались дамы: в одной из этих лож „ораторшей“ была принцесса Ламбалль, в пору революции растерзанная толпою. На эшафоте погибла и большая часть людей, с ожесточением повторявших в те дни, что так дальше жить невозможно: „Il faut déboubonailler la France“*.

Заседания начинались в 6 часов утра, а то и гораздо раньше. Публика иногда занимала места еще с вечера. Подсудимых приводили в 4 часа ночи. В день объявления приговора по приказу правительства здание суда оцепили войска. Это вызвало резкий протест

* „Нужно избавить Францию от Бурбонов“ (*фр.*).

одного из членов парламента. Председатель смущенно ответил, что такова воля правительства. По-видимому, власти допускали возможность беспорядков. Перед зданием в самом деле собралась и дежурила весь день огромная толпа. Приговор был объявлен только в девять вечера, после заседания, продолжавшегося 18 часов!

Графиня Ламотт была единогласно признана виновной и приговорена „ad omnia citra mortis“ — „ко всему, за исключением смерти“. Парламент уточнил: публичное наказание розгами, наложение клейма на плечо в виде буквы v (*voleuse**), конфискация имущества и пожизненное заключение в Сальпетриер. К той же каре заочно приговаривался и ее бежавший в Англию муж. Модистке Леге-Олива был вынесен оправдательный приговор с некоторым оттенком порицания. Кардинал Роган и граф Калиостро признаны были ни в чем не виновными и от всякой ответственности по делу освобождались.

По словам аббата Жоржеля, графиня Ламотт, услышав приговор, в испуге осыпала королеву такой бранью, что ей пришлось заткнуть рот. По ее собственному рассказу, она при объявлении приговора не присутствовала. Публика же встретила приговор продолжительной овацией! Это свидетельствует, конечно, о некоторой путанице в головах людей того времени. С либеральной точки зрения восхищаться таким приговором вообще, а в частности в отношении женщины, хотя бы и воровки, как будто не приходилось. Но современники, с восторгом читавшие гуманный труд Беккариа о преступлениях и наказаниях — и равнодушно принявшие дело о *roués de Chaumont**, — в приговоре усмотрели только одно: прямой удар по королеве. Всем было известно, что Мария Антуанетта настаивает на осуждении Рогана. Суд кардинала оправдал. Расследование дела показало, что Роган считал Марию Антуанетту способной на назначение тайных свиданий, на сомнительные сделки с драгоценностями. Суд в таком его отношении к французской королеве никакого состава преступле-

*Воровка (*фр.*).

*Избиение в Шомоне (*фр.*).

ния не нашел. С юридической стороны это можно было рассматривать как угодно — политический смысл приговора был ясен: престижу династии Бурбонов нанесен очень тяжелый удар. Старый строй никуда не годился. Но овация в зале суда свидетельствовала, что графиню Ламотт высекут и заклеят во имя либерализма!

Выход из дворца кардинала, Калиостро и судей напоминал выход Патти или Тальони в блаженные времена в России. Из кареты выпрягали лошадей, в карету впрягали людей, героев пытались нести на руках, орали „Да здравствует кардинал!..“ Часть публики потребовала, чтобы Париж был иллюминирован. Власти в этом отказали: для иллюминации в самом деле особых оснований не было. Роган и Калиостро еще должны были засхатъ в Бастилию — невинных мучеников проводила туда бесчисленная толпа народа. Затем из Бастилии они отправились по домам, толпа всюду следовала за ними. Граф Калиостро выходил на балкон своего дома, прижимал руку к сердцу и раскланивался.

VII.

В середине XVII века Людовик XIV разрешил устроить в Малом арсенале Парижа убежище для нищих. Малому арсеналу принадлежал огромный участок земли; там изготовлялась селитра, отчего вся эта усадьба получила название Сальпетриер. Считалось это заведение убежищем; в действительности же оно представляло собой тюрьму. Теперь, как известно, Сальпетриер — больница (по территории едва ли не самая большая в мире). Если не ошибаюсь, убежище для бездомных женщин в ней по традиции сохранилось. Вид корпусов больницы и сейчас довольно зловещий. В те времена там были отделения для нищих, для бродяг, для „детей, предоставленных Божьей воле“, для женщин, которых то или иное влиятельное лицо желало почему-либо держать в заключении, для „gateuses“*, для „filles d'une débauche et

* „Слабоумные“ (φίλ).

d'une prostitution publique et scandaleuse**». В начале революции герцогу Ларошфуко-Лианкуру поручено было сделать доклад о Сальпетриер. Герцог описал убежище просто и правдиво. Это был настоящий ад.

В Сальпетриер перевезли в полубесчувственном состоянии графиню Ламотт после исполнения приговора: ее высекли 21 июня на дворе Palais de Justice, наложили на нее клеймо и отправили в один из корпусов тюрьмы. В своих мемуарах она пишет: „В этом доме позора правнучка короля Генриха II за преступления, совершенные не ею, пробыла 11 месяцев и 17 дней“.

Уличные поэты слагали веселенькие стишки*. Однако после приведения приговора в исполнение общественное настроение вдруг изменилось. Стали говорить, что графиня, быть может, ничем не виновата, а если и виновата, то все же не настолько, чтобы можно было оправдать истязание и пожизненное заключение в тюрьме. Знатные дамы ездили в Сальпетриер, просили „офицеров“ тюрьмы обращаться возможно гуманнее с графиней, оставляли деньги для улучшения полагавшейся ей пищи. „Лейденская газета“ в номере от 20 августа 1786 года пишет: „Никогда в Сальпетриер не видели столь блестящего общества, как с тех пор, как там сидит госпожа Ламотт“. В номере от 12 сентября та же газета уделяет сведениям о госпоже Ламотт больше места, чем берлинской корреспонденции с описанием смерти Фридриха. В Париже с умлением рассказывали, как проводит свой день в тюрьме графиня за чтением благочестивых книг.

В действительности, госпожа Ламотт была в Сальпетриер занята не столько благочестивыми книгами, сколько подготовкой своего побега.

Из тюрьмы (не из ссылки, не из лагеря, а именно из тюрьмы) бежать очень трудно. Конечно, все бывало: побеги Латюда, побег Кропоткина, побег де Валера и т.д. Но общее правило: когда человек бежит из

* „Развратные женщины и проститутки, замешанные в скандальных делах“ (*фр.*).

** „La Motte, on n'en peut douter, — Des Valois est bien la fille, — Puisque l'on lui fait porter — Les armes de la famille“ (клеймо было в виде буквы V — voleuse — воровка) — „Без сомнения Ламотт настоящая дочь Валуа, — ведь ее заставляют носить фамильный герб“ (*фр.*).

тюрьмы, это в двух случаях из трех должно вызывать некоторые подозрения. Госпоже Ламотт помогала одна из заключенных, некая Анжелика. В своих воспоминаниях графиня описывает эту Анжелику как ангела, свалившегося с неба в Сальпетриер. Но в одном из своих позднейших писем она ту же Анжелику называет „чудовищем“. Истина, вероятно, находилась посредине: Анжелика была обыкновенная арестантка, подкупленная для устройства побега графини.

Однажды часовой, дежуривший в тюремном дворе, просунул Анжелике в окно на дуле ружья записку, в которой говорилось, что кто-то хочет спасти госпожу Ламотт. Графиня до конца своей жизни уверяла, что так и не знает, кто был ее тайный благодетель. Однако неясные догадки приходили ей в голову. В записке были слова: „C'est entendu“*, выражение, казалось бы, самое обыкновенное. Но госпожа Ламотт пишет, что „это странное выражение“ употребляли только королева Мария Антуанетта и кардинал Роган.

Кардинал едва ли мог способствовать побегу графини, даже если бы этого желал: тотчас после процесса он по приказу короля должен был покинуть Париж и находился далеко от столицы. Современники были убеждены, что побег госпожи Ламотт устроила королева, и это их убеждение передалось историкам, уделяющим побегу несколько строк. Едва ли оно верно. Если бы королева хотела спасти графиню, Людовик XVI просто ее помиловал бы (при изменившемся настроении общества, милость была бы и весьма популярна). Кроме того, двор имел основания опасаться, что госпожа Ламотт, убежав за границу, начнет там печатать всевозможные разоблачения. Гораздо вероятнее, что помогли бежать графине, сговорившись с тюремным начальством, враги королевы — их было очень много, и были среди них люди весьма влиятельные и высокопоставленные, вплоть до принцев крови. Разумеется, госпожа Ламотт прекрасно знала, кто именно ей помог: при чтении глав о побеге в ее мему-

* „Решено“ (фр.).

арах выносишь впечатление, что она замечает следы нарочно.

Ее рассказ совершенно фантастичен. Неизвестный благодетель предложил графине *нарисовать* ключ, которым пользовались „офицерки“ при обходе тюрьмы: по этому рисунку он обещал изготовить ключ для побега. Так и было сделано. В своих мемуарах госпожа Ламотт даже дает рисунок ключа, очень сложный, с 8 — 10 нарезками на бородке. Если принять в соображение, что надзирательницы ключа из рук, разумеется, не выпускали и что рисовала его графиня по памяти (при посещении „офицерок“ она „старалась запечатлеть в воспоминании все размеры ключа“), то неправдоподобие рассказа станет совершенно ясным. Благодетель получил рисунок, заказал ключ и переслал его графине, которая „не смыкала глаз семнадцать ночей“. Ключ принесла в ее камеру Анжелика. „Испустить восклицание, броситься в ее объятия, поцеловать ее, схватить ключ, прижать его к сердцу, покрыть поцелуями было делом одного мгновения“, — пишет госпожа Ламотт: восторг овладел ею еще до того, как выяснилось, что ключ подходит к замку. Но ключ, разумеется, подошел как нельзя лучше: „О небо! Дверь открывается!..“

Остальное тоже сошло прекрасно. Неизвестный благодетель доставил в Сальпетриер мужской костюм. Графиня переделалась мужчиной, отворила присланным ключом дверь, вышла за ворота и скрылась. Так же благополучно она из Парижа проследовала в Ножан, в Труа, в Нанси, в Мец, оттуда в имперские земли и, наконец, в Англию, где ее ждал — впрочем, без страстного нетерпения — граф Ламотт.

Чувства графини понять легко: ее томила жажда мести королеве, королю, Рогану, судьям, всем. Пользуясь английской свободой слова — весьма значительной в те времена, поскольку дело касалось Франции, — она могла разоблачать тайны французского двора. Собственно, никаких тайн она не знала, — это ничего не значило: можно было выдумывать что угодно. Писать графиня не умела — это также не имело значения: в Лондоне были наемные перья. Разумеется, не могло быть недостатка и в издателях: дело об

ожерелье королевы достаточно нашумело в мире. Однако тут возникла „борьба двух страстей в душе мятущегося человека“. Графиня жаждала мести — ей хотелось печатать разоблачения. Но она жаждала также денег, и ей не вполне ясно было, кому выгоднее продать рукопись: издателям или же тем людям, которых она собиралась разоблачать. Бальзак в одном из своих романов называет шантаж „выдумкой английской печати, недавно занесенной к нам во Францию“. В действительности, ремесло шантажистов старо, — не изобрел его и Аретин, считающийся „создателем шантажа“.

В Оксфорде вышло первое, коротенькое (16 страниц), „Письмо графини Валуа-Ламотт к французской королеве“. Оно помечено октябрём 1789 года (год этот на обложке назван „юбилейным годом разрушения колосса Родосского“! — 1789 год, собственно, прославился не одним этим юбилеем). Написано письмо на „ты“. „Недоступная твоей бессильной злобе (подавись ею), — пишет королеве г-жа Ламотт, — сообщаю тебе, что отрываюсь от второй части своих мемуаров только для того, чтобы пожелать тебе гибели...“ Дальнейшее оглашать в печати неудобно, настолько письмо это грязно, грубо и гнусно. Казалось бы, после опубликования такой брошюры уже трудно было вступать в переговоры с двором о покупке рукописи мемуаров. Однако госпожа Ламотт не прочь была начать переговоры. В Национальном архиве мне попалось одно письмо ее*, где она говорит: „Я глубоко возмущена многочисленными клеветническими пасквилями, распространяемыми в публике от моего имени; мне столь же коварно, сколь нелепо и святотатственно, приписывают самые (одно слово оторвано. — М.А.) и самые кощунственные обвинения; я публично и торжественно отказываюсь от этих гнусных писаний“ и т.д. Таким образом, она нашла практический выход из своего гамлетовского конфликта: сначала печатала всевозможные гнусности о королеве, а потом выражала готовность отказаться от них за приличное вознаграждение. Расчет оказался более или менее правильным!

*Национальный архив, F⁷ 4445—4450.

Жизнь госпожи Ламотт, как писали старые романисты, — „история падения души человеческой“. От природы ей, по-видимому, было свойственно немалое очарование, о котором ее книги и письма никакого представления не дают. Об этом очаровании говорят люди, лично ее знавшие. О нем свидетельствуют и ее многочисленные успехи у мужчин: красотой ведь она никогда не отличалась. Жизнь графини — иллюстрация ко всевозможным прописям: нищета породила корыстолюбие, корыстолюбие привело к мошенничеству, мошенничество — к шантажу.

VIII.

В пору революции в Париже образовалось некоторое подобие центрального комитета пасквильянтов. Создалась целая литература, относившаяся к тем из высокопоставленных лиц, которые шли ко дну. Разумеется, не вся эта литература была шантажной, но и шантаж занимал в ней достаточно большое место. В свое время, работая над романами из эпохи Французской революции, я по необходимости изучал эту литературу. В Национальной библиотеке есть не менее пятидесяти ее образцов (а может быть, и значительно больше). Насколько я могу судить, выработалась и некоторая специализация: была, кажется, особая типография какого-то „Пьера Бесстрашного“, были и авторы-профессионалы, как некий „Бусмар, усач-патриот“. Привожу наудачу несколько заглавий:

„Têtes à prix. Suivi de la liste de toutes les personnes avec lesquelles la reine a eu des liaisons de débauches“, „Bouquet qui a été présenté à Marie-Antoinette, épouse du ci-devant roi“, „Républicains, guillotinez-moi ce jean-foutre de Louis XVI et cette putain de Marie-Antoinette“, „Les adieux de la reine à ses mignons et mignonnes“, „Les derniers soupirs de la garce en pleurs...“* Не надо думать, что пасквили этого рода писались только о королеве.

* „Головы на продажу. Далее следует список лиц, с которыми королева имела развратные связи“, „Букет, подаренный Марии Антуанетте, супруге бывшего короля“, „Республиканцы, гильотинируйте этого олуха Людовика XVI и эту шлюху Марию Антуанетту“, „Прощание королевы со своими фаворитами и фаворитками“, „Последние вздохи плачущей потаскухи...“ (фр.)

После падения Робеспьера со сказочной быстротой посыпались всевозможные: „Robespierre aux enfers“, „Vie secrète et curieuse de Robespierre“, „La queue de Robespierre“, „La vie et les crimes de Robespierre“* и т.д.

Одно лицо, недурно знавшее госпожу Ламотт, полупушутливо дало ей еще во Франции совет: „ne pas se faire remarquer“^а (игра слов непереводаемая). Она этому благоразумному совету не последовала. Ее мемуары отвратительны. Скажу, впрочем, что, по-видимому, она находилась в состоянии, близком к умопомешательству. Об этом свидетельствуют и некоторые неопубликованные ее письма и бумаги^а. Не стоило бы, пожалуй, и заниматься ее писаниями, если бы они не имели известного исторического значения. Достаточно сказать, что сам Мирабо, относившийся к графине с отвращением, считал их весьма важными; об этом, кроме печатных материалов, есть тоже неопубликованные сведения в Архиве.

За несколько недель до падения монархии Людовик XVI, как это ни странно, велел придворному интенданту Лапорту скупить мемуары госпожи Ламотт и сжечь их в печи Севрской фарфоровой мануфактуры. Книга была сожжена, — но один экземпляр интендант оставил себе на память, вследствие чего этот шедевр до нас дошел. Заплатил король довольно круглую сумму. Однако деньги уже не достались графине Ламотт: незадолго до того она погибла трагической смертью.

Королеве она успела причинить много зла. Пасквили на Марию Антуанетту печатались и до дела об ожерелье. Но позднейших пасквилянтов полушантажные, полуистерические мемуары графини Ламотт надолго снабдили богатым материалом (выдуманном по меньшей мере на три четверти). Именно ее мемуары создали и ту атмосферу, в которой проходил в 1793 году процесс королевы.

* „В ад Робеспьера“, „Любопытная тайная жизнь Робеспьера“, „Шлейф Робеспьера“, „Жизнь и преступления Робеспьера“ (фр.).

^аNe pas se faire remarquer — стараться быть незаметной. Ne passe faire remarquer — не упустить случая быть замеченной (фр.). — Произойдет одинаково.

^аНациональный архив, F⁷ 4445—В, письмо без адреса, от 6 августа 1790 г., и др.

Французские историки и до сих пор с некоторым удовлетворением отмечают, что во Франции король и королева вместо самочинной расправы, произошедшей в других странах, были преданы суду. После екатеринбургского убийства министр иностранных дел Пишон с трибуны французского парламента воскликнул: „У нас во время революции ничего подобного не было!“ С формальной стороны он был до некоторой степени прав. Однако лишь с очень большой натяжкой можно серьезно называть „процессом“ 20-часовое издевательство в революционном трибунале над Марией Антуанеттой, сопровождавшееся арестом обоих ее защитников (защитник короля, как известно, был впоследствии и казнен).

Прокурор революционного трибунала, знаменитый Фукье-Тенвиль, по общему правилу, не глумился над подсудимыми. Они были ему совершенно неинтересны. По собственному его приблизительному подсчету, он отправил на эшафот около двух тысяч человек. Фукье-Тенвиль с одинаковым равнодушием добывался смертной казни для герцога Орлеанского и для госпожи Ролан, для Шарлотты Корде и для Дантона. На своем процессе он как-то обмолвился верным словом: „Я был топором гильотины, что же карать топор?..“

Издеательства он себе позволял лишь очень редко. Его стиль (тогда каждый человек выбирал себе стиль) был: холодная вежливость. Но в деле Марии Антуанетты он от этого стиля отступил совершенно. Положение его было трудное. Он происходил из небогатой католической семьи*, в молодости писал свою фамилию Фукье де Тенвиль и был убежденным монархистом. По случайности написал даже когда-то восторженную оду о свадьбе той самой королевы Марии Антуанетты, которую теперь отправлял на эшафот. Быть может, именно поэтому он должен был проявить в ее отношении особенную грубость. На процессе королевы Фукье-Тенвиль работал под галерку: все эти „Агриппины“ и „Мессалины“ были совершенно

*В 1856 году, когда умерла последняя дочь Фукье-Тенвиля, у нее был найден образец в бумаге с надписью: „Он носил его в тот день, когда благодаря ему была приговорена к смерти вдова Капет“ (то есть королева Мария Антуанетта).

не в его духе. Можно сказать с большой вероятностью, что лучшие свои образы и сравнения он заимствовал из мемуаров графини Ламотт. Задал он королеве и вопрос о графине. Мария Антуанетта ответила, что никогда в жизни госпожи Ламотт не видела.

Процесс королевы всем достаточно известен. Известно и возведенное против нее обвинение в любовном сожителстве с ее восьмилетним сыном. Это обвинение вполне в стиле госпожи Ламотт, хоть и не взято из ее мемуаров — до этого она просто не додумалась. Использовал „показание“ недоразвитого запуганного дофина Эбер. Он был главным создателем этой страницы в истории Французской революции. Вторым после него был художник Давид. Разница между ними заключалась в том, что Эбер не верил, конечно, ни одному слову из своего обвинения. Давид, быть может, и верил: он был чрезвычайно глуп. А может быть, ему „по художественным соображениям“ непременно хотелось, чтобы королеву казнили: Давид собирался „заклеймить вдову Капет ее изображением на позорной колеснице“. Но так как художник он был изумительный и в каком-то последнем счете, при всей своей тенденциозности, правдивый, то его знаменитый рисунок с натуры послужил не тому, чему должен был послужить.

Многие вожди революции отнеслись с отвращением к выдумке Эбера — Давида, как они относились с отвращением к вымыслам графини Ламотт. Но наемные писаки этого, видимо, не знали и старались во всю. Некий Беркело опубликовал брошюру, просто пересказывавшую главы мемуаров графини. Вышло так, что кардинал Роган (которого в действительности Мария Антуанетта совершенно не выносила) был чуть ли не главной страстью всей ее жизни. В брошюре королева восклицает: „О мощный кардинал, Геркулес моей жгучей и жестокой страсти, я умираю с тоской по тебе“ и т.д. Сопровождается брошюра послесловием: „Эта рукопись была найдена в галерее Сен-Клу, и я счел нужным доказать свои гражданские чувства, напечатав ее“. В другой брошюре, совершенно в стиле госпожи Ламотт, описывались последние минуты королевы. Тут Мария Антуанетта — и „паук“, и „волчица“, и „тигрица, лизнувшая крови и

ставшая с той поры ненасытной“, — все как в писаниях графини. Точно таков же надгробный слог многих других брошюр и газет того времени. Графиня Ламотт умерла, но ее идеи были живы.

Вероятно, „второй день третьей декады первого месяца второго года республики“ (официальная дата суда над королевой) был бы счастливейшим днем в жизни графини Ламотт. Судили Марию Антуанетту в Зале Свободы Palais de Justice. Почти рядом, в Зале Равенства, где шли знаменитейшие уголовные и политические процессы всей французской истории, где когда-то судили мертвое тело убийцы Генриха III, где судили убийцу Генриха IV, где судили Сен-Марса, Фуке, Картуша, — рассматривалось, за несколько лет до революции, дело об ожерелье королевы. А взшла Мария Антуанетта на телегу, отвезшую ее к эшафоту, во дворе того же Palais de Justice, у дверей нынешнего буфета парижских адвокатов, — на том самом месте, где когда-то графиня Ламотт подверглась истязанию.

Но она до этого дня не дожила.

Погибла она случайно, на 34-м году жизни. Ее последние годы прошли в Лондоне. В одной из своих брошюр (1790 года) она пишет: „Наконец-то настал долгожданный день, миг, за который я дала бы тысячу жизней: я снова дышу чистым воздухом отечества... Да, теперь я подведу вас под меч правосудия, — вас, кого я еще не называю и чей позор я разоблачу...“ Очевидно, она наудачу пыталась шантажировать кого-то еще. Но в ее словах не было ни слова правды. Чистым воздухом отечества она не дышала: во Францию графиня Ламотт не вернулась и после революции, хоть и подумывала об этом (как видно из ее неопубликованных писем). С Парижем у нее связывались слишком неприятные воспоминания.

Однако жизнь ее была несладка и в Лондоне. Она жила в вечном страхе: опасалась покушений со стороны „агентов королевы“, „агентов Рогана“ и всевозможных других агентов. Средств у нее не было. Сначала ее поддерживал субсидией какой-то лорд, считавший ее жертвой судебной ошибки или произвола французских королей. Потом лорд прочел ее писания и, поняв, с кем имеет дело, прекратил субсидию. Книги графини

ни шли недурно. В Национальном архиве сохранился любопытный в бытовом отношении проспект, рассылавшийся разным лицам ее издателем: „Зная, что вы интересуетесь книжными новинками и, в частности, трудами, раскрывающими глаза публике, препровождаю вам краткое изложение книги графини Ламотт“ и т.д. Одна из ее книг разошлась по-французски в пяти тысячах экземпляров, а по-английски в трех. Но литературного заработка ей не хватало, и нельзя же было „раскрывать глаза публике“ вечно. Графиня стала делать долги, — по ее новым меркам очень небольшие.

В июне 1791 года торговец мебелью Макензен подал на нее жалобу за неуплату какой-то незначительной суммы. По этой жалобе английский пристав явился к графине на дом и стал стучать в ее дверь. Госпожа Ламотт, по-видимому, находилась в состоянии нервного волнения, граничившего с невменяемостью; по словам ее мужа, она неоднократно покушалась на самоубийство. При стуке в дверь, вероятно, услышав какие-либо страшные слова, вроде: „отворите во имя закона“, — она решила, что за ней пришли „агенты“: схватят, увезут в Сальпетриер, убьют!.. В припадке дикого ужаса она бросилась в окно и жестоко разбилась. Ее перевезли к соседу, английскому парфюмеру. Там она и умерла после долгих мучений. В Национальном архиве есть письмо некоего Гарриса, адресованное „мосье Бертрану“. Привожу его с сохранением орфографии: „Je suis fache Monsieur de vous apprendre que la Countess de Motte est mort mardi apre avoir souffert martire, on l'entere aujour d'hui. Je m'atende Mon cher Monsieur une lettre du vous qui nous fera à tous piesire, ayant concut pour vous un grand estime du premier moment que nous eumes l'honneur de vous voire“*. (Мосье Бертран был агент, приставленный к госпоже Ламотт французскими властями для тайного наблюдения за нею.)

Муж графини прожил еще много лет. Дальнейшая жизнь его была богата приключениями, которых я

*„С сожалением сообщая, что графиня Ламотт умерла в среду в страшных муках, сегодня ее похороны. Нам всем доставит удовольствие ваше ответное письмо, и как только мы будем иметь честь видеть вас, мы выразим вам папе глубокое уважение“ (фр.).

касаться не буду. Он умер в 1831 году в нищете, в больнице, всеми забытый. Жену его помнили лучше. Как это ни странно, были дамы, выдававшие себя за графиню Ламотт. Одна из таких самозванок, по-видимому, жила в России в Старом Крыме. В старых русских журналах есть рассказы о какой-то графине Гапе, эмигрантке, служившей воспитательницей у княгини А.С.Голицыной и бывавшей в обществе госпожи Крюденер. Тайну этой женщины знали лишь несколько человек в мире: император Александр, Бенкендорф, Нарышкин и Воронцов, и они эту тайну унесли с собой в могилу: под именем Гапе жила графиня Ламотт, скрывавшаяся в России от преследований своих бесчисленных врагов. После ее смерти, в 1839 году, тайна раскрылась: на теле было обнаружено клеймо. В путеводителе по Крыму Головинского, показанном мне любезным читателем, упоминается о месте могилы знаменитой авантюристки. Разумеется, это сказка. Графине не от кого было бы скрываться: ее муж совершенно спокойно жил в Париже. Приведенное выше письмо англичанина никаких сомнений не оставляет. Быть может, в Крыму жила какал-либо другая французская преступница, которая из неизлечимой любви к романтике соблазнилась сомнительной славой графини Ламотт.

Великолепный дворец кардинала Рогана теперь составляет часть Национального архива, в котором я работал над этой статьей. В залах, где кардинал Роган принимал весь Париж, где в таинственной обстановке предсказывал будущее Калиостро, где пролежало несколько часов волшебное ожерелье Боемера, где графиня Ламотт обдумала свое напумевшее на весь мир дело, теперь сосредоточены архивы французских нотариусов.

Ванна Марата

I.

В подвальном этаже музея восковых фигур Гревена изображена в естественную величину сцена убийства Марата. Весьма осведомленные историки писали в свое время, что она изображена довольно точно. Это замечание нужно, однако, приписать снисходительности историков. Левая часть сцены действительно почти не оставляет желать лучшего в смысле точности, но правая целиком выдумана. Ошибка руководителей музея заключалась в том, что они, для усиления эффекта, хотели в *одной* сцене изобразить и убийство Марата, и арест убийцы. В действительности же Шарлотта Корде была схвачена не в ванной, а в передней, куда она выбежала после убийства*. Для эффекта придуман и врывающийся в ванную солдат с пикой: Шарлотту задержал штатский комиссионер Лоран Ба, случайно находившийся в момент убийства в квартире Марата и не имевший, разумеется, никакой пик. Полиция явилась поздно.

Создатели восковой сцены, по-видимому, увлеклись желанием придать ей возможно больше „движения“. На мой взгляд, картина вышла бы не только точнее, но и эффектнее, если бы в ней были оставлены лишь два действующих лица: Марат и Шарлотта. Оба они — и убитый, и убийца — вылеплены скульптором Бернштамом с большим искусством (если здесь можно говорить об искусстве). Эта восковая фотография одной из самых драматических сцен в истории производит немалое впечатление.

Однако главный эффект группы музея Гревена не в восковых фигурах, а в ванне. Как известно, это та самая ванна, в которой действительно был убит „друг

*Протокол допроса Шарлотты Корде в „Пале де Жюстис“ 16 июля 1793 года. Показания сожительницы Марата Симон Эввар на суде.

народа“. По крайней мере, так утверждает дирекция музея. Подлинной считает эту ванну сам Ленотр, историк недоверчивый и осторожный. Почему он с уверенностью считает ее подлинной, мне, правду сказать, не совсем понятно. Но нет оснований и для обратного утверждения.

Дело было так. В 1885 году газета „Фигаро“ сообщила, что у сельского священника, аббата Ле Косса, живущего в глухом углу Бретани, хранится ванна, в которой 13 июля 1793 года был зарезан Марат. Ванна эта перешла к аббату от престарелой графини Каприоль де Сент-Илер; а ей она досталась по наследству от отца, который когда-то купил эту историческую достопримечательность в одной из парижских лавок.

И аббат, и графиня, и ее отец, по общим отзывам, были правдивейшие люди. Не подлежит сомнению, что ванна действительно попала в их уголок в начале XIX века. Однако нет никаких доказательств того, что в парижской лавке графу была продана подлинная ванна Марата. Говорят, что на дне ванны музея Гревена до сих пор видны следы крови (заглянуть в нее теперь невозможно: мепает восковая кукла Марата), — но чего только не проделывают владельцы таких лавок? В свое время французским архивам предлагали купить другую ванну, где также был убит Марат. Правительство от покупки отказалось, не слишком веря продавцу*.

Как бы то ни было, сообщение „Фигаро“ наделало много шума. Музей Гревена не поспешил и приобрел у аббата Ле Косса ванну за 3000 франков (деньги огромные по ценам всевозможных достопримечательностей в то время).

Зловещая ванна имеет форму сапога — теперь совершенно необычную, а в XVIII веке довольно распространенную. Все гравюры и картины революционной эпохи свидетельствуют о том, что „друг народа“ был убит в ванне *приблизительно* такой формы. Однако лишь „приблизительно“.

*В одной старой книге о Марате (Paul Fassy. Marat, sa mort, ses véritables funérailles, Paris, 1867) я прочел, что ванна, в которой он был убит (следовательно, третья по счету), находится у Тюссо в Лондоне! Там же показывается кипжал Шарлотты Корде — французские исследователи (Дефранс) считают его утерянным.

Два художника могли видеть в 1793 году настоящую ванну Марата. Один из них Дюплези. Ванна на его картине существенно отличается от ванны музея Гревена; но Дюплези был фантазер, и вся изображенная им сцена убийства Марата не имсет ничего общего с историей. Гораздо больше значения могла бы иметь знаменитая картина Давида (теперь принадлежащая Брюссельскому музею и недавно показывавшаяся на выставке Революции в Национальной библиотеке). Давид, близкий друг Марата, по всей вероятности, побывал на месте убийства в тот самый вечер, когда оно было совершено: весь Париж тогда бросился на улицу Кордельеров. Во всяком случае, Давид писал все с натуры, — и тело Марата, и Шарлотту Корде*, и комнату, и кинжал, и ванну. Его ванна чуть-чуть отличается от ванны музея Гревена. Глаз у Давида был непогрешимый, и самой легкой разницы было бы совершенно достаточно, чтобы признать ванну музея поддельной, если б Давид руководился одним стремлением к исторической точности. Для него, однако, гораздо важнее были разные соображения, касающиеся композиции, света, теней, — ради них он с мелочами, наверное, совершенно не считался.

Итак, будем считать ванну музея подлинной. Надо ли говорить, что она интересует меня не сама по себе, а как символ: как символ исторического культа, очень близкого к тому, который уже восемь лет свирепствует в России.

II.

История знает политические убийства, имевшие еще большие последствия, чем дело Шарлотты Корде. Однако, за исключением убийства Юлия Цезаря, быть может, ни одно другое историческое покушение не поразило так современников и потомство. Для этого было много причин — от личности убитого и убийцы до необычного места действия: ванной комнаты.

*Давид видел Ш.Корде в живых, видел ее тело и в анатомическом театре, на той гнусной экспертизе, которой оно было подвергнуто (в целях выяснения правдивости казненной). Для нравов эпохи характерно, что на эту экспертизу явилась делегация Конвента. В нее входил и Давид.

Марат жил на улице Кордельеров (теперь rue de L'École de Médecine). Дом его находился на том месте, где в настоящее время расположена Медицинская школа. Он был снесен в 1876 году, когда прокладывали Сен-Жерменский бульвар. Еще есть в живых парижане, выдавшие в молодости этот исторический дом. Он напоминал некоторые дома Достоевского, в частности тот „большой, мрачный, в три этажа, без всякой архитектуры“ дом, в котором произошло убийство Настасьи Филипповны и описанием которого восхищался Марсель Пруст. Почти в тех же выражениях описывает Мишле „la grande et triste maison“*, где произошло убийство Марата.

„Друг народа“ снимал в доме небольшую квартиру. В ней было четыре комнаты: столовая, гостиная, кабинет и спальная. Рядом со спальней находилась еще небольшая пустая каморка, которую, собственно, нельзя было называть ванной: ванны в ней в обычное время не было#. Та ванна, в которой погиб Марат, была, по-видимому, взята напрокат в какой-то лавке.

Марат жил с 30-летней работницей по имени Симон Эввар. Их связь длилась уже три года. Они, собственно, даже повенчались, но повенчались весьма своеобразно: свидетелем свадьбы было „Верховное Существо“. Однажды, „в яркий, солнечный день“, Марат пригласил Симон Эввар в свой кабинет, взял ее за руку и, упав с ней рядом на колени, воскликнул „перед лицом Верховного Существа“: „В великом храме Природы клянусь тебе в вечной верности и беря свидетелем слышащего нас Творца!“ Несложный обряд и „восклицание“ были в одном из стилей XVIII века. У нас, в России, этот стиль держался и много позднее, — кое-что в таком роде можно найти даже у Герцена; а его сверстники падали на колени, восклицали и клялись даже чаще, чем было необходимо.

Французское законодательство, однако, не признавало и в революционное время бракосочетаний, при которых Верховное Существо было единственным

* „Большой и мрачный дом“ (Фр.).

В XVIII веке во Франции ванная комната составляла редчайший предмет роскоши. В Версальском дворце, например, ее не было. Да и в Елисейском первая ванная появилась лишь в девятнадцатом веке (в двадцатом к ней прибавилось еще две).

свидетелем. Не признавали их, по-видимому, также лавочники и лавочницы, проживавшие на узенькой улице, куда выходили окна „великого храма Природы“. Поэтому Симон Эврар предпочитала называть себя сестрой „друга народа“. Только после его убийства брак их был без формальностей признан законным, и с тех пор она везде стала именоваться „La veuve Marat“*.

Эта несчастная женщина по-настоящему любила Марата. Она была предана ему как собака, ухаживала за ним день и ночь, отдала на его журнал свои сбережения, которые копила всю жизнь. Он был старше ее на двадцать лет и страдал неизлечимой болезнью. Марат, безобразный от природы, был покрыт сыпью, причинявшей ему в последние годы его жизни страшные мучения. Влюбиться в него было трудно. Его писания едва ли могли быть понятны малограмотной женщине. Славу и власть „друга народа“ она ценила, но любила его и просто, по-человечески. Кроме Симон Эврар, вероятно, никто из знавших его людей никогда не любил Марата.

III.

Это был свособразный человек. Тэн со свойственной ему силой нарисовал блестящий портрет кровавого психопата. С другой стороны, есть у „друга народа“ и по сей день убежденные защитники и даже горячие поклонники. Особенно их много среди иностранных историков (так это будет, вероятно, и с большевиками). Марат и теперь, почти через полтора-ста лет, вызывает в мире ожесточенные прения. В Советской России назвали его именем броненосец и, кажется, поставили ему памятник. Во Франции пока такого памятника нет, но я не поручусь, что его не будет. Еще не так давно и мысль о памятнике Дантону в Париже показалась бы глупой шуткой — теперь

* „Вдова Марата“ (фр.). — Пер. ред. Давид объяснял Конвенту через два дня после убийства, что нельзя показывать народу обнаженное тело Марата: „Vous savez qu'il avait une lèpre et que son sang était brûlé“ — „Вы знаете, что он был болен проказой и у него была плохая кровь“ (фр.). — Пер. ред. Один из памфлетов этой эпохи приписывает „другу народа“ сифилис, по это, по-видимому, неверно.

на Сен-Жерменском бульваре стоит огромная статуя Дантона. Велись разговоры и об увековечении Робеспьера, бюст которого уже был робко выставлен во дворе его дома на улице Сент-Оноре (недавно этот бюст убрали). Марат же был, вдобавок, ученый. Его научные заслуги теперь превозносятся поклонниками. В нем видят предвозвестника чуть ли не всех учений современной физики, химии и физиологии. Правда, видят это в нем больше историки, чем естествоиспытатели. Если б Марат не был „другом народа“, то, конечно, никому не пришло бы в голову изучать и переиздавать его научные шедевры. Он высмеивал Ньютона и называл шарлатаном Лавуазье, но это ничего не значит. Я удивляюсь, как его еще не сделали предтечей Достоевского или Пруста; немногим, впрочем, известно, что Марат был и романистом. Роман его из польско-русской жизни невыносим. Действуют в нем все больше польские графы поразительно благородного образа мыслей и аристократические девицы с необычайно чувствительной душой. „Друг народа“ до революции был монархистом; да эта „идеологическая надстройка“ и соответствовала его „классовому базису“: он был врачом свиты графа д'Артуа, вращался в высшем обществе и имел связь с маркизой.

Есть два Марата: Марат до революции и Марат во время революции. Первый достаточно понятен. Это был несносный человек, человек с нестерпимым характером, каких каждый из нас не раз встречал в жизни. Добавлю, человек с немалыми достоинствами: большого трудолюбия, больших знаний, энергичный, честный и бескорыстный, быть может, даже и не очень злой. И со всем этим, повторяю, невыносимый. Его и тогда, кажется, все терпеть не могли. Чудовищная нервность у него сочеталась с манией величия, а мания величия дополнялась патологической завистливостью. Можно понять, что он завидовал Вольтеру, признанному королю писателей, — вдобавок, престарелый Вольтер посвятил одной из его книг весьма ядовитую и остроумную рецензию. Можно понять и то, что он ненавидел Лавуазье: великий химик упорно не обращал внимания ни на его работы, ни на его нападки. Но Марат завидовал Ньютону, которого в

глаза никогда не видел, который умер задолго до его рождения. Мировую славу Ньютона он рассматривал как личную себе неприятность.

Все это было — до Революции — довольно безобидно. В центре духовных интересов Марата тогда были, по-видимому, рецензии. Он с большим беспокойством следил, как бы не перехвалили других, и очень старательно, хоть не слишком удачно, устраивал рекламу себе. Жирондист Бриссо, бывший его приятелем, получал от него для помещения в журнале готовые отрывки рецензий*, — Марат писал о Марате в самых лестных выражениях, горячо, по разным поводам, пожимая себе руку.

Много позднее, уже в пору Революции, у „друга народа“ была какая-то вполне бескровная перебранка на Новом мосту с отрядом королевских войск. Об этом событии немедленно было послано сообщение Бриссо: „Грозный облик Марата заставил побледнеть гусаров и драгунов, как его научный гений в свое время заставлял бледнеть Академию“, — скромно писал „друг народа“. Бриссо, как все редакторы, достаточно потерпелся на своем веку от авторского тщеславия, давно ко всему привык и, должно быть, считал большинство литераторов людьми не вполне нормальными. Однако он твердо знал и меру. Поэтому, весьма лестно отозвавшись о подвиге Марата на Новом мосту, он все же выпустил приведенную выше фразу. Я не говорю, конечно, что именно это обстоятельство было причиной гибели жирондистов и казни самого Бриссо (событие 31 мая 1793 года, как известно, было делом Марата). Но кто знает?.. „При благоприятном стечении обстоятельств“ редакторский карандаш может привести человека и на эшафот. Так и исследователь некоторых драм большевистской революции, в которой принимает участие много неудачных литераторов, должен был порою руководиться правилом: „ищите рецензию“.

Говорят, что революция — „великая переоценка ценностей“. Это неверно. Ценности переоцениваются до революций — Вольтерами и Дидро, Герценами и Толстыми. Потом и старые, и новые ценности разме-

*Mémoires de Brissot, p. 181.

ниваются на мелкую истертую монету и пускаются в общий оборот. Революция — великое социальное перемещение, оценка и переоценка людей, для которых она создает новые масштабы деятельности: для одних из маленьких большие, для других из больших маленькие. Если б Ленин умер в 1916 году, то в подробных учебниках русской истории ему, может быть, отводились бы три строчки.

Для людей, подобных „другу народа“, революция — это миллионный выигрыш в лотерее, — иногда, как в анекдоте, и без выигрышного билета. Говорю, разумеется, о „славе“: личные практические последствия могут быть неприятные, как это доказала Шарлотта Корде. Французская революция дала Марату то, чего его лишали и Ньютон, и Лавуазье, и Вольтер. Мелкий литератор, неудачный физик, опытный врач-венеролог получил возможность выставить свою кандидатуру в спасители Франции. У Мирабо, у Лафайета, у Кондорсе, у Бриссо были выигрышные билеты; все они годами ставили именно на эту лотерею. Марат, как очень многие другие, выиграл без билета, — кто до революции знал, что он „друг народа“? Теперь можно было это доказать. Это было и не очень трудно.

Он избрал верный путь, частью сознательно (человек он был весьма неглупый), частью следуя своей природе, которая быстро развивалась. Марат „творил новую жизнь“, но и новая жизнь творила Марата. Его природная завистливость нашла выход в травле, мания величия осложнилась манией преследования, а болезненная нервность стала переходить в сумасшествие — сначала медленно, потом все быстрее. Вероятно, тяжелые страдания от накожной болезни сыграли здесь немалую роль. В последний год жизни он почти не спал, питался крепким кофе, да еще странным напитком — миндальным молоком, настоенным на глине. Писал он обычно в ванне и проводил в ней большую часть дня: теплая вода облегчала его мучения. Всем поклонникам Марата можно посоветовать простой опыт: прочесть одну за другой в старых комплектах „Ami du peuple“ его последние статьи, — он требовал 260 тысяч голов контрреволюционеров, ровно 260 тысяч, не больше и не меньше (в начале рево-

* „Друг народа“ (фр.).

люции „друг народа“ был гораздо умереннее: настаивал только, чтобы на 800 деревьях Тюильрийского сада было повешено 800 депутатов с графом Мирабо (посредине). Однако он лишь *сходил* с ума — не успел сойти совершенно: сквозь бредовые кровавые статьи, от которых гибли сотни людей, все время сквозит совершенно ясная мысль, именно ясностью выделяющая его из толпы других участников Французской революции. („Только индюки ходят стадами“, — любезно говорил он членам Конвента.) Эта мысль: нужна диктатура, необходима кровавая диктатура, без диктатора мы не спасемся, вне диктатуры нет выхода!.. Он долбил ее упорно, без вывертов, с большой силой. Надо думать, в диктаторы он намечал самого себя. Вызванные им страшные сентябрьские убийства достаточно ясно показывают, чего можно было ждать от диктатуры Марата. Нет, Шарлотта Корде имеет заслуги, — хоть теперь виднейшие историки во главе с Оларом и считают ее дело печальной политической ошибкой.

В характере Шарлотты Корде нет ничего женского и, быть может, ничего человеческого. Это моральная геометрия, нам непонятная потому, что мы не привыкли подходить к людям с представлением о совершенных геометрических фигурах. Ей было двадцать пять лет. Вся ее жизнь, кроме одной недели, никакого значения не имеет. Но зато та неделя, 11—17 июля 1793 года, имеет бессмертное историческое значение. Шарлотта Корде приехала из нормандского городка в Париж для того, чтобы убить Марата. Это была теорема. Она теореме доказала самым совершенным способом, обнаружив поразительные качества ума, решительности и присутствия духа. Эта девушка выследила и зарезала в ванне „друга народа“ так же хладнокровно, как старый опытный охотник выслеживает и бьет в лесу опасного зверя. Из теоремы вытекали следствия: арест, суд, гильотина. Все это она приняла как неизбежное следствие теоремы, со столь же совершенным ясным спокойствием. Дело 13 июля 1793 года есть высшее торжество Спинозизма в той области, где, казалось бы, Спинозизму нечего делать: в области политического террора.

IV.

Шарлотта Корде была правнучка Корнеля, и все французские историки неизменно это подчеркивают. Ее ответы следователям и судьям дошли до нас не в газетных статьях и не в воспоминаниях современников, а в сухой, деловитой, фонографически точной передаче судебного протокола. И в самом деле, многие из этих ответов могли бы затмить знаменитейшие стихи ее предка. Корнель имел полную возможность оттачивать месяцами свои „*Qu'il mourût*“*. Шарлотта отвечала немедленно на вопросы, которых, естественно, не предвидела. „Кто внушил вам столько ненависти?“ — „Мне чужой ненависти не требовалось, у меня было достаточно своей“. Сила ответа именно в том, что она и не думала о корнелевских фразеях, — так рисоваться почти невозможно. Самыми простыми, ясными словами она объясняла свою теорему Монтане и Фулье-Тенвилю; не ее вина и не ее заслуга в том, что эта теорема была так страшна.

На суде и на следствии она имела дело с врагами. Но ее предсмертные письма обращены к друзьям. Письмо Шарлотты к Барбару, написанное за три дня до казни, — рассказ охотника о тяге. Она пишет с юмором:

„*Vous avez désiré, citoyen, le détail de mon voyage. Je ne Vous ferai point grâce de la moindre anecdote*“[†].

Легкий юмор не покидал ее. В защитники она хотела пригласить — Робеспьера. Она видела страшное тело в ванне, поток крови, хлынувший из-под ее кинжала, остановившиеся стеклянные глаза — и через два дня пишет шутливо: „*Les mânes de ce grand homme*“[‡]. А об этих двух днях говорит: „*Je jouis délicieusement de la paix depuis deux jours*“[§], — быть может, говорит вполне искренно. Фанатик Равальек, убийца Генриха IV, был убежден, что после казни его ждет вечное блаженство. Ш. Корде не верила в Бога;

* „Пусть он умрет“ (фр.).

† „Гражданин, вы желали узнать подробности моего путешествия. Я не забавлю вас ни от одной мельчайшей подробности“ (фр.).

‡ „Душа этого великого человека“ (фр.).

§ „Уже два дня я наслаждаюсь покоем“ (фр.).

ее загробная жизнь — „Елисейские поля“ газет того времени. О своих друзьях она пишет: „Ils se réjouiront de me voir du repos dans les Champs Elysées avec Brutus...“* Тогда ни одна статья не обходилась без кинжала Брута. По зловещему совпадению о кинжале Брута писал в ванне и Марат за несколько минут до прихода Шарлотты*.

Удивительнее всего то, что эта геометрия была без аксиом. Не приходится требовать „стройного политического мировоззрения“ от молоденькой провинциальной дворяночки XVIII века. Но и ее друзья жирондисты не могли бы указать точно, во имя чего был убит „друг народа“. Самое слабое в показаниях Шарлотты Корде это объяснение, которое она дает своему делу. Она даже возводит на Марата напраслину, обвиняя его в финансовых спекуляциях, — в этом он был совершенно неповинен. Между Маратом и жирондистами, конечно, пропасть; однако нет такого *принципа*, которым они могли бы от него отгородиться. Он был террористом, но и жирондисты не были противниками террора. Он устроил сентябрьскую резню, а они ее „извиняли“, по крайней мере, в течение трех недель. Верньо, чуть ли не самый гуманный из жирондистов, еще 22 сентября называл резню заключенных в тюрьмах „законным возмущением народа“. Потом жирондисты резко изменили тон, отчасти и по тактическим соображениям: революционный ветер временно повернул. Эта трагическая партия плыла по течению, наглядно показывая бессилие порядочных людей в пору революции. Люди они были храбрые, и те из них, что погибли, умерли героями. Но из оставшихся в живых большинство впоследствии не принесли славы исторической партии. Они напоминают тех из наших шлиссельбуржцев, которые, просидев лет двадцать в заключении, теперь превосходно ладят с большевиками: у них, очевидно, в Шлиссельбурге не было времени подумать — во имя чего, собственно, они когда-то боролись с самодержавием.

* „Они будут счастливы, когда увидят меня на небесных Елисейских полях рядом с Брутом...“ (*фр.*)

* Eugène Defrance. Charlotte Corday, p. 292. — Марат высказывал надежду, что кинжал Брута сразит прусского короля.

Убийство Марата много раз описывалось весьма подробно. Самый точный рассказ о нем принадлежит Кабанесу и Дефрансу; самый талантливый, бесспорно, Ленотру (у него найдены мелкие ошибки). Отсылаю за подробностями к этим историкам и лишь очень кратко напомним факты.

В двенадцатом часу утра Шарлотта Корде подъехала на извозчике к дому № 30 по улице Кордельеров, поднялась по лестнице к квартире Марата и позвонила. Ей открыла дверь Симон Эввар. Хорошо одетая миловидная барышня* заявила, что желает поговорить с „другом народа“. Независимо от каких бы то ни было подозрений, это желание могло не понравиться некрасивой сожительнице Марата. Симон Эввар не пустила гостью, сказав, что „друг народа“ по утрам не принимает.

Она вернулась в гостиницу и отправила Марату по городской почте письмо, в котором просила ее принять по очень важному делу. В шестом часу вечера Шарлотта Корде послала за парикмахером. Когда ее прическа была готова, она переделалась и в белом платье, в шали, в высокой шляпе с черно-зеленой кокардой, с веером в руке отправилась снова на улицу Кордельеров. За корсажем у нее был спрятан большой столовый нож с черной рукояткой, утром купленный в Пале-Руаяле. Почему она избрала нож, а не пистолет? Никак нельзя было предвидеть, что „друг народа“ примет ее голый, в ванне, — но и то Фуке-Тенвиль удивляется, как она могла этим ножом убить наповал Марата.

Симон Эввар снова отказалась принять нарядную даму. Шарлотта настаивала. Марат в ванной услышал их спор и, узнав, в чем дело, велел позвать посетительницу в ванную. Нравы в революционной Франции были вольные. (В Англии публику чрезвычайно скандализовала обстановка дела; английская гравюра того времени изображает его иначе. Марат,

*Как известно, показания современников о наружности Шарлотты резко расходятся. Одни говорят, что она была красавица. Другие решительно это отрицают. По портрету Аора судить очень трудно.

корректно одетый, сидит на диване, Шарлотта вонзает нож в камзол.)

Он сидел в ванне против географической карты, висевшей на стене между двумя пистолетами. Над картой была сделана надпись — одно слово: „Смерть“, — этот человек до конца своих дней оставался плохим литератором. Шарлотта села рядом с ним на табурет.

Их разговор длился четверть часа, — в психологическом отношении удивительная черта дела! Может быть, здесь единственный раз, наряду с геометрией, сказались и нервы. Шарлотта Корде могла убить Марата в первую же минуту. Вместо этого она долго ему рассказывала о контрреволюционных происках в Нормандии, о бежавших туда депутатах-жирондистах. Станный и страшный разговор до нас дошел лишь в очень краткой передаче Шарлотты на следствии. **Вопрос:** „Что же ей* ответил Марат?“ **Ответ:** „Что он скоро нас всех (жирондистов) гильотинирует в Париже“. **Вопрос:** „Каково было продолжение разговора?“ **Ответ:** „Что это было его последнее слово: в то же мгновение она его убила“. **Вопрос:** „Как она его убила?“ **Ответ:** „Вонзив ему в грудь нож, который она купила в Пале-Руаяле“. **Вопрос:** „Думала ли она его убить этим ударом?“ **Ответ:** „Что именно таково было ее намерение...“

Марат вскрикнул, позвал на помощь: „Ко мне, друг мой, ко мне!“ и захрипел, обливаясь кровью. Симон Эвран вбежала в ванную и заголосила. Комиссионер Лоран Ба схватил стул и бросился на выбежавшую в переднюю даму в высокой шляпе. Он с гордостью показывал, что „свалил чудовище на пол ударом стула по голове и держал его за груди“. Этот комиссионер, разумеется, рассказывал всю жизнь об аресте Шарлотты Корде, но, вероятно, тон и выражения рассказа он впоследствии несколько изменил.

Марат был мертв.

Профессор Олар в своей классической книге (стр. 421) почтительно говорит о культуре Марата, распространившемся после его убийства по всей Франции. В

*Допрос производился в третьем лице.

самом деле, такой культ был. Только мы, быть может, знаем ему цену лучше, чем Олар: мы видели, как в таких случаях творится „взрыв народной скорби“.

Тело „друга народа“ было набальзамировано. При этом не обошлось без неприятностей. Врач Дешан, которому поручена была работа, потребовал за нее большую сумму: 6000 ливров, — не знаю, сколько получили немецкие врачи за бальзамирование тела Ленина. Дешан, очевидно, рассчитывал, что ввиду взрыва народной скорби никто с ним торговаться не станет. Однако выяснилось, что народная скорбь вещь обоюдоострая. Начальство поставило на вид Дешану, что, собственно, ему ни гроша платить не следовало бы: „республиканец должен считать себя вознагражденным за свой труд честью — тем, что он способствовал сохранению останков великого человека“. Довод был, в пору террора, весьма сильный, и Дешан поспешил принять предложенные ему сверх чести полторы тысячи ливров. Это тоже было вполне приличной платой, особенно если принять во внимание, что предприимчивый врач выполнил свою задачу плохо: труп разложился уже на следующий день после бальзамирования.

Сердце Марата было извлечено из тела и запаяно отдельно. Мысль угадать нетрудно: „друг народа“ был особенно велик сердцем.

У зловещей истории похорон была и комическая сторона. Она заключалась в том, что люди, горячо оплакивавшие Марата, в действительности терпеть его не могли. Здесь аналогия с нашими событиями 1924 года, во всяком случае, далеко не полна. Я не уверен, что смерть Ленина вызвала неизлечимое горе, например, у Сталина, у Троцкого, у Зиновьева. Большевицким диадохам предстояло делить наследство Александра, и у каждого диадоха могли быть особые причины, умерявшие его скорбь. Троцкий при жизни Ильича был „вторым в Риме“; он этого не любит — и, наверное, не мог предвидеть, что после смерти Ленина станет первым в деревне (на Принкипо). Зиновьева умерший глава партии ни в грош не ставил и всю жизнь обращался с ним как с лакеем. Сталину, по всей вероятности, не доставило большого удовольствия предсмертное письмо Ленина (так называемое

завещание) — там о нем есть слова достаточно неприятные. Однако большевистская партия в целом по-настоящему любила „Ильича“ и, вдобавок, была искренно убеждена в его необычайной гениальности, — при этом убеждении она остается и по сей день (в чем, впрочем, едва ли с ней расходятся и Сталин, и Зиновьев, и даже Троцкий). Между тем Марата ненавидели почти все — от рядовых членов „горы“ до Дантона и до Робеспьера. Робеспьер и Дантон смотрели из окон дома на улице Оноре, как везли на эшафот Шарлотту Корде; но какие чувства они испытывали в эту минуту — кто скажет?

Были, разумеется, и исключения. К их числу принадлежал Давид. Он обожал Марата, как в молодости обожал Людовика XVI, как обожал потом Робеспьера, как еще позднее обожал Наполеона. Давид искренно любил всех своих покровителей. Он и предавал их столь же наивно-простодушно. В некоторое оправдание художнику следует сказать, что при огромном своем таланте он был чрезвычайно глуп.

Конвент решил воздать „другу народа“ необыкновенные почести. Этого весьма внушительно требовали явившиеся в Конвент делегации. Так, оратор первой делегации вопил: „Народные представители! Короток переход от жизни к смерти! Марата больше нет! Народ, ты потерял своего друга! Марата больше нет! Не воспевать тебя пришли мы, бессмертный законодатель, мы пришли тебя оплакивать! Мы пришли воздать долг прекрасным делам твоей жизни. Неис требимыми буквами начертана была в твоём сердце Свобода. О, преступление!.. О, ужасный вид! Он на смертном ложе! Где ты, Давид?..“ и т.д. Красноречивый защитник свободы требовал, чтобы Давид увековечил черты Марата и чтобы Конвент установил пытку для людей, подобных Шарлотте, — ее оратор почему-то упорно называл отцеубийцей. Пытки Конвент не установил, председатель только обещал: „Конвент в своей мудрости взвесит ваше требование“. Добавлю, что председательствовал в тот день Жанбон-Сентандре, человек весьма порядочный, отнюдь не сочувствовавший пыткам и не любивший площадного красноречия. Гиганты Конвента были, по-видимому, чрезвычайно напуганы.

На Давида и было возложено главное руководство похоронами: он был присяжный церемониймейстер революции.

VI.

Давид поставил дело на широкую ногу; он тоже должен был недурно заработать на покойнике*. По причинам, мне непонятым, решено было похоронить Марата в саду Кордельеров — мысль о погребении в Пантеоне (казалось бы, очевидная) явилась позднее. В саду Кордельеров был поспешно воздвигнут мавзолей из *гранитных скал*, — вероятно, тут перед устроителями носилась мысль о гранитной твердости Марата; или же сам по себе „утес“ казался им образцом величественной поэзии.

Устройство гранитных скал обошлось в 2400 ливров (да еще, по сохранившемуся в Архиве счету, на 26 ливров с горя выпили вина рабочие). Над скалами была сделана надпись: „Здесь лежит Марат, друг народа, убитый врагами народа 13 июля 1793 года“.

Лицо Марата было тщательно загримировано, — по рассказу одной из современниц, пришлось отрезать язык. Тело прикрыли трехцветным флагом, выпростав из-под него правую руку, в которую вложили перо, символ борьбы, — та же современница сообщает, что руку взяли от другого трупа, ибо подлинная рука Марата слишком разложилась. В таком виде гроб был выставлен 15 июля на площади. Рядом с гробом стояла окровавленная ванна Марата. „Народ проходил, стеная и требуя мщенья“.

На следующий день состоялись похороны. Так как до могилы в саду Кордельеров было слишком близко, то устроители постановили сделать крюк по центральным улицам Парижа. Гроб несли на руках двенадцать человек. За ними шли мальчики и девочки в белых платьях с кипарисовыми ветвями в руках, далее Конвент в полном составе, другие власти и

*За картину, изображающую смерть Марата, Давиду было обещано 24 тысячи ливров, но заплатили ему только 12 тысяч. Много позднее, уже успев утешиться, после 9 термидора, — он все же домогался у правительства уплаты вторых 12 тысяч.

народ, певший революционные песни. На Новом мосту палили пушки. У могилы председатель Конвента произнес первую речь. После речей гроб опустили под скалы. В могилу были положены сочинения Марата и два сосуда с его внутренностями и легкими. Сердце же было решено отдать ближайшим единомышленникам „друга народа“ — кордельерам. В бывшей королевской сокровищнице разыскали агатовую шкатулку, усыпанную драгоценными камнями: в нее положили сердце и через два дня, 18 июля, после не менее торжественной церемонии, но с гораздо более непристойными речами, прикрепили шкатулку к потолку зала заседаний клуба.

Между этим двумя церемониями 17 июля у черни было другое развлечение: казнили Шарлотту Корде.

VII.

Эта казнь очень подробно описана в воспоминаниях парижского палача Сансона. К сожалению, верить его воспоминаниям трудно: последний представитель вековой семьи палачей, полуидиот, едва ли был даже в состоянии что-либо связно и точно рассказать писавшим с его слов литераторам. „Мемуары Сансона“ — большая литературная афера, к ней имел отношение сам Бальзак. Однако доля правды могла быть и в „записях“ палача; недаром же издатели заплатили ему тридцать тысяч франков. Некоторые подробности его рассказа очень похожи на правду (как, например, неподвижный взгляд Дантона, устремленный на Шарлотту в момент прохождения колесницы по улице Сент-Оноре). Во всяком случае, мы знаем и по множеству других рассказов, что Шарлотта Корде проявляла до последней минуты самообладание, поразившее всех очевидцев. Верньо сказал в тюрьме: „Она нас погубила, но зато научила нас, как следует умирать“. Член революционного трибунала Леруа высказал мнение, что зрелище людей, идущих на смерть с таким мужеством, только деморализует народ: не следовало ли бы пускать предварительно кровь осужденным „pour affaïsser leur maintien courageux“*?

* „Чтобы поубавить им храбрости“ (фр.).

В эмиграции, за границей вообще, впечатление было тоже очень сильное. Выражалось оно по-разному. Клопшток написал стихи в память Шарлотты. Но, по-видимому, он ничего о ней не знал, — он и фамилию пишет неправильно: Корда, с ударением на первом слове. В Англии на большом маскараде дама, загримированная под Шарлотту Корде, подкрадывалась к Робеспьеру, с тем чтобы его „маратизировать“...

VIII.

Мне попались в Национальной библиотеке две анонимные брошюры того времени. Они сходны и по названию,* и по форме, и по содержанию. Оба автора обращаются к французскому народу от имени Марата. (Один из них сообщает даже подробности об усопшем: „Прибыв в Елисейские поля, я не столь горевал о жизни, сколь о том, что не закончил своего дела и сошел в могилу, не простившись с вами“.) Содержание обеих брошюр обычное, террористическое; характерна лишь форма: загробный голос Марата. Очевидно, в те дни это был весьма выгодный для террористов прием.

И в самом деле, народная скорбь по случаю смерти Марата была безгранична. Ее можно сравнить лишь со скорбью русского народа в дни, следовавшие за смертью Ленина. Во всяком случае, проявления скорби были точно такие же. Скульпторы лепили бюсты „друга народа“, художники писали картины, многочисленные поэты сочиняли стихи — одним словом, каждый старался, как мог. В течение года на тему о Марате было написано четыре драмы и одна опера. Появились кольца Марата, брошки Марата, прическа Марата и т.д. Изображения „друга народа“ стали обязательными во всех присутственных местах, в школах, в театрах. Его именем было по всей Франции названо множество улиц; в Париже весь Монмартр, по созвучию, был официально переименован в Montmarat. Дети при рождении стали получать име-

*L'Ombre plaintive de Marat aux républicains français (8° Lb — 41 — 746); L'Ombre de Marat aux Parisiens (8° Lb — 41 — 1617).

на: Жан Марат, Жюли Марат, Брут Марат, Санкюлот Марат. Один молодой офицер, впоследствии весьма знаменитый, обратился к властям с просьбой о разрешении переименоваться в Мараты — тем более что для этого требовалось изменить всего лишь одну букву в его настоящей фамилии: это был Иоахим Мюрат, будущий король Неаполитанский. От частных лиц не отставали муниципалитеты. Вот только переименовать Париж никому не пришло в голову. Но зато Гавр был навсегда назван Маратом, — едва ли один из тысячи нынешних жителей города об этом когда-либо слышал.

В Париже на площади Карусели „другу народа“ был воздвигнут огромный памятник, тоже в виде утеса. В этот памятник за решеткой была вделана ванна Марата.

Тело „друга народа“ было вскоре перевезено в Пантеон. Удивительно, что произошло это 21 сентября 1794 года, то есть после 9 термидора! Память Марата чествовали, так сказать, в пику казненному Робеспьеру. А может быть, смысл события 9 термидора не сразу поняли сами его участники. Как бы то ни было, гроб был извлечен из-под гранитных скал в саду Кордельеров и отвезен в Пантеон. С этой церемонией совпала по времени другая. Конвент постановил выбросить из Пантеона останки графа Мирабо. Этого требовали якобинцы. „Прах „друга народа“, — говорил один из них, — задрожал бы от негодования, если бы оказался рядом с прахом защитника Капета“*. Конвент не мог не согласиться со столь веским доводом. Так и было сделано. Пока на площади пристав читал декрет о признании Марата бессмертным, останки Мирабо были вынесены через боковую дверь и выброшены на Кламарском кладбище преступников. Затем, под звуки кантаты, тело „друга народа“ было погребено в Пантеоне.

IX.

Как мы видим, с формальной стороны Олар имел полное право говорить о национальном культе Мара-

*Aulard. La Société des Jacobins, t. VI, p. 421.

та. Поклонники „друга народа“ утверждают серьезно, что вся Франция оплакивала его горькими слезами. Это само по себе едва ли было возможно в умнейшей стране мира. Во всяком случае, возникает вопрос: отчего же так быстро прошла скорбь Франции?

Основная черта революций — почти всеобщий панический страх перед тем самым народом, именем которого революции творятся. Конвент, ненавидевший Марата, воздал ему божеские почести, так как был убежден, что его боготворит французский народ. Это настроение держалось еще несколько месяцев после 9 термидора. Потом возникли сомнения: а вдруг французский народ не так уж боготворит Марата?

В Меце неожиданно вышла необычайно резкая брошюра-прокламация о Марате*, — достаточно сказать, что он в ней назывался „вампиром“. Автор брошюры придумал ловкий ход: основываясь на старых дореволюционных писаниях „друга народа“, он изобразил его роялистом! Как „роялиста“, Марата было много легче разгромить в 1795 году — манифестации можно было устраивать безопаснее. В советской России это, кажется, называется „припаять под уклончик“. Все прекрасно понимали, какой роялист был Марат; но припаяли его под роялистический уклончик с успехом. В одном из парижских театров смельчаки разбили бюст „друга народа“ — сопло безнаказанно. И вдруг Париж прорвало дикой, бешеной, долго таившейся ненавистью. Рапорты парижской тайной полиции отмечают ежедневно одинаковые происшествия*: толпа бьет бюст Марата или глумится над его памятью. Из множества записей приведу для примера одну. 2 плювиоза III года (то есть 21 января 1795 года) толпа в 200—300 человек ворвалась во двор якобинского клуба и сожгла чучело Марата: „Les cendres furent ensuïte mises dans un pot de chambre et jetées dans l'égout Montmartre, lieu, disaientils, qui, devrait être le

*Vie criminelle et politique de J.P.Marat se disant l'Ami du peuple (12 Lb — 41 — 1618).

*Paris pendant la réaction thermidorienne, t. I. p. 411-756.

Panthéon de tous les Jacobins et de tous les buveurs de sang**.

Конвент не мог, естественно, не считаться с новым настроением Франции. Вопрос о Марате пересматривался в самом здании Конвента, в местах, отведенных публике. Так, в полицейском отчете от 21 плювиоза сообщается: „На трибунах частные люди говорили о Марате. Один из них сказал: „Если Марат был злодей, то пусть же Шарлотта Корде займет его место в Пантеоне!“ Помещать прах Шарлотты Корде в Пантеон Конвент никак не собирался — это предложение и теперь не могло бы иметь шансов на успех. Но выбросить из Пантеона Марата Конвенту очень хотелось. Вместе с тем было и боязно: вдруг опять повернет ветер. Конвент принял осторожное решение. Он в общей форме постановил, что памятники, бюсты и похороны в Пантеоне могут разрешаться лишь по истечении десяти лет со дня смерти героя. Это было весьма мудрое постановление; жаль, что его нигде не соблюдают и по сей день: большая была бы для человечества экономия в мраморе и бронзе.

Своему постановлению Конвент придал обратную силу. Зал его заседаний был украшен бюстами Брута и Марата. Брут имел требуемый стаж, с излишком почти в две тысячи лет. Кроме того, против Брута никто в Париже решительно ничего не мог иметь. Поэтому его мирно оставили в зале. Но бюст Марата велено было вынести, как и ту картину Давида, которую полтора года тому назад повесили „на вечные времена“ в зале заседаний, тоже в силу особого постановления Конвента. Затем, без большого шума, без всяких церемоний (и в буквальном, и в переносном смысле слова), гроб Марата был вынесен из Пантеона и похоронен на соседнем (несуществующем более) кладбище св. Женевьевы.

И культ тотчас как рукой сняло: всем стало ясно, что „друг народа“ был в лучшем случае — сумасшедший, а в худшем — совершенный злодей.

В биографиях Марата его история на этом обрыва-

* „Затем пепел был помещен в ночной горшок и выброшен в сточную канаву Мюммартра, которая, как говорят, должна была стать Пантеоном всех якобинцев и кровососов“ (Фр.).

ется: тело похоронили на кладбище св. Женевьевы. От биографов, очевидно, ускользнула заметка, появившаяся в „Газетт Франсез“ несколькими месяцами позднее, 17 прериаля III года. Там сообщается, что останки „друга народа“ были зарыты очень неглубоко; дожди размыли землю и открыли тело. „Узнав об этом, гражданский комиссар секции Пантеона отправился на кладбище и выбросил в грязь нечистые останки разбойника...“

Что случилось с сердцем Марата, не знаю. Вероятно, куда-нибудь выкинули в ту пору и сердце. Но агатовая шкатулка, украшенная драгоценными камнями, едва ли могла быть уничтожена. Вполне возможно, что теперь в нее прячет кольца и ожерелья какая-нибудь богатая дама, не имеющая ни малейшего представления о прошлом своей великолепной шкатулки.

Памятник „друга народа“ на площади Карусели был снесен в январе 1795 года. Закон о десятилетнем сроке еще не был принят Конвентом. При памятнике всегда находился часовой; между тем зима стояла очень холодная; этим можно было воспользоваться. Для того чтобы подорвать славу Марата, его объявили роялистом. Для того чтобы снести его памятник, сослались на стужу: часовому слишком тяжело дежурить, а без часового оставить памятник никак нельзя.

Здесь надолго теряется след стоявшей на памятнике за решеткой ванны Марата. Она никому не была нужна: вряд ли кто пожелал бы купаться в этой ванне. Может быть, и в самом деле ее приобрел тогда, в надежде на любителя, старьевщик, впоследствии ее продавший графу Каприоль де Сент-Илер. Так номер „Ami du Peuple“, залитый кровью Марата, после разных странствий попал в коллекцию Анатоля Франса (а от него перешел к барону де Венку). Я видел этот (678-й) номер газеты на выставке 1928 года в Национальной библиотеке. Там показывались разные достопримечательности Революции, — странно объединенные временем, — от письма Робеспьера к Дантону с фразой: „Je t'aime plus que jamais et jusqu'à la mort“* до

* „Я люблю тебя как никогда и до самой смерти“ (фр.).

„Almanach de Coblentz, à l'usage de la belle jeunesse émigrée, émigrante et à émigrer“*. Было там и знаменитое прощальное письмо Шарлотты Корде: „Le crime fait la honte et non pas l'échafaud“[†] и не менее знаменитый рисунок Давида „Голова Марата“ с надписью: „Ne pouvant me corrompre ils m'ont assassiné“[‡].

* „Альманах Кобленца для золотой молодежи, которая эмигрировала, эмигрирует и собирается эмигрировать“ (фр.).

† „Стыдно за преступление, а не за эшафот“ (фр.).

‡ „Они не могли меня подкупить и убили“ (фр.).

Сент-эмилионская трагедия

I.

В департаменте Жиронды, в 8 километрах от Либурана, находится маленький город Сент-Эмилион. Его название хорошо известно по марке красного бордоского вина, от которого городок всецело зависит — в большей мере, чем, например, Баку от нефти или Мейсен от фарфора. Древний врач Асклепиад говорил, а русский авторитет Д.В.Каншин за ним повторял: „Едва ли могущество богов равняется пользе, приносимой вином“. Положение это, как каждый знает, многими оспаривается, но не на территории департамента Жиронды: он в самом деле может быть благодарен своей *Vitis vinifera L.** Вся область живет виноградом едва ли не два тысячелетия и живет не так плохо. В ту пору, когда она принадлежала английским королям, на содержание старшего сына короля (еще не называвшегося принцем Уэльским) отводилась только подать с бордоского вина; продавалось же оно тогда в Англии по пенсу галлон.

В этих винодельных землях есть большое очарование. Можно было бы без всяких парадоксов доказывать, что тонкое вино убедительнее свидетельствует о достоинствах народа, чем его великие люди. Декарт, Гёте, Пупкин — всегда счастливая случайность. Но „воспитание вина“ (как выражаются виноделы) требует от миллионов людей высоких качеств: терпения, трудолюбия, наблюдательности, любви к земле, уважения к своему делу. „Владельцы хороших виноградников не отходят от своих чанов даже ночью“, — говорит знаток предмета, конечно, не без некоторого преувеличения. Он говорит и о „философии вина“. Сделаем поправку на чрезмерное увлечение профессионала. Однако у Паскаля, не бывшего, как известно,

*Участь винодела (лат.).

ни виноделом, ни пьяницей, есть довольно загадочные слова: „Слишком много вина, слишком мало вина. Не давайте вина ему (человеку) — он не найдет истины; дайте ему слишком много вина — он тоже ее не найдет...“

Если и в Сент-Эмилионе истины не находят, то, вероятно, по второй причине. Думаю, что жители городка самым замечательным годом во всей французской истории признают 1865 год, политическими событиями не столь богатый, но давший лучшее бордоское вино веков. Думаю, что испанские события, Гитлер, даже удачи и неудачи Народного фронта занимают население Сент-Эмилиона меньше, чем „эгренаж“, „фулаж“, „муйаж“, „платраж“, „кюваж“, „сутираж“ и другие бесчисленные, в подробностях мало нам понятные, „ажы“. Так было, конечно, и в пору Французской революции.

В те времена в этом очаровательном городке, расположенном амфитеатром на живописном холме, разыгралась мрачная трагедия, составляющая предмет настоящего очерка. Она связана с домом XVII века, стоящим на вершине холма. Он существует и в настоящее время; во всяком случае, существовал еще недавно. Под домом — глубокое подземелье. В Сент-Эмилионе много подземелий не известного в точности происхождения. По преданию, городок основал св. Эмилиан, живший в восьмом столетии. После него на холме стали селиться монахи, устраивавшие тут для себя келии и пещеры. Большие же подземелья вырыты, по всей вероятности, для военных целей в пору англо-французских войн. Во всяком случае, они уже существовали в эпоху борьбы католиков с гугенотами.

7 июля 1792 года в Законодательном собрании произошла замечательная в психологическом отношении сцена. В разгар довольно жестоких прений умеренно-„левый“ член собрания, известный духовный писатель, лионский епископ Адриен Ламурет потребовал слова и горячо всех призвал к единению. „Поклянемся, — воскликнул он, — что впредь у нас будет один ум и одно чувство! Поклянемся слиться в единое общество свободных людей! В тот момент, когда за гра-

ницей станет известно, что мы все хотим одного и того же, свобода восторжествует и Франция будет спасена!⁴

Вероятно, эти слова были очень хорошо произнесены: сами по себе они ведь были не так уж необыкновенны. Но с собранием произошло нечто невообразимое. Краткий официальный отчет говорит: „В едином внезапном порыве все собрание поднимается с мест... Со всех концов зала члены собрания приближаются друг к другу и дают взаимные доказательства братства...“ Очевидцы описывают сцену подробнее. Члены собрания с плачем бросились в объятия один другому. О произошедшем мгновенно дали знать во дворец. Король Людовик XVI тотчас приехал и принял в братании деятельное участие. Он плакал, и все плакали. Революционеры устроили королю овацию, и все собрание, восторженно аплодируя, проводило его к выходу.

От этой сцены пошло общеизвестное выражение: „Le baiser Lamourette“⁵, которое постоянно цитируется в газетах, хоть, быть может, происхождение его известно далеко не всем цитирующим. В братании 7 июля принимали участие все партии. Через полгода после этой сцены участники „Ламуретовского поцелуя“ отправили короля на эшафот. А еще через некоторое время взшел на эшафот сам епископ Ламурет. Он проявил перед смертью большое мужество и называл то, что с ним произошло, „несчастливым случаем“. „Faut-il s'étonner de mourir? La mort n'est-elle pas un accident de l'existence? Au moyen de la guillotine, elle n'est plus qu'une chiquenaude sur le cou...“⁶

Некоторые участники революции, впрочем, и в день 7 июля 1792 года проявляли скептицизм и раздражение. „Что, если б Нерон расцеловался с Британиком или Карл IX пожал руку Колиньи?“ — с недоумением спрашивал Бильо-Варенн. Не очень верили в братание и умнейшие из жирондистов. Самый красноречивый из них (а красноречивыми были они почти

⁵ „Ламуретовский поцелуй“ (фр.).

⁶ „Нужно ли удивляться смерти? Смерть — всего лишь несчастный случай на жизненном пути. А с помощью гильотины — это всего лишь щелчок по шее...“ (фр.)

все) Верньо говорил: „Революция подобна Сатурну: она пожирает своих детей“.

На этой умеренной республиканской партии, бывшей „орденом французской интеллигенции“, лежала „печать обреченности“. Ее краткий формуляр известен. В учебнике истории о жирондистах сказано: „Они хотели революции без крайностей и выше всего в жизни ставили свободу. Борьбу с монтаньярами они начали слишком поздно и вели ее недостаточно энергично. Они необдуманно затеяли войну сразу с Австрией, Англией, Испанией, Голландией, Пруссией, Неаполем и Пьемонтом. Они наделали много ошибок во внутренней политике и восстановили против себя население Парижа. Вспышка народного гнева 31 мая — 2 июня положила конец существованию их партии. Их вожди погибли. Все они умерли очень мужественно“.

Их репутация „благородных мечтателей“ (не слишком выгодная репутация в истории) преувеличена. Но эти люди действительно пытались внести в стихийные события моральное начало и думали, что в этом была их сила. На самом деле, в этом была их слабость (если не отвлекаться к „суду потомства“ и т.д.). Тот же Верньо, как-то отвечая Робеспьеру, сказал: „Вы стремитесь довершить победу революции террором, я хотел бы довершить ее любовью“. Довершить революцию любовью довольно трудно, но не очень ведь „довершил“ ее и террор. В последнем счете победили не жирондисты и не монтаньяры, а иные, совершенно беспринципные люди, которые одинаково готовы были идти и с жирондистами, и с монтаньярами, и с Баррасом, и с Наполеоном, и с Бурбонами. Многие из них проделали весь этот путь буквально — правда, на ролях все же не самых главных; но о главных ролях они и не мечтали. Им нужна была карьера, почетное положение, некоторая доля власти и большое количество денег. Всего этого они при всех режимах добивались с полным успехом. Настоящими победителями оказались именно они. Так будет, по всей вероятности, и у нас.

„Вспышка народного гнева“, произошедшая 31 мая, как все подобного рода вспышки, была тщательно подготовлена и, как очень многие из вспышек, была

оплачена. „Народ“ ворвался в Конвент и потребовал предания революционному суду главных жирондистских вождей — Марат постоянно перечислял их имена в своей газете. Конвент упорствовал довольно долго, потом уступил: 22 человека были суду преданы. Некоторым удалось бежать. Я останавливаюсь на тех бежавших, участь которых решилась в Сент-Эмилионе. Это были Петюон, Гаде, Луве, Валади, Саль, Барбару и Бюзю.

Здесь уместно было бы сказать что-либо о бренности человеческой славы. „Скверный товар слава, — сердито говорил Бальзак, — дорого стоит и скоро портится“. Что осталось от настоящей, подлинной славы, которой пользовались при жизни названные выше люди? Их имена, конечно, остались: о них упоминается в лицейских учебниках. Больше, собственно, не осталось ничего. А люди были яркие, своеобразные, каждый с богатой внутренней жизнью. За исключением Петюона, это были вдобавок хорошие люди; некоторые же из них, как „кающийся дворянин“ Французской революции, маркиз де Валади, могут быть причислены к людям самым прекрасным.

В те времена их знали все. Такой популярности, как Петюон, не имел, пожалуй, в первые годы революции ни один политический деятель. Прозвище у него было, как позднее у Робеспьера, „добродетельный“: „le vertueux Pétion“* (один из его врагов говорил: „La vierge Pétion“[†]). Его именем часто назывались новорожденные — большевистская революция, с ее переименованными „Троцкими“ и еще не переименованными „Октябринами“, в этом отношении не выдумала ничего нового. Петюон был мэром Парижа и первым председателем Конвента. Должность председателя Конвента несколько позднее занимал и Гаде, стоявший во всех отношениях гораздо выше Петюона.

Другие были несколько менее известны. Луве, впрочем, пользовался громкой литературной славой как автор „Фоблаза“. Этот роман в ту пору считался порнографическим; он „опозорил столетие“, по словам строгого критика, проявлявшего значительно мень-

* „Добродетельный Петюон“ (фр.).

† „Девственница Петюон“ (фр.).

шую строгость в отношении самого себя. Книга в самом деле была легкомысленная. Однако понятие „порнография“ имеет смысл, меняющийся каждые 25—30 лет, в сравнение с произведениями нашего современника Лоуренса „Фоблаз“ не идет никак; если же судить по некоторым признакам, то в конце нашего века и похождения леди Чаттерлей будут казаться чем-то вроде тургеневской литературы. В оправдание Луве (для жирондистов вообще не очень типичного) скажем, что ему в пору создания „Фоблаза“ было 27 лет; в частной же своей жизни он примеру своего героя отнюдь не следовал: это был лжеразвратник и кабинетный теоретик легкомыслия.

Чтобы не повторять вещей всем известных, лишь очень кратко напомним общую трагедию жирондистов. 22 члена партии предстали перед революционным трибуналом по обвинениям, фантастическим даже в те времена. Некоторые из подсудимых еще возлагали надежды на свое красноречие: они серьезно думали, что можно переубедить революционный трибунал! Недавние московские подсудимые имели много больший опыт — и предпочли (иные успешно) систему признаний и закулисных переговоров. Когда дело дошло до защитительных речей, революционный трибунал признал, что дело достаточно выяснено: речей не требуется. „Зачем столько церемоний, чтобы укоротить („gassoucir“) осужденных народом злодеев?“ — писал Эбер, вскоре затем тоже „укороченный“. Один из подсудимых закололся в момент чтения приговора, остальные были обезглавлены.

Их бежавшие товарищи отправились на север, в Кан. Это была ошибка: им, конечно, надо было сразу бежать на юг. В Кане они образовали некоторое подобие временного правительства и подняли вооруженное восстание, которое было тотчас же подавлено. Признав свою ошибку, они направились в Жиронду морским путем. Мысль об эмиграции им не приходила в голову. Обогнув берега Франции, 24 августа они высадились в Бек д'Амбе. Но было поздно: там уже полновластно хозяйничали комиссары, назначенные Комитетом общественного спасения.

О новом восстании не приходилось и думать. Слово „террор“ было произнесено, по-видимому, в первый

раз Дантоном, 12 августа 1793 года. Понятие было старое, вечное — слово же в этом смысле, если не ошибаюсь, употреблялось во Франции впервые. Вскоре затем был издан грозный „закон о подозрительных лицах“. В полуофициальном толковании этого закона Парижская коммуна перечисляет по категориям, кого именно считать подозрительным и арестовывать. Сюда, между прочим, входили: „те, кто с притворной скорбью распространяют дурные известия“; „те, кто безразлично приняли республиканскую конституцию“; „те, кто, ничего не сделав против свободы, ничего не сделали и для нее“; „те, кто меняли свое поведение и речи в зависимости от обстоятельств“.

Под эту последнюю статью можно было подвести любого политического деятеля того времени, да и всех времен. Но бежавших жирондистов ни под какую статью подводить и не требовалось: после провалившегося вооруженного восстания они были объявлены вне закона; следовательно, в случае поимки требовалось только установить их личность, после чего они подлежали отправке на эшафот. Между тем в Бордо их знало чуть ли не все население. Одному из беглецов, Гаде, пришла мысль, что им лучше всего отправиться в Сент-Эмилион. Правда, там его тем более знал каждый: он был уроженцем этого городка. Но Гаде, видимо, переоценивал добродетели своих сограждан и свою популярность среди них. Вдобавок он рассчитывал, что их приютит его отец, имевший в Сент-Эмилионе небольшой дом.

Выбирать беглецам не приходилось: предложение Гаде было принято. Они отправились в Сент-Эмилион, выдавая себя за горнозаводчиков: Барбару знал и любил геологию, он написал даже какую-то оду о вулканах. Решено было, в случае нежелательных встреч, объяснить, что они под руководством профессора геологии совершают научные изыскания между Бордо и Сент-Эмилионом.

II.

В провинцию все приходило не сразу. С некоторым опозданием пришло в Жиронду то настроение, кото-

рое в Париже выразилось в „поцелуе Ламурета“; с некоторым опозданием пришли и террористические дела. Зато, так же как у нас, террор в провинции был в большинстве случаев еще свирепее, чем в столице. В Нанте комиссар, утопивший в Луаре 1800 человек, говорил: „Что ж, луарская лососина в этом году будет вкуснее...“

Гаде, руководитель группы жирондистов, бежавшей в юго-западную Францию, заблуждался относительно настроения своих земляков. Он представлял себе мирный, веселый, благодушный народ очаровательной винодельной области, тот народ, который ему, как уроженцу Сент-Эмилиона, был хорошо известен с детских лет. Область хуже не стала. Во всех этих „Château Ausone“, „Château Bel-Air“, „Château Beau-Séjour“, теперь застенчиво поставивших перед „château“* слово „ci-devant“**, кипела работа; люди готовили вино, не очень думая о борьбе жирондистов с монтаньярами. Не стал хуже и народ. В те дни, когда у каждой партии была своя политическая кофейня, парижское Café Conti вывесило на стене надпись: „Здесь собираются люди, не требующие ничьих голов“. То же самое могли о себе тогда сказать миллионы двадцать пять французов. Но в пору террора инстинкт самосохранения быстро и сильно растет за счет всех других человеческих чувств. В этом тотчас убедились Гаде и его товарищи.

Путь из Бек д'Амбеса в Сент-Эмилион они проделали благополучно. Встречные люди подозрительно поглядывали на „горнозаводчиков“, но с властями беглецы не встретились ни разу. Когда они подошли к Сент-Эмилиону, Гаде оставил своих товарищей где-то в окрестностях городка, а сам ночью прокрался к дому своего отца. О произошедшей между ними сцене мы кратко знаем по показаниям отца Гаде на суде. Сцена была очень тяжелая. Старик отказался принять *всех* беглецов: он мог предоставить убежище только двум из них.

Осуждать его трудно. Как отец виднейшего жирондиста, он, конечно, находился теперь на дурном счету

* „Замок“ (фр.).

** „Бывший“ (фр.).

у начальства. За его домом было установлено наблюдение. Власти, и центральные, и местные, смутно подозревали, что беглецы направились из Кана в Жиронду. Естественно было предположить, что бывший председатель Конвента попытается найти убежище в своем родном городе. Старик Гаде рисковал и собственной головой, и жизнью всей своей семьи — это достаточно показали дальнейшие события. Скорее можно удивляться тому, что он соглашался приютить двух человек; но у него был чердак, куда никто никогда не заглядывал: два человека кое-как могли там укрыться.

По-видимому, отказ старика был страшным ударом для Гаде. Он отказался воспользоваться предложением отца. Попробовал обратиться к друзьям, — как будто подтвердились равнодушные слова Наполеона на острове св. Елены: „У человека друзей не бывает, друзья бывают у его счастья“. Многие сочувствовали жирондистам, но идти из-за них на эшафот не желал никто. При той моральной программе-минимум, которую, собственно, надлежит применить в подобной обстановке, можно с некоторым признанием отметить, что никто на них и не донес по начальству. Как мы знаем, бывает и хуже.

Отец не помог, не помогли друзья, помогла, в сущности, чужая женщина. Я говорил в предыдущей главе о доме XVII века, расположенном на вершине Сент-Эмилионского холма. Этот дом выходит фасадом в небольшой сад. В саду и сейчас можно увидеть некоторое подобие колодца. Колодец, очень узкий и глубокий, ведет на дно одного из тех сент-эмилионских подземелий, о которых говорилось в начале настоящего очерка. В стенах колодца сделаны выемки, в них можно вставить ногу. Человек, не слишком неловкий и не страдающий головокружением, может таким образом спуститься на дно подземелья. Но если опуститься по колодцу лишь метров на десять, то сбоку в стене внезапно открывается большая дыра, размером несколько меньше человеческого роста. Дыра эта ведет в большую пещеру. Ее происхождение так же неизвестно, как происхождение подземелий. Быть может, здесь была когда-то келья одного из монахов, последователей св. Эмилиана?

Дом принадлежал в пору революции чиновнику Роберу Буке. Сам он временно находился в Фонтенбло; в доме жила его жена Тереза. Она была в свойстве с Гаде, но едва ли принадлежала к числу его друзей. Беглецы к ней и не обращались; ей стало известно об их бедственном положении случайно. Конечно, она знала, что люди, укрывающие государственных преступников, подлежат смертной казни. Это ее не остановило: госпожа Буке дала знать Гаде, что может укрыть его и его товарищей, если они согласятся поселиться в пещере. Они согласились с радостью. Беглецы прокрались ночью в дом и по колодцу спустились в пещеру. Госпожа Буке доставила им туда матрацы, одеяла, стол, стулья, фонарь (до нас дошла опись вещей, впоследствии в пещере найденных). Были у них и книги, и газеты.

Вероятно, они находились во власти вечной иллюзии революционных времен: *это* долго держаться не может, обманутый народ очень скоро свергнет его „узурпаторов“ и призовет к власти людей, которые всегда верно ему служили. Надо отдать должное мужеству и энергии жирондистских беглецов: после разгрома их партии, после провала поднятого ими восстания, в каторжных, вот уж истинно „подпольных“, условиях жизни они тотчас взялись за работу. В пещере было холодно, разводить огонь не решались: выходящий из колодца дым могли бы заметить соседи госпожи Буке. Разговаривать полагалось только шепотом: в подземельях очень сильно эхо. Трудно было даже дышать: воздух поступал через колодец и боковую дыру довольно плохо. Но при свете фонаря можно было работать.

Один из них занялся составлением „Воззваний к друзьям Правды“ — слово „правда“ они продолжали писать с большой буквы. Некоторые принялись за мемуары — другое вечное утешение изгнанников. Все, что было ими написано в пещере, до нас дошло — по случайности, через семьдесят лет! Нельзя без волнения читать эти страницы, дышащие гневом и жаждой мести. „Чем были бы человечество, нравы, добродетель, если б Робеспьер, Барер и Дантон спокойно скончались в своих постелях?“ — спрашивает в своих

воспоминаниях Бюзо. Быть может, строки эти были им написаны в тот день, когда из газет ему стало известно о казни парижских товарищей или о казни госпожи Ролан. С ней, как мы теперь знаем, он был в близких отношениях; тогда этого не знал почти никто из его друзей.

В Кане к одному из них приходила молодая девушка, в ту пору еще никому не известная, — Шарлотта Корде явилась к Барбару с вопросом: кто главный виновник бедствий, постигших Францию? У Барбару ее видели Луве и, вероятно, другие жирондисты. Через месяц после того ее имя повторял весь мир, и на всех языках Европы слагались поэмы в честь женщины, убившей Марата. Надо ли говорить, что на жирондистов этот знаменитый террористический акт произвел особенно глубокое впечатление. Среди них были два профессиональных писателя: Саль и Луве. Но по-дилетантски, в свободное время писали, кажется, они все. До нас дошли стихи, написанные о Шарлотте Гаде: „Quand tu punis Marat de la mort la plus juste, — Corday! tu fis tomber l'assassin des Vertus. — Tu meurs, mais l'univers écrira sous ton buste: — Plus grande que Brutus...“*

Дошла до нас и длинная трагедия Салья „Шарлотта Корде“. Она очень плоха, но остановиться на ней следует: вероятно, ни одна пьеса в мировой литературе не была создана в такой обстановке, под землей, в повисшей над пропастью пещере, при свете глухого фонаря, в ежеминутном, сбывшемся ожидании казни. Пьеса Салья написана корнелевским стихом, с соблюдением трех „единств“, по всем правилам классической французской трагедии, — эти революционеры готовы были посягнуть на что угодно в мире, но никак не на литературный авторитет Никола Буало („Не трогайте Никола, это приносит несчастье“, — говорил Вольтер, человек в политике и в философии тоже достаточно смелый). К сожалению, в указании Буало, в частности, главному из них, требованию здравого смысла в литературе, Саль следовал весьма неудачно. Ему пришла в голову несчастная мысль: сделать

* „Корде! Справедливо наказуя смертью Марата, ты свергаешь — убийцу Добродетели. — Ты умираешь, но потомки напишут на твоём памятнике: „Величием она превзошла Брута...“ (Фр.)

Шарлотту Корде героиней вымышленного любовного романа.

Героем пьесы Саля оказался Эро де Сешель, один из самых интересных людей революции, человек большой культуры, по рождению принадлежавший к знати, пользовавшийся в свое время вниманием и покровительством королевы Марии Антуанетты, написавший в несколько вечеров, за бутылкой вина, знаменитую конституцию 1793 года. В сущности, по основным политическим идеям этот ожесточенный враг жирондистов был жирондистом сам, хотя, в отличие от них, быть может, не очень верил в те идеи, которые отстаивал — в форме обычно довольно двусмысленной. Эро де Сешель председательствовал в Конвенте в тот день, когда произошла „вспышка народного гнева“, погубившая партию Жиронды. У Саля были основания его ненавидеть. Героем же своей трагедии Саль, вероятно, избрал его потому, что Эро де Сешель был очень красивый человек, имевший огромный успех у женщин.

Очень кратко изложу содержание этой пьесы. На сцене заседание Комитета общественного спасения: совещаются Робеспьер, Дантон, Эро де Сешель и другие лица. Вестник приносит горестное сообщение: какая-то женщина только что убила Марата. В ужасе и отчаянии Комитет приказывает привести злодейку и обманивается с ней длинными тирадами в стихах. Во время этого философско-политического спора Эро де Сешель, как видно из его реплик „в сторону“, влюбляется в Шарлотту Корде. После ухода преступницы Робеспьер и Дантон поручают ему соблазнить Шарлотту и выведать у нее все ее тайны. Он принимает поручение. Но в минуту решительного объяснения с Шарлоттой Эро де Сешель внезапно прозревает правду жирондистов, падает на колени и раскаивается в своих преступлениях:

Сешель.

Ah! Connaissez enfin le plus grand de mes crimes;
Devant moi, les cruels! ont compté leurs victimes;
Ils se sont enchaînés par d'exécrables nœuds;
Ma bouche a prononcé ces serments odieux;
J'ai juré! Le cœur plein de votre auguste image!
Madame, vengez-vous, punissez cet outrage!
(протягивает ей кинжал).

D'un second sacrifice honorez votre main:
Immolez un tiran, frappez un assassin!*

Шарлотта.

Sois homme, lève-toi! Ce fer de la vengeance,
Dans tes mains, désormais, appartient à la France.
Va sauver ton pays et sois digne de moi!*

Сешель.

J'y vole de ce pas; je cours venger la Loi!..^Δ

О предательстве Эро де Сешеля вследствие подслушанного монолога узнает Комитет общественного спасения. Он подсылает к предателю убийцу. Убийца отравляет предателя. Эро де Сешель умирает от яда в ту самую минуту, когда Шарлотту уводят на эшафот.

Все это было в высшей степени нелепо, смешно и не очень достойно по характеру вымысла, хотя бы продиктованного справедливой злобой. Никакого романа у Шарлотты Корде с Эро де Сешелем не было; Комитет общественного спасения никому не поручал соблазнять женщин; Робеспьер никого тайно не отравлял; и погиб Сешель — значительно позднее — не от яда, а на эшафоте, „как все“. Но исторической правды тут ждать не приходилось.

Вскоре после окончания написанной Салем пьесы наступил и последний акт сент-эмилионской трагедии.

III.

Луве в своих воспоминаниях (т. II, стр. 55) называет женщину, которая предоставила им убежище в пещере сент-эмилионского сада, „небесным ангелом“.

*О! Узляйте же, пакопец, наибольшее из моих преступлений:
Передо мной эти убийцы считали свои жертвы;
Они повязаны мерзкими узами;
И я произнес их ужасную клятву,
Храпя в сердце ваш возвышенный образ!
Отомстите, мадам, покажите за это оскорбление!
Возвеличьте вашу руку еще одной жертвой;
Уничтожьте тирала, раздавите убийцу! (Фр.)

*Поднимись, будь мужчиной, отныне этот
Княжал отмщения в твоих руках принадлежит Франции.
Иди же спасать свою Родину и будь достойным меня! (Фр.)

*Ну, что же, я иду; я спешу отомстить за Закон!.. (Фр.)

Тереза Букс и в самом деле проявила в этом деле исключительное самоотвержение и бесстрашие. Она не могла не знать, какая участь ее ждет, если полиция выследит укрывавшихся у нее жирондистов. Риск был очень велик. В своем домике она до того жила с престарелым отцом и со служанкой. Теперь прибавилось семь лишних ртов. В городе с населением в тысячу человек каждая торговка, конечно, знала, сколько хлеба, мяса, овощей ежедневно покупает госпожа Букс. Вероятно, в сент-эмилионских лавках очень скоро заметили, что по непонятным причинам она стала всего покупать в несколько раз больше. Это должно было вызвать толки, подозрения и вопросы. Между тем террор в Жиронде усиливался с каждым днем.

В Бордо хозяйничали три комиссара, присланные из Парижа центральной революционной властью: Тальен, Изабо, Жюльен де Пари. Из них большой известностью в истории пользуется лишь Тальен — в ту пору более или менее преданный слуга Робеспьера, впоследствии (очень скоро) злейший его враг, нанесший тяжкий удар диктатору в день девятого термидора. Это был человек довольно загадочный. Во время революции его считали продажным политическим дельцом, готовым за деньги служить кому и чему угодно. Едва ли это было верно: Ламбер Тальен умер совершенным бедняком. В последние дни свои он жил на небольшую пенсию, которую не то из жалости, не то из своеобразного щегольства Людовик XVIII платил бывшему члену Конвента, голосовавшему за казнь его брата. Политическая карьера Тальена не напоминает ничьей другой карьеры в революционной истории. Он как будто и нарочно старался не походить на других людей — вроде как Фет, который во время своего путешествия по Италии завешивал окна, „чтобы не смотреть на классические, всем нравящиеся виды“.

Через всю жизнь Тальена проходит его любовь к женщине, ненадолго ставшей его женой и столь известной в истории под прозвищем „Нотр Дам де Термидор“. Начало этого романа относится именно к дням и событиям, составляющим предмет моего очерка. Деятельность Тальена в Бордо может быть разделена

на два периода. В течение первого из них он проявлял если не крайнюю, то, во всяком случае, немалую жестокость; им было пролито много крови. Затем, в Бордо, он встретился с политической заключенной, маркизой Фонтене. В точности неизвестно, при каких именно обстоятельствах их свела судьба. По всей вероятности, это произошло в тюрьме: Тальен, подготавливавший список новых кандидатов на эшафот, увидел маркизу Фонтене, сразу без памяти в нее влюбился, освободил ее из тюрьмы и сошелся с ней. Это был совершенный кинематограф, и говорить об этом, собственно, следовало бы в кинематографическом стиле: „Красавица маркиза стала добрым ангелом всемогущего члена Конвента“. Арсен Уссе, справедливо сказавший о себе: „J'ai la prétention très prétentieuse de ne rien savoir“*, — написал исторический труд, в котором очень подробно излагает любовные беседы маркизы с Тальеном, — казалось бы, эти беседы должны были происходить наедине. Как бы то ни было, оттого ли, что Тальен был страстно влюблен и счастлив, или по другой причине, после сближения с маркизой он больше не казнит никого.

О втором комиссаре сказать нечего. По-видимому, Изабо заботился, главным образом, о том, чтобы не влезть в историю, — ни в прямом, ни в переносном смысле последнего слова. Сотни деятелей Французской революции только и думали, как бы уцелеть в этом пекле.

Главным несчастьем жителей Жиронды был третий комиссар — Жюльен де Пари. Он мало известен; даже в столь ученом труде, как шеститомное „Общество якобинцев“ Олара, Марк Антоний Жюльен не раз смешивается с его отцом. Между тем географическое уточнение „де Пари“ он пристегнул своей фамилии именно для того, чтобы его не смешивали ни с отцом (Жюльеном де ла Дром), ни с другими политическими деятелями, носившими эту фамилию, весьма распространенную во Франции.

Жюльен де Пари, грозный комиссар Жиронды, был 18-летний мальчик, только что окончивший коллеж Монтегю. Еще будучи воспитанником коллежа,

* „Я претенциозно претендую на полное неведение“ (фр.).

он стал посещать общество якобинцев и выступал там с пламенными речами. Раз как-то ему удалось даже выступить в Конвенте как делегату якобинского клуба. Жюльен говорил о „настоящих якобинцах, личными добродетелями которых гарантируется и их политическая добродетель“, говорил о „знаменитых и бессмертных мучениках народного дела“, грозил „тиранам карой бессмертной памяти об их слишком долгих злодеяниях“ и т.д. Речь его (от 27 флореаля II года) имела в Конвенте большой успех: „Монитор“ (т. XX, стр. 493) неоднократно отмечает бурные рукоплескания. Слова „добродетель“ и „бессмертие“ юный оратор склонял во всех падежах, из чего (как и из некоторых других выражений) можно сделать безошибочный вывод, что он работал на Робеспьера: это был робеспьеровский стиль, личный и даже фамильный (так же выражались брат и сестра революционного диктатора). Жюльен и позднее подлаживался к Робеспьеру чрезвычайно умело и вместе с тем далеко не так грубо, как теперь юркие люди работают на Сталина. Французская революция ценила „подхалимаж“ (замечательное слово) гораздо меньше, чем наша, но ценила. Старательный юноша, 18 лет от роду, был назначен комиссаром в Бордо — я другого такого случая в истории революции не знаю.

Молодость может послужить для него некоторым смягчающим обстоятельством. Однако и дальнейшая его карьера свидетельствует, что это был (вопреки мнению весьма авторитетного историка) очень скверный и бессовестный человек, типичнейший карьерист революции, готовый решительно на все. Его политическая добродетель была не вполне гарантирована личными добродетелями. Жюльен отправил на эшафот очень большое число людей — трудно сказать в точности, сколько именно. В подобных случаях у историков и мемуаристов принято говорить о садизме. Думаю, что никакого садизма в нем не было, как не было и никакого „фанатизма“ (другое затасканное слово): он просто делал карьеру. В 1794 году для карьеры надо было казнить в большом количестве контрреволюционеров — или, по крайней мере, ему так казалось (в звезду Робеспьера Жюльен верил твердо), — он их и казнил без счета. А если б для

карьеры нужно было тех же контрреволюционеров увенчивать лаврами, Жюльен делал бы это не менее усердно. История полна таких людей, — думаю, история учреждений, подобных ГПУ или гестапо, в особенности. Ровно через пять дней после казни Робеспьера Жюльен заявил, что всегда мечтал об убийстве этого злодея.

В пору своего назначения на пост комиссара он еще об этом не мечтал. Прибыв в Бордо, он первым делом донес Робеспьеру, что Тальен и Изабо проявляют слишком большое снисхождение в отношении врагов свободы. Между тем „свобода должна иметь ложе из трупов“ („des matelas de cadavres“): „К стыду народов, кровь есть молоко рождающейся свободы“.

Успех был отличный. Робеспьер скоро отозвал и Изабо, и Тальена; Жюльен де Пари остался полным и единственным хозяином Жиронды. Жизнь сотен тысяч людей теперь зависела исключительно от его прихоти. „Молоко рождающейся свободы“ полилось рекой. За один июль 1794 года Жюльеном было казнено 129 человек. Паника в Жиронде стала беспредельной. Местный поэт Депоз написал о Жюльене стихи:

Les meurtres sont ses jeux, et les têtes coupées
A cet enfant cruel tiennent lieu de poupées...*

Жил он в Бордо, где имел некоторое подобие двора: имел фаворитку, имел советников, имел придворных. Кто-то из этих людей обратил его внимание на Сент-Эмилион: что, если Гаде скрывается в своем родном городе? Парижские жирондисты уже были казнены; поимка семи последних вождей разгромленной партии обещала славу и милость начальства. Вероятно, из Сент-Эмилиона уже стали поступать доносы и на Терезу Буке. Трактирщик Надаль внес ценное предложение: не использовать ли полицейских собак для большой облавы в Сент-Эмилионе?

Тем временем над беглецами стряслась новая беда. Ее подробности в точности неизвестны, дошедшие до нас сведения несколько противоречивы. По-видимому, к Терезе Буке неожиданно приехал ее муж, проживавший в Фонтенбло. Разумеется, от него нельзя

*Он играет в убийства, а отрубленные головы
Служат этому жестокому ребенку вместо кукол... (Фр.)

было скрыть, что в пещере сада живут опасные политические преступники. Робер Буке пришел в ужас: он нисколько не желал идти на эшафот без всякой вины и причины. Кажется, кто-то вдобавок грозил Терезе Буке доносом. Ей не оставалось ничего другого, как сообщить обо всем этом Гаде и его товарищам.

Разумеется, они не колебались ни минуты: нельзя было подводить женщину, которая столько для них сделала. Уйти было необходимо. Но куда же?

После недолгого совещания они решили разделиться. Луве сказал, что вернется в Париж. Маркиз Валади надеялся найти приют у какого-то своего родственника в Периге. Остальные остались в Сент-Эмилионе: Гаде и Саль отправились к Гаде-отцу, который, как помнит читатель, соглашался приютить у себя на чердаке двух беглецов из семи. И, наконец, трех последних, Петиона, Бюзо и Барбару, устроила опять-таки Тереза Буке: она уговорила сент-эмилионского парикмахера Трокара дать им приют — у него тоже было какое-то надежное убежище. Но, в отличие от госпожи Буке, Трокар это сделал за деньги, причем взял с нее обязательство, что снабжение укрывающихся у него людей пищей возьмет на себя она.

Они дошли до последнего предела несчастья, за которым могло наступить и предельное отчаяние. Однако по немногим дошедшим до нас документам видно, что эти замечательные люди сохранили спокойствие и душевную бодрость. Дошли до нас полусерьезные-полушутливые рецензии, написанные Бюзо, Петионом, Барбару о трагедии Саля; она, видимо, очень им не понравилась. Один из рецензентов с юмором замечает, что Саль напрасно „отравил“ Эро де Сешеля: что, если трагедию со временем поставят в театре — зрители увидят на сцене трагическую кончину главного действующего лица, а в партере будет смотреть на это — и хохотать — живой Эро де Сешель. Петион нашел, что Саль в слишком выгодном свете изобразил Робеспьера и Дантона: так, у него Робеспьер говорит: „Je saurai mourir“*, — нет, где уж такому негодяю произносить столь благородные слова! Мы

* „Я сумею умереть“ (фр.).

должны беспристрастно признать, что упрека в слишком бережном, рыцарском отношении к врагам автор трагедии никак не заслуживал.

Госпожа Буке посылала им в их тайники то цветы, то ставшие редкими блюда (во Франции уже начинался голод) — протокол процесса как-то отмечает баранину. Однажды они с истинно безумной смелостью вечером вышли из своих убежищ и явились к госпоже Буке в гости, на ужин; вероятно, ее муж отлучился...

Эти люди на что-то еще надеялись — Жюльен де Пари уже собирал собак для своей облавы.

IV.

„Мудрее всех тот, кто ничего не предвидит“, — говорит знаменитый баснописец. Из семи жирондистов, покинувших пещеру в саду госпожи Буке, один — Луве — принял решение, которое должно было казаться безумным его товарищам по несчастью: он решил вернуться в Париж! Вероятно, они долго его отговаривали: как ни ужасно было их положение в Сент-Эмилионе, хуже Парижа, с их точки зрения, не могло быть ничего. Между тем из них из всех спасся только Луве! Благополучно добравшись до столицы, беспрестанно меняя в ней убежища, он счастливо укрывался до 9 термидора, уцелел и прожил — очень нерадостно — еще года три. Этот столько видевший, столько переживший на своем недолгом веку человек умер, разочаровавшись во всех и всем. Такова была участь не одного из деятелей Французской революции. „Je suis saoul des hommes“*, — сказал незадолго до смерти Дантон.

С уходом в Париж Луве отпадает и наиболее ценный источник наших сведений о сент-эмилионской трагедии: при ее финале он не присутствовал и писать финала как очевидец в своих воспоминаниях уже не мог. Настоящего, подробного рассказа о произведенной в городке облаве мы так и не имеем. До нас дошли только официальные документы — источник очень важный, но сухой и односторонний — да еще несколько

* „Я пьян от людей“ (фр.).

ко свидетельских показаний, неполных и весьма кратких.

Как помнит читатель, в ту же пору в Жиронде полновластно распоряжался 18-летний комиссар Жюльен де Пари, друг и ставленник Робеспьера. Сохранились его письма к диктатору. Они очень интересны, особенно для современного русского человека.

Франция переживала время, во многих отношениях близкое к тому, какое сейчас переживает Россия (с огромной, однако, разницей: тогда была война). Робеспьер рубил головы то одним, то другим деятелям революции; очень трудно было понять, чего, собственно, он хочет и чем руководится. Можно с большой вероятностью предположить, что он и сам этого хорошо не знал. „Подозрительность доводит до сумасшествия и людей со светлой головою“, — сказал французский классический писатель; а у Робеспьера и голова была не из самых светлых. В 1794 году уже трудно было сказать, он ли руководит террором или им руководит террор, расстроивший вконец его душевные силы. Для подозрительности у него вдобавок были достаточные основания; но и нервы его не выдержали страшного напряжения. Заговоры против него были — он мог думать, что на заговорщиков ему доносят другие заговорщики, и казнил он людей почти наудачу, понемногу из каждого лагеря. Казни подвергались то люди чересчур умеренные, *les tièdes*, то люди крайние, *les exagérés* (по нашей нынешней терминологии, „троцкисты“). Надо было напугать всех. Он всех смертельно и напугал, — в конечном счете на собственную гибель.

История повторяется далеко не во всем. Ветер не всегда возвращается на круги свои. Но скверный ветер на скверные круги возвращается очень часто. С жутким чувством мы читаем об обвинениях, возводившихся против подсудимых того времени, в частности против генералов, казненных в пору Французской революции. Обвинения неизменно одни и те же: сношения с внешним врагом. Для разнообразия имя главного врага иногда менялось: генерала Кюстина обвинили в сношениях с Пруссией, маршала Люкнера — в сношениях с Англией. Позднее была найдена

общая формула: „Pitt et Kobourg“* или просто „l'og de l'étranger“[†]. За самыми редкими исключениями, обвинения были совершенно бессмысленны. Случаи подкупа неприятельских генералов в новейшей истории чрезвычайно редки. Если б так просто было подкупать командующих армиями, то войны стали бы невозможны: в пору великой войны союзники, вероятно, не пожалели бы никаких миллиардов, чтобы подкупить Гинденбурга или Людендорфа. Элементарные, рассчитанные на человеческую глупость обвинения, конечно, прикрывали более основательное подозрение: подозрение в „бонапартизме“, который тогда — до Бонапарта — назывался „кромвелизмом“ или „монкизмом“. Впрочем, Кюстин, Люкнер, де Флер, многие другие казненные генералы и в этом не были повинны: чаще всего генералы становились в пору революции жертвой личных счетов, интриг и доносов со стороны своих же товарищей (весьма возможно, что такие явления наблюдались и в московском деле 11 июня)[‡].

Несчастье же ловких людей того времени заключалось именно в том, что они никак не могли понять, так сказать, генеральную линию робеспьеровских казней. Это и в самом деле было нелегко. Иногда людей казнили за близость к священникам и роялистам; иногда за неуважение к вере и к национальному прошлому. Шометту, например, Робеспьер ставил в вину и то, что он называл церковные колокола „брелоками Господа Бога“ — это была *immoralité*[§], — и то, что он из цивизма предлагал парижанам носить грубую крестьянскую обувь — это была *exagération*[¶]. Если б все деятели революции знали точно, чего хочет Робеспьер (и если б сам он знал это), он, быть может, и не погиб бы. Но когда ни один видный деятель не может поручиться, что угадал генеральную линию и что за недо-

*Имеется в виду Англия и Пруссия. — *Прим. ред.*

[†]„Иностранное золото“ (*фр.*).

[‡]Эта часть статьи Алдапова опубликовала 26 июля 1937 года. 11 июня начался процесс Тухачевского, Якира, Уборевича и др. — *Прим. ред.*

[§]Аморальность (*фр.*).

[¶]Чрезмерность (*фр.*).

гадливость ему не отрубят головы, для диктатора настает очень опасное время.

Жюльен де Пари, юноша весьма неглупый и практичный, можно сказать, из кожи лез. Письма его (сколько таких писем найдут будущие историки в московских архивах!) в высшей степени поучительны во всем, начиная с мелочей. В письме надо поставить дату — во Франции введен революционный календарь, — но кто же знает, как неподкупный Робеспьер в душе относится к новому календарю, что, если это неуважение к прошлому? Жюльен пишет: 22 октября, — и на всякий случай осторожно добавляет: *ège vulgaire**. Несколько позднее окончательно переходит на мессидоры и прериали. В первых письмах он еще обращается к Робеспьеру на „вы“. Затем, по мере роста братских чувств в заливавшейся кровью Франции, начинает писать на „ты“ и даже заканчивает письма словами: „Обнимаю тебя!“ Отношения были, казалось бы, самые что ни есть братские; однако в восторженных излияниях молодого Жюльена чувствуются и величайшая осторожность, и смертельный страх. Людей, заведомо неприятных Робеспьеру, он поносит как может или доносит на них. Но кого хвалить, Жюльен, видимо, совершенно не знает: вдруг вчерашний любимец уже перестал быть любимцем?

С некоторой безопасностью, казалось бы, можно было хвалить покойников. Вот и в СССР пока не возбраняется восхвалять Ленина — все еще великого, хоть и далеко превзойденного. Но и тут злоупотреблять похвалами не следовало. В письмах Жюльена чувствуется опаска, как она чувствуется теперь в писаниях о Ленине иных советских публицистов. В одном из писем он вскользь сообщает, что посадил в Жиронде дерево, посвященное памяти Марата, однако особенно об этом не распространяется — и очень хорошо делает: Робеспьер похвалы Марату уже принял довольно кисло.

Большие колебания, по-видимому, Жюльен испытывал и в вопросе об общем тоне своих донесений: хороша ли в самом деле жизнь или нет? Лучше было

*Пошлые времена (*φρ.*).

перестраховаться на все стороны: кто же разберет, оптимист ли Робеспьер или пессимист? Порою его civicский тон чрезвычайно жизнерадостен. Жюльен настроен бодро, Жюльен счастлив, весело слушает революции. Он сообщает о революционном энтузиазме граждан Жиронды, о мерах, им принимаемых для увеличения этого энтузиазма: он старается „offrir des actes vertueux, des adoptions civiques, des mariages“*, он „приобщает женщин к любви к родине“; он устраивает для своего доброго народа разумные революционные развлечения; он даже берется за перо художника и пишет для граждан и гражданок небольшую пьесу, заканчивающуюся „республиканским балетом“: „Les Engagements des Citoyennes“** (письмо от 1 флореаля). Но порою характер его сообщений совершенно меняется: ах, граждане и гражданки ведут себя очень недостойно: везде измена, обман, контрреволюция! Если б не его бдительность, все кончилось бы очень плохо. „За исключением девяти или десяти определенных республиканцев, все от меня отворачиваются“ (письмо от 11 прериаля). И сам он уже больше не добрый отец области, развлекающий народ добродетельными зрелищами, — нет, он замученный, тяжело больной человек, он больше не в силах ни писать, ни говорить, ему надо бы уехать лечиться в Пиренеи, его дни сочтены.

Действия же его не менялись ни при оптимистическом, ни при пессимистическом отношении к жизни. Гильотина в Жиронде работает непрерывно. В одном и том же письме он с одинаковой деловитостью, одинаковым тоном сообщает и о казнях, и о спектаклях. Надо ли добавлять, что никакой болезни у него не было. Он после того, слава Богу, прожил в добром здоровье еще 55 лет, и переутомление его от казней не мешало этому 18-летнему комиссару-балетоману жить в 1794 году довольно весело. Из некоторых документов видно, что бордоских женщин он приобщал не только к любви к родине.

К сожалению, доклад Жюльена об аресте сент-

* „Издавать добродетельные законы, касающиеся гражданских установлений, заключения браков“ (Фр.).

** „Обязанности гражданок“ (Фр.).

эмилионских жирондистов до нас не дошел. Конечно, такой доклад был — его не могло не быть. Но очень много разных людей по-разному были заинтересованы в исчезновении некоторых бумаг, оставшихся после Робеспьера. Комиссия же, производившая выемку документов в кабинете казненного диктатора, к Жюльену отнеслась с не совсем понятной снисходительностью... Мы не знаем в точности, какие обстоятельства предшествовали облаве в Сент-Эмилионе. Облава эта была произведена с собаками, но, кажется, в собаках большой надобности не было. Человек весьма опытный в полицейском деле говорил мне когда-то, что 75 процентов успеха полицейской работы строится на доносах, в большинстве на доносах „любительских“. Во всяком случае, протоколы сент-эмилионской облавы оставляют вполне определенное впечатление: полиция твердо знала, где именно надо искать жирондистов.

29 прериаля отряд из 600 человек солдат и полицейских, под начальством комиссаров Лэя и Оре-старшего и генерала Мерзье, прибыл из Бордо в Сент-Эмилион и прямо направился к дому Гаде-отца. Читатель помнит, что у старика скрывались его сын и поэт Саль. Их тайник (чердак в полтора метра высотой) был обнаружен очень скоро. Комиссары арестовали обоих жирондистов, а с ними и всю семью Гаде, за исключением маленького внука Жозефа. Сцена, по-видимому, была страшная. Лет через шестьдесят после этого о ней с ужасом вспоминал один из солдат, принимавших участие в обыске. Бывший председатель Конвента, выйдя из тайника, бросился к своему престарелому отцу с криком: „Mon père, c'est moi qui vous tue!..“* Он понимал, конечно, что и отец его будет казнен за укрывательство.

Из дома Гаде отряд отправился к дому госпожи Буке — это неопровержимо свидетельствует, что к властям поступили доносы: какие основания иначе могли быть для обыска в доме мирной обывательницы, не имевшей никогда никакого отношения к политике? У госпожи Буке никого найти не могли: Гаде и Саль давно перешли от нее к старику Гаде. Петион,

* „Отец мой, я ваш убийца!..“ (фр.)

Барбару и Бюзю прятались у парикмахера Трокара, а Луве и Валади покинули Сент-Эмилион. Пещера, в которой прежде укрывались семь бежавших жирондистов, была обнаружена в саду Буке лишь несколько позднее. В ней были найдены тюфяки, утварь, книги (в их числе „Дух законов“ Монтескье). Это доказывало, что здесь укрывались люди. Но властям доказательства не понадобились и при первом обыске. Госпожа Буке была арестована, так же как ее 77-летний отец и ее служанка.

Все арестованные под конвоем были тотчас отправлены в Бордо к Жюльсону. Шествие прошло по главной улице, на которой находилась парикмахерская Трокара. Таким образом, Петион, Барбару и Бюзю в своем тайнике, конечно, слышали (а может, и видели через какую-нибудь щель), как ведут на казнь их товарищей и людей, их приютивших.

V.

Как это ни странно, под протоколом ареста Гаде и Салья значится русская фамилия, хотя и звучащая не вполне естественно: Россеев. Это имя мне никогда в трудах по истории Французской революции не попадалось. Маловероятно, чтобы участником революционного движения в Бордо мог в 1794 году оказаться русский. С другой стороны, зачем француз в те времена избрал бы для себя русский псевдоним? Не знаю, как разрешается эта небольшая историческая загадка. В дальнейшем подписи под допросами французские.

Все без исключения арестованные проявили величайшее достоинство. С ними никак не приходится сравнивать героев сенсационных политических процессов СССР. Гаде и Саль не отрицали фактов, дела свои ставили себе в заслугу и высказывали уверенность в том, что жирондистские идеи восторжествуют в истории. В выражениях они с комиссарами не церемонились; Гаде одного из них прямо назвал мерзавцем (допрос от 30 прериаля). На вопросы, которые могли бы навести власть на следы других жирондистов, арестованные категорически отказывались от

вечать. „Допрашивающий гражданин слишком порядочный человек, чтобы думать, что я выдал бы ему местопребывание моих товарищей, если б оно и было мне известно“, — с явной насмешкой отвечает Саль на один из таких вопросов. „Ты ошибаешься на мой счет“, — смущенно отвечает допрашивающий гражданин. В большинстве случаев протокол просто отмечает, что допрашиваемый ответить отказался. Фамилия Салья в протоколе была написана с ошибкой, — он потребовал ее исправления: „Умереть за свободу — дело слишком прекрасное, и я не могу пойти на то, чтобы меня по ошибке смешали в истории с кем-либо другим“. („В зале глубокое молчание“, — говорит современник.) Протоколы ответов Салья и Гаде — это документы, которых человечеству стыдиться никак не приходится. Кончатся они словами: „Et plus n'a été interrogé“*.

В самом деле, разговаривать было не о чем: Саль и Гаде были в свое время объявлены Конвентом вне закона, следовательно, судить их не требовалось. Они были казнены 4 мессидора в Бордо, на площади Революции. Оба сохранили совершенное спокойствие. Если верить рассказу современника, гильотина в этот день почему-то работала неисправно — Саль за две минуты до смерти объяснял палачу, как надо исправить механизм.

Гаде пытался сказать слово на эшафоте. По приказу начальства тотчас загремели барабаны. Бывший председатель Конвента успел только прокричать: „Народ, вот единственное оружие тиранов: они заглушают голос свободных людей!..“

Отрывок из другого протокола:

„4 мессидора II года республики. Умерли: № 1516, Маргерит-Эли Гаде, 36 лет... № 1517, Жан Батист Саль, 34 лет...“

Номеров последовало еще много: до 9 термидора оставалось тридцать пять дней.

Раньше Гаде и Салья погиб их товарищ по сент-эмилионской пещере Валади. Как, быть может, помнит читатель, он ушел из Сент-Эмилиона одновременно с Луве, но не в Париж, а в Периге, где рассчитывал

* „Более не допрашивался“ (фр.).

найти убежище. Там его опознали и арестовали, подробных сведений о его аресте я нигде не мог найти. Известно только, что он сослался на старый закон, согласно которому кадровые офицеры, в случае вынесения им смертного приговора, подлежали расстрелу. Как это ни странно, требование Валади было исполнено. Быть может, в этой глухой провинции революционным властям не было ясно, отменила ли революция декреты об офицерстве, изданные в XVI веке. Валади был расстрелян.

Это был замечательный человек, — один из наиболее привлекательных и наименее известных деятелей Французской революции. Писатель Обер де Витри, слышавший всех знаменитых ораторов революционной и последовавшей за революцией эпохи, говорит, что никого из них нельзя было и сравнивать по блеску красноречия (особенно при беседах в тесном кругу) с этим 27-летним маркизом, бывшим адъютантом Лафайета, примкнувшим к партии жирондистов. „Вот кто мог бы послужить Франции и делал бы ей честь своим талантом и своими высокими моральными качествами...“

Петион, Барбару и Бюзо, скрывавшиеся у парикмахера Трокара, в день сент-эмилионской облавы поняли, что им оставаться в городе больше нельзя. По-видимому, потребовал их немедленного ухода и смертельно напуганный парикмахер. Они покинули Сент-Эмилион в ту же ночь.

Об их намерениях мы ничего не знаем. Возможно, что они хотели покинуть родину. Испанская граница была не так далеко. В ту пору многих соблазняло „бегство из залитой кровью Франции в тихую, мирную, гостеприимную Испанию“, — тема для философских размышлений о *corsi e ricorsi** истории. А может быть, Петион, Бюзо и Барбару уже сами не знали, куда идут, зачем и для чего. Страшные несчастья, так быстро на них обрушившиеся, могли несколько помрачить их рассудок.

Судьба, по принятому выражению, продолжала над ними подшучивать. Пробродив всю ночь, они вы-

*Зигзаг (лат.).

шли из леса и на опушке уселись под деревом, на некотором расстоянии от большой дороги. У них были съестные припасы. Но позавтракать им не удалось. По дороге случайно проходил какой-то отряд солдат. Другая случайность: отряд шел с барабанным боем. Измученному Барбару показалось, что к ним приближается высланная за ними погоня. Он выхватил пистолет и выстрелил себе в ухо. Бюзо и Петион, считая своего товарища мертвым, бросились в лес.

Услышав выстрелы, солдаты направились к дереву. Барбару перенесли в соседнее селение, были вызваны власти, крестьяне сбегались поглазеть на редкое зрелище.

Через несколько дней после этого в Париже стало известно, что на юге Франции арестован Барбару. Член Конвента Жэй получил об этом частное письмо из Жиронды и, по требованию собрания, огласил его с трибуны. Вот что писал корреспондент Жэя:

„Позавчера утром добровольцы, проходившие в полумиле от Кастильона, услышали пистолетный выстрел и увидели, что в чащу леса бросились два каких-то человека. Они направились на место происшествия, увидели человека в луже крови и перенесли его в Кастильон. Лагард (местный полицейский чиновник. — М.А.) тотчас туда отправился и, разобрав на белье раненого буквы Р.Б., спросил: „Вы — Бюзо?“ Тот не мог говорить, так как пуля раздробила ему челюсть, но сделал отрицательный знак головой. Лагард спросил тогда, не Барбару ли он. Он ответил утвердительным знаком. Тотчас был отправлен нарочный к Жюльену...“

Конвент в ту пору по степени порабощения и потере стыда уже не очень отличался от какого-нибудь ЦИК'а: отчет в „Монитер“ отмечает, что члены собрания покрыли рукоплесканиями прочитанное Жэем письмо об их бывшем товарище.

Другое свидетельство о деле дошло до нас от очевидца — через 73 года! Престарелый крестьянин, которому в 1794 году было 14 лет, рассказывал историку Вателю: „Одни говорили, что это какой-то парижский изменник; другие утверждали, что это Петион или Бюзо. Потом стало известно, что это Барбару. Помощи ему никакой не оказали, не дали ни воды, ни вина,

ничего. Люди в те времена были так возбуждены! Рана у него, помню твердо, была повыше уха. Я сам ее потрогал...“

Умиряющего отправили в Бордо; там возобновилось все то же: допрос, установление личности, формальности, предшествовавшие эшафоту. По-видимому, Барбару едва мог говорить и скоро впал в полусознательное состояние — протокол отмечает: „...Atteint l'état de démence dans lequel il se trouve...“* Но держал он себя до последней минуты точно так же, как Саль и Гаде: с совершенным достоинством и мужеством. Из документов видно, что местные власти были очень озабочены тем, как бы Барбару не умер до казни: он уже находился в состоянии, близком к агонии. Ему заботливо оказали медицинскую помощь — и затем отрубили ему голову.

Через неделю после ареста Барбару недалеко от того места, где он в себя выстрелил, были найдены два трупа, наполовину съеденные не то волками, не то собаками. Крестьяне из соседней фермы показали, что за семь дней до того ночью слышали два pistolетных выстрела, следовавшие почти одновременно. Тела совершенно разложились и были наполовину съедены. О вскрытии не было и речи. Но не могло быть никакого сомнения в том, кто эти люди. Нам остается лишь догадываться, что случилось с двумя последними героями сент-эмилионской трагедии. Быть может, Петсион и Бюзо покончили с собой, увидев, что к ним приближаются волки? Быть может, они поняли, что им все равно не спастись, и предпочли самоубийство гильотине? Быть может, убили друг друга в отчаянии, в припадке исступления? Этого мы никогда не узнаем.

Разложившиеся трупы были зарыты в землю тут же. Жюльен выражал желание, чтобы на месте их смерти была помещена „позорящая надпись“. Но, по-видимому, это не было приведено в исполнение, как не было приведено в исполнение другое его намерение: „срыть с лица земли дома в Сент-Эмилионе, в которых скрывались Гаде, Саль, Бюзо, Петсион, Бар-

* „...Из-за безумного состояния, в котором он находится, допрос прерван...“ (Фр.)

бару". Об их смерти, о том, что они „освободили родину от своего зловредного существования“, он сообщил Комитету общественного спасения и кратко Робеспьеру (подробного, откровенного письма его об этом, повторяю, в бумагах диктатора не оказалось).

Поле у опушки леса, где погибли Петийон и Бюзю, очень долго называлось „эмигрантской могилой“: народ, очевидно, считал этих людей эмигрантами. Вероятно, Жюльен нарочно распускал слух, что они эмигранты: предполагалось, что народ эмигрантов ненавидит. В действительности народ просто о них не думал: думала иногда интеллигенция и очень часто люди, скупившие эмигрантское имущество.

Нет, думаю, надобности в выводах, обобщениях, характеристиках. Жертвами сент-эмилионской трагедии стали люди замечательные, воплощавшие лучшее начало Французской революции. Партия жирондистов бесспорно самая трагическая партия в истории. Из ее вождей не спасся почти никто. Большая часть их погибла на эшафоте. Другие покончили с собой. Эти занимают виднейшие места в ряду самоубийц Французской революции. Ряд довольно длинный; но российский, большевистский, начинает понемногу с ним выравниваться: Иоффе, Скрипник, Ломинадзе, Томский, Гамарник — кто следующий?..

Для Жюльена и его сотрудников юридическое положение жирондистских членов Конвента было очень удобным: никакого суда не требовалось. Но лиц, виновных лишь в укрывательстве, пришлось судить: они ведь не были объявлены вне закона. Правда, по тем временам „суд“ был несложный. Все же формальности заняли целый месяц. Само собой разумеется, суд приговорил к смертной казни госпожу Буке, которая по собственной инициативе так долго укрывала государственных преступников в пещере своего сада. С ней был приговорен к казни ее 77-летний отец. Укрывателем оказался и ее муж — в действительности, он, приехав в Сент-Эмилион, потребовал, чтобы жирондисты тотчас покинули его дом. На смерть были осуждены и члены семьи Гаде. Отцу бывшего председателя Конвента председатель суда невозмутимо заявил, что он не должен был считать жирондиста сыном: вот ведь Брут казнил своих детей...

Приговор в отношении всех осужденных был медленно приведен в исполнение.

До 9 термидора оставалась неделя!

VI.

Прошло много, очень много лет — и каких лет! Революция давно кончилась, пронеслась бурей наполеоновская империя, на престол снова взошли Бурбоны. Явление, заслуживающее внимания: интерес к революционному времени долго был невелик. Это отчасти объяснялось тем, что Наполеон, по своим соображениям, запрещал печатание каких бы то ни было исследований или воспоминаний, относившихся к этому времени. Тьер, писавший свой знаменитый труд по истории Французской революции в 20-х годах, с некоторой видимостью основания, хоть, конечно, преувеличивая, говорил: „Я прихожу первый: до меня ничего не было...“

Все же, думаю, дело сводилось не только к цензуре. Могли быть и причины чисто психологические: о революции тяжело было вспоминать и не очень хотелось. Все ведь „кончилось“ возвращением Бурбонов, следовательно, и с либеральной, и с консервативной точек зрения должно было казаться кровавым, бессмысленным кошмаром. К тому же ни безупречных героев, ни совершенных злодеев (как требовала мода в литературе и в истории) нельзя было сделать из главных деятелей революции: слишком многие из живых еще людей очень хорошо их знали. Старшее поколение, имевшее, как и наше, право быть усталым, не проявляло желания возвращаться мысленно к революционной эпохе. А молодежь в пору Реставрации, вероятно, знала о жирондистах и монтаньярах меньше, чем о каролингах и меровингах: в школе о революции не сообщалось ничего.

Маленький внук старика Гаде, погибшего со всей семьей в Бордо, давно был взрослым человеком. Он получил хорошее образование. По-видимому, большими дарованиями Жозеф Гаде не отличался (его исторические труды довольно бесцветны), но был работником трудолюбивым и добросовестным. Он стал

впоследствии, если не ошибаюсь, директором училища слепых. Жил он в Париже, состояния не имел и занимался научно-литературной работой. Однажды в поисках заработка он принес статью о каком-то географическом труде в редакцию журнала „Revue Encyclopédique“.

Это был очень почтенный научно-популярный ежемесячный журнал, ставивший себе целью систематические обзоры успехов науки и литературы во всех культурных странах. Редактировался он прекрасно, с большим знанием дела. Его сообщения о России и теперь могли бы пригодиться русским исследователям. Факты в них сообщались точно, и даже имена не перевирались. Помещались подробные отзывы о всех сколько-нибудь интересных книгах, выходявших в Петербурге, в Москве, в Киеве (есть несколько благожелательных и поощрительных рецензий о стихах молодого Пушкина). Русских политических дел журнал не касался: я не нашел в нем, например, статей о деле декабристов, но в 32-й книге (1826 год) выражено сожаление по случаю прекращения издания „Полярной Звезды“: „Этот журнал, который издавали со все растущим успехом гг. Бестужев и Рылсев, не мог появиться в нынешнем году“.

Сотрудники были в большинстве люди почтенные и известные. Очень почтенный человек был и сам редактор, человек разностороннего образования, писавший много и по разным вопросам. Направления он был не очень консервативного, но и не очень либерального. В одной из своих работ с длинным заглавием „*Quelques réflexions sur l'esprit qui doit inspirer les écrivains politiques amis de la patrie et du roi*“* он говорит о Бурбонах в тоне самом верноподданическом и гневно обличает „революционный дух, разрушающий всякую мораль“. Редактор пользовался большим расположением высокопоставленных людей как во Франции, так и в других странах. В числе его личных друзей были короли прусский, баварский, вюртембергский. Император Александр I подарил ему, при лестном письме, бриллиантовое кольцо в благодар-

* „Мысли о том, чем должны вдохновляться политические писатели, верные родиле и королю“ (фр.).

ность за две записки, которые он составил для русского правительства. Одна из этих записок (вероятно, и теперь хранящихся в каком-либо петербургском архиве) касалась устройства министерств в России, а другая — русских военно-учебных заведений: воспитание молодежи было любимым предметом редактора „Revue Encyclopédique“. Относились к нему с дружбой и доверием также люди передового лагеря. Он был близким другом Песталоцци; Костюшко рекомендовал его князю Адаму Чарторьскому.

Редактор принял Жозефа Гаде очень любезно, тотчас согласился напечатать его статью и, узнав, что автор ищет работы, предложил ему постоянное занятие в своем журнале. Гаде был, вероятно, в восторге. По-видимому, он стал чем-то вроде секретаря журнала и жил с редактором душа в душу. У них были общие научные интересы. Редактор проявлял большую осведомленность в вопросах новейшей французской истории. Ему, конечно, было известно, что вся семья Гаде погибла в 1794 году. Вероятно, больше удивляло Жозефа Гаде то, что редактор был очень хорошо осведомлен и о подробностях сент-эмилионской трагедии. Так, однажды — быть может, за бутылкой вина, — разговаривая об этом деле со своим помощником, он проявил осведомленность поистине чрезмерную... И вдруг страшная, потрясающая догадка озарила Жозефа Гаде — она оказалась совершенно верной: редактор „Revue Encyclopédique“ был Жюльен де Пари!

О сцене этой рассказывает сам Жозеф Гаде в одном из своих ученых трудов: рассказывает вскользь, очень бегло, видимо, неохотно — и довольно бестолково. Не скрою, в его рассказе есть некоторые несообразности. Но у нас нет никаких оснований не верить этому честному, добросовестному человеку. Разумеется, он знал, что редактора *его* журнала зовут Жюльен. Однако фамилия эта очень распространенная. Жюльенов во Франции великое множество, и Жозефу Гаде не приходило в голову, что „*écrivain politique ami du roi*“*, дружески переписывавшийся с разными европейскими монархами, был в свое время закадыч-

* „Политический писатель, верный королю“ (*фр.*).

ным другом Робеспьера и что он, Гаде, служит у сент-эмилионского палача, отправившего на эшафот, в числе сотен других людей, всю его семью! Ему казалось, что тот Жюльен давно погиб...

Нет, Жюльен не погиб. Такие люди погибают редко — разве уж очень, по случайности, не повезет. Жизнь Жюльена пока совершенно не изучена, биографий его не существует, и сведения о нем разбросаны в трудах самых разных, да еще отчасти в его собственных многочисленных произведениях, особенно доверия, конечно, не заслуживающих. Расскажу то, что знаю, вернувшись к 1794 году.

Через несколько дней после казни семей Буке и Гаде Жюльен отправился из Бордо в Париж. Вероятно, он путешествовал в добром настроении: его доклад мог рассчитывать на самый благоприятный прием у Робеспьера. Ужасное известие застигло его в дороге; приехав в Ла-Рошель, он узнал о событиях 9—10 термидора: Робеспьер пал! Робеспьер казнен!..

Правду сказал философ: сила человеческого духа познается в несчастье. Жюльен де Пари — прообраз столь многих советских граждан, о которых мы ежедневно читаем в газетах, — не растерялся. В Ла-Рошели было „Патриотическое общество“, он бросился туда и произнес громовую речь — против Робеспьера и его сообщников: „Их безжизненные тела лежат ныне вместе с трупами других знаменитых злодеев, но живое тело республики невредимо!..“

К сожалению, неизвестно, какой прием оказала аудитория юному оратору. В Ла-Рошели Жюльен не засиделся; следующая его остановка была в Орлеане. Там тоже было „Патриотическое общество“, там он тоже произнес громовую речь. Оказалось, он давно подумывал о том, как бы заколоть Робеспьера, „хотя его ложные добродетели вначале внушали мне иллюзии“. Из последних слов видно, что молодой человек все же чувствовал некоторую тревогу. И не без основания. В рапорте парижской полиции от 18 термидора II года мне случайно попало следующее сообщение:

„Жюльен де ла Дром (отец Жюльена де Пари. — М.А.) нанес себе четыре раны перочинным ножом...
Полицейский инспектор отправился на место проис-

шествия... Жена Жюльена в слезах сказала, что событие с их 19-летним сыном (подробностей она не сообщила) вызвало у гражданина Жюльена сильную, еще продолжающуюся лихорадку. Ударов же перочинным ножом он, по ее словам, себе не наносил..“

Какое именно „событие“ произошло с молодым Жюльеном, я не знаю. В день полицейского рапорта он еще находился в дороге: орлеанская речь его, позднее им напечатанная, была произнесена 19 термидора. Вероятно, Жюльен-отец, видный политический деятель, в тот день узнал от товарищей по Конвенту, что дело его сына плохо и логически должно кончиться гильотиной.

По приезде в Париж бордоский комиссар был арестован. Отношение к нему было, однако, непостижимо мягкое. Комиссия, разобравшая бумаги Робеспьера и, следовательно, прочитавшая все письма к нему Жюльена, огласила из этих писем лишь немногие и относительно невинные отрывки, признав вдобавок разные смягчающие обстоятельства: молодость, искренность и т.д. Быть может, это объяснялось тем, что он был сыном товарища членов комиссии; а может быть, комиссия признала, что не стоит заниматься мальчишкой: есть более значительные люди. Как бы то ни было, его из тюрьмы немедленно перевели в какую-то санаторию, а через некоторое время отпустили на свободу.

В кинематографической ленте дальнейших событий, в эпоху директории, консульства, империи Жюльен появляется время от времени, но всегда на третьестепенных ролях. По-видимому, он долго не знал, на кого поставить: этот проклятый Робеспьер так его подвел! Нерешительно ставил он и на Бабефа, и на Шампюне, и на Бонапарта. Кажется, на Бонапарта готов был поставить по-настоящему, но не вышло: Жюльен де Пари внушал Наполеону непреодолимое отвращение. Участвовал он и в походах, на должностях административных, тыловых, больше по интендантской части. В флорсале VII года Жюльен был предан суду за хищения военным командованием в Милане — и оправдан.

В пору Реставрации, как мы видели, он снова всплыл, но уже в качестве ученого и публициста. Его

журнал имел большой успех. В конце своей довольно долгой жизни Жюльен неизменно участвовал в разных ученых конгрессах. Это был, по словам де Сикотьера, „маленький, чистенький седовласый старичок, в зеленом ффраке, с нежным вкрадчивым голосом, прекрасно сочинявший мадригалы и стишки, вечно говоривший о человечестве, но избегавший разговоров о революции...“ На конгрессах с ним случались и неприятности. Так, в Мансе он для какого-то списка потребовал бумаги с „en-tête“*. Один лукавый член конгресса переспросил, якобы не расслышав: „Monsieur Julien demande des têtes?“* Бывший бордоский комиссар пропустил мимо ушей эту зловещую шутку.

Его прошлое, следовательно, было не так уж забыто. Но, повторяю, у нас нет оснований сомневаться в словах Жозефа Гаде: вероятно, он и в самом деле не знал, с кем имеет дело. Узнав правду, он, естественно, навсегда расстался с редактором, с которым судьба свела его так своеобразно.

В 1848 году Жюльен мирно умер, оставив большую семью и, кажется, немалое состояние. Еще позднее кто-то из членов его семьи продал книгопродавцу Франсу за бесценок шкатулку с бумагами, оставшимися после редактора „Revue Encyclopédique“. В шкатулке оказались воспоминания сент-эмилионских жирондистов! находка, эта в свое время вызвала большую сенсацию среди французских историков. Вотель дал ценный подробнейший анализ трагических документов, дошедших до нас через 70 лет после того, как они были написаны в пещере сент-эмилионского сада.

* „Блапк“ (фр.). Tête — голова. — *Прим. ред.*

* „Месье Жюльен требует голов?“ (фр.)

Зигетт в дни террора

I.

Несколько лет тому назад профессор де Лоне, член французской Академии наук, напечатал в „Ревю де Франс“ интереснейшие письма, относящиеся к эпохе террора. Письма эти извлечены из семейного архива, но проф. де Лоне не назвал фамилий. Семья, о которой идет речь, обозначена им буквой С.* Состояла она из отца, матери, сына, двух дочерей и гувернантки. Большая часть писем написана гувернанткой: отец был в отсутствии, гувернантка, видимо, по общему поручению сообщает ему, как они все живут и как себя ведет ее воспитанница, младшая дочь, 14-летняя Эмили, по домашней кличке „Зигетт“^а.

Об этом документе, еще почти не использованном в исторической литературе, позволительно вспомнить в юбилейные дни. Об идеях Французской революции (вернее, ее начала) теперь говорилось очень много. Во Франции речи и статьи были в огромном большинстве сочувственные и хвалебные, в Германии и в Италии — ругательные, в СССР — ни то ни се. Интересно, однако, что ругательные статьи исходили от высокопоставленных людей, которые едва ли могли бы добиться высокого положения, если бы мир в течение 150 лет медленно не завоевывался принципами 1789 года. Ведь родовое дворянство в наше время ни одного диктатора не выдвинуло, за исключением, быть может, Пилсудского. Ленин — сын отнюдь не знатного чиновника. Отец генерала Франко был несколько не родовитый морской офицер. Гитлер, Сталин, Муссолини, Мустафа Кемаль, еще кое-кто вышли из общественных низов.

Это имеет отдаленное отношение к теме настоящего очерка. Скажу, что семья С., по-видимому, „левой“

*Он лишь сообщает, что семья эта „имеет почетное имя в истории французского искусства и науки“.

^аОбразовано от „Zique“ — веселый и открытый приятель (фр.). — Прим. ред.

не была. Но не была она и дворянской. О политике в письмах ничего не говорится. Однако и в них чувствуется почти всеобщее настроение французов той эпохи: до сих пор настоящими людьми были только дворяне, теперь стали людьми и мы. Никаким „гонениям“ семья, впрочем, не подвергалась и при старом строе. Отец был архитектором на королевской службе. Ему полагалась даже казенная квартира в „Отеле Инвалидов“. Были они людьми с достатком. Им принадлежал в Париже доходный дом на улице св. Марка, правда, заложенный, если не перезаложенный. Была какая-то дачка в Отэй, у самой Порт Клу (так в дни террора называлась Порт Сен-Клу), — дачка с садом, с виноградниками. Отэй почти весь состоял тогда из виноградников, и отэйское вино очень ценилось среди людей небогатых; знатоки относились к нему с величайшим презрением. Впрочем, мнение знатоков часто менялось в течение столетий. В семнадцатом веке говорили, что „бордо могут пить только свиньи“.

II.

Письма относятся к 1793—1794 годам, то есть к худшему времени террора. Но о терроре в них нет ни одного слова. В них только повседневный быт, и это делает письма ценнейшим документом. Парадные сцены Французской революции всем известны, как и исторические „восклицания“. Правда, парадные сцены систематически искажались, а почти все восклицания вымышлены. Ни Дюма, ни Коффиналь не „восклицали“ „Республике не нужны химики!“, госпожа Роллан не восклицала „О свобода, сколько преступлений творится твоим именем!“, аббат, проводивший на место казни Людовика XVI, не восклицал „Взойди на небо, потомок Людовика Святого“, — вообще почти никто не восклицал*. О быте Французской революции книг написано гораздо меньше, хоть есть

*Так было, впрочем, всегда. Наполеон не восклицал: „Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид“. Людовик XIV не говорил: „Нет больше Пиренеев!“, — и то и другое позднейшая выдумка. Госпожа Дюбарри действительно сказала: „La France, ton café fout le camp“ (Пер. см. на стр. 112), но эти слова относились не к Людовику XV, а к его камердинеру, фамилия которого была Ла-Франс (см. об этом интересную книгу Анри Гобера).

старая книга Гонкуров, новая — Робике, кое-что еще. Романисту постоянно приходится вылавливать материалы из воспоминаний, особенно же (в воспоминаниях много люди и сочиняют) из писем и дневников. В этом отношении письма семьи С. окажутся для будущих романистов кладом.

Как можно было жить в Париже в 1794 году, „не замечая“ террора? Надо, разумеется, сделать поправку: не обо всем удобно было в те времена сообщать в письмах. Однако другие парижане не стеснялись, да и по тону опубликованных профессором де Лоне писем видно, что семья С. жила совершенно в стороне от гран-гиньольевских сцен Французской революции. Этому особенно удивляться не приходится.

Конечно, более гран-гиньольевскую эпоху, чем 1793—1794 годы, и представить себе трудно. Русская революция уже пролила неизмеримо больше крови, чем французская, но она заменила Плас де ла Конкорд чекистскими подвалами. Во Франции все, или почти все, совершалось публично. Осужденных везли в колесницах на эшафот среди бела дня через весь город, и мы по разным мемуарам знаем, что население скоро к таким процессиям привыкло. Правда, в исключительных случаях, например в дни казни жирондистов, Шарлотты Корде, Дантона, особенно в день казни короля, волнение в Париже было велико. Но обыкновенные расправы ни малейшей сенсации в дни террора не возбуждали. Прохожие с любопытством, конечно, и с жалостью провожали взглядом колесницу — и шли по своим делам. Довольно равнодушно также узнавал обыватель (гадкое слово) из газет о числе осужденных за день людей: пятьдесят человек, семьдесят человек — да, много. Приблизительно так мы теперь по утрам читаем, что при вчерашнем воздушном налете на такой-то неудобнопроизносимый город с тире убито двести китайцев и ранено пятьсот. Кофейни на улицах Парижа полны и в часы казней. Даже в дни сентябрьской резни на расстоянии полукилометра от тех мест, где она происходила, люди пили лимонад, ели мороженое. Точно такие же сценки мне пришлось увидеть в Петербурге в октябрьские дни: в части города, несколько отдаленной от места исторических событий, шла самая обыкно-

венная жизнь, мало отличавшаяся от обычной. Не уверен, что исторические события так уж волновали 25 октября лавочников, приказчиков, извозчиков, кухарок, то есть, в сущности, большинство городского населения. Результаты они на себе почувствовали лишь позднее. Для парижских обывателей события 1793—1794 годов были прежде всего борьбой политиков. Конечно, на эшафот мог угодить и человек, никакой политикой не занимавшийся. Таких случаев было много. Все же они составляли исключение.

III.

Как ни странно, вначале жизнь в Париже изменилась не очень сильно. Правда, вскоре после взятия Бастилии началась эмиграция. За две недели было получено богатыми людьми свыше шести тысяч заграничных паспортов. Стали уезжать иностранцы. В 1791 году в Париже остались три англичанина. Однако светская жизнь продолжалась. „Салонов“ оказалось больше, чем было до революции. У каждого видного политического деятеля был свой салон. Или, вернее, у каждого салона был свой политический деятель. В существующем и поныне доме на улице Отэй принимал Сиейес; были салоны Неккера, Мирабо, позднее Верньо. Почему-то увеличилось число дуэлей; некоторые из них кончались смертью. Очень размножились игорные дома; из них самый „шикарный“ был в Пале-Руаяле; содержал его Дюмулен, бывший лакей госпожи Дюбарри. Игра велась очень крупная: на десятки тысяч луйдоров.

Немного изменилось вначале и в жизни средних и низших классов. Новый быт сказывался, правда, в мелочах. Появились, например, тарелки с надписями „Да здравствует свобода“ или „Нация, Закон, Король“, столики с выгравированной на доске Декларацией прав, пресс-папье из камней Бастилии, игральные карты с изображением революционных деятелей. В коллекции проф. Олара было прелестное приглашение на похороны, отпечатанное на трехцветной бумаге. Все это вначале очень занимало парижан.

Затем пошли переименования. Они всегда неудобны для городских жителей, особенно для торговцев.

Впоследствии большая часть улиц вернулась к прежнему наименованию; но некоторые, как, например, rue de Lill, сохранили новое по сей день: против города Лилля ничего не могли иметь ни наполеоновская империя, ни монархия Бурбонов, ни Третья республика. Стали по-новому называть младенцев, заодно переменяли имя и многие взрослые люди. Как известно, появились в большом числе „Бруты“, „Сцеволы“, „Эпаминонды“. Были и желающие назвать себя именами популярных революционных деятелей. Так, один молодой офицерик назвал себя „Маратом“ и, хоть пробыл в Маратах недолго, позднее не любил об этом вспоминать, ибо стал королем: это был Мюрат. Пользовались успехом и имена идейные, отвлеченные. Министр Лебрен, у которого вскоре после победы при Жемапе родилась дочь, назвал ее „Цивилизация Жемап-Победа“. Гораздо менее известно, что якобинцы старались ввести в моду имена, „близкие к растительной и животной природе“. Эта мода не привилась. Можно было назвать дочь „Цивилизацией“, но называть ее „Коровой“ или „Салатом“ парижанин решительно не желал (хоть еще до 1795 года были во Франции и „Ваши“, и „Рюбарбы“, и „Каротты“)*.

А главное — хлеб! Он все же гораздо важнее зрелищ. Такого голода, какой был в России в первые годы революции, Франция не знала. В 1789—1790 годах о голоде не было речи. Богатые люди еще жили почти так, как до падения Бастилии. Был в ту пору в Париже гастроном Гримо де ла Реньер, сын богатейшего откупщика, владелец знаменитого, снесенного несколько лет тому назад особняка на Плас де ла Конкорд, на месте которого теперь воздвигнуто здание посольства Соединенных Штатов. Он написал несколько курьезнейших книг, дающих полную гастрономическую картину конца XVIII и начала XIX столетия. Гримо де ла Реньер только с гастрономической точки зрения расценивал и политические события, и политических деятелей, в том числе и революционных[†]. Эпоху Людовика XIV он не очень жаловал:

*От *фр.* Vache — корова, Rubarbe — разновидность салата, Carotte — морковь. — *Прим. ред.*

[†]Об одном из них, Ламете, он говорит с глубокой скорбью: ведь вот же был человек, знавший толк в еде, подававший надежды, а как кончил: мог стать настоящим гастрономом, — и завялся политиком!

сказочному аппетиту короля-солнца почтительно отдавал должное, но говорил, что от всей эпохи останется только одно большое имя — имя маркиза Бешамеля (изобретателя известного соуса). Лучшей эпохой французской истории считал царствование Людовика XV: тогда „было изобретено все главное“. Надо ли говорить, что Гримо де ля Реньер совершенно презирал революцию. „В одном я уверен совершенно: пюльрка Монморанси переживет их всех, вместе со всеми их идеями!“ Не любил он и Наполеона, мало интересовавшегося едой, но отдавал должное императору: при нем, по крайней мере, опять можно есть по-человечески и вдобавок не надо переименовывать блюда (как на беду, много хороших блюд изобрели лица контрреволюционные и титулованные: Potage Xavier* изобрел Monsieur, брат короля, potage Condé[†] — принц Конде, бабку — Станислав Лещинский, волован[‡] — маркиз де Нель, „отказавшийся от герцогского титула, чтобы остаться первым из маркизов“). У Гримо де ла Реньера еще в начале революции подавалось к обеду шестьдесят блюд, — он говорил, что после сорокового блюда „искусство повара должно быть особенно велико, так как аппетит обедающих начинает уменьшаться“. Добавлю, что он терпеть не мог разговаривать за едой и негодовал: появилась такая мода, чтобы вместо обеда угощать гостей разговорами[§]. „Да я к самому Вольтеру ни за что не пошел бы в гости без хорошего обеда: point de cuisinier, point d'ami“[□].

Так, конечно, питалось в революционные дни не очень много людей. Но в ресторане „Гранд-Отель“ на улице Закона (улица Ришелье), считавшемся тогда лучшим, было три табльдота: в 1 франк 16 су, в 2 франка 5 су и в 3 франка 10 су, — причем давали до

*Суп Ксавье (фр.).

†Суп Конде (фр.).

‡От фр. Vol-au-vent — слоеный пирог. — Прим. ред.

§Очень забавны указания Гримо, как надо приглашать гостей на обед: приглашение должно быть непременно в письменной форме, приглашенный обязан ответить не позднее, чем через 24 часа, и если отказывается, то обязан „adoucir et motiver son refus“ (смягчить и объяснить свой отказ (фр.) — Пер. ред.). В столовую первый должен входить хозяин, и он не садится, пока „не будет разлит по тарелкам первый суп и по бокалам — мадера“ и т.п.

□Хороший обед — признак дружеского расположения (фр.).

12 блюд. На rue des Grands Augustins была знаменитая „Мармит Перпетюэльль“ — там под котлом для супа огонь не угасал более ста лет, и с разных концов Европы люди съезжались есть этот суп к ресторатору Гарму и к его зятю Вери, имя которого встречается у Пушкина („Чтобы каждым утром у Вери — В долг осушать бутылки три...“). Священный огонь под котлом „Мармит Перпетюэльль“ не погас и в пору террора.

Можно, конечно, сказать, что первоклассные рестораны тоже были доступны только людям богатым. Но вот семья С. принадлежала к средней буржуазии или, вернее, к „ордену французской интеллигенции“. В одном из писем описывается обед на даче в Отэй (правда, по приглашению, у соседей): „отличный суп, говядина с корнишонами, свекла, рыба под соусом, баранина с картошкой, сыр, яблоки, груши, два сорта варенья, малага и вишни в водке“. Происходило это за несколько месяцев до 9 термидора! Нет, у нас был голод похуже!

Глава семьи С. был, как уже сказано, архитектором на государственной службе. Ему полагалась казенная квартира в „Отеле Инвалидов“, и первые годы жизни Зигетт прошли в этом великолепном дворце. Но в 1793 году началась „чистка“ среди бывших королевских служащих. Хотя архитектор всей душой сочувствовал идеям 1789 года, он был уволен в отставку. Кроме того, дворец получил новое назначение. Как бы то ни было, семья С. переехала. Оказалась свободная квартира в верхнем этаже их собственного дома на улице св. Марка, недалеко от Больших бульваров. Это была тогда лучшая часть города: свежий воздух, шума нет, движения мало, чего еще желать?

По-видимому, бывший королевский архитектор решил, что оставаться в Париже ему и вообще в 1793 году не очень удобно: люди, состоявшие на службе при старом строе, были на дурном счету, особенно в столице. Подвернулась как раз работа в провинции: постройка какого-то театра. С. уехал, оставив семью в Париже. Отсюда и пошла переписка: гувернантка, считавшаяся членом семьи, посылала ему подробные отчеты. Старшая дочь была замужем. Сын, юноша призывного возраста, записался добровольцем в ар-

мию и, по принятому тогда выражению, „полетел на границу“. В квартире на улице св. Марка остались жена, гувернантка и 14-летняя Зигетт, общая любимица всей этой на редкость дружной семьи.

Она была очень хороша собой, умница, имела разные таланты. Знала наизусть чуть не всего Расина, пела, рисовала. Воспитание ей дали самое лучшее. Ее литературным образованием ведал гремевший тогда поэт Лебрэн, прозванный Пиндаром. Оттого ли, что настоящее его имя было какое-то странное, Понс-Экушар, или по другой причине, он сам так себя называл и в историю литературы перешел под именем „Пиндар-Лебрена“. О нем скажу дальше. Музыка Зигетт обучал небезызвестный композитор Прадер, а живописи — скульптор Шоде, считавшийся восходящим светилом, впоследствии лепивший Наполеона. Он был учеником знаменитого Давида, и общее руководство эстетической культурой Зигетт принял на себя сам Давид. Лебрэн, Прадер, Шоде были близкие друзья и часто посещали гостеприимный дом на улице св. Марка. В их честь иногда устраивались обеды: надо было отблагодарить „добрых республиканцев“, бескорыстно уделявших свое время воспитанию Зигетт.

Вставали парижане рано, часов в семь. Как только Зигетт просыпалась, в доме начиналась суматоха, хохот, крики, пение. Утренний завтрак был скромный. Позавтракав, Зигетт неслась в спальную матери, которая вставала гораздо позже и пила кофе в постели. В спальне декламировались заученные наизусть накануне стихи. Вероятно, заучивалось и творчество Пиндар-Лебрена. Великий поэт творил каждый день или, точнее, каждую ночь: он говорил Шатобриану, что „бог посещает его регулярно между тремя и четырьмя часами утра“. Когда материнские восторги прекращались, Зигетт убегала в школу. Она посещала курсы по разным предметам знания, порою курсы довольно неожиданные, например по ассириоведению. Но регулярные занятия по утрам происходили в школе живописи; живопись была главным талантом и главной страстью Зигетт. Разумеется, ее сопровождала горничная, она же кухарка, Тереза: нельзя же отпускать бедную девочку одну. А так как первый

завтрак был легкий, то горничная относила в школу разные съестные припасы: ведь бедная девочка вернется домой только в четвертом часу дня! В четвертом часу бедная девочка действительно возвращалась и, по словам ее гувернантки, еще на лестнице раздавались крики: „Есть! Я умираю от голода!“ Суматоха в доме возобновлялась: Зигетт пришла, Зигетт голодна, накормите Зигетт! Обед бывал вполне основательный — не стану утомлять читателей перечислением блюд. Затем мать, дочь и гувернантка отправлялись делать покупки. Были они люди небогатые и покупали вещи недорогие, однако туалетами и модой интересовались чрезвычайно. Какое-то платье, купленное за 22 франка на рю дю Бак, занимает в переписке немало места.

Под вечер приходили друзья. Зигетт показывала свои музыкальные дарования. Клавесин уже выходил из моды и употреблялся только при аккомпанировании певцам. Лет за двенадцать до того Эрар выпустил первые рояли. Надо ли говорить, что для Зигетт нашлись 150 франков, рояль был для нее приобретен. Пиндар-Лебрэн читал грозные республиканские стихи. Иногда мать и дочь пели трогательные романсы. Слушатели, случалось, плакали от умиления: как хорошо! После ухода гостей (или вместе с гостями) хозяева уходили „дышать свежим воздухом“ на Итальянский бульвар. Часто отправлялись в театр, в оперу или в драму. Билеты покупались, вероятно, дешевые: денег было очень мало.

Все это происходило весной 1794 года, то есть в пору высшего иступления робеспьеровского террора! В Париже ежедневно казнили 40—50—60 человек. Добавлю, что улица св. Марка находилась очень близко от Конвента, на расстоянии какого-нибудь километра от Революционного трибунала и от мест публичных казней. По существу, тут нет ничего нового, но столь замечательные в этом отношении документы мне до сих пор не попадались.

IV.

К сожалению, в переписке ничего не сообщается о школе живописи, в которой училась Зигетт. Но тут у

нас есть другие источники: историческая и мемуарная литература немало занималась Луи Давидом.

Школа Давида и комнаты его помощников находились в Лувре. Этот дворец, как и „Отель Инвалидов“, имел свою конституцию, посложнее английской. В нем размещены были самые разные учреждения и жили самые разные люди. От комнат школы давно ничего не осталось. Помещалась она в углу северного и восточного фасадов дворца; теперь на ее месте устроена лестница. Большая зала освещалась одним огромным окном. Стояла в ней странная мебель, та самая, которую можно увидеть на картинах Давида: он с натуры ее и писал. Были еще какие-то „курульные кресла“, стулья из красного дерева, сделанные по его рисункам Жакобом в древнеримском или в этрусском стиле. На стене висели „Горации“.

Давид тогда уже находился на вершине славы. Его еще при старом строе (очень к нему благосклонном) сравнивали с Рафаэлем и с Тицианом. „Горации“ произвели революцию в „Салоне“ 1785 года, „самом знаменитом из всех салонов в истории живописи“. После „Брута“ светские дамы Парижа, а за ними дамы всего мира стали носить римские прически „по Давиду“, столяры изготовляли мебель „по Давиду“, ювелиры работали „по Давиду“ и т.д. В 1794 году, как член Конвента, как близкий друг Робеспьера, он вдобавок пользовался огромным влиянием: одно его слово могло осчастливить, могло погубить художника (иногда действительно и губило). По положению это был Горький Французской революции. Разумеется, как художник он был неизмеримо крупнее, чем Горький как писатель. „Марат“*, написанный якобы с натуры,

* Должно сказать, что и через тридцать лет после того, на старости, в изгнании, давно изменив своим революционным „убеждениям“, Давид продолжал считать „Марата“ своим лучшим созданием. В двадцатых годах XIX века разные короли и магнаты, частью ради оригинальности, частью ввиду мировой славы Давида, охотились за его „Маратом“ и предлагали залатить огромные деньги. Он этой картины не продал и детям завещал не продавать. Брюссельскому музею, не так давно присылавшему ее на выставку в Париж, она досталась в дар от внука художника. Давид знал себе цену. Однако магии величия, столь распространенной среди людей искусства, у него не было. На старости лет, увидев греческие статуи, вывезенные лордом Эльджином из Афин, он только вздохнул: вся жизнь была ошибкой, — если б знал это прежде, писал бы совершенно иначе.

тотчас после убийства, окончательно упрочил его славу.

О моральных качествах Давида говорить, к сожалению, не приходится. В нашумевшем столкновении с жирондистами он требовал, чтобы они непременно его убили: „Je vous demande que vous m'assassinez!“ Накануне 9 термидора обещал „выпить цикуту с Робеспьером“. Никто его не убивал, и цикуты он не выпил — Давид любил цикуту только на картинах. Через несколько дней после переворота он сам объяснял в Конвенте, что 9 термидора у него расстроился желудок, что он должен был принять слабительное и решительно ничего ни о чем не знает: „Этот несчастный (то есть Робеспьер) меня обманул“. Вся политическая деятельность Давида была сплошным курьезом. О его отношениях с Наполеоном можно было бы написать забавную книгу. Он все желал писать императора скачущим на коне, с поднятым мечом в руке. Наполеон указывал, что это было бы не вполне точно: главнокомандующий никогда в кавалерийских атаках не участвует. Компромиссом был „Переход через Сен-Бернар“, где Наполеон изображен без поднятого меча, но тоже не в очень реалистическом стиле. Писал Давид императора много раз, и неприятности выходили неизменно. В „Раздаче орлов“ между фигурами Евгения Богарне и Гортензии режет глаз странная пустота, непонятная при необыкновенном композиционном искусстве Давида. Объясняется она тем, что пока художник, составив отличный план, писал заказанную ему картину, Наполеон развелся с Жозефиной: Давид счел необходимым убрать с полотна фигуру опальной императрицы. Со всем тем, продажным человеком в настоящем смысле слова Давид не был. Он просто был „впечатлителен“, и так как вдобавок ничего ни в чем, кроме искусства, не понимал, а власть, влияние, почет любил чрезвычайно, то более или менее искренно восхищался поочередно всеми высокопоставленными или влиятельными людьми: восхищался Маратом, восхищался Робеспьером, восхищался первым консулом, восхищался императором, непременно восхитился бы и Людовиком XVIII, если бы это оказалось возможным для бывшего „ре-

жисида“*. Я не сомневаюсь, что, случайно очутившись по воле судеб в Кобленце, Давид с не меньшим жаром писал бы контрреволюционные картины. Вместо Марата он мог бы столь же благоговейно изобразить Шарлотту Корде и надпись „A Marat David“^а заменилась бы надписью „A Charlotte David“^а.

Учеников у него было в те времена много: человек пятьдесят или шестьдесят. Были среди них и взрослые, но преобладали мальчики и девочки 14—18 лет: он неохотно принимал взрослых, „уже испорченных академией“. Брал Давид с учеников по 12 франков в месяц — это доказывает, что руководился он не соображениями выгоды, а только любовью к искусству. Кроме того, ученики обязаны были подметать полы, топить печь и т. д. Сам он, занятый государственными делами, проводил в мастерской мало времени. Молодежь очень его любила, очень боялась и благоговела перед ним, но, по-видимому, не скучала и без него. В мастерской было очень весело. Учились как могли, копировали Давида, писали свое.

Часов в двенадцать дня стоявший в коридоре на часах ученик прибежал с вестью: „Давид идет!“ Все мгновенно подтягивались. Художник появлялся с трехцветной кокардой на шляпе (небрежное: „прямо из Конвента“ или „засиделся у гражданина Робеспьера“) и обходил учеников, осматривая их работы. Если бывал доволен, хвалил. Другим говорил: „ты сапожник“ или „ты академик“ (это у Давида означало приблизительно одно и то же). Иногда хватал кисть и поправлял: „Разве это нога? Где ты видел такую ногу?“ Иногда в ярости советовал ученику или ученице заняться чем-либо другим, например торговлей или музыкой: „Может быть, у тебя музыкальный талант? Может быть, ты затмишь Глюка? Но зачем тебе заниматься живописью? Нет, я не хочу разорять твоих родителей и брать с них даром по двенадцать ливров в месяц!“ Выгонял он редко, в восторге бывал еще реже. Особенно талантливых учеников у него

*От *фр.* régir — руководить, управлять. Во время революции Давид был, в сущности, диктатором в области искусств. Ему было доверено официальное руководство. — *Прим. ред.*

^а„Марату — Давид“ (*фр.*).

^а„Шарлотте — Давид“ (*фр.*).

тогда не было. Однако двумя годами позднее в школе появился неуклюжий, застенчивый, серьезный 16-летний мальчик, говоривший с южным акцентом, желавший стать скрипачом, но немного поучившийся в Монтобанае и живописи, преимущественно дома, у отца. При очередном обходе мастерской Давид остановился перед его полотном, посмотрел, ничего не сказал, посмотрел опять и спросил: „Как твоя фамилия? Энгр? Ты будешь мне помогать...“

Иногда ученики устраивали обед в честь учителя. Деньги собирались вскладчину, давали кто сколько может. Во главе с Давидом вся компания отправлялась в Венсен или в Клу *пешком*: так веселее и незачем тратиться на извозчиков. Обед тоже бывал скромный: и денег у молодежи было немного, и простота нравов ценилась. Давид, вероятно, рассказывал о добродетельном Робеспьере, о незабвенном Марате. Но едва ли молодежь интересовалась политикой. Общее чувство у этих юношей и девушек, выпедших в большинстве из буржуазии или из народа, было все то же: кончилось время дворянских привилегий, стали людьми и мы, теперь перед нами жизнь!

V.

Литературным образованием Зигетт ведал, как уже было сказано, Пиндар-Лебрен. Он в ту пору считался замечательным поэтом; да и теперь еще его имя можно найти в больших трудах по истории французской литературы. Человек он был странный. В одном из своих стихотворений он себя называет эпикурейцем: „Dans sa route obscure — Zénon me fait peur. — Enfant d'Epicure, — je vole au bonheur — la vive hirondelle — Cherche les Zéphyr, — Mon âme est fidèle — Aux tendres plaisirs...“^{*} Однако столь мрачного эпикурейца свет, вероятно, никогда не видал. Жизнь Лебрена сложилась неудачно. Наследственного состояния он, вероятно, никогда не имел. Стихами жить было во все времена трудно, — Пушкин получал,

^{*} „Своим темным путем Зенон пугает меня — Сын Эпикура, — Я стремлюсь к счастью. Веселая ласточка порхает в Зефире, А моя душа верла лежлым удовольствиям...“ (фр.)

конечно, за стихи немалые деньги, Байрон — огромные, но Пушкины и Байроны и в этом отношении составляют исключение. Лебрен не мог существовать без службы. Старый строй принял его довольно благожелательно. Поэт проделал не без успеха ту скромную карьеру, которая тогда была возможна для человека небогатого и в дворянстве не рожденного. Служил секретарем у принца Конти, позднее получал небольшую пенсию от короля и в знак благодарности писал оды в честь высоких особ. Появились у него и сбережения. Они погибли при знаменитом банкротстве князя Роган-Гемене, сыгравшем немалую роль в деле подготовки революции. Легкомысленный князь оставил неоплатный долг в тридцать с лишним миллионов — были среди них и восемнадцать тысяч Лебрена, все его состояние. Худо сложились и „tendres plaisirs“*. Жена сбежала от поэта, как говорили, к высокой особе. „Сын Эпикура“ всегда недолюбливал жизнь. Теперь он совершенно ее возненавидел. Лебрен примкнул к крайнему течению революции. Впрочем, примкнул чисто теоретически. Настоящей политикой он не занимался, но писал кровожадные оды, смешивая с грязью людей, в честь которых еще весьма недавно писал оды хвалебные. Сочинял он поздние стихи и в честь генерала Бонапарта, причем гарантировал его республиканские чувства: „Et l'heureux Bonaparte est trop grand pour descendre — Jusqu'au trône des rois...“² Бонапарт не оправдал этих надежд, зато пожаловал поэту орден Почетного легиона. И не раз награждал его деньгами. Якобинские чувства Лебрена очень смягчились.

Биография довольно обычная для людей той эпохи. Моральные качества наставника Зигетт находятся под некоторым сомнением. Но меняли тогда взгляды в зависимости от того, куда дул ветер, и люди вполне порядочные. Можно было бы даже сказать, что не изменило в ту пору взглядов лишь весьма незначительное меньшинство людей. Причины? Первая, вероятно, человеческая стадность, общая коллективная порука, устанавливающаяся в таких случаях в охва-

* „Нежные удовольствия“ (фр.).

² „Счастливец Бонапарт слишком велик, чтобы снизойти до королевского трона...“ (фр.)

ченной пожаром стране: надо жить, все так поступают, значит, никто осудить не может, что ж я один буду валять дурака? Вторая причина была патриотическая: плыть по течению необходимо, чтобы спасти Францию — как-нибудь продержимся и спасем. Огромное, подавляющее большинство французов не сочувствовали террору и ненавидели Робеспьера. Но столь же огромное их большинство помнили, что революция „сделала их людьми“, уничтожив дворянские привилегии и открыв перед всеми дорогу ко всему. Узнавая, что сын конюха стал главнокомандующим армией, а сын крестьянина — послом, „средний француз“ закрывал глаза даже на террор, хоть всей душой желал его прекращения. В письме какого-то деревенского врача той эпохи мне попалась фраза (цитирую на память): „Мне жаль герцогов, отправленных на эшафот. Жаль и тех, которые бедствуют за границей. Но о герцогских привилегиях я нисколько не скорблю. Если си-деваны хотят жить с нами, пусть живут, как я. Я ничем не хуже их...“

Позднее историки говорили, что и при старом строе, особенно при Людовике XIV, выходы из буржуазии (но не из низов) иногда достигали высокого положения. Можно добавить, что привилегии людей, которые, по знаменитому выражению Бомарше, „дали себе только труд родиться“, понемногу сокращались в царствование Людовика XVI. Однако слова „некоторые“, „иногда“, „понемногу“ в 1789 году „среднего француза“ удовлетворить не могли. На этом ведь с таким искусством и сыграл через десять лет генерал Бонапарт, видевший свою основную задачу в разрешении трудного уравнения, уравнения политического, социального, психологического: чего „они“ хотят? без чего могут обойтись, без чего никак не могут? („они“ были средние французы). Террор? Ненавидят. Свобода слова? Обойдутся, можно уменьшить. Участие в управлении страной? Очень желают, но не обязательно в порядке народного избрания. Восстановление сословных привилегий и феодальных порядков? Слышать не хотят. „Карьера открыта талантам“ — когда успехи и победы поставили вопрос о награждении талантов, то новым герцогам были даны *иностранные* титулы. Наполеон так и объяснял: му-

жик из Монморанси не желает, чтобы снова появился на свет Божий дюк де Монморанси: он этого боится. А вот „дюк де Монтебелло“, „дюк д'Ауерштедт“, „прэнс де Ваграм“, „прэнс де ла Москова“ — это несколько французского мужика не пугает.

В семье С. Лебрен бывал очень часто. Кажется, он был немного влюблен в 50-летнюю хозяйку дома (на это есть легкий намек в письме от 30 плювиоза). Два раза в неделю поэт регулярно обедал у С. с разными другими известными и неизвестными людьми. Так как Зигетт занималась живописью, то в дом постоянно приглашались разные художники. Приходил Жерар, уже находившийся на пути к мировой славе. Ему показывали рисунки Зигетт — все головы мертвецов. Это была одна из причуд Давида, перешедшая и к его ученикам: начинающий художник должен писать голову мертвеца, пока немного не научится своему делу. Жерар очень хвалил: замечательная голова! Может быть, Зигетт в самом деле хорошо рисовала. А может быть, творец „Психей“, впоследствии в один день писавший в своей мастерской императора Александра, Людовика XVIII и прусского короля, боялся рассердить всемогущего учителя Зигетт — рассорился с ним лишь много позднее из-за портрета госпожи Рекамье: она перебежала от Давида к Жерару.

Госпожа С. отличалась, по-видимому, необыкновенным гостеприимством и угощала гостей как могла. Но хлеб все были обязаны приносить из дому, свой. Перед булочными в 1794 году уже выстраивались „хвосты“. Иногда госпожа С., гувернантка и даже сама Зигетт ночью становились в очередь. Они и к этому относились благодушно.

Боюсь, не преувеличил ли я все же идиллию в жизни этой семьи в страшное время террора. Нет, идиллии, конечно, не было. Иногда в письмах проскальзывают фразы, хорошо нам известные по советскому быту: такой-то „внезапно заболел“ — это значит „арестован“. Кажется, плакали дамы в доме на улице св. Марка нередко, и не только из-за личных огорчений. Связи у них были большие, немало взшло на эшафот и их личных знакомых. Не могли, например, они не знать некоторых членов жирондистской партии. После казни жирондистов госпожа С. была в

Сен-Шапелль. Там играли духовную музыку — это могло быть подобием панихиды. „Никогда ничего прекраснее я не слышала... Хотелось плакать...“ Очень много людей в пору террора днем восхваляли Робеспьера, а по ночам плакали горькими слезами.

VI.

Вероятно, от Пиндар-Лебрена шло увлечение театром членов семьи С. К сожалению, в письмах почти ничего не сообщается о тех пьесах, которые они видели. Упомянут „Нерон“. А то указания краткие: были в драме, были в опере.

Как ни странно, увлечение театром в дни террора было очень распространено в Париже. Репертуар был на редкость плохой. Когда-то, работая над историческими романами, я прочитал несколько драматических произведений того времени. Трудно представить себе пьесы более бездарные и скучные. Тибодэ справедливо сказал, что грозные события конца XVIII века „создали революционную литературу, но не произвели литературной революции“.

Национальное собрание законом 13 января 1791 года дало театру полную свободу, которой он никогда не имел при старом строе. Вольтер писал в 1764 году почти как об утопии, что наступит время, когда можно будет писать пьесы на сюжет Варфоломеевской ночи: правительство не посмеет запретить. Свобода французского театра просуществовала около двух лет. С лета 1793 года он уже находился в полном рабстве и в состоянии хаотическом: никто не знал, что можно, чего нельзя; любой член Коммуны, посетивший спектакль и оставшийся недовольным, мог сравнительно легко добиться репрессий. В одной шедшей тогда с успехом пьесе были стихи: „Ah, les persécuteurs sont les seuls condamnables, — Et les plus tolérants sont les plus raisonnables“*. Случайно заглянувший в театр якобинец услышал эти стихи, пришел в ярость и закричал, что это безобразие: терпимость в такое время — преступление! Якобинца освистали и

* „Только преследователи достойны осуждения, — А наиболее терпимые — самые разумные“ (фр.).

изругали. Он побежал жаловаться в свой клуб. На его счастье, Робеспьер как раз находился в клубе. Может быть, стихи сами по себе не очень раздражили бы диктатора — он и сам любил либеральные мысли. Но как на беду названные два стиха в пьесе произносит англичанин, да еще „лорд Артур“. Робеспьер терпеть не мог англичан. Услышав рассказ якобинца о возмутительном происшествии, он немедленно отдал приказ по начальству. На следующий день театр был закрыт, а автор посажен в тюрьму. Мог и угодить на эшафот, но не угодил.

Таких случаев было немало. Актеры совершенно растерялись. Тальма отыгрывался на классическом репертуаре. Но и тут возникали трудности из-за социального положения действующих лиц. Началась работа по исправлению Корнеля и Расина, особенно сложная из-за стихов: изменишь — не будет рифмы. Все „*marquis*“ превратились в „*Damis*“, а все „*baron*“ — в „*Cleon*“^Δ. Хуже было с королями: вместо „*roi*“ поставили везде „*loi*“[□], но на беду закон по-французски женского рода, нельзя же было говорить в родительном падеже „*du loi*“. Актеры говорили „*de la loi*“, не считаясь с числом слогов в стихе. Публика замечала и смеялась. Иногда актеры огрызались: „Если вам не нравится, то посмотрите, как сказано у Расина“. Озорники шли еще дальше. Один из них слова „*La belle aux cheveux d'or*“⁺ (золота уже не было) невозмутимо заменил словами: „*Belle aux cheveux en assignats*“[°].

Кажется, в опере дело обстояло лучше. Там по-прежнему царил Гретри, смертельно боявшийся обидеть кого бы то ни было: революционеров, контр-революционеров, якобинцев, монархистов: мало ли что может случиться? С ним ничего случиться не могло и не случилось, так как, помимо его прелестного дара, он застраховал себя на все стороны. Гретри всю жизнь только и желал, чтобы люди оставили его в покое и не мешали ему заниматься музыкой. „*Je*

* „Маркиз“ (фр.).

Δ „Барон“ (фр.).

Δ Дамис и Клеон — имена собственные. — *Прим. ред.*

■ „Король“ (фр.).

□ „Закон“ (фр.).

° „Золотоволосая красавица“ (фр.).

° „Красавица с волосами из ассигнаций“ (фр.).

demandai à Dieu qu'il me fit mourir si je ne devais être honnête homme et bon musicien^{*}. С огромным успехом шла опера „Тарара“. У Пупкина, так странно поступившего с Сальери, приписавшего учителю Шуберта и Листа убийство, которого тот никогда не совершал, Моцарт говорит об этой опере: „Да! Бомарше ведь был тебе приятель; Ты для него Тарара сочинил, вещь славную...“ Были, по-видимому, и недурные революционные оперы.

Не знаю, чем объясняется увлечение театром в худшие дни революции. Казалось бы, людям в 1794 году было никак не до театра. „Шли, чтобы забытья“? Может быть. Однако некоторые политические и особенно патриотические пьесы находили подлинный и очень сильный отклик в душе людей того времени. Не надо забывать, что Франция вела борьбу со всей Европой: сыновья, братья зрителей (в их числе и Зигетт) находились на фронте. В „Театре Нации“ шла пьеса „Взятие Тулона французами“, в другом театре „Взятие Тулона“ — просто. Разумеется, никто в публике не имел понятия о молодом офицере, как раз начинавшем в этом тулонском деле самую головокружительную карьеру в истории: в пьесах были какие угодно действующие лица, за исключением Бонапарта. Но плохие пьесы эти имели сказочный успех. Какой-то режиссер придумал фокус. В главной картине за кулисами начинала палить настоящая пушка, а на сцене раздавалось пение нового марсельского гимна. Эти звуки волнуют и теперь. Тогда они доводили уравновешенных людей до подлинного экстаза. Публика поднималась с мест, и „с разных концов зала слышались рыдания женщин в траурных платьях“.

VII.

Иногда, в хорошую погоду, семья С. уезжала за город на дачу. Посылали за извозчиком, но, по-видимому, большую часть дороги совершали пешком: Зигетт на лоне природы немедленно приходила в дикий восторг и удержать ее в коляске оказывалось невоз-

^{*}„Я просил Бога, чтобы он послал мне смерть, если я не смогу быть честным человеком и хорошим музыкантом“ (*фр.*).

можным. „Она бежит от заставы, как баск“, — пишет гувернантка. Как помнит, быть может, читатель, С. имели дачу в Отэй.

Это была тогда маленькая деревня (менее 1000 жителей), ничего общего не имевшая с Парижем: к столице ее присоединили лишь в 1859 году. Деревушка Autteuil-lez-Paris проходит через всю французскую историю: от вступления легионов Цезаря в столицу паризиев Лютетию до убийства Виктора Нуара, которое совершил в отэйской усадьбе в 1870 году принц Бонапарт и которое часто называлось „прологом к установлению Третьей республики“, — самые разные исторические события имеют тесное отношение к Отэй. В нем нет буквально ни одного угла, не связанного с важными событиями и с выдающимися людьми. Теперь Отэй облюбовали эмигранты разных стран. В этом тоже есть традиция; начало ей положил Костюшко.

Отэй совершенно изменился на моей памяти; но и то, что мне еще довелось видеть, весьма мало походило на деревню конца XVIII века. Давно снесен загородный королевский дворец, построенный при Ришелье и прославившийся „оргиями“ Людовика XV; он находился приблизительно там, где теперь проходит улица Эрланже. Сады этой улицы и улицы Молитор — остатки известного на весь мир сада французских королей.

С давних пор, со времен Расина, Мольера и Буало, Отэй облюбовали люди искусства. У семьи С. был там близкий друг, сосед по даче, знаменитый художник Юбер Робер, живший на нынешней улице Буало; часть его сада сохранилась по сей день (в № 34-м). Но в 1794 году художника на даче не было: он сидел в тюрьме.

Юбер Робер отнюдь не был контрреволюционером. Как почти вся Франция, он с восторгом принял идеи 1789 года. Между тем был он баловнем старого строя. Отсюда никак не следует, что и Робер внимательно следил за тем, куда дует ветер. Это был чрезвычайно порядочный человек, очень просвещенный, умный и привлекательный. Не надо судить о характере Юбера Робера по его творчеству. Называли его „певцом развалин“ и „королем руинистов“. Он действительно на-

писал очень много „руин“, римских, французских, всяких. Иногда изображал в развалинах и то, что никогда не разваливалось, как, например, Лувр. Но из этого не вытекал вывод, будто „его душу влекло к разрушению“, хоть критики так говорили. В действительности Юбер Робер был по характеру чрезвычайно жизнерадостен. Вот уж он-то мог бы назвать себя „enfant d'Épicure“ с неизмеримо большим правом, чем Пиндар-Лебрэн. Правда, и жизнь его была на редкость счастливая — не берусь сказать, была ли счастливая жизнь причиной жизнерадостности или жизнерадостность — причиной счастливой жизни. Слава досталась Юберу Роберу рано и легко. Особенной известностью он, кстати сказать, пользовался в России. В Лувре есть 20 его картин, а в Эрмитаже — 25. Едва ли, однако, я ошибусь, сказав, что общее число полотен Юбера Робера в России доходило до 150*. В ту пору на все русское, на „la gusserie“, была мода в Париже. Юбер Робер, в отличие от Ле-Прэнса, картин из русской жизни не писал и в России никогда не был. Петербургские и московские баре сами к нему приплыли. Юсуповы, Строгановы, Безбородко засыпали его заказами для своих дворцов в столицах и в имениях. Недаром и на могиле его (на крошечном отъёском кладбище) выгравирована надпись: „Юбер Робер... член-корреспондент Петербургской академии“, — вероятно, необычная надпись эта сделана вдовой художника по его указанию.

Ему в пору террора шел уже седьмой десяток. Во Франции он начинал выходить из моды: Давид совершенно затмил славою и его, и всех других художников. Юбер Робер к упадку своей популярности относился благодушно: ну что ж, вышел из моды, затмили молодые, это в порядке вещей. Он был состоятельным человеком и перед революцией разместил свои деньги удачно: имел 15 тысяч франков годового дохода. Сохранился инвентарь имущества, проданного после смерти его жены; там значатся лошади, бриллианты, картины Ватто, Буше, дорогие гравюры. Жил он в

*По свидетельству Галса Фольмера, относящемуся к 1934 году, „неизвестно, можно ли считать уцелевшими около ста картин Юбера Робера, находившихся в царских дворцах и в домах русской знати“ („Allgemeines Lexicon des bildenden Künstler“, В. 28).

свое удовольствие. На даче в Отэй принимал друзей, художников, писателей, угощал их фруктами из своего сада, отличными обедами и дорогими винами. По замечанию г-жи Виже Лебрен, он „любил все удовольствия жизни, в том числе и удовольствия стола“. Дидро уверяет, что Юбер Робер писал по картине в день. Это, конечно, шутка, но плодовит он был и в самом деле необыкновенно, хоть постоянно бывал в обществе, не пропускал ни балов, ни концертов, ни спектаклей. Везде очаровывал всех, королей и революционеров, своим умом, любезностью и благодушным остроумием.

В 1793 году Юбер Робер был неожиданно посажен в тюрьму Сент-Пелажи, „roug ne pas avoir renouvé sa carte de civisme“*. Г-жа Виже-Лебрен говорит, что арестован он был по доносу Давида: они терпеть не могли друг друга. Однако не каждому слову г-жи Виже Лебрен надо верить. В заключении Юбер Робер несколько не упал духом, много читал, очень много работал. По-видимому, он сумел очаровать и тюремное начальство. Ему разрешили купить краски и кисти. Полотно вначале не было. Художник использовал грубые фаянсовые тарелки, на которых подавалась в Сент-Пелажи еда. Эти тарелки со своими рисунками он при помощи тюремщиков продавал на воле по золотому за штуку“. Он написал в тюрьме 57 картин, частью по памяти, частью, если так можно выразиться, с тюремной натуры. Некоторые его рисунки по правдивости истинный клад для историка или для романиста; в этом отношении они в сто раз ценнее всех „Клятв в Же-де-пом“, вместе взятых.

Просидел Юбер Робер в тюрьме десять месяцев. Жизнерадостность так и не покинула необычайного оптимиста: ну, посадили в тюрьму, скоро дело выяснится, выпустят. В список осужденных на казнь он будто бы все-таки попал, но по случайности в тюрьме оказался еще другой Робер. Произошла ошибка: вместо Юбера Робера отрубили голову его однофамильцу. Можно ли было после этого не сделаться оптимистом? (Разумеется, если не становиться на точку зрения

* „Из-за того, что просрочил свое гражданское удостоверение“ (Фр.).

*Одна из этих тарелок сохранилась в коллекции Эдуэна.

„другого Робера“.) Так, по крайней мере, рассказывали близкие к художнику люди. Ничего невозможного в этом нет, подобные ошибки иногда случались: тем не менее кое-что в этом рассказе вызывает некоторые сомнения.

Как бы то ни было, Юбер Робер был освобожден через несколько дней после 9 термидора и немедленно ускакал в свой Отэй, ни на кого, кажется, особенно не сердясь: что ж, случилась большая неприятность, и немало есть мерзавцев на свете (вероятно, в первую очередь имел в виду именно Давида, даже если в тюрьму попал не по его доносу), но, слава Богу, все кончилось. Теперь можно опять жить и работать как следует. Он так и сделал. Сейчас же засел за работу, много писал, развлекался как мог, принимал у себя людей более или менее ему близких по душевному облику и по политическому настроению. Умер Юбер Робер 75 лет от роду в своем любимом Отэй: утром работал в мастерской, к вечеру скоростажно скончался.

Иногда приезжал к нему в гости другой старичок, друг и товарищ его юности: они вместе учились в Италии, вместе прожили всю жизнь. Это был Фрагонар, по товарищеской кличке „Фраго“. В отличие от Юбера Робера, он был очень, очень беден. Этот старичок вышел из моды совершенно. Умолял о покупке картин, отдавал их очень недорого — по 10—20 франков за картину, — никто не покупал. Это не выдумка: еще много позднее, в 1816 году, „Молодые супруги“ Фрагонара продавались с аукциона за семь франков — и не нашли покупателя. Часто пользовался он гостеприимством друзей и оставлял им в благодарность свои картины. Так, в семье Моберов хранились сто лет оставленные им у них знаменитые панно, написанные для госпожи Дюбарри и ею не принятые. Лет сорок тому назад Пирпонт Морган купил их у этой семьи за 170 тысяч долларов. Теперь им вообще нет цены. Благодетели „Фраго“ не доложили на гостеприимстве.

В ту пору многие старые художники остались без работы. Некоторые превратились в своего рода „фотоматон“*: писали за бесценок портреты „авес

*От фр. photomaton — фоторемесленник. — Прим. ред.

ressemblance garantie**». Фрагонар ничего не писал. Он совершенно растерялся: что же такое происходит в мире: разве моя живопись больше никому не нужна? разве я так скверно пишу? Иногда уходил в Лувр и копировал Рембрандта, хоть это на первый взгляд не совсем понятно, Рембрандт был любимейшим художником Фрагонара: не только величайшим из величайших, но именно любимейшим. Может быть, он невольно утешался: *этот* на старости лет тоже вышел из моды.

Думаю, что Юбер Робер, знавший цену искусству своего друга, его немного подкармливал; наверное, кое-что у него и покупал. В упомянутом выше инвентаре значатся две картины Фрагонара. Они были куплены на распродаже все-таки за шестьдесят франков — вероятно, из уважения к памяти Юбера Робера. Иногда летом оба старичка уходили гулять. Хозяин брал с собой краски и полотно. „Фраго“ ничего не брал: что писать? зачем писать? либо я дурак, либо все дураки! У Юбера Робера были любимые места: набережная Сены, Пуэнэ дю Жур, rue de la Demi-Lune (нынешняя rue Gudin). Это самая безобразная улица во всем Отэй. На ней и теперь красуется какая-то развалина, верно, оставшаяся еще от тех времен. Не думаю, однако, чтобы именно она привлекала внимание знаменитого „руиниста“.

Семья С. была связана с Юбером Робером тесной дружбой. Но, к сожалению, письма относятся именно к тому времени, когда он сидел в тюрьме. В них немало говорится о его жене и ничего не сообщается о нем самом. Одна подробность, вероятно, заинтересует специалистов. Некоторые биографы Юбера Робера утверждали, что он жил в доме, когда-то принадлежавшем Буало (то есть в нынешнем номере 26-м). Говорили даже, что он купил этот дом умышленно: подражал будто бы посту в создании кружка просвещенных друзей, в образе жизни, в отношении к людям. Утверждение странное: что общего было с жизнелюбивым художником у мрачного поэта? „*Ci-git ma femme, ah! qu'elle est bien — Pour son repos — et pour le*

* „С гарантированным сходством“ (фр.).

pien!“* — ничто не могло менее отвечать характеру Юбера Робера: он и в любви, и в семейной жизни был весьма счастлив, с женой жил душа в душу. Но, во всяком случае, одна фраза в письме из архива С. дает возможность установить, что Юбер Робер жил не в доме Буало.

Ездил семья С. в Отэй, по-видимому, довольно часто. У них были там и другие приятели, известности не имеющие. Дачники жили как дачники, ходили друг к другу в гости, играли, пели, иногда молодежь танцевала — все это, повторяю, в 1794 году! Как-то у соседей была свадьба — веселье необыкновенное. Описывается с упоением свадебный пир: пирог, другой пирог, рыба с картошкой, пряники, яблоки, сыр, кофе, водка! Мяса, по-видимому, уже было очень мало. Возвращались домой поздно вечером по нынешней авеню Моцарта (в ту пору и еще много позднее на месте этой улицы любители охотились на кроликов), через деревню Пасси, Елисейские Поля и „Площадь Революции“. Хорошо все-таки, что возвращались ночью: днем, как известно, на нынешней Плас де ла Конкорд шли казни, — это могло испортить настроение молодежи.

Да, мудроно понять и в свете нашего собственного опыта. Переписка семьи С. заканчивается длинным письмом Зигетт, в котором она очень подробно описывает торжество 20 прериаля в честь Верховного Существа. Этот устроенный Робеспьером праздник часто изображался в исторической литературе — тут письмо 14-летней зрительницы почти ничего нового не дает, кроме разве некоторых бытовых подробностей: накануне разукрасили дом флагами и листьями, как велело начальство, встали в 5 часов утра, захватили с собой хлеба и шоколаду. Зигетт восторженно описывает отцу свою прическу — „древнегреческая, в девять прядей“, — свой туалет, какое-то „карако де линон“ с трехцветным поясом: ей, верно, ради торжества сшили новое платье. На подмостках сожгли чучело атеизма — Робеспьер, как известно, ненавидел атеистов. Зигетт сообщает, что у чучела в одной руке была змея, а в другой — погремушка, символ глупо-

* „Здесь покоится моя жена. О! пусть ей там будет хорошо, — Пусть она отдохнет — и я тоже!“ (Фр.)

сти. Церемония необычайно понравилась девочке: „Право, французы — истинные феи, если они в столь короткое время могли устроить столь прекрасное зрелище!“... Забавно, что Робеспьера она просто не заметила: не упоминает даже его имени. В письме лишь сказано: „Председатель кончил свою речь“, — неужели, живя в Париже, она не знала, как звали „председателя“!

К сожалению, профессор де Лоне, опубликовавший эту интересную переписку, ничего нам не сообщил о дальнейшей судьбе Зигетт. Мы ведь не знаем и ее фамилии. В настоящем очерке я беспрестанно делал длинные отступления, относящиеся к людям, имена которых встречаются в переписке. Думаю, что по общему своему облику члены семьи С. были довольно близки именно к Юберу Роберу. Его политическая мудрость нам более или менее известна: террор отвратителен, власть попала в руки злодеев, но от этого идеи 1789 года не теряют ни смысла, ни ценности. Мысли этой он оставался верен всю жизнь. По-видимому, так думала и семья С. Возможно, что с такими мыслями прожила свой век и Зигетт. Но поручиться я никак не могу.

Фукье-Тенвиль

I.

О революционном трибунале Французской революции человек, имевший к нему близкое отношение, сказал: „В нем все было преступно, вплоть до председательского колокольчика“. То же самое можно, разумеется, сказать о „Военной коллегии Верховного суда СССР“. Естественно, что московский процесс вызывает в памяти дела *того* трибунала. Сходство, однако, преувеличивать не надо: оно преимущественно психологическое и бытовое.

Литература о „чрезвычайном уголовном суде, образованном в Париже 10 марта 1793 года“ и более известном под названием революционного трибунала, велика. Главное изложено в старом шеститомном труде Анри Валлона. Назову еще книги Кампардона, Дюнуайе и двух смертельных врагов: Ленотра и Флейшмана*. Но и эти, и другие историки, конечно, использовали лишь небольшую часть документов, сохранившихся в Национальном архиве. Число этих документов исчисляется на десятки, а то и на сотни тысяч. Останется ли такое же обилие материалов от праведных трудов Ульриха и Вышинского? Не думаю. Сами они воспоминаний, вероятно, не напишут, как не написал их ни один из деятелей французского революционного трибунала: не до того было, и хватать было нечем, и, главное, конец пришел так быстро, так неожиданно (это вполне может случиться и с деятелями „Военной коллегии“).

От главного героя революционного трибунала, от прокурора Фукье-Тенвиля, осталось немногое: очень неполный сборник (вернее, конспект) двадцати его обвинительных актов (остальные еще не напечата-

*Гектор Флейшман написал целое исследование об „искажениях и плагиатах“ Ленотра.

ны); три записки, написанные им в тюрьме в свою защиту; один старый мемуар, составленный им задолго до революции (в 1776 году); пометки на полях бесчисленных документов архива. В 1828 году на аукционе в Париже известный коллекционер Вальферден купил за 322 франка 20 сантимов мебель, утварь и некоторые бумаги знаменитого прокурора. Еще через 80 лет неизвестный любитель приобрел за 2200 франков подлинник распоряжения о его казни. Сравнительно не так давно, в 1870 году, в столетнем возрасте скончалась последняя подсудимая революционного трибунала, госпожа де Бламон. Она была приговорена к смерти в 1794 году; вследствие ее беременности казнь была отсрочена — Робеспьер пал до того, как она разрешилась от бремени; ее спасло девятое термидора. С ней ушел последний человек, видевший своими глазами „самого кровавого из деятелей революции, залитого кровью тысяч неповинных жертв“.

Фукье-Тенвиль родился в 1746 году в деревне Эрзуэль, вблизи Сен-Кантена. Отец его был не то очень богатый крестьянин, не то не очень богатый помещик. Как многие мелкопоместные землевладельцы того времени, он имел претензии на знатность и подписывался „Фукье де Тенвиль, сеньор Тенвиля, Фореста, Эрзуэля и других мест“. Частицу „де“ пристегивал к своей фамилии в пору монархии, даже в начале революции, и будущий прокурор парижского революционного трибунала. Так, впрочем, поступали и другие деятели той эпохи, не исключая Робеспьера и Сен-Жюста. Часто поступали так и разбогатевшие люди в других странах: многие нынешние немецкие, голландские, шотландские аристократы стали „фонами“, „ванами“, „маками“ в восемнадцатом веке, в порядке несколько самочинном. Отношение к этому было благодушное: дело житейское. Еще сравнительно незадолго до того при французском и при испанском дворах серьезно обсуждался вопрос, может ли король носить парик, сделанный из волос человека, не принадлежащего к дворянскому сословию: не унижит ли это и не осквернит ли его особу? Но в обществе уже говорили о „породе“ иронически. Вольтер и Бомарше делали свое дело; оба они, кстати сказать, тоже поль-

зовались дворянской частицей, с точно таким же правом, как Фукье-Тенвиль.

О молодости будущего революционного деятеля нам почти ничего не известно. Он рано потерял отца; с матерью был в отношениях не очень нежных. Учился он в хороших школах, затем поступил на службу к известному в те времена судебному деятелю Корнюлье, 28 лет от роду получил разрешение вести самостоятельно дела* и купил должность прокурора в Шатле.

Так называлась низшая судебная инстанция Парижа. Учреждение это было сложное и громоздкое. Механизм его действия нам теперь нелегко понять. В Шатле состояло 55 советников, 13 „людей короля“ (имевших право говорить ему при представлении: „Sire, nous sommes vos gens“*), 48 комиссаров, 235 прокуроров, 385 конных приставов и т.д. Прошло то время, когда Омер Талон говорил Людовику XIV: „Ради славы короля мы, прокуроры, должны быть не рабами, а свободными людьми. Достоинство короны измеряется качествами людей, которые ей служат“. Во второй половине XVIII века прокуратура общественного значения не имела. Должность прокурора считалась почетной, приносила немалый доход в виде пошлин от дел и при продаже расценивалась довольно дорого. Фукье-Тенвиль за нее заплатил 32 400 ливров. Часть этих денег ему дала мать; другую часть он достал взаймы. Вскоре после этого он женился на своей дальней родственнице, за которой получил шесть тысяч ливров приданого. Брак был приличный, но не блестящий.

Фукье-Тенвиль очень нравился женщинам. Он был недурен собой. Современники отмечают его „статную фигуру, густые черные волосы, высокий лоб“, „взгляд острый, пронизательный, беспокойный и весьма изменчивый“. Один из современников, Дезессар, довольно известный в XVIII веке издатель, бывший в молодости адвокатом и, вероятно, хорошо

*При этом ему, по наведению о нем справок, было выдано свидетельство „de bonne vie, moeurs, conversation et religion catholique, apostolique et romaine“ (о добродетельной жизни, добром нраве и верности римской апостольской католической церкви (фр.) — *Пер. ред.*).

„Государь, мы ваши люди“ (фр.).

знавший Фукье-Тенвиля*, пишет о нем: „Он особенно любил балерин, щедро раздавал им деньги и, по слухам, не раз из-за них познавал горькие плоды разврата“.

Жила семья прокурора не богато, но и не бедно. Ленотр где-то откопал описание обстановки их квартиры из пяти комнат, за которую Фукье-Тенвиль платил 1200 ливров в год. Тут книжные шкафы розового дерева, диваны и кресла, крытые утрехтским бархатом, два ломберных стола, стол для игры в триктрак и т.д. В воскресенье уезжали за город с друзьями, с родными, с детьми — у них было много детей. Брак все же был не очень счастлив, по-видимому, из-за супружеской неверности Фукье-Тенвиля. Через шесть лет жена умерла; друзья обвиняли мужа в том, что он свел ее в могилу. Но, кажется, ничего, кроме его „измен“, они в виду не имели.

Несколькими месяцами позднее Фукье-Тенвиль женился вторым браком на молодой девице из небогатой дворянской семьи. Не много мы знаем и о второй его жене; известно только, что она была бесконечно предана мужу и сохранила ему верность до его страшного конца. Приданого за ней было десять тысяч наличными и „платья, белья, вещей, рухляди“ на тысячу двести ливров. Поразительно число деловых бумаг, описей, инвентарей, протоколов, остающихся от рядовых французов: мы знаем в точности (Ленотр), сколько сорочек, шелковых и шерстяных чулок, вееров было у жен Фукье-Тенвиля, — многое такое хранится в Архиве вместе с трагическими документами, о которых мне придется говорить дальше.

Второй брак был как будто счастливее первого. Впрочем, образцовым мужем Фукье-Тенвиль не стал. Больше о нем в ту пору, кажется, ничего сказать нельзя. Он вел, главным образом, мирные гражданские дела, но, работая в Шатле, видел, конечно, всякое. С уголовными преступниками там не церемонились. До нас дошли описания тюрем, истязаний, пыток, тщательно регламентированных читавшими Вольтера чиновниками. Историки революционного

*Он об этом не упоминает, но Дезессар писал вскоре после казни прокурора, когда о знакомстве с ним лучше было не распространяться.

трибунала описывают лишь последний период в жизни Фукье-Тенвиля. Следовало бы для беспристрастия упомянуть и о той школе жестокости, которую он прошел в Шатле.

Несмотря на свойственные ему трудолюбие, энергию, знание дела, репутация у него была в прокуратуре неважная. Что именно ему ставилось в вину, неизвестно. Но Фукье-Тенвиля не любили и не считали „своим“. Некоторые виды французской магистратуры и в наше время проникнуты духом корпоративным, традиционным и иерархическим. Государственный совет, кассационный суд или счетная палата во Франции и теперь представляют собой учреждения аристократические и довольно замкнутые. В пору монархии прокуратура, основанная в XIV веке, была, несмотря на продажу должностей, настоящей кастой. Вероятно, Фукье-Тенвиль был для нее и недостаточно богат. Он зарабатывал довольно много, добился выделения ему некоторой части отцовского наследства, однако вечно нуждался в деньгах. Прослужил он прокурором девять лет. Затем, по неизвестным причинам, продал свою должность приблизительно за такую же сумму, за какую ее приобрел.

Черта в психологическом отношении любопытная. Этот человек, отправивший на эшафот французскую королеву, издевавшийся над ней во время ее судебного процесса, ежедневно отправлявший на казнь самых знаменитых и высокопоставленных людей Франции, до конца своих дней сохранил что-то вроде благоговейного отношения к деятелям старой прокуратуры. Он, быть может, и ненавидел этих людей, девять лет смотревших на него свысока, но как будто признавал в них существа особой породы. „Le Parquet!“ Так называлось когда-то в залах французских судов место между столом судей и адвокатской скамьей, отводившееся королевским прокурорам. Слово это, отмененное революцией, но сохранившееся в фигуральном смысле до наших дней, в глазах Фукье-Тенвиля было до конца его жизни окружено ореолом. Думаю, что и в истории нашей революции можно было бы найти сходные трагикомические явления.

*Совр. — „Прокуратура!“ (фр.)

Расставшись с Шатле, он стал заниматься какими-то неопределенными делами, по-видимому, частной адвокатской практикой. Репутация у него и тут была нехорошая. Нет, однако, никаких оснований считать Фукье-Тенвиля нечестным человеком в денежном отношении. В пору, когда он был одним из самых могущественных людей революционной Франции, взятки он не брал. Говорили, что его можно было подкупить другим: сохранились рассказы, будто женщины отдавались ему, чтобы спасти своих близких от эшафота. Но в продажности его, кажется, никогда не обвиняли и враги. Умер он совершенным бедняком — без гроша, в самом буквальном смысле слова.

Революция застала его уже немолодым человеком. Фукье-Тенвилю шел сорок четвертый год — по тем временам чуть только не старость: почти все знаменитые деятели революции были значительно его моложе. По принятому и тогда выражению, он „прикнул к революции с энтузиазмом“*. В действительности ни на какой энтузиазм этот холодный, замкнутый, загадочный человек был, думаю, не способен. Прикнул он к революции потому, что к ней прикнули почти все. Фукье-Тенвиль не был ни баловнем, ни жертвой старого строя; но ему, как почти всем, старый строй очень надоел.

Он говорил, что „участвовал в штурме Бастилии“. Может быть, и привирал: ружье, пика, топор были для него вещи самые непривычные, — где уж было человеку на пятом десятке лет штурмовать парижскую крепость. Если бы он в самом деле ее штурмовал, то прославился бы тотчас; между тем в первые три года революции о Фукье-Тенвиле ничего слышно не было. По-прежнему он занимался неопределенными делами и нуждался еще больше прежнего. Первое упоминание о нем в протоколах якобинского клуба я нашел лишь в 1793 году (заседание 12 марта, т. V, стр. 84).

10 августа 1792 года монархия Бурбонов пала. Дантон стал министром юстиции, Камиль Демулен — генеральным секретарем министерства. Через десять дней после этого Фукье-Тенвиль вспомнил, что состо-

*Дезессар это отрицает.

ит с Демуленом в родстве, и написал ему письмо с просьбой о каком-либо месте. „Вы знаете, что я отец большого семейства и что я беден, — писал он. — Мой 16-летний сын, понесшийся (добровольцем) к границе, стоил и стоит мне немалых денег. Надеюсь на вашу давнюю дружбу и на вашу любезность. Остаюсь, дорогой родственник, ваш смиренный и покорный слуга Фукье, юрист“ („homme de loi“).

Если он счел нужным при подписи указать свою профессию, то, вероятно, и родство, и „давняя дружба“ были не слишком близкими. Однако просьба его была исполнена — эта любезность стоила Демулену головы. Мысль о революционном трибунале уже „носилась в воздухе“. Тацит говорил (и тот же Демулен цитировал его изречение): „Только глупые деспоты прибегают к мечам: настоящее искусство тирании заключается в том, чтобы вместо мечей пользоваться судьями“.

II.

В начале 1793 года, вскоре после казни Людовика XVI, военное положение Франции резко изменилось к худшему: в Бельгии, в Голландии революционные войска начали терпеть неудачи в борьбе с могущественной коалицией. Одновременно вспыхнуло восстание в Вандее. Начинались уличные волнения в городах. „Франция превратилась в осажденную крепость“, — сказал Барер.

В этих условиях член Конвента, протестантский пастор Жанбон Сент-Андре, бывший капитан корвета, будущий барон Наполеоновской империи, предложил создать „для борьбы с изменниками, заговорщиками и контрреволюционерами“ суровый чрезвычайный суд. Поддержал это предложение знаменитый юрист Камбасерес, будущий принц и герцог Пармский, главный автор ныне действующего во Франции законодательства. За чрезвычайный суд стоял и Давид, — нет такого злого дела в истории Французской революции, к которому не имел бы близкого отношения этот великий художник. Жирондисты решительно возражали, быть может, предчувствуя, что и им не

миновать нового суда. „Вы хотите создать инквизицию!“ — воскликнул один из них. Конвент колебался. Пламенная речь Дантона решила дело: революционный трибунал был создан. Ровно через год тот же Дантон сказал в тюрьме: „В этот день по моему настоянию был создан революционный трибунал — прошу прощения у Бога и у людей!..“ Через три дня ему отрубили голову.

„Il y a telle accusation qu'il faut commencer par l'exécution“*, — говорил кардинал Решилье. По сходным соображениям некоторые французские историки и теперь оправдывают создание революционного трибунала. Луи Блан прямо писал, что в той политической обстановке он был государственной необходимостью. „Военная коллегия Верховного суда СССР“ и этого сомнительного оправдания ни в какой мере иметь не будет: советская Россия войн не ведет, и, уж во всяком случае, с 1921 по 1933 год ей никакая внешняя опасность не грозила.

В СССР суд был образован очень просто. Сталин, слава Богу, знает свою немногочисленную „Военную коллегию“: знает и „армвоенюриста“ Ульриха, и „корвоенюриста“ Матулевича, и „диввоенюриста“ Иевлева, и государственного обвинителя Вышинского. Французский революционный трибунал был создан в порядке случайном и, надо сказать, довольно бестолково. Избирались судьи и присяжные Конвентом, членом которого и было предложено называть имена кандидатов. Кто хотел называл кого хотел, — вероятно, выкрикивал первое приходившее в голову имя казавшегося ему подходящим человека. Затем происходило голосование: люди, очевидно, голосовали на веру, совершенно не зная, за кого голосуют. Так как большинство членов Конвента были провинциалы, то и называли они чаще всего провинциалов, своих земляков. Неизвестно было, согласятся ли принять должность избранники, и, действительно, очень многие отказались. Бывало и так, что предлагавший не знал адреса своего кандидата; многих избранных потому не удалось известить о выпавшей на их долю чести; возможно, что некоторые из них умерли, не узнав, что

* „Вина его такова, что нужно начинать с казни“ (фр.).

они были избраны судьями или присяжными революционного трибунала. Во всем этом была первобытная наивность, совершенно несвойственная советским учреждениям.

„Общественным обвинителем“* был избран некий Фор, получивший 180 голосов. Он отказался. За ним по числу голосов (163) следовал Фукье-Тенвиль. Он не отказался. Если судить по цифре голосовавших за него членов Конвента, бывший прокурор Шатле теперь уже был довольно известен в парижском политическом мире. Еще за несколько месяцев до того Фукье-Тенвиль, по протекции Камиля Демулена, был назначен в уголовный суд, созданный для разбора дел, связанных с переворотом 10 августа. Суд этот просуществовал недолго: почти все подсудимые погибли во время сентябрьских убийств 1792 года.

Вероятно, Фукье-Тенвиль с первых дней всячески старался проявлять рвение. Это было ему необходимо. У него были грешки: работа в Шатле, дворянская частица, оказавшаяся в новых обстоятельствах не радостью, а горем. Кроме того, однажды, за несколько лет до революции, Фукье-Тенвиль ни с того ни с сего написал оду в честь Людовика XVI. Она заканчивалась словами:

Sous l'autorité paternelle
De ce prince, ami de la paix,
La France a pris une splendeur nouvelle,
Et notre amour égale ses bienfaits*.

„Наша любовь к нему равна его благодеяниям“! Этот стих в устах человека, отправившего на эшафот вдову и сестру короля, производит впечатление и теперь, через полтора столетия. Думаю, что ни один великий поэт так не сожалел о неудачном, случайно напечатанном, недостойном его пера произведении, как скорбел об этих стишках новый прокурор революционного трибунала. Никто ему о них не напоминал, но добрые люди помнили. Вот ведь и г.Вышинскому до

* „Accusateur public“ (общественный обвинитель) (*фр.*) — таково было официальное наименование прокурора. Вышинский тоже называется „государственным обвинителем“.

*Под отеческой властью
Этого миролюбивого короля
Франция приобрела новый блеск,
Наша любовь к нему равна его благодеяниям (*фр.*).

поры до времени не напоминают о его отнюдь не большевистском прошлом. Однако и он, верно, понимает, что на Лубянке добрые люди все, все помнят. Может быть, потихоньку на всякий случай составляют и „досье“?

„Чрезвычайный уголовный суд“, вскоре принявший и официально название революционного трибунала, за время своего существования не был чем-то однородным и постоянным. Почти все в нем менялось: и законы, которые он применял, и характер его судопроизводства, и состав судей, заместителей, присяжных, и степень суровости приговоров. В этом отношении наша революция вполне напоминает французскую. Я описывал в свое время, по личным воспоминаниям, благодушный „революционный трибунал“, заседавший в 1918 году в Петербурге, в великокняжеском дворце, судивший графиню С.В.Панину, Л.М.Брамсона, других общественных деятелей и чаще всего приговаривавший подсудимых к „общественному порицанию“. Нельзя не признать, что этот суд весьма мало напоминал нынешнюю „Военную коллегия“.

Французский революционный трибунал никого не присуждал к общественному порицанию и в первое время своего существования. Он начал со смертного приговора. Молодой роялист Гюйо де Молан был арестован 12 декабря 1792 года в Бур де ла Эгалите (так назывался тогда Бур ла Рэн); у него нашли два паспорта и роялистскую кокарду. В ту пору еще действовал упомянутый выше уголовный суд, предшественник революционного трибунала. Вероятно, этот суд приговорил бы подсудимого к нескольким годам тюрьмы. Но на свое несчастье, Гюйо де Молан возбудил ходатайство об отсрочке процесса; вероятно, думал, что не сегодня-завтра „чепуха“ кончится и восстановится нормальная человеческая жизнь. Ходатайство его было уважено, скоро тот суд перестал существовать, и дело перешло на рассмотрение революционного трибунала! Гюйо де Молан был приговорен к смертной казни.

Существовал в 1793 году журнальчик „Караящий меч“, теперь большая библиографическая редкость.

Его редактор, некий дю Лак, человек, по-видимому, не вполне нормальный, посещал систематически заседания суда, проводил осужденных на место казни и затем все описывал в своем издании, на обложке которого изображена была гильотина. Этот дю Лак оставил нам описание первого разбивавшегося в революционном трибунале процесса. По его словам, когда судьи вынесли смертный приговор, все заплакали: и они сами, и присяжные, и публика. „Mais bientôt l'intérêt puissant, l'intérêt sacré de la République ont séché, ont tari les pleurs...“* Гюйо де Молан был казнен. Слезы были, конечно, крокодиловы. Верно, однако, то, что в первое время революционный трибунал соблюдал видимость правосудия. Подсудимым давалась возможность защищаться, вызывались и выслушивались свидетели защиты, дело обсуждалось внимательно, часто выносились оправдательные приговоры. Потом все совершенно изменилось, и революционный трибунал превратился, по выражению Олара, в „бойню“.

III.

На месте укрепления, воздвигнутого Юлием Цезарем на берегу Сены, столетиями строился дворец французских королей, впоследствии ставший Дворцом правосудия. Писатель XIV века, описывая этот дворец, говорит, что „в нем правосудие ученых докторов исполняет восторга и умиления людей невинных и праведных. Но много тоски и горя приносит оно людям злым и нечестивым“.

Революционный трибунал занял два главных зала этого знаменитого дворца, с которым связана вся история Франции. Первоначально он обосновался лишь в так называемой Grand'chambre*. Это был огромный, плохо освещенный тремя окнами зал, считавшийся в течение нескольких столетий одной из главных достопримечательностей Парижа. На стене висело „Распя-

* „Но вскоре священные и важнейшие интересы Республики осушили и истощили эти слезы...“ (фр.)

* На этом месте, теперь совершенно неупознаваемом, заседает в настоящее время первая камера гражданского суда (Grand'chambre — Верхняя палата (фр.). — Пер.ред.).

тие“, приписываемое то Дюреру, то Ван Эйку. Новый хозяин, Фукье-Тенвиль, изменил в зале не очень много: поставил, кажется, бюст Брута, повесил „Декларацию прав человека“ и велел устроить для публики шедшие ступенями скамейки. Затем, по мере расширения деятельности трибунала, к нему отошла и вторая достопримечательность дворца: зал св. Людовика, в котором слушались самые громкие уголовные и политические дела французской истории, от процесса *трупа* Жака Клемана* до дела об ожерелье королевы.

Кроме двух главных залов, трибунал занял множество других комнат. Кабинет Фукье-Тенвиля находился в башне Цезаря, по-видимому, в той комнате, которая была кабинетом Людовика Святого⁴. Речи же свои, в том числе и речь против Марии Антуанетты, он произносил на том месте, где Людовик XIV сказал: „Государство — это я!“ Вероятно, эти исторические воспоминания доставляли общественному обвинителю Фукье-Тенвилю удовольствие, которого лишен государственный обвинитель Вышинский.

Были, разумеется, отдельные комнаты у председателя революционного трибунала, у судей, у присяжных. Председателем в первое время был Монтане, тоже бывший королевский чиновник. Потом его заменили другие лица. Менялись и присяжные. Преобладали среди них, особенно под конец, простолюдины: плотники, лаксы, парикмахеры, портные; но были и образованные люди, ученые, как доктор Кабанис, аристократы, как маркиз Антонель, человек любопытный, или другой маркиз, Монфлабер, всегда, впрочем, выступавший под революционным псевдонимом „Dix août“^{4а} (по дню падения монархии). Был некоторое время присяжным заседателем 23-летний ученик Давида Франсуа Жерар, впоследствии кавалер чуть ли

*Монах Жак Клеман, заколовший в 1589 году Генриха III, был, как известно, на месте преступления убит телохранителями короля. Во Дворце правосудия судили его мертвое тело.

⁴В топографии дворца разобраться чрезвычайно трудно. Эта комната в XVIII веке служила буфетом для судей. В буфете соседней башни была камера пыток. Что помещается в настоящее время в этих комнатах, не могу сказать. Кажется, в первой — кабинет директора тюрьмы Копсьержери.

^{4а}„Десятое августа“ (фр.).

не всех императорских и королевских орденов Европы, наполеоновский барон и любимый портретист Людовика XVIII, который называл его „самым умным человеком Франции“. Знаменитый художник очень не любил вспоминать о том, что имел отношение (впрочем, весьма недолгое) к революционному трибуналу, отправившему на эшафот родню всех его будущих заказчиков и поклонников. Биографы барона Жерара тоже избегают упоминаний об этом. Но из песни слова не выкинешь.

Должно быть, юного художника соблазнило жалование присяжных. Они получали по 18 ливров в сутки — на эти деньги тогда еще можно было хорошо жить. Фукье-Тенвилю был назначен большой оклад: 8000 ливров в год. Кажется, значительная часть этих денег уходила на вино. Не будучи пьяницей, ненавидя пьяниц, прокурор в ту пору сам стал пить. Без вина обойтись ему было бы трудно. Уж очень много „тоски и горя приносил он людям злым и нечестивым“.

IV.

По утрам в коридорах революционного трибунала обычно появлялся осанистый человек, в темном, на все пуговицы застегнутом сюртуке и в цилиндре, — едва ли не он и ввел в моду эту шляпу (впрочем, отличавшуюся по форме от нынешнего цилиндра). Во Дворце правосудия его все знали в лицо — и, должно быть, при его появлении отшатывались в сторону. Это был, по мрачно каламбурному выражению Демулена, *le représentant du pouvoir exécutif**: парижский палач Шарль Анри Сансон, приходивший за инструкциями к Фукье-Тенвилю.

Он принадлежал, как известно, к семье палачей итальянского происхождения, „работавшей“ в Париже с 1688 года. Все известные уголовные и политические преступники Франции за два столетия, от Картуша до Ласенера, от шевалье де ла Барра до Лувеля, были казнены членами семьи Сансонов. При старом строе члены этой семьи получали очень большое жа-

*„Представитель исполнительной власти“. Другой смысл: „Представитель власти по казням“ (*фр.*).

лованье (16 тысяч ливров в год) и пользовались некоторыми непонятными привилегиями: так, например, имели фамильный склеп* в церкви св.Лаврентия. Но народ относился к ним с ужасом (кажется, и теперь относится так к Дейблерам). Поэтому правительство в 1709 году запретило им жительство в Париже: они поселились за городской чертой. Это были люди отверженные, водившие знакомство только друг с другом; сыновья парижского палача женились на дочерях палачей провинциальных. Иногда Сансоны отдавали сыновей под вымышленными фамилиями в школы, но, если дело выяснялось, детей из школы выгоняли. Так было и с Шарлем Анри Сансоном. Он еще в отрочестве с ужасом убедился, что всякая другая дорога в жизни для него закрыта, что ему придется стать палачом, подобно отцу и дедам. По отзыву немногих знавших его людей, Шарль Анри, в молодости пытавший и колесовавший осужденных, а на старости их гильотинировавший (пытку отменила революция), был „чрезвычайно добрый, кроткий, привлекательный человек“, щедро раздававший милостыню тем бедным, которые им не гнушались. Тон, одежда, манеры у него были в высшей степени джентльменские, и со своими клиентами он всегда бывал изысканно любезен: так, отвозя Шарлотту Корде на эшафот, предостерегал ее от толчков телеги и советовал сидеть не на краю, а посередине скамейки“.

Революция пыталась несколько облегчить положение этих отверженных людей, вероятно, исходя из мысли, что если можно пользоваться их услугами, то нельзя относиться к ним как к зачумленным. Член Конвента Лекинио, находясь в миссии в Рошфоре, публично обнял палача и пригласил его к себе на обед. Сорока годами позднее сын Шарля Анри, последний палач из рода Сансонов, часто появлялся в

*Склеп этот был уничтожен лишь весьма недавно, из-за необходимости провести центральное отопление.

*После казни Людовика XVI редактор журнала „Политический термометр“ Дюлор поместил (в номере от 13 февраля 1793 года) довольно глупый рассказ о подробностях казни. Сансон, отрубивший голову королю, возмущился и прислал длинное письмо в редакцию с опровержением: „...в действительности Капет вел себя на эшафоте вполне достойно“. Это письмо, появившееся в номере 21 февраля, — единственное, кажется, печатное произведение Сансона: приписываемые ему мемуары — подделка.

театрах (где неизменно вызывал сенсацию), принимал в своем особняке байронических лордов, которым показывал гильотину, был хорошо знаком с Бальзаком, с Александром Дюма и не раз обедал с ними у писателя Аппера, очень шеголявшего дружбой с парижским палачом. Бальзак и Дюма расспрашивали последнего Сансона о его „ощущениях во время работы“, об их „семейных традициях“ и т.д.

Фукье-Тенвиль не шел так далеко, как Лекинио: не обнимался с палачом, не звал его в гости, но поддерживал с ним корректные отношения. Сансон приходил к нему, повторяю, за указаниями: сколько будет *клиентов*? У палача были только две повозки, на каждой помещалось человек семь или восемь. Между тем иногда приходилось казнить сразу 50 — 60 осужденных. В таких случаях Сансон нанимал добавочные извозчицьи телеги: платил по пятнадцати франков и оставлял на чай пять. На процессе Фукье-Тенвиля товарищ прокурора Камбон спросил его: „Как же вы могли заказывать с утра телеги, не зная, сколько человек будет приговорено к смертной казни?“ На этот неудобный вопрос Фукье-Тенвиль, видимо, ничего не мог ответить и только пробормотал: „Это было из-за недостатка телег“*. Камбон не настаивал.

В самом деле, настаивать не приходилось: конечно, Фукье-Тенвиль мог заранее с достаточной точностью сказать, сколько будет по каждому делу смертных приговоров. Под конец деятельности революционного трибунала присяжные, судьи и прокурор стали друг для друга своими людьми (хоть иногда выходили и нелады). Встречались они постоянно в буфете трибунала: почти все выпивали, некоторые очень крепко. Можно сказать, если не с уверенностью, то с большой вероятностью, что в буфете Фукье-Тенвиль сообщал присяжным, кого надо приговорить к смертной казни. Сансон приходил за инструкциями к нему, а сам он являлся за инструкциями к Робеспьеру.

Спешу сделать оговорку: Фукье-Тенвиль категорически это отрицал. В своей защитительной записке он утверждает, что был на дому у Робеспьера только

*Buche et Roux, t. 34, p. 310.

один раз. Не сомневаюсь, что это неправда: его у диктатора неоднократно встречали заслуживающие доверия люди. Но, в сущности, это дела не меняет: прокурор не отрицал, что постоянно бывал по делам в Комитете общественного спасения, где встречал и самого Робеспьера, и его ближайших сотрудников.

С внешней стороны конструкция власти во Франции была в пору террора сходна с нынешней советской: вместо революционного трибунала в СССР есть Военная коллегия, вместо Комитета общественной безопасности (ведавшего полицейскими делами) — ГПУ, вместо Комитета общественного спасения — политбюро*. Конвенту, правда, никакое советское учреждение не соответствует — не сравнивать же с ним ЦИК или Верховный Совет. Но в 1794 году и Конвент был поработан диктатурой: как оба комитета, он до поры до времени послушно выполнял волю Робеспьера. Поэтому по существу довольно безразлично, от кого получал инструкции Фукье-Тенвиль: непосредственно ли от диктатора или от его слуг в комитетах. Не подлежит ни малейшему сомнению, что под конец своего существования революционный трибунал превратился в несложную, удобную, быстро действующую машину для истребления врагов „вождя“. То же самое происходит теперь в Москве. Историки со временем выяснят, как именно передавались сталинские инструкции Ульриху и Вышинскому. Будет прослежен весь путь, заканчивающийся в подвале на Лубянке. Найдется, быть может, и нечто такое, что напомнит историку сцену появления во Дворце правосудия человека в темном костюме, вот только цилиндра, наверное, не будет: „нравы меняются“.

V.

Часто приходится слышать по поводу московских процессов: „В пору Французской революции ничего

*По существу, разумеется, разница огромна. Комитет общественного спасения вел борьбу со всем миром, проявил в этой борьбе необыкновенную энергию и добился победы на всех фронтах. Ненавидевший революцию Жозеф де Местр видел „чудо“ в деятельности этого комитета. Какое уж тут сравнение с политбюро. Да и во всем вообще дурном, в сов. революции по сравнению с французской „то же самое, но неизмеримо хуже“.

подобного не было“. Это верно лишь отчасти. Верно то, что в большинстве подсудимые Французской революции вели себя гораздо мужественнее, чем показываемые на суде в Москве люди (мужественных ведь там не показывают). Невозможно и сравнивать с картинами московских процессов поведение в революционном трибунале Шарлотты Корде, королевы, жирондистов, Дантона, столь многих других людей, казненных в 1793—1794 годах. Однако вели себя мужественно далеко не все. Не все мужественно и умирали.

Что поддерживало людей, погибших в пору террора во Франции? Обобщать тут ничего нельзя. Готовились к смерти разные люди по-разному. Многие искали и находили утешение в религии. Напротив, Анахарсис Клотц, „личный враг Иеговы“, тоже умерший очень мужественно, в свою последнюю ночь больше всего огорчился по тому поводу, что некоторые из осужденных „сохранили веру в бессмертие души“, и всячески старался их разубедить: никакого бессмертия не будет, завтра от нас решительно ничего не останется. Немалое число казненных перед смертью впали в апатию: жалеть не о чем. Попадались и „эпикурейцы“, притом довольно неожиданные. Герцог Орлеанский, Филипп Эгалите, голосовавший в Конвенте за казнь своего родственника, Людовика XVI, и ненадолго его переживший, велел перед смертью принести себе самого лучшего шампанского*, выпил бутылку или две и взошел на эшафот с совершенным бесстрашием, — это признавали и роялисты, ненавидевшие его гораздо больше, чем Робеспьера: „жил как собака, а умер, как подобает потомку Генриха IV“.

Что до „признаний“, то власти их в ту пору, по общему правилу, не добивались или добивались не очень усердно. Это в особенности относится к Фулье-Тенвилю. Свою роль он понимал совершенно правильно: его обязанность заключалась в том, чтобы истреблять людей, неугодных лицам, которым принадле-

*Осужденные, у которых были деньги, могли получать с воли за свой счет какие угодно блюда и вина. У королевы денег не было, но ей властями отпускалось на стол 15 ливров в день. Сохранился счет с перечислением подававшихся ей к обеду блюд: „суп, вареное мясо, овощи, цыпленок (или утка), пирог, десерт“.

жала власть. Он работал день и ночь (спал 3 — 4 часа в сутки), но преимущественно потому, что подсудимых у него бывало всегда очень много. Над каждым же из них в отдельности, за редкими исключениями, он головы себе не ломал: не все ли равно, в чем обвинить Робеспьера врага? Обвинительные акты Фукье-Тенвиля в большинстве очень кратки и составлены совершенно небрежно*. Говорил он тоже чаще всего недолго: иногда не более пяти минут.

Говорил обычно резко и грубо. В этом отношении Вышинский весьма его напоминает. Едва ли московский прокурор читал речи своего французского предшественника: их в отдельном издании нет, и разыскивать их приходится в весьма редких изданиях, которых в России, пожалуй, и не достанешь. Тем не менее сходство очень велико — жаль, что недостаток места лишает меня возможности привести параллельные цитаты. Некоторые подробности последнего московского процесса в этом отношении прямо поразительны. Напомню только один инцидент, случившийся на утреннем заседании 9 марта. Вышинский неожиданно (без всякого отношения к делу: допрашивался эксперт проф. Бурмин) обращает внимание суда на то, что „при аресте Розенгольца у него был обнаружен в заднем кармане брюк зашитый в материю маленький кусочек сухого хлеба, завернутый в обрывок газеты, и в этом кусочке хлеба — листок с рукописной записью, который оказался при осмотре записью молитвы“. Розенголец поясняет, что этот листок положила ему в карман жена, „на счастье“. Следуют гневно-иронические вопросы Вышинского: „И вы несколько месяцев носили это „счастье“ в заднем кармане?“ — „Вам было сказано, что это семейный талисман, на счастье?“ — „И вы согласились стать хранителем талисмана?““ Отсылаю читателей к старым книгам Дезессара (т. V, стр. 148 и 160), Валлона (т. 1, стр. 336): они там найдут совершенно такую же сцену. У подсудимой обнаружена „эмблема“ — сердце, пронзенное стрелой, с надписью: „Jesus miseregre

*Небрежно он и писал: его рукописи полны грубых ошибок и опусок.

„Известия“, № 10 марта 1938 года.

nobis“*. Фукье-Тенвиль раздражается гневно-иронической тирадой; говорит, что у многих контрреволюционеров находят такого же рода эмблемы.

Признаний он не требовал, к физическим пыткам никогда не прибегал, моральными пытками, угрозой родным допрашиваемого пользовался редко (об этом дальше). Зато к подсудимым по особо важным делам иногда подбрасывал „барашка“ — так назывался тогда человек, сажавшийся на скамью подсудимых по соглашению: его обязанность заключалась в том, чтобы возводить на своих товарищей по процессу разные нелепые обвинения. В деле Эбера, например, „барашком“ был некий врач Лабуро*. После падения Робеспьера в бумагах диктатора оказались доклады, которые посылал ему этот человек. На последнем московском процессе „барашком“, по-видимому, был подсудимый Бессонов, приговоренный к 15 годам тюрьмы. Есть основания думать, что он так долго в тюрьме сидеть не будет.

VI.

Передо мной в Национальном архиве две папки документов, под общим номером W 389. Многие из этих документов нигде никогда напечатаны не были; едва ли за 144 года их целиком прочли два или три человека. Папки относятся к одной из самых мрачных драм французского террора. В те времена молва называла эту драму „красной мессой“ или „делом красных рубашек“. Официальное название было: „Преступление Сесили Рено и ее сообщников“. Историки, уделяющие этой трагедии иногда не более двух-трех строк, обычно называют ее „делом об иностранном заговоре“. Остановлюсь на деле потому, что оно характерно для работы Фукье-Тенвиля; другая причина — зловещее сходство с тем, что творится теперь в Москве. Жуткое впечатление производят эти пыльные, пожелтевшие документы, писанные или подписанные Робеспьером, Фукье-Тенвилем, еще другими

* „Иисус, сжался над нами“ (лат.).

* Procès instruit et jugé au Tribunal révolutionnaire contre Hebert et consorts, Paris, de l'Imprimerie du Tribunal révolutionnaire, l'an II de la République Française, p. 139.

людьми, окончившими свои дни на эшафоте полтора века тому назад.

4 прериаля II года (23 мая 1794 года), в 9 часов вечера, во двор дома, в котором жил Робеспьер, вошла миловидная* 20-летняя девушка. Небольшой двор этот хорошо известен интересующимся историей парижанам — я не раз его осматривал в то время, когда в нем еще почти ничего не изменилось по сравнению с 1794 годом. Диктатор жил у столяра Дюпле, в домике, стоявшем в глубине двора. Проникнуть к Робеспьеру было неизмеримо легче, чем к Сталину, но все же не так просто. Дочь столяра ответила обратившейся к ней посетительнице, что „неподкупного“ нет дома. Молодая девушка вдруг раскричалась: представитель народа всегда обязан принимать проходящих к нему людей!

В доме на улице Оноре, внушавшем тогда ужас всему Парижу, к крику и протестам не привыкли. Находившиеся во дворе „друзья Робеспьера“ (по-видимому, его телохранители), Буланже и Дидье, задержали девушку и повели ее в Комитет общественной безопасности — ГПУ того времени. По дороге она им заявила, что при старом строе к королю можно было входить свободно. — „Значит, вы за короля?!“ Но привожу, с сохранением орфографии, эту часть рапорта Буланже и Дидье: „Nous lui avons demandé s'il aimeg  mieux avoir un roi, ele nous repond quele verser  tous sont sens pour ans avoir un et que setois sont opinions et que nous aitions des tirans“*. Назвалась она Сесиль Рено. В Комитете ее обыскали и нашли при ней два крошечных ножика. Комитету свалилась с небес манна: „Покушение на Робеспьера!“

Из текста первого допроса Сесили Рено:

— По каким причинам вы явились к представителю народа Робеспьеру?

— Я хотела поговорить с ним.

— По какому делу?

* „Ей было дано природой одно из тех пикантных лиц, которые лучше красоты“, — говорит Дезессар, вероятно, видевший Сесиль Рено.

„Мы спросили ее, за короля ли она, она нам ответила, что за короля она пролила бы всю свою кровь, что таковы ее убеждения, а мы — тираны“ (Фр.).

- Это в зависимости от того, каким бы я его нашла.
- Поручил ли вам кто-нибудь поговорить с ним?
- Нет.
- Собирались ли вы вручить ему какую-либо записку?
- Это вас не касается.
- Знаете ли вы гражданина Робеспьера?
- Нет, я ведь и пришла, чтобы с ним познакомиться.
- Зачем вы желали с ним познакомиться?
- Чтобы выяснить, подходит ли он мне („*pour voir s'il me convenait*“).
- Что значат слова: „подходит ли он мне“?
- Не желаю отвечать. Больше меня не спрашивайте.
- Сказали ли вы задержавшим вас гражданам, что вы отдали бы жизнь, лишь бы иметь короля?
- Да, сказала.
- Продолжаете ли вы так думать?
- Да.
- По каким причинам вы желали и желаете прихода тирана?
- Я желаю короля, потому что он лучше, чем пятьдесят тысяч тиранов. Я и пришла к Робеспьеру для того, чтобы посмотреть, каковы бывают тираны.

Достаточно ясно, какой конспиративный опыт был у этой несчастной девушки. Мы так до сих пор и не знаем, чего она хотела, зачем приходила к Робеспьеру, зачем так странно себя вела, не застав его дома.

Радость комитета была, по-видимому, очень велика. В ту же ночь по Парижу распространилась весть, что на „неподкупного“ готовилось коварное покушение: его хотела зарезать новая Шарлотта Корде. Волнение в столице было необычайное. Как раз накануне какой-то полоумный человек, по имени Адмираль, по профессии лакей, произвел покушение на Колло д'Эрбуа, еще бывшего в ту пору одним из ближайших сподвижников диктатора: выстрелил в него из пистолета и не попал. Оба дела были немедленно направлены в революционный трибунал, к Фукье-Тенвилю.

В папках № W 389, перешедших к нам в том самом виде, в котором они были собраны в 1794 году, сохранились бумаги трех родов. Есть тут официальные документы, например, протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, — огромные листы с печатным текстом в начале: мы, такие-то, действуя на основании такого-то закона, в такой-то день и час выслушали... и т.д. Есть полуофициальные деловые письма,

содержащие в себе инструкции правительства прокурору; Комитет общественного спасения обыкновенно писал на бланках небольшого формата с овальной виньеткой, изображающей какую-то странной формы четырехэтажную башню; на четвертом этаже бапни написано было слово „свобода“, на третьем — „равенство“, на втором — „братство“, на первом — „или смерть“; Робеспьер подписывался крошечными буквами, без имени и инициала. Есть, наконец, совершенно неофициальные документы: заметки, которые, очевидно для себя, делали на простых, сероватых, почти квадратной формы листах бумаги руководители суда. Эти заметки для нас наиболее интересны: они вводят нас в тайную кухню революционного трибунала. Вот как создавались в ту пору дела. Так, конечно, создаются они и теперь в Москве.

По-видимому, Фукье-Тенвиль не сразу понял, какую выгоду можно извлечь из действий Адмирала и Сесили Рено. По крайней мере, в первом сохранившемся его официальном письме он, выражая возмущение и негодование по поводу гнусных злодеяний, сообщает, что тотчас передает дело в трибунал: таким образом, Адмирал и Сесиль Рено были бы немедленно казнены, и на этом дело кончилось бы. Гораздо больше проницательности проявил председатель революционного трибунала Дюма. В папке находится листок*, исписанный его рукою, без подписи, — несомненно, заметка для себя, на память, о том, что можно и нужно извлечь из этого, с небес свалившегося дела. Бумага начинается так:

„Всеми возможными способами добиться от чудовища признаний, которые могут пролить свет на заговор.

Рассматривать это убийство (!) с точки зрения связи с заграницей, с заговорами Эбера, Дантона и с делами в тюрьме...“

Не цитирую дальше, картина ясна: Дюма приходит мысль, что можно использовать „убийство“ для истребления самых разных людей. Эбер и Дантон были незадолго до того казнены, но у них остались сторонники; надо их объявить монархистами и отправить на

*Национальный архив, W 389, № 904, 2-ème partie, лист № 12.

эшафот. Кроме того, следует установить связь Адмирала и Сесили Рено с „Питтом“ (по нынешней терминологии, „со шпионскими организациями враждебных империалистических держав“). Наконец, в тюрьмах сидит большое число всяких контрреволюционеров — отчего же заодно не отправить на эшафот и их?

Само собой разумеется, идея Дюма тотчас признается совершенно правильной. Комитет общественного спасения (то есть „политбюро“) самым беззастенчивым образом дает суду инструкции (Робеспьер подписывается третьим по счету — крошечными буквами). Фукье-Тенвилю посылаются указания: об этом на суде и следствии говорить можно, о том нельзя; такому-то подсудимому следует обещать помилование, если он выдаст то-то, и т.д. Конечно, многие из членов правительства, воспитавшиеся на идеях Монтескье, до революции с восторгом повторяли знаменитые фразы „Духа Законов“: без разделения законодательной, исполнительной и судебной властей монархия превращается в тиранию, жизнь становится торжеством произвола...

В Конвенте волнение велико. Робеспьер всем внушает ненависть, но всем внушает и ужас. Для каждого дело идет о собственной голове, надо стараться, надо очень, очень стараться. Особенно стараются те самые люди, которые в день Девятого термидора первыми предадут Робеспьера. Барер разливается соловьем: тут и „гигантский роялистский заговор барона Батца“, тут и „интриги австрийского тирана“, и „великая книга преступлений Англии“ — признается априори несомненным, что „убийцы“ подосланы из Лондона и Вены. Еще больше старается Эли Лакост. Сходство речей и писаний того времени с тем, что в дни московских процессов мы читали о „псах“ в „Правде“, в „Известиях“, поистине потрясающее.

Составляется самая причудливая смесь („амальгама“, — говорит один из чекистов того времени, Амар): тут и монархисты, и дантонисты, и эбертисты, мужчины и женщины, старики и 16-летний мальчик, титулованные аристократы* и лакеи, артисты и поли-

*Роган-Рошфор, Сен-Морис, Лаваль-Монморанси, Лагиш, Сомбрель.

цейские, офицеры, чиновники, кого только нет? „Амальгамированные“ неугодные люди обвиняются в заговоре, в сношениях с Англией, в покушении на убийство Робеспьера и Колло д'Эрбуа. Всего набирается, кроме Сесили Рено, пятьдесят три человека „общников“ — ни одного из них она никогда в глаза не видела. Едва ли сносились и с Питтом эта бедная девушка, дочь владельца писчебумажной лавки: она была неграмотна.

Газеты того времени полны пламенных статей в честь „чудом спасшегося“ Робеспьера. Через два дня после „убийства“, 6 прериаля, диктатор появляется в якобинском клубе. Ему устраивается бурная овация. Кутон требует, чтобы злодейское правительство Англии было признано виновным в „оскорблении человечества“ („lèse-humanité“). Весь зал встает и кричит: „Да! да!“ Заседание целиком посвящается преступлениям „псов“. Робеспьер скромно начинает речь словами: „Я — один из тех, кого произошедшее событие должно было бы интересоваться всего меньше. Пламенный сторонник священных прав человека не должен рассчитывать на долгую жизнь“. Зал раздражается еще более бурной овацией. Протокол отмечает: „Единодушные долгие рукоплескания следуют за этой энергичной речью, блестящей подлинным мужеством, республиканским величием души, великодушной преданностью делу свободы и глубоко философским духом“*. Тем не менее насчет „долгой жизни“ Робеспьер был совершенно прав: жить ему оставалось два месяца. И, вероятно, больше всего ему аплодировали 6 прериаля люди, отправившие его 10 термидора на эшафот.

Тем временем Фукье-Тенвиль готовит против „псов“ улики. Он очень нетребователен. Папка № W 389 и тут для нас клад. Полиция собирает всевозможные сплетни. Какой-то Буазо показывает, что брат Сесили Рено однажды на улице вел разговоры в монархическом духе, — привожу опять цитату во всей красоте подлинника: „...Il soutenait à sest accolittes que cestoit bien injusie d'avoir fait mourir le Roy, que la France ne pouvait pas sans passé... Moy je me permis de prondre la parole je les ai traité tous trois de scelerats je

*Société des Jacobins, t. VI, p. 155.

les fit connaitre à toute la garde l'officié accouru vers moy il me demande ce que cettait je lui dit l'officié se retira en haussant les épaules...“* Фукье-Тенвиль с торжеством проводит на полях черту коричневым (или выцветшим от времени красным) карандашом, пишет слово „hic“* и ставит крест; мы как будто присутствуем при этой сцене: есть, есть уличающий материал, брат Сесили Рено тоже будет казнен.

На своем листке председатель революционного суда, как помнит читатель, записал: „Всеми возможными способами добиться от чудовища признаний...“ Каковы были эти „возможные способы“? Попытки в пору революции не применялись. Но до нас дошли сведения, что Сесили Рено грозили казнью всех ее родных. В Париже рассказывали также, будто следственные власти, „заметив склонность преступницы к нарядам, приказали одеть ее в лохмотья, дабы этим на нее воздействовать“. Рассказ не очень достоверен, да и по существу довольно наивен. Родные же „убийцы Робеспьера“ действительно были казнены. Думаю, однако, что их отправили на эшафот не для того, чтобы вынудить у Сесили Рено признания, а просто „за компанию“, как это часто делалось в те времена. Если бы революционный трибунал очень настойчиво добивался признаний, он их и добился бы: по этому делу суду было предано 54 человека, и были среди них люди разные.

Значения „признаний“, конечно, преувеличивать не нужно. Генри Чарлз Ли в своем знаменитом труде приводит выдержки из учебников по допросу, составленных средневековыми судьями. Допросы производились так, что допрашиваемый, в сущности, не имел почти никакой возможности ускользнуть от „сознания“. В одном из этих руководств указывалось, что в попытке особенной необходимости в большинстве случаев нет; пытку, при надлежащих условиях, вполне заменяют разные подготовительные меры, обещания

* „...Он поддерживал своих спутников в том, что несправедливо было убивать короля, что Франция не могла без него обойтись. Тогда я позволил себе ответить им и, обращаясь с ними, как с преступниками, я позвал охрану, прибежал офицер, спросил, в чем дело, и ушел, пожмая плечами...“ (Фр.)

* „Вот в чем суть“ (Фр.).

и угрозы: человек слаб. И действительно, люди сознавались в былые времена в чем угодно. В XVI веке в Европе насчитывалось несколько сот тысяч ведьм. У них были любимые резиденции (во Франции — Пюи де Дом), были разные специальности, были разные чины, от „ведьм-капралок“ до „ведьм-генералыш“. Власти точно установили, как живут ведьмы, чем занимаются, какие заклинания произносят (по данным немецкого суда: „Harr, harr, Teufel, Teufel, spring hie, spring da, spiel hie, spiel da...“)*. Все это было известно благодаря чистосердечным признаниям самих ведьм. Так же чистосердечно сознавались и колдуны. В Гильдесгейме в 1615 году был казнен мальчик, признавшийся, что он неоднократно превращался в кошку. В Линдгейме были сожжены шесть ведьм, сознавшихся в том, что они вырыли из могилы труп ребенка и его съели^д. Все ведьмы признавали, что поддерживают связь с дьяволом. Самое юридическое понятие ведьмы определялось так: „Женщина, поддерживающая связь с дьяволом на предмет совещаний с ним или в целях совершения того или иного действия“. Определение это принадлежит лорду Коку, которого Британская энциклопедия в своем последнем издании называет величайшим юристом всех времен.

Не знаю, кем, когда и как формулировано понятие „враг народа“ в СССР. Оно, кстати сказать, буквально заимствовано из французского революционного словаря^д. Отличительным признаком этого понятия теперь, по-видимому, вместо связи с дьяволом надо считать „связь с Троцким“ или „связь с белобандит-

* „Чур-чур, черт, черт, попрыгай здесь, попрыгай там, поиграй здесь, поиграй там...“ (нем.)

^д Муж одной из этих ведьм добился того, что могила ребенка была разрыта. В ней оказалось никак не тронутое тело. Однако суд признал, что это — обман зрения и наваждение дьявола: признание подсудимых достовернее, чем „teufliche Verblendung“ — „дьявольское ослепление“ (нем.). — Пер. ред. (Soldan-Heppe. Geschichte der Hexenprozesse, В. 1, 323).

^д Сесиль Рено и ее сообщники были приговорены к смерти „comme les ennemis du peuple (одного слова я разобрать не мог) qui cherchent à anéantir la liberté publique soit par force, soit par la ruse“ („как враги народа... которые пытались силой либо хитростью уничтожить свободу“ (фр.) — Пер. ред.). (Национальный архив W 389, № 904, документ 69-й, неизданный). — Понятие „враг народа“ во Франции было формулировано в законе 22 перриала.

скими организациями за границей". Московских колдунов уличают свидетели вроде их старой соратницы Яковлевой (вот уж именно „ведьма-генеральша“), или же во всем чистосердечно признаются они сами: „Harr, harr, Teufel, Teufel, spring hie, spring da...“ Но какое, собственно, это может иметь значение? Французский революционный трибунал такого рода признаниями не дорожил. Этим он выгодно отличается от Военной коллегии. Выгодно отличается он от нее и тем, что лицемерия в нем было гораздо меньше. Революционный трибунал отлично знал (как знает и Военная коллегия), что не судит, а исполняет приказ по истреблению врагов правительства. Но он этого почти и не скрывал. По закону 22 прериаля защитники были упразднены, свидетели признаны ненужными, материальные доказательства преступления не требовались. За 49 дней, прошедших от 22 прериаля до 9 термидора, в Париже было казнено 1376 человек: в среднем почти по 30 в день. На каждого подсудимого приходилось около десяти минут заседания трибунала.

Дело Сесили Рено и ее 53 „сообщников“ слушалось, по одним сведениям, три часа, по другим — пять часов. Фукье-Тенвиль вместо речи ограничился несколькими словами. Очень кратко было и заключительное слово председателя Дюма. Разумеется, все подсудимые были приговорены к смертной казни.

Все это дело настолько чудовищно даже для того времени, что один знаменитый историк высказал предположение: не было ли тут „вредительства“ со стороны людей, проявлявших на словах восторженную преданность Робеспьеру? Уж не хотели ли они просто его скомпрометировать? Это не доказано, но вполне возможно.

В развязке дела была особенность, ни разу не встречавшаяся в истории революции ни до, ни после процесса Сесили Рено: на осужденных перед казнью надели красные рубашки. Дезессар рассказывает, что после приговора Фукье-Тенвиль зашел в буфет и там будто бы кто-то подал ему эту мысль. Сообщение это ошибочно. Фукье-Тенвиль лишь исполнял правительственный приказ. В папке W 389 есть письмо Комитета общественного спасения, предписывающее проку-

рору надеть красные рубашки на осужденных. По средневековому обычаю (или закону) красные рубашки надевались перед казнью на отцеубийц. Мысль робеспьеристов, очевидно, заключалась в том, что люди, посягнувшие на жизнь Робеспьера, должны приравниваться к отцеубийцам, так как он отец народа.

Было бы в психологическом отношении чрезвычайно интересно выяснить, кому именно пришла в голову эта ценная мысль. Самому Робеспьеру? Возможно. У него в ту пору голова кружилась очень сильно. Ужас, который он внушал всем, рос с каждым днем. Баррас рассказывает в своих воспоминаниях, что один из членов Конвента, почувствовав на себе во время заседания стеклянный взгляд диктатора, испуганно воскликнул: „Он еще вообразит, что *я что-то думаю!*..“ (Il va supposer que je pense quelque chose!..) Вероятно, Робеспьер в светлые свои минуты понимал, какие чувства он внушает громадному большинству французов. Но гипноз всеобщей лести не мог на него не действовать. Перед ним пресмыкались почти все окружавшие его люди. Генералы носили на груди его портрет. Женщины забрасывали его восторженными письмами. „Нет, твердый, неизменный, ты, парящий в небе орел! Обольстителен твой ум, обольстительно твое сердце и крик души твоей — любовь к добру!“ — писала ему сестра Мирабо. Полоумная старуха Екатерина Тео, собиравшаяся оставить на земле всего 140 000 людей, „но с тем, что каждый будет бессмертен“, называла Робеспьера Мессией и устроила на улице Контрескарп храм его веры*.

Как бы то ни было, мысль о красных рубашках Фукие-Тенвилю не принадлежала. Он исполнял предписание Комитета общественного спасения. Это предписание даже застало его врасплох. Может быть, бывший прокурор Шатле и видал в молодости, при старом строе, как казнят настоящих отцеубийц. Но в его революционной практике это был первый (и послед-

*Для приобщения к культу, которым руководила Екатерина Тео, надо было „воздерживаться от чувственных наслаждений“ и при посвящении поцеловать ее семь раз; „два раза в лоб, два раза в виски, два раза в щеки и один раз в подбородок“.

ний) случай. Тотчас по окончании „процесса“ осужденных увели в комнату, где совершался предсмертный туалет. Телеги Сансона уже въехали во двор Дворца правосудия. Для изготовления красных рубашек требовалось время: вероятно, бюджет революционного трибунала предусматривал все, кроме расхода на красную материю и на портных. Осужденные ждали четыре часа!

Так их и повезли через Париж в красных рубашках. Дезессар, вероятно видевший это шествие, оставил нам (том IV, стр. 250) его описание. В этот день Сансон мобилизовал одиннадцать своих помощников и выехал на работу с восемью телегами. На первую телегу он посадил дам, в их числе и Сесиль Рено; другая телега была отведена старикам; третья — юношам. Большинство осужденных вели себя спокойно. Но были и люди, потерявшие самообладание.

Страшную процессию видел на ее пути весь Париж. Красные рубашки всего сильнее поразили воображение очевидцев — казнями в ту пору никого удивить было нельзя. Но, по-видимому, парижанам все-таки не пришло в голову, что люди, покушающиеся на жизнь Робеспьера, — отцеубийцы. По дороге процессию встретил второстепенный полицейский деятель Вуллан; он будто бы сказал: „Пойдем, посмотрим красную мессу!“ Это выражение распространилось по Парижу, по Франции — так стали называть дело Адмирала и Сесили Рено, потом все вообще массовые казни.

Сансон и его одиннадцать помощников работали всего 28 минут. Техника у них была прекрасная.

О поведении Фукье-Тенвиля в тот день ходили разные рассказы. Говорили, что он весело шутил, называл людей в красных рубашках кардиналами, сам присутствовал при их казни и любовался зрелищем. Все это довольно неправдоподобно.

Боюсь, что изложенные факты вообще создают образ мелодраматического злодея. Почему мог бы внезапно стать мелодраматическим злодеем человек, живший мирной жизнью до седых волос, ничего особенно постыдного до революции не совершавший? Фукье-Тенвиль не был человек озлобленный, сухой и

бессердечный, твердо решивший на исходе пятого десятка лет сделать блестящую карьеру, которая до того ему никак не удавалась. Конечно, принимал должность прокурора при революционном трибунале, он не знал, не предвидел и не мог предвидеть, во что обратится это учреждение: не знал, не предвидел этого ведь и сам Дантон. Вначале Фукье-Тенвиль был только сухим, исполнительным чиновником. Понемногу он применялся к обстоятельствам, а обстоятельства становились все грознее. Под конец своей деятельности он уже ничего и не мог бы изменить в работе машины террора — его жизнь тоже висела на волоске: если „в два счета“ машина отрубила голову Дантону, то в чем могла быть гарантия безопасности для маленького человека Фукье-Тенвиля? Он думал, вероятно, найти такую гарантию в милости Робеспьера. Служить одновременно разным кандидатам в диктаторы было по тем временам невозможно. Фукье-Тенвиль поставил не на ту лошадь; однако лошадь он, в сущности, и не выбирал. Выбирать еще кое-как можно было в Конвенте, но никак не на должности прокурора революционного трибунала.

Добавлю, что рассказы о нем совпадают далеко не всегда. Говорили, что он заставлял женщин отдаваться ему, обещая спасти их мужей. Но говорили также, что он не раз бескорыстно спасал людям жизнь, будто бы иногда сам советовал женщинам подавать заявление о беременности, дабы выиграть время. Не так давно в исторической литературе была сделана попытка представить его человеком идейным и оклеветанным (как десять раз делались попытки обелить и даже изобразить героем Робеспьера). Никаких идей у Фукье-Тенвиля никогда не было. Он пытался играть роль убежденного человека, но это было именно комедией. Лорд Кок, должно быть, искренно верил в существование ведьм. Фукье-Тенвиль под конец своей жизни не верил ни во что. Да и в большинстве деятельности террора в 1794 году уже были настроены цинично. Все были связаны круговой порукой: одни массами казнили людей, другие одобряли казни, третьи дружески работали с казнившими. Фукье-Тенвиль, вероятно, бодрился, глядя на своих товарищей: „Я ничуть не хуже их“. Он был хуже большинства из них, хуже

Робеспьера, Сен-Жюста, Кутона, Бильо-Варенна — хуже и, главное, ничтожнее. Участвовали, однако, в терроре и люди хуже, чем он: Дюма, которого он сам на процессе называл негодяем, Амар, некоторые другие. В общем, это был незначительный, нехороший человек, который в обыкновенной исторической обстановке так и умер бы незначительным и нехорошим человеком. Необыкновенная историческая обстановка превратила его в „чудовище“.

Все рухнуло в один день.

Нет, разумеется, никакой надобности здесь рассказывать о событиях 9 термидора. Скажу лишь одно (указывал на это и в другом месте). Как и многим из нас, мне довелось быть в Петербурге свидетелем событий рокового дня 25 октября 1917 года. До того я видел вблизи июльское восстание большевиков, позднее — восстание левых эсэров и никогда не отделаюсь от впечатления, что, вопреки так называемым „законам истории“, до последней минуты все висело на волоске: большевики потерпели полное поражение в июле, одержали полную победу в октябре, однако вполне возможно было и обратное. Знаю, что эта точка зрения не историческая, „поверхностная“, но остаюсь при убеждении, что роль его величества случая в таких делах всегда огромна и почти не поддается учету. Огромна была она и во Франции 9 термидора: имели здесь значение бесчисленные случайности, большие и малые, — и то, что стояла в этот день 40-градусная жара, и то, что в решительную минуту пошел проливной дождь, и то, что был в этот день пьян как стелька командующий вооруженными силами санкюлотов „генерал“ Анрио.

Последний день робеспьеровского строя начался для Фукье-Тенвиля скорее приятно. 9 термидора было кануном неприсутственного дня. Как известно, революционный год во Франции делился на 36,5 декад; десятое число каждого месяца, „декади“, было праздником; революционный суд в „декади“ не заседал. Обычно день прокурора проходил так: по утрам или днем он трудился в трибунале, затем сдавал осужденных палачу, обедал дома с семьей и снова садился за работу до поздней ночи: подготавливал про-

цесс следующего дня или, точнее, по инструкции Робеспьера* изготовлял список лиц, которых надо было отправить на эшафот завтра. Но 9 термидора он после заседания мог отдохнуть — к следующему дню ничего готовить было не надо: у гильотины была своя *semaine anglaise*†. Фукье-Тенвиль, любивший выпить с друзьями, принял приглашение на обед к одному своему знакомому, Верню, жившему на острове Сен-Луи.

Утреннее заседание трибунала в день 9 термидора сошло отлично: к смертной казни было приговорено очень много людей‡. Кончилось заседание в четвертом часу дня, а обед был назначен на четыре. Фукье-Тенвиль торопливо передал палачу список осужденных — кажется, даже не поднялся в этот день в свою казенную квартиру к жене. Но когда он выходил из Дворца правосудия, сторож ему сказал, что, по слухам, в городе беспокойно: не лучше ли было бы приказать палачу везти телеги с осужденными кружным путем? Прокурор ответил, что никакой необходимости менять маршрут нет: доедут и так. Действительно, осужденные доехали и были казнены — за несколько часов до окончания террора! Если б Фукье-Тенвиль не торопился на обед, эти люди спаслись бы. Уж в их-то жизни случай, несомненно, сыграл некоторую роль.

Не знаю, весело ли начался обед — приглашенных было шесть человек, — но кончился он невесело. Вероятно, в этот тропически жаркий июльский день окна были растворены настежь. Внезапно около пяти часов дня в столовую откуда-то издали донесся барабанный гул. За ним послышался набат — набат 9 термидора!

При некотором усилии воображения можно себе представить эту сцену: гости переглянулись, насто-

*В Национальном архиве есть записная книжка Робеспьера из 42 страниц (из них исписано 17). Среди записей, всегда очень кратких, неоднократно встречаются фразы „вызвать общественного обвинителя“ (то есть Фукье-Тенвиля), „организовать революционный трибунал“, „революционный трибунал работает худо“ и т.д. К сожалению, записи прекращаются 7 пивоза, то есть за полгода до 9 термидора.

†Рабочая неделя (*фр.*).

‡Левотр говорит, что в этот день революционный трибунал вынес 1000-й по счету за месяц смертный приговор.

жились, побледнели — все они были более или менее тесно связаны с Робеспьером. В то страшное лето 1794 года нервы у всех парижан, даже не занимавшихся политикой, были напряжены чрезвычайно. Каждый день по улицам проходили телеги Сансона, Париж превратился в залитый кровью дом умалишенных, люди не могли не понимать, что так жить невозможно. Но грозные события всегда приходят неожиданно, даже тогда, когда их ждут очень долго. Верно, и за тем обедом приятели не сразу поняли, что это — *то*, то самое...

Еще через несколько минут с улицы пришли вести: Конвент восстал против диктатора. Думаю, что десерта и кофе у Верню в тот день не подавали. Фукье-Тенвиль, по его собственным словам, „бросился на свой пост“. Он хотел сказать, что отправился в революционный трибунал. Это действительно был его пост в нормальное, так сказать, время террора. Но теперь, в минуты начавшейся вооруженной борьбы, пост робеспьеристов, собственно, был при Робеспьере.

К Робеспьеру прокурор не спешил. По-видимому, мысль об измене у него шевельнулась в первую же минуту, вероятно, задолго до того, в свои короткие бессонные ночи, он не раз задавал себе вопрос: что делать, если Робеспьер провалится? Может быть, намечал заранее подготовленные позиции. День этот, *dies irae**, теперь настал.

Фукье-Тенвиль ждал, ждал часов шесть или семь. Вести приходили одна страшнее другой, но и одна другой противоречивее. Шла борьба, до поздней ночи не было ясно, кто победит. В полночь он не вытерпел, вышел из Дворца правосудия, отправился в Тюильрийский дворец. Затем, быть может растерявшись от новых непредвиденных сочетаний друзей и врагов, вернулся домой, стал ждать дальше: ждал исхода борьбы, чтобы мужественно броситься на помощь победителям. Так было и в СССР в пору борьбы Сталина с Троцким; так бывало и раньше, и то ли мы еще увидим, если доживем до нашего термидора!

В четвертом часу ночи выяснилось, кто победитель. А еще несколько позднее в Консьержери принес-

*День гнева (*лат.*).

ли на носилках Робеспьера. В тюрьме и по сей день показывают крошечную комнату, в которой, по преданию, провел свою последнюю ночь победенный диктатор. *Принял* его, разумеется, Фукье-Тенвиль: тюрьма находилась в ведении прокурора. Сцена эта на расстоянии 144 лет представляется нам „шекспировской“. Краткий рассказ о ней можно найти в любом учебнике по истории революции, в любой биографии Робеспьера, но, к сожалению, ни один толковый и достоверный очевидец ее нам как следует не описал. А может быть, ничего шекспировского в ней не было. Люди ко всему привыкли: казнили короля, жирондистов, Эбера, Дантона, ну что ж, теперь очередь за Робеспьером. Теоретически ко всему этому в то время можно было относиться как к „входящим“ и „исходящим“.

Заранее подготовленная позиция Фукье-Тенвиля, по-видимому, заключалась в том, чтобы при всех возможных комбинациях входящих победителей и исходящих победенных изображать сурового служаку, верного исполнителя закона и правительственных предначертаний. В отношении Робеспьера позиция прокурора была довольно трудной: все-таки он очень долго состоял при диктаторе лаксем. Но положение его облегчалось тем, что Робеспьер был объявлен вне закона: следовательно, комедии суда с его, Фукье-Тенвиля, обвинительной речью не требовалось. Надо было только проделать более легкую комедию „установления личности“: удостоверить, что принесенный на носилках в Консьержери человек действительно Робеспьер! Большой надобности в этом, собственно, не было: он был достаточно известен.

Фукье-Тенвиль с полной готовностью „удостоверил“, проделал все формальности по отправке вчерашнего барина на эшафот, почтительно-радостно изъявлял готовность верой и правдой служить новым барам. Думаю, он охотно произнес бы и обвинительную речь против бывшего диктатора. Все возможно в мире — вдруг мы когда-нибудь прочтем „обвинительное заключение“ Вышинского по делу врага народа Сталина? Но в 1794 году такого зрелища судьба людям не подарила. Из новых бар в первую минуту о Фукье-Тенвиле просто никто не подумал: не до того было и

слишком все они были упоены своей победой над Робеспьером. Но через несколько дней, когда первая радость улеглась, вспомнили и о Фукье-Тенвиле. 14 термидора он был арестован.

Посадили его в Консьержери, где он еще накануне был полновластным и грозным хозяином. Все заключенные знали его и, надо ли говорить, ненавидели лютой ненавистью. Тюремное начальство едва спасло Фукье-Тенвиля от расправы. Но, по-видимому, продолжалось это недолго. Месяца через три один из находившихся в тюрьме людей писал: „Мы больше не обращаем на него никакого внимания“*. Посмеивались больше над его „скупостью“: ничего на себя не тратит.

Он ничего не тратил потому, что у него ничего и не было. Надо отдать ему справедливость: взятки Фукье-Тенвиль не брал и умер в нищете. Пищу в тюрьму доставляла ему жена. Он был неприхотлив — просил только присылать ему водку: „On ne se soutient qu'en en prenant un peu“*. Письма его к жене до нас дошли. „Милый друг, — пишет он, — что будет с тобой, с моими бедными детьми? Вы узнаете самую ужасную нищету“. Дает жене советы, рекомендует выйти замуж, если представится случай, и кончает словами: „Прощаюсь, тысячекратно прощаюсь с тобой, с немногими оставшимися у нас друзьями, особенно с няней. Крепко поцелуй детей, твою тетку; будь матерью моим детям, пусть они хорошо себя ведут и слушаются тебя. Прощай, прощай! Твой муж, верный тебе до последнего вздоха“. Ленотр, написавший интереснейшую статью о вдове Фукье-Тенвиля, называет это письмо „прекрасным и трогательным“. Оно, в самом деле, не очень вяжется с общим обликом этого старшего чиновника по ведомству гильотины, отправившего на казнь тысячу людей, у которых тоже были жены и дети.

Новая власть позволила себе в его отношении роскошь „полной законности“ (всегда, к сожалению, производящей трагикомическое впечатление после воо-

*Aulard. Paris pendant la réaction thermidorienne (от 19 января 1794 года).

* „Только этим можно себя поддержать“ (фр.).

руженной борьбы). Закон 22 прериаля был отменен, Фукье-Тенвиль был предан суду с соблюдением всех форм правосудия. Кажется, победители даже несколько щеголяли перед ним обилием этих форм. Сам он, не вызвав ни единого свидетеля, после двухчасового или трехчасового заседания отправлял на эшафот 50 — 60 человек. Его дело слушалось на 45 заседаниях, и вызвано было по делу около 400 свидетелей.

Новый суд несколько преувеличил черты „чудовища“ в бывшем прокуроре революционного трибунала. Так, в обвинительном акте сообщалось, что когда какой-либо подсудимый ускользал от казни, то Фукье-Тенвиль „трепетал от бешенства и ярости и без основания в одинаково оскорбительных выражениях отзывался об обвиняемых, о присяжных, о судьях“*. Едва ли это могло быть. Одновременно старались и памфлетисты. В одном памфлете описывалось, как в аду Робеспьер, составляющий план всемирного кладбища, принимает Фукье-Тенвиля в основанный им клуб (Валлон). Памфлет был не остроумный и писали его люди, одинаково охотно продававшие свое перо кому угодно: таких в пору революции было очень много.

Держался на суде Фукье-Тенвиль довольно смело. Иногда терялся при особенно убийственных для него свидетельских показаниях, но иногда переходил в наступление и говорил со скамьи подсудимых почти в таком же тоне, в каком в пору своего могущества говорил с прокурорского места. Защита его строилась на том, что он лишь исполнял закон, выдуманный не им, а Конвентом. Это была выигрышная позиция, вдобавок ставившая в затруднительное положение многих победителей 9 термидора: они сами имели к террору достаточно близкое отношение. Если верить полицейским донесениям того времени, напечатанным в издании Олара (т.1, стр. 701), мнения насчет Фукье-Тенвиля очень расходились. Он произнес защитительную речь, продолжавшуюся шесть часов. Судей она, разумеется, не убедила. Ему был вынесен смертный приговор.

*Бюше и Ру, т.34, стр. 272. — Отчет о деле Фукье-Тенвиля занимает в этом сборнике два тома. Чтение тяжелое, но поучительное в отношении революционной психологии.

Казнь состоялась 7 мая 1795 года, почти через год после 9 термидора. Толпа проводила Фукье-Тенвиля на эшафот свистом, бранью, оскорблениями. Но так она провожала на гильотину и людей гораздо более достойных. Народ в пору революции „безмолвствовал“ редко и неохотно. Бывший прокурор революционного трибунала, проявивший перед смертью несомненное мужество, в долгу не оставался и отвечал с телеги на грубую брань грубой бранью. Ходившие в толпе сыщики с похвальным беспристрастием занесли в дошедшие до нас отчеты и то, что кричал народ прокурору, и то, что кричал прокурор народу. „Сволочь“ в этой полемике было самым любезным словом.

Молодые годы принцессы Матильды

I.

Принцесса Матильда* скончалась в 1904 году, в глубокой старости. Некоторые наши современники ее хорошо знали, а она знала деятелей Французской революции! Не так давно в „Revue des Deux Mondes“ появились ее воспоминания. К сожалению, они очень кратки и не доведены до конца. Сведения о ней приходится искать в бесчисленных мемуарах, в исторических трудах и монографиях. Матильда Бонапарт жила в эпоху неизмеримо более счастливую, чем наша, и, пожалуй, не менее „интересную“.

Она была дочерью короля Жерома (или Иеронима), младшего из братьев Наполеона I. Как известно, семья Бонапартов очень велика, — в их родственных отношениях не так легко разобраться. Если семейная гениальность ушла в основателя династии, то и остальные Бонапарты были в большинстве люди даровитые. Некоторые из них писали романы, стихи, исторические труды; другие занимались астрономией, математикой, химией, зоологией, географией. И почти все, по принятому, хотя и странному, выражению, „вели рассеянный образ жизни“.

Даровитым, беспутным и, в общем, скорее привлекательным человеком был и отец принцессы Матильды. Он с юношеских лет предназначался для карьеры моряка. Когда ему пошел 19-й год, Наполеон, в ту пору первый консул, назначил его на корвет „Эпервье“, отправлявшийся в Соединенные Штаты. „Я же-

*В этом очерке дочери короля Жерома дается то имя, которое установилось за ней во французской литературе. С точки зрения закопа принцесса Матильда до конца своих дней оставалась госпожой Демидовой, разведенной женой А.П.Демидова.

лаю, — писал старший брат младшему, — чтобы вы возможно скорее заняли пост на вашем корвете для изучения ремесла, которое должно привести вас к славе. Умрите молодым, я перенесу это горе. Но я буду неутешен, если вы проживете до 60 лет без славы, без пользы для родины, не оставив никаких следов вашего существования на земле. Это я не могу признать жизнью“ (письмо 21 мессидора X года). Жером Бонапарт не был римлянином. Прожил он не до шестидесяти лет, а гораздо дольше, но военной — да, собственно, и никакой вообще — славы в мире не приобрел. Во всяком случае, брата своего он стал огорчать с этой же поездки в Америку. По приезде в Соединенные Штаты он влюбился в красавицу Елизавету Паттерсон, дочь балтиморского торговца, и неожиданно на ней женился.

Вскоре после женитьбы Жерома Наполеон взшел на престол. Он еще порою продолжал называть себя „сыном революции“, но много реже, чем прежде. Воспользовавшись тем, что Жером был несовершеннолетний, император объявил брак своего брата недействительным. Жерому было предложено отказаться либо от жены, либо от всех прав, преимуществ и окладов принца императорского дома. Елизавета Паттерсон ждала ребенка, и, по-видимому, ее муж был страстно в нее влюблен (по свидетельству всех современников, она была совершенная красавица). Однако, после недолгой „внутренней борьбы“, Жером предпочел отказаться от жены.

Сохранились его письма к ней, весьма характерные для этого доброго, беспринципного, легкомысленного человека. „Устройся так, как если бы я должен был к тебе вернуться, — пишет он в одном из них, — но, пожалуйста, не говори об этом никому...“ Позднее, уже после своего второго брака, он ласково советовал брошенной жене „ждать всего от времени“. У американки от Жерома родился сын, которого она, вероятно назло императору, назвала Наполеоном. Много позднее, больше чем через полстолетия, этот американский Бонапарт (в Соединенных Штатах называвшийся сокращенно „Бо“), к великой радости всех врагов Наполеона III, начал против принцессы Матильды громкий процесс о наследстве короля Жерома.

После расторжения первого брака Жерому было велено жениться на дочери вюртембергского короля Фридриха I, еще недавно состоявшего на русской службе и занимавшего должность генерал-губернатора Финляндии. Почти одновременно принц Жером стал „Вестфальским королем“. Как известно, Наполеон сделал королями трех своих братьев. В сущности, они были коронованными префектами завоеванных земель: своей воли иметь не могли, исполняли приходящие из Парижа предписания, а иногда и перемещались с одного престола на другой, как Иосиф, сначала бывший королем неаполитанским, а потом переведенный на должность короля испанского. Для 23-летнего Жерома в 1807 году из расположенных между Эльбой и Рейном земель было наполеоновским декретом создано Вестфальское королевство, с двухмиллионным населением, со столицей в городе Касселе, с сочиненной в Париже конституцией. Король Жером мирно правил семь лет своим королевством: жил чрезвычайно весело, строил какие-то странные здания (кажется, некоторые из них еще существуют в Касселе): „Эрмитаж Платона“, „Эрмитаж Сократа“, „Гробницу Вергилия“; щедро раздавал титулы — и вечно нуждался в деньгах. Его векселя не раз протестовались у нотариусов. Наличных золотых „жеромов“ (разумеется, в Вестфальском королевстве были „жеромы“, как во Франции были „наполеондоры“) у него обычно не хватало. Он как-то предложил евреям переселиться в Вестфальское королевство, обещал им свою „вечную благожелательность“ при условии, что они внесут ему двадцать миллионов, и даже вел об этом переговоры — дело оказалось неосуществимым.

В своем королевстве он оставил довольно хорошую память. Был он человек очень добрый, щедрый и либеральный. Едва ли нужно говорить, что он ни одного слова по-немецки не знал и все семь лет объяснялся со своими верноподданными при посредстве переводчика. Впрочем, в меру возможного, он избегал общения с немцами; окружил себя французами, которым жаловал пышные немецкие титулы; чуть не все его парижские друзья оказались графами или баронами Фюрстенштейнами, Кейдельштейнами, Мариен-

борнами, Бернероде, Роттероде и т.д. Немцев он приводил в горестное изумление тем, что почему-то принимал ванны из лучшего бордоского вина.

Очень много вестфальских денег уходило на французских художников и скульпторов, писавших и лепивших короля Жерома во всех видах, костюмах и позах. Излюбленным его художником был Гро, которому было совершенно все равно, что и кого писать: он с одинаковым удовольствием писал левых и правых, Бонапартов и Бурбонов, Наполеона на Аркольском мосту и Людовика XVIII при отъезде из Тюильри, — если не написал также Робеспьера на трибуне Конвента, то по чистой случайности или оттого, что был тогда еще слишком молод. Короля Жерома Гро писал много раз и всегда точно по Гоголю: „Гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский чиновник норовил так, чтобы побольше было прямоты и благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: Всегда стоял за правду...“ На известнейшем из портретов Гро король Жером, со скипетром в руке, стоит у покрытого бархатом стола, на котором лежат два фолианта с надписью: „Вестфалия“ и „Кодекс Наполеона“.

Со своей второй женой, принцессой Екатериной Вюртембергской, король жил душа в душу — сердечно ее любил, хоть изменял ей, по свидетельству одного из современников, „триста шестьдесят пять раз в год, а в високосные годы триста шестьдесят шесть раз“. Очень ему хотелось, чтобы к нему в Вестфальское королевство приехала и мисс Паттерсон с сыном; в одном из своих писем к ней он даже предложил ей титул княгини Смалькальденской. Она весьма сердито отклонила это предложение; фамилия Бонапарт нравилась ей больше.

Наполеон, по-видимому, любил своего легкомысленного брата (поскольку он мог кого-либо вообще любить). Но почти все политические и особенно военные действия вестфальского короля приводили императора в ярость. Жером был единственным братом Наполеона, сохранившим ему верность до конца: благожел перед императором и смертельно его боялся. Сражался вестфальский король всегда очень храбро,

но редко с успехом. В 1812 году он командовал 90-тысячной армией и на Немане не сумел помешать соединению Багратиона с главными русскими силами. Наполеон его уволил и передал командование маршалу Даву. Жером обиженно удалился в свои владения. В пору военной катастрофы вестфальский король покинул Кассель за два дня до вступления русских войск. По пути во Францию заезжал во все свои вестфальские замки и предусмотрительно увозил все свои вестфальские драгоценности. Позднее он принял участие в сражении при Ватерлоо и произнес там фразу, менее знаменитую, чем „Гвардия умирает, но не сдается“, но все же не раз цитировавшуюся историками: „Здесь умрет брат Наполеона!“ (вариант: „C'est ici que doit périr tout ce qui porte le nom de Napoléon!“*). Король Жером не умер, но сражался он мужественно. Это был храбрый солдат. Через 45 лет, в пору Второй империи, он в Париже в торжественных случаях появлялся как живая реликвия великой эпохи. „Отцы показывали его детям“ и благоговейно шептали: „Он воскликнул на полях Ватерлоо: „Здесь умрет брат Наполеона!“

После падения Наполеона семья его рассеялась по миру. От недолговечного Вестфальского королевства ничего не осталось. Королю Жерому запрещено было жить во Франции. Сказалось вечное горе эмиграции всех времен и всех стран: безденежье. Правда, было оно, по нашим понятиям, весьма относительное. У бывшего короля оставались деньги в Париже, были какие-то требования к какому-то банку, он вел процесс, но процессы во Франции идут медленно. Жилось ему, однако, лучше, чем другим Бонапартам. Его тещь, вюртембергский король, вовремя разорвавший союз с Наполеоном и перешедший на сторону союзников, остался на престоле. Он пожаловал Жерому титул князя Монфорского и назначил ему пенсию. Получал Жером и субсидию от русского двора: принцесса Екатерина приходилась кузиной императору Александру. Со всем тем о ваннах из бордоского вина уже думать не приходилось.

Члены семьи Наполеона после 1815 года немного подделывались — быть может бессознательно или по-

* „Здесь должен погибнуть всякий, кто носит имя Наполеон!“ (фр.)

лусознательно — под настроение Св.Елены: „Несется он к Франции милой, — Где славу оставил и трон, — Оставил наследника-сына — И старую гвардию он. — И только что землю родную — Завидит во мраке ночном, — Опять его сердце трепещет, — И очи пылают огнем...“ К чести короля Жерома должно сказать, что он и не делал вида, будто тоскует по Вестфалии милой. Сердце его не трепетало. Бывший король вестфальский забыл о своем королевстве в тот самый день, как его покинул. Позднее он подумывал о другом престоле. Ему очень хотелось стать королем Греции, — об этом тогда мечтали многие романтически настроенные люди, от Александра Ипсиланти до лорда Байрона, и у всех у них прав было ровно столько же, сколько у него. Если он был вестфальским королем, то мог, разумеется, отлично стать и королем греческим. Однако из этого ничего не вышло. Князь Монфорский нисколько не унывал. Жил он в разных местах; по разным причинам они с женой часто переселялись. В 1820 году в Триесте у него родилась дочь: принцесса Матильда.

В числе ее *ragains** был Жозеф Фуше! Бывший председатель якобинского клуба, человек с ног до головы залитый кровью, служивший Робеспьеру и предавший Робеспьера, служивший Наполеону и предавший Наполеона, служивший Людовику XVIII и, по случайности, не успевший его предать, мирно доживал в Триесте свой век: жил очень тихо, ежедневно гулял в городском саду, держа за руку свою маленькую внучку, и вглядывался небесно-голубыми глазами в слишком близко подходивших прохожих.

В Триесте семья князя Монфорского оставалась недолго. Вскоре все они переехали в Рим и поселились в нынешнем Палаццо Торлониа. В Риме еще жила бабушка, мать Наполеона I, называвшаяся *Madame Mère**. Она сохранила немалое состояние, но по скупости своей едва ли очень поддерживала Жерома. Жил князь Монфорский небогато, однако старался поддерживать королевский церемониал, с камергерами, с пажамы, с фрейлинами, — вероятно, все это, при

*Крестные (фр.)

*Королева-мать (фр.).

полном отсутствии блеска, при ограниченных средствах, выходило не очень хорошо. Общество у них было иностранное, главным образом русское: Гагарины, Горчаковы и другие русские дипломаты, занимавшие посты в Риме.

„Очевидцы“ сходятся в том, что принцесса Матильда была очень хороша собой. Мне попадались самые восторженные отзывы о ее красоте. До нас дошло много ее портретов, но по ним судить нелегко: все это портреты „официальные“, условные и не слишком между собой схожие. Не очень ясны также эпитеты и сравнения современников: „флорентийская (?) нега“, „молнии глаз, бросаемые точно с высокой башни“, „сияние алмаза“, „мраморная белизна кожи“ и т.д. „Она была похожа на город“, — говорит совершенно серьезно один автор. По таким образам суждения не вынесешь. В молодости принцесса Матильда знала преимущественно людей, которые писать не умели. С другими людьми она стала знакомиться лишь тогда, когда первая молодость прошла. В пору ее высшей славы знаменитые писатели восторженно отзывались о ее уме, — может быть, некоторые из них так благодарили ее за гостеприимство. Позднее стали появляться отзывы либо восторженно-коварные (Марсель Пруст), либо прямо издевательские (Леон Доде, Робер де Монтеスキю).

В Риме принцесса Матильда впервые увидела и своего будущего мужа, А.Н.Демидова.

II.

В самом конце XVII века Петр Шафиров, внук крестившегося в 1654 году еврея Шапиро, бывший любимцем Петра Великого, получивший от него баронский титул и должность вице-канцлера, проезжал через город Тулу. В дороге у него испортился пистолет тонкой немецкой работы. Тульский молотобоец Никита Демидович Антуфьев взялся починить пистолет и, к общему удивлению, отлично справился с делом. Шафиров рекомендовал его Петру как искусного мастера. Царь поручил молотобойцу изготавливать оружие для армии. Очень скоро Никита Демидович

вручил царю шесть ружей своей работы. Они оказались превосходными, и Петр подарил мастеру 100 рублей, по тем временам немалые деньги.

Таков, по крайней мере, наиболее вероятный из нескольких рассказов о происхождении семьи Демидовых, носившей впоследствии два княжеских титула и породнившейся с тремя царствовавшими династиями. Никита Демидович устроил в Туле завод „о многих молотах“ и стал доставлять военному ведомству ружья по 1 руб. 80 копеек и артиллерийские снаряды по 12 коп. за пуд, тогда как другие заводчики брали за пуд снарядов 25 копеек, а за ружье 12 — 15 рублей. Петр был в восторге от его работы и стал отводить ему то стрелецкие земли в Тульском округе, то копи в разных других местах России. Лет через 20 семье Никиты Демидовича принадлежали Верхотурские, Шуралинские, Нижнетагильские и многие другие заводы. Именовался он уже „царским комиссаром Демидовым“. В грамоте от 6 декабря 1702 года Петр ему предписывает поступать „Со всякою истинною и душевною правдою, прочитывая (грамоту) почасту, отвергая от себя пристрастие и к излишнему богатству желание; работать тебе с крайним и тщательным радением, напоминая себе смертные часы... И ту его великую царскую милость памятуя, не столько своих, сколько Его Величества Государя искать прибылей ты должен“. Демидов действительно оказал государству в пору войны со Швецией большие услуги, но не забывал и о своих прибылях. К концу жизни он был одним из богатейших людей России.

Как велико было его состояние, сказать трудно. Известно, что в 1715 году он поднес в дар царице сто тысяч рублей. В петровское время огромных состояний в России насчитывалось мало. Богаче Демидова считались Строгановы. Из князей же Рюриковичей бедней его были и богатейшие: Одоевские (состояние которых перешло позднее во Францию), Долгорукие (их богатство особенно выросло при Петре II), Бярятинские (унаследовавшие имущество генерал-адмирала Головина). Из других родовитых вельмож Шереметевы, правда, известны были как богатые люди еще при Иоанне Грозном, но их колоссальное богатство создалось все же лишь при фельдмаршале и

особенно при его сыне (при котором и сложилась поговорка: „за шереметевский счет“). Несметное богатство Юсуповых тоже образовалось после Петра: частью при Анне Иоанновне, частью после женитьбы кн. Бориса Юсупова на племяннице Потемкина. Состояние новых богачей Меншиковых, Шафировых, Ягужинских, Девьеров обычно долго не держалось вследствие конфискаций.

Петр делал все от него зависевшее, чтобы сблизить, по современной терминологии, „буржуазию“ и „аристократию“. Делами или, как еще незадолго до того говорилось, „торжишками“ стали заниматься люди весьма знатные и родовитые: Юрий Долгорукий, Петр Толстой, Сергей Гагарин, Михаил Воронцов. Некоторые из них вошли даже в „складства“ и „кумпанства“. Капиталистам предоставлялись всевозможные льготы, „дабы ласково им в том деле промыслять было“. Возвышение Демидовых интересно именно как страница в истории междусословных отношений в России. Первому их поколению родовитое дворянство отнюдь не сочувствует. Но уже во втором и особенно в третьем они сами становятся аристократией и принимают у себя, как своих людей, русскую и иностранную знать. Один из них пишет: „Весьма дружелюбно обращались мы и с английскими милордами, которые у нас часто обедывали и полюбили русское наше кушанье“.

Так было в восемнадцатом веке и с Баташовыми, Лугиниными, Мальцевыми, Гурьевыми. До Петра все это было невозможно. А позднее не все и помнили, кто когда „вышел в люди“. Пушкин, гордившийся своим 600-летним дворянством, едва ли очень думал, что совершает „мезальянс“, женись на правнучке калужского мещанина Гончарова, занимавшегося мелочной торговлей. Петр же создал и традицию награждения банкиров баронским титулом, продержавшуюся в России до императора Александра II. Мне где-то (не могу вспомнить, где именно) попало указание, что Петр предлагал баронский титул и Демидову, который от титула отказался. Дворянство он получил в 1720 году. Еще раньше ему было предоставлено право покупать землю по своему усмотрению и владеть крепостными.

Род Демидовых был в общем довольно счастлив. Но были и исключения: так, Иван Григорьевич был колесован при Бироне. Это Бирону не мешало брать у Демидовых деньги, — в момент катастрофы он им оставался должен пятьдесят тысяч рублей. Финансировали они до его вступления на престол и Петра III, который даже пожаловал внуку основателя рода „Анненскую ленту“ с тем, чтобы он возложил оную на себя по кончине императрицы Елисаветы Петровны“. Люди среди них были разные: и хорошие, и очень жестокие. Весьма привлекательной чертой в них была общая им любовь к культуре и просвещению. Они жертвовали немалые суммы учебным заведениям, больницам, „сиропитательным домам“. Один из них переписывался с Вольтером, другой создал богатейшую картинную галерею, некоторые писали — или по крайней мере печатали — книги. Наиболее известный из Демидовых, Прокопий Акинфиевич, чудака, о котором в XVIII веке ходили бесчисленные анекдоты, был автором трактата „Об уходе за пчелами“.

Книга, написанная Никитой Акинфиевичем Демидовым „Журнал путешествия“ (1786 год), в бытовом и в стилистическом отношении чрезвычайно интересна, — кое в чем не менее интересна, чем записки Болотова. Никита Акинфиевич выехал в 1771 году с женой и домочадцами за границу. Жена его, Александра Евтихьевна, была больна „великой сухостью“ и „прежестоккой истерией“. Главная цель поездки и заключалась в том, чтобы „советовать о болезни Александры Евтиховны со славным в Лейдене живущим доктором Гаубиусом; а между тем и видеть столь коммерцией обогатившуюся землю Голландию“. Поездка оказалась весьма удачной. Демидовы побывали не только в Голландии, но и во Франции, в Англии, в Италии. Знаменитый лейденский врач обрадовался приезду московитских богачей, как манне небесной: „приходил во всякое время поутру и ввечеру“, за что и получил „хорошее и достойное награждение“. Лекарство у него было одно: „ишачье молоко“, по-видимому, оно исцелило Александру Евтихьевну и от „великой сухости“, и от „прежестоккой истерии“.

За границей Демидовы с одинаковым удовольствием осматривали все: „риноцеров“ и „преславную Ми-

пель-Анжелеву живопись“, „гофшпитали“ и мастерские „славных малеров“, „отправление Англинской коммерации“, и „великана не весьма великого, но складного и пригожего“. „24 ноября, в самые полдни, добрались и в Париж, и остановились в отеле или нанятом доме де Моден, рю Жакоб, что в предместьи Сен-Жермейне... Приехавши, пообедали и расположились, а остаток дня заняты были смотрением товаров, принесенных купцами, что они обыкновенно делают для всех новоприезжих... Ездили по городу. Он весьма наполнен множеством жителей, богатствами, разными сокровищами, редкими древними вещьми; знатен своею обширностью, огромными и великолепными зданьями, изобилием, выгодами, торговлею, цветущими науками и художествами, учеными художниками и ремесленниками, людьми проницательными и великий вкус имеющими. Славен множеством высших картин, вещей к натуральной коллекции надлежащих и милиц-кабинетов; одним словом, он в рассуждении всего наивеликолепный и славный город Европы и где что ни родится, ни делается и ни производится, из других частей света привезенное, в нем найти можно“.

Изучали они Париж внимательно. Осмотрели и „Версалию“, и „палаты, что в Тюлери зачаты, как нам сказывали, королевой Екатериной де Медицис“, а за ними „лес, Елисейскими полями называемое место“; покупали всякие вещи от „порцелинных ваз“ до „разных математических инструментов“; Клоду Верне — „славному живописцу Вернету заказали написать морскую бурю с кораблекрушением“, которой, впрочем, остались весьма недовольны. Осмотрели даже Национальную библиотеку, — она „огромного сооружения, наполнена сверхху до низу премножественным числом как рукописных, так и печатных книг знатных и преславных в свете сочинителей. Король позволил отворять ее два раза в неделю, куда всякой может войти и, испрося, читать и выписывать, что кому рассудится; а известные ученые люди, как, например, г.Руссо, Даламберт, Мармонтель, Дидро и другие, прославившиеся своими сочинениями, могут, расписавшись, и к себе брать“. Книги Никита Акинфиевич особенно любил и восторгался тем, что в Па-

риже „есть столь снисходительные книгопродавцы, что за две копейки продают астрономию в маленькой книжце“.

Сын Никиты Акинфиевича, Николай Никитич, уже был европейцем по всему укладу жизни. Он и жил преимущественно за границей, чаще всего в Париже, где у него был великолепный дворец на Итальянском бульваре. В Гавре есть Демидовская улица — вероятно, она так названа в честь Николая Демидова, который жертвовал огромные суммы на самые разные дела. Во время турецкой войны он, состоя адъютантом при Потемкине, выстроил на свои средства фрегат; в 1812 году выставил свой полк. Женат он был на графине Строгановой, и таким образом в его руках собрались два огромных богатства. После наполеоновских войн он поселился в Риме, в Палаццо Русполи. Там у него вышла неприятность: он устроил в Великий четверг спектакль собственной труппы — и получил из Ватикана предписание покинуть Рим.

Николай Никитич обосновался во Флоренции, где позднее занимал должность русского посланника. Там он выстроил на свой счет сиротский дом. В благодарность за это город назвал одну из флорентийских площадей его именем и поставил ему мраморную статую: он изображен в римской тоге, его обнимает ребенок-сирота. Умер он в 1828 году, оставив каждому из своих двух сыновей состояния, приносящие, как говорили, около двух миллионов годового дохода. Младший его сын, впоследствии князь Сан-Дonato, и стал мужем принцессы Матильды.

Во французской мемуарной литературе Анатолий Демидов если не всегда, то обычно изображается в самом мрачном свете, как тиран и самодур, избивавший свою жену и других женщин. По-видимому, рассказы эти исходили от самой принцессы Матильды, — но она в деле была стороной. То, что мы знаем из русских источников о князе Сан-Дonato, дает основания думать, что мрачные слухи о нем были, по меньшей мере, преувеличены. Это был человек нервный, впечатлительный и болезненно самолюбивый. У него было много хороших свойств. Следовало бы упомянуть об организованных им научных экспедициях, в которых принимали участие известные писатели,

ученые, художники, можно было бы сослаться и на его собственные писания. В 1838 — 1839 годах он поместил в „Журналь де Деба“ ряд статей, которые под произвольными инициалами Н.-Т. выпустил в Париже книгой: „Lettres sur l'Empire de Russie“*. Труд не очень ценный. Так, в главе о русской литературе Демидов буквально одним словом упоминает о Пушкине, в одной фразе и рядом с Дмитриевым; „Пушкин“ и Дмитриев умерли...“ (стр. 52). Но автор был человек довольно просвещенный. Взгляды у него были совсем не либеральные. Однако в России консерваторы относились к нему враждебно. Совершенно не выносил его император Николай I, до конца своей жизни не утверждавший Демидова в титуле князя Сан-Донато и отзывавшийся о нем очень резко.

Никакой карьеры Демидов в России не сделал, несмотря на свои связи, на пожертвования, на устройство больниц и богаделен. Служил он по министерству иностранных дел. Довольно долго оставался в скромном чине коллежского ассессора, числился при разных посольствах и миссиях. Очень напумела, благодаря выпешдшему скандалу, связь его с женщиной, носившей одну из самых знатных и древних французских фамилий.

III.

В своих воспоминаниях принцесса Матильда говорит, что папа принял их в Риме „как принцев“. Это было для них приятной неожиданностью: в двадцатых и тридцатых годах прошлого века Бонапарты в Европе не были в большом почете. На долю семьи Жерома не раз выпадали и оскорбления. Так, в Генуе их однажды попросили удалиться из театра, где они появились в ложе. Быть может, несколько преувеличивает принцесса и почет, который им воздавался Ватиканом. По крайней мере, в 1830 году, после июльской революции, Жерому дали понять, что им всем

* „Письма о Российской империи“ (фр.).

“Секретарем Демидова был известный русским пушкинистам Галле де Культур.

лучше покинуть Рим. Они переехали во Флоренцию. Затем их пригласил к себе в Штутгарт родственник, вюртембергский король. С тех пор князя Монфорские жили то во Флоренции, то в Вюртемберге.

К многочисленным заботам Жерома прибавилась еще одна: как выдать замуж дочь? Для принцессы Матильды начиналась драма девушек: поиски жениха. Ее положение было особенно трудно. Князь Монфорский был низложенный король, и вдобавок король несерьезный: вестфальский. Приданого за принцессой Матильдой не давали или почти не давали. Племянница Наполеона I теперь была слишком блестящей невестой для частных людей и недостаточно блестящей для коронованных особ. Частные лица к ней сватались: был итальянский герцог, был итальянский маркиз — оба получили отказ.

Несколько позднее бывшего короля Жерома посетил во Флоренции наследник русского престола, впоследствии император Александр II, совершавший тогда путешествие по Европе в сопровождении своего воспитателя Жуковского, князя Ливена и полковника Орлова. В своих недавно опубликованных воспоминаниях принцесса Матильда говорит, что был в виду брак между ней и великим князем. Для этого случая принцессу „особенно раздели“. Разговор шел о Наполеоне I, гость говорил комплименты хозяевам, — в каждом русском доме есть портрет великого полководца, — Жером взволнованно показывал реликвии Святой Елены. Переговоры же о браке велись через Орлова. Выяснилось, что принцессе Матильде будет поставлено условие: принять православие. Выяснилось также, что жить надо будет в Петербурге, — а мечтала она о Париже. По ее словам, она подумала и отказалась: „Je fis donc la difficile et les choses n'allèrent pas plus loin...“*

Принцесса Матильда сочинительницей не была. И ее воспоминания, и сохранившиеся устные ее рассказы обычно правдивы. Тем не менее думаю, что тут ей изменила память. В русской исторической литературе, насколько мне известно, нет и намека на эту историю. А если принять во внимание традиции и в осо-

* „Я была неуступчива, и дела дальше не пошли...“ (фр.)

бенности политические взгляды императора Николая I, то мысль о браке между его сыном и дочерью атеиста Жерома представляется почти невозможной. Скорее всего, принцесса Матильда просто приняла за предложение руки и сердца обычные любезности двадцатилетнего молодого человека в отношении очень красивой девушки. К тому же, что неожиданного могло быть в „условиях“, поставленных Орловым? Не могла же принцесса рассчитывать, что Александр II поселится с ней в Париже (ему во время этого путешествия и заезжать в „революционную столицу“ было запрещено отцом).

Настоящая „партия“ для принцессы Матильды была только одна, и о ней задолго до того велись настоящие, серьезные, все предусматривающие переговоры. Не будучи больше ни королями, ни частными лицами, Бонапарты не раз заключали браки в собственной семье. Так, сын Люсьена женился на дочери Иосифа. Был подходящий жених и для принцессы Матильды: сын Людовика, впоследствии император Наполеон III.

О „неразгаданном человеке“ и тогда уже ходили различные и противоречивые слухи. Сын Наполеона I, герцог Рейхштадтский, давно умер, — теперь кандидатом кое-где выдвигался „племянник Цезаря“. Говорили, что он демократ, что он „был бы республиканцем, если б восточной границей Франции было море“, что его благословил на большую политическую карьеру сам престарелый Лафайет, что он принимал участие в каких-то итальянских заговорах, что в пору польского восстания вожди предлагали возглавить их дело „племяннику величайшего из полководцев всех времен“. Со всем тем он был пока только „племянник Цезаря“ — и больше никто. Жил он с матерью, королевой Гортензией, в швейцарском замке Арененберг. Отец, бывший голландский король, его не жаловал и держал в черном теле.

В замке Арененберг их и посетили в 1836 году Жером и принцесса Матильда. Жили они чрезвычайно скромно, почти бедно. „Замок“, собственно, так назывался больше для поэзии. Это был маленький швейцарский, по-швейцарски убранный, по-швейцарски

разукрашенный дом, — „гемютлиш“*, как говорила королева Гортензия. Будущий император занимал флигелек из нескольких комнат, именованный „Эрмитажем святого Наполеона“. Кабинет был обставлен чрезвычайно просто: обыкновенные стулья, книжные полки из белого дерева, на стенах бесчисленные портреты дяди, оружие и военные карты, хоть тогда никакой войны не было.

Принцессе Матильде было неполных шестнадцать лет. Арененбургский кузен был еще тоже очень молод. Несмотря на крайнюю свою таинственность и романтичность, „племянник Цезаря“ был настроен весело. „Он шутник“, — говорила принцесса Матильда. Они вместе гуляли, поднимались на горы, катались на осле, играли на бильярде, играли в модную тогда игру „клексографию“ — кажется, чернильные кляксы на листе бумаги раздавливались другими листами, и по возникавшим „рисункам демона“ предугадывалось будущее. „Племянник Цезаря“ уже сказал юной гостье, что человеческая душа подобна письму: конверт видит каждый, но содержание знает во всем мире только еще одна человеческая душа.

Тем временем родители, зная и без клексографии о предстоящем браке, обсуждали деловые вопросы. Бывший вестфальский король не мог дать приданое, а бывший голландский король не хотел давать. Однако все было разрешено более или менее благополучно. По вечерам старые и молодые собирались в гостинной замка, и королева Гортензия, отличная музыкантша, надорванным голосом пела свой знаменитый (еще и по сей день иногда исполняемый во Франции) романс: „Partant pour la Syrie“*. 21 мая праздновался 16-й год рождения невесты; состоялась большая „венецианская прогулка по озеру“, и в память угасшего на далеком острове императора пили „вино Звезды“. Через два дня после того принцесса Матильда простилась с женихом и на прощание подарила ему трость с золотым набалдашником в виде собачьей головы — „символ верности“. О помолвке, однако, никому не объявили — и хорошо сделали — странное приключе-

*От нем. *gemütlich* — уютный. — *Прим. ред.*

* „Уезжая в Сирию“ (*фр.*).

ние, очень на шумевшее тогда в мире, помешало браку будущей госпожи Демидовой с будущим Наполеоном III.

IV.

Нам теперь трудно понять все практическое значение наполеоновской легенды в дни Людовика XVIII, Карла X и Людовика Филиппа. Как это ни странно, Наполеон, родоначальник новейших диктаторов, в те дни стал кумиром левых. Появился республиканский бонапартизм. На языке ораторов и публицистов той эпохи, теперь вызывающем улыбку, Наполеон назывался „стальным сыном Свободы“, „революцией, воплощенной в человеке“, „молнией, сокрушившей старый мир“ и т.д. Во всем этом была небольшая доля правды. А то, что с ней не сочеталось, не очень смущало ораторов и публицистов. Военный император возвеличивался в пику штатским королям.

От политиков, естественно, не отставали люди искусства. Всем известны бесчисленные литографии Раффе, Шарле, Белланже, — на одной из них крестьянин говорит священнику, показывая ему на портрет императора: „По-моему, Господь Бог вот кто!“ В парижских театрах шли пьесы из жизни Наполеона. Актер Гобер, необыкновенно похожий на него лицом, сделал большую карьеру. Нам достаточно знакома и наполеоновская поэзия, одинаково блестяще представленная в Англии, Германии, России, Польше, Италии. Во всех литературах мира вставляли из гроба барабанщики, брели во Францию гренадеры и неслись по синим волнам океана корабли со Св.Елены. В Париже свирепствовал Беранже.

Предела все это достигло позднее, в дни прибытия во Францию императорского гроба. Под звуки артиллерийских залпов, в присутствии миллионной толпы, прошла по Парижу запряженная восемью лошадьми гробовая колесница вышиной в трехэтажный дом. В церкви Дворца инвалидов играл оркестр из 400 лучших музыкантов; в хоре пели Гризи, Виардо, Рубини, Тамбурини, Лаблаш. „Государь, я вручаю вам тело императора Наполеона“. — „Я его принимаю именем

Франции“. Генерал Бертран, за 25 лет до того закрывший глаза Наполеону на острове Святой Елены, принес в дар Людовику Филиппу оружие императора: „Государь, я преподношу вам шпагу, которую император Наполеон носил в день сражения при Аустерлице“. — „Я ее принимаю именем Франции“. Весь Париж читал оду „Возвращение императора“, написанную сыном наполеоновского генерала.

О том, как действуют на французов эти стихи Гюго, есть у меня маленькое, очень далекое воспоминание. В торжественной обстановке Муне-Сюлли читал:

Sire, vous reviendrez dans votre capitale
Sans tocsin, sans combat, sans lutte et sans fureur,
Traîné par huit chevaux sous l'arche triomphale
En habit d'Empereur.
Par cette même porte, où Dieu vous accompagne,
Sire, vous reviendrez sur un sublime char,
Glorieux, couronné, saint comme Charlemagne
Et grand comme César...*

Читал он изумительно (вернее, разыгрывал эти стихи). Помню глухой, гробовой, погребальный звук первой строфы, помню еле слышную остановку, скульптурный жест поднятых, широко расставленных рук Муне-Сюлли, нарастающий почти до отчаянного и вместе торжествующего крика звук его знаменитого „медного“ голоса: „Par cette même porte, où Dieu vous accompagne, — Sire, vous reviendrez sur un sublime char“, — это было истинное совершенство декламации. Кажется, я только тогда и стал понимать французов, когда увидел в эту минуту слушателей, побледневшие лица, дам с платками у глаз. Едва ли это все были бонапартисты, — какие уж бонапартисты во

*Государь, вы вернетесь в свою столицу
Без пабата, без битвы, без борьбы и без страха,
Восьмерка лошадей провезет вас под Триумфальной аркой
В одеянии Императора.
Тем же путем, что вел вас Господь,
Вы, Государь, вернетесь в великолепной колеснице, —
В ореоле славы, в короне, святой, как Карл Великий
И великий, как Цезарь... (Фр.)

Франции двадцатого века! Но Наполеон — как и Виктор Гюго — в крови у каждого француза, и я не удивлюсь, если узнаю, что стихи эти не могут читать без сердечного волнения самые левые из французских социалистов (плакал же Кашен, по свидетельству Пуанкаре, при входе французских войск в Страсбург). Воображаю, как ода действовала на современников в пору возвращения императорского гроба. Впоследствии Виктор Гюго, став республиканцем, никак не мог понять: „Да кто же расчистил дорогу к трону Наполеону III, „Наполеону маленькому“?..“

На наполеоновской легенде было всецело построено то предприятие жениха принцессы Матильды, которое в истории известно под названием „страсбургского инцидента“. В сущности, молодой принц хотел повторить дело своего дяди: Наполеон I внезапно возвращается с острова Эльбы, королевское правительство посылает против него войска, — в легендарном сюртуке, в легендарной треуголке, с легендарной шпагой, он быстро появляется перед ними: „Солдаты, кто из вас хочет убить императора?“ — солдаты, рыдая, переходят на его сторону, начинается триумфальное шествие на Париж, король Людовик бежит из дворца. Чудеса повторяются редко. Могло ли дело удасться никому не известному принцу? Кто знает? Через много лет — правда, в совершенно иной обстановке — он и в самом деле взошел на престол. Но, во всяком случае, предприятие было ненадежное. Не было ни сюртука, ни треуголки, ни шпаги, и сам Наполеон III, при несомненной своей даровитости, мало походил на дядю. Вдобавок, подготовлено дело было очень плохо.

Его затеяли в Страсбуре главным образом потому, что в заговоре принял участие командир расположенного там 4-го полка, полковник Водрей. Душой дела был Персиньи, впоследствии один из главных сановников Второй империи. Была у дела еще другая душа: певица Бро, одновременно состоявшая гласно любовницей Персиньи, полугласно любовницей Водрея и негласно любовницей самого принца. Это дело могло стать трагедией, но оказалось опереткой. Принц с фальшивым паспортом прибыл в Страсбург, явился в

казармы 4-го полка и „взбунтовал солдат“. В его прокламации говорилось: „Со скалы Святой Елены прошел по мне взгляд умирающего солнца...“ „В одной руке у меня завещание императора Наполеона, а в другой аустерлицкая шпага...“ „Я сумею победить или умереть за дело народов...“ Все это была недурная словесность, не очень, но только словесность: „взгляд умирающего солнца“ со Св.Елены на молодом принце никогда не останавливался, завещание Наполеона никак его в виду не имело и не могло иметь, аустерлицкой шпаги принц в руках не держал и умирать за дело народов он совершенно не собирался. Но так велико было обаяние наполеоновской легенды, что часть гарнизона перешла на сторону принца. Впоследствии на процессе выяснилось, что одни солдаты считали его сыном императора, а другие, особенно темные, думали, будто неожиданно оказался живым сам император. Через три часа дело было кончено: подоспевшие воинские части задержали принца и его сторонников.

То был „отсталый, некультурный, идиотический XIX век“: полковник Водрей и некоторые другие участники заговора предстали пред судом и были оправданы под бурные восторги публики. Сам принц не был предан и суду: король Людовик Филипп просто предписал посадить его на первое судно и отправить в Америку.

Принц Людовик Наполеон не лишился головы. Но зато он лишился невесты. Ярость в семье принцессы Матильды была необычайная. Жером был вне себя: этот шалопай, став женихом его дочери, в промежутке времени между помолвкой и свадьбой пускается на такие дела! Гнев оскорбленного отца еще усугублялся оттого, что их родственник, король вюртембергский, совершенно не желавший ссориться с французским правительством, грозил прекратить субсидию, если Матильда выйдет замуж за столь шалого человека. Угроза была серьезная. Жером запретил дочери переписываться с женихом и даже с его матерью, „с этой медоточивой интриганкой Гортензией“. Он больше не хотел слышать о браке. „Я лучше выдам дочь за крестьянина, чем за этого честолюбивого эгоиста, по-

ставившего на карту судьбу бедного ребенка, которого я хотел ему доверить“, — заявил бывший вестфальский король.

От самой принцессы Матильды следовало ждать иного. Все-таки страсбургское приключение было делом романтическим и толковать его невеста могла по-своему: „Он хотел сделать меня императрицей Франции!..“ Однако юная принцесса никогда романтизмом не отличалась: хотел сделать, но не сделал. Матильда сказала себе, что, собственно, настоящей влюбленности между ними не было. „У меня к Людовику истинно дружеское чувство, — писала она родственнице, — но влюблена я в него никогда не была“. А главное, ее мечта заключалась в том, чтобы поселиться в Париже. Было ясно, что принца Наполеона теперь во Францию не пустят. В своих воспоминаниях принцесса пишет довольно откровенно: „Мне предстояла (с Людовиком Наполеоном) монотонная, почти монастырская (?) жизнь, тогда как все мои желания, мое честолюбие были направлены к Парижу, к дивному Парижу, о котором мне так много рассказывали: этот город, видевший славу основателя нашего Дома, с колыбели представлялся нам, изгнанникам, землей обетованной...“

В словах этих характер принцессы сказывается довольно ясно. Добавим, однако, и другое. По-видимому, до нее дошел слух, что в Страсбуре ее жених думал не только о ней, но и о певице Бро.

Брак с Наполеоном III не состоялся. Теперь надо было найти другого жениха. „Я лучше выдам дочь за крестьянина“, — сказал бывший вестфальский король. О крестьянах разговор не поднимался, но Жером, по-видимому, несколько понизил требования. Неожиданно появился новый жених, не принадлежавший ни к какой династии. Это был Анатолий Демидов. Незадолго до того великий герцог Тосканский, в благодарность за разные пожертвования, пожаловал ему титул графа Сан-Донато.

Титул был новый и для русского барина не очень серьезный. Но у Демидова было два миллиона рублей годового дохода. Жером колебался: с одной стороны, два миллиона дохода, но, с другой стороны, как же

племяннице Наполеона I стать женой какого-то графа Сан-Донато, — если б он, по крайней мере, был князь? Демидов заявил, что за этим дело не станет. Великий герцог Тосканский был человек сговорчивый: узнав, что русский крез готов основать во Флоренции еще один приют, он согласился сделать графство Сан-Донато княжеством. 29 октября 1840 года был подписан длинейший брачный контракт, подробно изложенный в прекрасной монографии Кюна. Приданое невесты состояло исключительно из реликвий. Жером давал за дочерью две табакерки Наполеона и исторический меч Франциска I, отнятый у него Карлом V и увезенный во Францию Наполеоном после его вступления в Мадрид. К реликвиям Жером якобы добавлял 290 тысяч франков наличными. В действительности он не давал ни гроша: в 50 тысяч были оценены музыкальные инструменты принцессы и ее платья, а в получении 240 тысяч Демидов выдал фиктивную расписку: никогда этих денег он не получал. Так выходило приличнее: у невесты креста сестр 290 тысяч собственных. Со своей стороны князь Сан-Донато обеспечивал жену, если умрет до нее, пять миллионов франков и долю недвижимого имущества; он обязался также приобрести у Жерома (вероятно, недешево) и тотчас подарить невесте жемчужное ожерелье, очень дорогое Бонапартам по фамильным воспоминаниям.

Не надо, однако, думать, что это был исключительно брак по расчету. Жерома, конечно, соблазняло богатство Демидова. Демидов, быть может, хотел породниться — не с Бонапартами, а с королем вюртембергским и через него с русской императорской семьей. Однако, помимо этого, ему чрезвычайно нравилась красавица принцесса. Она тоже была в него влюблена. „Я счастлива сверх всяких слов. Не могу вам сказать, как я счастлива“, — писала она подруге. Магия денег способствовала созданию любви, это случается нередко.

V.

Граф Гарри Кесслер в своих воспоминаниях утверждает, что во второй половине прошлого века в

истории Европы началась новая эпоха: стала раскатываться международная, космополитическая аристократия, которая до того составляла если не единую семью, то единое общество, совершенно не знавшее национализма и не очень считавшееся с национальностью своих членов (язык у всех был общий: французский). Пошатнулся и затрещал „мир красивых женщин, галантных королей, династических комбинаций, Европы XVIII века и Священного союза“. Друг Бисмарка, граф Гелльдорф, так и говорил: „Старый мир кончается, идет новый, черный, очень черный, и бесконечно тревожный...“ Сам Бисмарк считал себя свободным от „наивной веры в породу, присущей незнатным или невежественным людям“. Но в отношении к грядущему черному миру (и в смысле черной кости, и в смысле более пирокком) он вполне со своим другом сходился.

В политическом отношении Кесслер, „красный граф“, друг Вальтера Ратенау, несколько преувеличивает, — хоть верно то, что в первой половине прошлого века Европой правила главным образом „международная космополитическая аристократия“. В отношении же бытовом указание совершенно верно, и с ним согласится всякий, кто хоть немного знаком с мемуарной литературой той эпохи. Свет был тогда очень мал, все друг друга знали, — в большинстве лично, а то понаслышке, через общих знакомых, по разным семейным, дружественным, служебным связям.

В этом международном свете брак принцессы Матильды стал в 1840 году событием. Встретили его по-разному — в общем скорее неблагоприятно. Очень недовольны были остальные Бонапарты: Демидов был слишком богат, кузены и кузины Матильды не чувствовали радости от того, что девчонке достались миллионы. В Петербурге говорили, что Николай Павлович в ярости: по матери принцесса Матильда приходилась ему довольно близкой родственницей, — с ним таким образом вступал в свойство его подданный, коллежский ассессор Демидов, которого он вдобавок терпеть не мог. В Париже газеты возмущенно писали, что король Жером отдал в приданое за доче-

рю меч Франциска I: в Россию таким образом уходит французская национальная реликвия*.

Тотчас после свадьбы князь и княгиня Сан-Дonato отправились в свадебное путешествие в Рим. Оттуда они предполагали выехать в Париж и там поселиться. О Париже княгиня мечтала всю жизнь, теперь мечта должна была осуществиться: въезд во Францию был запрещен принцессе Бонапарт, но русская подданная, госпожа Демидова, могла жить где ей угодно.

Казалось бы, Демидовы имели все, что нужно для человеческого счастья: они были молоды, здоровы, несметно богаты; еще совсем недавно как будто страстно любили друг друга. Однако свадебное путешествие оказалось печальным. Что именно произошло между мужем и женой, мы не знаем. Принцесса Матильда (впоследствии отзывавшаяся о своем муже весьма резко и враждебно) до конца своих дней сохранила к нему чувства смешанные. На своем выразительном, бонапартовском, отнюдь не придворном языке она сама сказала: „Не проходит безнаказанной любовь к первому мужчине, с которым просыпается женщина...“ Но ссоры между мужем и женой начались уже во время свадебного путешествия.

Неблагоприятно сложились и обстоятельства внешние. В Риме у Демидова вышла большая неприятность. Как известно, католическая церковь относится в принципе отрицательно к бракам католиков с иноверьцами. В ту пору папой был Григорий XVI, автор „Торжества Святейшего Престола“. П; и нем отрицательное отношение к смешанным бракам повлекло за собой напумевший на весь мир конфликт с прусским правительством (дело Дроста фон Вишеринга). Однако принцессе Матильде было римской курией разрешено выйти замуж за православного при условии, что дети будут воспитываться в католической вере. Демидов подписал в этом клятвенное обязательство. Он, вероятно, знал, что его обещание никакой юридиче-

*Дальнейшая судьба этой исторической драгоценности мне неизвестна. Быть может, Анатолий Демидов вернул ее жене в ту пору, когда они разошлись. Но скорее меч, принадлежавший Франциску I, Карлу V и Наполеону, хранился до революции в каком-либо из демидовских имений, а теперь валяется в чулане где-нибудь в захолустном колхозе.

ской силы в России иметь не будет. Не могла не знать об этом и римская курия. Самое обязательство было составлено в форме довольно неопределенной: князь Сан-Дonato обещал *разрешить* своим детям исповедовать католическую веру. Должно быть, компромисса добился король Жером: старый атеист имел в Ватикане давние связи. Однако при неблагоприятном отношении части общества к браку принцессы Матильды тотчас распространился слух, будто ее муж заплатил в Риме большие деньги. Называли и цифру: 600 тысяч франков — точность в сплетнях обязательна.

Сплетня дошла до Ватикана с добавлением, что слух этот распространяет сам Демидов. Григорий XVI был возмущен. За полученное принцессой Матильдой разрешение курии на брак было в действительности заплачено 16 паоли какого-то сбора: приблизительно 9 франков (Кюн). Случай, кажется, небывалый, — папа (точнее, государственный секретарь, известный кардинал Ламбрускини) обратился ко всем иностранным послам в Риме, и прежде всего, естественно, к представителю России Потемкину, с решительным протестом против клеветнических слухов, будто бы распускаемых князем Сан-Дonato.

Потемкин пригласил к себе Демидова для объяснений. Вспыльчивый князь Сан-Дonato ответил, что если Потемкину угодно его видеть, то он может заехать к ним с визитом. Кончилось это грубой ссорой, перешедшей в драку, — по одним сведениям, между Потемкиным и Демидовым, по другим, между Потемкиным и секретарем Демидова. О скандале было немедленно сообщено в Петербург. К Новому году курьер привез приказ царя: Демидову предписывалось тотчас вернуться в Россию, под угрозой конфискации всех его имений.

Мечты принцессы Матильды о Париже рухнули. Она была в отчаянии. После некоторого колебания Демидовы подчинились приказу и выехали в Петербург. Путешествовали долго, шесть недель, в лютый холод. Принцесса оставила подробное и патетическое описание их путешествия, но не каждому слову надо верить в мемуарах, написанных через полвека после событий. Отношения между супругами все ухудша-

лись в дороге, и приехали они в Демидовский дворец на Английской набережной чуть только не врагами.

Главная их надежда была на протекцию со стороны великой княгини Елены Павловны. Биография этой женщины еще не написана. Ее отец, принц Павел Вюртембергский, рассорившись со своим братом-королем, поселился в Париже и отдал дочь в пансион, где будущая русская великая княгиня воспитывалась вместе с дочерьми французских революционеров, уже ставших к тому времени наполеоновской знатью. Вероятно, именно в Париже вюртембергская принцесса Фредерика Шарлотта Мария, впоследствии Елена Павловна, пришла к мысли, что люди везде, на всех общественных уровнях, приблизительно одинаковы и приблизительно стоят друг друга. Она отчасти создала тот женский тип, последней представительницей которого в России была баронесса Варвара Икскуль.

Брак принцессы Фредерики с великим князем Михаилом Павловичем был парадоксальный и, по свидетельству современников, не очень счастливый. Михаил Павлович был реакционером. Елена Павловна высказывала иногда мысли, которые показались бы радикальными не только во дворцах. Ее радикализм, впрочем, вполне уживался с полным уважением к традициям. Она могла бы сказать, как лорд Бальфур: „Лучше вести политику нелепую, но делавшуюся тысячу раз, чем политику мудрую, но не делавшуюся ни разу“. Позднейшая роль великой княгини в освобождении крестьян, в реформах Милютина, в биографии Рубинштейнов, в делах Пирогова, в создании лучших благотворительных учреждений старого строя — все это подробно еще не исследовано и известно лишь в общих чертах.

Странно то, что, со своими либеральными взглядами, великая княгиня была любимицей Николая I! Расходились они как будто почти во всем, но царь часто у Елены Павловны бывал. „Елена — это ученый нашего семейства“, — говорил император. Она действительно была очень образованна, — ее воспитанием руководил в Париже сам Кювье. Все современники лестно отзывались о ее красоте и уме. „Личико у нее премиленькое, и таким, конечно, всякому покажется, потому что имеет черты правильные, свежесть роза-

на, взгляд живой, вид ласковый“, — писал дочери (Самариной) Юрий Нелединский-Мелецкий. „Cette princesse si belle, si spirituelle, est célèbre en Europe pour la grâce de ses manières et l'intérêt de sa conversation“*, — замечает Кюстин, ненавидевший и царскую Россию, и русских вообще. „У великой княгини много противников в петербургском обществе. Причина тому — превосходство ее ума и ее обращения, в котором она не допускает излишней фамильярности“, — говорит Киселев. Иосиф Бертенсон вскользь упоминает о „необыкновенном светлом уме“ Елены Павловны.

Принцесса Матильда приходилась великой княгине двоюродной сестрой и принята была как родная. На нее посыпались приглашения, — именно на нее, а не на ее мужа. В первый же день, когда принцесса была приглашена одна на обед в Михайловский дворец, Демидов устроил ей бурную сцену, заявив, что не желает играть роль принца-супруга. В действительности, он не рассматривался и как принц-супруг. Титул князя Сан-Донато за ним в России признан не был: он был просто коллежский ассессор Демидов, находящийся в немилости у царя. Елена Павловна, ничего против него не имевшая, могла только сказать принцессе: „Il ne sera question de rien pour votre mari, mais on lui conseille de faire le mort“^а. „Он“^а это был, разумеется, Николай I.

В первое же воскресенье после приезда в Петербург Матильда была представлена императору и чрезвычайно ему понравилась. В своих воспоминаниях принцесса об этом говорит несколько неопределенно, как бы уклончиво, но вывод из ее слов, очевидно, должен напрашиваться сам собой: она дает понять, что царь в нее влюбился. Ничего невозможного тут, конечно, нет, но что-то уж слишком много коронованных особ влюблялось в принцессу Матильду: и Наполеон III, и Александр II, и Николай I. По-видимому, „романа“ в настоящем смысле не было (принцесса

*Эта красивая и остроумная княгиня известна в Европе своими изящными малерами и интересной беседой“ (Фр.).

^а„Вашему мужу ничего не угрожает, но некто советует ему молчать“ (Фр.).

^а„Некто“ (Фр.).

этого и не утверждает), а большая милость, несомненно, была. Дочь Николая, королева Вюртембергская Ольга, впоследствии говорила о Матильде:

„Кажется, она воображала, что ее дядя все еще царствует... Искренность ее была очаровательна, но в нашем кругу удивляла: она порою бывала угрюма, однако умела поступаться своей гордостью, когда надо было чего-либо добиться. Нельзя было понять, любит ли она или ненавидит своего мужа... Мой отец имел к ней слабость, но он совершенно не выносил Демидова, и ему было неприятно, что она замужем за этим человеком... Нелестно отзывалась о ней впоследствии и императрица Евгения, считавшая ее женщиной дерзкой, безнравственной („de vie dissolue“), злой на язык и никого не щадящей...“

В России молодожены не засиделись. 17 августа они приехали в Париж. Мечта наконец сбылась.

Здесь, собственно, и кончаются юные годы принцессы Матильды. Парижский период ее жизни имеет тесное отношение не только к малой, но и к большой истории. Продолжался он очень долго: без малого семьдесят лет. Жизнь принцессе выпала занимательная. Она знала едва ли не всех французских, русских, немецких, английских государственных людей последнего века, была дружна с Сен-Бёвом, Флобером, Гонкурами, Тэнном, Ренаном, Пастером, обоими Дюма, Литтре, Клодом Бернаром. В ее доме, на улице Вегги, в котором теперь помещается бельгийская миссия, сошел с ума — или обнаружил первые признаки безумия — Мопассан. Видела она вообще очень много. Лучшей чертой в принцессе Матильде был именно жадный интерес к жизни, к людям вообще и особенно к талантливым людям. В сочетании с высоким общественным положением, это создало ей „право на биографию“ — право вообще довольно неопределенное. „Характеристикой“ ее заниматься не стоит: в ней ничего замечательного не было, но ее имя попадает в исторических книгах, в биографиях писателей, в мемуарах современников беспрестанно. Был ли мир, в котором она жила, „хуже“ или „лучше“ среднего уровня мира противоположного, враждебного, — не знаю. Тут беспристрастная оценка вряд ли возможна. На

снисходительность же оба мира теперь имеют достаточное право.

В конце жизни принцессы в Париже было принято над ней подтрунивать. Всем было известно, что она состоит в каком-то подобии гражданского брака с художником, носившим прозаическую фамилию Попелен*, что она целиком приняла его взгляды* и тем не менее вечно с ним воюет. Общество перестало прощать принцессе и ее резкость. А скорее всего, тут сказался обычный закон общественной расплаты за прежние неумеренные восторги.

*Об этом много раз сообщалось в печати. Сообщил это и „Готский альманах“ в издании 1879 года. В следующем издании заметка была снята.

*В 1886 году ее друг Тэн опубликовал свои знаменитые страницы о Наполеоне и о Бонапартах. Принцесса Матильда, усмотревшая в его работе оскорбление своего дяди и особенно Madame Mère, навсегда прекратила с Тэном знакомство и послала ему свою визитную карточку с буквами р. р. с. (pour prendre congé — никогда ее не беспокоить. — *Пер. ред*). Это вызвало в Париже сенсацию. Буквы были немедленно переведены: *Popelin pas content* — Попелен не доволен. — *Пер. ред*

Фиески*

I.

Покушение на короля Людовика Филиппа, стоившее жизни восемнадцати ни в чем не повинным людям, интересно во многих отношениях. Но особенно замечательно в нем то, что ждали его решительно все; ждали в тот самый день, когда произошло покушение, и почти на том самом месте, где оно произошло.

Кампания, которая велась против Людовика Филиппа, нам теперь не совсем понятна. С демократической точки зрения новая монархия грешила преимущественно избирательной системой. Но когда читаешь газеты, книги, журналы того времени, замечаспсь с удивлением, что об этом говорилось сравнительно мало. Особенно гневные нападки относились к личности короля. Между тем по общему, кажется, мнению историков, сын Филиппа Эгалите был весьма неглупый и не злой, передовых взглядов, человек, вдобавок обладавший огромным жизненным опытом. Он вырос при старом дворе, потом видел вблизи революцию, прожил долгие годы в изгнании, знал и огромное богатство, и совершенную нищету: герцоги Орлеанские до революции и после реставрации считались чуть ли не самыми богатыми людьми в Европе*. Но в эмиграции Людовик Филипп, под фамилией Шабо-Латура, жил уроками французского языка, географии, математики, истории. Быть может, поэтому он знал цену

*Немало написано о кровавом покушении Фиески. Все же лучшим источником остаются подлинные документы, хранящиеся во французском Государственном архиве (папка СС 673 и следующие за пей), а также понстие образцовый официальный отчет, выпедпий сто лет тому назад отдельным многотомным изданием. Они и положены в основу настоящей статьи.

*В одном из больших словарей того времени есть указание, что самым богатым частным человеком в мире надо считать графа Шерметева, а самой богатой династией — французскую (Орлеанскую).

деньгам и тратил их экономно. Левые и правые газеты травили его за скупость и за спекуляции. Однако по биографиям тех, кто травил короля, трудно сделать вывод, что сами они отличались совершенным пренебрежением к деньгам. На спекуляциях ведь составил свое недолгое богатство и Сен-Симон, посмертная слава которого в ту пору была очень велика. Особенности и небезуспешные усилия прилагались к тому, чтобы связать имя короля с разными финансовыми скандалами.

Финансовых скандалов тогда было много: столько же, сколько теперь, — приблизительно столько же, сколько их бывает в любое время в любой стране, где о них разрешается говорить и писать. У людей короткая память: трудно без улыбки читать, как громят за „повальную продажность“ Французскую республику. *Commovent homines non res sed de rebus opiniones**. Количественных отличий забывать не надо, однако что ж отрицать: „с известной точки зрения“, вся история мира есть сплошной финансовый скандал. Говорю: „с известной точки зрения“, но это очень скверная точка зрения. О скандалах ничего не слышно в тех странах, где есть концентрационные лагеря — не столько для виновников скандалов, сколько для тех, кто пожелал бы о них писать. Поэтому гитлеровский режим, например, был неизмеримо „чище“ веймарского. Называть же это можно иллюзией, перспективой, оптическим обманом — слава Богу, разные есть слова для прикрытия человеческого простодушия. „Тридцать тысяч столоначальников“ правят всеми странами мира, и нельзя требовать, чтобы на тридцать тысяч должностных лиц разных рангов не было некоторого числа мошенников. Остальное зависит от политических нравов, газетных обычаев и концентрационных лагерей.

В то время о денежных скандалах говорили и писали каждый день. Было дело так называемой сахарной премии, по которому обвиняли в продажности самого Казимира Перье. Было дело 26 министров и депутатов, связанное с Авейронскими сталелитейны-

*Людей волнуют не сами дела, а сопровождающие их сплетни (лат.).

ми заводами. Было дело Кесснера, — тут замешан был министр финансов. Было банкротство знаменитого Лаффита. Ко всем этим делам король не имел отношения, хоть Лаффит, бывший министр-президент, с парламентской трибуны намекнул, что король, воспользовавшись его трудным положением, откупил у него за 10 миллионов франков Бретельское имение, стоявшее в действительности 13 миллионов. Обвинение было совершенно вздорное: это имение сам Лаффит пятью годами раньше приобрел за вдвое меньшую сумму, а король позднее его перепродал всего за 4,4 миллиона франков. Но, разумеется, намек министра-президента был должным образом использован.

Еще неприятнее были другие дела. Вступая на престол, Людовик Филипп, человек благоразумный, — все может случиться — перевел на имя сыновей свое огромное личное состояние. Позднее выяснилось, что пошлины по этому юридическому акту, составлявшие 3 503 000 франков, не были казне своевременно уплачены, — новый скандал.

Больше же всего повредило королю громкое дело о наследстве, завещанном его малолетнему сыну. 27 августа 1830 года в спальной своего замка Сен-Ле был найден висящим на оконной задвижке герцог Людовик Генрих Бурбонский, последний представитель знаменитого рода принцев Конде. Загадочные обстоятельства его смерти так никогда выяснены и не были*. Было объявлено, что он повесился. Но, как водится, этому в Париже не верили: ясное дело, принцу „помогли умереть“. Состояние свое, исчислявшееся в шестьдесят миллионов золотых франков, престарелый Конде завещал 8-летнему герцогу Омальскому, сыну Людовика Филиппа. Между тем всей своей жизнью принц был тесно связан со старшей линией Бурбонов. Каким образом последний в роде Конде, сын главнокомандующего эмигрантской армией, отец расстрелянного герцога Энгийенского, мог завещать свое богатство потомку цареубийцы, внуку Филиппа Эгалите? Князя Роганы, свойственники Конде, затеяли процесс; их адвокат Эннекен на суде обвинял короля во всевозможных интригах, в

*По-видимому, Конде убила его любовница.

незаконном присвоении чужих денег. Другие шли еще дальше.

Свобода слова в ту пору во Франции была полная. Нельзя без удивления читать, как писали тогда и обо особе короля, и обо всем политическом строе июльской монархии. Тон оппозиционных газет был знакомый, классический: „Так дальше жить нельзя, все гниет, все продажно, *on étouffe!*..“* На этом сходились и республиканские газеты, и „карлистские“ (то есть отстаивавшие права короля Карла X). В дальнейшем они, естественно, расходились: первые доказывали, что стоит установить республику, и никаких скандалов больше никогда не будет; вторые требовали восстановления на престоле старшей линии Бурбонов — скандалы немедленно как рукой снимет. Первые несколько преувеличивали; вторые же были совершенно правы; где о скандалах нельзя писать, там, повторяю, скандалов и нет. Во всяком случае, лозунг был дан: „*On étouffe!*..“ Таков довольно обычный способ борьбы с властью в условиях более или менее либерального строя. Короля поливали помоями почти ежедневно. Людовик Филипп относился к этому философски. Изредка, впрочем, не выдерживал и он. Однажды на заседании правительства министр Дюпон заявил, что в подобной атмосфере работать нет никакой возможности: „Это каторга!“ („*Maudite galère!*“*) „Каторга! — закричал король. — Да, каторга! Но для вас на время, а для меня бессрочная!“ Сходя с престола после февральской революции, Людовик Филипп сказал, что не легче будет и его преемникам, кто бы они ни были: „Во Франции уважение к власти потеряно и не вернется“.

Вдобавок был тяжкий хозяйственный кризис. Обычно кризисы сливаются со скандалами настолько, что становится трудно отличить причину от следствия. В первые годы царствования Людовика Филиппа дела шли нехорошо. Появилась безработица. Оказалось, что во Франции слишком много иностранцев. „Побежденные и изгнанники, — писал Арто, — нахлынули во

*Нечем дышать!..(фр.)

*„Проклятая каторга!“ (фр.)

Францию из всех стран... Польские бедствия, государственные волнения в германской конфедерации, гонения Фердинанда VII и дона Мигуэля, преследования в Австрии выбросили к нам 6000 польских эмигрантов, 4000 германских, итальянских, испанских, португальских. Они обходились нашей казне в 3 — 4 миллиона франков в год. Между тем у нас у самих дела были трудные — дороговизна, безработица, тяжкие налоги. Далеко не всегда было удовлетворительным и поведение этих эмигрантов. Многие из них не слишком были нам признательны за оказанное им гостеприимство⁴, и т.д. Правительство стало принимать против иностранцев разные неприятные меры, вроде высылки из Парижа (правда, не за границу, а в тридцать особо для того предназначенных провинциальных городов). Продолжалось это недолго, — скоро надоело. Так неизменно бывает во Франции. Все народы недолюбливают засиживающихся гостей, но французам ксенофобия менее свойственна, чем какому бы то ни было другому народу: главным образом, вследствие того, что в Париже к иностранцам есть даже не вековая, а тысячелетняя привычка. В других странах эмигрантов не трогали: их туда вообще не пускали.

II.

И вдруг стали распространяться слухи, что дело скоро кончится: подобный режим существовать не может и не должен. Слова эти начали уточняться: Людовика Филиппа убьют. Потом сведения стали еще точнее: короля убьют при праздновании пятилетней годовщины июльской революции, посадившей его на трон.

Покушение Фиески произошло 28 июля. За несколько дней до того на франкфуртской бирже началась была паника: что-то готовится в Париже. В Генуе 24-го распространился слух, будто на французского короля произведено покушение*. О том же, как выяснило следствие, говорили с начала июля в Бельгии, в Швейцарии, в Бадене, в Мюнхене. Не стес-

*Cour des Pairs. Attentat de 28 Juillet 1835. Rapport du comte Portalis.

нялись и газеты. В верденской газете „Industriel de la Meuse“* утром 28 июля, то есть за несколько часов до покушения, появилась корреспонденция из Парижа (от 26-го). Корреспондент в весьма иронической форме сообщал, что в столице ходят слухи, будто Людовика Филиппа убьют послезавтра на параде. „Я надеюсь, — добавлял он, — во вторник телеграф вас оповестит, что все сошло благополучно“. Сходные заметки, негодующие или почти радостные, появились и в некоторых других органах печати. Газета „France“ (за то же число) деликатно намекала: день, конечно, праздничный, но как бы он не закончился похоронами.

Полиция же имела сведения еще более точные. На 28 июля был в Париже назначен смотр национальной гвардии. Король Людовик Филипп в сопровождении сыновей, свиты, министров должен был в это утро верхом проехать из Тюильри, по бульварам, на площадь Бастилии и вернуться той же дорогой, через бульвары, домой. В ночь на 28-е префекту полиции сообщил комиссар Дионне, что по пути из дворца на площадь Бастилии король будет убит: покушение произойдет недалеко от театра Амбигю. Нельзя сказать, чтобы префект принял чрезвычайные меры. В Париже в ту пору было два театра Амбигю: один — поныне существующий на бульваре Сен-Мартен, другой — на бульваре Тампль. Вокруг первого полиция произвела несколько обысков по погребам — нет ли где подкопа. О втором она позабыла. Префект, впрочем, счел своим долгом сделать утром доклад министру внутренних дел Тьеру. Тьер проявил энергию и распорядительность не менее замечательные. За несколько минут до выезда процессии из Тюильри он, по собственным его словам, отвел в сторону трех молодых сыновей Людовика Филиппа и сказал им: „Veillez bien sur votre père“#. Принцы решили, что один из них будет ехать справа от короля, другой слева, а третий позади. Кроме того, старый маршал Мортье, герцог Тревизский, тоже слышавший о предстоящем покушении, обещал, что будет следить и он: „Король мень-

*Archives Nationales, CC 678.

#"Присмотрите за своим отцом" (*φр.*).

ше меня ростом, — сказал маршал, — если в него выстрелят, я прикрою его своим телом“.

Герцог Тревизский сдержал слово: он действительно погиб в этот памятный день. Но нельзя не сказать, меры, принятые для охраны Людовика Филиппа, были изумительны: наблюдение со стороны трех принцев в возрасте от 17 до 25 лет и тело маршала Мортье!

После убийства короля Александра I в правых французских газетах обвиняли порядки Третьей республики. Всякий народ, всякая полиция, всякий человек „имеют недостатки своих достоинств“. Высокие качества французов несовместимы с немецким порядком и дисциплиной — тут ни при каком строе ничего не поделаешь. Я не сомневаюсь, что и при Наполеоне I в Париже нельзя было наладить манифестацию, митинг, праздник так, как это делают в любом германском городке, без Наполеона на должности бургомистра.

Получив доклад комиссара, префект полиции Жиске, вероятно, себе сказал: „*On verra bien, on ne sait jamais*“*, что ж ночью будить министра, доклад не убежит. То же самое если не думали, то чувствовали и все его подчиненные: человек не машина, надо и пообедать, и выпить вина, — да, может, и покушения никакого не будет, много врут люди, всего и вообще не предусмотритишь, *on ne sait jamais, on verra bien...*“[†] Добавлю, впрочем, что и техника охранного дела тогда в сравнение не шла с нынешней. В пору всевозможных восстаний, заговоров, карбонариев император Николай I, без конвоя, один в санях, разъезжал по улицам Петербурга. О мерах охраны других европейских монархов смешно и вспоминать.

III.

Сто лет тому назад нынешней площади Республики не было. На этом месте находилась небольшая *Place du Château d'Eau*, названная так по фонтану, впоследствии перенесенному на площадь Домениль. В ту

*„Посмотрим, кто знает“ (фр.).

†Кто знает, посмотрим... (фр.)

пору это было едва ли не самое веселое место Парижа: почти все театры находились здесь или, точнее, на той части бульвара Тампль, которая непосредственно примыкала к Château d'Eau (она была снесена в 1862 году). В уцелевшей части бульвара еще осталось несколько домов со столетней историей. В одном из них помещается популярный ресторан Бонвале, существовавший и в то время. Рядом с ним тянулся увеселительный Турецкий сад, далекий предшественник разных нынешних „Луна-парков“ и „Мажик-сити“, созданный в эпоху Директории, когда Франция затанцевала после революции.

На другой стороне улицы, наискось против ресторана Бонвале, совсем близко от площади, приблизительно там, где теперь находится № 42, стоял в ту пору узкий трехэтажный дом с покатою крышей, тогда № 50 (давно снесенный). Внизу помещались две небольшие кофейни, между ними находился „парадный ход“. Особенного парада в доме, впрочем, не было, населен он был людьми очень бедными. Дом принадлежал чиновнику Билькоку, а сдачей квартир заведовал 80-летний консьерж Пьер Сальмон.

В начале 1835 года в доме освободилась квартира в третьем этаже, из двух комнат, с кухней и передней. Цена была невысокая и по тем временам: триста франков в год, „plus le sol par livre pour le portier“* — как сказано в хранящейся в архиве квитанции, найденной при обыске у Фиески.

Пустовала квартира недолго. 7 марта в дом зашли два человека: один, в серой шляпе, средних лет, другой старик лет шестидесяти. Престарелый консьерж показал им квартиру. Она человеку в серой шляпе понравилась. Лучшая комната выходила окном на бульвар, вид был прямо на Турецкий сад. Подходящей оказалась и цена. Новый жилец тут же дал приличный задаток — пять франков. Времена были идиллические, никаких бумаг не требовалось. Консьерж спросил фамилию. — „Жерар, по профессии механик, собираюсь скоро обзавестись своим магазином. Жду из провинции жену, а это мой дядя“. Мосье Жерар был человек очень словоохотливый; дядя, напротив,

* „И вдобавок по ливру за привратника“ (Фр.).

больше молчал, но он и зашел так, за компанию, — не ему жить в квартире. На следующий же день мосье Жерар привез мебель: стол, четыре стула и матрац вместо кровати. Такая обстановка, даже в этом доме, не могла внушить консьержу большого доверия; он потребовал плату вперед. Жилец заплатил ему „полтерма“ (37 франков 50 сантимов) и пояснил, что настоящей мебелью обзаведется, когда придет жена: она все и купит.

Объяснение было правдоподобное, да и подозрения, конечно, относились только к кредитоспособности нового жильца. Собственно, некоторые сомнения могло вызвать у консьержа другое. Жилец носил чисто французскую фамилию. Между тем говорил он весьма странно. Я видел в архиве бумаги, писанные рукой Фисеки. Он „oui“ пишет с h в начале слова. Из бумаг этих достаточно ясно, что и устная речь его не только по акценту, но и по построению фраз была чрезвычайно далека от французской. Однако и это подозрений не вызвало. Мосье Жерар объявил, что он родом южанин, и акцент его был признан гасконским.

В архиве сохранились показания всех жильцов дома № 50. На их долю выпало, без всякой вины, немало неприятностей: почти все они в первый день после покушения были сгоряча схвачены полицией. Допрашивали их много раз. Иных допрашивал сам барон Пакье, высокий сановник, председатель палаты пэров, судившей Фисеки и его сообщников. По бесхитростным ответам всех этих бедных людей видно, как их оглушил удар: мосье Жерар был не мосье Жерар, не механик, а террорист, собирающийся убить короля Людовика Филиппа!

В общем, в доме его, по-видимому, любили. Впрочем, бывали и столкновения. Так, дочь консьержа жаловалась, что мосье Жерар приходит домой слишком поздно: она не обязана отворять дверь в 11 часов вечера. Свидетельница Андресер, жившая этажом ниже, показывала, что этот проклятый Жерар вставал в пять часов утра и вечно ее будил — она раз прямо ему и сказала, что так нельзя. На свидетельницу Андресер мосье Жерар накричал: сами ничего не

* „Да“ (фр.).

деласте, да еще хотите мешать труженикам работать! Дочери же консьержки сделал уступку: возвращаясь после десяти часов вечера домой, больше не звонил, а проходил через кофейню, — у лакея Ларше был ключ от внутренней двери. С лакеем Ларше он был в хороших отношениях: поил его пивом и разговаривал о политике. „Мосье Жерар всегда говорил об одной книге, где речь шла о Сен-Жюсте, — показывал на следствии напуганный Ларше, — я поэтому решил, что он служит в полиции...“ Вывод несколько неожиданный. Лучше всего то, что он был не лишен основания.

IV.

Ровно в 9 часов утра из Тюильрийского дворца выехала пышная процессия. Вслед за командующим национальной гвардией, маршалом де Лобо, ехал верхом на своем сером коне Режане король Людовик Филипп в синем мундире, с большой лентой Почетного легиона через плечо. По сторонам от него находились герцоги Орлеанский и Немурский, далее третий сын короля, принц Жуанвильский, маршалы Мортье, Мэзон и Молитор, министры де Брой и Тьер, девятнадцать генералов, адъютанты, конвой.

Процессия двигалась очень медленно — весь Париж должен был увидеть короля. Только к полудню шествие стало подходить к тому месту, которое, по полицейским сведениям, надо было считать опасным. По-видимому, все очень волновались. Когда процессия выехала на бульвар Сен-Мартен, маршал Мортье, участвовавший в тридцати сражениях, наклонился к соседу и, прикоснувшись к груди, сказал: „Я чувствую тяжесть...“ Показался театр Амбигю — тут-то, по донесению полицейского комиссара, и следовало ждать покушения. Процессия медленно проследовала к Château d'Eau — не произошло ничего. Люди вздохнули свободно: слава Богу! Король выехал на бульвар Тампль.

Вдруг слева в узеньком доме с покатой крышей, в окне третьего этажа, появился дымок. В ту же секунду загремели выстрелы. Они следовали один за другим с непостижимой быстротой, почти сливаясь. Пу-

леметов в ту пору не было, старые боевые офицеры, составлявшие свиту Людовика Филиппа, совершенно не могли понять, что это такое. Режан рванулся в сторону и поднялся на дыбы. Другие лошади помчались вперед, волоча за собой всадников. Отчаянный крик „Король убит!“ слился с воем толпы. На мостовой, на широких в этом месте тротуарах бульвара валялись лошади, люди. Маршал Мортье, убитый наповал, лежал в луже крови, окруженный другими трупами.

Король не был убит, пуля только оцарапала ему лоб; другая пуля ранила лошадь. Людовик Филипп сохранил совершенное спокойствие. Кто из высокопоставленных лиц стал отдавать распоряжения, неизвестно, — вероятно, сразу все. Тьер, соскочив с лошади, что-то кричал пронзительным голосом. Адъютанты поднимали лежавших. Бросились искать врачей. Убитых и раненых переносили в Турецкий сад, тело герцога Тревизского положили на бильярд. Наповал было убито одиннадцать человек, ранено еще человек сорок; из них многие скончались в тот же день.

У окна дома № 50 неотразимой уликой вился черный дым. Полиция, офицеры, люди посмелее из публики ринулись в дом. Входная дверь была заперта: все жильцы с утра высыпали на бульвар посмотреть на процессию — консьерж счел полезным запереть дом на замок. Полицейские вышибли дверь и бросились вверх по лестнице. Достаточно ясно было, куда надо бежать: из квартиры третьего этажа шел едкий дым. В квартире никого не было. Но вся она была залита кровью. У окна с побитыми стеклами стояло какое-то странное сооружение.

В первом томе изданного в 1836 году отчета о покушении на Людовика Филиппа есть подробные чертежи грозного изобретения Фиески. Не буду утомлять читателя техническими подробностями. По-видимому, в основу адской машины был положен принцип многоствольной кулеврины. На вертикальной деревянной раме были параллельно укреплены 24 ружейных ствола. Винты и рычаги позволяли придавать им любое направление. При помощи фитиля воспламенялся заряд, огонь проникал к снарядам через отвер-

ствия, просверленные в стенке стволов. Шнур был общий, и 24 выстрела последовали почти одновременно. Некоторые стволы заряжены были не пулями, а крупной дробью — отсюда и большое число сравнительно легких ранений.

Позади бульвара, параллельно ему идет улица Amelot, тогда называвшаяся rue Fossés du Temple. Дом № 39 по этой улице имел общий двор с выходящим на бульвар домом № 50. По типу оба дома, вероятно, были очень близки один к другому: маленькие квартиры, населенные бедными людьми, темные коридоры, жалкие лестницы. В одной из квартир этого дома жил еврейский лавочник Шимен с женой, детьми и свояченицей dame Gomez. Он имел чин сержанта национальной гвардии. Лавочник с утра надел мундир и отправился на улицу поглядеть на короля. Дома с детьми осталась свояченица. В первом часу дня случилось нечто непостижимое, — можно предположить, что свояченица Шимена до конца своих дней помнила об этой минуте. Откуда-то донесся дикий грохот, вой, рев. Перепугавшаяся насмерть dame Gomez бросилась в выходящую во двор кухню. В ту же секунду у окна мелькнула тень: какой-то человек спускался во двор по веревке. У открытого окна он задержался — и вдруг очутился в квартире Шимена. Свояченица лавочника закричала. Окровавленный человек с силой ее толкнул, прохрипел: „Пропустите“ и бросился к выходной лестнице.

Внизу его схватили: кто-то во дворе увидел, как он спускался по веревке; к выходной двери уже бежали национальные гвардейцы, полиция, толпа. Злоумышленника сильно избили. Он и до того был еле жив: несколько стволов адской машины разорвалось. Протокол отмечает: „весьма тяжкие раны: череп проломан, видно движение мозга, челюсть раздроблена, три пальца левой руки сломаны, на нижней губе рана в четыре дюйма“.

Его перенесли в ту самую комнату, где стояла адская машина. Через полчаса уже начался допрос — первый из 37 допросов, которым подвергался Фиески. Протокол этого допроса (как и всех других) сохранился:

Вопрос. — Как вас зовут?

Ответ. — Жерар.

Вопрос. — Ваша профессия? Где вы живете?

Ответ. — Механик... Здесь...

Вопрос. — Сколько вас было?

Ответ. — Несколько раз поднимает один палец.

Вопрос. — Сколько времени вы изготовляли эту машину?

Ответ. — Поднимает один, два, три, четыре, пять пальцев.

Вопрос. — Дней или недель?

Ответ. — Недель.

Вопрос. — Кто толкнул вас на это преступление?

Ответ. — Я сам...

Вопрос. — Вы хотели убить короля?

Ответ. — Делает головой знак подтверждения...

„Мы желали продолжать допрос, но более не добились ни слов, ни знаков... Тогда мы прочли ему настоящий протокол и спросили, верны ли его ответы. Сделал головой знак, что верны. Мы спросили его, желает ли он и может ли подписать протокол. Сделал головой знак, что не может“.

V.

Кроме звучного имени, в Фиски нет ничего романтического.

Он родился в 1790 году в корсиканском городке Мурато. Впрочем, сам он говорил, что родился в 1794 году, — кажется, скрывал возраст, чтобы нравиться дамам: в те времена 45-летние люди считались чуть только не стариками. Отец его был уголовный преступник; мать умерла рано; была мачеха. Никакого воспитания он не получил. 18-ти лет от роду (по его словам, 14-ти) вступил в наполеоновскую армию и воевал почти непрерывно шесть лет; участвовал в войне 1812 года, побывал в Москве, очень отличился под Полоцком: в стычке французский командир был убит; сержант Фиски занял его место, отбил нападение и взял в плен пятьдесят казаков. Позднее, по его

словам, он принимал участие в знаменитой калабрийской экспедиции Мюрата, в результате которой этот необыкновенный человек — трактирный слуга, ставший неаполитанским королем, „глупый хвостун, бывший лучшим кавалерийским генералом в истории“, — как определил Мюрата Наполеон. Впрочем, майор Вейль, писавший о Фисски, утверждает, — на мой взгляд, без достаточных оснований, — что к мюратовскому делу он никакого отношения не имел. Зачем ему было врать? В его храбрости сомневаться не приходится. Но и то сказать, Фисски весьма часто фантазировал без всякой надобности. Это был „южанин“, и в прямом, и в условном смысле слова.

Несколько позднее, после окончания наполеоновских войн, с ним случилось несчастье. Он украл у родственника вола и, желая доказать, что вол был его собственный, подделал какую-то бумажку. Европейское правосудие, снисходительное к финансовым пиратам высокого полета, с мелкими ворами не церемонилось — воровать следовало не иначе, как на миллионы. Фисски был приговорен к 10 годам тюремного заключения и отбыл это заключение без всякой скидки. В амбренской тюрьме он сошелся с одной уголовной заключенной, по фамилии Лассав, затем сблизился с ее дочерью, миловидной, хоть и кривой, девицей Ниной. С ней поселился в Париже, где перепробовал много профессий. Иногда оказывал услуги полиции, но больше, кажется, по личной симпатии некоторым ее руководителям (полицейским осведомителем в настоящем смысле слова он, насколько я могу судить, никогда не был).

Хорошего немного. Правда, опытный защитник легко нашел бы в жизни Фисски благодарный материал для речи перед присяжными заседателями: сын вора, мачеха вместо матери, десять лет тюрьмы за вола, — с другой стороны, блестящий послужной список, Бородино, Полоцк, Лейпциг. Общество могло быть недовольно Фисски. Но и он имел право предъявить свой счет обществу. Однако никакого счета обществу он не предъявлял. Было бы совершенно неосновательно считать Фисски мрачным, озлобленным мстителем. Это был очень веселый, простоватый, жизнерадостный человек, говорун, фантазер и оптимист.

Темное дело — психология террористов. Обычное обозначение их: фанатики. Но это слово допускает дальнейшее деление. В литературе — особенно в нашей — не раз говорилось о „людях неземной доброты“, о „святых“ политического террора. Я таких не встречала и в существование их верю плохо (хоть возможность редчайших исключений отрицать не могу). Доброта, свойство инстинктивное, почти физиологическое, ни при каких головных рассуждениях не мирится с кровью, с переломанными костями, с развороченными внутренностями; вдобавок, при террористических актах в девяти случаях из десяти убивались и калечились посторонние, ни в чем не повинные люди, — какая уж тут „неземная доброта“! Говорю это без осуждения. Не велика добродетель — в политике святость. Но никому не нужна в ней и слащавая фальшь. Среди исторических террористов было много строго идейных людей, в большинстве холодных и суровых, иногда безжалостных (Брут был беспощаден не только к тиранам, но и к своим должникам). Были и пылкие, недолго думающие энтузиасты — легкая кавалерия террора. Были спортсмены, — разряд мало изученный. Были карьеристы, — карьера чрезвычайно опасная, но блестящая и без выслуги лет. Были и профессиональные — Спарафучиле.

Фиески ни к одному из этих разрядов не принадлежал. Очень трудно понять, по каким побуждениям он совершил свое страшное дело. Ни личной, ни идейной ненависти к Людовику Филиппу у него не было. На следствии он отзывался о короле в самых лестных выражениях, сравнивал его с Наполеоном, выражал радость по поводу того, что Людовик Филипп остался невредим. „Король может быть теперь спокоен, — говорил он барону Пакье, — они подумают, прежде чем снова на него покушаться. Да и не найдут они другого такого человека, как я“ (четвертый допрос, 30 июля). „Они“ — это были революционеры. „Что ставили вы в вину королю?“ — спрашивает Пакье. „Да на всех не угодишь... Есть такие люди, которые никогда не бывают довольны“. — „Кто толкнул вас на преступление?“ — „Это была резвая мысль“ („une idée folâtre“), — отвечает Фиески на своем забавном французском языке. — Я совершил большое преступление,

но побуждения у меня были патриотические“. — „Во Франции настоящие патриоты настроены конституционно-монархически“, — спорит с ним сановник. „Собственно, я начал с бонапартизма“, — не совсем кстати замечает Фиески. Не думаю, чтобы он хотел сказать колкость, — с бонапартизма начал и сам барон (впоследствии герцог) Пакье: этот любезный, обходительный, почтенный человек, проживший без малого сто лет, служил верой и правдой и Наполеону, и Людовику XVIII, и Людовику Филиппу. Фиески, вероятно, его биографии и не знал.

В Париже он сошелся с революционерами Море и Пепеном. Точнее, это были не революционеры, а люди революционно настроенные. Они хотели убить Людовика Филиппа по идейным соображениям: король был препятствием к установлению добродетельной республики. Собственно, в случае смерти короля, на престол немедленно вступал его старший сын: добродетельная республика не могла установиться сама собой. Никакой „связи с массами“ у заговорщиков не было; вооруженного восстания они не готовили, хоть, быть может, и рассчитывали, что под влиянием убийства Людовика Филиппа народ сам бросится на баррикады, — а там будет видно. На втором заседании суда Фиески объяснил свои планы: „Я собрал бы 200 человек и сказал бы им: если среди вас есть хоть один более способный, чем я, пусть он займет мое место. Если же такого нет, власть будет моя. Тогда нам надо будет сражаться с внешним врагом на Рейне и с казаками, которые завидуют нашему отечеству...“ Все остальное было в том же роде: государственную программу Фиески в самом деле можно назвать резвой. Однако в более литературной форме почти такие же мысли и планы развивали тогда люди весьма знаменитые.

Нелегко разобраться в настроениях революционеров того времени. Третья республика дала им свою светскую канонизацию: чуть ли не в каждом городе Франции есть улицы Барбеса, Кине, Ламенне, Луи Блана, Карреля, Ледрю-Роллена. Но, в сущности, в борьбе короля с этими людьми именно Людовик Филипп отстаивал те принципы, которые стали основой современной Французской республики. Король очень

не любил войну. Революционеры были настроены чрезвычайно воинственно. Ламенне проповедовал „священный союз народов против королей“; Луи Блан настаивал на установлении французского протектората над Константинополем — правда, в интересах освобождения балканских племен; Арман Каррель требовал интервенции для борьбы с тиранами Европы. „Что такая интервенция весьма смахивает на войну, это возможно. Оппозиция этого не отрицает, но она несколько не боится европейской войны“ („elle se moque de la guegге générale“*), — писал этот талантливый публицист, „державший в одной руке шпагу, а в другой — Вергилия“. Все эти люди, отстаивавшие общечеловеческое революционное братство, как и большевики, ненавидели друг друга. Зато сходились они на культе баррикад и ежедневно склоняли во всех падежах это ныне развенчанное слово, потерявшее не только политический, но и технический смысл, — какие баррикады в век танков и аэропланов. В благодушнейшем Людовике Филиппе они видели кровавого деспота, но Наполеона I почитали чрезвычайно, — Арман Каррель ни одной статьи не мог написать, не упомянув Наполеонова имени. (Беспреданно бряцал чужой шпагой, впрочем, и Тьер, человек вполне штатский.) В нынешней Франции и бонапартизм, и интервенция, и любовь к баррикадам официальным поощрением не пользуются.

Несточность в установлении традиции Третьей республики еще яснее сказывается в области хозяйственной. Правители нынешней Франции, конечно, остолбенели бы от ужаса, если б им предложили десятую долю мероприятий, значившихся в экономической программе тех людей, которым на улицах Парижа давно поставлены памятники. Этого я касаться не буду. Ограничиваясь взглядами Фисски и его ближайших товарищей, скажу, что один из них, самый главный, так излагал судьям свои замыслы по хозяйственной политике: заговорщики предполагали тщательно проверить происхождение богатства каждого состоятельного гражданина; по окончании проверки честно разбогатевшим гражданам было бы оставлено

* „Она посмеивается над европейской войной“ (фр.).

не более 300 тысяч франков, а что свыше этой суммы, было бы отобрано в казну. Любопытно, что судебный отчет отмечает на этом месте процесса* „продолжительное движение в зале“ — люди, довольно хладнокровно слушавшие рассказ о подготовке и осуществлении одного из самых кровавых террористических актов истории, содрогнулись, когда речь зашла о проверке происхождения богатств и о 300-тысячной предельной норме.

По-видимому, Фисски порою искренно верил: стоит убить Людовика Филиппа, и во Франции установится добродетельная республика, которая накормит народ, не будет заключать на десять лет в тюрьму бедных людей за сомнительное, ничтожное преступление, да еще объявит войну казакам и отомстит за 1812 год. Однажды, перебирая свои военные воспоминания, Фисски задал себе вопрос: как небольшой гарнизон мог бы защищаться от превосходных сил врага? Что, если каждому солдату дать по несколько ружей? Нельзя ли придумать такое приспособление, при помощи которого один солдат мог бы стрелять из десяти ружей одновременно? Так возникла идея адской машины.

Он объяснил свое изобретение Море, — вот бы устроить такую штуку для баррикад? Море заинтересовался чрезвычайно. Но, по его мнению, машине следовало дать другое назначение: ничего лучше и придумать нельзя — для убийства тирана. Фисски заволновался. Этого он в мыслях не имел. Однако сгоряча он согласился с Море: в самом деле, отчего бы и не убить короля? Были у него возражения практические: машина обойдется ведь франков в пятьсот, где достать такую крупную сумму? — Ничего, деньги даст Пепен... Все это дело поразительно по сочетанию необыкновенного хладнокровия людей с истинно кустарным в политическом отношении планом.

По-видимому, колебания у Фисски были до самой последней минуты. С одной стороны, зачем убивать короля? Зачем идти на смерть? Ведь и в этой каторжной жизни были радости — Нина Лассав должна была

*Заседание второе. Archives Nationales, CC 697.

посетить его в тот самый день. Однако механизм заговорщической работы уже потащил Фиески. Отказаться можно было в первую минуту, вечером, на следующий день. Но теперь!.. Как раз накануне они устроили репетицию дела. Второстепенный сообщник Буаро* был приглашен на роль статиста: он проехал верхом по бульвару, под окнами дома № 50, Фиески по нему наметил направление стволов адской машины. Как же отказаться от спектакля после генеральной репетиции? Что скажут люди? Нельзя же так огорчать старика Море! Когда читаешь показания Фиески, трудно отделаться от мысли, что он убил восемнадцать человек из любезности.

За десять минут до покушения он носился по улицам квартала Бастилии; по-видимому, окончательно решения не принял. Море следил за ним: „Как? Вы еще здесь?“ — „Ну да, еще есть время...“ Фиески вошел в кофейню, выпил водки. „Если бы не выпил, не сделал бы“, — показал он на следствии. Решимость к нему вернулась, он поспешно направился домой. У подъезда ему встретилась дочь консьержа. „Идете поглядеть на короля?“ — с улыбкой спросил он. Верно, думал, что на суде отметят и эти слова: „Какое хладнокровие!..“ Теперь он жил уже только для славы. Это был Герострат террора.

VI.

То, что последовало за покушением Фиески, на наивном языке прошлого века называлось „вакханалией деспотического произвола“. Вакханалия заключалась в аресте без постановления следственных властей разных лиц, казавшихся подозрительными полиции. В папках Национального архива* мне попались неизданные письма Распая, — его тоже арестовали во время вакханалии. Трудно теперь читать без усмешки эти гневные письма. Распай протестовал против своего ареста, требовал предания суду мини-

*Этот Буаро, за бутылкой вина, и проболтался в припадке бахвальства и ужаса. Отсюда и сведения полицейского комиссара Дионне.

*Archives Nationales, CC 678.

стров, обличал палату, которая терпит столь вопиющие дела, грозил ей судом потомства. Арестовали его не без основания, хоть он и не имел отношения к террористическому акту, унесшему восемнадцать жертв. Письма Распая лежат в пыльной папке архива, но негодование передовых людей того времени, вызванное „вакханалией 1835 года“, перешло и в книги иных историков.

Коммунист Николаев убивает коммуниста Кирова. Большевики немедленно расстреливают сотню людей, не имевших ничего общего с коммунизмом, в глаза не видавших Кирова, отроду не слыжавших о Николаеве. Что ж, кое-где и теперь пишутся статьи о „вакханалии деспотизма“; иногда — довольно редко — пишут их и те люди, которые могут считаться идейными преемниками Распая. Но рядом печатаются передовые с всевозможными комплиментами Литвинову, — он так хорошо говорил в Женеве о совершенной недопустимости террора. Нет, лучше не сопоставлять вакханалии 1835 и 1935 годов.

Плохи были бы, разумеется, социологи, если б не могли на это ответить. Знаем: сравнение не довод, время теперь критическое, мерки у него особые.

Королевские министры и ссылались в оправдание своей вакханалии, то есть ареста сорока или пятидесяти человек, которых через несколько дней или недель выпустили на свободу. Конечно, надо верить в прогресс. Но это трудно.

Следствие велось превосходно во всех отношениях. Стоит прочесть протоколы бесчисленных допросов, доклад, представленный суду Порталисом, отчет о заседаниях суда пэров, чтобы убедиться в том, на какой высоте стояло во Франции правосудие. Подсудимых допрашивали чрезвычайно вежливо и корректно; доклад выделил и подчеркнул все смягчающие обстоятельства.

Жильцы дома № 50 по бульвару Тампль дали полиции мало указаний. Выяснилось, однако, несколько важных обстоятельств. К мосье Жерару нередко приходил пожилой человек, называвший себя его дядей, — точных примет его, впрочем, никто из свидетелей указать не мог: одни говорили, что ему лет 45;

другие утверждали: лет 60. Кроме того, посещала Жерара кривая женщина — ее знали в лицо почти все жильцы дома; консьержка так и называла ее „la roule à M. Gérard“*. И, наконец, дочь консьержки видела, что утром 28 июля мосье Жерар вынес из дому какой-то сундук.

По этим данным полиция очень быстро выяснила дело. Сундук был тяжелый. Значит, его либо перевозил извозчик, либо носильщик нес на плечах. Власти начали систематически опрашивать всех извозчиков и носильщиков Парижа. На четвертый день носильщик Дюброне навел на истинный след: „Да, относил в этот день сундук“. — „Куда?“ — „Не знаю, шел за клиентом, помню только, что это было недалеко от Hôtel de Ville“[^]. — „Дом узнаете?“ — „Может, и узнаю...“ Два дня и две ночи следователь и полицейские обходили с Дюброне улицы в районе ратуши; несколько раз замученный носильщик давал им неверные сведения: „Вот, кажется, это было здесь“. Оказывалось, нет, не здесь. Наконец на небольшой улице Long-Pont Дюброне остановился перед № 11: „Здесь, здесь, уж теперь твердо помню, что здесь!..“ Полиция поднялась по лестнице. В четвертом этаже жила кривая женщина. Это была Нина Лассав, любовница мосье Жерара.

Сама она никакого отношения к делу не имела. Но она знала „дядю“. Дядей был главный виновник дела, его инициатор и вдохновитель, поклонник Робеспьера, седой старик Пьер Море.

VII.

„Все партии обвиняют одна другую в преступлении Жерара“, — писал в ту пору авторитетный журнал[^]. Республиканцы подкидывали Фиески монархистам, монархисты — бонапартистам. Это было лишь удобным полемическим приемом. Море формально к республиканской партии не принадлежал. Что до Фие-

* „Подружка господина Жерара“ (фр.).

[^] Ратуша (фр.).

[^] „Revue des Deux Mondes“, 1835 г., т. III, стр. 377.

ски, то из его показаний на следствии и на суде можно было сделать какие угодно выводы. Он выражал сочувствие республиканским идеям, с благоговением говорил о Наполеоне, признавал много хорошего у монархистов, рассыпался в комплиментах Людовику Филиппу; покушение же произвел ради славы, да еще потому, что он человек слова: обещал Море сделать это дело, значит, не мог не сделать, неправда ли? Что в самом деле подумали бы о нем люди, если б он обещания не сдержал?

Все это, думаю, было искренно. Едва ли Фиески рассчитывал спасти себе жизнь любезностями по адресу короля. По-видимому, главная цель его заключалась в том, чтобы перейти в историю в возможно более шикарном виде.

Правители города Эфеса, чтобы наказать преступника, который сжег, ради бессмертия, их великолепный храм, запретили произносить его имя. Цели они, как известно, не достигли: и о них, и об Эфесе, и о храме Дианы Эфесской мы помним, преимущественно, по геростратовскому анекдоту. Но мысль их была правильная: необычайная реклама преступникам, конечно, одно из бедствий современного мира. К Фиески эфесский метод кары применен не был: трудно себе и представить, какой шум производился вокруг его имени.

Без преувеличения можно сказать, что лишь только улеглось негодование, вызванное вначале делом адской машины, мосье Жерар стал любимцем публики. Его соучастник Море вел себя и на следствии, и на суде много достойнее, чем он. Но Море был якобинец, робеспьерист — этот образ парижанам надоел со времен революции: еще жили люди, которые лично знали Робеспьера. В Фиески, напротив, было что-то трагикомическое, почти клоунское, смешной французский язык это начало как бы подчеркивал. Барон Пакье беседовал с ним запросто, почти весело, почти дружески, — совершенно не так, как теперь судьи и следователи говорят с убийцами. Газеты посылали к мосье Жерару интервьюеров, художники просили разрешения написать его портрет. Он никому не отказывал, принимая как должное все знаки внимания. Обращение с террористом судебных, полицейских, тюремных

властей тоже достаточно характерно для той идиллической эпохи.

В тюрьме Фиески беспрепятственно читал газеты, чрезвычайно интересуясь тем, что о нем пишут. „Слава“ опьянила его. Геростратово начало в нем все росло. Теперь он прямо работал на галерку. Всякий недостаток внимания Фиески принимал за личное оскорбление. В зале суда в дни его процесса был весь Париж. На первое заседание приехал 82-летний князь Талейран, в ту пору, вероятно, самый знаменитый человек в мире. На второе заседание Талейран не явился. Фиески, видимо, очень оскорбился. Однако он тотчас нашел объяснение, которым на суде и поделился с публикой: разумеется, князю слишком тяжело его слушать, „ведь мой голос до полной иллюзии напоминает голос Наполеона“. Галерка веселилась необычайно.

Все же идиллия имела границы: все прекрасно понимали, что мосье Жерар будет казнен.

VIII.

Фиески и его сообщники были преданы суду палаты пэров. Защищали их известные адвокаты; начал свою карьеру знаменитый Шэ д'Эстанж. Защитники мосье Жерара доказывали, что он человек ненормальный, — дальше в подобных случаях изобретательность не идет. В известном смысле это было весьма близко к истине, но эта защита приводила Фиески в ярость, так же как нападки одного из защитников на июльскую монархию: он кричал на адвокатов, прерывал их ораторский полет в самых выигрышных местах, „призывал их к порядку“, к большому восторгу галерки. „Бедный Фиески, как мне жаль тебя!“ — воскликнул он о себе на 16-м заседании процесса. По-видимому, проломленный череп, вскрытый шатающийся мозг окончательно помрачили его умственные способности: он порою нес совершенную ерунду.

Людовику Филиппу очень хотелось помиловать Фиески. Из Тюильрийского дворца был сделан ясный намек, что если вдова маршала Мортье, самого видно-

го из людей, погибших 28 июля, обратится к королю с просьбой о помиловании убийцы ее мужа, то отказа не будет. Герцогиня Тревизская с такой просьбой к Людовику Филиппу не обратилась. Король ограничился тем, что заменил гильотиной la reine des parricides*, к которой почему-то приговорили Фиески пары. Впрочем, скидка была невелика: отцеубийцам полагалось идти к той же гильотине босиком, в белой рубаше с черным покрывалом на голове. К смерти были приговорены также Море и Пепен. Буаро отделался 20 годами каторжных работ.

В последний свой день Фиески принял священника. „Слава Богу, я не язычник!“ — сказал он на суде. Написал письмо защитнику, не то ироническое, не то благодарственное. Художники с ним не расставались почти до последней минуты: он сверял портреты, обсуждал, какой лучше, написал даже об этом аттестат. Самый страшный портрет его написан Браскасса — посмертно: „Голова Фиески после казни“... В нежных выражениях мосье Жерар отозвался о своей несчастной кривой любовнице: „Люблю ее больше жизни!“

Дальше все было по вековому ритуалу: „Фиески, мужайтесь, час искупления настал...“ „Папиросу?..“ „Рюмку рома?“ Казнили их у заставы Сен-Жак. Все они встретили смерть бесстрашно. Тоже по традиции окна домов на месте казни сдавались по высокой цене. Герцог Брауншвейгский заплатил за окно много больше денег, чем когда-то выручил Фиески от продажи вола, за которую он поплатился 10-ю годами тюрьмы.

IX.

Одни террористические акты достигают политической цели, поставленной себе террористом; другие достигают цели как раз обратной (золотая середина редка). Покушение Фиески принадлежит, бесспорно,

*Здесь „показание за покушение, либо за убийство государя либо отца“ (*Фр.*). — Прежде во Франции у таких преступников обрубали кисть правой руки, затем заживо колесовали, сжигали остатки, а пепел развевали по ветру. — *Прим. ред.*

*После казни Нина Лассав была приглашена кассиршей в большую кофейню на площади Биржи, и тотчас туда повалили люди — поглядеть на любовницу Фиески.

ко второму разряду. Правительство провело так называемые сентябрьские законы — о печати, об оскорблении Величества, о порядке судопроизводства в политических делах. Июльская монархия упрочилась. По случайности, стал проходить в то время и очередной экономический кризис. Рента начала повышаться. Было ли это в связи с событиями 1835 года, трудно сказать. Политическая экономия — одна из мистических наук. Посопшков утверждал, что курс денег зависит только от воли государя: „Прикажет копейке стать гривной, станет гривной“.

Популярность Людовика Филиппа после покушения 28 июля возросла — он проявил совершенное бесстрашие. Но, быть может, историки преувеличили значение увеличившейся популярности короля. Народная любовь к нему держалась недолго. Строй июльской монархии был, по-видимому, обречен: другой строй обещал воплотить те же начала свободы еще полнее, а на настоящие репрессии король и его министры идти не желали или не считали возможным: тогда люди еще твердо были убеждены, что „на штыках сидеть нельзя“. Начались новые финансовые скандалы: дело рошфорского арсенала, дело Кюбьера, дело министра Теста. За все отвечал, естественно, король. Этот многоопытный человек вызывал непонятное раздражение у своих современников. Мартин Лютер из всех даров Божиих особенно ценил один: „способность не нравиться многим людям“. Дар не соблазнительный, хоть, быть может, в политике и необходимый.

Стендаль в одном из своих писем (к госпоже Г., от 14 марта 1836 года) пишет: „Фиески отвратителен. Это был простолюдин; но он один имел больше воли (в подлиннике: „*faculté de vouloir*“), чем сто шестьдесят пэров, которые справедливо его осудили... В 1300 году все итальянцы были подобны Фиески. Знаменитый Бенвенуто Челлини был Фиески...“

Французская карьера Дантеса

Смерть Жоржа Дантеса не вызвала в Париже большой сенсации. В „Журналь де Деба“ (4 ноября 1895 года) в общем некрологическом списке за день он назван на четвертом месте в следующих выражениях: „Нам сообщают о кончине... барона д'Антеса-Геккерена, бывшего сенатора Второй империи, угасшего в своем замке Сульцц (Эльзас) после долгой и мучительной болезни. Ему было восемьдесят четыре года“. Больше ни слова. В „Фигаро“ (5 ноября) и особенно в „Тан“ (5 ноября) появились более подробные некрологи. В них сообщалось, что скончавшийся барон шестьдесят лет тому назад убил на дуэли знаменитого русского поэта Пушкина. В один день со смертью Дантеса образовался новый кабинет буржуа, умерла эксцентричная англо-французская дама, о которой много и часто говорила светская хроника газет: ее смерть, видимо, отвлекла внимание парижского общества от кончины Дантеса. К тому же он покинул Париж лет за десять до того, жил далеко, в Эльзасе — его понемногу забыли. К моему удивлению, даже столь осведомленная газета, как „Тан“, напомнив в некрологе обстоятельства убийства Пушкина, почти ничего не сказала о роли, сыгранной Дантесом во французской истории.

Биографические сведения о позднейшей карьере Дантеса, в сущности, до сих пор почти исчерпываются краткой „официальной“ статьей его родственника Метмана, помещенной в известном труде Щеголева „Дуэль и смерть Пушкина“. В свое время, работая над „Десятой симфонией“, в которой выведен Дантес, я старался собрать материалы о нем — их нашел немного. Политическая роль Дантеса была довольно заметна в 1848—1852 годах. В пору Второй республики

убийца Пушкина был в Париже видным и модным человеком.

Роковая для русской литературы дуэль не слишком повредила светской и общественной репутации Дантеса. Гораздо позднее Тургенев, в числе немногих совершенных им в жизни „подлостей“, считал и то, что, встретившись в обществе с Дантесом, подал ему руку. В конце XIX столетия голландский посланник в Копенгагене Геккерен ван Келль (из другой ветви этого рода) отказался от предложенного ему поста посланника в Петербурге, сославшись на то, что человеку, носящему его фамилию, неудобно представлять Голландию в России. Но когда-то отношение к делу было у многих совершенно иное. В книге Щеголева есть интереснейшие материалы об отношении к дуэли 27 января некоторых русских людей. Чего же можно было ждать от иностранцев? Будем справедливы: если бы Дантес после ужасного письма Пушкина не послал ему вызова, его немедленно выгнали бы из кавалергардского полка и он был бы опозоренным человеком. Отправляясь на поединок, он мог не без основания думать, что Пушкин рассчитывает его убить. Через полстолетия после дуэли известный пушкинист-коллекционер А.Ф.Онегин, посетив Дантеса, спросил его: „Но как же у вас поднялась рука на такого человека?!“ Дантес ответил не то с недоумением, не то с негодованием: „Как? А я? Я стал сенатором!“ Этот рассказ я слышал от самого А.Ф.Онегина. В словах убийцы Пушкина был, конечно, и оттенок мрачной нелепости. Но, по существу, что можно было ему возразить? Дантес 27 января 1837 года защищал свою жизнь.

Высланный из России, он, по причинам мне неизвестным, лет десять оставался в тени. Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова, потом в течение нескольких лет выдерживал в Киеве суровую эпитимию. О Дантесе это и предположить невозможно. Как бы то ни было, он начинает заниматься большой политикой лишь после февральской революции и 28 апреля 1848 года избирается в Национальное собрание. К тому времени, за 11 лет, прошедшие с 1837 года, имя его было в Париже основательно забыто. Сообщая о его избрании, „Журналь де Деба“ (30 апреля

1848 года) называет его Hecherem, а „Ла Пресс“ (5 мая 1848 года) Heckren. По округу Верхний Рейн-Кольмар прошло 12 депутатов. Из них Heckren, propriétaire*, получил наименьшее число голосов: 27 504 — за первого в списке Штруха голосовало 88 572 избирателя.

В Петербурге он, по-видимому, подчеркивал свои крайние легитимистские убеждения: в 1830 году с оружием в руках защищал права Карла X, герцогини Беррийской. Пушкин пишет в дневнике: „Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами“. Никаким шуаном Дантес не был, да и едва ли мог быть в восемнадцать лет. В Национальном же собрании 1848 года шуанам и вообще делать было нечего. Во всяком случае, в начале февральской революции он примыкает к Адольфу Тьеру, который уж к чему другому, а к шуанству ни малейшего отношения никогда не имел.

Шансы Тьера в 1848 году расценивались довольно высоко. Легко понять, почему Дантес искал с ним сближения. Гораздо менее понятно, зачем нужен был Тьеру Дантес. Казалось бы, этот полуфранцуз-полунемец, усыновленный голландским дипломатом, бывший русский кавалергард, ставший членом республиканского Национального собрания, должен был бы внушать инстинктивную антипатию и недоверие такому человеку, как Тьер. Однако Дантес очень скоро становится постоянным посетителем его дома. Об этом свидетельствует дневник „Эгерии“ Тьера⁴, госпожи Дон.

С некоторым правом можно утверждать, что в сближении с Дантесом бывшего главы французского правительства сыграла известную роль именно дуэль, стоившая жизни Пушкину. Она создала Дантесу репутацию бретера, в политике в те времена небесполезную. 27 января 1849 года у Тьера происходит столкновение с Улиссом Трела, министром и редактором газеты „Националь“. Секунданты Трела: бывший министр Рекюр и будущий президент республики Гриви — все люди очень видные. Секунданты Тьера: маршал Бюжо и отнюдь не видный в политике Жорж

*Землевладелец (фр.).

⁴От фр. égérie — тайная советчица.

Дантес. Добавлю, что маршал Бюжо в свое время, в 1834 году, тоже убил на дуэли своего противника (депутата Дюлонга). Госпожа Дон с особым удовольствием отмечает в своем дневнике (II, стр.108), что оба секунданта ее друга „assez ferrailleurs l'un et l'autre...“*. Это прямой намек на убийство Пушкина.

Дуэль с Трела не состоялась. Через некоторое время, в октябре 1848 года, в Собрании начались очень бурные и очень драматические прения о французской военной экспедиции в Рим. Чтобы дать о них некоторое понятие, привожу без перевода отрывок из газетного отчета („Ла Пресс“, 20 октября 1848 года):

M. Victor Hugo: Quoi, Messieurs, le pape livre Rome au bras séculier!.. L'homme qui dispose de l'amour a recours à là force brutale! Exigez-vous l'amnistie du Saint-père? (Sensation.)

Une voix à droite: Non! (Long mouvement.)

M. Victor Hugo: Non? Alors vous laisserez les gibets se dresser à l'ombre du drapeau ricolore?! (Frémissement sur tous les bancs.)*

Во время этих прений Дантес неоднократно прерывал ораторов весьма резкими восклицаниями с места. После одного из его замечаний, направленного против Жюлья Фавра, газетный отчет („Журналь де Деба“, 19 октября 1848 года) тоже отмечает, если не „дрожь на всех скамьях“, то „сенсацию“. С ним уже считаются. 18 октября левый депутат Матье заявляет, что Тьер (в ту пору заигрывавший с принцем-президентом, будущим Наполеоном III) в свое время говорил: „Избрание Бонапарта президентом было бы позором для Франции“. „Я этого не говорил!“ — восклицает с места Тьер. „Я сам это от вас слышал!“ — тоже с места кричит депутат Биксио. Тьер тут же на заседании посылает к Биксио секундантов: один из них — Пискатори, имевший в те времена репутацию очень воинственного человека, другой — Дантес. Гос-

* „Оба отъявленные дуэлянты...“ (Фр.)

Г.Виктор Гюго: Итак, господа, папа отдает Рим светским властям!.. Обожаемый всеми человек прибегает к жестокости! Требуете ли вы оправдания святого отца? (Сенсация.)

Голос справа: Нет! (Движение в зале.)

Г.Виктор Гюго: Нет? Так под сенью трехцветного знамени будут маячить виселицы?! (Дрожь на всех скамьях.) (Фр.)

пожа Дон опять с видимым удовлетворением заносит в дневник: „Геккерен — очень решительный человек. Пискатори тоже не любит мирно улаживать дела...“ Ясно, что Тьер подбирал секундантов по признаку их дуэльного стажа. На этом создается карьера Дантеса.

Поединок Тьера с Биксио состоялся в условиях довольно необычных. Тьер заявил, что не хочет волновать свою семью: требует, чтобы дуэль произошла тотчас. Они тут же, прямо с заседания, к ужасу Собрания, отправляются с пистолетами в Булонский лес. Противники обмениваются выстрелами с двадцати шагов. Никто не ранен. Происходит примирение. Биксио и Тьер возвращаются в Собрание, где, естественно, „волнение достигло апогея...“. Быть может — даже наверное, — стоя на поляне в Булонском лесу, Жорж Дантес в тот день вспоминал другой вечер, другую поляну, другой, более трагический, поединок... Он тоже происходил в пятом часу. Тогда тоже противников поставили в двадцати шагах друг от друга...

Вышло, однако, так, что с Тьером он связался неудачно: поставил не на ту лошадь. К концу 1851 года становится более или менее ясным, что борьба Законодательного собрания с принцем-президентом должна кончиться победой принца. Кухня переворота 2 декабря достаточно известна. В ту пору разные лица или, точнее, разные „экипы“ предлагали свои услуги будущему Наполеону III. У него была своя экипа, и притом вполне надежная: Морни, Сент-Арно, Персиньи. Дантес опять не рассчитал и примкнул к другой группе. По-видимому, он связался с Фаллу, который пользовался тогда скорее анекдотической известностью: в бытность свою министром народного просвещения отправил в Африку какого-то араба с научной целью: разыскать в пустыне людей с хвостами. Эту ученую экспедицию ему не забывали долго. Но и вообще выбор Фаллу как будто не свидетельствует о большой дальновидности Дантеса. 1 декабря убийца Пушкина явился в 6 часов вечера во дворец и предложил принцу-президенту свои услуги: его друг Фаллу считает переворот делом возможным и готов принять участие. Наполеон III, уже назначив-

*От фр. *équipe* — команда. — *Прим. ред.*

ший переворот на ближайшую ночь, был чрезвычайно любезен: пригласил Дантеса к обеду, сказал, что очень, очень рад и обдумает предложение их группы. Дантес, вероятно, был в восторге. Но радость его должна была ослабеть, когда он на следующее утро узнал, что ночью переворот произвели другие. Один из других не без юмора рассказывает, что одураченный Геккерен был в ярости.

Кажется, Наполеон III не очень высоко ценил Дантеса, но не прочь был при случае его использовать. Предполагалось, что у бывшего кавалергарда есть большие русские связи. Его и послали с миссией к находившемуся за границей императору Николаю I (с которым Наполеон хотел установить более добрые отношения). После 15 лет Дантес снова встретился с царем. Они долго беседовали, — должно быть, начало беседы было странное и затрудненное. Царь был очень любезен и полусхотливо называл своего бывшего офицера „Господин посол“... Со всем тем миссия не очень удалась — опять неудача.

Дантес тем не менее получил звание сенатора. Мериме, слышавший его в сенате 28 февраля 1861 года, писал Паницци, что убийца Пушкина — „атлетически сложенный человек, с немецким акцентом и вида хмурого... Это очень хитрый малый. Не знаю, приготовил ли он свою речь, но произнес он ее изумительно, с силой, которая произвела впечатление...“. Хвалит Мериме и содержание речи. Дантес был прекрасный оратор. Кажется, выступал он довольно часто. Но в пору Второй империи его интересовали, главным образом, финансовые и промышленные дела. Он входил в правления разных банков, обществ страховых, транспортных, газового и т. д.

Его незначительная роль во французской истории в общем подтверждает то впечатление, которое остается от его страшного петербургского дела. Это был не злодей, но беззастенчивый, смелый, честолюбивый эгоист, не перед многим останавливавшийся в поисках выгоды и удовольствий. Свои дела он устраивал недурно. Однако удачником я его не назвал бы. Не говорю об исторической репутации — она, вероятно, мало его волновала. Но и в чисто практическом отношении ему в жизни не так уж везло. Он поехал в

Россию, чтобы сделать там блестящую военную карьеру, — и выехал разжалованный, потеряв несколько лет, в обстоятельствах, всем известных. Во Франции он пытался сделать большую политическую карьеру, но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение 60 лет „душой общества“. Это был веселый человек. Именно Дантес мог бы сказать: „Мы же утратим юность нашу — вместе с жизнью дорогой“.

Пикар

I.

Есть такой рисунок Валлодона: человек, проснувшийся ночью в кошмаре, поднялся с ужасом на постели. Все черно на рисунке: тень человека, его волосы, подсвечник, ночной стол, кайма одеяла. Надпись: „Он невиновен!“. Рисунок сделан в пору дела Дрейфуса и посвящен полковнику Пикару.

Художественные достоинства рисунка спорны. Мысль достаточно ясна.

В Эльзасе с незапамятных времен жила семья Пикаров. Члены этой семьи верно служили своим герцогам, потом французским королям и императорам, то в магистратуре, то в армии. В начале XVIII века они получили дворянство, но частицы „де“ к своей фамилии не приставили. Были зажиточны, но не богаты.

Семейному кодексу чести, приличий, мыслей был верен и Жорж Пикар, родившийся в 1854 году в Страсбуре. Его отец принадлежал к числу Пикаров-штатских. Сам он стал военным. Ему было шестнадцать лет, когда вспыхнула война и Страсбур отошел к Германии. У французской молодежи появился общепризнанный идеал: реванш. Теперь это идеал молодежи немецкой. Так дело может продолжаться долго.

Жорж Пикар определился в Сент-Сирское военное училище, вышел из него пятым, поступил в Академию генерального штаба, окончил ее вторым. Служил в строю и в штабах, во Франции и в колониях — везде служил с исключительным блеском. Пикар оказался самым молодым подполковником всей французской армии. В чине подполковника он был назначен профессором *Ecole Supérieure de Guerre**. Там его учени-

*Высшая военная школа (фр.).

ком был Альфред Дрейфус. Он терпеть не мог этого своего ученика. Причины мне неизвестны. Дрейфуса, впрочем, не любил почти никто.

О взглядах, настроениях, вкусах молодого Пикара судить трудно — почти никаких материалов нет. Есть лишь указания, что он много занимался музыкой, чрезвычайно почитал Вагнера, хорошо знал несколько иностранных языков, в том числе и русский. Любил радости жизни, „la science de gueule“*, как называл гастрономию Рабле. Взглядов держался консервативных, не занимаясь и не интересуясь политикой.

Еще одно: Пикар был убежденный, ревностный антисемит. Об этом есть несколько кратких указаний в литературе; вскользь упоминает об этом и Золя. Слышал я то же самое и от человека, который хорошо знал Пикара.

II.

Разумеется, я не имею намерения излагать в этой статье историю дела Дрейфуса. Напомню лишь вкратце некоторые его главы, — более подробно те из них, которые как бы стали главами необыкновенной биографии Жоржа Пикара.

На rue de Lille с давних пор помещается германское посольство. Здесь жил в девяностых годах прошлого века со своей дочерью посол, граф Мюнстер. Здесь же помещалась и германская военная агентура, во главе которой стоял полковник фон Шварцкоппен. Почти напротив посольства, в доме № 102 на той же улице, снимал большую квартиру помощник Шварцкоппена, барон фон Зюскинд. У него столовались служащие посольства и агентуры. Граф Мюнстер, старый барин патриархальных взглядов, требовал, чтобы его подчиненные жили одной семьей, под общим его отеческим наблюдением.

У дочери посла была горничная, по национальности французенка, по фамилии Бастиан. Помимо своих работ по дому, женщина эта выполняла еще другие обязанности: она находилась в тайной службе у так

* „Наука обжорства“ (фр.).

называемого статистического отдела второго бюро. Под этим солидным ученым названием значилась тогда французская контрразведка. „Die Bastian“, как ее впоследствии со злобой называли немецкие газеты, имела возможность заходить в комнаты агента и похищала все то, что бросалось в корзину, стоявшую под письменным столом полковника Шварцкоппена. В свой выходной день она отправлялась гулять и на place Ste.-Clotilde или в церкви встречалась с помощником начальника французской контрразведки майором Анри, которому и передавала содержимое корзины германского военного агента.

В доме же № 102 над квартирой барона фон Зюскинда, одним этажом выше, помещалась другая квартира. Ее сняло, несколько позднее, то же статистическое бюро — разумеется, через подставных людей. Акустические аппараты, связанные с трубами каминов, давали возможность французским контрразведчикам слушать то, о чем за завтраком и обедом беседовали гости барона.

Надо ли говорить, что все это нисколько не мешало самым добрым отношениям между обеими сторонами. Полковник фон Шварцкоппен, кавалер Почетного легиона, был связан личной дружбой с людьми, которых он выслеживал и которые его выслеживали. Предварительное дознание по делу Дрейфуса вел майор Пати де Клам. Они с Шварцкоппеном очень часто бывали, завтракали, обедали друг у друга. Немецкий полковник был дорогим гостем на свадьбе французского майора.

Разорванные документы, приносившиеся горничной германского посольства, тщательно склеивались и расшифровывались во французской разведке. В 1894 году статистическое бюро стало замечать, что происходит что-то неладное. Полковник Шварцкоппен развивал энергичную деятельность. Надо отметить, что в ту пору под влиянием сближения с Россией французский генеральный штаб коренным образом менял свои стратегические замыслы. Вместо плана № 11 выработывались планы № 12 и 13.

24 сентября 1894 года майор Анри принес в свое бюро документ, полученный им, по его словам, от той

же горничной Бастиан. Это было знаменитое „бордеро“.

Небольшой лист тонкой желтоватой бумаги в клеточках, исписанный мелким, не очень разборчивым почерком... Смотреть на него без волнения трудно: такие бури он когда-то вызывал во всем мире! Не было, кажется, газеты в Австралии, в Китае, в Патагонии, где бы в течение нескольких лет не склонялось во всех падежах это мало кому понятное техническое слово: „бордеро“. Так называются на деловом французском языке бумаги, заключающие в себе какой-либо перечень. На листочке, принесенном майором Анри, неизвестное лицо сообщало кому-то — разумеется Шварцкоппену, — что препровождает ему пять „интересных документов“. Они дальше и перечислялись. Документы были действительно интересные, — быть может, не очень важные, но, разумеется, составлявшие тайну военного ведомства Франции.

Дело немедленно было доложено начальнику генерального штаба ген.Буадеффу, военному министру ген. Мерсье, министру-президенту Дюпюи и даже президенту республики Казимиру-Перье. Военные тайны, очевидно, выдавал какой-то офицер, имевший близкое отношение к центральным органам армии. С бордеро были сняты фотографии, — их роздали начальникам отделов: знаком ли им почерк? Розыски оставались бесплодными недели две. 5 октября начальник 4-го отдела Фабр и его помощник д'Аббовилль находят сходство: очень похож почерк офицера генерального штаба, капитана Альфреда Дрейфуса!

Впоследствии это объясняли антисемитскими настроениями высших чинов военного министерства. Но, может быть, роль антисемитизма в начале исторического дела очень преувеличена. Дрейфуса не любили сослуживцы, считавшие его гордым, надменным, самодовольным человеком. Однако военная карьера его была блестящей. Начальство очень отличало молодого капитана. Как раз незадолго до того, на маневрах, сам начальник генерального штаба ген. де Буадеффр, впоследствии главный антидрейфусар, больше часа беседовал с Дрейфусом о военных вопросах, гуляя с ним вдвоем у моста на виду у всех, — честь совершенно исключительная. По всей вероятно-

сти, военное начальство было поражено, услышав об измене этого офицера. Разумеется, власти тотчас раздобыли образцы почерка Дрейфуса. Начальник 4-го отдела был прав: сходство есть!

Сходство есть, — признаем и мы. Почерк Альфреда Дрейфуса действительно напоминает тот, которым написано бордеро.

Дознание было поручено майору Пати де Кламу. Дрейфусары позднее изображали этого человека в самом мрачном виде. Антидрейфусары, напротив, засыпали его похвалами. Полковник Шварцкоппен в своих воспоминаниях утверждал, что Пати де Клам был мечтатель-идеалист. Почти не отмечалось, что первый следователь по делу Дрейфуса занимался литературой, притом в роде мало понятном (не чужд он был и спиритизма). Малларме говорил: „Все в мире существует для того, чтобы кончиться книгой“. Роль литературы в деле Дрейфуса, как и во многих других таинственных делах, очень велика. Велика и роль авторского самолюбия. Пати де Клам с первого взгляда признал, что бордеро написал Дрейфус, — как было позднее отказаться от авторского права на столь нашумевшее открытие! Во всяком случае, человек этот был довольно странный и чрезвычайно любивший эффекты. Он годился и в персонажи, и в творцы „Рокамболя“.

Эффектный способ нашел Пати де Клам для избличения преступника. Дрейфусу было через вестового предписано явиться 15 октября в военное министерство, якобы по служебному делу. В приемной его встретил Жорж Пикар, служивший тогда в министерстве. Он проводил Дрейфуса в кабинет начальника генерального штаба. Буадеффра в кабинете было. У окна стоял Пати де Клам с черной шелковой повязкой на пальце и несколько офицеров, очевидно, приглашенных в качестве свидетелей. Дрейфуса посадили против зеркала — это типичный „Рокамболь“. Пати де Клам попросил его написать под диктовку одно служебное письмо, — сам он порезал палец и писать не может. Дрейфус сел за письменный стол. Одни свидетели смотрели на него в упор, другие не сводили глаз с зеркала. Пати де Клам уселся рядом с Дрейфусом и стал диктовать что-то странное.

Фокус заключался в том, что на десятой строчке письма внезапно начиналось перечисление тех самых документов, которые значились в бордеро. По „Рокамболу“ преступнику полагалось бы на этом месте вскрикнуть от ужаса или, по крайней мере, „покрыться холодным потом“. Однако таинственная, зловеющая обстановка опыта могла не на шутку напугать ни в чем не повинного человека, — преступника же она, собственно, предупреждала: готовься, сейчас будет удар по темени. Тонкие психологические приемы следователей (ведь существует настоящая следовательская вампука) вообще имеют этот небольшой недостаток: результат их можно толковать и так и этак. Когда Дрейфус дошел до десятой строчки, Пати де Клам вдруг „прошипел“ („dit d'une voix sifflante“): „Что с вами, капитан? Вы дрожите?“ — „Нет, нисколько, но здесь холодно“ (на процессе потом долго обсуждался вопрос, дрогнула ли в этом месте письма рука Дрейфуса). Пати де Клам вскочил, положил руку на плечо преступника и „прокричал громовым голосом“ („s'écia d'une voix tonnante“): „Капитан Дрейфус, именем закона я вас арестую! Вы обвиняетесь в государственной измене!..“

В этом человеке пропал кинематографический режиссер.

III.

Арест Альфреда Дрейфуса произвел во Франции, как принято говорить, „впечатление разорвавшейся бомбы“. Газеты, — не только правые, но и левые, — ничего не зная ни о деле, ни об уликах, печатали неистовые статьи. Клемансо требовал для изменника смертной казни. Не очень отставали и социалисты от будущего вождя дрейфусаров. В „Petit journal“ кто-то предлагал посадить Дрейфуса в клетку, провезти его по улицам Парижа и затем расстрелять. Эмиль Бержера с некоторым основанием писал, что над страной носится вихрь умопомешательства. Достаточно сказать, что несчастной жене Дрейфуса было нелегко найти адвоката для защиты мужа. Вальдек-Руссо от-

казался. Она обратилась к Деманжу. Этот знаменитый адвокат-бессребренник, выступавший в самых громких процессах истории и не так давно умерший бедняком, считался совестью адвокатского сословия. Он сказал г-же Дрейфус, что не может ей ответить, пока не ознакомится с обвинительным актом и не поговорит в тюрьме с обвиняемым.

Через несколько дней Деманж дал ответ: он убежден в невиновности капитана и берет на себя его защиту: обвинительный акт — пустое место.

Обвинительный акт и в самом деле был пустым местом. Мотивов преступления он не объяснял. Дрейфус был богат, перед ним открывалась большая военная карьера. Женщины? Полицейское дознание ничего не установило: „несколько обыкновенных связей перед женитьбой, одна связь после женитьбы“. Игра? Один раз проиграл 50 франков. Преступление оставалось непонятым. Что до улики против Дрейфуса, то они целиком сводились к почерку, который старательно изучали эксперты.

Здесь в этой трагедии единственная комическая страница: „научная экспертиза“! Цену ей мы знаем, она с той поры изменилась мало. Не очень подвинули господу эксперты дело правосудия в мире. В гремящем недавно загадочном деле одни врачи признали, что советник Пренс, без всякого сомнения, отравлен; другие не нашли решительно никаких следов отравления. Но это все-таки химия. То была графология. На процессе 1894 года выступали пять ученых-графологов. Из них двое признали в бордеро руку Дрейфуса, другие двое это отрицали, а пятый — известнейший из всех — доказывал, что бордеро написал Дрейфус, но не своим естественным почерком, а поддельваясь под почерк брата и жены! Этот последний эксперт был великий Бертильон. У него была собственная строго научная, математическая система, основанная на теории вероятности и на точнейшем миллиметровом расчете каких-то эквидистанций, пульсаций, цепей, букв-крепостей и букв-цитаделей. Бертильон был величайший авторитет. Однако весьма правый публицист — умный человек — Поль де Кассаньяк писал в 1894 году, что „не расстрелял бы французского офицера на основании экспертизы этих

путников“ („fagseurs“). Другой умный человек, президент республики Казимир-Перье в душевной тревоге пригласил Бертильона захватить к нему в Елисейский дворец и объяснить свою систему. После беседы с ученым экспертом Казимир-Перье высказал робкое предположение: что, если вся система плод творчества психопата? 12 годами позднее, при пересмотре дела Дрейфуса, назначенная судом комиссия из трех знаменитейших математиков Франции (Анри Пуанкаре, Дарбу и Аппель) признала математическую систему Бертильона безграмотной ерундой.

Процесс был назначен на 19 декабря. Разумеется, он шел при затворенных дверях, в величайшей тайне. Кроме подсудимого, судей, защитника и свидетелей, в зале военной тюрьмы Шерш-Миди было только два человека: префект полиции Лепин и подполковник Жорж Пикар — военное министерство и генеральный штаб назначили его своим представителем для доклада о процессе.

IV.

Перед судом прошли эксперты, затем свидетели обвинения и защиты, офицеры, сослуживцы Дрейфуса. В большинстве они отзывались о нем холодно, но ничего компрометирующего не показали. Шесть офицеров определенно признали: „un soldat loyal“*.

Был еще свидетель — главный и таинственный актер всего дела Дрейфуса. С ним связана самая загадочная страница этого мрачного дела. Показания давал помощник начальника контрразведки, майор Анри. Что это был за человек, я, по совести, понять не могу. Значится за ним немало тяжких преступлений; в некоторых из них он перед смертью сознался, — как известно, Анри покончил самоубийством. Но какие были его побуждения, почему именно он топил невинного человека, — это покрыто тайной. Жозеф Рейнак когда-то в своей многотомной истории дела высказал предположение, что Анри был соучастником измены. Такое же мнение высказал недавно

* „Честный солдат“ (фр.).

Блюм. Однако в вышедших не так давно воспоминаниях полковника Шварцкоппена догадка Рейнака подтверждения не находит: Шварцкоппен, по его словам, никогда не имел дела с Анри; между тем едва ли глава французской контрразведки мог стать тайным шпионом Германии без ведома военного агента. Не выяснил этой загадки и новейший историк дела Арман Шарпантье. Указывалось также, что в молодости, задолго до дела Дрейфуса, Анри и Эстергази занимались совместно какими-то финансовыми делами. Однако общих векселей, хотя бы и протестованных, недостаточно для объяснения тайны этого дела.

Анри заявил на суде, что „от одного весьма осведомленного лица“ получил важное сообщение: во французском генеральном штабе есть изменник — это капитан Альфред Дрейфус. На требование подсудимого назвать имя осведомленного лица Анри ответил отказом. Ударив себя по лбу, он воскликнул: „В голове офицера могут быть такие тайны, о которых не должна знать даже его фуражка!“ — и подтвердил клятвенно обвинение против Дрейфуса. По-видимому, этот человек был прекрасным актером. Префект полиции Лепин, которого, вероятно, взволновать было не очень легко, впоследствии говорил, что показание майора Анри произвело на него сильнейшее впечатление.

Во время перерыва заседания председателю был вручен от военного министра генерала Мерсье запечатанный конверт с предложением вскрыть его только в совещательной комнате и хранить дело в глубокой тайне. О содержании запечатанного конверта говорить было бы долго, — да в точности никто и по сей день не знает, что именно в нем находилось. Был в нем, во всяком случае, один документ, который совершенно не относился к Дрейфусу, но по роковому стечению обстоятельств мог быть отнесен и к нему. Была и своеобразная характеристика капитана, написанная Пати де Кламом и, по всей видимости, исходившая от Анри. Однако содержание конверта само по себе и не так существенно. Поразительно было то, что судьям перед вынесением приговора были втайне переданы документы, не показанные ни подсудимому, ни защитнику!

Каким образом в самой передовой стране мира, имеющей тысячелетние судебные традиции, могло произойти такое грубое нарушение простейших основ правосудия? На это впоследствии не мог ответить никто из судей. Клемансо называл и их злодеями. Согласиться с ним очень трудно. Можно считать почти установленным, что передаточной инстанцией при вручении конверта председателю суда был сам подполковник Пикар, в высокой порядочности которого сомневаться уж никак невозможно (едва ли он мог не знать или не догадываться, какое именно поручение выполняет). Дело, вероятно, объясняется тем же „вихрем умопомешательства“.

Дрейфус был приговорен к пожизненному заключению в крепости.

Совершился страшный обряд разжалования. Происходил он во дворе военной школы. Перед выстроенным отрядом солдат под грохот барабанов с Дрейфуса сорвали погоны и переломили его шпагу. Он закричал: „Soldats, on deshonore un innocent! Vive la France! Vive l'armée!“* Многотысячная толпа, собравшаяся на площади Фонтенуа, ответила ревом: „А mort!“**

Затем его отвезли на Чертов остров, расположенный вблизи Кайенны. Впоследствии газеты много писали о мученичестве Дрейфуса. Едва ли нужно пояснять, что физические мучения людей, которые тоже без всякой вины находятся теперь на Соловках и о которых в Европе никто не пишет, неизмеримо хуже (с большевиков, правда, что же спрашивать?). Но моральные страдания узника Чертова острова, действительно, ни с чем не сравнимы. Во Франции в ту пору, кроме родных Дрейфуса, не было почти ни одного человека, который не считал бы его изменником.

Занавес опустился надолго.

V.

Прошел год. Полковник Сандгерр, глава французской контрразведки, тяжело заболел. Заместить его

* „Солдаты, обеспечен невинный! Да здравствует Франция! Да здравствует армия!“ (Фр.)

** „Смерть!“ (Фр.)

должен был бы, собственно, майор Анри; но он не знал иностранных языков. Назначен был на эту должность Жорж Пикар. Он с увлечением занялся разведочным делом. По-видимому, дело это в значительной мере сводилось к слежке за полковником Шварцкоппеном.

В марте 1896 года французской разведке было доставлено в изорванном виде письмо Шварцкоппена. После бордеро оно представляет собой главную музейную достопримечательность дела Дрейфуса. Это так называемое „petit bleu“*, то есть, в вульгарном переводе, „пневматичка“. Как оно попало в разведку, в точности и до сих пор неизвестно. Прежде предполагалось, что его также принесла горничная посольства Бастиан. Однако полковник Шварцкоппен в своих воспоминаниях утверждает, что он этого письма не рвал и в корзину не бросал — напротив, сам опустил его в почтовый ящик. По мнению Шварцкоппена, за ним в этот день французская разведка установила слежку на улице: увидев, что полковник опустил в ящик письмо, агент разведки вошел в почтовое отделение, показал свое удостоверение и потребовал, чтобы письмо было ему выдано. Возможно. Но кто порвал petit bleu и зачем порвал, остается непонятным.

В письме этом полковник Шварцкоппен в глухой форме просил своего корреспондента представить ему „более подробные сведения по данному вопросу“. Адрес был такой: „Г-ну майору Эстергази, 27, улица Биенфезанс“.

Разумеется, такое письмо германского военного агента должно было чрезвычайно заинтересовать главу французской разведки. Пикар навел справки: кто такой майор Эстергази? Сведения были неблагоприятные. По требованию Пикара ему доставили служебные письма майора. В своем кабинете Пикар вскрыл конверт, взглянул на первое письмо и остолбенел: письмо было написано почерком бордеро — того самого документа, за который был осужден, разжалован и сослан на Чертов остров Альфред Дрейфус.

*Телеграмма, записка, обычно написанная на голубой бумаге (petit — маленький, bleu — голубой) (фр.). — *Прим. ред.*

VI.

Майор Эстергази впоследствии, находясь в безопасности за границей, сам признал, что бордеро написано им. Но только теперь, после появления воспоминаний Шварцкоппена, мы узнали точно, как было дело.

20 июля 1894 года к германскому военному агенту в Париже явился пожилой французский офицер в штатском платье и, не называя себя, предложил свои услуги в качестве осведомителя: он отлично понимает, что делает подлость, — другого выхода у него нет, ему до зарезу нужны деньги; некоторые интересные документы он принес с собой, вот они.

„Я был чрезвычайно поражен и возмущен, — пишет Шварцкоппен. — Офицер французской армии не краснея предает свою родину!.. Я вернул ему его документы, не взглянув на них, и сказал, что в мои обязанности не входит содействие офицеру в разрыве с долгом и честью; могу ему только посоветовать отказаться от своего намерения“, — и т.д.

Полковник фон Шварцкоппен был очень порядочный человек. Тем не менее эти его строки вызывают некоторое удивление: обязанности его ведь именно в том и заключались, чтобы выведывать военные секреты Франции. Как же это могло быть: этакое счастье привалило неожиданно-негаданно, а он возвращает документы, не взглянув на них (даже не взглянув), да еще читает нотации добровольному кандидату в шпионы! Можно предположить, что старый разведчик, правдиво передавая факты, излагает их в традициях немецкой литературы — чуть сентиментальнее, чем нужно. Быть может, не вполне свободен от этой традиции и издатель записок Шварцкоппена Бернгард Швертфегер. В предисловии к книге он рассказывает, со слов вдовы полковника, что в 1917 году на смертном одре фон Шварцкоппен вдруг пришел в себя, поднялся на постели и вскрикнул: „Французы! Слушайте меня! Альфред Дрейфус невиновен! Он ничего не сделал, все было ложью! Дрейфус невиновен!..“ Конечно, ничего невозможного нет и в этом. Однако происходило это в 1917 году. Шварцкоппен пробыл на

фронте всю войну, видал он и вообще немало, — едва ли уж так могла его волновать судьба французского офицера, который, вдобавок, давным-давно был оправдан.

Как бы то ни было, Шварцкоппен тогда же, в июле 1894 года, в ответ на свой доклад получил из Берлина приказ: непременно принять предложение приходившего французского офицера. Новое свидание состоялось 27 июля. На этот раз офицер представился: начальник батальона 74-го пехотного полка граф Вальсин-Эстергази.

VII.

В Эстергази нет ничего загадочного. Если Анри — настоящий герой Достоевского, если Пати де Клам — персонаж из „Рокамболя“, то Эстергази точно сорвался со страниц Казановы.

Он принадлежал как будто к одной из самых знатных венгерских семей. Князя и графы Эстергази ведут свой род от Атилы. Существует и теперь несколько ветвей этого богатейшего рода. Палатину Эдинбургскому, князю Павлу Эстергази принадлежали 21 замок и 414 имений в Венгрии, Австрии, Баварии, Бадене; титулам своим семья потеряла счет. Каким-то образом одна из ветвей, очень бедная и захудалая, оказалась во Франции. Впрочем, австро-венгерские Эстергази, кажется, признавали ее „настоящей“, а в пору дела Дрейфуса приходили в ярость, когда читали о своем родстве со знаменитым майором.

Биография у майора была сложная; она сделала бы честь Казанове. Родился он в Париже и много поскитался по свету. Служил в австрийской армии и участвовал, по его словам, в сражении при Кустоцце — а может быть, и не участвовал: это был великий фантазер. Потом он был папским зуавом, потом служил в Иностранном легионе, потом был принят во французскую регулярную армию. По-видимому, он не прочь был завязать связи и с Россией; но русские военные агенты за границей относились к нему холодно.

Это был очень одаренный человек, неврастенический, циничный, остроумный, веселый человек, — я думаю, таких есть немало, например, в Коминтерне. Женщины сходили по нему с ума. Романов у него было множество; он относился к своим любовницам снисходительно: уверял, что у него было в жизни 22 дуэли, „две из-за собак, но ни одной из-за женщин“. А может быть, не было ни дуэлей из-за собак, ни даже дуэлей вообще. Главной страстью майора Эстергази были деньги — это можно назвать несчастной страстью: никогда он не имел ни гроша, без гроша и умер в глубокой старости — как Казанова.

Он считал себя неоцененным человеком и был совершенно искренно убежден, что все его обижают. Эстергази прожил жизнь в состоянии вечной обиды, с твердым сознанием, что пора этому положить конец и всех разоблачить как следует. Может быть, его особенно обидело начальство в тот день, когда он решил предложить свои услуги Шварцкоппену. А может быть, просто понадобились до зарезу две тысячи франков: ему всю жизнь до зарезу были нужны две тысячи франков.

Собственно изменой это можно было назвать только с формальной стороны: майор Эстергази не считал себя французом и вдобавок терпеть не мог Францию. Впоследствии брошенная им женщина из мести передала дрейфусарам его письма к ней. В одном из них, осыпая бранью французских генералов (они его обижали), он пишет: „Поистине безгранично терпение этого глупого французского народа, самого антипатичного из всех мне известных; но мое терпение истощается“. Еще выразительнее другое письмо: „Я не способен обидеть собачку, но я с удовольствием перебил бы сто тысяч французов... Париж, взятый штурмом сотней тысяч пьяных солдат!.. Вот праздник, о котором я мечтаю!..“ Можно себе представить восторг дрейфусаров: этого человека антидрейфусары провозгласили национальным героем. На процессе Золя при допросе майора „коронным номером“ защитников было чтение этих писем. „Господин майор Эстергази, кавалер Почетного легиона, написал ли он следующее?“ — с этим предварительным вопросом оглаша-

лось одно письмо за другим. Впечатление было сильнейшее.

VIII.

Полковник Пикар впоследствии рассказывал, какой ужас им овладел, когда он увидел, что почерк Эстергази тождественен с почерком бордеро. Он не сомневался до того в виновности кап. Дрейфуса, некоторую, правда, очень небольшую роль сам сыграл в деле его осуждения. Теперь оказывалось, что на Чертов остров сослали ни в чем не повинного человека!

Казалось бы, вопрос разрешался легко: вернуть невинно осужденного из ссылки, уличить и предать суду виновного. Пикар был антисемит, он очень не любил Дрейфуса лично — это не могло иметь значения. Логически все выходило очень просто; в действительности все было много сложнее. Мог ли Пикар не понимать, какой необычайный скандал должно вызвать его открытие?

Мало людей знало, что судьям Дрейфуса были военным министром даны документы, не показанные ни подсудимому, ни защите. По-видимому, не знали об этом и министры. Так, по крайней мере, впоследствии утверждал входивший в тот кабинет молодой Пуанкаре; да в этом и трудно сомневаться людям, знающим характер, взгляды, преклонение перед правом знаменитого государственного деятеля. В грубом нарушении закона участвовало, вероятно, человек десять, не более. Но этого было достаточно, чтобы скомпрометировать все военное ведомство Франции.

Пикар сделал доклад по начальству. Произошло смятение. Столкнулись два понимания мира. Спор их достиг предельного напряжения в чисто шекспировском диалоге, который произошел у Пикара с помощником начальника генерального штаба генералом Гонзом. Этот генерал убеждал начальника разведки, что нельзя — нельзя! — поднимать снова дело Дрейфуса. Пикар в ответ твердил одно:

— Но ведь Дрейфус невиновен!

— Если вы этого не скажете, никто об этом не узнает! — вымолвил, наконец, Гонз.

— Генерал, то, что вы говорите, ужасно!.. Нет, этой тайны я с собой в могилу не унесу!

Государственная тайна. *Pia graus**. Очень сильные и страшные слова. Так всегда было. По своим не бьют, своих покрывают.

Поэтому нельзя отнести к делу с умеренно снисходительным одобрением: человек раскрыл судебную ошибку и не замолчал ее, в чем тут заслуга? Каковы бы ни были его политические, расовые, личные симпатии или антипатии, таков был его элементарный долг.

Древние греки утверждали, что сам Юпитер не свободен: своим окружением связан и он. В той обстановке 1896 года для исполнения долга требовался герой. Жорж Пикар и стал из обыкновенного человека героем. Не стоит подробно рассказывать о тех преследованиях, которым он подвергался под разными предлогами. Пикар был отставлен от должности начальника разведки, отправлен с фиктивным поручением в далекую незамирную колонию. Позднее — по раскрытии дела — он был предан суду за разглашение служебных тайн[#].

IX.

Но тайна, о которой известно десятку людей, вечно тайной оставаться не может. „Его величество случай“ вступает в свои права. Случайно узнал о тайне защитник Дрейфуса Деманж; случайно узнал о ней старый сенатор Шерер-Кестнер.

Как водится, дело осложнилось погоней газет за сенсациями. 10 ноября 1896 года газета „Матэн“ опубликовала факсимиле бордеро, купленное ею у одного из экспертов процесса 1894 года. Какой-то банкир, имевший денежные дела с Эстергази, тотчас признал почерк своего клиента и оповестил об этом Матье Дрейфуса, брата осужденного капитана. Несколькоми днями позднее Матье Дрейфус открытым письмом на имя военного министра обвинил майора Эстергази в

*Святая ложь (лат.).

[#]Пикар совещался о юридической стороне дела со своим другом детства, адвокатом Леблуа.

совершении того преступления, за которое был осужден его брат.

Буря разразилась.

Почетная обязанность Франции: внутренние дела ее с незапамятных времен становятся достоянием всего мира. С конца 1896 года во всех газетах вселенной создается ежедневная рубрика: дело Дрейфуса.

За границей общественное мнение сошлось почти единодушно на том, что произошла тяжкая судебная ошибка. Так думали и левые и правые. По случайности почти все европейские монархи были убеждены в том, что Дрейфус невиновен. Убежденными дрейфусарами считались и были императрица Евгения, герцог Омальский. Папа Лев XIII говорил своим родным, что изменник — Эстергази. Королева Виктория, чрезвычайно интересовавшаяся делом, не выдержала и попросила своего внука Вильгельма II в частном порядке сообщить ей, имело ли германское военное ведомство когда-либо сношения с Дрейфусом. Император дал ей слово, что никогда не имело. Вильгельм считал даже нужным заехать лично к французскому послу и честным словом заверил маркиза Ноайя, что в германском штабе никто не имеет понятия о Дрейфусе. В России сенатор Закревский дал заключение, обошедшее всю печать дрейфусаров. Изумлялись за границей два знаменитых человека. Толстой говорил: „Весь мир лежит во зле — а они толкуют о деле Дрейфуса!“ Это был трезвый мыслитель. Бисмарк совершенно недоумевал: „Немцы, немцы почему сентиментальничают? (Вероятно, он имел в виду императора.) Во Франции осудили без вины офицера? И слава Богу: пусть Франция сварится в собственном соку“. Это был реальный политик.

Франция действительно была близка к состоянию гражданской войны. Страна разделилась на два лагеря. Среди дрейфусаров были известнейшие писатели, ученые, художники: Клемансо, Золя, Жорес, Анатолий Франс, Ростан, Прево, Жюль Ренар, Марсель Пруст, Викторьен Сарду, Мирбо, Дюкло, Шарль Рише, Пенлеве, Ланжевен, Перрен, Ру, Олар, Клод Моне, Писсаро, Синьяк, Сара Бернар, Режан. Были известные писатели и среди антидрейфусаров: Баррес, Пьер Луис,

Эредиа. Разделилась и аристократия (Ноайи, например, стояли за Дрейфуса), и католические круги (образовался „Католический комитет защиты права“, требовавший пересмотра дела), и круги еврейские (Ротшильды сохраняли нейтралитет, Поржесы снабжали деньгами антидрейфусаров). Разделились и социалисты. Леон Блюм в своих интересных воспоминаниях, написанных после смерти Дрейфуса, рассказывает о бурной сцене между Жоресом и некоторыми его товарищами по партии, которые категорически требовали, чтобы он покинул лагерь дрейфусаров. „Вы губите нас всех, наши избиратели возложат на нас ответственность за вас!..“ „Ваши избиратели скоро узнают правду, — ответил Жорес, — они возложат на вас ответственность за вашу слабость, за вашу трусость, и вы будете меня просить выступить на вашу защиту... Что ж, я себя знаю: я выступлю...“ Очень многие колебались, — и позднее, вероятно, сожалели о своем колебании. Малларме слышать не хотел ни о дрейфусарах, ни о антидрейфусарах. Поль Валери принял участие в подписке враждебного Дрейфусу лагеря: прислал три франка, с оговоркой: „не без колебания“. Другой писатель тоже принял участие в этой подписке, но оговорку сделал другую: „За порядок, против справедливости и правды“.

Слова эти совершенно точно выражали идейный смысл той борьбы, которая сокращенно называется делом Дрейфуса.

Х.

Порядка, разумеется, было бы гораздо больше, если б Пикар не раскрыл истинного виновника преступления: Дрейфус до конца своих дней оставался бы на Чертовом острове, во Франции спокойствие не нарушалось бы. Однако глубокие политические соображения в духе Великого инквизитора, вероятно, могли быть только у некоторых вождей враждебного Дрейфусу лагеря. Большинство антидрейфусаров были искренно убеждены в том, что капитан Дрейфус изменник.

Чтобы поддерживать своих соотечественников и, в

частности, высший командный состав в этом убеждении, тайный Анри и совершил свой знаменитый подлог, в котором позднее сознался и из-за которого покончил с собой.

В распоряжении французской разведки были перехваченные письма итальянского военного агента Паниццарди к его другу полковнику Шварцкоппену. Письма эти Паниццарди писал синим карандашом; бумагу он в разное время употреблял разную, но обычно пользовался бумагой в клеточках. На одном из писем итальянского агента, содержавшем самое обыкновенное приглашение к обеду, оставалось внизу много неисписанного места. Анри срезал белую часть листка, срезал подпись и приклеил* их к верхней части другого письма Паниццарди, на которой значилось только обращение: „Дорогой друг“.

Был у майора Анри агент, очень темный человек, много раз сидевший в тюрьме, по фамилии Леман. Кроме этой фамилии у него было много псевдонимов: Роберти, Вандам, Вернь, Дюрье. Любимый псевдоним его был Лемерсье-Пикар. Этот человек умел мастерски подделывать любой почерк. Анри поручил ему написать на склеенном письме почерком Паниццарди следующие слова: „Я прочел, что какой-то депутат вносит запрос о Дрейфусе. Если от Рима потребуют новых объяснений, я скажу, что никогда с этим евреем не имел дела. Если спросят вас, скажите то же самое. Никто никогда не должен узнать, что с ним было“.

Это подложное письмо должно было погубить Дрейфуса. Оно его спасло.

XI.

13 января 1898 года Эмиль Золя бросил свою историческую бомбу: в газете „Орор“ появилось его открытое письмо к президенту республики. Редактор газеты — Клемансо — подыскал подходящее заглавие: „L'accuse“^{##}; оно тоже стало историческим.

*Это, разумеется, подозрений возбудить не могло: все письма Паниццарди склеивались разведкой, которая получала их в разорванном виде из корзины полковника Шварцкоппена.

^{##}„Я обвиняю“ (фр.).

Письмо это было, думаю, крупной политической ошибкой: слишком много людей в нем обвинялось, и слишком тяжки были обвинения. Но в чисто литературном отношении, по силе и энергии стиля, письмо едва ли не лучшее произведение Золя, — говорю это без всякой иронии. От писателей, по общему правилу, мало толка в политике. Однако ни один политический деятель такого письма написать не мог бы. Для него нужно было сочетание бешеного темперамента с большой властью над словом: в этом отношении оно мне напоминает страшное письмо, написанное Пушкиным барону Геккерену накануне поединка.

Золя был предан суду за клевету и за оскорбление высших должностных лиц, — такова, собственно, и была его цель.

„Процесс Золя, — говорит Шарансоль, — одна из самых необыкновенных судебных драм всех времен... Ни с чем не сравнимо величие этих дебатов, так и кипящих человеческими страстями“. Помимо всего прочего, это было состязание певцов в Вартбурге: перед судом давали показания самые знаменитые люди Франции, говорили и лучшие ее ораторы: Клемансо, Жорес, Лабори, Деманж (превосходными ораторами оказались и генералы Мерсье и де Пеллье); перед зданием суда непрерывно шли манифестации; на окраинах города, предназначенных традицией для поединков, происходили дуэли.

Главной сенсацией процесса было выступление Жоржа Пикара. Ждали его с интересом необычайным. Никто в публике не знал этого человека, но о нем, о его открытии, о его роли в деле Дрейфуса уже началась слагаться легенда. Показание его длилось больше часа. Ясно, спокойно, подробно он все рассказал, — кроме того, что раскрывать запрещала служебная тайна. Рассказал, как ему удалось выяснить, что изменник не Дрейфус, а Эстергази. По словам очевидца, судьи, адвокаты, свидетели, публика слушали бывшего главу контрразведки „едва переводя дух“, — Эстергази был в числе слушателей!

Затем начались очные ставки. Первая же из них приняла бурный характер. Подполковник Анри* пу-

*Он пезадолго до того был произведен в подполковники.

блично назвал Пикара лжецом; Пикар ответил вызовом на дуэль. Затем Эстергази заявил, что вызывает Пикара и Клемансо; оба тотчас ответили, что с изменником драться не станут. Происходили совещания секундантов, арбитров, суперарбитров. Анри и Пикар составили завещания. Впрочем, кончился их поединок пустяками: Анри был легко ранен в руку.

По городу, да и по всему миру, ходили самые необыкновенные слухи. Говорили, что французское правительство перехватило собственноручные письма Вильгельма II, подтверждавшие измену Дрейфуса. Говорили также (это была версия Эстергази), что Дрейфус состоял на службе не у Германии, а у России: русская разведка якобы желала выяснить, действительно ли Франция так могущественна в военном отношении. С другой стороны, Жозеф Рейнак, один из главных дрейфусаров, утверждал, „со слов известного русского писателя“, будто русский генеральный штаб имеет доказательства того, что настоящий изменник — подполковник Анри. По случайности, в России ушел в отставку военный министр генерал Ванновский. Газеты с самым глубокомысленным видом ставили это в какую-то связь с делом Дрейфуса. Чтение газет 1898 года кого угодно может убедить в том, что нет предела человеческому легковерию.

В этой атмосфере злобного боя в потемках представитель генерального штаба на процессе генерал де Пеллье огласил письмо Паницарди к Шварцкоппену (разумеется, не назвав их). Незачем пояснять, что де Пеллье был искренно убежден, как и весь генеральный штаб, в подлинности этого письма. От тяжелого снаряда ряды дрейфусаров дрогнули.

Золя был приговорен к году тюрьмы.

Именно в это время было изобретено (или, по крайней мере, впервые пущено в обиход) Жоржем Тьебо слово „националист“, сделавшее столь блестящую карьеру. Эстергази объявил себя националистом и во имя национализма громил всех своих врагов. Нельзя без веселья читать то, что автор бордеро говорил о будущем „Отце Победы“ — Клемансо был в ту пору символом всего антинационального.

В смысле пророческого дара не отставали от своих противников и дрейфусары. Один знаменитый уче-

ный-дрейфусар объявил, что франко-германская война так же вероятна, как война между Генуей и Пизой. Пишущий эти строки видел этого ученого в сентябре 1914 года. Напоминать ему о его предсказании было бы весьма бестактно. Жив он и по сей день и теперь, кажется, несколько изменил формулу: франко-германская война так же разумна, как война между Генуей и Пизой.

Это лучше.

ХII.

В экспертизах и контрэкспертизах, в слухах и опровержениях разобраться было очень трудно. Иные умные люди так и заявляли, что невозможно выяснить истину в деле, в котором замешаны столь важные социально-политические интересы. Они заявляли это несколько демонстративно. „У агностицизма, как у веры, должен быть свой ритуал“, — говорит Оскар Уайльд, который, впрочем, в этом деле занял отнюдь не позицию агностика: он был антидрейфусаром и оказывал мелкие услуги Эстергази.

Подлинные документы не дали возможности установить истину. Дал возможность ее установить — подлог.

Через десять дней после осуждения Золя в доме № 141 по улице Севр, в маленькой комнатке гостиницы Ла-Манш, повесился на окне „толстый, грузный человек еврейского типа“, живший там под чужой фамилией. Полицейское дознание выяснило, что это Лемерсье-Пикар. Это был тот самый агент, который по поручению Анри написал почерком Паниццарди письмо к Шварцкоппену с упоминанием об измене Дрейфуса. Отчего он покончил с собой, осталось невыясненным. Объясняли это позднее и безденежьем, и страхом, и даже угрызениями совести. Смерть его ни у дрейфусаров, ни у антидрейфусаров не вызвала ни большого горя, ни большой сенсации.

Зато необычайную сенсацию во всем мире вызвало вскоре другое трагическое событие.

Ревностный антидрейфусар капитан Кюнье, состоявший при военном министре Кавеньяке, получил предписание привести в порядок секретные документы по делу Дрейфуса. Разбирая их вечером при свете лампы, капитан обратил внимание на странную особенность письма Паницарди к Шварцкоппену (оно было, повторяю, написано на бумаге в клеточках): ему показалось, что клеточки верхней части листа ни по размеру, ни по цвету ободков не тождественны с клеточками нижней. Капитан Кюнье доложил об этом своему непосредственному начальнику, такому же антидрейфусару, как он сам. Они были поражены: уж очень значительно и грозно было это открытие. Они немедленно отправились к военному министру (отсюда, кстати сказать, достаточно ясно, как не правы были антидрейфусары, обвинявшие скопом чуть не все военное ведомство в действиях незаконных и пристрастных). Кавеньяк рассмотрел письмо: да, сомнительный быть не могло, оно склеено из двух листков — это подлог!

Военный министр вызвал подполковника Анри для объяснений. К сожалению, я не могу привести протокол допроса, продолжавшегося около двух часов, — это документ поразительный. По-видимому, железные нервы Анри ему изменили. Его сокрушила неотразимая улика: все дело рухнуло из-за ничтожной оплошности, из-за каких-то клеточек, из-за того, что, склеивая листки, он не удостоверился в тождественности ободков! Герой Достоевского потерял самообладание. „Вы подделали все письмо!“ — говорил под конец с бешенством военный министр. „Нет, не все...“ — „Что было в настоящем письме? Только обращение „дорогой друг“?“ — „Вот как было... В письме было несколько слов...“ — „Каких несколько слов?“ — „О другом... Они не имели отношения к делу...“ — „Так вот что: вы получили в конверте письмо незначительного содержания, вы его уничтожили и сфабриковали свое?“ — „Да...“

Вечером агентство Гавас разослало газетам следующее сообщение:

„Сегодня в кабинете военного министра подполковник Анри был уличен и сознался в том, что сам составил то письмо, в котором названо имя Дрейфуса. Во-

енный министр приказал немедленно арестовать подполковника Анри и отправить его в крепость Мон-Валериан“.

На следующий день сторож, с обедом на подносе, вошел в камеру подполковника. На столе камеры стояла наполовину опорожненная бутылка рома, рядом с ней было брошено бессвязное письмо. На полу в луже крови валялась бритва. На постели лежал глава французской разведки. Подполковник Анри был мертв. Он перерезал себе горло.

Этот человек унес с собой немало тайн. Но главной из них был он сам.

Волнение, вызванное этим событием, именно „не поддается описанию“. Самоубийство панамиста Рейнака, самоубийство Анри, самоубийство Ставиского — вот совершенно разные, но почти одинаково мрачные даты в новейшей политической истории Франции. Во всех трех случаях публика в самоубийство не верила, — „конечно, их убили!..“ Нет людей легковернее принципиальных скептиков. В действительности не может быть сомнения, что Анри (так же, как Рейнак и Ставиский) покончил с собой. Вскоре после его кончины начался процесс Жоржа Пикара. Он потребовал слова и сказал:

„Я сегодня буду отведен в военную тюрьму Шерп-Миди. Вероятно, это для меня последний случай сделать публичное заявление. Я хочу, чтобы все знали следующее: если завтра в моей камере найдут веревку Лемерсье-Пикара или бритву Анри, то это будет убийство. Ибо люди, подобные мне, с собой не кончают...“

„Невозможно передать впечатление, — говорит очевидец (де Прессансе), — произведенное этими словами. Перед слушателями встал призрак государственных преступлений, убийств, совершенных во мраке тюремных казематов, мрачных трагедий подземелья, смерти Пишегрю, предписанных самоубийств Лемерсье-Пикара и Анри. Публика замерла...“

Цель была достигнута. „Мы все в день смерти майора Анри стали сторонниками пересмотра дела Дрейфуса“, — писал один правый политический деятель.

ХІІІ.

С самоубийством подполковника Анри в деле Дрейфуса кончился роман-фельетон. Это не значит, что в дальнейшем не было драматических сцен и событий. После назначения пересмотра дела невинно осужденный капитан, снова в мундире и при шпаге, вернулся во Францию — и с изумлением узнал, что судьба его стала мировым событием: единственный человек, который четыре года ничего не знал и не слышал о „деле Дрейфуса“, был сам Альфред Дрейфус: ему на Чертовом острове газеты не давали, а в письмах об этом писать запрещалось. В течение долгих часов Лабори и Деманж рассказывали своему подзащитному историю его дела.

Драматический характер имел и реннский процесс, — опять были разные сенсации, в том числе одна в новом роде: покушение на жизнь Лабори*. Но все это уже не было первым спектаклем: дело Золя, показание Жоржа Пикара, раскрытие подлога Анри почти целиком раскрыли сложную фэбулу романа, каким, по воле рока, стала судьба ничем не замечательного французского офицера. Теперь роман шел к развязке сам собой, захватывая все большее число людей. *Grescit cum magia haeresis, cum haeresi magia*“.

Отставной полковник Пикар не играл большой роли ни в ренском процессе, ни в заключительных главах дела Дрейфуса, — поэтому незачем о них рассказывать: они достаточно известны. Что делал Пикар в 1898—1906 годах, я вдобавок и не знаю. Была у него еще, все из-за таких же счетов, дуэль с помощником начальника генерального штаба генералом Гонзом. Гонз выстрелил и промахнулся, Пикар отказался стрелять, на этом поединок кончился. Затем снова появилось имя Пикара сразу во всех газетах в самый последний день исторического дела.

Правда восторжествовала, — надо же иногда торжествовать и правде. Настоящий *happу енд* пришел, впрочем, нескоро: через несколько лет. 12 июля

*Через много лет после того, при перенесении тела Золя в Палте-ол, было произведено покушение и на самого Дрейфуса. Его легко ранил двумя выстрелами Грегори.

*Нарастая с тревожной магией и с магической тревогой (*лит.*)

1906 года соединенное присутствие всех камер кассационного суда единогласно признало Альфреда Дрейфуса жертвой тяжкой судебной ошибки. Торжественно и важно звучала длиннейшая мотивировка решения, — нелегко поддается переводу старинный юридический язык французов. „...И послыку после всего указанного ничего не остается от обвинения против Дрейфуса... то объявляется, что по ошибке и без вины был ему вынесен обвинительный приговор...“

На следующий день палата депутатов, большинством 442 голоса против 32, приняла особый закон, в силу которого Альфред Дрейфус был вновь зачислен во французскую армию с производством в начальники эскадрона и с пожалованием ему ордена Почетного легиона. Одновременно другим законом был возвращен на службу и произведен в генералы Жорж Пикар.

Церемония награждения Альфреда Дрейфуса орденом Почетного легиона по распоряжению правительства должна была происходить на том самом дворе военной школы, где 12 лет тому назад сорвали погоны с осужденного капитана. Но это место будило в Дрейфусе слишком ужасные воспоминания — по его просьбе церемония была совершена в другом помещении школы. Она носила чисто военный характер. Генерал Гиллен перед отрядом солдат прикоснулся шпагой к плечу Дрейфуса. „Майор Дрейфус, именем президента республики, объявляю вас кавалером Почетного легиона“. Затем, обняв его, генерал добавил: „Мне было особенно приятно выполнить это поручение: вы когда-то служили в моей дивизии“. Публики было немного, по сравнению с огромной толпой, когда-то собравшейся поглядеть на церемонию разжалования. Однако не надо истолковывать это слишком мрачно. Дело Дрейфуса просто всем надоело. Настроение во Франции переменялось, ненависть к дрейфусарам чрезвычайно ослабела, в них перестали видеть врагов армии и национального знамени. „Заблуждения, — говорит де Местр, — подобны фальшивой монете: изготавливают их преступники, но распространяют и самые честные люди...“

Немного собралось на церемонию и друзей — по-видимому, Дрейфуса не очень любили и друзья.

Клемансо, Лабори, кажется, и Деманж не явились (Золя уже был в могиле, так же как Шерер-Кестнер). Был Анатоль Франс, был генерал Пикар. Газеты отметили их появление и рассказали много трогательного о дружеской их беседе с Альфредом Дрейфусом.

XIV.

Для трогательного тона этот случай, разумеется, подходил больше, чем какой бы то ни было другой. Но, по существу, думаю, большого восторга не было. Анатоль Франс, вероятно, понимал всю жизнь людей на земле как случайное и не очень удачное биологическое осложнение слепых, никуда не ведущих, ни для чего не нужных космических процессов. После воспоминаний, появившихся в последние годы о Ан. Франсе, не приходится много говорить о его гражданских добродетелях. Что до Пикара, то он, конечно, мог радоваться заключительной сцене драмы: ведь именно он раскрыл судебную ошибку, бывшую ее основой. Но ни по натуре, ни по взглядам, ни по биографии своей Жорж Пикар не принадлежал к тем людям, которые считались и были главными победителями в этом долгом бою.

Социально-политическое содержание дела Дрейфуса заключалось в переходе власти надолго от правых и умеренных республиканцев к радикально-социалистической партии. Я отнюдь не хочу сказать, что „в конечном счете“ все свелось к торжеству единомышленников депутата Боннора над единомышленниками майора Анри: в такой исторической перспективе была бы лишь небольшая доля правды. Однако не подлежит сомнению, что идеалисты из лагеря дрейфусаров связывали с делом Дрейфуса неопределенные и чрезвычайно преувеличенные ожидания, которых оно оправдать не могло и не оправдало. Очень много было сказано громких слов об „очищающей буре“. Не так много эта буря очистила. Для особенного энтузиазма оснований не оказалось. Упрочились некоторые организации, занимающиеся борьбой с людоедством посредством раздачи орденов, выгодных должностей и других наград нелюдоедам. Недав-

ний опыт, впрочем, показал, что и это задание выполнялось не так уж удачно. Один из отставных дрейфусаров в свое время выразил разочарованные чувства в непере译имой забавной формуле „Dreyfus était innocent. Et nous aussi!“*

Жорж Пикар к лагерю радикалов никогда не принадлежал. Не принадлежал он и ни к какому другому лагерю. Он был из тех людей, которым Гёте особенно советует сидеть дома, ибо „как только выходишь из дому, тотчас вступаешь в грязную лужу“. В самом Гёте был такой душевный уголок, — в этом смысле он и утверждал, что брань кучера с лаксем занимает его больше, чем столкновение великих империй. Но Пикару сидеть дома так больше и не пришлось: дело Дрейфуса определило всю его дальнейшую жизнь.

Клемансо откровенно сказал, что в случае столкновения между республикой и свободой он выберет республику (в этих случайно уроненных словах кроется оправдание многих диктатур). Пикар больше всего дорожил свободой и свое будущее принес в жертву именно свободе чужого, неприятного ему человека. Правда, благодаря этому он перешел в историю, впоследствии стал министром. Но вот уж поистине выиграл в лотерею, не купив билета, — кто мог предусмотреть в 1896 году, как повернется дело о какой-то измене? К принципу республики, противопоставляемому идее свободы, у Пикара большой любви не было. Он отнюдь не „родился старым республиканцем“ и, вероятно, далеко не всем восторгался из того, что делали пришедшие к власти дрейфусары. Круг мыслей Клемансо отлично уживался с идеей *raison d'Etat**, — впоследствии он блестяще это доказал. Расхождение между ним и антидрейфусарами заключалось, главным образом, в том, что *raison d'Etat* они понимали совершенно разное. Для Пикара же Гонз, предлагавший оставить Дрейфуса навсегда на Чертовом острове во имя интересов государства, был некоторым подобием дьявола:

„Satan, ce braconnier de la forêt de Dieu...“[△]

* „Дрейфус был певичопел И мы тоже!“ (фр.)

△ Государственный интерес (фр.).

△ „Сатана это браконьер божественного леса.“ (фр.)

Клемансо пришел к власти в 1906 году. Об этой минуте он мечтал всю жизнь, но, по-видимому, совершенно не знал, что будет у власти делать. Пришел с репутацией революционного деятеля, ушел с репутацией закоренелого реакционера. Жорж Пикар был в его кабинете военным министром и до некоторой степени разделил участь своего знаменитого друга. Немногое, в сущности, связывало этих двух людей: и достоинства их и недостатки были совершенно разные. Но работали они дружно — сделали же, во всяком случае, гораздо меньше, чем ждали от них поклонники. Клемансо судьба сберегла до великой войны; а Пикар, с точки зрения *biographie romancée**, вероятно, выиграл бы, если бы скончался в день своего назначения военным министром: правда восторжествовала, — торжество правды обычно лучше всего в первый момент. Но Пикар, должно быть, думал о биографических эффектах меньше, чем другие кандидаты на биографию. Его назначение вызвало особенный восторг в левых кругах: они были убеждены, они писали, что „теперь все пойдет по-иному“. Некоторые совершенно серьезно рассчитывали, что новый кабинет будет проводить в жизнь „политику интернационального пацифизма“. Понятие и само по себе довольно неопределенное; но чего, собственно, эта политика требовала от человека, стоящего во главе военного министерства, уже совсем мудрено понять. Правые, напротив, ожидали от Пикара всяких ужасов — и тоже обманулись, но приятно. Он никому не мстил, никаких репрессий не последовало. Не последовало и глубоких реформ. Вообще не последовало ничего. На посту военного министра и правые, и левые вынуждены делать приблизительно одно и то же. Разочарование было жестокое и у социалистов, и у анархистов, и у „желтых“. Достаточно прочесть книгу Эд.Лекока „Против олигархии“, чтобы убедиться, в каком тоне писали тогда о генерале Пикаре. Автор книги с гордостью утверждал, что „плюнул Пикару в лицо“.

Кабинет Клемансо существовал очень долго — чуть только не побил рекорда Вальдека-Руссо. Но есть во Франции предел жизни кабинетов, объясняю-

*Романтизированная биография (фр.).

щийся преимущественно тем, что надо ведь и другим людям побывать министрами. Предел этот колеблется в разные периоды истории Третьей республики: от месяца до трех лет. Пикар был военным министром почти три года. Затем он получил назначение на должность командующего вторым корпусом. Это один из самых ответственных военных постов Франции. Говорили о Пикаре как о возможном кандидате в генералиссимусы; но для этого он имел слишком прочную, хоть и не очень заслуженную, репутацию политического генерала. Главнокомандующий в военное время должен быть в политическом отношении нейтральным человеком.

Однако до войны Пикару не было суждено дожить. В январе 1914 года, катаясь верхом в Амьене, он упал с лошади. Несчастный случай как будто не имел тяжких последствий, — Пикар верхом с прогулки и вернулся. Но дня через два образовалась зловеющая опухоль в мозгу. Врачи не скрыли от больного, что его положение безнадежно. Он принял это известие совершенно спокойно. Длилась болезнь всего несколько дней. 19 января Жорж Пикар скончался. В Амьен тотчас выехали личные друзья: Клемансо, Пенлеве, ген. Жоффер, Лабори, Шерон — и майор Альфред Дрейфус.

Тело было перевезено в Париж. Правительство назначило национальные похороны. Почти вся печать отдала должное мужеству, бескорыстию, душевному благородству генерала Пикара. В Амьене его гроб провожало на вокзал чуть ли не все население города. Он прослужил там несколько лет и пользовался громадной популярностью, отчасти благодаря своей щедрости, Пикар почти ничего после себя не оставил, — впрочем, и семьи у него не было.

24 января тело его было сожжено в крематории кладбища Пер-Лашез.

Убийство президента Карно

I.

Вечером 24 июня 1894 года в Париж одна за другой пришли следующие телеграммы (заимствую их из газет того времени):

Лион, 24 июня, 7 час. вечера.

„Президент республики, по сторонам которого находились председатель Совета министров Дюпюи и генерал Борниос, принял лионское духовенство. Лионский архиепископ монсеньор Куллье, председатель консистории лютеранской церкви и главный раввин Лиона приветствовали речами главу государства. Президент отвечал любезными словами.

Затем итальянский консул, старшина консульского корпуса, представил президенту своих коллег и в кратком слове напомнил, что этот день является годовщиной сражения при Сольферино, столь славного для французского и для итальянского оружия. Г. Карно в прочувствованных выражениях благодарил консула.

Город будет вечером пышно иллюминирован. В 8 час. состоится большой банкет в здании Биржи, а затем парадный спектакль в Большом театре. Представлена будет „Андромаха“ Расина“.

Лион, 24 июня, 9 часов.

„Банкет в здании Биржи прошел чрезвычайно торжественно и удачно. Президент республики оживленно беседовал с гостями, которых ему представлял г. Риво, префект департамента Роны.

Меню обеда: „Croustades à la Monglas. Saumon Vénitien Caneton Lucullus. Mousseline d'écrevisses. Poularde truffée. Truffes et champignons Chantilly. Homard à la Parisienne. Glace Valkyrie. Dessert. Vins: Chénas en carafe. Madère de l'Isle. Château Citron 1878. Pommard. Duc de Montebello“*.

* „Пирожки а ля Монгла. Венецианская лососина. Утка „Лукулл“. Соус из креветок. Пулярка, начиненная трюфелями. Трюфели и грибы Шантийи. Омар по-парижски. Мороженое „Валькирия“. Десерт. Вина: Шена в графине. Мадера де л'Иель. Замок Ситрон 1878 г. Бургундское. Герцог де Монтебелло (фр.).

За десертом глава государства пропзнес тост, кончавшийся словами: „В дорогой нашей Франции, когда дело идет о ней, партий больше нет: одно сердце бьется у нас всех! (Продолжительные рукоплескания.) Я пью за благосостояние славного города Лиона и департамента Роны. (Продолжительные рукоплескания, крики: „Да здравствует президент!“)“.

Лион, 24 июня, 9 час. 25.

„В то время, когда президент республики проезжал из здания Биржи в театр, где должен состояться парадный спектакль, какой-то субъект („un individu“) нанес ему в сердце удар кинжалом“.

Лион, 24 июня, 9 час. 35.

„Сегодня вечером, в 9 часов 20, при проезде президента Карно по улице Республики молодой человек 18—20 лет, в серой каскетке, похожий по виду на жокея, бросился к его ландо, держа в руке завернутый в бумагу предмет, и нанес им удар президенту.“

Глава государства отвезен в префектуру. Его положение, по-видимому, безнадежно.

Винновник покушения арестован“.

Лион, 24 июня, 9 час. 42.

„Толпа пыталась линчевать преступника, покушавшегося на жизнь президента республики. Десять полицейских с величайшим трудом его освободили.“

Он птальянец по имени Чезарно Санто. Ему 22 года“.

Лион, 24 июня, 9 час. 40.

Директору железных дорог Париж—Лион—Париж. „Благоволите, не теряя ни минуты, приготовить экстренный поезд для госпожи Карно. Президент республики ранен. Генерал Борпюс“.

Лион, 9 час. 45.

Председателям Сената и Палаты, Париж. Префектам и супрефектам.

„Президент республики ранен ударом кинжала по пути в Большой театр из торговой палаты. Глава государства перевезен в префектуру. Его окружают медицинские светила Лиона. В этом тяжком испытании правительство приобщает Францию к своим пожеланиям выздоровления президента. Председатель совета министров Дюпюи“.

Лион, 24 июня, 10 час. 20.

„...Кинжал проник в левую часть печени на 10—12 сантиметров в глубину. Положение очень тяжелое. На остановку кровоизлияния мало надежды. Операция будет произведена немедленно. Доктора Лакассань, Кутан, Оллие, Ребатель, Понсе, Гангольф, Фабр“.

Лион, 24 июня, 10 час. 20.

„В 9 час. 30 к зданию театра, в котором при переполненном зале должен был состояться парадный спектакль, приехала галопом коляска президента республики. Ей предшествовали, прокладывая дорогу, четыре конных жандарма. В коляске находились гг. Дюпюи, депутат Шоде и префект Роны Риво.“

Предполагая, что это первый экипаж президентского кортежа, толпа разразилась приветственными криками. Префект с сильным волнением прокричал: „Перестаньте! Президент республики стал жертвой покушения!..“

Гг. Риво и Шоде вбежали в театр. Префект вошел в ложу, предназначенную для главы государства. Весь театр встал. Г. Риво подошел к барьеру ложи и, подавляя рыдания, произнес:

„Господа, президент республики убит... Спектакль отменяется...“

Лион, 24 июня, 11 часов.

„Преступника зовут Санто Казерно. Он родился в Монте Висконте, вблизи Милана. В Лион приехал только сегодня утром из Сетт“.

Лион, 24 июня, 11 часов.

„Волнение в городе чрезвычайно велико. Час тому назад начались уличные манифестации. Пострадала итальянская кофейня Казати, расположенная в центре Лиона.“

Манифестанты направились к итальянскому консульству. Для его охраны срочно вызван отряд войск“.

Лион, 24 июня, 11 часов.

„Президент республики в коляске произнес лишь слова: „Кажется, я ранен“, — и, откинувшись на спинку коляски, лишился чувств.“

Префект Риво ударом кулака отбросил преступника, который кинулся в толпу с криком: „Да здравствует анархия!“

Батист Домерг, 60 лет, проживающий в Лионе, на ул. Вижиланс, 3, представил полиции поднятый им на мостовой кинжал преступника. Это нож длиной приблизительно в

25 сантиметров, с медной золоченой рукояткой. На мостовой подняты и ножны, бархатные с черными и красными поло-самп“.

Лион, 24 июня, 11 часов.

„Президент Карно пришел в себя в начале операции и произнес лишь: „Как я страдаю!..“

Рана президента широка и разворочена. Видны печень и внутренности.

Увидев лионского архиепископа, монсеньора Куллье, президент сказал глухим голосом: „Вижу, что я погиб“.

— Господин президент, — сказал доктор Понсе, — здесь с вами ваши друзья.

— Да... Я очень счастлив, что вы здесь, — прошептал президент и снова лишился чувств“.

Лион, 11 час. 30.

„Казерно на дурном французском языке заявил, что он в восторге от совершенного им действия и добавил: „Взойду на эшафот спокойно“.

Преступник перевезен в тюрьму св. Павла“.

Лион, 24 июня, 12 час. 10.

„Кровоизлияние у президента прекратилось. У врачей появилась некоторая надежда“.

Лион, 24 июня, 12 час. 20.

„Кровоизлияние возобновилось в очень сильной форме. Врачи объявили, что никакой надежды нет и что конец очень близок.

К президенту вошел во второй раз монсеньор Куллье в сопровождении великого викария“.

Лион, 24 июня, 12 час. 32.

„Президент республики скончался в 12 час. 30 мин. ночи“.

Лион, 24 июня, 1 час ночи.

„Волнение в Лионе невообразимое. Итальянское консульство охраняется войсками“.

Киль, 24 июня.

Госпоже Карно. Париж.

„Императрица и я глубоко поражены прибывшим из Лиона ужасным известием. Пропу вас верить, сударыня, что все наши помыслы и симпатии сейчас с вами и с вашей семьей. Да пошлет вам Господь силы перенести этот ужас-“

ный удар. Достойный носитель своего имени г. Карно пал, как солдат, на поле брани. Вильгельм“.

Я умышленно избрал форму „монтажа“ для начала этой статьи. Ничто лучше не передает впечатление от таких событий, чем первые, короткие, иногда бестолковые, не очень грамотные газетные телеграммы. Мне всегда казалось, что и исторические романы возможны лишь из того периода, когда существовали газеты: без них ускользает от нас то, что они же называют „биением пульса“ эпохи.

Эпоха эта, первая половина девяностых годов прошлого столетия, была тихая, быть может, наиболее тихая из всех, когда-либо переживавшихся человечеством. Люди, родившиеся в царствование императора Александра III, пережили на своем веку самую радикальную из социально-исторических перемен — перемену, коснувшуюся быта, нравов, техники, науки, искусства, вкусов, образа жизни, всего. В ту пору, когда был убит Карно, на частных людей, обзаводившихся телефоном, чуть только не показывали пальцами; смелый новатор, принц Уэльский, будущий Эдуард VII, еще не совершил своего безумно-отважного переезда из Парижа в Версаль в отвратительной, чадящей машине, пущенной в продажу под названием автомобиля; Лилиенталь, пытавшийся летать по воздуху при помощи „движущей силы тяжести“, считался сумасшедшим; другой маньяк, Эмиль Рейно, показывал редким любителям сценку „Бедный Пьеро“, где при помощи остроумного научного прибора, называвшегося то зоотропом, то праксиноскопом, то фенакитископом, в восемь минут на экране проходила лента в 36 метров с 500 изображениями. В ту пору Теннисон считался величайшим из поэтов, Золя и Шпильгаген были первыми романистами Европы, картины Сезанна продавались по сто франков, а Бернард Шоу — этот существовал всегда — называл Эжена Брие „гениальнейшим из драматургов со дня кончины Мольера“.

Люди жили тогда по-иному, — это видно и из мелочей, вроде приведенного выше гигантского списка обеденных блюд. Газеты, выходившие без фотографий, с заголовками, почти не отличавшимися от текста по размеру букв, не сообщали ни о войнах, ни

о революциях, их не было. Панамское дело было забыто; дело Дрейфуса еще не начиналось. В пору Лионской катастрофы газеты больше всего места уделяли роману, происходившему в Лондоне у королевы Виктории между великим князем Николаем Александровичем и красавицей принцессой Алисой Гессенской, — „Голуа“ особенно много писал о влюбленных, предназначенных самой судьбой для радости и счастья. Немало столбцов уделялось императрице Елизавете австрийской: она как раз в день убийства Карно, после долгой разлуки с Францем Иосифом, прибыла в Вену и вместе с императором отправилась в тирольский замок Марио Комппилио, — уж не последует ли, наконец, примирение супругов? — спрашивала „Фигаро“.

От всех этих лиц тоже пришли сочувственные телеграммы госпоже Карно: и от великого князя, вскоре после того вступившего на русский престол, и от императрицы Елизаветы, через четыре года погибшей в Женеве от кинжала Луккени, и от короля Гумберта, через шесть лет застреленного в Милане Анжело Бреши. Госпожа Карно получила несколько тысяч писем с выражением сочувствия. Вероятно, среди них были письма от молодых политических деятелей — Жореса, Поля Думера... Преступление Казерио вызывало негодование у людей самых разных взглядов.

В пьесе Расина, которая должна была идти в Большом театре Лиона в день убийства Карно, одно действующее лицо спрашивает:

„Pourquoi l'assassiner? qu'a-t-il fait? à quel titre?..“^{*}
Этот вопрос мог бы выражать общее чувство.

II.

Семья Карно — первая семья республиканской аристократии. Они — Ла Тремуйли или Монморанси французской буржуазии. С XIII столетия в бургундском городке Ноле проживали судьи, нотариусы, адвокаты, священники, ученые Карно; если не ошибаюсь, их имя с незапамятных времен носят вблизи Ноле

^{*} „Зачем его убивать? Что он сделал? Почему?..“ (Фр.)

какие-то источники, старые деревья, кресты на дорогах. Был среди них и святой, но он составлял исключение: ни по характеру, ни по выбору жизни, ни по образу мыслей большинство членов семьи Карно к святым, видимо, не принадлежали.

Военных среди них не было. Не будучи дворянами, они не могли быть офицерами при старом строе. Еще во второй половине XVIII века в состав экзаменационной комиссии при королевских военных школах входил генеалог, который выяснял вопрос, имеет ли молодой человек по своему происхождению право быть принятым в школу. Однако незадолго до революции в этом вопросе, как почти во всех остальных, начинались некоторые послабления, и в 1771 году в одну из лучших военных школ Франции был, в виде исключения, принят 18-летний Лазарь Карно — „из семьи буржуазной, но живущей по-благородному“, — такова была формула послабления. С родителей молодого человека была взята подписка, что ни они, ни их родители не занимались никогда ни торговлей, ни ручным трудом. Так получил военное образование дед убитого в Лионе президента республики, знаменитый деятель революции, прозванный — в очень тяжкую для него минуту — „Организатором Победы“.

Теперь он канонизирован. Прах его покоится в Пантеоне, ему воздвигнуты памятники, и даже Вильгельм II, в той телеграмме, которая приведена в начале настоящей статьи, имел, конечно, в виду Лазаря Карно („Достойный носитель своего имени, президент Карно пал, как солдат, на поле брани“). У императоров и королей, собственно, не было оснований восторгаться Организатором Победы, голосовавшим в Конвенте за казнь Людовика XVI. Они все же им восторгались и при его жизни. Карно умер в изгнании, в Магдебурге; на родине к нему в ту пору, в 20-х годах прошлого века, относились без большого восторга. Но Александр I, прусский король, другие монархи осыпали его знаками внимания.

Это был в самом деле в высшей степени замечательный человек, человек необыкновенных дарований, вероятно, самый выдающийся из всех деятелей Французской революции. Современная Франция чтит в нем его военные и гражданские заслуги. Мало из-

вестны научно-философские работы Карно, совершенно исключительные по глубине и смелости мысли. Быть может, не вполне заслуженно забыты и его поэтические произведения. С другой стороны, официальная легенда и официальная история приписали ему добродетели, которых у него никогда не было. Карно был вместе с Робеспьером членом Комитета общественного спасения. Он объяснял впоследствии, что, всецело поглощенный делом обороны Франции, не вмешивался в Комитете ни во что другое. Официальная история не без лицемерия приняла эту версию. На самом деле Карно, конечно, несет немалую долю ответственности за террор. Мне приходилось видеть в архиве поистине пропитанные кровью документы, на которых значится подпись Карно (он подписывался маленькими буквами на краешке бумаги). Современники это отлично знали, и после 9 термидора Карно был, можно сказать, на волоске от эшафота. Когда в Конвент было внесено предложение о предании его суду, кто-то из сторонников воскликнул: „Неужели у вас поднимется рука на человека, организовавшего победу?!“ „Дрожь энтузиазма пронеслась по собранию, — рассказывает официальный историк, — великое сердце Конвента излилось в страстных рукоплесканиях, и партийная злоба разбилась у ног великого гражданина“.

С той поры его стали называть „Организатором Победы“, — разумеется, с полным правом. Под верховным руководством Карно во Франции было создано 14 армий, которые за полтора года одержали 27 побед, взяли 116 крепостей и 230 фортвов, захватили 91 000 пленных, 3800 орудий, 90 знамен. Почти все знаменитые генералы времен революции и империи, не исключая самого Наполеона, либо были назначены на посты Лазарем Карно, либо в значительной степени обязаны ему своим возвышением. Сам же он так и умер в чине батальонного командира: всегда отказывался пожаловать себе генеральский чин. Добавлю, что в пору почти всеобщего, повального казнокрадства в мире Карно до конца дней остался безукоризненно честным и бедным человеком. В те времена взятки, предлагавшиеся подрядчиками высокопоставленным лицам, от которых зависели подряды, называ-

лись „булавками“ (в полушутливой форме предполагалось, что деньги идут в подарок жене на булавки). От Карно зависели многомиллионные подряды, и „булавки“ ему предлагались беспрестанно. Он их принимал и передавал под расписку в казну, как патристический дар со стороны подрядчика. Как-то на инспекционную поездку ему было ассигновано 24 тысячи франков. По окончании поездки он вернул казне излишек в 10 680 фр.: „всего не истратил“. Администрация не могла прийти в себя от изумления — это изумление у людей, знающих нравы той эпохи, длится вот уже полтора ста лет.

В пору наполеоновской империи Карно, как известно, отошел от политических дел, не желая изменять своим республиканским взглядам. Когда дела императора пошли плохо и Франция снова, как в 1792—1793 годах, оказалась перед угрозой вторжения, Организатор Победы в историческом письме, подлинник которого, если не ошибаюсь, принадлежит теперь голландской королеве, предложил Наполеону „свои шестидесятилетние руки“. В том же чине батальонного командира он покрыл себя славой, защищая до конца порученный ему Антверпен.

Отношение императора к Карно было как будто двойственное. — „Monsieur Carnot, tout ce que vous voudrez, quand vous voudrez, et comme vous voudrez“*, — будто бы сказал ему Наполеон. В пору Ста дней вернувшийся с Эльбы император назначил Карно министром внутренних дел и пожаловал ему графский титул. Почти все видные министры империи получали титул, до некоторой степени связанный тогда с должностью. Но сам Карно, по-видимому, усмотрел в пожаловании ему, при его взглядах, графского достоинства оскорбление или насмешку, если не желание таким способом заставить его подать в отставку. От титула он формально не отказался, в отставку не подал, но графом себя не называл; не носил и не носят этого титула и его потомки, хоть имеют на титул законное право.

* „Господин Карно, все, что вам угодно, когда угодно и как угодно“ (фр.).

Карно, как сказано выше, писал стихи и любил поэзию. В пору революции во Франции вышел первый, кажется, хороший перевод произведений прославленного персидского поэта XIII столетия Саади. Не могу понять, что именно увлекло Карно в творчестве этого поэта: ни мрачная, аскетическая, почти мизантропическая философия „Бустана“ и „Гулистана“, ни граничащая с порнографией эротика того произведения, которое сам Саади назвал „Мерзостями“ („Хебисат“), нравиться суровому республиканцу, собственно, никак не должны были бы. Вероятно, бурная жизнь Саади напоминала Организатору Победы его собственную жизнь. Как бы то ни было, он несколько неожиданно назвал именем персидского поэта своего сына, родившегося в 1796 году. Старший сын Карно был первый и предпоследний во Франции человек, носивший имя *Sadi*. Он очень рано — вот уж именно „преждевременно“ — скончался от холеры. По окончании Политехнической школы лейтенант Сади Карно написал свое единственное, очень коротенькое произведение: „Размышления о движущей силе огня“. По словам знаменитого физика лорда Кельвина, эта небольшая, теперь классическая, сыгравшая огромную роль в истории науки работа никому при жизни не известного молодого человека, „перевешивает всю физику XIX столетия“.

Другой сын Организатора Победы Ипполит был видным политическим деятелем, одним из главарей сен-симонистского движения, министром временного правительства 1848 года. Это был чрезвычайно почтенный человек, гордый и независимый, бойкотировавший Вторую империю так же, как бойкотировал Первую его отец, перед памятью которого он благоговел всю жизнь. Из уважения к отцу и к рано скончавшемуся гениальному брату Ипполит Карно назвал Сади своего сына, родившего 11 августа 1837 года. Это и был будущий президент Французской республики.

III.

Человек он был тоже выдающийся и во многом походил на своего деда: отличался способностями, обладал большими познаниями, был энергичен, деяте-

лен, трудолюбив и имел репутацию чрезвычайной порядочности, при некоторой сухости души. Молодость Сади Карно прошла до установления во Франции республиканского строя. Он учился в наиболее трудных учебных заведениях, в Политехнической школе, в Институте путей сообщения, одним из первых выдерживал вступительные экзамены, одним из первых кончал курс. У него, как впоследствии у Пуанкаре, были и в жизни достоинства и недостатки первого ученика.

Карьера его делилась, как и карьера других членов этой необыкновенно даровитой семьи, между политикой, военным делом и точными науками. В пору франко-прусской войны он представил временному правительству свою модель пулемета, по словам специалистов, очень хорошую; затем выработал план укреплений Гавра. Внук Организатора Победы, естественно, стоял за сопротивление немцам до последней крайности. Его имени было вполне достаточно, чтобы обеспечить ему избрание в Национальное собрание. Там он вместе с Гамбеттой, Виктором Гюго, Клемансо, Флоке, Рошфором голосовал против мира, связанного с уступкой Эльзаса и Лотарингии. Политическое возвышение Карно шло вначале обычным, классическим путем: палата депутатов, комиссия палаты, должность докладчика комиссии, второстепенный министерский „портфель“ (забавное по нелепости слово), первостепенный министерский „портфель“. Дальше произошел необыкновенный скачок: не побывав ни главой правительства, ни председателем палаты, ни председателем сената, Сади Карно неожиданно стал президентом Французской республики.

В 1887 году Даниель Вильсон, зять престарелого президента Греви, оказался замешанным в очередной финансовый скандал. Собственно, скандал был не очень крупный — я сказал бы, нормальный финансовый скандал, — но раздуты были эти средние „булавки“ весьма искусно. 80-летний президент республики очень любил дочь и не хотел отречься от Вильсона (куплетисты тотчас сложили песенку: „Ах, как неприятно иметь зятя...“). Вышло так, что уходить в отставку надо было самому Греви, хоть лично его никто ни в чем не обвинял. Больше всего шансов занять пост президента имел Жюль Ферри, которому,

при отсутствии серьезного противника, было обеспечено большинство голосов. Вся левая Франция ненавидела Ферри, „Ferry-Tonkin“* — говорили, что в случае его избрания в Париже вспыхнет революция. Не любили его и буланжисты.

В ночь на 30 ноября, в квартире депутата Лагерра, на улице Сент-Оноре (газеты отмечали: в двух шагах от дома Робеспьера), состоялось совещание, до сих пор называемое историческим („la nuit historique“). Сочетание людей было странное: крайняя левая палаты, во главе с Клемансо, — и генерал Буланже, Поль Дерулед, Анри Рошфор. За шампанским принято было решение: так или иначе, общими силами, преградить Жюлю Ферри дорогу в Елисейский дворец. Несмотря на шампанское, большой дружбы и доверия друг к другу, по-видимому, не было — и не без основания. В разгар совещания к Лагеру приехал правый депутат, граф Мартенпре, вызвал генерала Буланже и передал ему секретное предложение графа Парижского: воспользоваться случаем (идея переворота „носи-лась в воздухе“) и восстановить Бурбонов на престоле. Буланже согласился, — он соглашался на все: и на союз с крайней левой, и на монархический переворот. Генерал немедленно вернулся на заседание, историческая ночь прошла в переговорах с Елисейским дворцом, спасти Греви не удалось. Тогда Клемансо, „делатель королей“ Третьей республики, выдвинул кандидатуру Карно в президенты республики. При этом он и произнес свою известную шутку: „Prenons le plus bête“², — одну из тех его шуток, которые губили республиканский строй и его собственное дело.

Шутка была весьма несправедливая: Сади Карно был человек умный и выдающийся. Но предложение оказалось удачным. Имя внука Организатора Победы в пору тяжелого кризиса казалось гарантией всем республиканцам: этот республики не предаст. С другой стороны, по взглядам своим, и политическим, и социальным, Карно был гораздо умереннее отца и деда. Верующие люди знали, что жена его — очень

* „Ферри-Тонкин“ (фр.). Тонкин — район Индокитая, за который Франция, в бытность Жюль Ферри министром, вела жестокую колониальную войну. — *Прим. ред.*

² „Выберем самого глупого“ (фр.).

благочестивая католичка. Наконец, всем было известно, что он безукоризненно честный и порядочный человек. На выборах, при первом голосовании, Сади Карно получил 303 голоса, а Жюль Ферри 212. При втором голосовании подавляющее большинство членов конгресса (616) избрало Карно президентом республики.

IV.

Санто Казерио родился в деревне Мотта Висконти, под Миланом, в 1873 году. Мистически настроенные люди впоследствии, как водится, пытались найти „таинственное предопределение“ в датах рождения убитого президента и его убийцы: Сади Карно родился в 1837 году, а Санто Казерио — в 1873-м. Кроме того, инициалы у них одни и те же: С.К.

Литературно-социальный шаблон непременно требовал бы, чтобы все детство анархиста Казерио прошло среди нищеты, голода, побоев, издевательств. В действительности жизнь тут шаблону не подчинилась. Семья убийцы Карно была бедна, но нищеты и голода не знала. Побоев и издевательств не было. Жена мэра Мотта Висконти сообщает: „Вся их семья отличная; все Казерио очень честные, трудолюбивые, тихие люди“. Санто был любимцем не только родных, но и всей деревни, в которой прошло его детство. Он отличался добрым характером и благочестием. Сельский священник, у которого он учился, говорит: „Очень славный и добрый мальчик, но ленится, и гордость повредит ему в жизни“. Мечтой Казерио в детстве было — стать священником.

Образование он получил лишь начальное, на четырнадцатом году стал подмастерьем, сначала у сапожника в своей деревне, потом у булочника в Милане. Семнадцати лет от роду он впервые услышал анархистского проповедника.

Это был богатый итальянский адвокат — „чистый идеалист“, как он сам позднее растерянно объяснял журналистам, набросившимся на него после убийства президента Карно. Больше о нем ничего не знаю. Я всегда инстинктивно остерегался крайних идеалистов в политике, а тем более людей, громогласно заявляю-

щих о своем необыкновенном идеализме. Может быть, богатый адвокат был в самом деле „фанатик“ (хотя фанатики встречаются в жизни лишь в виде редчайшего исключения); может быть, он делал на анархизме политическую или адвокатскую карьеру; может быть, просто примкнул к модному тогда учению. В то время „примыкали к анархистам“ люди весьма буржуазные или ставшие весьма буржуазными впоследствии; „сочувствовали идеям анархии“ писатели, прославившиеся затем в самых разных политических и литературных лагерях, как Поль Адан, Мирбо, Анри де Реньс, Вьеле-Гриффен, Жеффрау, Декав, Северин; на анархистских лотереях в Париже можно было за франк выиграть картины, которые дарил Писсаро, Ван-Донген, Стейнлен, Боннар; издательство анархистов поддерживала своими средствами русская барыня Мансурова. Главные же создатели и проповедники анархистской веры вышли — кто из артиллерии Николая I, как Бакунин, кто из пажеского корпуса, как Кропоткин, кто из католических семинарий, как очень многие западноевропейские анархисты.

V.

Несколько месяцев тому назад я снова побывал, после двадцати пяти лет, на большом анархистском митинге. Не изменилось в картине митинга ничего. У входа большой отряд полиции; на эстраде та же бутафория и тот же черный флаг; в зале такая же по виду толпа „компаньонов“ (анархисты называют друг друга „компаньон“, а не „камарад“). С ораторской трибуны неслись те же страстные, гневные, обличительные речи; только стиль чуть-чуть изменился. Ораторы громили „фашизм“, которого тогда не было; но в это понятие одинаково ими укладывался и итальянский, и советский, и французский государственный строй: „черный, красный и трехцветный фашизм“, как воскликнул один из них. Ораторы доказывали, что в стране „трехцветного фашизма“ (то есть во Франции) никакой свободы нет. Это было забавно: полиция, не заглядывая в зал, мирно стояла у входа; ее единственной целью было поддержание порядка на случай, если бы на анархистов напали коммунисты или „круа де

фэр**». Ораторы громили власть, — не какую-нибудь власть, а власть вообще, — l'autogité. Это было не-постижимо: в странном учении анархистов я теперь понимаю еще меньше, чем четверть века тому назад; не так много уяснили в их теории и „практические занятия“, вроде дел Нестора Махно, хорошо нам известных, и некоторых испанских происшествий, пока известных нам хуже.

Говорили молодые ораторы недурно, а о большевиках — с ненавистью — и совсем хорошо. Затем, уже часов в одиннадцать вечера, на трибуну бодрым шагом вышел глубокий старик, встреченный громоподобными рукоплесканиями всего зала. Его я тоже не видел двадцать пять лет. А когда-то видал не раз и вблизи, и на трибуне. Он не помолодел, отпустил бороду, отяжелел. Все же никто не дал бы ему его восьмидесяти лет. Старик поднял руку и заговорил — в зале мгновенно настала мертвая тишина. Голос у него уже не тот, но дар свободной речи остался почти тот же. Это был вождь анархистов, знаменитый революционный агитатор, автор „Мировой скорби“, Себастьян Фор.

Говорят, что этот таинственный человек был в молодости католическим священником. Во всяком случае, вышел он из богатой католической среды и образование получил в семинарии. В самом его красноречии, когда-то поистине необыкновенном, Боссюо чувствуется гораздо сильнее, чем Мирабо или Дантон. В своей защитительной речи на суде, произнесенной вскоре после убийства Карно и, по свидетельству враждебных журналистов, потрясшей неблагоприятную аудиторию, он говорил: „Я тот, кто видел, читал и понял. Я тот, кто в пору бури видит маяк и указывает его людям. Я тот, кто никогда ничем не был и не хочет ничем быть. Я сеятель, вышедший в поле с руками, полными истин. Я изобретатель, отдающий свое изобретение будущим человеческим поколениям. Я путник, остановившийся в долине у начинающей разливаться реки, путник, предсказывающий наводнение, если не будут воздвигнуты плотины. Вижу, вижу надвигающийся разлив пучин человеческого

*От *фр.* *croix de fer* — железные кресты. — *Прим. ред.*

горя! Он все зальет, зальет без плотины весь мир!.. („В зале сильнейшее волнение“, — отмечает отчет.) Я вышел из богатого класса, я был воспитан в роскоши и бросил среду, в которой родился и вырос. Я хотел жить жизнью бедняков, чтобы описать ее с красноречием человека, ее пережившего и перечувствовавшего. Я порвал с друзьями и ушел от них; я порвал с любимыми людьми и лишился их привязанности, я познал пренебрежение хитрецов, оскорбления злых, измену коварных. Пять раз меня арестовывали, двадцать раз у меня производили обыск, три весны провел я в тюрьме. И завтра, когда вы меня оправдаете, я окажусь на парижской улице, без своего очага, без занятий, бедняком...“

Этот человек мог бы быть и героем Толстого, и героем Достоевского — останавливаться на этом не буду. Немало душ увлек он своим красноречием и, быть может, несет отдаленную моральную ответственность не за одно тяжкое преступление. Влияние его в кругах анархистов всегда было огромное, — не знаю, осталось ли таким и по сей день. На его примере особенно ясна ответственность талантливого человека за произносимые им слова. Он говорил о плотинах, о сеятелях и своим красноречием потрясал людей взрослых и хладнокровных. Люди молодые и озлобленные могли понимать метафоры по-своему. Мне неизвестно, слышал ли его Казерио; его статьи он, наверно, читал.

VI.

Думаю, что богатый миланский адвокат не слишком походил на Себастьяна Фора; такие люди, как Фор, не бывают ни адвокатами, ни богачами. Но каков бы ни был Савонарола из миланского совета присяжных поверенных, ловил души он, по-видимому, тоже с большим успехом. У 17-летнего булочника „открылись глаза“: теперь все ясно! „Morte al Papa-Re! Evviva l'Anarchia!..“* — Казерио стал анархистом на весь недолгий остаток своих дней.

* „Смерть Папе-Р! Да здравствует анархия!..“ (итал.)

Вскоре после того он попался, впрочем, пока без мученичества: за пропаганду анархического учения в казарме был приговорен к нескольким дням тюрьмы, к великому, горестному изумлению всей деревни Мотта Висконти — „Санто стал революционером!“ Теперь кое-где попытка пропаганды в казарме могла бы кончиться и хуже.

В тюрьму он, вдобавок, и не попал. Жандармы времен короля Гумберта, родные дети оффенбаховских карабинеров, не торопились „схватить“ преступника: не к спеху, дело терпит, мальчишка не убежит, а если и убежит, то беда невелика. Казерио убежал или, точнее, просто ушел. Швейцарская граница была близко; в то до непристойности отсталое время никаких виз не требовалось. Будущий убийца президента ушел пешком в Лугано. Там он тоже был булочником, в свободное время пополнял свое скудное образование и занимался пропагандой: объяснял другим то, чему сам вчера научился. Вышла неприятность и в Швейцарии; за нее и здесь могли посадить недели на две в тюрьму. Он отправился в Южную Францию. Как не существовало виз, так не было тогда ни „карт д'идентитэ“*, ни „перми де травай“**. Юный итальянец легко нашел работу во французской булочной. Только работали во Франции как-то иначе. В дошедшей до нас переписке Казерио с его итальянскими товарищами одновременно по булочной и по анархизму он, обмениваясь политическими и философскими рассуждениями, с радостным насмешливым изумлением пишет: „Вы просто хохотали бы, увидев, как у них пекут хлеб!..“

Что он был за человек? Профессор Ломброзо доказывал, что Казерио был дегенерат — не то матоид, не то криминалоид, точно не помню. Но так как автор „Преступного человека“ и его школа считали невропатии и всех гениальных людей, классифицируя их по разным невропатическим отделам, то эти „оиды“ тут объясняют не очень много. В недавней диссертации Жоржа Косса делается вывод, что Казерио принадлежал к „описанной Дидом промежуточной породе

*От фр. Carte d'identité — удостоверение личности. — Прим. ред.

**От фр. Permis de travail — разрешение на работу. — Прим. ред.

страстных идеалистов, у которых страсть сочетается с болезненной натурой“. Современники отмечали, как это ни странно и ни глупо, крайнюю доброту убийцы президента Карно. „Он был, при большой вспыльчивости, не способен обидеть муху“, — показывал на суде ненавидевший революционеров французский булочник Виала (хозяин Казерио). Итальянский адвокат, сделавший его анархистом, сообщил, что убийца президента плакал в театре на представлении трагедии Джакометти „Мария Антуанетта“: так ему было жалко королеву! Плакал он, по-видимому, много и часто. Вместе с тем все знавшие Казерио люди отмечают его „вечную, спокойную и ласковую улыбку“. Перед казнью он писал своей матери: „Я провожу в тюрьме счастливые и забавные дни“.

И в Италии, и в Швейцарии, и во Франции он тратил все свои „лишние“ деньги на покупку анархистских книг и брошюр. „В школе в Мотта Висконти вы не имели ни одной награды“, — укоризненно сказал ему на процессе допрашивавший его председатель. Замечание, конечно, было не слишком удачное („В зале смех“, — отмечает отчет): в этом упрекать убийцу президента республики, право, не стоило. „Мне очень жаль, что я мало учился“, — откровенно, без рисовки, ответил Казерио. Он вообще отвечал на допросе просто и порою находчиво. „Вы проводили время в обществе рабочих?“ — „Ну да, в буржуазное общество меня едва ли приняли бы“. — „Назовите людей, с которыми вы встречались“. — „Не хочу: я булочник, а не сыщик!“ — „Вы говорили, что хотели убить итальянского короля и папу?“ — „Не сразу обоих: они вместе не гуляют“. (Общий смех в зале.)

Писал он тоже просто, ясно и, при всей чудовищности его замыслов, по-своему разумно. На Горгулова Казерио не походил нисколько. Сочинял он и стихи. Приведу в прозаическом переводе (с небольшими сокращениями) одно его стихотворение: „Мрачная смерть, не боюсь тебя, — Напротив, люблю, так как в тебе равенство. — Ты слепо поражаешь и богатых и бедных. — Наша мать-земля всех принимает одинаково. — Когда ты позовешь меня, я перед уходом громко прокричу миру, — Что и в этой жизни люди должны быть равны, как в смерти. — Ты освобожда-

ешь всех бедняков от их горьких бед. — Ты освободишь и меня от страданий, выпавших мне в этом мире“. К поэзии часто применяется критерий „искренности“, — не всегда, правда, легко проверить, искренен ли поэт или нет. В искренности стихов Казеро сомневаться никак не приходится; он доказал, что не боится „мрачной смерти“, и то, что хотел прокричать „перед уходом“, прокричал, действительно, довольно громко: уж громче было бы трудно.

VII.

В 1880 году во Францию вернулась после 10 лет каторги, тюрьмы и ссылки Луиза Мишель, ставшая главой анархистского движения. Читатели старшего поколения помнят биографию этой знаменитой революционерки, которую называли то „доброй Луизой“, то „великой гражданкой“, то „красной девой“ („La Vierge Rouge“). Многим памятен, вероятно, и ее портрет: в черном полумонашеском платье, она стоит, подняв правую руку, опустив левую на череп; не помню, чьей работы портрет, и не совсем понимаю его идею (почему череп?). Луиза Мишель, незаконная дочь французского помещика и его горничной, была участницей Коммуны 1871 года. После разгрома революционного движения она на суде, по неизвестным причинам, обвинила себя в преступлениях, которых не совершала. Говорили, что „добрая Луиза“ была страстно влюблена в коммунара Ферре (он был будто бы единственной ее любовью за всю ее очень долгую жизнь) и не хотела остаться в живых после его расстрела. Виктор Гюго написал об этом посвященные ей стихи:

...Et lasse de lutter, de rêver, de souffrir
Tu disais „J'ai tué!“ car tu voulais mourir,
Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine!..*

Суд к смертной казни ее все же не приговорил. Вернувшись из Новой Каледонии после амнистии, она

* „...Усталая от борьбы, от мечтаний, от страданий, — Ты говорила: „Я убила!“, ибо ты хотела умереть. — Ты лгала на себя, страшная, сверхчеловеческая!..“ — *Пер. с фр. автора.*

поселилась в Париже, где жила в совершенной бедности, окруженная собачками, котятами, птичками; ездила по Франции с Себастьяном Формом, выступала на митингах перед многотысячной толпой; раздавала последние гроши бедным; писала романы, стихи, педагогические трактаты, которых никто не издавал. Власти (впрочем, неважные власти) считали ее сумасшедшей — не раз делались попытки посадить ее в дом умалишенных. Она и в самом деле совершала порою поступки весьма странные. В пору дела Дрейфуса, когда анархисты, подобно прочим людям, разделились на дрейфусаров („фористов“, сторонников Себастьяна Фора) и антидрейфусаров („жанвионистов“), Луиза Мишель была главной фюреркой — и очень повредила Дрейфусу, выступив с проектом похищения его с Чертова острова. В пору самых ужасных анархистских покушений она немедленно принимала на себя „всю ответственность“, хотя не имела к этим делам ни малейшего отношения. У нее были две мечты: всеобщая забастовка в мире и великая революция в России. Так она и умерла в 1905 году, в глубокой старости, в нищете (на баллон с кислородом были истрачены ее последние пять франков), простудившись на лекции, в которой в тысячный, вероятно, раз призывала к „La grande grève“* и предвещала наступление в России земного рая. Ее современная поклонница говорит: „Она изумительно понимала русскую душу, столь родственную ее собственной, и чувствовала, что именно в стране того Стеньки Разина, который из своей крестьянской хижины установил евангельский коммунизм в России XVII века от Днепра до Кавказа, начнется новая эра равенства“. „Vos coeurs sont chauds comme la braise — Dans vos froides plaines du Nord“^{##}, — писала она в стихах, посвященным „русским друзьям“. Должен, впрочем, сказать, что сама Луиза Мишель, насколько мне известно, нигде ни о крестьянской хижине Стеньки Разина, ни о его евангельском коммунизме не говорит. Она была женщина образованная и о России, вероятно, благодаря тесной дружбе с Кропоткиным имела некоторые сведения.

* „Всеобщая забастовка“ (фр.).

^{##} „Ваши сердца горячи, как угли. — На холодных северных равнинах“ (фр.).

Свои анархистские идеи „красная дева“ развивала, по возвращении во Францию, в журнале „Социальная революция“, имевшем тогда большое влияние в революционном мире.

Теперь история этого журнала представляется в новом свете. Едва ли нужно пояснять, что префектура полиции весьма интересовалась людьми, мечтавшими о том, как бы ее взорвать. Ее интерес выразился в формах старых, испытанных, классических. Об этом можно говорить, так как рассказал это в своих воспоминаниях бывший парижский префект, *enfant terrible** французской полицейской и политической жизни Луи Андрие, скончавшийся совсем недавно, на десятом десятке лет жизни. Он мог быть взорван, так сказать, в двойном качестве: и как член палаты депутатов, и как префект полиции. Эта перспектива ему, очевидно, не улыбалась.

„Я способствовал, — рассказывает он в своих забавно циничных воспоминаниях, — распространению доктрины анархистов и не хочу отказываться от права на их благодарность. Компаньоны искали тогда мецената, но подлый капитал не спешил прийти им на помощь“. Из уважения к компаньонам (то есть к анархистам), Андрие решил заменить подлый капитал фондом французской полиции. К одному из анархистских вождей был им подослан меценат, представивший о себе трогательные сведения: он по профессии владелец магазина аптекарских товаров, всю жизнь сочувствовал делу анархии и готов пожертвовать на это дело скопленные им в долгой трудовой жизни деньги. „Мой буржуа, желавший быть съеденным, не вызвал никаких подозрений у компаньонов. Мы стали выпускать журнал „Социальная революция“. Это был журнал еженедельный; моей щедрости не хватало на ежедневную газету. Звездой моей редакции была Луиза Мишель. Нет надобности говорить, что „великая гражданка“ не имела понятия о своей истинной роли“. Таким образом, — продолжает Андрие, — „образовался телефон между конспиративной квартирой анархистов и кабинетом префекта полиции. От мецената секретов быть не может, и я изо дня в день узнавал о

*Ужасное дитя (фр.).

самых тайных намерениях заговорщиков... Каждый день за редакционным столом собирались авторитетнейшие вожди анархистской партии. Совместно прочитывалась международная корреспонденция, совместно обсуждались меры для того, чтобы положить конец эксплуатации человека человеком, совместно изучались способы действий, предоставляемые наукой на дело революции. Я был неизменно представлен на этих совещаниях и, когда нужно было, высказывал свое мнение**.

Думаю, что бывший префект тут несколько преувеличивает: всего, что делалось в анархистских кругах, полиция знать не могла ни тогда, ни тем менее впоследствии. Но каковы бы ни были ее тайные осведомители, они предупредить убийства Карно не могли: Казерио был одиночка, он сообщников не имел.

VIII.

В ту пору, когда он приехал во Францию, там еще гремела „равашолиада“.

Особенностью анархистского движения всегда была чрезвычайная разнородность входивших в него людей. Что общего, например, имел батько Махно с князем Кропоткиным? Однако оба они называли себя анархистами, и как деятели, объединенные фирмой, поддерживали между собой некоторые, правда, отдаленные отношения. Один из виднейших французских анархистов в книге своих воспоминаний поместил портрет своего „единомышленника“ Толстого, подаренный ему с теплой надписью самим Львом Николаевичем. Но в той же книге, чуть не рядом, помещен портрет Равашолья, о котором автор книги отзывается если не с полным одобрением, то, во всяком случае, с

*Louis Andrieux. A travers la République, Paris, 1926, p.p. 261-3. Автор книги не сообщает в воспоминаниях некоторых подробностей своего участия в редактировании „Социальной революции“. Так однажды, когда Луиза Мишель в журнале поместила статью о нем: „Ответ г-ну Андриэ“, он, при посредстве своего „представителя“, изменил заглавие на „Пусть молчит глухой Андриэ!“ („Silence à l'infâme Andrieux!“). По-видимому, глава полиции артистически наслаждался своими политическими отпопешениями со знаменитой компаньонкой.

товарищеским признанием. О Стиве Облонском в „Анне Карениной“ сказано, что он был на „ты“ со всеми, с кем пил шампанское, а пил он шампанское со всеми, „так что очень многие из бывших с ним на ты очень бы удивились, узнав, что имеют через Облонского что-нибудь общее“. Вероятно, и сам Лев Николаевич был бы еще больше изумлен, узнав, что через своего французского „единомышленника“ находится в каком-то политическом или духовном родстве — с Равашолем.

Равашоль был очень страшный человек. В сущности, он лишь в формальном отношении отличался от Евгения Вейдмана. Равашоль собственноручно задушил с целью грабежа 92-летнего Брюнеля, так называемого шамбольского отшельника, — совсем так, как Вейдман задушил 19-летнюю Джин де Ковен. Вот только револьвером он никогда не пользовался: когда не душил, то убивал людей топором или молотком. Сколько человек убил Равашоль, осталось в точности не выясненным: но пять жертв можно за ним считать почти с несомненностью. Он был даже менее чувствителен, чем Вейдман, и на суде совершенно хладнокровно рассказывал, как однажды ночью проник на кладбище в Террнуаре, раскопал могилу недавно скончавшейся маркизы Роштайе, поднял крышку гроба („Чуть не свалился от запаха“, — пояснил он) и занялся поисками драгоценных вещей на разлагавшемся теле. „Серег не оказалось, колец не оказалось, нашел было на шее крест, но деревянный, я его тут же бросил...“

Чтобы поднять могильный камень весом в 150 килограммов, надо было обладать огромной физической силой. Равашоль был атлетом и очень щеголял этим. Он вообще старательно выдерживал стиль: „работал“, например, не иначе, как в цилиндре, и не снял его даже тогда, когда по его следам была пущена вся французская полиция. Думаю, что и анархистом он себя называл больше для стиля; в его действиях революционного было не так много: преобладали среди них самые обыкновенные уголовные преступления, совершавшиеся ради корыстной цели. Но идейный стиль он выдерживал очень старательно и даже на эшафот отправился, напевая песенку своего сочинен-

ния: „Pour être heureux, nom de Dieu, — Il faut tuer les propriétaires. — Pour être heureux, nom de Dieu, — Il faut couper les curés en deux...“^{*} Дальнейшее привести в печати невозможно.

Дела Раваполя в то тихое время произвели во Франции сильнейшее впечатление. Здесь имела некоторое значение и театральная обстановка ареста преступника: он был арестован в ресторане Вери, где его по опубликованным приметам опознал лакей, подававший ему обед; имели значение и его бесспорное мужество, и его хладнокровие, и его цилиндр, и его национальность: как Вейдман, Раваполь был немец⁴, хотя и родившийся во Франции. Занятая им идейная позиция создала ему известный ореол и в чужих, и в его собственных глазах. Вейдман, не придумавший никакой идеи для прикрытия своих уголовных преступлений, сейчас, конечно, чувствует себя самым одиноким человеком на земле: „против него весь мир, он последний из людей“ (это говорил Толстой об Азефе, и добавлял: „а я знаю и чувствую, что Азеф — мой брат“). У Раваполя чувства моральной отверженности не было: он знал, что за ним его политическая фирма или, по крайней мере, часть его фирмы. Вскоре его друзья или единомышленники в самом деле за него отомстили: в ресторан Вери была брошена бомба, убившая владельца ресторана.

Было бы, разумеется, в высшей степени нелепо судить по Раваполю об анархистах вообще. Среди них были и есть выдающиеся по моральным качествам люди: Реклю, Кропоткин, многие другие. Раваполь, собственно, и анархистом считать нельзя никак. Но оттого ли, что вожди движения не считали возможным отречься от обреченного на казнь человека, который называл себя анархистом, или по другой причине, они к большой невыгоде для себя не отмежевались от идейного грабителя в цилиндре. Луиза Мишель, „terrible et surhumaine“⁴, „приняла на себя

^{*} „Клянусь Богом, чтобы быть счастливым, — Нужно убить помещиков. — Клянусь Богом, чтобы быть счастливым, — Нужно разрубить попов пополам...“ (Фр.)

⁴Его настоящая фамилия была Келигштейн; дед и предок его погибли на эшафоте в Германии. Раваполь — фамилия его матери

⁴„Страшная и сверхчеловеческая“ (Фр.).

ответственность“ и даже писала (не тем будь помянута эта добрейшая женщина), что дела Раваполя (она назвала также — со значительно большим правом — двух других террористов: Анри и Вальяна) снова пробудили в ней энтузиазм времен Коммуны. Старый барин Кропоткин, никого не убивавший, молотком и топором не работавший, могил на кладбище не раскапывавший, не стерпел и написал о Раваполе возмущенную статью, но его переубедил редактор анархистского журнала, человек несомненно идейный и честный, Жан Грав, сославшийся на „искренность“ Раваполя. Великая вещь — политический ярлык, и еще не оценена в истории роль раз навсегда надетого человеком политического мундира. Сколько из уважения к идейному мундиру делалось или прикрывалось в мире нелепых, вредных и нехороших дел!..

Чего же было требовать от Казерио?.. Уж для него-то Раваполь был брат не в христианском и не в толстовском смысле слова. Несчастный юноша принимал, одобрял, восторгался всем, что делали все без исключения люди, называвшие себя анархистами. Кое-как Казерио овладел французским языком, стал разбирать в подлиннике Виктора Гюго, — у знаменитого поэта можно найти немало стихов в защиту террора. Другой знаменитый поэт, соотечественник Казерио, впоследствии несколько изменивший свои взгляды, в те времена писал:

Voglio del ferro e del vino!

Del ferro per uccidere i tiranni!

Del vino per celebrare i funerali!*

Мог ли 20-летний булочник думать, что великий поэт, по которому сходила с ума вся Италия, в стихах пишет первое, что ему взбредет в голову, интересуясь ритмом, рифмой, новым сочетанием звуков, рецензиями, но никак не политическими последствиями своего творчества? Мог ли Казерио думать, что великий поэт порою несет совершенно безответственный вздор? В этих его стихах, вероятно, была лишь половина прав-

*Хочу кипжала и вина! — Кипжала, чтобы убивать тиранов! — Вина, чтобы праздновать их похороны! — *Пер. с ит. авт.*

ды. Вино, может быть, великий поэт пил, — и не только на похоронах тиранов, — а „кинжал“ им прибавлялся просто так, к слову: для большей поэзии, для красоты слога, для восхищенных улыбок красавиц.

IX.

Анархистские покушения следовали во Франции в 1892—1894 годах одно за другим и, отчасти из-за отсутствия других сенсаций, стали в мире главной сенсацией. Преступников отправляли на эшафот — тотчас отыскивался „мститель“. Казнили Раваполя — Огюст Вальян бросил бомбу в палате депутатов. Казнили Вальяна — Эмиль Анри бросил бомбу в кафе „Терминус“.

В отличие от Раваполя, Вальян и Анри были люди идейные, грабежом не занимавшиеся. Добавлю, что и действия их были не так страшны, как убийства, совершавшиеся их предшественником. Бомба Вальяна никого в палате не убила, она лишь очень легко ранила одного депутата, аббата Лемира. Эмиль Анри своим метательным снарядом ранил несколько человек, но из них также не умер никто. Тем не менее суд приговорил к смертной казни и Анри, и Вальяна. Это противоречило французской традиции, согласно которой в нормальное время не казнят виновников преступлений, не сопровождавшихся человеческими жертвами. Очевидно, то время, кажущееся нам необычайно тихим и мирным, тогда нормальным не представлялось. Люди 1894 года были смертельно напуганы: им казалось, что во Франции начинается революция, резня, гражданская война. По случаю нескольких террористических актов газеты писали о „гекатомбах“*, — по нашим временам называть те дела гекатомбами было бы просто смешно. Беспощадных мер против анархистов требовали тогда и социалисты, по крайней

*Гекатомба — в Древней Греции жертвоприношение, состоявшее первоначально из 100 быков; впоследствии так стали называть всякое значительное общественное жертвоприношение. В переносном смысле — огромные жертвы войны, террора, эпидемии и т.д. — *Прим. ред.*

мере, значительная их часть; отношения между обеими партиями, никогда дружественными не бывшие, в 80-х и 90-х годах прошлого века стали чрезвычайно враждебными*. В других странах Европы выражалось мнение, что глава государства смягчит участь Вальяна и Анри. Во Франции этого требовали лишь немногие. Сади Карно участи осужденных не смягчил. Думаю, что он особенно боялся упрека в недостатке мужества: если не ошибаюсь, его засыпали письмами^а с угрозами. Оба преступника были казнены.

Умерли и Вальян, и Анри мужественно, выполнив выработавшийся у анархистов ритуал: на суде огласили революционную декларацию; у гильотины прокричали: „Мужайтесь, друзья! Да здравствует анархия!“ (Равашоль отступил от ритуала и лишь громко сказал на эшафоте Дейблеру: „Свинья!“) Дочь Вальяна взял на воспитание Себастьян Фор; ему завещал ее отец. А через несколько месяцев явился „мститель“; которого террористы предвещали: Казерио на следствии прямо заявил, что главной причиной его акта была казнь Вальяна и Анри.

Анархистская литература уже довела его к тому времени до белого каления. Он не пропускал ни одного номера дешевого агитационного журнала, — „*Deux ronds le numégo*“^а, — так значилось на обложке: журнал выходил на языке, составлявшем помесь арго со стилем „Пэр Дюшен“, — удивляюсь, как итальянский булочник мог понимать этот язык. Стихи он, во всяком случае, понимал: „*Dame dynamite, que l'on danse vite! Dansons et chantons et dynamitons...*“^б Казерио буквально бредил убийствами: король так король, папа так папа, президент так президент — все они

*По предложению Луизы Мишель, анархисты избрали эмблемой черное знамя: „красное слишком залито пародной кровью“. Вождь анархистов Жак Грав, сидевший в тюрьме с известным социалистом Лафаргом, писал: „В политическом отношении оп такой же иезунт, как и его тесть Карл Маркс“.

^аПисьма издевательского характера получала после убийства Карло и его вдова.

^б„Два су за помер“ (фр.).

^в„Зажигательная Мадам, танцуйте быстрее! Будем танцевать, петь и взрывать...“ (фр.)

друг друга стоят! Карно он, по-видимому, ненавидел особенно лютой ненавистью. На допросе следователь Бенуа предложил ему рассказать, как он совершил свое преступление. Убийца охотно исполнил просьбу. Его глаза налились кровью, лицо исказилось, он весь задрожал. „Довольно! Вы чудовище!“ — закричал следователь. Вот тебе и „доброта“ Казерно, о которой говорили знавшие его люди!..

Да, наиболее вероятная схема такова: мрачно настроенный юноша, доведенный до безумия всевозможными „агитками“, по чисто политическим причинам совершил тяжкое преступление. Не скрою, однако, я без полной уверенности провожу в своей статье эту схему. Что мы знаем в таких делах с уверенностью? Что я могу с уверенностью сказать о человеке, которого никогда не видел, который почти никаких писаний после себя не оставил, которого почти никто близко не знал, по крайней мере в последние годы его жизни? Факты изложены мною верно, но вдруг *внутренняя* сторона дела была иною? Вдруг все было по существу совершенно не так? Человека судят и казнят за преступление по той схеме, которую устанавливают судьи, и на основании его собственных „официальных“ показаний. Через много лет, чаще всего из случайных воспоминаний, мы случайно узнаем (не называю имен), что один из казненных террористов был спиритом; что другой был соперником в любви своего знаменитого товарища по партии; что третий был безнадежно отчаянно влюблен в замужнюю женщину, смотревшую на него как на мальчишку; что четвертый как раз перед своим преступлением заболел страшной болезнью. Для суда все это не имеет никакого значения. Но авторы „психологических этюдов“ находятся в ином положении.

„Он был сумасшедший!“ — говорит Ломброзо, делящий анархистов на преступников и сумасшедших: итальянский ученый делает исключение для Ибсена, Малатесты, Реклю и Кропоткина, но не делает исключения для Герцена, которого тоже зачисляет в анархисты. У Ломброзо была очень сложная теория революционных движений: он их ставил в зависимость от разных природных условий, в частности от климата страны, и вычислял точнейшие коэффициенты. По его

теории (созданной в конце прошлого века), самая революционная в мире страна — Греция (коэффициент 95), а наименее революционная — Россия (коэффициент 0,8). Это нам очень приятно и полезно знать: всего 0,8.

Х.

В Лионе в конце июня открывалась какая-то очередная выставка. Ее должен был официально открыть глава государства. Вероятно, подобные церемонии становятся, в конце концов, нестерпимыми президентам республики; но Сади Карно отправлялся в Лион в лучшем настроении духа. Кажется, на этой выставке были новшества, интересовавшие его как инженера. Вдобавок у президента была семейная радость: в ближайшие дни тотчас по его возвращении должна была состояться пышная свадьба его сына Эрнеста: он женился на дочери сенатора Шири. Сади Карно выехал из Парижа с блестящей свитой, состоявшей преимущественно из военных. Люди, сопровождавшие главу государства, позднее говорили, что он редко бывал так весел и жизнерадостен, как во время своей последней поездки — навстречу смерти.

В это самое время Казерио в Сетте, получив расчет и деньги от хозяина булочной, купил в магазине за пять франков великолепный кинжал „испанской работы“, с выгравированным на лезвии словом „*Recuerdo*“* (на суде выяснилось, что кинжал был машинного французского производства и увидел свет в городке Тьер). Быть может, золоченая рукоятка, бархатные ножны (точно нарочно: в красных и черных полосах!), звучное испанское слово на лезвии произвели впечатление на 20-летнего убийцу.

Оставшихся у него денег не хватило для поездки в Лион. Часть дороги, километров 30, он проделал пешком. В Лионе занял место в толпе поблизости от дворца, в котором происходил банкет в честь президента. По-видимому, он был спокоен. Вступил в перебранку с какими-то людьми, не желавшими пропускать его в

* „Память“ (исп.).

первый ряд, добился своего, выбрал наиболее подходящее место: знал, что глава государства в коляске всегда сидит справа. Кинжал был спрятан у Казерио во внутреннем кармане пиджака. Несмотря на все хладнокровие убийцы, надо думать, что эти минуты ожидания „показались ему годами“... Наконец, послышалась „Марсельеза“, показался президентский кортеж, — в провинции, как всегда, гораздо более пышный, чем в Париже. Впереди скакали конные жандармы, за ними трубачи, драгуны, дальше следовала открытая коляска президента. Казерио выхватил из кармана кинжал, сорвал ножны и бросился вперед. В момент удара он встретился с Карно взглядом. „И что же?“ — вскрикнул на процессе допрашивавший его председатель. „Это не произвело на меня никакого впечатления“. (Ропот в зале.)

XI.

Президентом республики был избран Казимир-Перье, непопулярный член непопулярной династии финансистов. Левая Франция усмотрела символический вызов в избрании архимиллионера главой государства. Началась резкая кампания в печати. „Казерио принес его в Елисейский дворец на острие своего кинжала“, — сказал вождь социалистов Жюль Гед. Появилась новая злоба дня. Однако волнение, вызванное лионской трагедией, не прекращалось.

Следствие велось очень быстро. Через пять недель после преступления убийца уже предстал перед судом. Ни один французский адвокат не согласился добровольно взять на себя защиту Казерио. Его защищал по должности лионский „батоннье“ Дюбрей, выполнивший свою задачу хорошо и добросовестно. Ясно было, что на смягчение участи Казерио рассчитывать не может. Да он смягчения участи и не хотел, — или не показывал, что хочет.

В день процесса здание лионского суда было окружено большим отрядом войск: ходили глухие и страшные слухи. Ничего не случилось. Переполнявшая зал публика, по словам газет, изумилась при виде Казерио: „Где же убийца?..“ „Да разве бывают пре-

ступники с таким безлобным, ласковым лицом?“ „Белая маска Пьеро“, — пишет сотрудник „Фигаро“. „Один из тех бледных и худых людей, которых опасался Юлий Цезарь“, — говорит другой очевидец. Казерио держал себя на суде мужественно, с оттенком вызова. Но во время речи защитника заплакал, когда тот упомянул о его матери: страстно любил свою мать и ей написал последнее прощальное письмо. Эти слезы на суде очень его расстроили: „Что подумают компаньоны?“

Перед приговором он, по ритуалу, огласил свою „декларацию“. Председатель запретил ее печатать. Вероятно, Казерио сказал то, что тысячу раз до него говорили другие анархисты. Мысли его были просты и примитивны. Сказать новое ему было бы и трудно: анархистское учение уходит в глубокую древность. Альбер Делакур, относящийся к этому учению сочувственно, в числе первых анархистов несколько неосознанно называет — Калигулу и Нерона!..

Присяжные совещались только десять минут.

Последовали обычные формальности. Они длились почти две недели. Тем временем в своей камере № 41 Казерио читал „Дон Кихота“, — в этом можно усмотреть некоторую символику (Равашоль читал Бакунина). Попросил также дать ему популярный астрономический труд Фламариона, но остался им недоволен: „Да он теист!“ Сам он был атеистом и от бесед со священником отказался. Чувствовал он себя очень плохо. Власти поддерживали его укрепляющими лекарствами, давали ему ежедневно по утрам шоколад. Эта заботливость в отношении людей обреченных всегда производит странное впечатление.

Казнь была назначена на 16 августа. Гильотину поставили у тюрьмы на углу улиц Смита и Сюпэ. Снова были собраны жандармы, муниципальные гвардейцы, — глухие слухи не прекращались. Дейблер привез из Парижа свою машину. В газетах того времени можно найти подробное описание казни. Некоторые журналисты говорят, что в последние минуты Казерио потерял самообладание. Но профессор Лакассань, бывший в его камере и сопровождавший его к эшафоту, пишет: „Он вел себя мужественно без хвастовства, без щегольства, однако и без слабости!“ От-

казался от полагающихся рома и папиросы. На эшафоте прокричал: „Мужайтесь, друзья! Да здравствует анархия!“

Сотрудник „Фигаро“ (17 августа 1894 года) сообщает:

„Au moment ou les cuirassiers sont arrivés, une voix dans la prison a crié: „Vive l'anarchie!“, cri au quel une autre voix a clairement répondu par le mot de Cambronne“*.

ХII.

Вопреки надеждам Казерио со времени его казни анархистское движение во Франции пошло на убыль. Почему была „вспышка“ полвека тому назад, неясно, как неясно и то, почему она быстро прошла. Кажется, в наши дни в анархистских кругах намечается некоторое оживление, не выливающееся, к счастью, в форму террора. Но, во всяком случае, радужные надежды Луизы Мишель — тоже к счастью — никак не оправдались. Из ее товарищей по Коммуне и по началу движения 80-х и 90-х годов один стал реакционнейшим из французских публицистов, другой — консервативнейшим из французских послов, третий был главой правительства и чуть не оказался главой государства. Многие, конечно, остались верны мрачным идеям анархии. Однако вернейший из верных, Жан Грав, несколько лет тому назад в заключение книги своих воспоминаний, явно нарушив правило всех политических деятелей, откровенно писал: „35 лет пропаганды, 35 лет ожесточенной борьбы... Что от этого остается? Что остается от движения? Ничего или почти ничего...“

* „Когда прибыли кирасиры, в тюрьме раздался голос: „Да здравствует анархия!“, а другой голос ясно ответил ему словом Камбронпа“ (ФР).



Бург

I.

Талейран писал Наполеону вскоре после Аустерлица: „Ваше Величество, можете теперь и разрушить австрийскую монархию, и укрепить ее. Но если вы ее разрушите, то не в вашей власти будет снова собрать обломки и создать единое государство. Между тем существование этого государства необходимо, совершенно необходимо для спасения в будущем цивилизованных народов“ *.

К той же мысли Талейран возвращался неоднократно. В сокращенной форме ее можно было бы выразить так: когда развалится Австрия, в мире начнется хаос. Не буду останавливаться на этом интересном, хоть спорном утверждении, столь основательно забытом в 1919 году. Настоящая статья моя в некотором роде некролог тысячелетнего государства, но некролог не политический. Символом Габсбургской державы был дворец Бург, вероятно, наиболее „историческое“ здание в мире — по мнению одних историков, Вена господствовала в Европе двести лет, по мнению других — триста.

Бург расположен в так называемом „Innere Stadt“¹. Вена — одна из немногих столиц Европы, где политическим, деловым и светским центром осталась до конца наиболее старая часть города. Как и империя Габсбургов, Бург строился и перестраивался веками. Большая часть этого колоссального здания относится, правда, лишь к XVIII столетию, но есть в нем и строения, воздвигнутые в XIV веке. Кажется, Дрегер² первый доказал, что дворец был заложен около 1300 года. Точная дата имела для австрийских историков неко-

*Цитирую по Lacour-Gayet, Talleyrand, t. II Письмо от 5 декабря 1805 года

¹„Внутренний город“ (нем.).

²Dreger, Moritz Oesterreichische Kunsttopographie, Bd XIV, S 333

торое значение: прежде закладку Бурга относили к временам еще более отдаленным: Дрегер установил, что надпись о „фундаторе“ имеет в виду Альбрехта I; отсюда следует вывод, что начали постройку дворца именно Габсбурги, и это единственный в истории случай: в течение шести веков одно и то же здание строила одна и та же семья.

Дворец показывался посетителям, и я когда-то имел случай его осматривать. Не берусь судить о его архитектурной ценности. В нем за шесть столетий, естественно, смешались все стили. Бесчисленные залы ослепляли и утомляли великолепием — как в Версале, как в русских дворцах.

II.

Прусский король Фридрих Вильгельм IV сам говорил, что, входя в Бург, „чувствует себя парвеню“. Австрийские историки-монархисты неоднократно цитировали эти слова с одобрением: совершенную, мол, правду сказал человек. Габсбурги всегда считали прусских королей выскочками. Они, впрочем, относились свысока и к другим монархам. Французские короли двести лет вели борьбу за то, чтобы их послы считались равными по рангу послам императора. Очень нелегко согласились Габсбурги и на признание императорского титула за русскими царями, позднее — за Наполеоном: император в мире может быть только один (появление берлинских императоров Франц Иосиф принял почти как катастрофу).

В генеалогическом отношении Габсбургский дом и вообще не желал никого с собой сравнивать. Генеалогические исследования о нем бесчисленны и, как указывает в своем восьмитомном труде князь Лихновский*, очень между собой расходятся. Не так давно расисты сообщили, что Габсбурги — потомки семьи Пьерлеоне, и следовательно, евреи. Одна из распространенных габсбургских генеалогий действительно вела их род к этой полуеврейской семье, к которой принадлежал папа Анаклет II и которая по второй

*Lichnovsky Fürst E.M Geschichte des Hauses Habsburg, Wien 1836, Bd I, S 384.

своей линии себя производила от Корнелиев Сципионов. Более принятой считалась чисто немецкая генеалогия Габсбургской семьи, с бесконечным рядом Гунтрамов, Радбодов, Канцелинов, Рудольфов, Альбрехтов. Достоверно выяснено их происхождение лишь до Альбрехта Богатого. Прозвища, кстати сказать, были едва ли не у половины древних Габсбургов, — и самые разные прозвища: тут „Мудрые“ и „Безумные“, „Гордые“ и „Благочестивые“, „Великодушные“ и „Отцеубийцы“, „Богатые“ и „Пустые Карманы“. История знаменитого рода полна всевозможных легенд; иные из них стоят талантливой поэмы, — и не одна поэма написана о Габсбургах.

III.

Об императоре Франце Иосифе княгиня Радзивилл, долго жившая при его дворе, пишет*: „Он забывал порою данные им обещания, принятые им обязательства, долг своего высокого положения, но никогда не забывал он одного: того, что он Габсбург“.

Все сказано о бесчисленных несчастьях, выпадавших на долю императора: расстрел брата, таинственная смерть сына, убийство жены и т.д. „Он должен был бы стать шекспировским героем“, — говорит один из недавних его биографов. Шекспировским героем Франц Иосиф никогда не был. Это был человек неслухлый и способный, в молодости — „человек бурных страстей“, все в себе заглушивший ради Габсбургского дома. От жизни можно заслониться чем угодно. Он от нее заслонился — этикетом.

Об этикете Габсбургов существует целая литература. Я не имел ни терпения, ни охоты читать о нем книгу за книгой. Скажу лишь, что, по мнению компетентного ценителя, габсбургский двор был „самым великолепным и первым по совершенству организации в мире“. С некоторым недоумением теперь просматриваешь, например, рассуждения о разнице между „придворным балом“ („Hof ball“) и „балом при дворе“ („Ball bei Hofe“) — это были вещи разные и происходили они в разных амфиладах зала Бурга.

*Cath. Radziwill, The Austrian Court from Within, p. 99.

Леопольд Вельфлинг (ушедший из императорской семьи эрцгерцог Леопольд Фердинанд) в своей книге „Габсбурги в своем кругу“* сообщает, что никогда ни один из родных императора не обращался к нему иначе, как со словами „Ваше Величество“, притом с обязательным употреблением третьего лица множественного числа. На обедах эрцгерцоги сажались за стол не по старшинству возраста, а по старшинству линии рода: 20-летний эрцгерцог старшей, тосканской линии сидел выше, чем 70-летний фельдмаршал Альбрехт из второй линии; последнее место занимал эрцгерцог Райнер, старейший член семьи, но по линии самый младший. Еще строже были правила в отношении знати. Император, обладавший необыкновенной памятью, знал генеалогию всех австрийских аристократов и строго с ней считался. Так бывал он только у князей Лихтенштейнов и Ауэрспергов (по другим источникам, еще у Гаррахов).

Самым сложным был вопрос о рукопожатии. Франц Иосиф подавал руку из австрийцев лишь министрам и членам наиболее знатных семейств, записанных во вторую часть Готского альманаха. Фельдмаршал барон фон Маргутти, бывший при императоре шестнадцать лет генерал-адъютантом, говорит в своей книге, что за всю его жизнь Франц Иосиф ему подал руку только один раз, „9 мая 1915 года“, по какому-то особому случаю“. Фельдмаршал вздохнул: это произошло в отсутствии свидетелей. Но на следующий день его горячо поздравил граф фон Наар. „С чем?“ — „Как с чем! Император вчера подал тебе руку!“ — „Откуда ты знаешь? При этом никого не было“. — „Его Величество сам мне сообщил“.

Если не ошибаюсь, ничего сходного не было в последние два столетия ни при каком другом европейском дворе. Из-за этого иногда выходили обиды, жалобы, чуть не драмы. На приемах император, обходя гостей, пожимал руку юнопам, принадлежавшим к семьям из Готского альманаха, и лишь кивал головой старым сановникам из семей менее знатных: те из них, которые его не знали, порою усматривали в этом оскорбление или знак немилости, просили им объяс-

*Leopold Wölfling. Habsburger unter sich, Berlin 1921, S 113—114

*Margutti Albert Freiherr von, Kaiser Franz-Joseph, Wien 1924, S 51

нить и т.п. По словам очевидца, император оставался к этому „совершенно равнодушен“: в его габсбургский монастырь со своим уставом не ходят. (Не подавал он руки и кардиналам, но это объясняли иначе: кардиналу нельзя подавать руку, ему надо целовать перстень, а императору это не подобает.) Для министров он почему-то делал исключение (вероятно, с отвращением). Но вообще жизнь Франца Иосифа и его отношение к людям в значительной мере определялись генеалогическими данными. Должно быть, он никак не думал, что его преемником будет маляр*.

С дамами император был необычайно вежлив, тоже не совсем по-нынешнему. Он пропускал вперед даже 16-летних девочек, сам отворял перед дамами двери и за стол никогда не садился, пока не садилась последняя дама. Очевидец описывает две вспышки его гнева. В ложе Будапештской оперы его флигель-адъютант не сразу встал, когда в ложу вошла фрейлина. Другая более бурная вспышка произошла оттого, что состоявший при нем офицер по недосмотру появился в его кабинете в мундире с оторвавшейся от рукава пуговицей. „Это неслыханно!“ — гневно сказал император; „офицер побледнел как полотно“.

Он был, несомненно, стильным человеком. Франц Иосиф дожил до 1916 года, но ни разу за всю жизнь не говорил по телефону; не признавал автомобилей и до конца своих дней пользовался лошадьми; отроду не входил в подъемную машину и, когда нужно было при осмотрах выставок, в восемьдесят лет поднимался по лестнице на четвертый этаж. Жил, как жили предки, — непонятно, почему он ездил по железной дороге?

В Вене под конец царствования его, когда-то ненавистного народу человека, обожали все: богатые и бедные, князья и рабочие, католики и евреи, реакционеры и (стыдливо) социалисты. Курьезно то, что на старости лет он имел репутацию демократа. Да и в самом деле, правил он вполне конституционно, хоть совершенно не верил в конституционный образ правления. Одному из своих советников незадолго перед смертью сказал: „Поверьте мне, этой империей править по конституции нельзя“... Советник изумился: „Но ведь Ваше Величество именно так и правит!“

*Имеется в виду А.Гитлер. — *Прим. ред.*

Франц Иосиф только вздохнул и развел руками. Смысл был, очевидно, таков: „Вот вы и видите, как прекрасно идут наши дела“.

Впрочем, одинаково скептически он относился к управлению всех своих государственных людей: и более либеральных, и более консервативных. Не так давно были опубликованы краткие заметки, которые он делал для себя, назначая министров. Они весьма забавны: „Опять Векерле. Schon wieder!..“ Или просто: „Ах, Боже мой!..“ („Ach, Gott!..“) Явно не заблуждался ни насчет своей империи, ни насчет ее правителей. Князь Бюлов рассказывает: один из придворных Франца Иосифа, желая его утешить, сказал ему, что Бисмарк по целым дням пьянствует. Император меланхолически ответил: „Ах, если б и мои министры тоже пили!“ („Ach! Gott, wenn meine Minister doch auch Schnaps trinken wollten“). „Ach, Gott“ были, по-видимому, его любимые слова.

В последние годы жизни он с полной готовностью принимал на аудиенциях и социал-демократов; руки не подавал, но они не обижались, как не обижались в большинстве и фельдмаршалы: что же делать, человек другой эпохи! Сам он относился к ним со старческим благодушием. После аудиенции, данной в первый раз главе социал-демократической партии, сказал церемониймейстеру князю Монте-Нуово: „Он был со мной очень ласков...“

Жил император Франц Иосиф в той части Бурга, которая была построена лет двести тому назад и выходила окнами на так называемый Внутренний двор. Комнаты императрицы были в другом здании, Амалиенгоф. Поблизости были часовня XV века и знаменитая сокровищница Габсбургов с ее главной достопримечательностью, короной Карла Великого, — ею в течение тысячелетия венчался каждый *Die gratia Romanorum imperator augustus*: Карл Великий — первый, Франц Иосиф — последний. Она старше другой его короны, венгерской короны св. Стефана, несколько старше даже шапки Мономаха, которую напоминает не формой, а типом (основное в обеих: золото и жемчуг). Все многочисленные короны Франца Иосифа уцелели до наших дней; его венгерской короне припи-

*Von Bülow, Fürst, Denkwürdigkeiten, Berlin 1930, Bd. I, S. 154.

сывали огромное символическое значение и революционеры; Кошут закопал ее в землю после разгрома революции.

Залы этой части Бурга очень роскошны. Но в собственных комнатах Франца Иосифа никакой роскоши не было. Он, по-видимому, имел некоторую слабость к „походной“ обстановке, и кровать у него была тоже „походная“, железная, „наполеоновская“, хоть ни в каких походах он не участвовал, по крайней мере полвека. (Наполеон, которому создавать солдатский стиль было не нужно, любил, кстати сказать, не походные, а настоящие кровати.)

Вставал Франц Иосиф в 4 часа утра, выпивал стакан молока и работал до полудня: читал разные документы и писал своим четким почерком распоряжения; затем с 10-ти давал аудиенции и принимал доклады. Один из первых докладов делал дворцовый комендант, сообщавший, в котором часу накануне выходили из Бурга и возвращались его жители, в частности молодые эрцгерцоги: страже предписывалось это записывать. Если тот или другой из живших во дворце эрцгерцогов возвращался позже, чем полагалось, император требовал объяснений. Молодые эрцгерцоги, как рассказывает один из них, неизменно отвечали одно и то же: внезапно разболелась голова, захотелось подышать свежим воздухом. Франц Иосиф этим несколько однообразным объяснением удовлетворялся. Зачем это было нужно, не совсем понятно: вероятно, в целях борьбы с хронической головной болью у молодых людей. Сам он провел молодость бурно (княгиня Радзивилл сообщает, что любовные романы молодого Франца Иосифа неисчислимы). Эрцгерцогов он вообще не баловал и, несмотря на свое огромное богатство, не давал им больших состояний. Нуждался в деньгах порою даже кронпринц Рудольф: после его трагической кончины выяснилось, что наследника престола часто снабжал деньгами его приятель-банкир, барон Гирш. Отец и сын были на редкость непохожи один на другого.

В полдень императору в кабинет приносили на подносе завтрак. В 12¹/₂ работа возобновлялась и продолжалась до пяти часов. Затем принимались гости. По словам Редлиха, высшее общество Вены делилось

на две группы, между которыми, впрочем, было большое расстояние. Первую группу посетителей Бурга составляли „свои“, старая католическая знать, с древними титулами не ниже графского: Шварценберги, Лихтенштейны, Ауэрсперги, Гаррахи, Паары, Вальдштейны, Лобковицы, Кинские, Клам-Мартиницы, Тупы; при Марии Терезии к „своим“ были причислены венгерские магнаты, а при Франце Иосифе еще знатнейшие польские семьи. Забавно, что назывались эти семьи „Das eigentliche Milieu“* или просто „Das Milieu“, — как известно, на парижском языке это слово означает совсем иную среду. За „своими“ следовал второй слой: дворянство родовое и служивое, а с половины царствования Франца Иосифа — еще богатейшие банкиры и промышленники, во главе с Ротшильдами. Из этого круга выходило большинство министров, генералов и дипломатов. Они принимались при дворе, но своими никак не считались и со своими не смешивались. Все остальные были просто народ. Однако из него Франц Иосиф выделял и предпочитал народ в более тесном смысле слова. На охотах он подолгу и с особым удовольствием разговаривал с егерями, с крестьянами на простонародном австрийском наречии.

Влияния же на него, по словам близко знавших его людей, не имел никто. Ламмаш говорил фельдмаршалу Маргутти, что влияние на Франца Иосифа мог бы иметь только такой человек, который принадлежал бы по рождению к самой высшей титулованной знати, обладал бы исключительно блестящими талантами и огромными познаниями, был бы несметно богат и ни разу в жизни не попросил бы императора ни о чем для себя лично. „Но, слава Богу, — добавлял Ламмаш, — такого человека на свете не существует!..“

После обеда приезжала подруга императора, артистка Екатерина Шратт, и он с ней играл часа полтора в тарок. Ложился спать в девять часов вечера. Эрцгерцог Леопольд Фердинанд в своих воспоминаниях совершенно серьезно приписывает расхождение императора и императрицы главным образом их обра-

* „Высший свет“ (нем.) „Milieu“ (фр.) — жаргонное обозначение преступного мира — *Прим. ред.*

зу жизни: она превращала ночь в день и день в ночь, он ложился в девять и вставал в четыре.

Эта однообразная, размеренная, скучная жизнь шла изо дня в день, из года в год, — он процарствовал, как известно, 68 лет. Порядок дня несколько нарушался в дни придворных балов и парадных спектаклей, — ни того, ни другого Франц Иосиф не любил и мог бы повторить знаменитую фразу: „Жизнь была бы вполне приемлема, если б не развлечения“. Не доставляли ему большого удовольствия и приезды иностранных гостей.

Любил он, по словам знавших его людей, только саксонского короля Альберта, с которым часто подолгу охотился в горах. Это был его единственный друг. Хорошо относился к Эдуарду VII, подчеркнуто современный стиль которого, столь чуждый его собственному стилю, видимо, забавлял старого императора. Вильгельма II он недолюбливал, чтобы не сказать терпеть не мог. Князь Бюлов, бывавший при их встречах, откровенно говорит: „Вильгельм II действовал на нервы („ging auf die Nerven“) Францу Иосифу, как тот ни старался это скрывать“. С русским двором отношения были корректно-холодные, притом с давних времен. Бисмарк где-то пишет, что у императора Александра II меняется лицо, когда произносят имя Франца Иосифа (вероятно, из-за австрийской политики в пору Крымской войны, — стихи Тютчева весьма памятливы). Впоследствии отношения стали лучше. При графе Капнисте Франц Иосиф 6 декабря приезжал в русское посольство и, здороваясь с послом, снимал перчатку: показывал, что знает этот русский обычай. Он был русским фельдмаршалом, имел Георгиевский крест III степени и русскую медаль, которой в XX столетии не помнил никто из русских офицеров: медаль за войну 1849 года. По случайности другая медаль — по случаю 300-летия дома Романовых — была ему доставлена за два дня до начала мировой войны.

К своим родным он относился без особой нежности. Недоброжелатели говорили, что он никогда не любил никого из них. Граф Таафе, бывший министром-президентом в пору мейерлингской драмы, „онемел от удивления“, увидев императора тотчас после того, как

ему сообщили о смерти его единственного сына: Франц Иосиф был совершенно спокоен — „ни слова, ни движения на лице“.

Что тут, однако, отнести на долю душевного холода, что на долю самообладания и наследственной выдержки? Из документов, появившихся уже после революции, следует, что версия о случайной смерти кронпринца Рудольфа была предписана самим Францем Иосифом. Он же составил и заметку, появившуюся в тот день в особом выпуске правительственной газеты. В черной кайме было напечатано: „Его Высочество, наследник престола, вчера выехал на охоту в Мейерлинг со своими гостями, принцем Филиппом Кобургским и графом Гойосом. Но еще накануне Его Высочество чувствовал себя дурно и должен был отказаться от семейного обеда в Бурге. Охотники собрались сегодня утром и не нашли наследника престола. С глубоким волнением они приняли страшное известие: Его Высочество ночью скончался от кровоизлияния в мозг“.

Сообщение было сумбурное и могло свидетельствовать о некотором душевном смятении. В тот же день, по-видимому через час или через два после известия о смерти сына, Франц Иосиф продиктовал на французском языке телеграммы иностранным дворам. Они чрезвычайно интересны в психологическом отношении — образ создается из черточек. Привожу одну из них, посланную царю: „С глубочайшей скорбью извещаю Тебя о внезапной кончине моего сына Рудольфа, последовавшей сегодня утром в Мейерлинге от кровоизлияния. Я уверен, что Ты примешь искреннее участие в этой тяжелой утрате. Франц Иосиф“.

Все другие телеграммы с небольшими стилистическими изменениями сообщают то же самое, но у каждой есть свой оттенок, очевидно, определяющийся степенью близости иностранного двора. В одной говорится о „моем сыне Рудольфе“, в другой — о „моем Рудольфе“, в третьей — о „нашем Рудольфе“. Разумеется, во всех телеграммах повторяется заведомо выдуманная версия: „кровоизлияние“. Единственное исключение — телеграмма Льву XIII: папе Франц Иосиф не считает возможным говорить неправду. Он телеграфирует: „С глубочайшей скорбью сообщая Ва-

пему Святейшеству о внезапной кончине моего сына Рудольфа. Уверен, что Ваше Святейшество примет искреннее участие в этой жестокой потере. Да примет Господь Бог того, кого я безропотно отдаю Ему и кого от него получил. Молю о Вашем благословении мне и моей семье. Франц Иосиф⁴.

Сведений о том, как он принял известие о сараевском убийстве, у нас очень мало. Тотчас вызвал к себе нового, неожиданного наследника престола (будущего императора Карла), — это был по счету его четвертый престолонаследник (до того почти его не знал). Долго с ним говорил о его новых обязанностях и остался доволен: „хороший мальчик“... Затем он отдал приказ церемониймейстеру князю Монте-Нуово: так как похоронить Франца Фердинанда надлежит вместе с его женой, то на погребении не должно быть ни придворных, ни военных почестей, полагающихся наследному принцу: женщину, рожденную просто графиней Хотек, нельзя хоронить так, как хоронят Габсбургов. По-видимому, Монте-Нуово, сам наполовину Габсбург (по побочной линии), церемониймейстер не только по должности, но и по натуре, был в отчаянии: это распоряжение, вызвавшее крайнее раздражение в венском обществе и в армии, в Вене приписали ему. Франц Иосиф велит опубликовать свое письмо на имя князя: распоряжение о похоронах отдано не церемониймейстером, а императором.

Таков он был всю жизнь: если угодно фанатик, хоть самое слово это не очень к нему подходит. Ничего личного в нем нет. Как Габсбург и император, он служит своей идее. Как в радости, так в горе для него самое важное: его род, *das Erzhaus**, *domus austriaca**.

Войны он, несомненно, не хотел. 15 ноября 1911 года Франц Иосиф устраивает бурную сцену начальнику генерального штаба Конраду фон Цецендорфу, который, в оппозицию Эренталю, стоит за превентивную войну: вопреки своему обыкновению, император не говорит, а кричит, по словам Конрада, „*sehr erregt und erböst*“⁴, что запрещает эти безумные проекты: „Политика Эренталья — моя политика! Быть может, она

*Родовое поместье (нем.).

*Австрийские корни (лат.).

⁴ „Возбужденный и обозленный“ (нем.).

приведет к войне, даже вероятно приведет, но мы будем вести войну только тогда, когда на нас нападут!" Через три года он на войну соглашается. Самый осведомленный из его биографов считает это дело невыясненным: „При нынешнем состоянии наших сведений о том, что тогда произошло в Вене и Ишле, мы не можем исчерпывающим и удовлетворительным образом объяснить, почему император дал на войну согласие“. По словам очевидца Маргутти, у Франца Иосифа при получении известия об отъезде австрийского посланника из Белграда несколько минут тряслись руки: он не может надеть очки и прочитать телефонограмму; падает в кресло и говорит глухим голосом „как бы сам себе“: „Но ведь разрыв дипломатических отношений еще не война...“ Вероятно, у него мелькнула мысль, что все, все идет к концу: и дом, и династия, и империя. Тот же Конрад фон Гецендорф в своих воспоминаниях рассказывает: перед его отъездом на фронт император сказал ему: „Если монархии суждено погибнуть, то пусть она, по крайней мере, погибнет с честью“. („Wenn die Monarchie schon zu Grunde gehen soll, so soll sie wenigstens anständig zu Grunde gehen.“.)

IV.

Женитьба на баварской принцессе Елизавете была, вероятно, наиболее странным поступком всей жизни императора: если бы из тысячи женщин нарочно искать такую, на какой не должен был бы жениться человек, подобный Францу Иосифу, то трудно было бы сделать лучший выбор. И произошла эта женитьба при обстоятельствах, как будто менее всего соответствовавших его характеру и обычаям. Рассказывалось об этом романе не раз. Едва ли тут многое сочинено или приукрашено.

23-летний император Франц Иосиф, по словам двух историков, был в начале пятидесятых годов „лучшим женихом в мире“. Он занимал блистательный габсбургский престол, считался богатейшим из монархов (может быть, в ту пору и богатейшим из людей), был красив, имел репутацию „шармера“. Женщины чрезвычайно им увлекались. Говорили (а позднее и писа-

ли), что у него в то время был роман с одной эрцгерцогиней-вдовой, бывшей значительно его старше. Именно поэтому будто бы его мать, столь известная в истории эрцгерцогиня София, стала спешно подыскивать ему невесту.

Как баварская принцесса, мать императора первым делом обратилась к Виттельсбахам. Это было естественно: начиная с XIII века то Габсбурги женятся на принцессах баварской династии, то Виттельсбахи женятся на австрийских эрцгерцогинях. Невеста в Баварии была тогда только одна: принцесса Елена, дочь герцога Максимилиана. „Партия“ была удовлетворительная по родовитости семьи, однако только по родовитости: отец невесты был очень беден, кругом в долгу, вдобавок либерал, богема, альпинист, фрондер, вечно издевавшийся над коронованными особами и рассказывающий о них анекдоты. Но сама принцесса Елена очень нравилась эрцгерцогине Софии своим благочестием. Мать императора, имевшая огромное влияние на сына, решила вопрос за него. Мать невесты с восторгом приняла предложение, а с отцом никто не считался. Рада и счастлива была и сама невеста, не смеявшая мечтать о таком женихе.

Нужно было „только“, чтобы она понравилась Францу Иосифу. Для этой цели ей и ее родителям было послано приглашение приехать в Ипль, летнюю резиденцию Габсбургов. В последнюю минуту герцог Максимилиан объявил, что на адскую скуку в Ипль не поедет без своей любимицы, младшей дочери „Зизи“ (Елизаветы). Ей исполнилось 16 лет, она была красавица. Взяли и ее.

В первый же день по приезде баварских родственников в Ипле состоялся обед. Габсбурги славились в мире своим искусством устраивать скучные обеды; но на этот раз они сами себя превзошли, — кто-то писал, что „даже скатерти дышали скукой“. Вероятно, это объяснялось настроением молодого императора: он был мрачнее тучи. К концу обеда появилась Зизи, которая, как маленькая, обедала отдельно с гувернанткой. Франц Иосиф оживился. А когда обед кончился, император совершил неприличный поступок — должно быть, единственный в его жизни: он подошел не к старшей сестре, а к младшей и предложил пока-

зять ей своих лошадей. Вернувшись же с прогулки по парку, он объявил своей матери, что женится, но не на принцессе Елене, а на принцессе Елизавете. Изумленные эрцгерцогини Софии, ее гнев, ссылки на обиду, на скандал не помогли; не помог и вызванный для увещания Франца Иосифа кардинал. Император сообщил, что уже сделал предложение и что дело это решено.

Затем началась одна из сказок, становящихся редкими и в монархических странах. На пышно разукрашенном, засыпанном цветами судне император повез по Дунаю свою невесту из Баварии в Вену. Раскрылась сокровищница Габсбургов, с ее коронами, диадемами, ожерельями. В расписанной Рубенсом карете молодая чета проехала в церковь, где состоялось венчание. „Я влюблен, как лейтенант, и счастлив, как бог!“ — писал Франц Иосиф своему другу Альберту Саксонскому. Столь же счастлива была и 17-летняя императрица. Впереди был несчастнейший брак, длинный ряд катастроф — и кинжал убийцы.

V.

В личности и в судьбе Елизаветы Австрийской слилось все то, что с незапамятных времен открыто или молчаливо признавалось „элементами поэзии“. Быть может, при жизни императрицы это вызывало у раздражительных людей некоторое отталкивание: уж слишком все поэтично. Ее жизнь просится в *biographie romancée*, для которой тут есть решительно все, вплоть до „проклятья графини Карольи“* и „призрака белой дамы“, трижды проходившего по залам Бурга за время существования Габсбургского дома. Но трагическая смерть Елизаветы должна была положить конец подобному отталкиванию. Не думаю, чтобы эта, во всяком случае необыкновенная, женщина и вообще умышленно создавала себе поэтический ореол.

*В пору венгерского восстания вдова казненного графа Карольи прокляла императора Франца Иосифа, его род, семью и потомство. Это проклятие постоянно вспоминали при каждой катастрофе, случившейся в Габсбургском доме. Вспомнили, разумеется, и после убийства Елизаветы.

Она была на редкость хороша собой. В этом сходятся все знавшие ее люди. Один республиканский политический деятель на старости лет говорил, что из всех женщин, которых он видел, две самые красивые были императрицы: Евгения и Елизавета*. Называли ее в Европе „Черной лилией“. Кажется, это прозвище было ей дано после того, как на одном приеме в Бурге она появилась в черном бархатном платье, с веером из черных страусовых перьев и в черных бриллиантах: черный цвет был ей особенно к лицу. Красоту ее признавала и ненавидевшая ее эрцгерцогиня София.

Очень многое в императрице Елизавете не нравилось Бургу. Не нравились прежде всего ее либерально-политические взгляды: либерализм императрицы был, насколько могу судить, не наигранный и не предназначенный для приобретения популярности. Она плохо верила в „породу“ и не придавала ей значения. Знала верхи общества (притом верхи предельные) неизмеримо лучше, чем низы, но большой разницы между ними не видела и относилась с ласковой, чуть пренебрежительной снисходительностью одинаково к верхам и к низам. Императрица по природе была очень добра. Мы знаем о тысяче прекрасных ее поступков, а о плохих не знаем почти ничего, — о многих ли из людей, бывших по той или иной причине на виду у всего мира, можно сказать то же самое? Политикой она занималась мало, но разные счастливые и благодетельные меры царствования Франца Иосифа, как понемногу выясняется, отчасти были приняты благодаря ей. И в качестве первого свадебного подарка она у него — не попросила, а потребовала — смягчения участи осужденных венгров. Ее любило все население габсбургской державы: в Венгрии же ее положительно боготворили. Легенда, кажется неверная, приписывала ей роман со знаменитым венгерским политическим деятелем, будто бы бывшим ее единственной любовью. Именно он поднес ей в 1867 году венгерскую корону, которая через тридцать лет, вместе с короной Марии Терезии, лежала на ее гробе. Об этом действительно или мнимом романе уже написаны книги —

*Они, кстати сказать, очень нравились одна другой и были в большой дружбе, несмотря на войну 1859 года.

слишком рано написаны: он пока никого касаться не может.

Вероятно, еще больше осуждения, чем либерализм, вызывало в Бурге пренебрежение императрицы к вековому габсбургскому этикету. Она по-настоящему отравляла жизнь церемониймейстерам и дворцовым комендантам. То выходила из Бурга пешком одна, без свиты, без охраны, и делала покупки в магазинах — поступок в отношении венского церемониала неслыханный. То приглашала друзей на ужин в свои комнаты в три часа утра, — и не все друзья ее были люди придворные: еще можно было переносить знатных иностранцев вроде лорда Рандолфа Черчилля (отца Уинстона), но были и друзья — незнатные австрийцы. То отказывалась появляться на обедах императора, говоря, что не выносит длинного ряда подаваемых в неизменном порядке блюд с одним и тем же столетним венгерским из габсбургских погребов и шампанским одной и той же марки: она гастрономкой не была, заботилась о фигуре, по утрам пила какой-то странный напиток из бычьей крови, а на обед заказывала себе бифштекс и фрукты. С точки зрения Бурга, все это было чудовищно. Императрица вдобавок не скрывала, что ненавидит габсбургские дворцы, и считала, что жить в них совершенно невозможно: в Шенбрунне было 1440 комнат и ни одной ванной — она объявила, что ей столько комнат не нужно, а ванна совершенно необходима. В конце концов, она выстроила себе новый дворец на опушке Лайнцкого леса и жила то в этом дворце „Вилла Гермес“, то на Корфу, в замке „Ахиллейон“.

Ее собственных, по ее указаниям выстроенных дворцов я никогда не видел. Знатoki расценивают их в художественном отношении весьма невысоко. Нельзя сказать, чтобы и названия их были очень хороши: „Вилла Гермес“, „Ахиллейон“, — в этом последнем замке были какие-то „Террасы Ахилла“, „Лестницы богов“, „гrotы Калипсо“ и т.п. Все это эстетизм довольно дешевый. Впрочем, под конец жизни императрица возненавидела „Ахиллейон“ (обошедшийся в десятки миллионов) и хотела его продать американцам. Со всеми поправками на вкусы и стиль той эпохи можно признать, что и в поступках и в переписке

Елизаветы есть немало странного. Ее письма баварскому королю Людовику II начинаются словами „От голубицы — орлу“ (а он пишет: „От орла — голубице“). Однако в литературе у нее вкус был хороший. Из поэтов она, как известно, боготворила Гейне. Менее известно, что из прозаиков она предпочитала русских романистов. Сама она ничего не писала. Но Константин Христоманос, преподававший ей греческий язык, издал книгу своих бесед с ней. Историк Карл Чюпик склонен думать, что беседы очень обработаны Христоманосом в стиле передовых литературных кофеен Вены 90-х годов. Это возможно, но есть среди мыслей, приписываемых автором императрице, страницы весьма интересные и даже замечательные.

Генриха Гейне она читала вслух императору в первый год после их брака. Франц Иосиф не был антисемитом, но восторг перед этим поэтом ему особенно понравиться не мог. Вдобавок стихи и вообще внушали ему крайнюю скуку. Совместные чтения скоро прекратились. Позднее прекратилась и совместная жизнь, вероятно — как почти всегда в таких случаях бывает — по тысяче причин, из которых посторонним станovyтятся известными одна или две. Императрица Елизавета стала проводить большую часть года вне Австро-Венгрии. Церемониймейстеры вздохнули свободно.

Впрочем, она продолжала отравлять им жизнь и за границей. Достаточно сказать, что в парижском „Мерисе“, в других гостиницах императрица жила под именем „мистрис Никольсон“, не пользуясь ни одним из бесчисленных второстепенных титулов Габсбургского дома. Должно быть, это доставляло истинные страдания Францу Иосифу: его жена, *imperatrix Austriae, Regina Hungariae* — мистрис Никольсон! Император терпел это, как терпел все, считая, вероятно, жену крестом своей жизни, и покорно адресовал „мистрис Никольсон“ письма и телеграммы. Под псевдонимом она была и убита, всходя на мостик отходившего женевского парохода. В той страшной сцене на палубе единственная спутница Елизаветы графиня Старэй, схватив за руку остолбеневшего капитана, шептала, задыхаясь: „Велите остановить пароход!.. Эта женщина — австрийская императрица!..“

VI.

После потрясшего весь мир убийства императрицы Елизаветы Морис Баррес записал у себя в дневнике (т. II, стр. 72): „Она любила Гейне. Надо было бы выяснить, как именно. Какая прекрасная смерть!* Маленький напильник пронзил ей сердце. Она продолжает идти с пронзенным сердцем. Только на мостике она падает и спрашивает: „Что случилось?“ — Что случилось! Сама умирает и спрашивает, что это. Страшные катастрофы оторвали ее от ее традиций. Дух предков больше ничего не мог ей сказать... Все мне ничто, ничто мне все. В этом состоянии жизнь ее не имела больше цели. Она — оторванная („Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien. Dans cet état, sa vie n'ayant plus de but, s'est une déracinée“). Она сама — Гейне... Ее элегантная насмешливость... Отдалась духу отрицания Мефистофелю. Этикет, молчание“.

Мысли неясные, и если отвлечься от суеверных восторгов в отношении „гениального стиля Барреса“, то не очень хорошо выраженные. Думаю, что не все в них и справедливо. Императрица Елизавета действительно боготворила Гейне. Она поставила ему памятник на Корфу, приглашала к себе его родных, лишь смутно зная их взаимоотношения. Родные поэта были из богатой линии семьи, оставившей его в нищете, давно получили дворянство и титулы, породнились с католическими князьями. Императрица показывала барону Гейне свою коллекцию его портретов и спрашивала с волнением, есть ли сходство, — барон смущенно отвечал, что никогда не видал своего дяди. Императрица побывала у баронессы Эмбден, у княгини Рокка, обещала возложить в Париже венок на могилу их знаменитого родственника — они, кажется, сами отроду на том кладбище не бывали. Венок на могилу с надписью „Австрийская императрица — своему любимому поэту“ возложила по просьбе Елизаветы эрцгерцогиня Стефания, жена кронпринца Рудольфа. Но едва ли императрица любила „отрицательные“

*Император Франц Иосиф, встретившийся с кн. Бюловым вскоре после убийства императрицы, сказал князю: „Я не должен жаловаться: императрице выпала именно такая кончина, какой она всегда хотела, — быстрая, без страданий“ (Бюлов, I., стр. 239).

стихи Гейне. Вероятно, „Traumbilder“* и „Лирическое интермеццо“ нравились ей много больше, чем „Атта Троль“ и „Зимняя сказка“, — и уж, во всяком случае, замечания об „элегантной насмешливости“, о „духе отрицания Мефистофеле“ к ней совершенно не подходят.

В словах же: „она сама — Гейне“, конечно, есть доля правды. Быть может, в ее интересе к автору „Лирического интермеццо“ имело некоторое значение и то, что в социальном отношении он был ей чужд. Но это надо считать делом второстепенным. Среди живых людей императрица выбирала друзей в разных общественных группах. Она всю жизнь прожила среди королей и императоров — естественно, что главные ее друзья были из этого круга. По-видимому, самым близким к ней человеком был ее сын, кронпринц Рудольф, обожавший свою мать и считавший ее высшим явлением, неземным существом. Не совсем понятная дружба связывала Елизавету Австрийскую с ее родственником, баварским королем Людвигом II, не совсем понятная потому, что это был человек душевно больной. Впрочем, императрица Елизавета как-то сказала Христоманосу, что в „в жизни, как у Шекспира, только сумасшедшие говорят разумно“...

Франц Иосиф, кажется, думал, что самым близким другом его жены была императрица Евгения#. По крайней мере, после убийства Елизаветы он послал бывшие при ней в тот день веер и зонтик вдове Наполеона III, потерявшей престол за три десятилетия до того. Полина Меттерних, которая случайно находилась у императрицы Евгении, когда пришел этот дар Франца Иосифа, рассказывает в своих воспоминаниях (стр. 197): „Ее Величество не решилась открыть ящик с реликвиями — он был положен на засыпанный цветами стол, и говорила о нем императрица тихим голосом, как если бы наша покойная государыня находилась тут в комнате“.

Однако наряду с императорами и королями были у императрицы Елизаветы и совершенно иные друзья.

* „Сповидения“ (нем.).

#Они познакомились в Зальцбурге после довольно долгой дипломатической переписки: кажется, не очень хотели знакомиться, — а затем подружились навсегда.

В течение некоторого времени она была, например, почти неразлучна с одним старым русским революционером-эмигрантом.

Недавно скончавшийся в Чехословакии Егор Егорович Лазарев, сын конюха самарских помещиков Карповых, родившийся в 1855 году в крепостном состоянии, позднее солдат 159-го пехотного Гурийского полка, произведенный в унтер-офицеры за отличие под Карсом, в 1890 году бежал за границу из Восточной Сибири, где находился в ссылке. Он долго скитался по разным странам Америки и Европы, был и рабочим, и певцом, и артистом мюзик-холла, и журналистом. Постоянное убежище, классическую „тихую пристань“ он нашел в Швейцарии, в Божии над Клара-ном, где открыл кефирное заведение и молочную ферму. Я познакомился с Е.Е.Лазаревым после революции в Париже, где он иногда бывал. Это был добрый, весьма благодушный человек, социалист-революционер довольно умеренных взглядов. Но до войны отношения между социалистами-революционерами и большевиками не были особенно враждебными — по крайней мере в бытовом, житейском отношении, — и на ферме Лазарева постоянно бывали и даже, кажется, жили подолгу Ленин, Зиновьев, Бухарин, Мануильский, Крыленко.

Его кефирное заведение пользовалось немалой популярностью и в швейцарском обществе, хоть там, как известно, русских революционеров-эмигрантов недолюбливали. Врачи иногда направляли к Лазареву больных; нередко и просто заходили на ферму швейцарские и иностранные туристы.

Императрица Елизавета на исходе шестого десятка лет жизни стала болеть. В Вене ее врачом был знаменитый Герман Нотнагель, профессор Венского университета, имевший в конце XIX века репутацию „короля врачей“, я имел в ранней юности возможность однажды его увидеть: он и держал себя как „король врачей“, по крайней мере при приездах в Россию. Был он, естественно, и врачом королей. Императрица к нему большого доверия не имела. Во всяком случае, ему не удалось вернуть ей здоровье, расстроенное, вероятно, и недостаточным питанием: в последние годы жизни она вообще не обедала, а к завтраку огра-

ничивалась чашкой бульона, сырыми яйцами и рюмкой портвейна. Нервы у нее находились в дурном состоянии, она не выносила темноты (говорила, что „достаточно темно будет в могиле“), а при свете спала очень недолго. Начиналось у нее и расширение сердца. Вылечить ее не могли ни Нотнагель, ни другие знаменитые врачи.

Однажды во время своего пребывания в Монтре она решила испробовать лечение не то кефиром, не то молоком. Знала ли она с самого начала, что Лазарев — революционер, не могу сказать: может быть, визит оказался случайным. Но летом 1897 года австрийская императрица оказалась на ферме в Божи у бывшего народовольца, товарища Желябова и Перовской по процессу 193-х.

В небольшой биографии Лазарева, появившейся в Праге в 1935 году по случаю его 80-летия, об этом эпизоде сообщается: „После подробного осмотра фермы и двухчасовой непринужденной беседы между фермером и высокой гостьей устанавливается столь горячая взаимная симпатия, что императрица — мило, изящно и в то же время повелительно — пригласила радушного хозяина состоять при ее особе лейб-медиком на все время ее пребывания в Швейцарии. Хозяину ничего не оставалось, как повиноваться... Состоявший при императрице лейб-медик в тот же день был отправлен императрицей с экстренным поручением в Вену, и с следующего же дня Лазарев занимает его почетное место“ (стр. 28).

Эпизод, надо сказать, довольно забавный. Собственно, врачом Е.Е.Лазарев никогда не был и на медицинском факультете не учился. Он не кончил даже гимназии: „ушел в народ“. Медициной он стал заниматься лишь в ссылке, в Восточной Сибири, в селе Татауров, в 64 верстах от Читы, и не по доброй воле, а по настойчивому требованию местного шаманского населения. В своих не без юмора написанных воспоминаниях в главе „Я становлюсь врачом“ (стр. 193) сам Лазарев говорит, что учился медицине и лечил бурят по „лечбникам, предназначенным для пользования фельдшерам и акушеркам“: „Я специализировался на выгонке ленточных глистов и солитеров, которыми в Сибири страдает чуть не сплошь все

население. Это искусство впоследствии создало мне неувядаемую славу среди бурятского населения". Е.Е.Лазарев справедливо утверждает, что в селе Та-таурове „даже и без лечебника простое внимание могло оказать огромную пользу при многих болезнях, где требуются простые средства вроде слабительного или хины“. Правда, для конкуренции с профессором Нотнагелем татауровской медицины было, быть может, недостаточно. Однако победителей не судят. Профессор Нотнагель императрице Елизавете не помог. Лечение же молоком или кефиром принесло ей огромную пользу и удовольствие. Думаю, что если не Пастеру*, то Толстому этот случай доставил бы большую душевную радость.

Как бы то ни было, Е.Е.Лазарев стал ближайшим человеком к императрице. Достаточно сказать, что наследник австрийского престола, эрцгерцог Франц Фердинанд, впоследствии убитый в Сараеве, должен был обратиться к протекции русского народовольца для того, чтобы добиться аудиенции у императрицы!

Чем объяснялась такая милость, не берусь сказать. Я знал Лазарева мало. Насколько могу судить, он не был особенно блестящим собеседником. Едва ли он, вдобавок, хорошо владел иностранными языками: детство и юношеские его годы прошли в большой бедности. К его лечению императрица все же не могла относиться чрезмерно серьезно. Е.Е.Лазарев, человек правдивый, наверное, и не скрывал от нее, что медицинское образование получил в Укырской области Балаганского уезда Иркутской губернии, а специализировался на выгонке ленточных глистов у бурят шаманского вероисповедания. Пить молоко можно было и без „лейб-медика“.

Трудно предположить, чтобы тут сказался какой-либо вид снобизма наизнанку: австрийская императрица, жена человека, не подающего руки своим генерал-адъютантам, если их род не значится в Готском альманахе, поддерживает дружеские отношения с революционером, сыном конюха, родившимся в крепост-

*Пастер, химик по образованию, никогда на медицинском факультете не обучавшийся, относился к практикующим врачам почти так же (разумеется, не совсем так же), как Л.Н.Толстой, и в частных беседах говорил: „Они три тысячи лет лечили от болезней, не зная, от чего, собственно, лечат, пока я им этого не объяснил“.

ном состоянии. Думаю, что она этого даже не поняла бы. Не могло быть тут, конечно, никакого „вызова“ высшему обществу, да у императрицы к высшему обществу и не было той враждебности, которую справедливо или неверно молва приписывает нынешнему герцогу Виндзорскому. Повторяю, главные ее друзья принадлежали даже не к аристократии, а к большой семье императоров и королей, до войны правившей почти всей Европой с высоты двадцати престолов. Императрица Елизавета просто не придавала значения общественным различиям между людьми: все друг друга стоят. Вероятно, она не желала упустить случай: ей было интересно, какие-такие революционеры? Лазарев ей понравился, быть может, тем, что и он относился ко всем людям совершенно одинаково, без враждебности, без заискивания. Мир невелик — на ферме в Божи австрийская императрица могла познакомиться и с Лениным.

VII.

Об отношениях между императором и императрицей судить довольно трудно, несмотря на обилие печатных материалов. Быть может, позднее, продолжая серию некрологических статей о старой Австрии, я этого отчасти коснусь в связи с ролью, сыгранной в Бурге и в австрийской жизни кронпринцем Рудольфом. Здесь скажу лишь, что люди, видевшие вблизи жизнь старого дворца, отмечали одно и то же: император весьма любезен с императрицей и столь же холоден. „Sehr kühl“*, — пишет один из эрцгерцогов. Довольно равнодушна к мужу и Елизавета. Она относилась очень благожелательно к официальной подруге императора, Екатерине Шратт: говорила, что очень рада, — слава Богу, что император нашел счастье. В одном из опубликованных недавно кратких писем Франца Иосифа к этой артистке он сообщает, что императрица просит ее пожаловать на обед: будут только они.

В письмах своих к Елизавете император необыкновенно учтив, заботлив, предупредителен. Императри-

* „Очень холоден“ (нем.).

ца получает огромное содержание, ему, однако, приходится в голову, что после его смерти новый император может этот расход сократить, — он устраивает пенсию, полагающуюся по закону вдовствующей императрице. Изредка он просит, как об услуге, чтобы Елизавета приехала в Австрию, но делает это лишь в исключительных случаях, например, для встречи императора Николая II, приезжающего в Вену с визитом, или на торжества по случаю тысячелетия Венгрии. В обычное время он предоставляет ей жить где угодно. Во всем чувствуется, что они давно чужие друг другу люди.

Однако в последние годы жизни Елизаветы в их отношениях как будто происходит перемена к лучшему. Так, незадолго до появления на ферме Лазарева, императрица съезжается с императором в Южной Франции. Он инкогнито селится в Кап-Мартене; она приезжает туда на своей яхте и на яхте же устраивает в его честь „совершенно интимный завтрак“: приглашает только его, императрицу Евгению и принца Уэльского (будущего Эдуарда VII). По ее просьбе Франц Иосиф соглашается посетить с ней вдвоем казино в Монте-Карло — надо думать, что с его стороны подобное отступление от правил было немалой жертвой. Они заходят в игорный дом — разумеется, тоже „инкогнито“ (ради этого инкогнито мобилизуется вся полиция Лазурного берега).

Он пишет ей письма; в них нет решительно ничего секретного: спрашивает о здоровье, о ее планах, то же сообщает о себе. Ни для какой полиции или разведки в Европе эти письма ни малейшего интереса не представляют. Однако она просит его подписываться условным именем, и сама для него выдумывает такое имя: „Мегалиотис“. Он подчиняется ее прихоти. Вероятно, это было вначале очень ему противно, хоть в тайну были посвящены во всем мире только они двое. Затем он, видимо, привыкает и, быть может, по рассеянности подписывает „Мегалиотис“ также свои письма к госпоже Шратт.

В июле 1898 года она ему „отдает визит“ — другого выражения не придумаешь. Это был ее последний приезд в Вену. Население столицы очень любило свою романтическую государыню; и правые и левые газеты

не раз выражали сожаление, что она бывает в Австрии так редко. Императрица посещает мужа в Ишле, но там не засиживается, как не засиживается нигде. Прощается с императором — им более не суждено было встретиться — и уезжает на свою родину в Баварию. Здесь тоже остается очень недолго. В последние годы она бродит по миру без видимой цели, без видимой причины: Корфу, Мадейра, Корсика, Биарриц, Алжир, Ривьера. Ехать ей некуда и незачем. Елизавета принимает решение: надо отправиться в Швейцарию. На ферму Лазарева? Не знаю. Во всяком случае, в те же места: на берега Женевского озера. Сначала в Ко, над Монтре, а дальше будет видно.

Как-то она сказала Христоманосу, который преподавал ей греческий язык, читал ей вслух Ибсена и „Анну Каренину“ и записывал свои беседы с ней: „В жизни каждого человека наступает минута, когда он идет навстречу своей судьбе. Знаю, что и я встречу судьбу в тот день, когда должна ее встретить...“ Надо ли говорить, что слова эти цитировались в связи с ее трагической гибелью. В Швейцарии уже точил напильник полоумный итальянский анархист. Точил, впрочем, не для нее. Ему, собственно, было все равно, кого убить. Почему-то Луккени отдавал предпочтение герцогу Орлеанскому, но на худой конец держал в запасе итальянского короля и президента Феликса Фора. Австрийская императрица подвернулась ему более или менее случайно. Он однажды ее видел в Будапеште — и запомнил. Наружность Елизаветы было нетрудно сохранить в памяти. Всем памятен знаменитый портрет Винтергальтера.

В Ко императрица решает повидать баронессу Ротшильд, у которой под Женовой, в Преньи, есть какие-то необыкновенные оранжерей. Цветы всегда были страстью Елизаветы. С женой Альфонса Ротшильда она издавна поддерживала добрые отношения. Тотчас дала знать, что придет завтракать 9 сентября. Просила больше никого не приглашать: будут только они трое (третья — ее обычная спутница — графиня Старэй).

Утром 9 сентября, в пятницу, она приехала в Женеву, остановилась под псевдонимом в гостинице „Бориваж“, на набережной Лемана, и тотчас выехала в

Преньи. Была в самом лучшем настроении: цветы изумительные*, завтрак превосходный — вопреки своему обыкновению, она даже пьет шампанское. Вероятно, чтобы сделать удовольствие хозяйке, посылает оттуда письмо императору и прилагает меню, — „такого мороженого я никогда в жизни не ела“.

В 6 часов вечера императрица возвращается с графиней Старэй в Женеву. Они гуляют по городу, никто ее не узнает. Вечером в „Бо-Риваже“ настроение у Елизаветы внезапно меняется. Почему-то и она, и графиня Старэй нервничают. Где-то вдали поет бродячий итальянский певец. Из окон гостиницы виден Монблан. Неприятно светится какой-то маяк. Если верить графине Старэй (почему же ей не верить?), императрица утром ей сказала: „Я не спала всю ночь... У меня, верно, будет какая-нибудь неприятность“. Стали спешно собираться в дорогу: назад в Ко. Слуги отправятся туда по железной дороге; они поедут на пароходе. Пароход „Женева“ отходит в 1 час 40.

Незадолго до отъезда императрица вспоминает, что обещала подарить одному детскому приюту фисгармонию. В Женеве на улице Бонивар есть хорошая старая фирма. Заходит в магазин, пробует инструмент, слушает „Кармен“ и „Тангейзера“. Хозяин, принимающий ее за англичанку, спрашивает, как назвать отправительницу. Она отвечает первое, что приходит в голову: „Эрцсебет Кирали“. Это по-венгерски значит: „королева Елизавета“. Но в Женеве по-венгерски не понимают — хозяин покупателяницы не узнал. Зато на улице ее узнал другой человек*: он медленно направляется вслед за нею.

Картина женевского убийства, конечно, памятна читателям. Расскажу о нем лишь в нескольких словах, отсылая за подробностями к работам Гильберта, Чюпика, Нольстона, Юсуфа-Феми (написавшего весьма странную книгу о Луккени) и, особенно, к газетам того времени. В течение нескольких дней газеты только об этом и говорили, несмотря на сенсации

*На следующий день все эти цветы лежали на ее окровавленном теле.

*„Фигаро“, 11 сентября 1898 года. В обвинительном акте это изложено не совсем так.

дела Дрейфуса (быть может, из-за убийства прошла незамеченной смерть Малларме, скончавшегося почти одновременно с Елизаветой). Кардуччи, д'Аннунцио написали поэмы, посвященные памяти императрицы.

Они вышли из гостиницы в 1 час 30. Пристань была в ста метрах, садиться в экипаж не стоило. Довольно далеко впереди шел лакей. Больше с ним никого не было. Вдруг почти на углу улицы Альпов, через дорогу перебежал какой-то человек и, низко наклонившись, ударил императрицу в грудь, как будто кулаком. Елизавета пошатнулась, упала, поднялась, не соображая, в чем дело. „Что такое? Ничего не понимаю“, — сказала она изумленно. Оторопела и графиня Старэй. Человек побежал по улице Альпов к скверу. Проезжавший извозчик соскочил с козел: „Мадам не ушиблась?“ Кто-то другой погнался за бежавшим человеком*. Стали останавливаться люди. Никто не подозревал, что это покушение; никто в мыслях не имел, что это австрийская императрица. Но происшествие и вообще было необычно для Женевы: ни с того, ни с сего ударили даму! „У меня немного болит грудь, — сказала Елизавета, — но смотрите, пароход отходит. Мы опоздаем!..“ Она быстро взопла на мостик. Пароход засвистел и отошел. „Кажется, я побледнела. Дайте мне руку“, — прошептала императрица и упала. Какая-то пассажирка испуганно подала ей склянку с одеколоном. „Благодарю вас... Что это? Что случилось?“ — еще успела выговорить Елизавета и потеряла сознание. Начиналась агония. Напильник[†] Лукке-ни пронзил ей сердце.

VIII.

Бург принял ее так, как полагалось. Вековой ритуал Габсбургов предусматривал все, предусмотрел и это. Поезд с телом императрицы встречала вся Вена — кроме императора. Впереди катафалка ехали

*Его схватили в сквере. Луккели был приговорен судом к пожизненному тюремному заключению. Он повесился в жевевской тюрьме через двенадцать лет после убийства, в октябре 1910 года.

[†]„Зазубренный напильник в 16,5 сантиметров длиной“ („Матэл“, 13 сентября 1898 года).

верхом „черные люди с зажженными факелами“, у вороных лошадей ноги были в „черных фетровых сапогах“, за катафалком шли телохранители в леопардовых шкурах. На гроб были положены четыре короны Елизаветы и три венка: от императора и двух ее дочерей. Франц Иосиф встретил гроб там, где полагалось: в вестибюле Бурга. „Лицо его дрогнуло, но он тотчас овладел собой...“ Быть может, вспомнил обед в Ишле и появление 16-летней девочки, которой тогда, почти полвека тому назад, он так неожиданно предложил показать своих лошадей...

Вблизи Бурга находится мрачная капуцинская церковь, вековая усыпальница Габсбургов. Рядом с гробницей кронпринца Рудольфа было уже готово место для его матери. Позднее была сделана надпись: „Elisabeth Amalia Eugenia, Imperatrix Austriae et Regina Hungariae. Nupta Francisco-Josepho I Imperatori. P.S.E.“. Гроб временно опустили в глубокое подземелье церкви. Все провожавшие Елизавету, Вильгельм II, короли, великие князья и эрцгерцогини, представители населения и организаций, остались наверху. Франц Иосиф один спустился за гробом в подземелье. Газеты говорили, что в женевском гробу по приказу из Вены было сделано стеклянное окно, дабы император мог в последний раз увидеть свою жену. Должно быть, это неправда.

Не знаю, оставила ли она завещание. Состояние императрицы было невелико. Замок „Ахиллейон“ и лайнцикий дворец, принадлежавшие ей лично, достались ее дочерям, как и собственные ее драгоценности. Это все были подарки Франца Иосифа. В два миллиона гульденов оценивалось ожерелье, которое он ей подарил после рождения кронпринца Рудольфа. Остальное принадлежало короне и вернулось в сокровищницу Габсбургов. У Елизаветы оказалось также собрание разных писем Гейне. Франц Иосиф отослал их престарелой сестре поэта, приложив письмо от себя и фотографию убитой императрицы.

Кронпринц Рудольф

I.

Австрийский престолонаследник принц Рудольф погиб трагической смертью 30 января 1889 года. За несколько месяцев до того, 15 июня 1888 года, скончался германский император Фридрих III. Много позднее было высказано мнение, что судьбы мира сложились бы совершенно иначе, если бы эти два человека прожили долго.

Гадания на тему „что было бы, если б...“ всегда произвольны и бесполезны. Думаю, однако, что приведенное выше мнение совершенно справедливо. Место красит человека так же, как человек место. Кронпринц Рудольф и император Фридрих были прекрасные, умные, просвещенные люди, с которыми совестно даже сравнивать большинство нынешних властителей Европы. А власть, которая должна была выпасть на их долю (Фридрих III, как известно, в сущности, и не царствовал: он занимал престол 99 дней, умирая от мучительной болезни), несомненно могла им дать в судьбах мира огромное значение.

Когда говорят о кронпринце Рудольфе, тотчас встает в памяти мейерлингская драма — *fait divers** очень красочный благодаря высокому общественному положению главного действующего лица и потому использованный даже кинематографом. В настоящей статье я, естественно, буду говорить и о мейерлингской драме. Но она может нас интересовать лишь в связи с той ролью, которую принц Рудольф играл в Австрии. Он до конца этой роли не сыграл: умер тридцати лет от роду. Тем не менее за всю тысячелетнюю историю габсбургской монархии ни один из членов царствовавшего дома не занимал столь своеобразного положения. Да и в какой еще другой стране

*Эпизод (*фр.*).

наследник престола писал политические статьи в оппозиционной газете!

Кронпринц Рудольф родился 21 августа 1858 года; он был, как известно, единственный сын императора Франца Иосифа. Надо ли говорить, что его появление на свет сопровождалось всевозможными торжествами. В газетах тех дней мне попадались указания на необыкновенную иллюминацию в Вене, на раздачу муниципалитетами больших сумм бедным и т.д. В колыбели новорожденному принцу, названному в честь основателя династии Рудольфом (разумеется, ему было дано еще много других имен), император пожаловал орден Золотого Руна на красной ленте: после смерти Франца Иосифа его старший сын должен был стать гроссмейстером этого знаменитого ордена или, точнее, одним из двух гроссмейстеров*. Кроме того, новорожденный был назначен „собственником и полковником 19-го пехотного полка“⁴ — такова была старинная, средневековая формула. Австрия едва ли не единственная из старых монархических стран, никогда не имевшая гвардии (были только отряды телохранителей императора и императрицы). Но иерархия полков существовала и там; 19-й пехотный считался одним из наиболее аристократических.

Роды императрицы Елизаветы были очень тяжелые, она вскоре по требованию врачей усхала из Австрии, воспитание наследника престола перешло к матери императора, эрцгерцогине Софии. Люди, знавшие эту принцессу, говорили, что по сравнению с ней сам Франц Иосиф мог считаться скептиком, вольнодумцем и нарушителем традиций. Однако происходившее под ее наблюдением воспитание Рудольфа дало результаты довольно неожиданные.

Учили юного эрцгерцога самым разным предметам: у него было пятьдесят учителей! Больше всего внимания уделялось истории, генеалогии и иностранным языкам. Кронпринц Рудольф совершенно свобод-

*Со времени войны за испанское наследство германские императоры и испанские короли спорили о том, кому должна принадлежать золотая цепь гроссмейстера Золотого Руна. Орден распался — мадридские кавалеры не считали „настоящими“ венских, а венские мадридских. Впрочем, и тех и других было в мире чрезвычайно мало.

⁴ „Журналь де Деба“, 25 августа 1858 года.

но владел не только главными европейскими языками, но и разными наречиями габсбургской державы. Такова была традиция династии: Франц Иосиф и Елизавета тоже прекрасно знали не менее десяти языков и между собой весьма часто говорили по-венгерски*. Их сын был, по-видимому, к языкам особенно способен. Вторым родным языком для него был французский; он обычно им пользовался в своем кругу и владел им, по словам французов², в полном совершенстве. Незадолго до своей кончины кронпринц в несколько месяцев изучил еще турецкий язык, — не знаю, зачем это ему понадобилось.

В числе его учителей были люди весьма известные. Так, естественные науки ему преподавал профессор Альфред Брэм, автор „Жизни животных“, столь когда-то любимой в России. Преподавателем политической экономии был профессор Карл Менгер, создатель „австрийской школы экономистов“, напротив, большой любовью у нас не пользовавшейся. Оба они позднее стали его друзьями. О необыкновенных способностях Рудольфа говорят все знавшие его люди. Все они отмечают и редкую личную обаятельность кронпринца. Разумеется, в его положении было много легче стать „обаятельным“, чем в положении человека обыкновенного. В Австрии Рудольфа боготворили, можно сказать, априори. Один хорошо знавший Вену французский журналист писал много лет тому назад: „Он был с детских лет идолом венцев. Когда они произносят слово „Руди“ — все исчерпано! И произносят они это слово так, точно во всей их империи есть вообще только один Рудольф...“

Император обращался с ним строго, как со всеми членами семьи, — это тоже было традицией. В ранней юности кронпринц Рудольф чрезвычайно любил отца и даже восхищался им. „Для сына нет большего счастья, как гордиться своим отцом“, — говорил он и впоследствии. Вероятно, и *стиль* императора вызывал эстетическое удовлетворение у этого человека, столь эстетически одаренного. Но взгляды молодого

*Известный венгерский писатель Мор Йокаи писал, что император и императрица говорят по-венгерски как коренные венгры.

²„Фигаро“, 31 января 1889 года.

принца создавались точно по закону отталкивания: ему нравилось все то, что не нравилось его отцу.

Очень чужды нам, казалось бы, во всем Бург, Габсбурги, их жизнь, их быт. И все-таки мы не можем отделаться от мысли, что история Франца Иосифа и Рудольфа — это та же старая обыкновенная драма „отцов и детей“, достаточно хорошо нам знакомая: каждый видел сходное вокруг себя, читал о сходном в книгах разных русских романистов, от Тургенева до Михайлова-Шеллера. В чем-то, очевидно, всех нас объединяет девятнадцатый век. Да и „проклятые вопросы“ у кронпринца Рудольфа были те же, что волновали русских молодых людей того времени и времени более позднего (впрочем, волновали не так уж мучительно, как принято говорить, — волновали, так сказать, в свободное время).

По-видимому, первое столкновение у отца с сыном произошло из-за письма, посланного кронпринцем Рудольфом его воспитателю, генералу де Латуру. В этом письме 15-летний эрцгерцог писал: „В голове у меня хаос, ум кипит и работает, одна мысль гонит другую. От разных людей слышу разное. Где же, в конце концов, правда? Кто мы: высшие существа или звери? А если звери, то приходим ли мы от обезьяны, или же люди всегда существовали наряду с обезьянами?“ Склонялся он к тому, что мы приходим от обезьяны, и делал те самые выводы, над которыми, кажется, насмешливо умилялся, имея в виду революционеров, Владимир Соловьев: человек, мол, произошел от обезьяны, а потому отдадим жизнь за человечество.

В зрелом возрасте у кронпринца Рудольфа было кое-что общее и с самим Вл. Соловьевым. Автор „Русской идеи“ хотел „предложить генералу Драгомирову стать во главе русской революции“: „Если во главе революции будут стоять генерал и архиерей, то за первым пойдут солдаты, а за вторым народ, и тогда революция неминуемо восторжествует!“ Враги приписывали кронпринцу Рудольфу приблизительно такие же замыслы и с ними связывали его кончину; роль генерала должна была, по их догадкам, достаться ему самому. Нет дыма без огня? Думаю, что этот дым был без огня, — ни о какой революции кронпринц Рудольф никогда не помышлял. Но в нем несомненно было

нечто от одной из довольно многочисленных *mentalités** Владимира Соловьева. „Смерть и Время царят на Земле, — Ты владыками их не зови. — Все, кружась, исчезает во мгле, — Неподвижно лишь солнце любви...“ — сын Франца Иосифа был бы, вероятно, потрясен этими стихами знаменитого философа.

В ранней же юности в голове у Рудольфа был в самом деле хаос. Я привел цитату из его письма к генералу Латуру именно для указания на сходство: наследника древнейшего престола Европы занимали приблизительно те же вопросы, что его современников, русских юношей, воспитывавшихся не в Бурге, а в бурсе. Письмо было не то показано Францу Иосифу самим генералом Латуром, не то перехвачено. Быть может, „обезьяна“ сама по себе еще не очень взволновала бы императора. Но далее в письме шло весьма резкое обличение католического духовенства, а заодно и аристократии. В заключение Рудольф писал: „Если я не ошибаюсь, дело монархии кончено. Это гигантская развалина. Она еще держится, но в конце концов рухнет. Пока народ слепо позволял собой управлять, все шло отлично. Однако эра эта кончена, люди освободились. Развалина упадет при первой буре“.

Впоследствии и сам Франц Иосиф пришел к мысли о неизбежной гибели своего престола. Но он пришел к ней не в пятнадцать лет, а в восемьдесят*. Вольнодумства же в области религиозной император не переносил никогда. Было произведено строжайшее расследование: кто внушает подобные мысли молодому принцу? Эрцгерцогиня София, в согласии с законами природы ненавидевшая свою невестку, говорила императору, что во всем виновата императрица Елизавета. Другие обвиняли воспитателя, профессоров. Чем кончилось расследование, я не знаю. Но с той поры Франц Иосиф называл своего сына: „Der Freidenker“ („свободомыслящий“).

*Идея (Фр.).

*Императрица Евгения в глубокой старости, вернувшись из Ишля, где она в последний раз видела Франца Иосифа, говорила Морису Палеологу: „Не рассказывайте другим того, что я вам скажу... Франц Иосиф убежден, что его монархия кончится вместе с ним.“ (Maurice Paléologue, *Les Entretiens de l'Impératrice Eugénie*. Paris, 1928.)

Все же практических выводов с ту пору кронпринц Рудольф из своего вольнодумства еще не делал. Первые практические выводы он стал делать года через два. Семнадцати лет от роду он объявил императору, что желает поступить в университет. Вероятно, если бы он сказал, что хочет стать клоуном, кронпринц не мог бы вызвать у императора большего изумления и большего негодования. Наследник габсбургского престола — студент Венского университета! Основатель династии, граф Рудольф, все древние Габсбурги — Гунтрамы, Радбольды, Канцелины, Альбрехты, „Мудрые“, „Безумные“, „Гордые“, „Благочестивые“, „Великодушные“, „Отцеубийцы“, „Богатые“, „Пустые Карманы“ — содрогнулись бы от ужаса в своих могилах!

Разумеется, просьба эрцгерцога была отклонена самым решительным образом. Для наследника австрийской короны могли быть только две „карьеры“: военная и морская. Если не ошибаюсь, император желал, чтобы его сын начал с изучения морского дела. Франц Иосиф был главнокомандующим австрийской армией, имел иностранные фельдмаршальские чины, был шефом многих полков, но по флоту он никаких чинов не принимал и адмиральского мундира никогда не носил. Объяснял это тем, что не желает быть смешным: „Я не получил морского образования и не мог бы командовать даже катером. Поэтому не хочу называть себя адмиралом“. Император желал, чтобы его наследник был в этом отношении подготовлен лучше. Кронпринц Рудольф моряком не стал, но военными науками занялся прилежно. Сам говорил позднее, что к ним да еще к охоте у него любовь врожденная, унаследованная от предков.

II.

В обществе кронпринц Рудольф стал появляться очень молодым человеком и, разумеется, имел огромный успех. Он был умен, красив, получил блестящее образование, прекрасно говорил — считался замечательным рассказчиком и *causeur** — а главное, он был единственный сын и престолонаследник императора. Это вполне успех обеспечивало.

*Собеседник (*фр.*).

На придворных церемониях он появлялся в костюме рыцаря Золотого Руна. Ордену было присвоено одеяние: красная бархатная мантия на белой атласной подкладке, красные чулки и башмаки, красная шапочка и символический золотой барашек на красной ленте, — этот оперный костюм соблазнял католических принцев (Франц Иосиф жаловал Золотое Руно только католикам). Кронпринц Рудольф, очевидно, не был смешон в рыцарском одеянии. „Его личное обаяние ни с чем не сравнимо“, — сообщает иностранка, французская княгиня. Что же было говорить о княгинях и некнягинях австрийских! По легенде, герцог Бургундский Филипп Добрый основал орден Золотого Руна, женившись на Изабелле Португальской: он избрал девизом „Aultre n'avray“ („другой иметь не буду“) и хотел засвидетельствовать, что будет так же верен жене, как были верны своему идеалу аргонавты. Герцог не вполне сдержал клятву: летописцы говорят, что у него были, притом одновременно, двадцать четыре любовницы. Приблизительно то же молва говорила о кронпринце Рудольфе — в Вене не было, кажется, ни одной красавицы, которой не приписывали бы с ним романа. Вероятно, все это очень преувеличено.

Недоброжелатели утверждали, что он много пил, и даже связывали с этим его трагическую смерть. Памфлетисты, как водится, писали о „тяжкой алкоголической наследственности“. Все это совершенная неправда. Никакого наследственного пристрастия к спиртным напиткам в роду Габсбургов не было. Франц Иосиф всю жизнь пил очень мало; на старости лет он отказался не только от крепких напитков, но даже от кофе, пил только чай. Его сын ценил все удовольствия жизни, в том числе шампанское и бургонское. В знаменитом венском ресторане Захера для него хранились особые вина лучших марок и годов. Отсюда, однако, до пьянства весьма далеко. Верно лишь то, что в первые годы юности эрцгерцог Рудольф жил весело, хоть и без каких бы то ни было излишеств.

Друзья у него были разные. Главным его другом в ту пору считался эрцгерцог Иоганн Непомук Сальватор. В течение нескольких лет они были почти нераз-

лучны. Большая семья Габсбургов состоит из нескольких ветвей, имевших между собой не так уж много общего. У них не было общего языка даже в буквальном смысле слова. Так, старая эрцгерцогиня Мария Антония, воспитывавшаяся в Италии, почти не владела немецким языком и разговаривала с другими членами династии не иначе как по-французски („на своеобразном, старинном французском языке“ — вспоминает один из эрцгерцогов). Эрцгерцог Иосиф, внук палатина венгерского, командир венгерского ландвера, совершенно мадьяризировался, жил вблизи Будапешта в своем имении Альчут и говорил только по-венгерски, да еще по-цыгански*.

Иоганн Сальватор жил в Вене или в своем замке Орт, на берегу Гмунденского озера. Он считался в габсбургской семье вождем недовольных. Судьбу этого человека должно признать весьма необычной. Он был, по-видимому, тоже очень одарен от природы. Писал книги и балеты, хорошо знал музыку, сочинял вальсы — правда, „в сотрудничестве с Иоганном Штраусом“; один из его вальсов приобрел даже всемирную известность. Главной его специальностью было, впрочем, военное дело; специалистам известны его военно-исторические труды. Большой карьеры он в армии не сделал. Франц Иосиф его недолюбливал за вольнодумство, за либерализм, за сочинение книг, балетов и вальсов. В 1887 году эрцгерцог Иоганн Сальватор подал в отставку — он занимал должность командующего одним из военных округов, — эта отставка была принята довольно охотно. А еще двумя годами позднее, по причинам, которые никогда в точности выяснены не были, эрцгерцог письменно заявил императору, что отказывается от титула и привилегий члена царствующей семьи, отказывается даже от фамилии Габсбург и просит разрешить ему впредь именоваться по названию его имения: Иоганн Орт — без всякого титула, даже без дворянской частицы!

Заявление это вызвало в мире сенсацию; в то время более важных сенсаций не было. Франц Иосиф

*По словам Вельфлинга, эрцгерцог Иосиф, которого в габсбургской семье называли „цыганским королем“, был единственным в мире человеком, знавшим в совершенстве цыганский язык. Он написал грамматику этого языка „Цыгане его боготворили“ („abgöttisch verehrten“. — Вельфлинг, стр. 75).

проявил ледяное равнодушие. Эрцгерцогу был дан ответ в том смысле, что отказ его от титула, привилегий и имени принимается к сведению: он может впредь называться как ему угодно, но должен тотчас покинуть Австрию; при этом было указано, что Иоганну Орту следовало бы отказаться и от австрийского подданства и принять, например, швейцарское гражданство. Это предложение Иоганн Сальватор отклонил: с большим достоинством довел до сведения императора, что австрийцем родился, австрийцем и умрет.

Захватив с собой не очень крупную сумму денег, оказавшуюся у него в наличности, он покинул родину, отправился в Англию и нанял какое-то большое судно: решил отправиться в Ла-Плату, искать там счастья. Последнее письмо от него помечено 10 июля 1890 года. С той поры о нем не было никаких заслуживающих доверия вестей, и больше никто в мире никогда не видел человека, называвшего себя Ортом. Участь его осталась неизвестной. Изредка, в летнее время, когда в редакционных портфелях нет ничего хорошего, и теперь еще иногда, наряду с сообщениями о небывалых морских чудовищах, в газетах появляются сведения, что кто-то где-то своими глазами видел Орта, что у него прекрасная ферма в Аргентине с образцовым молочным хозяйством, что он стал в Африке главой дикого воинственного племени, которое боготворит своего белолицего вождя. По всей вероятности, судно эрцгерцога потерпело крушение в первую же его поездку и бесследно пошло ко дну вместе с ним и со всем экипажем.

Поступок Иоганна Сальватора объясняли по-разному. Говорили о несчастной любви; говорили, что он страстно желал стать болгарским королем и был раздражен неудачей: его кандидатуры не выставили. Не проще ли было бы и не справедливее ли принять то объяснение, которое давал сам эрцгерцог? Ему смертельно надоели двор, дворцы, их быт, их жизнь, их тяжелый вековой этикет. Он хотел стать частным человеком, жить так, как живут миллионы других людей — по крайней мере людей, обеспеченных материально, — посещать кого угодно, принимать кого угодно, бывать в общественных местах без того, что-

бы на него показывали пальцем. Конечно, это была иллюзия: на „Иоганна Орта“ в обществе показывали бы пальцем еще гораздо больше, чем на эрцгерцога Иоганна Непомука Сальватора. Но подобное душевное настроение — отнюдь не редкость среди лиц коронованных или к ним близких. Ведь и Мария Антуанетта не только забавлялась своими мельницами и деревушками: в сельский домик ее тянуло естественно — из Версальского дворца. Возможно также, что эрцгерцога потрясла гибель его друга, кронпринца Рудольфа*, и то, что с ней было связано. Он о мейерлингской драме, вероятно, знал больше, чем мы.

Но в конце семидесятых годов еще было далеко и до гибели Рудольфа, и до ухода Иоганна Сальватора. Тесная дружба их началась с общего похода против спиритизма. Это было время таинственных стуков в дверь, столоверчения, развязывания узлов, время Юма, Бредифа, братьев Нетти и других медиумов, умных и полоумных, искренних и шарлатанов^в. Приблизительно тогда же в Петербурге Менделеев подал записку в Физическое общество: „Пришло время обратить внимание на распространение занятий спиритическими явлениями в семейных кружках и среди некоторых ученых“ („некоторые ученые“ — был другой знаменитый химик, А.М.Бутлеров, которого и без спиритизма недолюбливал создатель периодической системы элементов). Свирепствовал спиритизм и в высшем обществе Вены. Там был свой изумительнейший медиум, некий Бастиан. Эрцгерцог Рудольф и Иоганн Сальватор совместно повели против него кампанию и блестяще его разоблачили. Это были те же „Плоды просвещения“, только в придворной обстановке, — все это Иоганн Сальватор описал в своей брошюре „Einblicke in den Spiritismus“^д.

Император Франц Иосиф тоже был противником спиритских сеансов, хоть не очень углублялся в существо вопроса: спиритизм ему был, вероятно, просто

*Кронпринц Рудольф погиб 30 января 1889 года. Иоганн Сальватор стал Ортом 20 октября того же года.

^вКак известно, Паркер, один из знаменитейших медиумов, разбогател на сеансах, сам первый издевался над спиритами и спиритизмом.

^д„Взгляд на спиритизм“ (нем.).

противен, как автомобили, как телефоны, как все то, чего при его предках не существовало. Поэтому к походу молодых эрцгерцогов против спиритизма он отнесся довольно благожелательно. Гораздо меньше ему нравилось их сближение в области политической.

Будущий Иоганн Орт, по-видимому, имел большое влияние на эрцгерцога Рудольфа, который был на несколько лет его моложе. Иоганн Сальватор писал книги и статьи; стал писать книги и статьи также наследник престола. Один из австрийских историков говорит, что немецкая проза кронпринца может считаться образцовой в смысле чистоты и правильности. Недостаточно зная тонкости и оттенки немецкой речи, я об этом судить не могу. Но литературное или, по крайней мере, публицистическое дарование у Рудольфа несомненно было. Правда, в его статьях немного чувствуется шаблон немецкой политической печати: так до последних догитлеровских времен писались передовые в „Нойе ффрайе прессе“, в „Берлинер тагсблат“, в „Фоссише цайтунг“. Похвала небольшая: средний уровень публицистики у немцев (исключения, как Карл Краус, в счет не идут) был значительно ниже, чем у французов (они в этом отношении вне конкурса), чем у нас, чем у англичан, — говорю только о литературных достоинствах. Но некоторые письма Рудольфа превосходны. Очень недурна и его книга „Путешествие на Восток“*.

Эрцгерцог Иоганн Сальватор, как сказано, считался в Австрии вольнодумцем и либералом. Под его ли влиянием или самостоятельно стал „леветь“ и наследник престола. Мне придется далее говорить подробно о его политических взглядах и о сближении между ним и австрийской оппозицией. Здесь скажу лишь, что отношения с отцом у него становились все напряженнее, — впрочем, вначале не столько на политической, сколько на бытовой почве: слишком часты посещения Захера, слишком много шампанского, слишком много прекрасных дам. Средство в таких случаях применялось одно и то же во дворцах и в буржуазных семьях: надо женить молодого человека.

*Eine Orientreise beschrieben vom Kronprinzen Rudolf von Oesterreich, Wien 1884.

Император легко нашел для своего сына подходящую невесту: это была принцесса Стефания, дочь бельгийского короля Леопольда II. С точки зрения Габсбургов, престол был не Бог знает какой, но генеалогия очень хорошая: отец — древнего саксен-кобургского рода, мать — австрийская эрцгерцогиня. О короле Леопольде говорили, правда, разное в связи с торговыми операциями в Конго: „этот коронованный маклер“ („der königliche Makler“), — пишет о нем эрцгерцог Леопольд Фердинанд. Императрица Елизавета совершенно не переносила бельгийского короля. Кронпринц очень считался с ее мнением: боготворил ее и чуть только не писал о ней, как о своей матери Франциск I: „Notre très chère et très aimée dame et mère“*. Но воля императора решала у Габсбургов все. 22 лет от роду эрцгерцог Рудольф женился на принцессе Стефании.

III.

О жене кронпринца Рудольфа Стефании, по-видимому, ничего нельзя было сказать ни хорошего, ни дурного. И в самом деле, в Вене о ней говорили весьма мало даже тогда, когда ее считали будущей австрийской императрицей. После кончины наследника престола она вышла вторым браком замуж за графа Лониай, и тогда о ней совершенно перестали говорить: даже этот ее „мезальянс“ особенных толков не вызвал. „Лучше быть живой графиней, чем полупохороненной вдовой кронпринца“, — писал эрцгерцог Леопольд Фердинанд.

Брак Рудольфа, по общему отзыву, был несчастным. Однако письма его об этом не свидетельствуют: он отзывается о жене всегда в ласковом тоне. В первые годы после брака кронпринц совершенно остепенился. Он серьезно занялся военной службой. Император предложил ему выбрать в армии подходящий пост. К общему удивлению, Рудольф пожелал стать командиром второстепенного полка, *lungbunzlauerregiment* № 36, совершенно неаристократического (офи-

* „Наша глубокоуважаемая и горячо любимая госпожа и мать“ (ФР).

церы были все не дворяне) и вдобавок стоявшего в Праге, которая считалась городом чужим и скучноватым. Он стал командиром этого полка так, как в России в те времена молодые сыновья помещиков „уходили в народ“.

Служил он прекрасно и пользовался большой любовью в своем полку, гордившемся столь неожиданным командиром. Жил с женой тихо, у них в Праге образовалось некоторое подобие двора, но двор этот отличался простотою, и доступ туда было получить много легче, чем в Бург. Кронпринц иногда ездил в Вену или в свои замки, часто охотился с друзьями — он всю жизнь страстно любил охоту, — первую серну убил девяти лет от роду, в Африке охотился на разных диких зверей, вплоть до гиен, в охотничьем замке он, как известно, и погиб.

Однако его интересы не исчерпывались службой, двором и охотой. В начале восьмидесятых годов кронпринц решил принять более близкое участие в политической жизни — в тех пределах, в каких это было возможно для наследника престола. Еще несколько позднее он, по-видимому, пожелал и выйти из этих пределов. В 1882 году Рудольф обратился к профессору Менгеру, своему бывшему преподавателю политической экономии, с просьбой познакомить его с видными общественными деятелями, с людьми оппозиционного лагеря.

IV.

Профессор Менгер представил кронпринцу Морица Шепса, главного редактора левой газеты „Нойес винер тагеблат“ (позднее „Винер тагеблат“). О нем мне известно мало. Он был тогда еще нестарый человек, видный публицист, представлявший в Австрии направление, враждебное Берлину и стоявшее за дружбу с Парижем. Шепс, убежденный франкофил, имел в Париже немалые личные связи; его дочь вышла замуж за Поля Клемансо, брата „Отца Победы“. Как радикал и еврей, редактор „Нойес винер тагеблат“ особенной любовью в правых кругах не пользовался. Быть может, именно поэтому он тотчас внушил симпатию наследнику престола.

Между ними завязалась тесная дружба. Шепс постоянно бывал у кронпринца и в Бурге, и в Праге, и в замках. Когда они находились в разных городах, писали друг другу письма. Рудольф часто сообщал Шепсу о том, что происходило „в сферах“, — по ныне забытому, а когда-то популярному у нас выражению; иногда сообщал это для оглашения в печати, а иногда доверительно. Шепс строго следовал его указаниям и доверием кронпринца никогда не злоупотреблял. Сами письма эрцгерцога к редактору „Нойес винер тагеблат“ были опубликованы лишь недавно, в 1922 году, после смерти Шепса его сыном*. Первое письмо начинается с обращения „многоуважаемый“ — „Gehrter Herr“: несколько позднее кронпринц пишет: „дорогой господин Шепс“, а с апреля 1883 года — просто „дорогой Шепс“. Он постоянно передает привет от Стефании, которая, очевидно, тоже принимала запросто редактора газеты, поздравляет Шепса с радостными событиями в его семейной жизни, принимает такие же поздравления. Добрые отношения между ними продолжались до самой кончины Рудольфа.

В марте 1883 года пять молодых людей из аристократического общества Праги ночью, в пьяном виде, отправились в еврейский квартал города и выбили несколько окон в еврейских домах. Происшествие это прошло незамеченным. Кронпринц Рудольф, узнав о нем, пришел в бешенство и написал корреспонденцию в „Нойес винер тагеблат“. В препроводительном письме к Шепсу он пишет, что необходимо довести до сведения Австрии об этом поступке молодых людей „из так называемого высшего, но, видит Бог, не лучшего общества“:

„Когда несчастный деревенский батрак выбивает окна в еврейской лавке, газеты об этом трубят. Почему же у этих знатных... (тут в книге одно или несколько слов замснены точками) столь беззастенчивые подвиги должны сходить бесследно!“ Корреспонденция была напечатана в газете Шепса, разумеется, без имени автора: „Нам пишут из Праги...“

С той поры кронпринц стал изредка помещать статьи в „Нойес винер тагеблат“. Писал он иногда на

*Moritz Scheps, Kronprinz Rudolf. Politische Briefe an einen Freund (1882—1889), München 1922. В книге есть и факсимиле писем.

темы философские, отвлеченные или случайные. В одной из своих статей подробно описал, например, спиритический сеанс, на котором им и эрцгерцогом Иоганном Сальватором был разоблачен медиум-шарлатан Бастиан. Но чаще он касался вопросов внешней и внутренней политики. Статьи его естественно печатались без подписи, и участие его в левой газете держалось в величайшем секрете: Франца Иосифа, вероятно, разбил бы удар, если бы он узнал, что его сын пишет газетные статьи, да еще в „Нойес винер тагеблат“. О себе кронпринц, когда случалось, говорил в газете в третьем лице. Ни малейшей рекламы он себе не делал.

Из писем и статей Рудольфа можно вынести более или менее ясное представление о его политических взглядах. Думаю, что он был довольно близок по своим воззрениям к Карлу фон Штейну, особенно периода 1807—1808 годов*, с той разницей, что ни малейшей ненависти к Франции не чувствовал, напротив, всегда был франкофилом; в одном из своих последних писем к Шепсу он прямо так себя и называет: „Ich bin Franzcs Freund“ (письмо от 8 декабря 1888 года). Как Штейна, очень многое раздражало его в старой Австрии — от ее косности до обилия законов. Еще ведь Тацит говорил: „Plurimae leges, pessima respublica“ („Чем больше законов, тем хуже государство“).

Кронпринц Рудольф мечтал о могущественной либеральной империи, в которой были бы искоренены все пережитки и предрассудки феодального строя. В состав австрийского государства входили разные национальности. По мысли наследника престола, их должны были прочно объединять, с одной стороны, особа конституционного монарха, а с другой — армия. В своих письмах к Шепсу он не раз предупредит, что либеральная печать на армию нападать никак не должна и не имеет для этого основания: „В армии настроение великодержавное (grossös terreichisch), гражданское, либеральное, монархическое и проникнутое идеей мощной государственности. Не знаю, таково ли было настроение австрийской армии, но это было, несомненно, настроение самого кронпринца Ру-

*См. ценную книгу: Constantin de Grunwald, Stein, Paris 1936, S. 104—128.

дольфа. Он доказывал, что ни одна из многочисленных народностей габсбургской монархии не должна подвергаться угнетению. Решительно возражал и против антисемитизма во всех его формах. В 1883 году в венгерских деревнях происходили поджоги еврейских лавок, вызывавшие радость в крайних антисемитских кругах. Кронпринц напечатал статью, в которой говорил, что погромы начинаются с евреев, а кончаются неизвестно где: „Сегодня жертвой грабежа становятся евреи, а завтра будут грабить помещиков. Огонь очень терпим (tolérgant): он с такой же готовностью пожрет дома магнатов, как еврейские дома“.

Вероятно, он был по направлению все же несколько консервативнее, чем „Нойес винер тагеблат“. Но сам он думал не так и в 1884 году, по случаю 50-летия Шепса, посылая ему в подарок свою книгу, писал: „Мы с вами близки друг другу по мыслям и настроению; цели у нас одни и те же. Возможно, что наступят ненадолго худые времена; как будто начинаются реакция, фанатизм, огрубление нравов, возвращение к давно пройденному, — мы все же верим в великое и прекрасное будущее, в торжество тех принципов, которым мы служим: прогресс есть закон природы“ (письмо от 3 ноября 1884 года). Еще позднее он „поздравил“ своего друга с первой конфискацией его газеты (23 ноября 1886 года). А когда редактор „Нойес винер тагеблат“ по какому-то делу был судом приговорен к четырем неделям тюрьмы, кронпринц Рудольф обратился к нему со следующим письмом:

„Знаю ваш истинно австрийский патриотизм, ваши возвышенные мысли. Понимаю, что вас этот приговор огорчит больше как печальный симптом нынешнего состояния нашей страны, чем сам по себе: это жертва, которую вы принесли вашим убеждениям, и вы можете ею гордиться. В глазах всех честных патриотов, в глазах людей, борющихся за современную культуру, вы приобретаете ореол мученичества. Кто мог бы подумать десять лет тому назад, что Австрия дойдет до ее нынешнего состояния? И какие времена нам еще предстоят! Я все больше прихожу к мысли, что наступят дни мрачные и, быть может, кровавые...“

Милый наивный XIX век! „Мученичество“ Шепса заключалось в четырех неделях тюрьмы по судебной

му приговору. Что сказал бы кронпринц о событиях, свидетелями которых довелось быть нашему поколению!

Однако того, что называют прекраснодушием, в Рудольфе преувеличивать не надо. В суждениях по внешней политике он ни малейшей наивности не проявлял и порою высказывал мысли довольно пронизательные. Он обменивался с Шепсом информацией. С разрешения кронпринца, редакция „Нойес винер тагеблат“ иногда его сведениями пользовалась, и в министерствах горестно изумлялись: откуда эта проклятая газета знает вещи весьма сокровенные? Обмен был для Шепса выгоден. Молодой эрцгерцог был лучше осведомлен о положении в мире, чем редактор большой венской газеты. О России, например, Шепс посылал кронпринцу сведения фантастические, хоть делал это добросовестно, часто ссылаясь на столичную русскую печать и даже на статьи „Кисвлянина“. Мориц Шепс считался специалистом по внешней политике, — „эксперты — это люди, постоянно ошибающиеся, но не иначе, как по всем правилам науки“. Наследник австрийского престола, не будучи экспертом, часто встречался с коронованными особами, с Бисмарком, с министрами. Он пользовался, так сказать, первоисточниками.

Во взглядах же они с Шепсом и здесь сходились довольно близко. Как большинство австрийцев, по крайней мере того времени, Рудольф недолюбливал Берлин и ничего хорошего от Германии не ждал ни для Австрии, ни для Европы. Так, после вступления на престол Вильгельма II, с которым тогда многие связывали самые радужные надежды, кронпринц, хорошо знавший нового императора, писал, что этот человек навлечет на мир много бед. „Он энергичен, упрям и считает себя величайшим из гениев. Чего же вам еще! По истечении небольшого числа лет он доведет гогенцоллернскую Германию до того, чего она заслуживает...“

По-видимому, основная мысль кронпринца заключалась в необходимости союза либеральной, монархической, могущественной Австрии с Францией и Англией. Такой союз, по его мнению, мог обеспечить Европе мир и возможность нормального прогресса. Не

преувеличиваю значения и ценности этой мысли. Но от сравнения, например, с тем, что придумали в Версале три знаменитейших государственных деятеля мира и что в течение последних двадцати лет делали другие лица, благополучно продолжающие править Европой и по сей день, мысли молодого неопытного принца решительно ничего не теряют. Во всяком случае, вся эта переписка между левым журналистом и наследником древнейшего престола представляет собой случай, в истории невиданный.

V.

После революции 1918 года папка с документами, относящимися к смерти кронпринца Рудольфа, в венском государственном архиве найдена не была. О ее местонахождении есть лишь неопределенные слухи. Все лица, знавшие достоверно, как умер кронпринц, дали императору Францу Иосифу клятвенное обещание ничего никогда об этом не сообщать. Они свое обещание сдержали, и из них больше уже нет никого в живых. Поэтому в настоящее время о смерти Рудольфа можно лишь делать более или менее вероятные предположения.

Таких предположений было сделано немало. Как ни странно, до сих пор в весьма серьезных изданиях нередко высказывается мнение, что кронпринц Рудольф был *убит*, убит по политическим причинам. Но, каковы могли тут быть политические причины, понять очень трудно. По довольно распространенной версии, наследник престола „составил заговор“ или участвовал в каком-то заговоре, и убили его не то заговорщики, раздраженные его действиями, не то лица, против которых заговор был направлен.

Все это мало понятно и весьма мало вероятно. Кронпринц Рудольф был либерал, но революциям не сочувствовал и в чужих странах. В Австро-Венгрии императорская власть должна была ему, после кончины Франца Иосифа, достаться автоматически, в законном порядке. Следовательно, заговор для него мог бы сводиться только к отцеубийству. Но об этом даже и говорить странно при некотором знакомстве с лич-

ностью Рудольфа и с новейшей австрийской историей. Австрия конца XIX столетия нисколько на Турцию не походила. Бург не был сералем, там кандидаты на престол не душили и не закалывали императоров. Никакой заговор против Франца Иосифа ни малейших шансов на успех иметь не мог. Правда, кронпринц Рудольф был в стране чрезвычайно популярен, но не менее (хоть совершенно по-иному) был популярен и Франц Иосиф. Недовольство в Австрии направлялось только против министров. Да и независимо от этого самая мысль о дворцовом перевороте с царубийством или хотя бы с насильственным отстранением Франца Иосифа от престола показалась бы дикой в условиях австрийской жизни. В Вене не убивали и императоров любимых.

Разумеется, и сам кронпринц Рудольф менее всего годился для роли отцеубийцы. Вдобавок он любил отца. Верно, однако, то, что в последние годы жизни эрцгерцога отношения между ним и Францем Иосифом стали довольно холодными. Император не знал, что его сын сотрудничает в „Нойес винер тагеблат“. Но ему было известно, что вокруг кронпринца образовалась оппозиционная группа, весьма недовольная политикой правительства. Рудольф эту политику критиковал открыто.

Высказывались и другие предположения (в защиту одного из них не так давно была написана книга человеком, стоявшим в молодости весьма близко к кронпринцу). „Рудольфа убили иезуиты, считавшие его свободомыслящим...“ „Рудольфа убили агенты Бисмарка, опасавшегося, что на австрийский престол взойдет человек, ненавидящий Германию...“ „Козни иезуитов“ — это те же сионские протоколы. Ни иезуиты, ни Бисмарк не подсылали убийц даже к смертельным врагам.

Но и здесь верно, что враждебность к Германии у наследника австрийского престола все росла с годами. Тут могли иметь значение и личные причины. Детство Рудольфа прошло под впечатлением поражения при Садовой. Габсбурги всегда видели в Гогенцоллернах „парвеню“, последний по родовитости из всех царствующих домов Европы. По вступлении на престол Вильгельма II в Вену стали доходить слухи, что в

Берлине восторжествовали идеалы Моммзена: Гогенцоллерны на всегерманском престоле, Габсбурги, сведенные к роли одной из многочисленных немецких династий, вроде баварского или саксонского дома, перенос короны Карла Великого в Нюрнберг (осуществившегося варианта этого идеала не предвидели ни Моммзен, ни Вильгельм, который теперь, вероятно, читает в Дорне газеты с чувствами весьма смешанными).

Однако, кроме личных соображений и интересов, у кронпринца были, конечно, и другие мысли. Как я уже говорил, он думал, что Берлин грозит опасностью миру и культуре. В целях предупреждения этой опасности Рудольф стремился к союзу Австрии, Англии и Франции. Позднее он стал опасаться, что такая коалиция окажется недостаточно могущественной для противодействия Германии, если Берлин окажется в союзе с Петербургом. Поэтому в последние годы жизни он стал обсуждать план привлечения России к противогерманской коалиции. Если не ошибаюсь, на этой почве у него произошло за границей весьма резкое столкновение с одним из русских великих князей, чуть было не повлекшее за собой дуэли (об этом есть глухое указание в воспоминаниях Гранта). О сближении с Россией кронпринц Рудольф несомненно говорил с одним из своих ближайших друзей, принцем Уэльским, впоследствии королем Эдуардом VII, который так много способствовал осуществлению этого плана — без Австрии.

В Вене было известно, что наследник престола стоит за великодержавную политику и лелеет грандиозные планы, веря в будущее габсбургского дома. Рудольф любил повторять слова Наполеона: „Я Франции нужнее, чем Франция мне“ — и относил эти слова к Габсбургам: „Мы нужнее Европе, чем Европа нам“. Не берусь сказать, оправдалось ли его суждение. „Европа“ свергла Габсбургов, но в самом деле выиграла от этого что-то не очень много. Как бы то ни было, не только в отдельных кабинетах Захера, но и на больших собраниях австрийских офицеров не раз поднимались тосты в честь Рудольфа, „будущего императора Германии“.

Бисмарк, конечно, об этом хорошо знал, как и о мыслях и планах австрийского престолонаследника вообще: германская агентура в Вене была поставлена хорошо. Но большого значения этим планам он не придавал: считал кронпринца поэтом, фантазером, эпикурейцем и прожигателем жизни, занимающимся политикой по-дилетантски, между любовными победами и кутежами у Захера. Может быть, в этом канцлер и не так уж сильно ошибался. Личные отношения у них были очень хорошие. „Бисмарк самый очаровательный человек Европы, когда он хочет таким быть. Но в политике это ярчайший представитель взгляда: человек человеку волк“, — говорил Рудольф. Канцлер же, когда к нему приезжали люди из Вены, с улыбкой спрашивался о новых романах кронпринца: кто она? какой национальности? куда он с ней поскакал? „Ваш Рудольф, — сказал однажды Бисмарк, — напоминает мне одного русского барина, которого я знал в Петербурге (назвал известную русскую княжескую фамилию). Он был несметно богат и жил в свое удовольствие, все разъезжая по Европе. У него чуть не в каждом европейском городе был свой дворец, и было их так много, что князь сам больше не помнил, где у него есть дворец, где нет. Поэтому, приезжая в новую столицу, он первым делом поручал секретарю-немцу навести справку. Секретарь радостно приносил добрую весть: есть: — „Cette maison est à fous, Monzeigneur!“* Тогда князь облегченно вздыхал и говорил: „Donc entr-rons, mangeons un mor-gseau, buvons une bouteille, pr-reons une femme et par-rtons en R-russie“#.

Молва преувеличивала, должно быть, увлечения и развлечения Рудольфа. Молве помогала жена его, отличавшаяся крайней ревностью. Их спокойная семейная жизнь продолжалась недолго. Добрые люди, как водится, заботились о том, чтобы кронпринцессе Стеффании „все“ становилось тотчас известным, — вероятно, ко „всему“ немало и присочинялось.

* „Господин, этот дом к вашим услугам“ (*фр.*). Измененная орфография передает немецкий акцент. — *Прим. ред.*

„Ну так зайдем, перекусим, разопьем бутылочку, переспим с женщиной и отправимся в Россию“ (*фр.*).

Жизнь Рудольфа стала тяжелой: вечные ссоры с женой, разлад с отцом, сложные политические интриги, крайнее раздражение против министров Франца Иосифа, — в особенно мрачные минуты он их называл „la gacaille“*. Вдобавок у него не хватало денег, — „douleur non rageille“[†], — говорит французский классик. Наследник престола жил очень расточительно и оставил после себя долгов и неоплаченных счетов на сумму, составляющую около девяноста миллионов нынешних франков. Кронпринц Рудольф кое в чем напоминал шекспировского принца Гарри. Но ему не пришлось сказать: „Not Amurath an Amurath succeeds, — But Harry Harry...“[‡] В последние годы жизни этот даровитый человек начинал считать себя неудачником: мыслей и планов сколько угодно, дело же сводится к парадам, представительству и критике политики отца, который на его критику не обращал никакого внимания. Все это вместе, по-видимому, составило благоприятную основу для острой неврастности. Может быть, случилось и что-либо еще — мы знаем далеко не все. Но я не сомневаюсь, что причина самоубийства Рудольфа была не только в несчастном любовном романе с Марией Вечера. Таких романов у него было достаточно и в прошлом. Он в 1888 году был готов для faits divers. — Fait divers[§] и произошел.

VI.

Тут начинается кинематографический сценарий, и, как в добром кинематографическом сценарии, появляется „вамп“, „роковая женщина“ графиня Мария Ларипи. Разница с экраном в том, что на экране обычно объясняется, чем руководится роковая женщина. Здесь же это до конца остается непонятным (по крайней мере, мне).

* „Слолочь“ (фр.).

† „Ни с чем не сравнимая боль“ (фр.).

‡ Часть цитаты „Мы при дворе английском, не турецком Не Амурату Амурат, по Генрих здесь Генриху наследует“ (англ.). — У. Шекспир, „Король Генрих Четвертый“, ч. II, пер. Э.А. Венгеровой и Н.М. Милского. — Прим. ред.

§ В данном случае игра смысла. Faits divers — хролика и fait divers — эпизод, происшествие (фр.). — Прим. ред.

В 1859 году герцог Людвиг Баварский, брат императрицы Елизаветы, женился морганатическим браком на артистке-красавице Генриетте Мендель. Жена герцога получила титул баронессы фон Вальдерзее. Имя это перешло к их единственной дочери Марии. Она, следовательно, приходилась двоюродной сестрой кронпринцу Рудольфу. Императрица Елизавета либо полюбила племянницу, либо желала лишний раз выразить пренебрежение к условностям, — не все ли равно, „настоящий“ ли брак или морганатический! — она приблизила девочку к себе, всячески ей покровительствовала и чуть только не воспитывала ее со своими детьми. Мария фон Вальдерзее была хороша собой. Сватался к ней граф Герберт Бисмарк, сын канцлера, но получил отказ. Так, по крайней мере, рассказывает она в своих воспоминаниях*, в которых правды, по-видимому, не очень много. Позднее императрица выдала ее замуж за офицера из знатной австрийской семьи, графа Георгия Лариша.

Благодаря покровительству императрицы „роковая женщина“ с ранних лет и до кончины Рудольфа была принята в самом высшем обществе Вены, Парижа, Лондона. Она сообщает, например, что на обеде в австрийском посольстве в Англии ей отвели наиболее почетное место, рядом с первым министром Дизраэли (который, по ее словам, говорил исключительно о своих книгах — как известно, он писал романы). В Вене графиня постоянно посещала Бург. Кронпринца Рудольфа она знала с детских лет и, по собственным ее словам, всегда очень его не любила. В своих воспоминаниях она его изобразила холодным себялюбцем и циником.

После кончины кронпринца графиня Лариш по приказу императора покинула Австро-Венгрию. Она поселилась в Соединенных Штатах, вышла вторым браком замуж за оперного певца Брука; затем третьим браком за кого-то еще. Если не ошибаюсь, она жила в большой нужде и не так давно умерла. Сын ее застрелился, „узнав о роли своей матери в мейерлингской драме“. Но, правду сказать, самую роль эту понять довольно трудно. Все лишь сходятся на том, что

*Contess Larisch My past, London 1913.

эта женщина была „злым гением“ кронпринца Рудольфа.

Обвинения против „роковой женщины“, графини Лариш, рожденной Вальдерзее, сводились в основном к тому, что она „покровительствовала“ так трагически закончившемуся роману кронпринца Рудольфа с Марией Вечера. Но почему, собственно, она занималась этим делом „покровительства“, имеющим и менее благозвучное название, понять очень трудно.

Фельдмаршал-лейтенант Латур, бывший в свое время воспитателем Рудольфа, вскользь говорит, что графиня Лариш была сама в ранней молодости влюблена в кронпринца и надеялась выйти за него замуж. Когда наследник престола женился на бельгийской принцессе, графиня из ревности „сделала все, чтобы разбить их союз, и тотчас нашла в нем слабое место“. Таким образом, действиям графини дается хоть какое-нибудь объяснение; однако в психологическом отношении это объяснение нельзя назвать удачным. Рудольф к своей жене всегда относился равнодушно. Напротив, Марией Вечера он был страстно увлечен. Следовательно, роковая графиня из ревности мстила женщине, которую Рудольф не любил, и сводила его с женщиной, которую он любил. Это совершенно непонятно.

К тому же графиня Лариш никак не могла рассчитывать стать женой наследника австрийского престола. Ее мать была артистка Генриетта Мендель — дочь лакея великого герцога Гессенского. Император Франц Иосиф, вероятно, скорее провозгласил бы Австрию социалистической республикой, чем согласился бы на брак кронпринца с внучкой лакея. Графиня Лариш, выросшая при дворе, не могла, разумеется, этого не знать.

После смерти Рудольфа было установлено, что он давал графине деньги. Это тоже могло бы быть объяснением; но уж очень небольшие назывались суммы: „несколько раз от 500 до 3000 гульденов“. Едва ли „роковая женщина“ могла тогда в таких деньгах нуждаться. Сама она не отрицала получения денег от Рудольфа, но уверяла, что все отдавала баронессе Вечера! Графиня Лариш была фантазеркой и с истиной вообще не церемонилась. Во второй и последней

своей книге „Секреты королевского дома“ (в значительной степени опровергающей первую: „Мое проплюе“) она без особых церемоний рассказала и о том, что австрийский двор, узнав о ее намерении издать мемуары с „разоблачениями“, откупил у нее рукопись; деньги она взяла, но мемуары все-таки издала, так как „се не защитили от клеветы“. Воспоминания графини и по происхождению, и по содержанию относятся к очень определенному разряду тайн мадридского двора. Сама она объявила себя мученицей какого-то непонятого политического заговора. Сообщая в своей книге, что императрица Елизавета хотела выдать ее замуж за герцога Норфолькского, которому принадлежало ожерелье Марии Стюарт, графиня добавляет: „Вместо ожерелья шотландской королевы на мою долю выпал терновый венец...“

Сделка с воспоминаниями состоялась, однако, много позднее. В ту пору, в конце восьмидесятых годов прошлого века, графиня Мария Лариш еще была, по словам одного ее современника, украшением венского общества, „eine Zierde der Wiener Gesellschaft“, и едва ли могла нуждаться в незначительных денежных суммах. Повторяю, мне совершенно непонятно, по каким именно побуждениям она действовала. „У тебя душа, пропитанная мюнхенским пивом!“ („Deine Münchener Bierseele“) — как-то сказала графине Лариш императрица Елизавета, раздраженная тем, что ее племянница стала подтрунивать над Генрихом Гейне. Со всем тем, вполне возможно, что „роковая женщина“ действовала не вследствие демонического характера и даже не по злобе, а по легкомыслию, по природной и благоприобретенной склонности к интригам или просто „для смеха“. Быть может, по таким же побуждениям действовали авторы анонимных писем, повлекших за собой гибель Пушкина. Роль плана, умысла, даже сознания вообще чрезвычайно преувеличивается в человеческих действиях, особенно в скверных.

Другая, главная героиня мейерлингской драмы была неизмеримо привлекательнее графини Лариш. Она как бы подобрана автором кинематографического сценария для контраста с „роковой женщиной“. На ее давно забытой могиле в Гейлигенкрейце выгравиро-

вана надпись: „Здесь лежит Мэри, баронесса фон Вечера, родившаяся 19 марта 1871 года, скончавшаяся 30 января 1889 года. — „Как цветок, выходит человек и вянет“. Книга Иова, XIV, 2...“

VII.

Роман Поля Бурже, или Мирбо, пьеса Бернштейна („Première manière“*), или Фран де Круассе. Герой (разумеется, отрицательный): „международный финансист“, „акула“, „коршун“, „хищник“, неопределенной национальности, неясного происхождения, обычно барон (уж такой специальный титул для финансистов), ворушающий огромными деньгами, хорошо еще, если не правящий миром. Наряду с ним: потомки древних родов, слабовольные, бесхарактерные, бестолковые, тоже отрицательные, но не без легкого величия, оставшегося от предков-крестоносцев. Все это, конечно, встречается — хоть в жизни встречается много реже, чем в литературе. Однако международные финансисты бывают всякие; иные будто созданы жизнью назло литературному штампу.

Отец Марии Вечера, венгр румынского происхождения, барон, без предков-крестоносцев, долго служил драгоманом в Константинополе. Мать, рожденная Бальтаци, была дочерью грека, уроженца острова Хиоса. Отец этого грека был банкиром в Смирне и перешел в австрийское подданство. Сам грек поселился в Париже и вошел в высшие французские банковые круги. Все это типичные признаки международной семьи, с акулой во главе — по формуляру, лучших „épergiers“[#] и лучших „banquiers levantins“[^], можно сказать, не бывает. В действительности, это были весьма безобидные, бестолковые, беспомощные люди, от которых рукой подать до персонажей Чехова.

Жили они в конце восьмидесятых годов в Вене потому, что надо же было где-нибудь жить. Габсбургская столица подходила таким людям, пожалуй, еще лучше, чем Париж. Сам барон Вечера, впрочем, жил в

* „Первый способ“ (фр.).

„Ястребы“ (фр.).

^ „Восточные банкиры“ (фр.).

Каире, где оказался австрийским делегатом в комиссии Оттоманского долга. Он умер года за полтора до мейерлинговской драмы. Баронесса, бывшая в разводе с мужем, поселилась с дочерьми, сыновьями и братьями в Австрии. Это была легкомысленная, очень добрая женщина, страстно любившая детей, ничего для них и для себя не жалевшая, весьма беззаботно проживавшая последние крохи состояния, которое никогда особенно крупным не было: „международная“ Любовь Андреевна Раневская, с Пратером вместо Вишневого сада, в обстановке светской Вены, почти (однако не совсем) примыкавшей к придворному обществу.

Жили они роскошно, снимали в столице большой дом („Вечера-Паласт“), и у них кормился не один потомок крестоносцев, причем никаких злых умыслов а-ла-Мирбо они против графов и князей не питали — просто были очень хлебосольны и гостеприимны. Братья Бальтацци имели репутацию спортсменов, владели скаковыми конюшнями; один из них выиграл однажды дерби, — это в спортивном кругу означает гораздо больше, чем, например, Нобелевская премия среди писателей и ученых. Вероятно, в самом высшем венском обществе к ним относились не без иронии, — чего стоили хотя бы их греческо-тройские имена: одного брата звали Аристид, другого Гектор; не хватало только Агамемнона. Но знали их все; семья Бальтацци-Вечера была известна даже императору и императрице, хоть в Бурге они приняты не были. По-видимому, состояния, оставленного смирнским банкиром, могло хватить еще на год или на два: „Возьмите, вот вам... Серебра нет... Все равно, вот вам золотой...“ Разумеется, при этих Раневских и Гасвых международной Вены состояли всевозможные и всевозможные* Вари, Яши, Фирсы, Епиходовы, Шарлотты Ивановны и Симеоновы-Пищики всех национальностей, даже австрийской. Так, была у них „старая преданная служанка“ Агнесса — лучше всякого Фирса.

Две дочери баронессы были очень милые барышни, тоже вполне из русской литературы. Мария Вечера была немного Наташа Ростова, немного тургенев-

*В соответствии со старой русской орфографией одно из этих слов мужского, другое — женского рода. — *Прим. ред.*

ская Елена и даже немного „мы увидим все небо в алмазах...“. Она отличалась необыкновенной красотой. Где-то на курорте ее заметил сам принц Уэльский, будущий король Эдуард VII, ценитель, как известно, компетентный, и спросил, кто такая эта красавица. Люди, ее знавшие, говорили, что она то бывала без причины и без меры весела, „bis zur Frivolität“, то плакала целыми днями, жалуясь, что жизнь уходит, что она старится и нет никого! Ей было семнадцать лет.

VIII.

Воснятая карьера кронпринца Рудольфа подвигалась с достаточной быстротой. В 1882 году, 24 лет от роду, он получил чины фельдмаршала и вице-адмирала, был назначен командующим 25-й дивизией, стоявшей в Вене. По-видимому, „народнические“ настроения у него несколько ослабели, а настроения эпикурейские снова усилились. Если верна хоть половина слухов, ходивших о кутежах и увлечениях кронпринца, то и тогда нужно было бы признать, что вел он в свои последние годы жизнь весьма бурную. Назывались два серьезных его романа, один со знатной русской дамой, другой с венской манекеншей, „die fische Probirmamseil“*, которой он будто бы в минуту подавленного настроения предложил совместное самоубийство! Эгон фон Веллерсгаузен, по-видимому хорошо осведомленный в этих делах Рудольфа, упоминает еще о каких-то двух австрийских княгинях. К службе эрцгерцога охладел, зато охоте уделял очень много времени

Обычными его товарищами по развлечениям состояли принц Кобургский и граф Гойос, насколько могу судить, люди типа толстовского Анатоля Курагина. В довершение сходства был у них ямщик Братфиш, весьма напомилавший, по описаниям, Балагу „Войны и мира“: „Балага был известный тресочный ямщик, уже лет шесть знавший Долохова и Анатоля и служивший им своими тройками... Не раз он по

* „Элегантная пробирмамзель“ (нем.).

городу катал их с цыганами и „дамочками“, как называл Балага. Не одну лошадь он загнал под ними, не раз напаивали они его шампанским и мадерой, и не одну штуку он знал за каждым из них, которая обыкновенному человеку давно заслужила бы Сибирь. В кутежах своих они часто зазывали Балагу, заставляли его пить и плясать у цыган, и не одна тысяча их денег перешла через его руки. Служа им, он двадцать раз в году рисковал и своей жизнью, и своей шкурой, и на их работе переморил больше лошадей, чем они ему переплатили денег. Но он любил их, любил эту безумную езду... „Настоящие господа!“ — думал он. Анатолий и Долохов тоже любили Балагу за его мастерство езды и за то, что он любил то же, что и они“. С очень небольшой поправкой на эпоху и нравы это, по-видимому, вполне может быть отнесено к обществу Рудольфа и к Братфишу, — только он у цыган не плясал, а свистел: славился на всю Вену этим своим искусством.

Вблизи столицы, в мрачно-величественной части так называемого Венского леса, продавался тогда охотничий замок Мейерлинг, принадлежавший графам Лейнинген-Вестербург. Это небольшое здание с башней, тоже довольно зловещего вида. Кронпринц Рудольф приобрел Мейерлинг в 1886 году, и служил ему замок не только для охоты. Там постоянно бывало очень веселое общество, и „шампанское лилось рекой“. В замке было шесть человек прислуги: камердинер кронпринца Лошек, егерь Водика, ламповщик, уборщик, кухарка и ее помощница. Не знаю, что теперь в Мейерлинге. В последние годы перед войной там был кармелитский монастырь. Если не ошибаюсь, Франц Иосиф после разыгравшейся в замке трагедии подарил его ордену обсервантов, то есть босоногих кармелитов, живущих по несмягченному уставу Гонория III и проводящих большую часть дня в молчании. Это поистине замок из гауптмановской „Эльги“.

IX.

Кронпринц Рудольф познакомился с Марией Вечера в 1887 году на так называемом польском балу в Вене. Ему ее представила графиня Лариш. По-види-

тому, он еще раньше обратил внимание на 17-летнюю красавицу — не то на скачках, не то в театре. Едва ли не все австрийские барышни были влюблены в Рудольфа — большей частью заочно, по фотографиям или понаслышке. Мария Вечера тоже была в него влюблена еще до знакомства — по крайней мере, говорила она о нем всегда восторженно. Знакомство произвело *coup de foudre** — это в значительной степени предопределялось обстановкой: титулом, блеском, замками, балами, поклонением двору.

При некоторой недобросовестности можно было бы очень подробно рассказать историю „любви Рудольфа и Марии“, все со ссылками на печатные источники: существует несколько книг, оставленных мемуаристами того времени. К сожалению, их порою изумительная осведомленность немного напоминает сообщения тех западноевропейских журналистов, которым к моменту составления статьи с совершенной точностью известно все, что накануне вечером Гитлер сказал по секрету Герингу, а Сталин — Ворошилову.

Судебные власти, конечно, могли бы в 1889 году установить очень многое. Но гласное расследование мейерлингской драмы было запрещено, а документы расследования негласного исчезли: император Франц Иосиф отдал их в вечное хранение австрийскому министру-президенту, своему другу детства графу Таафе; есть основания думать, что эти документы много позднее, лет двенадцать тому назад, сгорели при пожаре Эллишатцкого замка графа. Кое-что осталось в архиве императрицы Елизаветы, — он, по некоторым сведениям, будет опубликован в 1950 году.

Есть, кроме того, два тома воспоминаний графини Лариш, которая, по своей роли „покровительницы романа“, несомненно могла кое-что знать. Однако и этот источник особенного доверия вызывать не должен; в нем вдобавок много противоречий. Скажу, наконец, что и вопрос не так уж интересен. Ничего необыкновенного в „любви Рудольфа и Марии“ не было. Упомяну лишь (с указанными выше оговорками) о том, что может быть, интересно для выяснения характеров действующих лиц.

*Подобно удару молнии (*фр.*).

После первого знакомства с Рудольфом Мария Вечера написала ему восторженное письмо, по-видимому более или менее близкое по содержанию к письму Татьяны. Кронпринц поступил не как Онегин. Начались встречи, сначала при верховых прогулках на Пратере, потом в других местах. Была добрая графиня Лариш. Была „верная служанка“ Агнесса, которая, из преданности своей юной хозяйке, сопровождала ее на свидания и относила письма. Был ямщик Братфиш. Были дворцы Габсбургов, в том числе „увеселительный замок“ („Lustschloss“) Лаксембург, принадлежавший кронпринцу Рудольфу, — в этом родовом увеселительном замке, по несколько преувеличенному замечанию одного мемуариста, „никто не улыбнулся ни разу со времен Марии Терезии“. Был, наконец, Мейерлинг. Мария Вечера посещала этот замок и до 30 января 1889 года, — так в „Идиоте“ задолго до убийства Настасьи Филипповны показывается, почти как символическое видение, будущее место происшествия — „дом потомственного почетного гражданина Рогожина“.

Впрочем, ничего от Достоевского в начале этого романа не было. Он скоро перешел в связь. У кронпринца Рудольфа после его кончины найден был подаренный ему Марией Вечера портсигар с выгравированной надписью: „В знак благодарности своей счастливой судьбе“ и с датой — это не была дата их первой встречи.

По-видимому, они вначале думали, что об их близости не знает ни один человек в мире, кроме, разве, доброй графини Лариш. Разумеется, знала чуть не с первых дней вся Вена. Обвинять в этом добрую графиню нет основания: кронпринц всегда находился под охраной полиции, которая следила за каждым его шагом. О его встречах знали и слуги. Кронпринц доводил неосторожность до того, что принимал Марию Вечера в Бурге — камердинер встречал ее на улице и „в совершенном секрете“ впускал через „потайную дверь“, — у „потасной“ двери Бурга, вероятно, всегда дежурили сыщики, а может быть, и толпа зевак.

Говорили (позднее и писали), что баронесса Вечера тоже знала о связи своей дочери с наследником престола: „Она надеялась на морганатический брак или,

в крайнем случае, на миллионы". Это довольно обычная в подобных случаях клевета: нет ни малейших оснований думать, что баронесса рассчитывала разбогатеть на этом деле. Что до морганатического брака, то предварительно кронпринц должен был бы развестись со своей женой. Разумеется, никаких расчетов тут строить было нельзя — даже если бы баронесса Вечера и была способна на подобные планы (это весьма мало вероятно). С другой стороны, трудно предположить, чтобы при существовании на свете многочисленных добрых людей до матери не доходило никаких слухов о поведении дочери. Вероятно, баронесса Вечера, женщина легкомысленная и по природе оптимистически настроенная, не верила: неправда, быть не может! Мэри просто влюблена в наследника престола, как влюблены в него тысячи других девочек.

О кронпринцессе же добрые люди позаботились тотчас. Ей „раскрыли глаза“. Благодаря ей раскрылись глаза, можно сказать, у всей Европы.

20 июня 1887 года Англия торжественно праздновала пятидесятилетие царствования королевы Виктории. Франца Иосифа должны были в Лондоне на юбилейных церемониях представлять кронпринц и кронпринцесса. Добрые люди довели до сведения принцессы Стефании, что на это время в Лондон выезжает и Мария Вечера. Жена наследника престола объявила, что в таком случае она на юбилейные торжества не поедет. Рудольф отправился в Лондон без нее. Предлоги были найдены самые благовидные, однако причины отказа кронпринцессы от поездки на торжества тотчас стали известны английскому двору. Друг Рудольфа принц Уэльский чрезвычайно веселился по тому случаю, что у Австро-Венгрии на юбилейных торжествах оказалась, так сказать, частная делегатка, — вдобавок, столь прелестная. Но добродетельная королева Виктория припла в негодование, усмотрев в поступке австрийского гостя нарушение элементарных приличий и вдобавок неуважение к ней самой. Так, по крайней мере, рассказывают осведомленные мемуаристы, и тут ничего неправдоподобного нет.

Должно быть, с той поры о связи наследника престола стало известно императору Францу Иосифу. Он

вначале принял сообщение довольно равнодушно: экая невидаль. Позднее его встревожили слухи о серьезности увлечения его сына.

Делаю снова оговорку — очень трудно судить обо всем этом: ни документов, ни писем у нас нет. По-видимому, со стороны Марии Вечера была отчаянная, восторженная любовь, любовь, готовая на все, любовь восемнадцатилетней девушки к человеку, воплощающему все земные достоинства и все земное величие. В знаменитой сцене тургеневского „Накануне“, над которой проливалось слезы несколько поколений русских барышень (проливают ли нынешние, советские?), „Елена не плакала, она твердила только: „О, мой друг, о мой брат!“ — „Так ты пойдешь за мною всюду?“ — „Всюду, на край земли. Где ты будешь, там я буду“. — „И ты себя не обманываешь, ты знаешь, что родители твои никогда не согласятся на наш брак?“ — „Я себя не обманываю; я это знаю“. — „Ты знаешь, что я беден, почти нищий?“ — „Знаю...“ — „Так здравствуй же, — сказал он ей, — моя жена перед людьми и перед Богом!..“

У Тургенева тут начинается следующая глава: „Час спустя Елена со шляпою в одной руке, с мантильей в другой тихо входила в гостиную дачи...“ Вероятно, то же самое происходило где-то в Вене — или в Мейсерлинге? — в день, выгравированный на портсигаре Рудольфа; возможно, что и слова были почти те же самые, разумеется, с поправкой: „Ты знаешь, что родители *мои* никогда не согласятся на наш брак?“ — „Я себя не обманываю; я это знаю...“ — „Моя жена перед людьми и перед Богом!“ Рудольф был женат, но это препятствие ему непреодолимым не представлялось. Через некоторое время он обратился к Льву XIII с личным письмом, в котором умолял папу о расторжении его брака с принцессой Стефанией.

В его душе разобраться труднее, чем в душе Марии Вечера. Ему было не восемнадцать лет, а тридцать, и это, верно, было сотовое, если не трехсотовое, его увлечение. Рудольф давно привык к подобным победам, давно привык к тому, что все женщины „вешаются ему на шею“, — сам это говорил. Если верить мемуаристам, у него была тогда в Вене еще другая связь. Мемуаристам верить, однако, не обязательно. Письмо

же кронпринца к папе есть факт бесспорный. Развод мог быть нужен этому покорителю сердец только для женитьбы на Марии Вечера.

Стало ли известно Льву XIII, для чего наследник австрийского престола добивается расторжения брака? Текст письма Рудольфа до сих пор не опубликован. Если кронпринц правды и не сообщал, догадаться было не так трудно, — престарелый Лев XIII достаточно хорошо знал жизнь. Он не ответил на письмо. Быть может, не успел ответить, а вернее, хотел предварительно снестись с Францем Иосифом. Историки кратко сообщают, что о намерении своего сына император узнал от папы. Однако письма об этом Льва XIII, насколько мне известно, в архиве Бурга после революции найдено не было (архивной работы Митиса я, к сожалению, достать не мог).

Тут мы ненадолго выходим из области мемуаров. Можно считать с точностью установленным, что Франц Иосиф потребовал от сына расторжения связи. Приблизительно известна даже дата их бурного разговора. Больше неизвестно ничего. В разных воспоминаниях подробно излагается самый разговор: отец грозил будто бы сыну лишением престола, прекращением выплаты полагавшегося ему содержания. Но это все — пополнение истины фантазией.

Еще достоверно то, что кронпринц обещал отцу порвать связь с Марией Вечера. Почему? По словам сторонников версии „заговора“, Рудольф рассчитывал скоро стать хозяином Австрии. Графиня Лариш в тоне ангельской правдивости рассказывает, что незадолго до своей кончины кронпринц неожиданно заехал к ней и вручил ей какую-то „стальную шкатулку“ с совершенно исключительными по важности документами: Рудольф „играл во-банк“, он репился на какие-то отчаянные действия, в результате которых „могло полететь много голов“ и т.д. Очевидно, во всей Вене наследник престола не нашел лица, более заслуживавшего доверия, чем графиня Лариш! Куда же делась шкатулка? Графиня отдала ее одному лицу. — Где лицо? — Это эрцгерцог Иоганн Сальватор (Орт). — Покровительница „любви Рудольфа и Марии“ таким образом ссылается на человека, пропавше-

го без вести: по несчастной случайности тайна кронпринца пропала вместе с этим человеком.

Думаю, что „стальная шкатулка“ существовала только в воображении графини и ничьим головам в Австро-Венгрии опасность не грозила. Вполне возможно, однако, что Рудольф в те дни находился в центре каких-то политических интриг, отнюдь не связанных ни с переворотами, ни с отцеубийством. Повторяю, в этой драме слилось, должно быть, многое: политика и любовь, несчастная семейная жизнь и государственные неурядицы, потеря надежды на развод и общее утомление от жизни, личное, наследственное, родовое: он был не только даровитым прожигателем жизни, но и потомком бесчисленных королей и императоров. Говорили еще, что Мария Вечера ждала ребенка. При развивающейся острой неврастении каждая неприятность кажется катастрофой, а у кронпринца Рудольфа было не одно сердечное горе. Вероятно, он дал обещание отцу просто от усталости, от скуки, чтобы не спорить: не стоило вести длинный, тяжелый разговор, если уже было принято — или почти принято — решение о самоубийстве.

Х.

В последний или, точнее, в предпоследний раз Вена видела кронпринца Рудольфа в оперном театре 23 января 1889 года. Он вообще посещал театр не часто, особенно классическую драму: говорил, что вид актеров, изображающих королей, всегда производит на него действие увеселяющее. В опере он бывал несколько чаще. На этот раз был так называемый *théâtre paré**: в императорской ложе^в появился и Франц Иосиф. В Вене было правило: на парадных спектаклях после появления императора на его ложу не смотреть и, во всяком случае, биноклей не наводить. Тем не менее все заметили, что, когда в ложу вошел Франц Иосиф, кронпринц, как всегда, поцело-

*Парадный спектакль (*фр.*).

^вМелочь, для Габсбургов характерная: если Рудольф, отправляясь в театр, желал воспользоваться императорской ложей, он должен был всякий раз испрашивать письменное разрешение отца.

вал руку отцу и затем долго с ним беседовал. Позднее, разумеется, многие говорили, что „уже тогда обратили внимание на расстроенный вид Рудольфа“ и т.д.

Затем еще через несколько дней, 27 января, наследника престола видели — но уже только высшее общество — на балу у германского посла, князя фон Рейса. Бал этот неизменно упоминается во всех мемуарах, относящихся к мейерлингской драме, так как на нем одновременно появились кронпринцесса Стефания и Мария Вечера, — в первый и последний раз в их жизни.

Достать приглашение на бал в посольство было нелегко, Мэри (так все ее называли) пустила в ход разные связи матери. Зачем ей нужно было появиться на этом балу? В ту пору она уже едва ли могла сомневаться, что ее связь с кронпринцем всем известна. Возможно, что это был „вызов“ обществу или кронпринцессе. Возможно, что се соблазнила романтика эффектного появления: кронпринцесса и она! А может быть, ей просто хотелось увидеть блестящий бал, людей посмотреть и шегольнуть каким-либо необыкновенным платьем (по отзыву современников, она одевалась, как и мать ее, превосходно).

По-видимому, с балом связывались осведомленными людьми смутные опасения. По крайней мере, один из друзей семьи Вечера, граф Вурмбрандт, посетил Мэри за несколько дней до вечера и дружески просил ее на балу в германском посольстве не появляться. В какой форме мог быть дан и обоснован такой совет, как можно было вести вообще столь щекотливый разговор с „барышней из хорошей семьи“, не берусь сказать. Но, во всяком случае, разговор ни к чему не привел. Мария Вечера на балу появилась. „Она была в этот вечер ослепительно красива, — говорит очевидец, — глаза ее казались еще большими, чем обычно, и горели тревожным огнем. Я сказал бы, что она сгорала на внутреннем огне...“ Правда, очевидец говорил *после* мейерлингской драмы, да и уж очень эта фраза — под светский роман Поля Бурже. Впрочем, вся эта история такова, что рассказ о ней неизбежно сбивается на роман-фельетон.

„Не могу утверждать, — добавляет тот же очевидец, — но, кажется, одна из дам обратила на Вечера

внимание кронпринцессы Стефании“. Это можно утверждать и заглазно, без большого риска ошибиться: в таких людях никогда недостатка не бывает. По-видимому, не заметить Мэри жена Рудольфа в тот вечер и не могла. Сенсация — „смотрите, это Вечера!“ — была так велика, что ближайший друг кронпринца (и, вероятно, Мэри), граф Гойос, подойдя к ней, тихо посоветовал ей тотчас уехать с матерью. По его словам, у нее глаза налились слезами. Испугавшись скандала, граф Гойос поспешно отошел.

Знала ли она, что жить ей осталось два дня? Это останется тайной. Если знала, то появление в посольстве, пожалуй, становится понятнее: „теперь все равно!..“ Но возможно и то, что *она* решила покончить с собой лишь в последнюю ночь, 30 января, в Мейерлинге.

На балу никакого скандала не произошло. Кронпринцесса „только обменялась с Марией Вечера взглядами“. Для Рудольфа появление его любовницы в посольстве было полной неожиданностью. Он весь вечер не отходил от жены. Уезжая с ней, кронпринц напомнил графу Гойосу, что через два дня, во вторник 29-го, они вместе охотятся в Мейерлинге; просил о том же напомнить принцу Кобургскому.

По всей вероятности, на обратном пути в карете последовала семейная сцена. По словам одного из наиболее осведомленных придворных, на следующее утро кронпринцесса испросила необычную аудиенцию у Франца Иосифа и сообщила ему, что „если так“, то она покинет Вену и вернется на родину, в Бельгию. У императора вышел необычайно бурный (*furchtbar stürmisch*) разговор с кронпринцем, закончившийся, впрочем, благополучно: Рудольф, очевидно, подтвердил обещание порвать связь с Марией Вечера. Франц Иосиф тут же пригласил сына и его жену на следующий день, во вторник, к себе на семейный обед — на „обед примирения“. Рудольф принял приглашение.

По случайности к нему, столь же кстати и впрочем, обратились с просьбой другие люди, очень далеко стоявшие от придворной жизни и ничего о его личных делах не знавшие. Кронпринц уже давно работал с группой писателей и ученых над большим изданием: „Австро-Венгерская монархия“. Его теперь просили

по возможности скорее дать к труду введение или предисловие. Он согласился, — разумеется, непременно, непременно — и обещал „нарочно для этого уехать в Мейерлинг“: там не помешают работать. Таким образом, он принял на себя три обязательства, едва ли между собой совместимые: обещал в Мейерлинге написать введение, пригласил в Мейерлинг же на охоту принца Кобургского и графа Гойоса, которые, должно быть, к научно-литературным трудам своего друга по кутежам относились как к забавному чудачеству — „Рудольф пишет книги!“ — и обещал быть на семейном обеде в Бурге. Несомненно, он уже знал, что не будет ни писать, ни охотиться, ни обедать с женой и отцом: „Теперь все равно!..“

XI.

Стояли морозные дни. Принц Кобургский и Гойос условились с Рудольфом ехать до Бадена по железной дороге: а то всю дорогу из Вены в Мейерлинг в экипаже холодно. Выехать на охоту решено было в шесть часов утра. Но, к удивлению обоих друзей, оказалось, что кронпринц уехал в Мейерлинг накануне и не по железной дороге, а в экипаже.

Днем в понедельник Мария Вечера незаметно вышла из дому с небольшим чемоданом и пешком отправилась на улицу Марокканцев, находившуюся поблизости от их дома. Ей вообще, как полагалось в те времена, запрещено было выходить одной на улицу. Обычно она придумывала разные хитрости. Покупались, например, билеты в театр для всей семьи — она мыла голову и объявляла матери: волосы не высохли, боюсь простудиться, экая досада, поезжайте без меня, что делать! Как только родные уезжали, Мэри выходила из дому. Но на улицах мирной, тихой Вены эту „свободную женщину“, которая не побоялась отдаться Рудольфу, вечером охватывал ужас: темно, разбойники, зарежут! Поэтому ямщик кронпринца Братфиш всегда ждал ее в двух шагах от „Вечера-Паласта“ и отвозил, куда надо было. Ждал он ее и в тот понедельник 28 января. Она велела ему ехать за город. Недалеко от заставы, на дороге, они увидели поджидавший

их другой экипаж. Кронпринц Рудольф пересел в карету Братфиша. Венский Балага не удивился: он к таким вещам привык. Карета понеслась в Мейерлинг.

Там они провели вдвоем вечер и ночь. О чем говорили, мы не узнаем. Вероятно, Рудольф находился в состоянии полного душевного смятения. Если ночью им уже было принято решение о двойном самоубийстве, то он не мог не понимать, что с его стороны тут до некоторой степени и убийство: Мэри было восемнадцать лет.

Утром во вторник присхали принц Кобургский и граф Гойос. Рудольф им объявил, что он участвовать в охоте не будет: простудился по дороге. Не знаю, вышла ли к гостям Мария Вечера. Если и не вышла, то, вероятно, скрыть ее присутствие в замке было трудно. Возможно, что друзья кронпринца сделали с улыбкой вид, что понимают и не обижаются. Возможно, что они немного обиделись. Рудольф просил их охотиться без него, но, кажется (указания противоречивы), охота вообще не состоялась. Принц Кобургский скоро уехал назад в Вену, обещав вернуться на следующий день. Граф Гойос остался ночевать в Мейерлинге.

Днем Гойос отправился в лес побеседовать о чем-то с лесничими. Вернувшись в замок, он увидел, что камердинер Лопек накрывает в столовой первого этажа стол на два прибора. Кронпринц вышел к гостю, и они пообедали вдвоем (как раз тогда, когда император, вероятно, в бешенстве от столь неслыханного происшеетвия ждал сына в Бурге). Мэри не вышла к обеду. Что она делала весь день, неизвестно.

Обед был невеселый. Кронпринц ел мало: „съел кусок паштета из куропаток, баранью котлету, грушу, выпил немного местного вина Гейлигенкрейц“. За обедом жаловался Гойосу на свою жизнь: насколько приятнее живет его друг и „товарищ по ремеслу“ принц Уэльский! За ним никто не следит, ему не делают сцен, в политических взглядах он свободен, тогда как австрийский престолонаследник должен скрывать свою дружбу с Морицем Шепсом, ибо тот либерал и редактор левой газеты. Неожиданно пожаловался на дела: будучи единственным сыном богатейшего из монархов, зятем другого архимиллионера, он вынуж-

ден делать долги: бельгийский король не дал нам ни гроша, содержания мне не хватает, я должен деньги барону Гиршу, мне это неприятно. Тем не менее его жалобы особенной горечью не отличались. Трудно понять, как человек мог все это говорить за несколько часов до смерти... Допив кофе, он хлопнул Гойоса по плечу и простился с ним: „Завтра вставать на охоту в шесть утра“.

Больше мы ничего не знаем. Каждая ничтожная подробность имела бы для нас в психологическом отношении немалую ценность. Но граф Гойос дал императору клятвенное обещание ничего не сообщать о мейерлингской трагедии и сдержал это обещание*, так же как камердинер Лопек (Гойос позднее даже как будто умышленно „заметал следы“). То немногое, что мы знаем о последнем дне кронпринца, дошло до нас не прямо от Гойоса: он все рассказал Францу Иосифу и Елизавете, они кое-что позднее сообщили близким людям. Наиболее ценный источник: записи графа Лониаи (будущего мужа принцессы Стефании), показанные им историку Чупику.

Граф Гойос рано лег спать. В шесть часов утра его разбудил Лопек. Камердинер Рудольфа трясся от страха и волнения. Он сказал графу, что, кажется, случилось что-то нехорошее: ровно в шесть, как ему было приказано, он постучал в дверь спальни Его Высочества: постучал пальцем, потом кулаком, потом палкой — никто не отвечает! Гойос поспешно надел халат и прошел с Лопеком к спальней. Они снова застучали — ответа не было. Они вышибли дверь.

В комнате было темно. Догоревшая свеча жгла еще что-то на дне подвечника. Пахло дымом, духами и табаком. Лопек бросился к окну и раздвинул портьеру, затем зажег свечу. На кровати лежал кронпринц Рудольф. Правая рука его свесилась к полу, судорожно сжимая револьвер. Тут же рядом лежала Мария Вечера. На ее лице крови не было видно. Лицо,

*Не оставил воспоминаний и припц Кобургский. Но со слов сына, в прошлом году одним французским титулованным писателем была в книге воспоминаний сообщена явно фантастическая и совершенно непристойная версия смерти Рудольфа и Марии Вечера — ее здесь излагать невозможно и незачем.

грудь, шея кронпринца были залиты кровью. Пуля, выпущенная в висок, раздробила череп. Наследник престола и его любовница были мертвы.

XII.

Черта поразительная: лейб-медик Франца Иосифа Керцль впоследствии рассказывал фельдмаршалу Маргутти, что Вечера скончалась за несколько часов до Рудольфа! Не знаю, могли ли врачи установить это точно, особенно если принять во внимание, что мертвые тела им были показаны не сразу. Но если это верно, то ночь на 30 января становится уж совершенно кошмарной: значит, кронпринц после смерти своей любовницы еще долгие часы оставался в комнате один, рядом с трупом! Сообщение лейб-медика Керцля косвенно подтверждается и тем, что много позднее говорила артистка Екатерина Шратт, подруга императора Франца Иосифа: по ее словам, смерть Марии Вечера последовала не от выстрела, а от яда — она отравилась до того, как кронпринц покончил с собой.

Мы никогда не будем знать достоверно, что произошло в ту январскую ночь. Дело это само по себе таково, что к нему непременно должны были пристать всевозможные легенды. Вдобавок легендам способствовали действия Бурга, тайна, которой окружили мейерлингскую драму. Большинство историков думают, что по желанию Марии Вечера Рудольф ее застрелил и затем покончил с собой. Как при этом могла оказаться разница в несколько часов между моментами их смерти, не знаю.

Мысль о том, что „все, все надо скрыть“, несомненно, явилась в первую же минуту у графа Гойоса. И, разумеется, с первой же минуты эта мысль, помимо своей нелепости, оказалась совершенно неосуществимой. Граф приказал камердинеру Лошеку никому не говорить ни слова, ничего не сообщать полиции, никого не допускать в спальную кронпринца. Однако в маленьком Мейерлингском замке было пять человек прислуги — нельзя себе представить, чтобы Лошек мог от них скрыть такое происшествие в доме. Не

сомневаюсь, что через пять минут после того, как друг и камердинер Рудольфа проникли в спальную, о случившемся уже знал весь Мейерлинг.

Граф Гойос понесся в Вену. Не буду останавливаться на подробностях этой его поездки, хоть они в некоторых отношениях интересны. Гойос, естественно, почти обезумел, но придворный человек и в полубезумном состоянии помнил об этикете. О кончине Рудольфа надо было сообщить императору — как ему сообщить?! С соображениями о правилах двора тут смешивались — вероятно, и преобладали — человеческие чувства. Гойос понимал, каким ужасным ударом будет для Франца Иосифа известие о смерти — о такой смерти! — его единственного сына. Быть может, ему было известно и то, что император взял с кронпринца слово порвать связь с Марией Вечера, — тогда Франц Иосиф мог себя считать виновником трагедии.

В Бурге произошло смятение. Ошалевший церемониймейстер решил начать с императрицы. Была вызвана первая фрейлина — ей выпало на долю сообщить известие Елизавете. Об императоре никто не мог подумать без ужаса. После долгого полуистерического совещания, по желанию самой императрицы, во дворец была вызвана упомянутая выше госпожа Шратт. Ее положение считалось более или менее законным. Но все же странная особенность этого приглашения могла быть ясна немногочисленным участникам совещания: 30-летнего сына довели до самоубийства, требуя его разрыва с любовницей, — и чтобы сообщить об этом, вызывается во дворец любовница 60-летнего отца. Госпожа Шратт, женщина очень достойная, вместе с императрицей вошла в кабинет Франца Иосифа, — я говорил в статье об императоре, как он принял это известие.

Через час или два сообщение о гибели наследника престола уже несло по Вене, вызывая везде ужас, изумление и горе. „Руди“ со дня его рождения обожала вся Австрия. С годами популярность кронпринца все росла. Ей способствовала даже его легкомысленная жизнь, слухи о его кутежах и бесчисленных победах — так это было и во Франции при Генрихе IV, и в Англии при Эдуарде VII. Разумеется, молва несла

самые фантастические слухи. Появилось официальное сообщение: наследник престола скончался от кровоизлияния в мозг. Никто не поверил. „Нойе фрайе прессе“ выпустила экстренное издание со столь же ложным сообщением: кронпринц погиб „от выстрела на охоте“, — этот выпуск газеты был тотчас конфискован. По-видимому, первая версия в обществе (еще находящая защитников и по сей день) заключалась в том, что кронпринца кто-то убил „на романтической подкладке“, — не то из ревности, не то из мести. Назывались какой-то венгерский магнат, какой-то сторож мейерлингского леса, жену которого будто бы соблазнил Рудольф. Глухо назывался и Бальтацци, дядя Марии Вечера. Не могу сказать, кто первый бросил молве имя несчастной любовницы кронпринца. Одна из газет *рядом* с сообщениями о кончине наследника престола поместила краткую заметку: „В ночь на 30 января скоропостижно скончалась, восемнадцати лет от роду, баронесса Мария Вечера“. Эта газета также была немедленно конфискована. На границах конфисковывались иностранные издания. Мейерлингский лес был окружен жандармами. В замок не допустили никого из понесшихся туда бесчисленных австрийских и иноземных репортеров. Все видел Габсбургский дом, но такого случая не было и в его истории.

В ночь на 31 января, с соблюдением церемониала (хоть без единого постороннего человека), тело кронпринца было вынесено из спальни Мейерлингского замка и перевезено в Бург. В 6 часов утра к гробу спустился император. Крышка была поднята. Франц Иосиф, „с лицом не белым, а серым“, постоял у гроба, затем, ничего не сказав, удалился в свой кабинет, где и заперся надолго.

К телу были допущены лейб-медики, еще другие знаменитые врачи. В их присутствии директор анатомического института профессор Кундрат произвел вскрытие. Когда приступили к составлению протокола, вошел обер-интендант двора граф Бомбелль и смущенно передал врачам просьбу императора: не найдут ли они возможным удостовериться, что смерть последовала от кровоизлияния в мозг? Врачи попросили дать им возможность посоветоваться. Началось тягостное

совещание, некоторые из его участников плакали. Были вызваны еще два старых врача, считавшихся „совестью корпорации“. Разумеется, все это были убежденнейшие монархисты, — да в Австрии, собственно, немонархистов и не было. После долгого совещания врачи сообщили Бомбеллю, что при всей своей любви к императору, при всем понимании его чувств и побуждений они не могут исполнить переданное им желание.

Разумеется, Франц Иосиф руководился не одними соображениями „приличия“. Главный для него вопрос был в возможности религиозного погребения. Скоро, по-видимому, из Ватикана было получено разрешение. В правительственной газете появилось официальное сообщение о том, что первые сведения о причинах смерти наследника престола оказались неверными: кронпринц Рудольф умер не от кровоизлияния, в минуту душевного помрачения он покончил с собой.

Растерянность австрийских властей особенно сказалась в погребении Марии Вечера. До нас дошел истинно изумительный доклад по начальству полицейского комиссара Габрда, которому было поручено похоронить любовницу кронпринца. В сопровождении другого комиссара, барона Горуна, Габрда отправился на кладбище Гейлигенкрейц, расположенное поблизости от Мейерлинга. Оно находилось в ведении аббата Грюнбока. Кажется, не без труда комиссары получили разрешение на похороны одной скончавшейся поблизости дамы. Из доклада не вполне ясно, знал ли аббат, в чем дело. Тут же плотнику аббатства был заказан деревянный гроб. Габрда послал шифрованную телеграмму в Вену с сообщением, что все готово. Ему ответили шифрованной же телеграммой, что „выезжают“.

В 10¹/₂ часов вечера с дверей спальни замка были сняты печати. В комнату вошли родственники Марии Вечера, Бальтацци и Штокау в сопровождении полицейских властей. Глаза Мэри были открыты. На теле была только рубашка. Надев на мертвую платье, ее „под руки вывели“ из замка на крыльцо и „усадили“ в экипаж. Бальтацци и Штокау сели по сторонам от нее, как кавалеры по сторонам дамы. Полицейские заняли

место на козлах. Хотя дама была как живая, власти приняли меры к тому, чтобы на дороге никого не оказалось; очевидно, для этого и посылались шифрованные телеграммы. Впрочем, в ту ночь трудно было кого-нибудь встретить: была страшная буря. По дороге одна из лошадей расковалась, ее кое-как подковали; дама ждала со своими кавалерами.

В Гейлигенкрейце тело положили в уже сколоченный гроб, составили протокол. Могильщики отказывались работать ночью, да еще в такую погоду. Могилу вырыли Бальтацци, Штокау и оба комиссара. Баронесса Вечера на кладбище допущена не была. Ей предложили немедленно покинуть Австрию. Она весь день металась по Вене от полицей-президента к главе правительства, графу Таафе, от него в Бург. Приняла мать любовницы Рудольфа только императрица Елизавета.

Вероятно, подробности этого погребения стали известны не сразу (в газетах того времени я их не нашел). Они, конечно, вызвали бы негодование в обществе. Император был тут ни при чем — перестарались власти. Франц Иосиф обо всем этом, по-видимому, узнал лишь позднее. Через полгода после мейерлингской драмы генерал-адъютант Паар соборил письменно баронессе Вечера, что император чрезвычайно сожалеет о горе, причиненном ей „мерами по похоронам ее несчастной дочери“, и просил ее принять во внимание „общую неслыханную растерянность на месте катастрофы“. Приказ о высылке баронессы (тоже, кажется, не формальный, а данный в виде „совета“) был отменен тотчас. Выслана была из Австро-Венгрии только графиня Мария Лариш.

3 февраля к телу кронпринца была допущена публичка. Рудольф лежал в открытом гробу; только голова его была закрыта цветами. Еще через два дня с обычным пышным церемониалом наследник престола был погребен в императорской усыпальнице в церкви Капуцинов, — он был в ней 113-й по счету Габсбург. Горе в Австрии было общее. Вся интеллигенция страны связывала с Рудольфом большие надежды: его ум, образование, просвещенные взгляды были хорошо известны, так же как и его редкая даровитость. „Я в жизни не встречал столь талантливого человека, как

кронпринц Рудольф, но даже для меня он остается загадкой, — говорил на старости лет его воспитатель, фельдмаршал Латур.

В других странах мейерлингская трагедия вызвала тоже сильное, долго длившееся волнение. Мария Корелли написала стихи: „Sleep, my beloved, sleep! — Be patient! We shall keep — Our secret closely hid — Beneath the coffin-lid...“^{*} Везде требовали „света“, расследования, выяснения причин драмы. Уже распространялась и версия политического убийства. Говорили, что в Мейерлингском замке в ночь на 30 января был еще какой-то человек, что он „после убийства“ покончил с собой, что его похоронили тайно^{*}, — погребение Марии Вечера, конечно, могло только способствовать распространению подобного слуха. Скоро стало известно, что на столе в спальней были найдены прощальные письма Рудольфа и Марии (об этих письмах скажу в заключительной статье). Казалось бы, существование прощальных писем исключало возможность версий убийства (а равно и версий непристойных). Однако люди, воспитанные на уголовных романах, утверждали, что письма эти „были подделаны для сокрытия следов“.

ХIII.

После смерти кронпринца Рудольфа и Марии Вечера на столе в спальней были найдены прощальные письма. Насколько мне известно, факсимиле всех этих писем напечатаны не были. Что до их текста, то я встречал его в разных редакциях, частью между собой более или менее согласных, частью расходящихся довольно сильно. Где находятся письма теперь, трудно сказать. Не поручусь даже, что с точностью установлено их число. Было ли, например, написано Рудольфом прощальное письмо к императрице Елизавете? Указания на это есть, и они более

^{*} „Спи, мой возлюбленный, спи! Будь терпелив! Мы увесем нашу тайну под крышку гроба...“ — Пер. с англ. авторы.

^{*}Еще незадолго до войны один из посетителей Мейерлингского кармелитского монастыря утверждал, что в ответ на его вопрос старый монах сказал ему: „Мы молимся за них, за всех *трех*“.

чем правдоподобны: Рудольф мог обвинять в своей катастрофе отца, но никак не мать, которую он всегда нежно любил.

Не подлежит сомнению, что кронпринц отправил письмо делового содержания советнику Шогисеньи. Это письмо касалось завещания, и его текст никаких споров вызывать не может. Но вот, например, появилось в печати письмо Рудольфа к герцогу Браганцскому: „Дорогой друг, я не мог поступить иначе. Будь счастлив. Servus. Твой Рудольф“. Венское приветствие „Servus“, имеющее характер жаргонно-веселый (нечто вроде советского „пока“, хоть и с несколько иным оттенком), могло бы свидетельствовать либо о весело-циничном настроении эрцгерцога в его последние минуты (по подобию кирилловского „жантильом-семинарист русс“), либо о душевном помрачении, либо о том и другом одновременно — именно как у Кириллова. Вдобавок, у Рудольфа не было никаких оснований писать герцогу Браганцскому, с которым он не был особенно дружен.

Гораздо достовернее текст предсмертных писем Марии Вечера. Однако ее письмо к матери дошло до нас в двух вариантах. Первый вариант: „Дорогая мама, прости мне то, что я делаю. Я не могу противиться любви. Хочу быть с ним похороненной на Алландском кладбище*. Я счастливее в смерти, чем в жизни“. Второй вариант: „Дорогая мама, я умираю с Рудольфом. Мы слишком любим друг друга. Прости нас и живи счастливо. Твоя несчастная Мария. Как чудесно свистел сегодня Братфиш!“ Последние слова второго варианта тоже как будто указывают на душевное расстройство. Сестре она писала: „Мы с восторгом уходим в тот таинственный мир. Думай иногда обо мне. Будь счастлива, выходи замуж не иначе как по любви. Я этого не могла сделать, а так как бороться с любовью я не могла, то уйду с ним. Мария. — Не плачь, я счастлива. Помнишь линию жизни на моей

*По своей неопытности, она вправду могла надеяться, что ее похоронят рядом с наследником австрийского престола! Романтическое изображение 18-летней Марии Вечера было, вероятно, одной из причин трагедии. Впрочем, по существу, похороны, действительно вынававшие на ее долю, были гораздо романтичнее тех, которых она, очевидно, желала.

руке? Еще раз прощай. Каждый год, 13 января, приноси цветы на мою могилу“.

В *существовании* же писем сомневаться невозможно. Письмо Рудольфа к Шогиевныи есть факт совершенно бесспорный. Следовательно, версия убийства отпадает во всех вариантах: политическое убийство, убийство из мести, убийство из ревности, убийство, совершенное Марией Вечера. Дата, указанная в письме Мэри к сестре, — та самая, которая обозначена на портсигаре, подаренном ею Рудольфу. Говорили, что императрица Елизавета 13 января, если бывала в это время года в Вене, всегда отправлялась с цветами на забытую могилу в Гейлигенкрейце. Может быть, это и легенда. Но не подлежит сомнению, что у императрицы, хорошо знавшей все о мейерлингской трагедии, не было ни малейшего злобного чувства к несчастной любовнице Рудольфа.

То же можно сказать, хоть с несколько меньшей уверенностью, об императоре. О Рудольфе же Франц Иосиф почти никогда не говорил. По словам фельдмаршала Маргутти, состоявшего при императоре в последние годы его жизни, имя бывшего наследника престола в Бурге никогда не произносилось. Однако в годовщину смерти сына Франц Иосиф неизменно посещал его могилу: в конце жизни он бывал в капучинской усыпальнице Габсбургов три раза в год: 24 декабря (день рождения императрицы), 10 сентября (день ее смерти), 30 января (день мейерлингской драмы).

XIV.

„Он пошел на дела, повлекшие за собой его гибель, и мы никогда не будем знать, каковы эти дела были“, — говорит о Рудольфе недавний историк Франца Иосифа Отто Эрнст, работавший по архивным материалам Бурга. Очевидно, Эрнст имеет в виду какие-то политические действия кронпринца и смерть его связывает с ними. Повторяю, для таких предположений сколько-нибудь веских оснований нет. Рудольф, по всей вероятности, погиб потому, что ему все надоело, что жизнь ему опротивела, что у него развивалась острая неврастения, что, как всегда при неврастении,

каждая неприятность казалась ему несчастьем, а каждое несчастье — совершенной катастрофой. Печально сложившийся роман, поставивший кронпринца в очень тяжелое положение, был последним удачом.

Он часто повторял слова Наполеона: „Надо желать жить и уметь умирать“. Воли к жизни ему было природой отпущено недостаточно, или же она быстро исчерпалась в потомке Габсбургов. „В этом роде Убийство, Самоубийство, Безумие, Преступление бродят, как фурии Эллады, у ворот эллинского дворца“, — говорил Морис Баррес, немного, как водится, сгущая краски и ставя большие буквы для красоты фразы. Школьный моралист мог бы, конечно, из драмы Рудольфа сделать ценные выводы об относительности земного счастья: чего, в самом деле, еще было нужно этому баловню судьбы? Ему же его жизнь казалась сложившейся неудачно, — еще недостаточно удачно! — „*Tu dis vrai, le bonheur, amie, est chose grave. — Il veut des coeurs de bronze et lentement s'y grave. — Le plaisir l'effarouche en lui jetant des fleurs, — Son sourire est moins près de rire que des pleurs...*“* И еще много не очень новых мыслей в том же роде можно было бы высказать в связи со странной жизнью кронпринца Рудольфа.

В свои последние годы кронпринц, по-видимому, намечал план переустройства Австрии: из двуединой монархии она должна была стать триединой; к коронам Карла Великого и св. Стефана он предполагал присоединить еще чешскую корону св. Вацлава. Автономии в разных видах должны были, по мысли наследника престола, получить и другие народности Габсбургской империи: Рудольф видел в Австро-Венгрии школу мирного сожительства народов, — пожалуй, некоторое подобие Лиги Наций. Преобразованное государство по внешней политике должно было образовать блок с Францией, Англией и, быть может, с Россией. Весьма вероятно, что кронпринц рассчиты-

* „Ты права, мой друг, что счастье — серьезная вещь. — Оно требует бронзовых сердец и не скоро ложится на них. — Удовольствие осыпает его цветами, но может его испугнуть. — А его улыбка ближе к слезам, чем к смеху...“ (фр.)

вал объединить вокруг своего престола всю Германию, — это несомненно сказывается в его ненависти к Берлину. В своих письмах к редактору „Нойс винер тагсблат“ Шепсу он неожиданно говорит, что во всех отношениях предпочитает Берлину Париж и Германии — Францию. Не скрывает и того, что в случае войны его симпатии были бы на стороне французов. Коалицию он, несомненно, обдумывал антигерманскую; но значит ли это, что коалиция предназначалась для войны за гегемонию Вены в немецких землях или для войны „превентивной“ в целях защиты от „ничем не вызванного нападения“, — не знаю. Этого часто не знает никто: почти все войны — „превентивны“.

Подробно обсуждать вопрос теперь не стоит. Повторю лишь слова, приведенные в начале настоящей статьи: если бы власть в Берлине и Вене перешла к скончавшимся почти одновременно императору Фридриху III и кронпринцу Рудольфу, судьбы Европы могли бы сложиться иначе. Политическое дарование Рудольфа расценивалось высоко людьми, хорошо его знавшими. „Он мог спорить с Гладстоном!“ — говорил почти с ужасом принц Уэльский: будущему королю Эдуарду VII „спор с Гладстоном“, очевидно, представлялся пределом политической компетентности.

Он же отмечал в австрийском престолонаследнике черту, которую забавно называл „аль-рапидизмом“: умение завоевывать симпатии подданных по способам Гарун аль-Рашида. Эта способность была в высшей степени свойственна и самому Эдуарду VII. Но им обоим применять ее было неизмеримо легче, чем знаменитому халифу. Гарун аль-Рашид перед смертью казнил и того самого Джафара, с которым совершал свои легендарные ночные прогулки по Багдаду. Кронпринцу Рудольфу никого казнить не надо было; его в Австрии обожали от рождения просто потому, что он был „Руди“. В этом отношении задача его была легка: не надо было лишь растрачивать огромный запас популярности, отпущенный ему судьбой.

В политике он был прямой противоположностью своему отцу. Франц Иосиф, по иронически-благодарному замечанию Бернрейтера, в своей государственной деятельности „руководился принципом выжатого

лимона“ („die Politik der ausgepreßten Zitrone“): он упорно и цепко держался за все старое, за все, что можно было сохранить, пока можно было сохранить; держался за власть, за учреждения, за обычаи, за людей. Рудольф, напротив, явно любил новое, просто „как таковое“: „Чтобы все было не так, как раньше“.

Тем не менее люди, знавшие обоих, находили у них и общие черты. Один австрийский князь, с гордостью называвший себя „самым реакционным человеком Европы и обеих Америк“, как-то сказал: „Рудольф, конечно, либерал, демократ и еще Бог знает что, но я знаю: он будет нашим последним грансеньором. Предпоследний — его отец“. Если не ошибаюсь, этот князь с чисто генеалогическим мировоззрением еще где-то доживает свои дни. Думаю, что, например, зрелище мюнхенского совещания, на котором судьбы мира решили четыре государственных человека: бывший малляр, сын кузнеца, сын булочника и внук сапожника, — ему большого удовольствия не доставило. Может быть, он вспоминал свое предсказание. Я же о нем вспомнил потому, что кое в чем князь был прав: кронпринц Рудольф был одним из последних представителей разряда людей, характерного для Европы девятнадцатого столетия. В России к этому разряду принадлежал в начале своего царствования император Александр I.

Конечно, Рудольф был шекспировский принц Гарри. Но принц Гарри, не превращающийся в короля Генриха, для „настоящей“ истории интереса не представляет. Мы все-таки не можем сказать с уверенностью, что из сына Франца Иосифа вышел бы император с большим историческим именем. Ум, дарования, просвещенные взгляды гарантией тут быть не могут. Его предок Рудольф Габсбургский, основатель династии, с недоумением говорил о „гибельной ошибке“: ум для управления государством — условие недостаточное и даже необязательное; между тем люди, не считая дураком того, кто не умеет лечить больных или не умеет играть на лютне, непременно причисляют к дуракам всякого монарха, не умеющего править.

Удалось ли бы кронпринцу Рудольфу осуществить хоть половину его планов? Императрица Елизавета,

кажется, считала, что в Австрии почти ничего сделать нельзя. Почему-то она возлагала большие надежды на Венгрию; если верить мемуаристам, даже советовала Рудольфу придавать, по восшествии на престол, гораздо больше значения титулу венгерского короля, чем короне австрийского императора. Либерализм императрицы был неопределенный, теоретический и вдобавок почти безнадежный: „хорошо бы, если б...“ Мать и сын, наверное, переписывались: императрица Елизавета значительную часть года проводила за границей. Рудольф посылал ей подарки ко дню рождения: так, он для нее купил в Париже у кого-то из друзей Гейне собрание писем поэта. Не знаю, касалась ли переписка вопросов политических. Мне попадались в печати указания, будто где-то хранится архив императрицы Елизаветы. По ее завещанию, он должен быть опубликован в 1950 году.

Разумеется, если будет 1950 год.

Кверетаро

I.

Историк нашего счастливого времени, быть может, задастся вопросом, когда именно и где в новейшей политической жизни цивилизованных народов было впервые сказано: „все позволено“. Думаю, что ответить будет не так трудно: место — Петербург и Москва, время — 1918 год, или, пожалуй, еще точнее, август — сентябрь этого года: вслед за убийством Урицкого и покушением на Ленина было расстреляно в России несколько сот ни в чем не повинных людей. Все остальное — то самое, чем мы любуемся в разных странах, теперь каждый день и с каждым днем все больше, — было прямым логическим развитием урока, с таким блеском и так безнаказанно преподанного миру в 1918 году. И если, по знаменитому выражению Карлейля, новая история начинается со дня слов Лютера: „Так я думаю, и я не могу иначе думать“, то, быть может, самый новейший период новой истории будет открываться каким-либо изречением вроде „мы все чекисты“ или „врагов надо истреблять“, или еще каким-нибудь вариантом той же драгоценной мысли.

Разумеется, это, собственно, будет не столько „новейшее“, сколько возвращение к старому, очень старому. Можно уйти мысленно в глубь веков — тогда и 1918 годом и нашими днями никого не удивишь. Но XIX столетие (особенно вторая его часть) нас от всего этого почти отучило. Так, драма императора Максимилиана, составляющая тему настоящего очерка, многими политическими деятелями рассматривалась как „самый наглядный пример издевательства над народным чувством“. Издевательство заключалось в том, что императором Мексики был назначен человек, чуждый традициям мексиканского народа. Думаю, что историку придется ввести поправку и в вопрос о традициях или, вернее, в вопрос о том, насколько

успешно, насколько быстро народ справляется — и расправляется — с нарушителями его традиций. В Турции, стране, казалось бы, достаточно традиционной, на нашей памяти глава государства Мустафа Кемаль публично назвал Коран „произведением невежественного араба“ (то есть Магомета!), а людей, посещающих мечети, „идиотами“ — и остался главой государства и „отцом народа“ до конца своих дней.

Эрцгерцог Фердинанд Максимилиан Габсбургский, ставший по воле судьбы императором Мексики, был, конечно, чужд мексиканским традициям. Но чужд он им был не столько как иностранец, сколько просто как человек XIX столетия. Вероятно, он мексиканские традиции и понимал очень плохо при самом искреннем желании понять их и усвоить. Это и в самом деле было не так легко.

История Мексики признается весьма туманной наиболее осведомленными историками: они обычно ссылаются на то, что большая часть первоисточников была уничтожена при завоевании страны испанцами, а остальное погибло при пожаре в Эскуриале в 1671 году. В сущности, и до сих пор с точностью не установлено, кто были все эти ольмеки, микстеки, запотеки, хихимеки, тольтеки и ацтеки, сменявшие друг друга в течение долгих столетий до установления испанского владычества. Английский исследователь Кенингэм Грэхем говорит, что нынешние мексиканцы произошли от скрещения самого кровожадного из индейских племен с самой жестокой частью испанского народа. Это, по-видимому, неверно.

От людей, бывавших в Мексике, мне приходилось слышать рассказы о необыкновенном очаровании этой страны, о привлекательности ее населения. В нем давно смешалось несколько даровитых рас. Если не ошибаюсь, при полном правовом равенстве всех граждан республики, там ведется и до сих пор точный бытовой учет дедов и бабок, процентного отношения „своей“ и „чужой“ крови в жилах каждого: хапетонсы отличаются от креолов, мулаты от метисов, терсероны от квартеронов. Этот учет создан в Мексике задолго до появления расизма в Европе, но у мексиканцев, собственно, неизвестно, кто „свой“ и кто „чужие“: по крайней мере, потомки индейцев смотрят

свысока на потомков испанцев, считая их если не низшей расой, то пришельцами.

Страна мудреная. Говорят, что нет более свободолюбивой страны. Когда читаешь произведения некоторых ее правителей, особенно так называемых *rigos'ов* (радикалов), то невольно себя чувствуешь безнадежно отсталым, исполненным предрассудков человеком; вот это настоящие свободные передовые люди! Однако в некоторых мексиканских областях еще фактически существует рабство. По классической конституции Мексики в стране ни в коем случае не допускаются паспорта, так как они нарушают свободу человеческой личности. Но кое-где там люди закапываются живыми в землю, а если верить одному британскому наблюдателю, то даже закапываются довольно часто. „Свобода слова, сходок, ассоциаций и совести“ совершенно обеспечена всем гражданам „одним из самых либеральных законов в мире“. Тем не менее в знаменитой Белемской тюрьме, по словам Берлейна, творятся дела, выдерживающие сравнение с соловецкими и дахаускими. Конституция, *Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos* совершенно обеспечивает законную преемственность власти и строго ограничивает права правительств. Но за 55 лет в Мексике было, не считая империй, 78 полудиктатур или, по крайней мере, правительств, не очень считавшихся с конституцией.

Впрочем, не всему можно верить из того, что рассказывают иностранные публицисты, пишущие о Мексике: среди них многие, кажется, относятся к этой стране с предвзятой враждебностью. Кроме того, в XIX столетии положение там как будто изменилось. И, наконец, европейцам теперь не приличествует судить кого бы то ни было чрезмерно строго. Однако в первой половине XIX века практика *pronunciamento** действительно сводилась к несложным формулам: „произвел переворот“, „избран вождем народа“, „вызвал народный гнев“, „поднял знамя восстания“, „взят в плен и расстрелян“. Были и счастливые исключения. Несчастный император Максимилиан исключения не составил: он „был взят в плен и расстрелян“.

*В Испании и Латинской Америке название государственного военного переворота. — *Прим. ред.*

II.

Эрцгерцог Фердинанд Максимилиан, известный почти исключительно под вторым своим именем, родился в Шенбрунне в 1832 году. Он был на два года моложе своего брата Франца Иосифа. Не буду ничего говорить о его детских годах и воспитании: мне пришлось бы повторить то, что я писал в очерках о кронпринце Рудольфе. По характеру, по складу ума кронпринц Рудольф и вообще очень напоминал своего дядю, кое в чем его превосходя, кое в чем ему уступая. Оба были романтики, оба были писатели.

Писателем будущий мексиканский император был настоящим, и как писатель он еще не оценен. Его сочинения были изданы в семи томах вскоре после его трагической смерти. Теперь они забыты, да и тогда, кажется, не обратили на себя особого внимания. Однако и в путевых очерках эрцгерцога Максимилиана, и в его афоризмах, и в его стихах встречаются страницы и строки, поистине превосходные. Очень интересны и многие из его писем.

О взглядах Максимилиана мне придется говорить дальше. Он не был *так* либерален, как кронпринц Рудольф или императрица Елизавета. Франц Иосиф, однако, считал его радикалом. Разумеется, он и в самом деле был гораздо „левее“ своего старшего брата. „Левизна“ эрцгерцога умерялась верой в предназначение Габсбургского дома. Но тут его увлекали не столько порода и генеалогия, сколько поэтические и романтические легенды Габсбургов.

Было еще существенное различие между братьями: Франц Иосиф был несметно богат; у Максимилиана большого состояния, по-видимому, не было. Разница в имущественном положении между главой династии и его родными весьма существенно сказывалась во всех почти царствовавших домах Европы. Но, кажется, в Австрии она сказывалась сильнее, чем где бы то ни было. Останавливаясь на этом потому, что „бедность“ (разумеется, весьма относительная) сыграла немалую роль в жизни эрцгерцога Максимилиана. Так, Франц Иосиф, человек сухой, трезвый, непоэтический, женился по любви, — утром влюбился, вечером сделал предложение. Максимили-

ан, воплощение романтики, женился по расчету; женитьба — чуть ли не единственный неромантический поступок в его жизни, зато весьма неромантический.

Недавно граф Эгон Корти в своем обстоятельном труде уделил главу истории этого брака. Ее нельзя читать без удивления. Откровенный торг о приданом напоминает если не пьесы Островского, то сватовство Берга к графине Ростовой: „За несколько дней до свадьбы Берг вошел рано утром в кабинет к графу и с приятной улыбкой почтительно попросил будущего тестя объявить ему, что будет дано за графиней Верой. Граф так смутился при этом давно предчувствуемом вопросе, что он сказал необдуманно первое, что пришло ему в голову: „Люблю, что позаботился, люблю, останешься доволен“. И он, похлопав Берга по плечу, ветал, желая прекратить разговор. Но Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что ежели он не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хоть части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться. „Потому, что рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло...“

Именно так вел себя и эрцгерцог Максимилиан. В декабре 1856 года он предложил руку и сердце принцессе Шарлотте, дочери бельгийского короля Леопольда. Предложение его было принято с радостью. Вскоре после того он письменно запросил своего будущего тестя: что будет дано за принцессой Шарлоттой? Король Леопольд, одинаково известный богатством и скупостью, явно „желал прекратить разговор“, хоть и не по тем причинам, что граф Ростов. Он неохотно ответил, что приданое даст бельгийский народ. Бельгийский народ действительно кое-что дал, но не расщедрился: парламент ассигновал принцессе единовременную сумму в 250 тысяч франков. Это эрцгерцога не удовлетворило. В опубликованном графом Корти письме эрцгерцога к Францу Иосифу сообщался:

„Непреодолимая жадность короля заставила меня написать ему несколько очень вежливых строк. Я ему напомнил его собственные слова, что принцы должны жить приятным образом. Заодно я сообщил ему, что

по возвращении должен буду довести об этом деле до сведения Вашего Величества и что в Австрии произведет самое тягостное впечатление нежелание короля расстаться с деньгами в пользу его столь нежно любимой дочери. Никакого ответа я не получил, но в последнюю минуту у меня попросил аудиенции гр. Конве и сообщил мне, что король решил кое-что сделать, однако суммы пока назвать не желает... Я очень горд тем, что заставил старого скрягу расстаться с небольшой частью того, что ему всего дороже на свете..."

Читатель, быть может, сделает вывод, что эрцгерцог Максимилиан был типичный искатель богатой невесты. Читатель, думаю, ошибется. В ранней молодости людям порою бывает свойственно подчеркивать свой „цинизм“, иногда подлинный, иногда напускной. Будущий мексиканский император, человек весьма порядочный, циником никогда не был. Добавлю, что денег он так и не получил. В отличие от графа Ростова „старый скряга“ не дал больше, чем просил зять: („Только уж извини, дружок, 20 тысяч я дам, а вексель, кроме того, на 80 тысяч дам...“) Эрцгерцог Максимилиан получил приданое весьма скромное, буржуазное: указанные выше 250 тысяч франков от бельгийского парламента и весьма небольшую ренту от короля. Это был брак по расчету, — но по неудачному расчету.

III.

Жена императора Максимилиана пережила его на шестьдесят лет; она скончалась совсем недавно — сумасшедшей — в какой-то вилле, отведенной ей бельгийской королевской семьей. Ее несчастья вначале вызывали общее сочувствие. Потом ее забыли. Помню удивление, вызванное в газетах кончиной этой древней старухи: „Неужели она еще была жива!..“ О ней вообще известно не так много. Кажется, она очень любила мужа, но большого места в его жизни не занимала, хоть были они в самых лучших отношениях.

Эрцгерцог Максимилиан не был „любимцем женщин“, как позднее кронпринц Рудольф. По крайней

мере, молва и мемуары не донесли до нас чрезмерно обильных сведений о его увлечениях. Сплетники и вообще занимались им не так много. По-настоящему они занялись им только у колыбели. У его матери, эрцгерцогини Софии, был роман или какое-то подобие романа с герцогом Рейхштадтским, сыном Наполеона I. Разумеется, в свете „утверждали“, будто Максимилиан — внук великого императора. Впрочем, то же самое и с таким же правом „утверждали“ и относительно Франца Иосифа. Никаких оснований для подобных утверждений, насколько мне известно, нет. Оба брата, вдобавок, ни по наружности, ни по характеру совершенно не походили на Наполеона. Мне неизвестно, знал ли эрцгерцог Максимилиан об этой легенде. Вероятно, знал. Может быть, она отчасти сказала и в его увлечении наполеоновской идеей.

Сам же он давал повод для сплетен лишь в размерах, так сказать, обычных для каждого человека, а тем более для человека высокопоставленного. Жил он довольно скромно. Ему очень хотелось заниматься государственными делами. Но Франц Иосиф неохотно допускал к ним своих ближайших родных, следуя в этом отношении, как во всех других, старой габсбургской традиции. Еще задолго до женитьбы своего брата император назначил его главнокомандующим австрийским флотом. Эрцгерцог Максимилиан, ставший адмиралом двадцати двух лет от роду, любил море, и должность была вполне почетная, но она оставляла ему достаточно свободного времени.

Он много путешествовал, часто уезжал в свое имение, где проводил большую часть дня верхом на коне, в полном одиночестве. „Ехать шагом — смерть, ехать рысью — жизнь, ехать галопом — счастье“, — писал эрцгерцог, очень любивший афоризмы. Как ни странно, он мечтал о карьере авиатора! До первых аэропланов еще оставалось полвека, но эрцгерцог не раз говорил об их будущем значении, вдобавок в технических выражениях наших дней. На этом основании можно было бы изобразить его „пророком“, „провидцем“ и т.д. Но тогда в провидцы следовало бы произвести и многих других людей с богатой фантазией, — дело не в одних мечтах. Подводная лодка была ведь все-таки изобретена не Жюлем Верном.

„Провидцем“ эрцгерцог Максимилиан не был. Но был он человек умный и привлекательный, очень строгий к себе, желавший искренно добра всем людям. Я говорил о его браке по расчету. История эта совершенно для него нехарактерна. Добавлю, что, хотя он тяготился своей „бедностью“, большие деньги не так уж много могли бы изменить в его жизни: остались бы те же габсбургские замки, тот же эрцгерцогский двор, быть может, лишь несколько более роскошный, те же путешествия, то же отсутствие настоящей работы. Он, собственно, стал мексиканским императором больше „от нечего делать“. Должность его была более или менее фиктивной: Максимилиан, конечно, понимал, что в двадцать два года нельзя быть Нельсоном. Главкомандующий австрийским флотом принимал парады и подписывал бумаги, но, по-видимому, довольно охотно при каждом удобном случае покидал свое адмиралтейство, Вену, Австрию.

Эрцгерцог до женитьбы много путешествовал. До нас дошли дневники его путешествий. Они написаны хорошо, их и теперь можно прочесть с немалым интересом. Я почти не сомневаюсь, что были у него и дневники интимные; вероятно, они уничтожены или до сих пор хранятся в каком-либо государственном или частном архиве. Максимилиан был именно из тех людей, которые непременно ведут дневник.

Писал он вообще много, но печатал мало. В его положении печататься было вообще неудобно. Кроме того, он, быть может, опасался, что если и выпустить книгу, то авторство припишут кому-либо другому: он, мол, подписывает, а работают настоящие писатели. Это неизменная судьба трудов высокопоставленных по рождению людей. Только перед своим отъездом в Мексику (но едва ли из-за дурных предчувствий) эрцгерцог Максимилиан передал для печати — „не в Австрии“ — свои рукописи барону Мюнху-Беллинсгаузену, имевшему некоторую известность в литературе под псевдонимом Фридриха Гальма. В Мексике же он и начал править корректуру: издание печаталось в Лейпциге.

К политике Франца Иосифа, в ту пору весьма консервативной, эрцгерцог Максимилиан относился вполне отрицательно. Он не был радикалом, но тер-

петь не мог „людей, стремящихся потрясти мир“, включая сюда и революционеров и диктаторов. „В пору человеческих жертвоприношений, — пишет он, — таких людей приравнивали к богам. В наше время они просто *flagellum Die*“*. Франц Иосиф ни в какой мере не был „бичом Божиим“. Однако власть его была там почти неограниченной, его замыслы были велики, а его миропонимание казалось брату императора несерьезным. „*Nous vivons dans le siècle de la blague sougonnée*“*, — пишет он где-то.

Собственная его философия была довольно своеобразна. Он считал всех людей сумасшедшими, но в этом не совсем понятным образом видел большую выгоду для прогресса. „Кто не был бы по-своему сумасшедшим, не мог бы способствовать общему движению мира“, — говорит эрцгерцог. Исходил он из мысли, что „колесо вселенной вертят страх и честолюбие“ и что ничего дурного в этом нет: надо лишь заставить колесо вертеться в пользу своей идеи. Самому же бояться не нужно ничего: „воображение все преувеличивает; даже смерть не так страшна, как ее рисуют“. Враги? Но „о достоинстве человека судят именно по качествам его врагов“. Политический деятель должен прежде всего освободиться от всех предрассудков своей расы, своей касты, своей партии, своего мировоззрения, „должен выйти из их атмосферы“. Вероятно, эрцгерцог Максимилиан отчасти поэтому и относился критически к своему брату: Францу Иосифу сама мысль о выходе из атмосферы Бурга тогда показалась бы, разумеется, дикой.

Со всем тем нелегко понять, каковы были основные политические мысли будущего мексиканского императора. Он говорит в книге афоризмов, что „каждый народ в известный период своей истории становится на службу определенной идее“. О мексиканской идее говорить как будто довольно трудно. Едва ли Максимилиан имел в виду идею *австрийскую*, хоть он считал необходимым мирное сожительство разных народов в пределах одного государства и главную угрозу свободе видел в чрезмерном развитии национального принципа. Если б он увлекался австрийской идеей, то

*Бич божий (*лат.*).

*„Мы живем в век королевой несерьезности“ (*фр.*).

не мог бы отправиться в Мексику, отказавшись от своих прав на австрийский престол. По-видимому, его идея была — габсбургская, один из бесчисленных вариантов векового замысла о единении мира — вариант не самый умный, но и не самый глупый, в общем, вполне стоящий многих других... Как Габсбург, Максимилиан мог считать Мексику одним из своих наследственных владений: ведь Кортес* был слугой его предка. По-видимому, собственному своему правилу о необходимости полного освобождения от наследственных, семейных, бытовых влияний будущий мексиканский император следовал не так уж строго.

Добавлю, что он всегда носил в кармане кусочек картона, на котором были им написаны, как Николенькой Иртеневым, „правила жизни“ (так они и назывались, совсем как в „Юности“). Их факсимиле было недавно напечатано графом Корти. „Правил жизни“ было всего двадцать семь. Не буду утомлять читателей анализом этой смеси принципов габсбургских с толстовскими, хотя она интересна в психологическом и в бытовом отношении; приведу лишь несколько его правил: „Не допускать никаких шуток с подчиненными и не разговаривать с прислугой“, „никогда не произносить непристойных слов“, „никогда ни о ком не говорить дурно“, „слушать всех, верить лишь очень немногим“, „никогда не жаловаться“, „искать одиночества, чтобы думать...“.

IV.

Затянутую в Париже экспедицию, которая дала Максимилиану мексиканский престол и стоила ему жизни, Наполеон III и его приближенные долго называли „величайшей идеей царствования“. Тем не менее ни сам французский император, ни кто бы то ни было из его французских приближенных ни малейших авторских прав на эту идею иметь не могут. Принадлежала она исключительно мексиканским эмигрантам.

*Кортес Эрнандес (1485—1547) — испанский конкистадор, возглавивший завоевание индейских государств на территории Мексики. — *Прим. ред.*

Старый французский писатель говорит (без всякой иронии), что есть эмиграция злобная — та, что, подобно Кориолану, поднимает меч против своей родины, — и есть эмиграция хорошая — та, что, подобно Аристиду, тихо скорбит о несчастьях родины, — и есть эмиграция мудрая — та, что, подобно Камиллу, увозит с собой золото и мирно его проживает в изгнании, лелея, конечно, пламенную мысль о родине. Мексиканская эмиграция, по-видимому, принадлежала к разряду мудрой. Вследствие весьма частых переворотов в первой половине XIX столетия многие состоятельные мексиканцы пришли к мысли, что жить можно не только в Мексике или в Веракрусе, но и в европейских столицах, особенно в Париже, давней, вечной столице всех эмиграций мира. Не скажу, вероятно, никому ничего особенно нового, сообщив, что богатую эмиграцию во всех странах Европы принимали много любезнее, чем бедную. Вдобавок, покидали Мексику в большинстве люди, причастные к политике, занимавшиеся государственной деятельностью и, следовательно, имевшие некоторые связи за границей. К числу таких эмигрантов принадлежали дон Хосе Мария Гутьеррес де Эстрада и дон Хосе Мануэль Гидальго-и-Эснауризар.

О первом из них сказать можно немного, а о втором ровно ничего. Гутьеррес был старый дипломат, занимавший в свое время пост мексиканского посланника в Австрии. Это был способный публицист, человек весьма правых взглядов, близко стоявший к ордену иезуитов. Обладая большим наследственным состоянием, он в Вене женился на богатой маркизе, так что стал еще гораздо богаче. По прежней службе и по жене у него были большие связи в высшем австрийском обществе, тогда особенно тесно сливавшиеся с высшим обществом международным. Из Мексики он бежал в 1840 году, вызвав против себя очередную „вспышку народного гнева“ (он недолго занимал должность министра иностранных дел). С той поры Гутьеррес жил в Европе, так до конца своих дней на родину и не вернулся. Капиталы его были помещены в Австрии, и он мог вести привычный ему с юности образ жизни.

Что до Гидальго-и-Эснауризара, то он был еще молодой человек, тоже богатый, очень светский, очень любезный, пользовавшийся в обществе большим успехом. Как и Гутьеррес, он служил в дипломатическом ведомстве, но по молодости посты занимал небольшие: состоял секретарем миссии в Лондоне, Риме, Мадриде и всюду имел немалые связи. В Испании он довольно близко сошелся с семьей графа де Теба, впоследствии, за смертью старшего брата, принявшего титул графа Монтихо. Как известно, дочь этого испанского вельможи позднее стала французской императрицей. В Мадриде она не раз танцевала на балах с молодым мексиканским дипломатом, часто бывавшим у них в доме. Выйдя замуж за Наполсона III, императрица Евгения не забыла друзей своей юности. Постому с 1853 года у Гидальго образовались в Париже такие же связи, как те, что были в Вене у Гутьерреса. Службы они оба лишились, но, сохранив состояние, жили за границей прекрасно, в отличие от изгнанников польских, венгерских, итальянских. Эмигрантов по одежде встречали, по одежде и провожали.

Эти два человека, Гутьеррес и Гидальго, в сущности, и возвели эрцгерцога Максимилиана на престол, с которого он перешел на эшафот.

V.

Ход мексиканского дела известен. Мексика была должна немало денег Франции, Англии и Испании, преимущественно по убыткам, причиненным их гражданам анархическим ходом дел в стране. В 1861 году президент, дон Бенито Хуарес, едва ли не единственный выдающийся политический деятель Мексики, заявил, что ничего платить иностранцам не может, не хочет и не будет. Он был тут, можно сказать, провозвестником новой эпохи. Теперь мы скорее удивляемся, когда державы-должники честно и аккуратно платят державам-кредиторам, — ведь Финляндия считается в современном мире своего рода чудом. Но в те времена твердых валют и смехотворно малых бюджетов платить долги по общему правилу (впрочем, только по общему правилу) полагалось, и посту-

пок Хуареса вызвал общее негодование. В Париже, в Лондоне, в Мадриде решено было послать к берегам Мексики эскадры. Тогда Гутьеррес и Гидальго выдвинули в Тюильри свой план: использовать подходящее время, положить раз навсегда конец анархии в Мексике и создать там прочную империю.

Идея была в духе грандиозных планов, с которыми Наполеон III носился еще задолго до своего вступления на престол. У него был с юности свой, частью писанный, частью неписанный „Майн кампф“, подлежащий исполнению в случае его прихода к власти. В историю император Наполеон перешел с репутацией неудачника. Однако процарствовал он долго, 20 лет, считался гениальным человеком, пока не был признан бездарностью, и успехов имел немало. Кое-что из осуществленных им идей осталось. Один его план стоил Франции Эльзаса и Лотарингии, но другой дал Ниццу и Савойю: из колониальных предприятий Второй империи некоторые оказались удачными, другие — неудачными. „Только успех дает возможность отличить великое дело от печальной авантюры“.

Еще находясь в заключении в крепости, будущий император мечтал о каких-то грандиозных предприятиях в Никарагуа. Теперь вместо Никарагуа появилось другое государство Центральной Америки. Мысль эмигрантов заключалась в том, чтобы создать в Мексике несокрушимую империю, которая могла бы противостоять „впавшим в анархию“ Соединенным Штатам (в Америке шла гражданская война северян с южанами). Какая была во всем этом польза для Франции? Разумеется, престиж, рост престижа, торжество имперской наполеоновской идеи. В политике тоже „есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волнения внимать невозможно“. Идея была грандиозно-бессмысленная, однако осуществиться она могла — нас теперь ничем не удивишь.

Как водится во всем мире, большое государственное предприятие тесно и почти незаметно переплеталось с темной аферой. Тут, по-видимому, какой-то исторический закон, почти не дающий исключений. Аристид Бриан, хорошо знавший кухню великих политических событий, до конца своих дней был убежден, что темное дело Нгоко-Санка было одной из при-

чин мировой войны*. Мексиканская авантюра неразрывно сплетается с аферой швейцарского банкира Жеккера, позднее натурализованного во Франции.

Это был блестящий представитель породы банкиров, пытающихся составить или увеличить богатство на большой, преимущественно международной, политике. Люди эти любопытны в особенности тем, что в большой политике они, при полном своем невежестве, ровно ничего не понимают, — я не вполне уверен и в том, что они хорошо понимают хотя бы свое собственное дело (иначе обогащались бы мирно, без тюрьмы и самоубийств). Общество с суеверным ужасом видит в них каких-то титанов и гениев, истинных, хоть закулисных, вершителей судеб мира. В последнем утверждении есть маленькая доля правды: но она никак не относится на счет гениальности этих людей. Кончают они обычно плохо, как Рошетт, Устрик, Манус, Бармат, Креггер, Ставиский. Есть, впрочем, и счастливые исключения. Жеккер исключения не составил. Когда в Париже началась Коммуна, он справедливо, но с некоторым опозданием, догадался, что ему лучше покинуть Францию, и обратился к властям за паспортом. Коммунары вспомнили о нем, какой это Жеккер? — и расстреляли его с особым удовольствием.

В ту пору швейцарский банкир имел к мексиканскому правительству денежную претензию, которую он сначала определял приблизительно в 75 миллионов; потом рассчитал точнее, даже с удивительной точностью — и признал претензию равной 27 703 760 франков (еще позднее он согласился на новую скидку, миллионов в пять). Мексика платить ему не желала, если бы и желала, то не могла. Деньги Жеккер мог получить только в случае фактического установления в этой стране французского протектората. Надо было опять-таки, как водится, найти покро-

*В только что опубликованной Сюаресом (т. II, стр. 328-9) записки из дневника Бриала от 7 февраля 1918 года сказано: „11 часов Беседавал с президентом республики (Пуапкаре). Он мне сказал, по случаю бумаг, пайдепных во Флоренции, что Кайо впускает ему отиращепие .. Я напомнил президенту соглашение, заключенное мною с Германией в 1910 году и расторгнутое Кайо. Последствие: Агадир, истинный зародыш пыдешнего конфликта. Настоящий виновник войны — Кайо“. — Это, конечно, сильнейшее преувеличение.

вителя. Он его и нашел, нашел вполне удачно. Это был сам герцог де Морни.

Незаконный внук Талейрана, незаконный сын королевы Гортензии, единоутробный брат Наполеона III, так хорошо, хоть и без паржа, изображенный в знаменитом романе Альфонса Доде (бывшего его секретарем), занимал в ту пору пост председателя Законодательного корпуса. Он был богат и жил, ни в чем себе не отказывая. Сто женщин гордились своей близостью к нему. Его вечера и балы — в доме, в котором теперь живет Эдуард Эррио, — славились в Париже, как и его конюшня: Морни создал Гран-При, скачки в Лоншан и в Довилле; он платил своему главному жокею колоссальное жалованье — три тысячи франков в год! Славились и его картинная галерея. У него были Рембрандты, Рубенсы, Шардены, Фрагонары, Веласкесы — новых художников он не признавал и пренебрежительно относился к Барбизонской школе. Очень забавное впечатление производят цены, по которым он покупал Рембрандтов и по которым ему щеотно предлагали картины, теперь расцениваемые в миллионы франков. Жена герцога считалась одной из наиболее эlegantных дам Парижа и тратила невероятные суммы на туалеты: платила за платья до 250 франков!* Все эти безумства требовали денег, и „самый изящный человек мира“, как перед смертью, вспоминая о своей ранней юности, называла „открыт-пего ее“ герцога Морни Сара Бернар, не был чрезмерно щепетилен. После падения Второй империи было найдено письмо, в котором Жеккер откровенно говорит, что обещал герцогу 30 процентов от своей мексиканской претензии, если по ней будет произведена уплата. Тысячи французских солдат пали в Мексике — не исключительно вследствие этого обещания, но отчасти и вследствие этого обещания.

Самое непонятное во всем этом странном деле было привлечение к нему австрийского эрцгерцога. Напо-

*В коллекции французского писателя Даниеля Галеви хранится расходная книга (от 1859 года) герцогини Морни (в ту пору еще графини). Привожу из нее выдержки: „Шляпа — 50 франков Два шелковых платья — 151 франк 75 сантимов. Камшировая шаль — 130 франков. Платье на костюмированный бал — 240 франков“ — Милос „время безумных расходов“.

леон III мог выдвинуть кандидатуру в мексиканские императоры какого-либо принца своей династии. Если такая кандидатура рисковала возбудить подозрения у других держав, существовали испанские принцы, для которых язык Мексики был, по крайней мере, родным (эрцгерцог Максимилиан до начала дела не знал по-испански ни слова). Совсем незадолго до того между Францией и Австрией происходила кровопролитная война. Как ни странно, но если судить по дошедшим до нас переписке и мемуарам, именно это соображение и было решающим для Наполеона: он хотел „проявить великодушие“ и загладить в Вене впечатление от Сольферино и от потери итальянских провинций. Нельзя не признать, что психология людей того времени несколько отличалась от нашей. Трудно себе представить что-либо сходное в 1918—1919 годах, как трудно было бы, например, вообразить, что в пору великой войны в Париже могли выступать немецкие артисты или в Берлине — французские: между тем Рашель с огромным успехом гастролировала в России, несмотря на Крымскую войну.

Кандидатуру австрийского эрцгерцога выдвинули те же Гутьеррес и Гидальго, но они предложили сначала эрцгерцога Райнера. „А отчего бы не эрцгерцога Максимилиана?“ — спросила императрица Евгения, принимавшая деятельное участие почти во всех политических совещаниях в Тюильри. Мексиканцы не возражали: „можно запросить и эрцгерцога Максимилиана“.

Этот эрцгерцог был лично известен Наполеону III и императрице. За несколько лет до того он приехал с визитом в Париж и очень им понравился. Сами они ему понравились не слишком, особенно вначале. В своих письмах из Парижа к Францу Иосифу эрцгерцог Максимилиан с восторгом говорит о французской армии — в его честь, естественно, устраивались парады, — но об императоре отзывается довольно сдержанно, а о новом тюильрийском дворе пишет с насмешкой Габсбурга над „выскачками“. Максимилиан сообщает брату, что на вокзале в Париже ему пришлось ждать экипажей — они опоздали! что обед был плохо сервирован, что император ведет беседу в при-

существовании прислуги, — „это признак парвеню“, что принц Наполеон (сын Жерома) похож на итальянско-го певца из провинциальной оперы, что императрица Евгения очень хороша собой, „но ее красота затмевается моими венскими императорскими впечатлениями“ (он имел в виду императрицу Елизавету, жену своего брата, в которую был немного влюблен).

Максимилиан, живший в своем великолепном замке Мирамар, принял предложение Наполеона с худо скрытым восторгом. Мексиканское дело отвечало особенностям его романтического характера. Ему надоело безделье, надоела Австрия, надоела Европа его времени, „бедная, жалкая, медленно разлагающаяся Европа“ (и *тогда*, Господи!). Несчастный эрцгерцог был искренне убежден, что осчастливит своих будущих подданных. В этом его всецело поддерживала жена, вдовавок не ладившая с императрицей Елизаветой. Все же Максимилиан выдержал характер и поставил Наполеону и мексиканцам несколько обязательных условий. Эти условия, о которых речь будет дальше, были торжественно приняты. Эрцгерцог решил править мексиканской империей в духе просвещенном и либеральном. Очень скоро он стал писать о „своей“ Мексике, о „нашем“ (то есть мексиканском) народе и т.д. Ничего смешного в этом он со своей габсбургской точки зрения, вероятно, не видел: ведь Мексика принадлежала Карлу V. Чтобы окончательно стать мексиканцем, Максимилиан с большим рвением стал изучать язык и географию своего государства.

Наполеон III надеялся угодить Вене, посадив на мексиканский престол эрцгерцога Максимилиана. Этот расчет был неверен. Франц Иосиф был тогда в довольно дурных отношениях со своим братом и вдовавок считал все мексиканское предприятие совершенной авантюрой. В последнюю минуту именно австрийский император чуть было не сорвал дела. Он потребовал, чтобы перед отъездом в Мексику эрцгерцог отказался от всех своих прав на австрийский престол и даже от имущественных привилегий членов Габсбургского дома. Максимилиан ни от чего отказываться не хотел, частью из фамильной гордости, частью по денежным соображениям, частью, быть может, потому, что и сам все же не так уж слепо верил

в прочность своего будущего мексиканского престола: вдруг придется вернуться в Австрию?

Не буду утомлять читателей подробным изложением этого неожиданного столкновения, — до нас дошли письма Франца Иосифа к Максимилиану (неизменно начинающиеся обращением „Дорогой господин брат мой, эрцгерцог Фердинанд Максимилиан“). По-видимому, в денежном вопросе император уступил: за Максимилианом осталась эрцгерцогская ежегодная рента в сто пятьдесят тысяч гульденов. Но в вопросе о праве на престол император остался непреклонен: перед своим отъездом в Мексику Максимилиан должен был навсегда отказаться от всех своих прав по престолонаследию, и сделал он это с негодованием. Все же перед его отъездом император навещил эрцгерцога в Мирамаре. По словам очевидца, простились они „сердечно“, — им в жизни больше встретиться не довелось.

VI.

Между эрцгерцогом Максимилианом и императором Наполеоном было заключено соглашение, с официальными и с секретными статьями. По этому соглашению Франция обязалась держать в Мексике свою 25-тысячную армию, а также Иностранный легион. В Париже и в Мирамаре понимали, что без поддержки французских войск эрцгерцог править страной не может: его немедленно свергнут партизаны президента Хуареса. Высказывалась, однако, уверенность, что „со временем“ будет создана мексиканская национальная армия, надежная и преданная Максимилиану; тогда можно будет и увести французские войска. В официальных статьях договора было указано, что Иностранный легион (8000 солдат) пробудет в Мексике восемь лет, а регулярная армия — „до тех пор, пока не окажется возможным заменить ее“. Секретные статьи несколько уточняли сроки и увеличивали численность французского экспедиционного корпуса (не 25 000, а 38 000 солдат).

Со своей стороны эрцгерцог Максимилиан обязался содержать французские войска: Мексика принимала на себя все расходы по экспедиции, исчисленные

до 1 июля 1864 года в 270 миллионов франков, а затем выведившиеся из расчета 1000 франков в год за каждого солдата. Покрыть расходы решено было посредством займа.

Договор этот выполнен не был, как и столь многие другие исторические договоры. При каждом новом подобном случае, если последствия значительны и невеселы, люди частью по обычаю, частью по заинтересованности, частью по незнанию кричат о „неслыханном деле“, о „предательстве“, об „измене“. Достаточно кричали и о том, что император Наполеон „предал“ Максимилиана: французские войска из Мексики ушли, эрцгерцог погиб. Хорошего тут было мало, но „неслыханного“ не было ничего. Сотни таких же происшествий случались в мировой истории до мексиканского дела, десятки — после мексиканского дела (пока лишь десятки, однако мировая история еще не кончилась). Вопрос, главным образом, в степени „неслыханности“. Немецкие публицисты, например, до создания оси Рим—Берлин считали наиболее „неслыханным“ делом переход Италии в 1915 году на сторону союзников.

Не были выполнены и Мексикой ее финансовые обязательства. Заем в пользу казны Максимилиана, разумеется, прошел в Париже „с блестящим успехом“. Это тоже довольно обычное дело в финансовой истории богатых стран, особенно Франции. „С блестящим успехом“ займы проходят почти всегда. Если по ним потом не платят, о „блестящем успехе“ стараются не вспоминать. Если же, кроме того, на полученные деньги изготавливаются орудия и снаряды для войны со страной, от которой деньги получены, — ну что ж, приходится признать, что успех был действительно не совсем блестящий. Зато для банкиров и посредников блестящий успех в виде комиссии всегда обеспечен: уж тут неслыханных неожиданностей не бывает.

22 января 1862 года газета „Морнинг пост“ первая поместила сенсационное сообщение о том, что эрцгерцог Максимилиан может стать мексиканским императором. Это вызвало большое волнение в разных странах мира (см. Ла-Горс, тт. IV и V). Отношение к делу в большинстве государств было отрицательное. В Вене затею Наполеона считали чистой авантю-

рой. Почти так же относилось к ней английское правительство: лорд Пальмерстон говорил, что Мексика — страна возрождающаяся и безнадежная. Соединенные Штаты (северные) негодовали, усматривая в высадке французских войск нарушение доктрины Монро. В беседе с императрицей Евгенией американский посол сказал ей: „Франция от своего проекта откажется, а для австрийца (Максимилиана) дело кончится плохо“. — „А я вас уверяю, — ответила императрица, — что если бы Мексика не была так далеко и мой сын не был ребенком, то я желала бы, чтобы он стал во главе французской армии и вписал шпагой в историю нашего века одну из самых славных страниц“. — „Ваше Величество, благодарите Бога, что Мексика далеко и что ваш сын — ребенок“, — сказал посол. Не сочувствовали мексиканскому делу и в Петербурге, отчасти из-за дружеских отношений с Соединенными Штатами: в пору Крымской войны американское общественное мнение было на стороне России. Доволен был, кажется, только бельгийский король Леопольд, радовавшийся тому, что его зятю досталось столь хорошее место.

Максимилиан со всем этим не считался. Своим душевным настроением он напоминал тех русских молодых людей, которые в первой половине девятнадцатого века отправлялись из Петербурга или Москвы восвать на Кавказ: и цель хорошая, и жить стало скучно и, главное, очень все это романтично: горы, горцы, бои, шашки, прекрасные черкешенки. Формальности были проделаны сравнительно быстро. Созванное властями совещание надежных людей, названное Национальным собранием, провозгласило Максимилиана императором. Эрцгерцог принял в Мирамаре делегацию Национального собрания, согласился принять престол и 14 апреля 1864 года на фрегате „Новара“ торжественно отплыл в Мексику.

VII.

Первое впечатление было не совсем приятное. На подготовку народного восторга затратили 120 тысяч долларов (см. у Берка и у Кератри). Заказаны были в

огромном количестве цветы, для „нотаблей“ спили новые, самые мексиканские костюмы. Тем не менее население Веракруса встретило императора Максимилиана холодно. Кроме нотаблей, на пристань никто не явился. Императрица Шарлотта даже заплакала от столь неожиданного приема. Затем на дурных мексиканских дорогах сломались императорские экипажи, продолжать путь из Веракруса в столицу пришлось в дилижансе! Неблагоприятное впечатление произвел и дворец. В нем было больше тысячи комнат, но в каждой комнате были клопы. Свою первую ночь в резиденции новый император провел — на бильярде, ибо спать на кровати было невозможно.

Потом все как будто стало устраиваться. Максимилиан и Шарлотта поселились в загородном дворце Хапультепске, расположенном в местности необыкновенной красоты. Здесь еще во времена запотсков и ацтеков жили властители страны, умевшие ценить радости жизни, природу и искусство*. Располагая миллионами, новый император мог, конечно, и в Мексике создать несложный „конфорт модерн“ того времени. Изгнание клопов было бытовой программой-максимум. Вскоре после этого Максимилиан с восторгом писал своему брату:

„Эта страна необычайно прекрасна. Мы живем либо в Мехико, в огромном национальном дворце, насчитывающем 1100 комнат, либо в Хапультепске, здешнем Шенбрунне, очаровательном замке, воздвигнутом на базальтовых скалах, окруженном знаменитыми колоссальными деревьями Монтесумы. Отсюда вид не хуже, чем в Сорренто“.

В первое время денег у него было более чем достаточно. Его цивильный лист был определен в 1 700 000 долларов (около 60 миллионов нынешних франков). Собирался этот цивильный лист довольно странно: ежедневно на золотом подносе во дворец приносилось несколько тысяч долларов императору и пятьсот долларов императрице. Предполагалось, что деньги берутся из налогов, уплачиваемых мексикан-

*Виолле ле Дюк утверждает, что со строениями, оставшимися от древних властелинов Мексики, могут по красоте сравняться лишь создания классической Греции.

ским народом. На самом деле они отделялись ежедневно от сумм французского займа, который таял не по дням, а по часам. Максимилиан отроду таких денег не видел (его австрийский дворец Мирамар был заложен и перезаложен). Тратил он деньги щедро и не сберег под конец ни гроша. Так, на постройку придворного театра было им ассигновано 75 000 долларов. В 319 670 долларов обошлись лошади, коляски, кареты. Устроен был пышный двор. Подробнейший, сложнейший церемониал выработал сам Максимилиан, — верно, по образцу Бурга.

Не надо, однако, думать, что новый император думал только о себе, о дворе, о развлечениях. Он со всей искренностью желал ошастливить своих подданных. Изданные им декреты и законы составляют восемь огромных томов. Почти все это было им не только подписано, но и обсуждено. Он не был виноват, что ничего не понимал в мексиканских делах. Советников у него было много, и все они толкали его в разные стороны. Максимилиан был добр и либерален (в лучшем смысле слова*) — от него добивались кровавых и слепых декретов. Он начинал ими тяготиться — ему говорили, что Мексика не Европа, что он Мексики не знает. Одновременно другие советчики утверждали прямо противоположное, и, разумеется, все требовали должностей, наград, денег. По своему характеру император ни на чем остановиться не мог, перестал верить советчикам и попробовал по очереди все, беспрестанно переходя от либерализма к его прямой противоположности, — политика самая гибельная. Он никому не верил — люди не верили и ему. Диктатуры, основанные на страхе, могут иметь в мире успех — это достаточно показали бы новейшие события, если бы мы не знали этого и раньше. Но полудиктатуры, особенного страха не внушающие, почти неизменно обречены на скорую гибель. Нет ничего неблагодарнее роли Примо де Ривера.

Как человек весьма неглупый, Максимилиан со временем понял, что попал в осиное гнездо. Но понял

*Это испанское слово в те времена еще не вполне уточнилось. Оно сравнительно недавнего происхождения (создалось в пору испанской революции, когда страна разделилась на „serviles“ и „libéreaux“ — „законопослушных“ и „либералов“ (фр.). — *Пер. ред.*

он это не сразу, а так через год или через полтора, убедившись, какво править в стране чужой, непонятной и дикой. В первое же время он был счастлив — счастлив, почти как Оленин на Кавказе. В своих письмах к европейским друзьям он восторженно описывает мексиканские горы с их вечными снегами, тысяче-летние кипарисы в 15 метров охватом, „земной рай“ Оризавы, ни с чем не сравнимую охоту, живописные костюмы индейцев, их естественный, врожденный демократизм и, главное, свободу, свою свободу, свободу от условностей, от „сервилизма“ гнилой, разлагающейся Европы.

Идиллия продолжалась недолго.

VIII.

Думаю, что ему все же было немного скучно, как, быть может, и Оленину в кавказской станице. Несмотря на „двор“ с огромным бюджетом, на мексиканских камергеров и на индейских фрейлин, общества у него, в сущности, было очень мало. В последнее время ближайшими к нему людьми стали врач Самуил Баш, немецкий еврей, и немецкий полковник, князь Феликс Сальм-Сальм, давно бежавший из Европы в Америку — тоже в поисках романтической жизни (оба они написали о Максимилиане книги). Других близких людей, с которыми можно было разговаривать по-немецки, кажется, почти не было. Зато политических советников, мексиканских и немексиканских, он имел сколько угодно.

Что о них сказать? Это были в политическом отношении какие-то подлиповцы — люди, из которых, по Решетникову, умнейший умел считать до пяти. Иных из них сам император называл средневековыми людьми. Вдобавок почти все они с ним неизменно лукавили, а он был человек прямой и честный. У Андре Жида кто-то говорит: „Нет никакого удовольствия в том, чтобы играть в мире, где все мошенничают“. Максимилиан скоро потерял интерес к такой игре.

Кроме советников, было у него еще что-то вроде начальства. Главнокомандующим французскими войсками в Мексике Наполеон (не сразу) назначил

знаменитого маршала Ашиля Франсуа Базена. В ту пору, после Крымской войны, когда он особенно прославился взятием Кинбурна и был назначен севастопольским губернатором, Базен считался величайшим военным авторитетом. Через несколько лет его имя печально прогремело на весь мир из-за капитуляции Меца. По словам французского исследователя, это случай единственный во всей истории Франции: военный суд за капитуляцию приговорил к смертной казни французского маршала! Дальнейшая участь его всем известна: после темной мецкой истории — темное бегство с острова Св. Маргариты, где он находился в „заключении“ (имел в этой тюрьме трех слуг), затем покушение Илеро, близость к Альфонсу XII, трактат о возможности войны Франции с Испанией и т.д.

В письмах, которые писал из Мексики известный генерал Дуэ, служивший там под начальством маршала Базена, есть совершенно уничтожающие отзывы о нем — точно Дуэ предвидел Мец. Как главнокомандующий, Базен был, конечно, фактическим хозяином Мексики. У номинального императора тотчас установились с ним самые дурные отношения. Не раз высказывалось мнение, что Базен хотел падения Максимилиана, дабы стать наместником Наполеона III в Мексике. Шли в предположениях и еще дальше (хоть едва ли эти предположения основательны): 55-летний маршал женился на 17-летней мексиканке из очень знатной семьи — говорили, что в связи с этим браком он сам стал подумывать о мексиканской короне.

IX.

Партизанская война в Мексике становилась все более грозной. Отряды президента Хуареса совершали набеги, появляясь чуть ли не под самой столицей. 40-тысячная французская армия, разумеется, не могла занимать всю страну. Маршал Базен отправлял экспедиции, партизанские отряды разбивались и вытеснялись, затем, по уходе французов, снова совершали набеги. Это могло продолжаться без конца.

Между тем в Соединенных Штатах гражданская война кончилась победой северян. Американское пра-

вительство теперь все настойчивее требовало увода французских войск из Мексики. Того же добивалась оппозиция и в самой Франции: мексиканская экспедиция, целей которой никто понять не мог, становилась все непопулярнее в Париже. Одновременно очень ухудшилось и европейское положение. После войн 1854 — 1855 и 1859 годов Франции принадлежала неоспоримая гегемония в Европе. Теперь этой гегемонии грозила опасность со стороны Пруссии. Военный министр довел до сведения Наполеона III, что в случае войны на одного французского солдата будут приходиться два немецких. Армия Базена была очень нужна и в Европе. После долгих колебаний Наполеон пришел к выводу, что нужно отозвать войска из Мексики.

Известие об этом совершенно потрясло императора Максимилиана. Он не имел большого политического опыта и не представлял себе, что можно и не выполнять торжественно принятых обязательств. Был ли он уверен в правоте своего дела? Не знаю. Ренан говорил: „On n'est martyr que pour les choses dont on n'est pas bien sûr“*. Едва ли есть доля правды в этом парадоксе и в отношении дел политических. Объясняя случившееся „недоразумением“, „интригами Базена“ и чем угодно еще, Максимилиан, после неудачи письменных представлений и ходатайств, решил послать в Париж императрицу Шарлотту.

Возможно, что тут были и не только политические причины. Несмотря на довольно большую мемуарную литературу, нам трудно понять, какие отношения были между Шарлоттой и Максимилианом. В Мексике жили они почти врозь. Мемуаристы говорят, что в последние месяцы император все свободное от дел время „проводил в обществе своих четырех гавайских собак, за бутылкой шампанского или рейнвейна“. С императрицей он встречался два раза в сутки: за завтраком, в 9 часов утра, и за обедом, в 3^{1/2}; она никогда к нему без доклада не входила. Полковник Бланшо сообщает также, что у императора была в Мексике открытая связь с какой-то необыкновенной красавицей, Бланшо называет ее Армидой. Армида была жена дворцового садовника.

* „Мучаются только из-за того, в чем не уверены“ (фр.).

По-видимому, императрица это знала. Однако многочисленные дошедшие до нас письма ее к Максимилиану проникнуты восторженной нежностью. Не всему, конечно, надо верить из того, что рассказывают мемуаристы, но что-то как будто было неладно в отношениях между супругами. Шарлотта в Мексике занималась преимущественно благотворительными делами. Она основала там филантропическое учреждение *Colegio Carlota* и каждую неделю раздавала бедным до десяти тысяч франков. Свободное время она проводила в чтении книг (все ученых), в прогулках верхом, в обществе своих мексиканских фрейлин. Если не ошибаюсь, одна из них, госпожа Альмонте де Эрран, жива по сей день; во всяком случае, еще была жива весьма недавно.

Никаких признаков умпомешательства в ту пору императрица Шарлотта не подавала — иначе ее, конечно, и не послали бы с миссией в Париж. Судьба явно преследовала императора Максимилиана. Его положение было и без того почти безнадежно. В дополнение ко всему остальному, его жену внезапно постигло безумие, как раз при занятии важными политическими делами, как когда-то лэрда Кестльри, как на нашей памяти президента Дешанеля. Поездка и миссия императрицы превратились в одну из самых странных и жутких глав новейшей „малой истории“.

Х.

Именно в дни, когда Шарлотта находилась в пути из Мексики во Францию, открылось телеграфное сообщение между Европой и Америкой. Письма же в Париж шли не менее месяца. От этого ли или по другой причине, встреча императрицы была организована очень плохо. Приехала она на Монпарнасский вокзал, а камергеры Наполеона, де Вобер и ген. де Бриссак, по ошибке ждали ее на Гар де Орлеан. Императрица рассчитывала, что ей предложат гостеприимство во дворцах Тюильри или Сен-Клу — для нее отведены были комнаты в „Гранд-Отеле“. Вероятно, объяснялось это не отсутствием внимания, а тем, что Наполеону и Евгении, по достаточно понятным при-

чинам, не очень хотелось встречаться часто с мексиканской императрицей: решение предоставить Максимилиана его судьбе было принято бесповоротно, и ничего своей гостье французское правительство не могло ни дать, ни даже обещать. Мериме писал в те дни о Шарлотте одному своему приятелю: „Это бой-баба (*une maîtresse femme*) как две капли воды похожая на Луи Филиппа. Ее сопровождают мексиканские фрейлины со сверкающими глазами, с лицами цвета медового пряника, несколько напоминающие орангутанов. А мы-то ждали Магометовых гурий! Ее Величество, по-видимому, желает получить у нас солдат и денег. Мы вместо того дадим в ее честь праздники. Кажется, это ее не устраивает“.

Письмо придворного писателя довольно точно определяло положение. Солдат и денег Наполеон решил не давать, но почета был готов оказать гостье сколько угодно. Императрица Евгения приехала к Шарлотте с визитом в „Гранд-Отель“. Шарлотта встретила ее на главной лестнице. Беседа была лишь предварительной. Мексиканская императрица желала видеть Наполеона; императрица Евгения уклончиво отвечала, что ее муж очень плохо себя чувствует. „Все равно я к нему ворвусь“, — полупушутливо пригрозила гостья.

Свидание и состоялось в следующий день во дворце Сен-Клу, в том салоне Марса, где когда-то была предложена корона Наполеону I. Разговор был бурный. Говорили, что Шарлотта, натолкнувшись на непреклонный отказ императора, осыпала его бранью (см. Ла-Горс, т. V, стр. 84). Это впоследствии официально отрицалось. Но, по-видимому, именно в тот день впервые стало проявляться безумие Шарлотты. Во время беседы слуги подали оранжад. С этим оранжадом на всю жизнь связалась мания преследования императрицы: ее хотят отравить!*

* В мемуарной литературе есть указания на то, что муж садовницы Армиды отравил в Мексике императрицу Шарлотту соком *rotaoache* (*Datura stramonium* — дурман обыкновенный — *лат.* — *Пер. ред.*), который в больших дозах вызывает смерть, а в малых — умопомешательство (см. у гр. Рейяк-Фуссемань, стр. 260 и след.). — Непонятно, почему оскорбленный муж стал бы мстить жене своего оскорбителя. Но, несомненно, сумасшествие императрицы было так или иначе связано с мыслью о чем-то намерении отравить ее.

В первые дни она еще поступала сравнительно разумно: ездила по министрам, была у Бруэн де Люиса, у Фульда, пыталась их переубедить, посылала довольно толковые письма и, по новому кабелю, телеграммы своему мужу в Мексику („*Todo es inutil*“ — телеграфирует она 4 сентября 1866 года), полуистерически, но по существу резонно, убеждала императрицу Евгению, которая в трудных случаях жизни обычно падала в обморок.

Через несколько дней, как видно из опубликованных гр. Корти писем Шарлотты, ум ее помрачился. Она теперь называет Наполеона III не иначе как дьяволом, пишет о нем „Он“ с большой буквы, рассказывает всем, что во дворце Сен-Клу ее хотели отравить оранжадом. „Он — сам черт, — сообщает она о Наполеоне Максимилиану, — при одном виде его у меня волосы поднялись на голове... Он зачаровал тебя, как змея... Везде, где льется кровь, везде, где хотят объединиться народы, видна его рука. Бисмарк — его агент. Он ведет пропаганду во всем мире и издевается над своими жертвами... Ты не можешь жить в Европе одновременно с Нем... От Нордкапа до Матапана воздух везде насыщен Им... Надеюсь, ты меня вызовешь к себе, когда освободишься от Него в Мексике. Мой приезд был для Него страшнейшим ударом за долгое время“ и т.д.

Заметили ли в Париже, что мексиканская императрица начинает сходить с ума? Кажется, не заметили. Наполеон отдал ей визит в „Гранд-Отеле“ — между тем она была в таком состоянии, что легко могла его застрелить или зарезать. Как бы то ни было, Шарлотта с обычным церемониалом покинула Францию и, отдохнув немного в Мирамаре, отправилась в Рим (в ту пору еще папский): она хотела добиться от папы, чтобы он повлиял на Наполеона.

Встретили ее и там с большим почетом: несколько кардиналов ждали ее приезда на вокзале. Отряд папской гвардии проводил императрицу до гостиницы, тоже „Гранд-Отеля“. Пий IX торжественно принял ее в тронном зале Ватикана, затем прошел с ней в кабинет и, оставшись с Шарлоттой наедине, услышал

* „Все бесполезно“ (исп.).

речи, подобных которым, вероятно, никто никогда в этом кабинете не произносил. Императрица сообщила папе, что он окружен отравителями, состоящими на жалованьи у Наполеона III. „В момент, когда она покидала кабинет папы, она была уже сумасшедшей“, — говорит гр. Корти в своем труде, основанном на тщательном изучении архивных материалов.

Императрица вернулась в „Гранд-Отель“. В этот вечер она давала обед в честь кардиналов и, опасаясь отравления, не ела за обедом ничего, кроме орехов и апельсинов, тщательно их осматривая: не вспрыснули бы внутрь яд. К напиткам Шарлотта не притрагивалась, но так как ее мучила жажда, то она вышла из гостиницы, наняла извозчика и отправилась к фонтану, на том же извозчике императрица снова поехала к папе и добилась с ним свидания. Она бросилась в ноги Пию IX, сообщила ему, что „Гранд-Отель“ наводнен наполеоновскими отравителями, что она голодна, что она чувствует себя в безопасности только в Ватикане, что она из Ватикана не уйдет.

Нетрудно себе представить растерянность во дворце папы. По приказу Пия IX была послана в Бельгию телеграмма брату императрицы, графу Фландрскому, о том, что он должен немедленно прибыть в Рим: его сестра заболела умственным расстройством. Шарлотте подали шоколад, который она согласилась выпить, впрочем, тоже после разных мер предосторожности. Затем в „Гранд-Отель“ был послан кардинал Антонелли, тотчас „удаливший всех подозрительных людей“. Императрице объявили, что теперь она может вернуться в гостиницу совершенно спокойно. Однако Шарлотта об этом не хотела слышать, несмотря на удаление отравителей. „Никогда еще ни одна женщина не ночевала в Ватикане, — говорит гр. Корти. — Но императрица кричала, раздирая душу, и повторяла, что будет спать на полу, если ей не отведут комнаты. Папа приказал монсеньору Пакка приготовить для нее и для ее фрейлины постели в библиотеке“.

На следующий день умопомешательство Шарлотты стало буйным. Ее перевезли в „Гранд-Отель“ и надели на нее смирительную рубашку. За императрицей приехал граф Фландрский. Она вдруг почувствовала себя лучше, затем снова впала в состояние пол-

ного безумия. Однако теперь в намерении отравить ее она обвиняла уже не Наполеона III, а своего мужа Максимилиана. Из этого можно сделать вывод, что к ее умопомешательству имели некоторое отношение и происходившие в Мексике интимные дела. Армида?

Перевезли ее сначала в Мирамар, потом в Бельгию, на родину, где она прожила сумасшедшей еще шестьдесят лет! Бельгийская королевская семья отвела ей замок Тервюрен. В 1879 году этот замок сгорел. Говорили, что Шарлотта сама его и подожгла. Кажется, это неверно, хоть врачи и сообщали, что у нее часто бывали припадки *monomanie destructive**. В эти минуты она истребляла вокруг себя все — кроме портретов и вещей императора Максимилиана. После пожара Тервюрена для нее купили у графа Бофора другой замок, Бушу, где несчастная императрица и жила до самой своей кончины: жила там и в 1914—1918 годах, в пору германской оккупации. Занималась она вязанием, иногда садилась за рояль и играла мексиканский гимн. В день ее рождения Шарлотту неизменно посещала королевская семья. Король Альберт бывал у своей тетки довольно часто. Он присутствовал и при ее кончине, в январе 1927 года.

XI.

Императрица Шарлотта ничего в Париже не добила; Наполеон III в личном письме к Максимилиану предупредил его, что французские войска из Мексики уйдут, и нерешительно ему посоветовал отречься от мексиканского престола. То же самое советовали императору и некоторые другие лица: отречься от престола и бежать, возможно скорее бежать в Европу.

Он и сам об этом подумывал. Вдобавок, у него были сведения, что его брат Франц Иосиф после неудачной франко-прусской войны стал очень непопулярен в Австрии. Как известно, в 1866 году Австрия потерпела от пруссаков решительное поражение при Садовой, но одновременно разгромила союзные с Пруссией итальянские войска под Кустоцой и ита-

*Мания разрушения (*фр.*).

льнянский флот у острова Лиссы. Австрийский адмирал Вильгельм фон Тегетгоф, разбивший с 7-ю фрегатами 11 фрегатов адмирала Персано и впервые путивший в ход новое орудие — таран (теперь все это звучит архаически-забавно), стал национальным героем в Австрии. Тегетгоф был близким другом Максимилиана и состоял в свое время при нем адъютантом. Как нарочно, австрийский фрегат, потопивший под Лиссой лучшее итальянское судно, носил имя эрцгерцога Максимилиана, в свое время „командовавшего“ австрийским флотом. В нетребовательной Австрии этого оказалось достаточным, чтобы создать некоторую популярность мексиканскому императору. При возвращении Франца Иосифа в Вену на улицах столицы кричали: „Да здравствует Максимилиан!“ Так, по крайней мере, писали в Мексику австрийцы, и, по-видимому, их сообщения произвели на бывшего эрцгерцога некоторое впечатление: что, если Франц Иосиф отречется от короны в его пользу? Максимилиан еще говорил о „нашем мексиканском народе“, но как будто был бы не прочь отказаться от мексиканского престола ради наследственного, австрийского.

Европа тех дней жила со дня на день, как мы теперь (впрочем, я сходства не преувеличиваю). Наполеон III все еще считался гением; однако уже высказывались разные сомнения, может быть, он умрет? или, может быть, Бисмарк установит в мире прусскую гегемонию? а может быть, в Европе произойдет социальная революция? Достоевский немного позднее (20 марта 1868 года) писал А.Н.Майкову: „Для чего Наполеон увеличил свое войско и рискнул на такую для своего народа неприятную вещь в такой критический для себя момент? Черт его знает. Но добром для Европы не кончится. (Я как-то ужасно этому верю.) Плохо, если и нас замешают. Кабы только хоть два годика спустя. Да и не один Наполеон. Кроме Наполеона, страшно будущее, и к нему надо готовиться. Турция на волоске, Австрия в положении слишком ненормальном (я только элементы разбираю и ни о чем не сужу); страшно развившийся проклятый пролетарский западный вопрос (о котором почти и не упоминают в насущной политике!) и, наконец, главное: Напо-

леон — старик и плохого здоровья. Проживет недолго. В это время наделяют неудач еще больше, и Бонапарты еще больше омерзуют Франции, что будет тогда? К этому России надо готовиться, и поскорее, потому что это, может быть, ужасно скоро совершится“.

Ожидания Максимилиана были, конечно, не очень серьезны. Австрия все же не собиралась свергать Франца Иосифа. Вдобавок, у австрийского императора был законный престолонаследник, хотя и малолетний: кронпринц Рудольф. Габсбургской короны Максимилиан, наверное, не получил бы, если бы и уехал из Мексики, но он спас бы свою жизнь. Погубили его те самые люди, которые и возвели его на престол. Из них Гутьеррес так в Мексику и не вернулся. Став мексиканским императором, Максимилиан неоднократно убеждал этого своего первого советника вернуться на родину. „Человек семнадцатого столетия“ под разными предложениями уклонялся: у него было большое состояние, отличный палаццо в Риме, он предпочел остаться в Европе. Это ему не помешало, когда обстоятельства изменились, писать Максимилиану, что отказ от престола был бы недостойным поступком, „бегством с поста“ и т.д.

Играя на „долге“ и „посте“, можно было добиться всего что угодно от романтического императора. „Если страна (Мексика) меня не покинет, — писал он в Европу графу Бомбеллю (Корти, II, 236), — то и я ее не покину, даже после того как Франция уведет свои знамена, запятнанные нарушением договора. Живейшей и высшей радостью была для меня победа у Лиссы. Во мне пробудились старые воспоминания, флот, его доблестные офицеры, мои милые матросы, Адриатическое море... С трудом сдерживал я скорбь при мысли, что мне не было дано на борту корабля, носящего мое имя, повести в бой молодое флотское знамя. Но чувство это прошло, у меня остается лишь благодотворное сознание исполненного с честью долга“.

Может быть, ему было и тяжело возвращаться в Европу. Он много писал друзьям об очаровании Мексики, о своей успешной, плодотворной работе, о своих больших планах на будущее и, вероятно, при крайнем своем самолюбии боялся, что окажется в смешном положении. Не могла не тревожить его и мысль о

сопешней с ума жене: как быть с ней (и с Армидой?). Колебался он мучительно и долго. Его положение становилось с каждым днем все труднее, все безнадежнее. Партизанские отряды президента Хуареса приближались к столице. У Максимилиана почти не было войск и совершенно не было денег. Государственные расходы покрывались теперь при помощи особого приема, называвшегося *refaccion* и применявшегося, кажется, пока только в Мексике (см. Голо, т. II, стр. 174): если какому-либо лицу причиталось от казны десять тысяч пиастров, то ему предлагали внести еще десять тысяч золотом и получить „боны“ на двадцать тысяч!.. (Быть может, этот метод еще завоеует и Европу.) Не было у Максимилиана и сколько-нибудь серьезных министров. Вероятно, несчастный император уже мог догадываться о ждущей его участи. В своих стихах он пишет:

Er war um zu sein,
Er starb um zu leben*.

Не знаю, кто именно ему посоветовал уехать из столицы в Кверетаро.

XII.

Кверетаро. 32 002 жителя. Основан индейцами в 1440 году. Взят штурмом испанцами 25 июля 1531 года. После этого штурма „жители провели ночь за торжествами в честь нового хозяина“ („pasaron la noche en festejos en honor de su nuevo señor Carlos V“). Зная нравы того времени, мы может догадываться, какая это была ночь и какие торжества. Но с той поры небольшой городок этот пользовался в Мексике репутацией города, особенно преданного престолу и верно-го консервативным традициям, вроде как Потсдам в Германии. Вероятно, именно поэтому и направился туда Максимилиан. Кроме того, Кверетаро считался крепостью.

Не было ли и каких-либо мистических причин? По словам доктора Баша (т.1, стр. 176), один мексикан-

*Оп был, чтобы быть, И умер, чтобы жить. — Пер. с нем. авт
17**

ский „каббалист“ довел до сведения императора, что „пять М принесут ему победу“. Максимилиан принял на себя главное командование войсками, а остальные военные посты поручил генералам Мирамону, Мехиа, Маркесу и Мендесу. Пять М оказались налицо. Генералов вообще в Мексике всегда было достаточно, можно было подобрать с фамилиями на любую букву. Но войск было мало, очень мало: каких-нибудь десять тысяч плохо вооруженных солдат против шестидесятитысячной армии президента Хуареса, которую снабжали оружием Соединенные Штаты. Преобладали в войсках Максимилиана, конечно, природные мексиканцы, но было немало и иностранцев. Как ни странно, встречаются среди его офицеров и люди с русскими или, по крайней мере, славянскими именами: Павловский, Иван Будский, Антон Яблонский. Кто были эти люди?

Кроме генералов с фамилией на М Максимилиана сопровождал в Кверстаро еще полковник с фамилией на Л: Лопес, „notre fidèle et excellent colonel, don Miguel Lopez“*, — пишет о нем где-то император. Максимилиан с ним познакомился в первый же день после своего появления в Мексике: полковник был начальником того почетного караула, который сопровождал Максимилиана и Шарлотту по пути из Веракруса в столицу. Дон Мигель Лопес стал затем любимцем императора. Он его и предал.

ХIII.

Имя президента Хуареса теперь почти забыто, думаю, везде, кроме Мексики, где ему воздвигнут великолепный мавзолей-памятник. Но когда-то это имя пользовалось в Европе громкой известностью. Я видел старый портрет президента, с гравированной надписью на испанском языке, в которой чего только нет: „величайший из героев“, „необыкновенное самоотвержение“, „гражданская доблесть sobre todo elogio“² и т.д. Надо, конечно, сделать поправку на особенности мексиканского стиля. Армия, например, в Мексике не

* „Наш милый и преданный полковник дон Мигуэль Лопес“ (фр.).

² „Сверх всякой похвалы“ (исп.).

такая уж большая, и военная история не такая уж изумительная, но гимн у мексиканцев самый воинственный из всех мне известных: тут и „guerra, guerra“, и „los cañones“, и „los blasones“, и „espada terrible“, и „guerrero inmortal“*... Мексиканцы, впрочем, действительно храбрый народ, как президент Хуарес был в самом деле выдающийся человек. По своему характеру, отчасти и по биографии, он несколько напоминает Кромвеля, и если слава ему досталась значительно помельче, то главным образом потому, что Мексика — не Англия.

Дон Бенито Хуарес был самый настоящий индеец. „И отец, и мать его были индейские крестьяне чистойшей запотекской крови“, — говорит о нем его восторженный биограф Ральф Берк (стр. 52). Учился он в католической семинарии, был долго профессором физики, потом стал изучать юридические науки и проделал блестящую административную и политическую карьеру. Если не ошибаюсь, в новейшей мексиканской истории он — единственный чистокровный индеец, ставший главой государства, и едва ли не единственный государственный деятель, сохранивший этот пост до конца своей жизни, да еще умерший естественной смертью (что до некоторой степени было просто против правил).

Взглядов он держался далеко не крайних. Не очень далеко стоял от нынешних французских радикал-социалистов или от умеренных революционеров 1848 года. Мексика, ее стиль и экзотика придавали этому несколько более торжественный и провинциальный характер. Президент Хуарес переводил Тацита и читал его вслух своей семье. Он отличался необыкновенным упорством, энергией, трудолюбием. Французские войска в Мексике наносили ему одно поражение за другим; Хуарес не терял духа, терпеливо собирал остатки своей армии и снова вел ее в бой. Президент знал богословие, физику, право, но стратегией совершенно не интересовался и, кажется, даже не верил в существование такой науки. Однако лучшие французские генералы так до самого своего ухо-

* „Войны, войны“, „лушки“, „гербы“, „грозная шпага“, „бессмертный боец“ (исп.).

да из Мексики не могли его уничтожить или довести до капитуляции.

Человек он был жестокий, как большинство пришедших к власти революционеров. Правда, гражданская война велась с большой жестокостью обеими сторонами: когда партизаны Хуареса попадали в плен, с ними не церемонились; точнее, их вообще в плен не брали (по крайней мере, в один из периодов этой войны). Злобы у президента накопилось много: австрийского же эрцгерцога, зачем-то явившегося в Мексику, он ненавидел особенно люто.

Максимилиан, конечно, воплощал в себе все, что могло быть ненавистно Хуаресу. Он был пришелец, захватчик, барин, иностранный император, ставленник другого иностранного императора, потомок Габсбургов, поработивших Мексику и ее исконное индейское население. Что и говорить, все существующие расы — высшие, самые высшие. „К зырянам Тютчев не придет“? Я уверен, что у зырян есть поэты, которых они ставят гораздо выше Тютчевых. Ничего нет странного и в том, что высшей расой себя считают и индейцы, по крайней мере, по сравнению с европейцами, прибывавшими в их страну. Была, наконец, и личная жизнь. Максимилиан весьма мало походил на Тиберий, но, с точки зрения мексиканского Тацита, он был именно Тиберий. Вероятно, история с Армидой была крайне противна президенту Хуаресу. Сам он был образцовый семьянин, оставил двенадцать душ детей и умер, держа в руках портрет жены, скончавшейся незадолго до него.

XIV.

19 февраля 1867 года Максимилиан со своей крошечной армией вошел в город Кверетаро. По словам доктора Бапа (II, стр. 1), население оказало императору восторженный прием. По-видимому, многие в Мексике его искренно любили. Люди, знавшие Максимилиана, говорят о его большом личном обаянии. Уже в пору неудач, после ухода французских войск, один из мексиканских генералов предсказывал, что Максимилиан перейдет в историю с прозвищем Великого.

Император распределил должности между четырь-

мя своими генералами на букву М. Маркес стал начальником штаба, Мирамон командовал пехотой, Мехиа — кавалерией, Мендес — резервами. Генералы терпеть не могли друг друга. Мендес предлагал императору арестовать Мирамона; Мирамон считал подозрительным человеком Маркеса. Сам Максимилиан принял на себя верховное командование. Через две недели крепость осадила республиканская армия генерала Эскобедо.

Многие великие писатели говорили о поэзии войны. Из русских классиков у Достоевского есть об этом интересная страница. У Гоголя Андрий Бульба „весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей“. Правда, ни Гоголь, ни Достоевский никогда никакой войны не видели. Но и Толстой, видевший войну вблизи, писал ее отнюдь не одной черной краской, хоть он нигде не говорит об „очаровательной музыке“. Тема эта сложная. В новой литературе она понемногу исчезает (говорю о литературе настоящей). Вероятно, аэропланы, с ипритом и зажигательными снарядами, нанесут военной поэзии последний удар. Разумеется, Лилиентали, Райты, Сантос-Дюмоны не ответственны за то употребление, которое делается и будет делаться из их изобретения. Однако в общем итоге изобретение это, несмотря на полеты через океаны и полюсы, окажется, думаю, не счастьем, а проклятьем для человечества. Если в злую ночь одни аэропланы сожгут Национальную библиотеку и Лувр, а другие, скажем, Венецию — разумеется, с сотней тысяч людей на придачу в обоих случаях, — то мало кого утешат самые замечательные спортивные полеты самых замечательных современных рекордистов. Поэзию в новой войне усмотреть будет не очень легко и наиболее пылким, восторженным людям.

Осада Кверетаро была одним из последних в истории образцов старой, совсем старой войны. Она почти не отличалась от осады, описанной в „Тарасе Бульбе“. Кверетаро считался крепостью, вероятно, потому, что был окружен холмами. Кроме того, на окраинах города и вокруг него было много обнесенных стенами зданий, в большинстве монастырей, выстроенных в расчете на столетия и потому построенных прочно. Каждое из этих зданий можно было оборонять. Неко-

торые даже считались „неприступными“. В мемуарах, относящихся к осаде, можно найти ученые слова, как „верки“, „линия обложения“, „контрвалационная линия“, „ключ к позиции“ и т.д. Но произносятся они без большого убеждения. „Ключа к позиции“ не было, потому что не было никакой позиции. Артиллерию, конечно, имели обе стороны, но довольно жалкую, вдобавок с весьма малым числом снарядов. Наряду с пушками было в ходу и лассо. Осада Кверетаро, в сущности, сводилась к тому, что осаждающие при помощи шпионов и лазутчиков старались узнать, между какими холмами и зданиями ночью стоит меньше всего осажденных. Тогда в брешь с наступлением темноты обычно бросалась „кавалерия“, то есть несколько сот людей на лошадях и мулах. Так как осажденные за две недели успели все же выкопать между монастырями ров и устроить разные завалы и баррикады, то в большинстве случаев штурм отбивался: из соседних зданий прибежала вовремя „пехота“ и прогоняла людей на мулах выстрелами из ружей XVIII века, оставшихся от испанского владычества. Маршал Вобан считал, что искусство строителя крепостей заключается в „замене крови потом“; на постройке укреплений Кверетаро пота было, верно, пролито немного.

Сходство с гоголевской осадой усугублялось тем, что на деревьях, в крепости и вне ее висело много людей: шпионов, лазутчиков и просто пленных. Тем не менее переходить через „линию обложения“ было не так уж трудно — переходили и осажденные, и осаждающие. Кажется, в течение всей осады Максимилиан поддерживал более или менее правильное сообщение с людьми, оставшимися в Мехико. В столицу был даже отправлен из Кверетаро отряд конницы под командой генерала Маркеса. В таких случаях гарнизон производил вылазку в одну сторону, чтобы отвлечь туда внимание неприятеля, а в другую сторону уходили те, кому нужно было уйти.

Подобная осада могла, собственно, продолжаться долго. Но так как штурмы и вылазки, естественно, сопровождалась потерями, а осаждающих было гораздо больше, чем осажденных, то понемногу „ключи“, то есть холмы и монастыри, переходили в руки респу-

бликанцев. Кроме того, в крепости не хватало съестных припасов, вода была отравлена трупам, начинались болезни, особенно дизентерия. Все же гарнизон держался очень мужественно и не предавал Максимилиана. Он появлялся везде, участвовал лично в боях, делил с солдатами лишения и пользовался у них большой популярностью. Его встречали криками: „Viva el emperador!..“* Жил он, по словам Баша, в двух комнатах, вставал в пять часов утра и ложился в девять. По-видимому, мексиканские генералы ему надоели. Большую часть свободного времени он проводил теперь в обществе тех двух немцев, о которых я упоминал: князя Феликса Сальма и доктора Самуила Баша. Из мексиканцев же всего ближе к нему был полковник Мигуэль Лопес.

С этим полковником и вступило в переговоры неприятельское командование. Основная задача осады, очевидно, заключалась в том, чтобы захватить не „ключ“, а здание, в котором жил император. Максимилиан жил в монастыре Круз. Лопес был комендантом этого монастыря.

В подобных делах, в вопросах тактики „подкупательной“, очень трудно утверждать что-либо положительно. Полковник Лопес впоследствии оправдывался, сочинял записки и клялся, что ни в чем виновен не был. Однако его заявления опровергались, — „*toujours les scélérats ont recours au parjure*“**. В мемуарной литературе признается установленным, что Лопес предал Максимилиана отчасти из страха — ему грозили казнь как ставленнику иностранного императора, отчасти из ожидания больших выгод. Были ли деньги только обещаны или действительно заплачены, не могу сказать, да это и не так важно. Известно лишь, что все мексиканское общество, и республиканское и правое, бойкотировало полковника Лопеса до конца его дней. От него ушла жена (Максимилиан был крестным отцом их ребенка), с ним порвали знакомство друзья, родные от него отказались. Умер он от укуса бешеной собаки.

В ночь на 15 мая полковник Лопес перешел „линию обложения“, сначала один в направлении к неприятелю.

* „Да здравствует император!..“ (исп.)

** „Клятвенное упреждение — обычная уловка злодеев“ (фр.).

лю, затем в обратном направлении с отрядом республиканцев. Как комендант монастыря Круз, он знал пароли и был хорошо известен всем защитникам крепости. Его и шедших с ним людей часовые пропустили беспрепятственно, не поднимая тревоги. Отряд ворвался в монастырь, вернее, даже не ворвался, а просто вошел. Князь Сальм вбежал в спальную императора с криком: „Ваше Величество, неприятель в Крузе!..“ Максимилиан обнажил шпагу и бросился вниз по лестнице. Его сопровождали Сальм, Баш, еще два человека. У выхода из монастыря их задержали неприятельские солдаты. Осада, продолжавшаяся больше двух месяцев, кончилась. Кончилась и гражданская война.

XV.

В отличие от быта, описанного у Гоголя, в Кверетаро во время осады шла светская жизнь. В этом мексиканском Потсдаме было довольно чопорное общество, в существовании которого война изменила не так уж много. Снаряды артиллерии осаждающих, по-видимому, в центре города не падали. Бои шли на холмах и на окраинах. Общество страдало преимущественно от недостатка съестных припасов. Однако устраивались приемы, дамы ездили друг к другу в гости и обменивались новостями с „фронта“.

Император до своего пленения не принимал участия в этой светской жизни. Он и раньше не так уж близко сходил с мексиканцами. Едва ли Максимилиан вполне свободно говорил на языке, который начал изучать тридцати лет от роду*. Но в этом обществе он пользовался большими симпатиями. Как только распространилась весть, что император взят в плен, кверетарские дамы надели черные платья. А когда стало известно, что у него нет ни вещей, ни съестных припасов, его стали засыпать подарками. Отовсюду присылали еду, белье, посуду. Участвовало в этом не только общество. Торговки бесплатно доставляли фрукты, овощи, масло и т.д.

*Мексиканское наречие довольно существенно отличается от испанского языка, особенно произношением (Берлейн, стр. 440).

Вначале и власти не очень стесняли пленного императора. По словам гр. Корти, Максимилиан в первые дни плена в открытой коляске ездил с визитом к командующему республиканской армией, генералу Эскобедо, жившему в какой-то „гасиенда де ла Пуризма“, очевидно, за городом. При этом сопровождали его князь и княгиня Сальм-Сальм, но конвоя не было. Император мог, следовательно, сделать попытку к побегу.

Побег действительно подготовлялся. Дело было трудное. Вся Мексика знала императора в лицо — он удивительно не походил на мексиканца. Вдобавок, Максимилиан один в стране носил раздвоенную бороду и отказывался ее сбрить, „чтобы не быть смешным в Европе“. Этот самолюбивый человек, гораздо менее приспособленный для побегов, чем Казанова или Латюд, вообще ставил много разных условий и всячески мешал заботившимся о нем друзьям. Впрочем, побег мог состояться только при благосклонном попустительстве властей.

В этом и заключалась главная задача друзей: сговориться с властями. И, насколько я могу судить, история эта довольно неясная. Наблюдение за Максимилианом было поручено двум полковникам. Их и пытались подкупить князь и княгиня Сальм-Сальм. К сожалению, рассказ княгини (эта милая и умная дама была в молодости цирковой наездницей) нельзя признать ни ясным, ни удачным: она ухитрилась придать делу, — казалось бы, отнюдь не смешному — легкий водевильный оттенок.

Полковникам за попустительство было предложено по 100 тысяч песо. Но так как денег у друзей Максимилиана не было, то они предложили векселя. Если бы полковники были в самом деле продажные люди, то вексельная комбинация, совершенная в подобных условиях, их, вероятно, не соблазнила бы. Один из них потребовал жиро* послов. Есть основания думать, что полковники просто хотели запутать в дело иностранных дипломатов. Княгиня Сальм-Сальм, однако, объяснила колебания другими мотивами. „Полковник, вам недостаточно ста тысяч песо?

*Жиро — передаточная надпись на векселе, чеке и т. п. — *Прим. ред.*

Так вот я, берите меня!“ — воскликнула она и принялась раздеваться. „Смущенный полковник бросился к запертой двери и сказал, что теперь честь его поставлена на карту дважды и что если княгиня немедленно не отворит дверь, то он выскочит в окно“ (Корти).

По всей вероятности, в республиканском лагере было колебание. Часть командования стояла за то, чтобы дать возможность Максимилиану мирно бежать: суд над ним был связан с серьезными политическими затруднениями (не считая затруднений юридических, которые в подобных случаях редко принимаются в расчет). Восторжествовала другая группа. Вернее, от президента Хуареса пришел приказ: предать пленного императора военному суду.

XVI.

В июне 1867 года в парижском театре „Варьете“ происходил необыкновенный спектакль. Давали „Герцогиню Герольштейнскую“ с Гортензией Шнейдер („Шнейдершей“, как ее звали в России), с двумя знаменитыми опереточными артистами в главных ролях. В огромной императорской ложе, в первом ряду, рядом с Наполеоном III и с императрицей Евгенией, находились император Александр II и два великих князя, прусский король, впоследствии император Вильгельм I, с наследником престола, впоследствии императором Фридрихом, короли испанский, португальский и баварский, голландская королева и египетский хедив. Во втором ряду сидели другие принцы, Бисмарк, тогда еще граф, министры, маршалы, послы и посланники. Весь мир съехался в Париж на международную выставку.

Спектакль имел огромный успех. Бисмарк был особенно весел после обеда: в торжественные дни выпивал за обедом две бутылки шампанского: он признавал только это вино и говорил, что его патриотизм не распространяется на желудок. От „Герцогини Герольштейнской“ будущий канцлер будущей Германской империи был в восторге и, не стесняясь, говорил, что немецкие принцы выведены в оперетке „как живые“: сходство с их дворами поразительное. Когда, в

антракте, в ложу был введен и представлен гостям автор, Бисмарк упорно звал его в Берлин: „Вы увидите, какой успех вы будете иметь у нас!“ Оффенбах раскланивался с достоинством общепризнанного гения и принимал от монархов все приглашения: в Берлин, в Петербург, в Суэц на открытие канала. Только молодой баварский король смотрел на него с отвращением, как с отвращением слушал его музыку, оскорблявшую слух „первого из вагнерианцев“.

В конце антракта генерал Флери подал императору срочную депешу. Наполеон III распечатал ее и прочел: „Кверетаро сдан Хуаресу. Император Максимилиан взят в плен“. Не сказав ни слова, он передал телеграмму Евгении. „Императрица прочла, и на лице ее обозначились у рта две морщины... Она пыталась еще улыбаться. Но казалось, что все в ней застыло и замерло...“

Займствую эту сцену из труда о Наполеоне III французского историка Октава Обри (стр. 286 и след.). Не скрою, что она вызывает у меня некоторые сомнения. В газетах того времени я не нашел описания этого спектакля. Правда, газеты тогда уделяли визитам коронованных особ неизмеримо меньше места, чем теперь. Однако в нескольких словах обычно сообщалось, где проводили вечера приехавшие с визитом к Наполеону монархи и их министры. Так, в „Журналь де Деба“ от 13 июня 1867 года есть упоминание, что Бисмарк накануне был на представлении „Герцогини Герольштейнской“*, — или он во второй раз посетил тот же театр? Кроме того, некоторые из перечисленных в книге Обри лиц на этом спектакле никак быть не могли.

Известие о падении Кверетаро действительно пришло в Европу с большим опозданием. Первое сообщение о нем появилось в газетах только 10 июня, то есть почти через месяц после пленения Максимилиана. Это была телеграмма президента Хуареса генералу Берриозалалу: „Уважаемый друг! Да здравствует родина!

*Полипа Меттерних рассказывает в своих воспоминаниях (глава XIV), что появление императора Александра II в оперетке на „Прекрасной Елесе“ вызвало в Париже сенсацию: „В те времена оперетки проде „Прекрасной Елены“ считались „le comble de licence“ — „пределом вольности“ (фр.) — Пер. ред.

Кверетаро взят штурмом сегодня утром, в 8 часов. Максимилиан, Мехиа, Кастильо и Мирамон взяты в плен“ („Журналь де Деба“, 11 июня 1867 года).

Верно и то, что известие о падении Кверетаро и в особенности об опасности, грозящей Максимилиану, прозвело сильнейшее впечатление на императрицу Евгению. Париж, конечно, ничего сделать не мог: французского императора Хуарес ненавидел не меньше, чем мексиканского. Непосредственное обращение Наполеона III к президенту только ухудшило бы участь Максимилиана.

Франция и Австрия пытались использовать влияние американского правительства в Мексике. Но из этого ничего не вышло. В пору гражданской войны Соединенные Штаты действительно много сделали для Хуареса. Однако теперь, после его полной победы, они ему были больше не нужны. Напротив, как почти всегда бывает в подобных случаях, президент старался подчеркнуть, что победил собственными силами, что за помощь он, конечно, благодарен, но мог бы обойтись и без нее, а в дальнейшем намерен править вполне самостоятельно. Хитрый индеец, в самом деле, до конца своих дней вел совершенно независимую политику.

Кроме того, в Америке почему-то не верили, что жизни бывшего императора грозит опасность. „Он в такой же безопасности, как мы с вами“, — говорил в Вашингтоне товарищ государственного секретаря Сьюард. Американский посол в Мексике был в отпуске и не торопился вернуться на свой пост. Получив приказание президента отправиться к Хуаресу и сделать ему представление в пользу Максимилиана, посол сказался больным и не поехал. Многое из того, что мы приписываем злой воле, совершается просто по человеческому равнодушию. Злой воли в Америке не было.

Не помогло и вмешательство левой Европы. Гарибальди послал Хуаресу телеграмму с просьбой не подвергать репрессиям низложенного императора. Эта телеграмма тоже нисколько не подействовала на президента, вероятно, по таким же причинам: сочувствие радикального общественного мнения имело для него некоторую ценность в пору гражданской войны. Те-

перь он рад был случаю показать, что он не какой-нибудь сентиментальный идеалист, а самый настоящий государственный человек; это обычная черта пришедших к власти революционеров. Наиболее простое объяснение казни Максимилиана заключается в том, что Хуарес был человек злой и жестокий. Ученый профессор, поклонник Тацита, быть может, кое-что унаследовал от дедов, снимавших скальп с побежденных.

XVII.

Машина военного суда совершила свою работу быстро. Вместе с Максимилианом суду были преданы генералы Мирамон и Мехиа. Генерал Мендес был расстрелян на месте в день взятия Кверетаро. „Каббалиста“, так удачно предсказавший Максимилиану, что буква М принесет ему счастье, оказал генералам с фамилией на эту букву очень плохую услугу.

Все же тогда был девятнадцатый век, а не двадцатый: какие-то внешние гарантии правосудия признавались необходимыми и в Мексике. Подсудимым было предложено избрать защитников. Максимилиана защищали — вполне добросовестно — два адвоката, принадлежавшие к республиканской партии. Сущности дела это, конечно, не меняло: политическое убийство оставалось политическим убийством. Но формы были соблюдены. Правда, бывший император на процессе не присутствовал, однако не по вине властей: он сам отказался от появления на суде, ссылаясь на то, что процесс будет происходить в театре и, следовательно, примет характер балагана: „Я на сцену не выйду, меня можно будет только притащить туда силой...“ Балагана не было, была обычная в таких случаях судебная комедия. Не стану, впрочем, утверждать, что приговор был предreshен (хотя это и весьма вероятно): из семи офицеров, составлявших коллегию военного суда, трое высказались за „пожизненное изгнание подсудимого из Мексики“, то есть именно за то, чего добивались друзья Максимилиана. Он был приговорен к расстрелу большинством четырех голосов против трех.

Низложенный император встретил приговор совершенно спокойно. В его литературных произведениях о смерти говорится довольно много. „Воображение все преувеличивает. Даже смерть не так страшна, как ее изображают“. Он уверял, что не желает дожить до преклонного возраста. „До тридцати лет человек живет ради любви, от тридцати до сорока — ради честолюбия. Позднее ему остаются лишь радости желудка и воспоминания“. Максимилиан был верующим человеком. „Атеисты внушают мне ужас, а атеистки — отвращение...“ Теперь был случай доказать, что смерть в самом деле не страшна. Он выдержал экзамен блистательно.

Местом казни был избран один из холмов Кверетаро, поблизости от монастыря, у ворот которого император был взят в плен. Рано утром Максимилиана разбудили со всеми полагавшимися формальностями. Он надел фрак и спокойно вышел к другим осужденным. „Вы готовы, господа? Я готов...“ Помолился, отдал доктору Башу свое обручальное кольцо с просьбой передать в Вене эрцгерцогине Софии, затем сел в коляску и в сопровождении эскорта отправился на место казни.

Утро было прекрасное. Однако на улицах никого не было. В знак протеста против приговора население Кверетаро не вышло из домов и наглухо затворило и заперло окна. Почти никого не было и на холме. Там была „стенка“ — если не ошибаюсь, ее и теперь показывают посетителям. Максимилиану предложили занять место посередине, между двумя генералами. Он сказал Мирамону: „Генерал, монарх обязан награждать за храбрость даже в свой смертный час. Разрешите уступить вам мое место...“ Если считать необходимыми исторические изречения перед смертью, то это не хуже очень многих других, в изобилии к нам дошедших, особенно от людей 1793 — 1794 годов. Взвод солдат выстрелил. „Смерть последовала мгновенно“.

XVIII.

И на этот раз известие о расстреле Максимилиана пришло в Париж в самое неудобное время, как до того известие о падении Кверетаро. Император и импера-

трица собрались выехать на раздачу наград по выставке. Смятение в Тюильри было полное, хоть теперь неожиданности быть не могло: „В „Журналь де Деба“, в других газетах того времени высказывалось опасение, что Максимилиан будет расстрелян. „La mort dans l'âme“* (Корти), было решено „отложить получение известия“. Отбыв церемонию, императрица вернулась во дворец и упала в обморок.

Наполеон III послал Францу Иосифу следующую телеграмму: „Ужасное известие, только что нами полученное, повергло нас в глубокое горе. Одновременно сожалею и восхищаюсь энергией, которую проявил император Максимилиан, решив собственными силами бороться с партией, победившей только вследствие измены. Не могу утешиться в том, что с лучшими намерениями способствовал столь печальному исходу. Прошу Ваше Величество принять самое искреннее выражение моего глубокого сожаления“.

Император Франц Иосиф ответил весьма любезной телеграммой. И в этом случае, как в столь многих других, он выразил горе в строгом согласии с габсбургским этикетом. Этикет, правда, подобного случая не предусматривал. В Бурге начались хлопоты. Выяснилось, что мексиканское правительство не возражает против передачи Австрии набальзамированного тела Максимилиана. За ним был послан знаменитый адмирал Тегетгоф. Не представляю себе, *как* принял у властей это тело бывший адъютант расстрелянного эрцгерцога. Многим читателям, вероятно, попадалась известная картинка „Возвращение мексиканского императора на родину“: судно, задрапированное черным сукном, входит в Триестскую гавань...

Несколько позднее под редакцией Фридриха Гальма (барона Мюнха-Беллинсгаузена) появилось собрание сочинений Максимилиана. Он еще успел прочитать в Мексике большую часть корректуры. Том его воспоминаний вышел раньше, в 1862 году, но был отпечатан лишь в 50 экземплярах, для близких людей. Книги большого успеха не имели, несмотря на мрачную *publicité*[#] Кверетаро.

* „С чувством глубокого горя“ (*фр.*).

[#] Известность (*фр.*).

Сараевское убийство

I.

„Ваше Высочество, за вами в лучший мир последует еще небывалая свита...“ Рисунок с этой надписью, появившийся в начале войны, памятен, вероятно, большинству читателей старшего поколения. Человек, кончина которого повлекла за собой величайшую катастрофу в мировой истории, не принадлежал к числу особенно выдающихся людей. Немногочисленные друзья эрцгерцога Франца Фердинанда говорят, что он был честен, трудолюбив, добросовестен и обладал от природы недурными способностями. По-видимому, это близко к истине, и этого не так мало; да и все правители той Европы выигрывают от сравнения с большинством нынешних. Но почти ничего другого об эрцгерцоге Франце Фердинанде не скажешь. Он не был, конечно, самым блестящим из Габсбургов и по дарованиям значительно уступал австрийскому императору Максимилиану. Не было у него и того стиля, который делает из Франца Иосифа столь живописную фигуру в чисто художественном отношении.

Эрцгерцог Франц Фердинанд Карл Людвиг Иосиф Мария (он пользовался только двумя первыми именами) родился в Граце 18 декабря 1863 года. Его отец, эрцгерцог Карл Людвиг, младший брат императора, был женат три раза. Франц Фердинанд был сыном второй жены Карла Людвига, эрцгерцогини Марии Аннунциаты (из дома Бурбонов); она рано умерла, и воспитывала его третья жена отца, эрцгерцогиня Мария Терезия. Воспитание он получил обычное, габсбургское — не буду снова об этом говорить — изучал главным образом историю и генеалогию: У Франца Фердинанда было 2047 предков, принадлежавших к 112 владетельным родам, — добавлю, что, как сказано в их родословной, речь тут идет лишь об „исторически доказанных предках“: были и недоказанные.

Наследником престола он стал лишь много позднее, уже будучи взрослым человеком. В пору детства и отрочества Франца Фердинанда никто в мыслях не имел, что он может стать преемником Франца Иосифа; кронпринц Рудольф, общий любимец Австрии, был молод, здоров и крепок. Франц Фердинанд, как большинство Габсбургов, предназначался для военной карьеры. Но и военная карьера его шла не слишком быстро — для эрцгерцога. Правда, первый офицерский чин он получил пятнадцати лет от роду, но затем за 10 лет дослужился только до чина майора. Особенностью его службы было то, что он по неизвестным мне причинам постоянно менял и полк, и род оружия: сначала служил в 32-м пехотном, потом в 4-м драгунском, затем в 102-м пехотном и, наконец, в 9-м гусарском. Все это были провинциальные и не очень аристократические полки. По службе эрцгерцог отличался исправностью. Генерал Войнович в своей позднейшей работе „Der Thronfolger als Soldat“* отзывается с большой похвалой о его военных дарованиях. Впрочем, проявить эти дарования Франц Фердинанд нигде не мог и в этом отношении не составлял исключения. Кроме некоторых русских генералов, участвовавших в японской войне на командных постах, да еще отчасти Гинденбурга, почти все полководцы 1914 — 1918 годов настоящей войны до того никогда не видели.

Вместе с Францом Фердинандом воспитывались его братья, эрцгерцоги Отто и Фердинанд Карл. В ранней юности их связывала теснейшая дружба; позднее они навсегда разошлись. В семье Габсбургов „гениальность“ детей была гораздо менее обязательна, чем в обыкновенных буржуазных семьях: Франц Иосиф терпеть не мог гениев. Во всяком случае, кандидатом в гении считался в доме Карла Людвига не старший сын, а второй, Отто, „дитя солнца“, „das Sonnenkind“: по-видимому, в самом деле человек очень способный. Впоследствии он много занимал венских сплетников своими бесчисленными романами, будто бы превзошел в этом самого кронпринца

* „Наследник престола как солдат“ (нем.).

Рудольфа. „Шампанское, цыгане и балет, таков каждый вечер Отто“, — пишет современник. Умер дед нынешнего претендента на престол в обстановке если не трагической, то по меньшей мере тягостной; посетила умирающего только артистка, бывшая его последней любовью.

В судьбе всех трех братьев любовь сыграла решающую роль. Третий сын Карла Людвига молодым человеком самовольно женился на дочери профессора Венского технологического института Чубера. Это вызвало величайший скандал. Франц Иосиф, явно не желавший породниться с семьей Чуберов, пришел в совершенную ярость. Преступный эрцгерцог был лишен орденов, титула, имени и прав члена царствовавшей династии. По приказу императора самое упоминание о нем было вычеркнуто из габсбургских родословных, нет такого Габсбурга! Ему оставлена была годовая рента в 45 тысяч крон и замок в Меране, без права жить в каком бы то ни было другом городе Австрии. Фердинанд Карл поселился за границей и принял имя Фердинанда Бурга. По словам Никитш-Буллеса, близко стоявшего к сыновьям Карла Людвига, неравный брак оказался несчастливим, и „эрцгерцог в отчаянии стал искать забвения в алкоголе“. С императорской семьей он так больше и не встречался. Много позднее, после сараевского убийства, Фердинанд Бург обратился к Францу Иосифу с просьбой о разрешении ему приехать на похороны брата. Престарелый император дал это разрешение — на один день! — да еще особо распорядился, чтобы никто не титуловал эрцгерцогом его опального племянника (вот о чем думал этот странный человек на следующий день за убийством наследника престола, накануне мировой войны, на девятом десятке лет жизни). По словам очевидца, австрийские офицеры не подчинились приказу и демонстративно в тот день называли преступника „Ваше Высочество“.

О браке самого Франца Фердинанда мне придется подробнее говорить дальше. Как известно, этот брак был тоже неравным: но, в отличие от Фердинанда Карла, наследник престола не решился поставить императора „перед совершившимся фактом“ и в самой почтительной форме возбудил ходатайство о разреше-

нии ему жениться на графине Хотек. После долгих хлопот с одной стороны, после увещеваний и заклинаний с другой Франц Иосиф согласился на морганатический брак Франца Фердинанда, хоть большой милости не проявил и тут. Об этом сказано будет дальше. До того надо коснуться другого события, тоже имевшего большое значение в жизни эрцгерцога. Еще не будучи наследником австрийского престола, он внезапно стал собственником имени, титулов и богатства последнего герцога Моденского.

II.

С незапамятных времен в Италии гремела владетельная семья князей д'Эсте. Перещеголять их древностью было крайне трудно: вероятно, чтобы убить возможность всякой конкуренции, они свой род вели от троянского царя Приама — такую генеалогию, действительно, ничем не перешибешь. О роде д'Эсте написана не одна книга. История Италии и итальянского искусства тесно связана с этой семьей. Репутация у них была много лучше, чем у Сфорца, Гонзага или Борджиа (как известно, один из д'Эсте был последним мужем Лукреции Борджиа), хоть и среди них попадались свирепые тираны: так, Николо III, узнав о греховной связи своей жены Паризины, приказал отрубить ей голову, а заодно с ней всем уличенным в прелюбодеянии женщинам Феррары. Но в общем преобладали среди них люди культурные и просвещенные. Едва ли не первая большая типография в Европе была устроена князьями д'Эсте. Ими же основан Феррарский университет. Петрарка был другом Николо II. Ариосто повезло меньше: кардинал д'Эсте, брат Геркулеса I, забраковал рукопись „Orlando furioso“, да еще будто бы назвал поэта „дураком“. Милость и опала, удача и несчастья Торквато Тассо при феррарском дворе достаточно известны. Пользовались покровительством и заказами этого двора чуть ли не все великие художники, скульпторы, архитекторы Возрождения. Несметное богатство семьи связывается с этим отчасти как причина, отчасти и как следствие. Знаменитая вилла д'Эсте в Тиволи, вблизи

Рима, с ее садами и фонтанами, которые Микеланджело считал лучшими в мире, недешево обошлась сыну Альфонса I, но десятки тысяч истраченных на нее дукатов обратились с веками в многие миллионы лир. Кроме собирания сокровищ искусства, процветанию исторической семьи очень способствовали финансовые операции ее еврейских банкиров и еще больше счастливые браки: она породнилась с Габсбургами, с Валуа, с Бурбонами. Князя д'Эсте умели ладить со всеми. Так, Борсо I за „оказанный Фридриху III в Ферраре дивный прием“ получил от императора герцогство Моденское.

Род д'Эсте, собственно, угас еще в XVIII веке со смертью Геркулеса III, не оставившего мужского потомства. Но дочь этого последнего потомка Приама была замужем за эрцгерцогом Фердинандом, братом императора Иосифа II, и герцогства Модена, Реджио, Мирандола перешли к новой, габсбургской ветви рода. Последним их государем был Франциск V, действительно правивший в Моденском герцогстве до войны 1859 года. После этой войны он своих владений лишился, однако сохранил огромное богатство, разбросанное по разным странам Европы.

В 1875 году Франциск V скончался бездетным, оставил завещание в 500 страниц, „самое сложное завещание эпохи“, „unglaublich verklausuliert“*, — говорит немецкий мемуарист. На вековые богатства семьи д'Эсте могли претендовать несколько королей, принцев и претендентов на престол (граф Шамбор был женат на сестре герцога Моденского). Кроме общих гражданских законов, завещатель считался с очень сложными правилами, определявшими порядок наследования в разных царствовавших домах, и в частности в семье Габсбургов. Разобраться во всем этом трудно, да если б я и разобрался, то не стал бы утомлять читателей соображениями лучших юристов Европы. По-видимому, споры скоро закончились полюбовными соглашениями, и большая часть богатства перешла к юному эрцгерцогу Францу Фердинанду. Титулов у него было достаточно своих, но с той

* „Невероятно казуистическое“ (нем.).

поры он стал называться Franz-Ferdinand von Oesterreich-Este.

Он не был старшим в роде. Вероятно, последний герцог Моденский исходил из мысли, что ни австрийскому императору, ни его единственному сыну не нужны капиталы князей д'Эсте. Францу Фердинанду они, напротив, были очень нужны: у него не было большого личного состояния. Теперь он стал очень богат. К нему перешли многочисленные имения, замки, виллы, в том числе и вилла в Тиволи. Это было первое большое событие в его жизни. Второе, неизмеримо более важное, случилось позднее: 30 января 1889 года в Мейерлингском замке покончил с собой кронпринц Рудольф.

Наследником престола становился отец эрцгерцога Франца Фердинанда. Однако все знали, что у него мало шансов пережить Франца Иосифа (эрцгерцог Карл Людвиг, действительно, скончался через несколько лет после того). Фактическим престолонаследником тотчас после мейерлингской драмы стал Франц Фердинанд. Император его к себе не приближил, но отношение к нему тотчас изменилось: он был произведен в генерал-майоры, затем получил фельдмаршальский чин; ему был дан в Вене великолепный дворец Бельведер.

Жил он по-прежнему достойно и тихо. По-видимому, эрцгерцог очень любил искусство. Он стал собирать картины, оружие, ковры. Это преимущественно сводилось к объединению и приведению в порядок того, что ему досталось от Габсбургов и особенно от Эсте. Вещи у него были изумительные. Ему принадлежала, например, знаменитая серия французских гобеленов „Дон Кихот“, оценивавшаяся в шесть миллионов золотых крон. В его богемском замке Конопипт, принадлежавшем когда-то Валленштейну, были всевозможные сокровища, от картин Рубенса до кубков Бенвенуто Челлини. Мне придется вскользь коснуться этого замка, долгих споров, которые из-за него шли сначала между эрцгерцогами, потом между сыновьями Франца Фердинанда и чехословацким правительством. Гитлер всех примирил. Лица, имевшие права на Конопипт, очутились в концентрационном лагере.

III.

Жена эрцгерцога Франца Фердинанда была чешского происхождения. Она принадлежала к роду графов Хотек и состояла фрейлиной при эрцгерцогине Изабелле.

Устройство двора в Австрии довольно сильно отличалось от российского. При германских, позднее австрийских императорах существовали наследственные придворные должности; еще в средние века появились в Вене разные эрбмаршалы, эрбсенешалы, эрбкамарарии (эрбкамарариями при Габсбургах долго были Гогенцоллерны, что не вызывало особенно нежных воспоминаний в Берлине). Русским первым чинам двора приблизительно соответствовали *Oberste Hofchargen*, а вторым чинам двора — *Oberhofchargen*. Но существовали еще *einfache Hofchargen*, как-то сложно делившиеся и не считавшиеся особенно почетными. С ними была связана вполне определенная, почти всегда платная и обычно нелегкая работа. В этом отношении австрийский двор отчасти приближался к двору московских царей, где были боярыни-мамы, ларешницы, мастерицы, сенные боярышницы, комнатные бабы, постельницы и т.д. Барышни из богатой аристократии не очень стремились к занятию фрейлинских должностей даже при императрице, а тем менее — при эрцгерцогинях. В частности же, к эрцгерцогине Изабелле никто не желал идти на службу: она отличалась скупостью, была сварлива и обращалась с фрейлинами крайне высокомерно. При своих путешествиях за границу эрцгерцогиня, как сообщает Никитш-Буллес, из экономии не брала с собой прислуги, заставляя фрейлин исполнять обязанности горничных. Поэтому состояли при ней лишь девицы из небогатых семей, нуждавшиеся в скромном жаловании „на всем готовом“. Такой девицей (по московской терминологии XVII столетия, „сенной боярышней“) была будущая жена наследника австрийского престола.

Если судить по фотографиям, графиня Хотек не отличалась особенной красотой.

„Не красавица, но изящна и привлекательна“, — вспоминает князь Бюлов. „Была очень мила и умела

очаровывать людей“ — таково общее место мемуарной литературы о ней. Литература эта невелика, и нам неясны характер и взгляды жены Франца Фердинанда. Муж обожал ее. Говорили и писали, что за всю свою жизнь он только ее и любил. Все это, конечно, „малая история“, но она тесно соприкасается и с большою: австрийский престолонаследник в своей политике расценивал людей преимущественно в зависимости от того, как они относились к его жене. Где вообще кончается малая история и где начинается большая?

Оставаясь пока в пределах первой и следуя мемуарам, скажу, что Франц Фердинанд впервые увидел свою будущую жену у эрцгерцогини Изабеллы: увидел — и влюбился навсегда, на весь остаток жизни. В 1899 году эрцгерцогиня эта с семьей жила в Пресбурге. Неожиданно наследник престола зачастил к ней в гости и регулярно стал приезжать из Вены в Пресбург два раза в неделю. Это вызвало толки в столице: Франц Фердинанд жил вообще очень уединенно и не баловал родных посещениями. У эрцгерцогини были молодые дочери. Тотчас распространился слух, что будущий император женится на своей троюродной сестре.

По словам секретаря Франца Фердинанда (и других осведомленных людей), сама эрцгерцогиня Изабелла была убеждена, что наследник престола ездит к ней именно из-за ее дочери, и со дня на день радостно ждала предложения. Однажды летом в Пресбурге играли в теннис. По окончании игры Франц Фердинанд отправился в отведенные ему комнаты, переоделся, простился с хозяевами и уехал в Вену. После его отъезда лакей принес эрцгерцогине часы, забытые рассеянным гостем. На цепочке оказался брелок с фотографией, но это была фотография не молодой принцессы, а чешской фрейлины. „Изумлению, горю и негодованию Ее Высочества не было границ. Графиня Хотек была немедленно уволена от службы, и ей было приказано покинуть дом в тот же вечер...“ А еще через некоторое время в Вене стало известно, что наследник престола обратился к императору с ходатайством о разрешении ему жениться на чешской графине.

Надо думать, что не было также границ изумлению и негодованию Франца Иосифа. Графы Хотек фон Хоткова-унд-Вогнин принадлежали к очень старому богемскому дворянству. Но с точки зрения Франца Иосифа, они, со всем своим длинным именем, были „черт знает кто“. Император ответил своему племяннику категорическим отказом.

О дальнейшем мемуары подробностей не сообщают. Мольбы и ходатайства наследника престола продолжались, кажется, около года. Только в следующем июне Франц Иосиф разрешил Францу Фердинанду морганатический брак. 29 июня 1900 года эрцгерцог подписал в торжественной обстановке документ, в котором заявлял, что его потомство от брака с гр. Хотек не будет иметь никаких прав на престол. Эти права в случае его кончины перейдут к сыну его младшего брата Отто (будущему императору Карлу). Акт был оформлен в виде особого законопроекта, принятого австрийским и венгерским парламентами. 2 июля состоялось бракосочетание. На свадьбу император демонстративно не приехал, но в тот же день пожаловал невесте своего племянника титул княгини Гогенберг. Впрочем, и тут сделал маленькую неприятность: Франц Фердинанд рассчитывал, что с титулом его жены будет связан высший из двух возможных княжеских „предикатов“: „Durchlaucht“*. Франц Иосиф назначил низший предикат: „Gnaden“[†].

IV.

Авторы разных воспоминаний и даже серьезные историки не жалеют сильных слов для определения жизни кн. Гогенберг при австрийском дворе: „ужас“, „неслыханные страдания“, „ад“ и т.д. Употребляются и другие выражения, которые просто совестно приводить по такому поводу. Ужас, неслыханные страдания и ад заключались в том, что император не приглашал к себе морганатическую жену своего племянника, что ее ранг на придворных церемониях был весьма низкий, что ей запрещалось пользоваться в

* „Светлость“ (нем).

† „Милость“ (нем).

театрах императорской ложей, запрещалось ездить в дворцовых каретах, что эрцгерцоги ее бойкотировали. Конечно, все это было неприятно, но уж очень легко расточались страшные слова в счастливое время перед войной. Теперь особенно неловко читать о тяжелых страданиях эрцгерцога и его жены, когда знаешь, что их дети находятся в Дахау.

Франц Фердинанд долго „боролся с глухой враждой двора“: не посещал дворцов, в которые не звали его жену, на парадных спектаклях появлялся с ней не в императорской, а в обыкновенной платной ложе и т.д. Потом „борьба“ ему, очевидно, надсела, и он решил уехать. Семья его увеличилась. В первые четыре года после брака у него родились дочь и два сына, носившие имя Гогенбергов.

Эрцгерцог покинул Вену. У него было множество замков, они на фотографиях один лучше другого. Но почему—то для постоянного жительства он избрал не родовой габсбургский замок, а приобрел новый, уже упомянутый мною Конопихт в Богемии, когда-то принадлежавший Валленштейну. Этот замок был куплен Францем Фердинандом у князя Лобковиц за шесть миллионов гульденов. Вероятно, больших денег стоило и его переустройство: в историческом замке не было ни одной уборной, не говоря уже о ван-ных комнатах. Одновременно наследник престола купил в Богемии еще другой замок, Хлумец, тоже с большим количеством земли. Эти имения, как благоприобретенные, предназначались для его сыновей.

Впрочем, с юридической стороны дело это было не вполне бесспорное. Замки были приобретены на капиталы, доставшиеся Францу Фердинанду от последнего герцога Моденского. Между тем по одному из пунктов оставленного герцогом завещания в 500 страниц Франц Фердинанд мог завещать богатство князей д'Эсте лишь одному из принцев габсбургской династии (по своему выбору). Чтобы охранить интересы сыновей, наследник престола, по словам его секретаря, прибег к некоторому „давлению“. Он вызвал к себе своего племянника, эрцгерцога Карла, и предложил ему соглашение: если племянник обязуется не оспаривать прав малолетних Гогенбергов на Конопихтское и Хлумецкое имения, то все остальное богатство

д'Эсте будет завещано ему; в противном случае Франц Фердинанд оставлял за собой право сговориться на тех же началах с каким-либо другим Габсбургом. Будущий император Карл, не имевший никакого состояния, не получивший от эрцгерцога Отто в наследство ничего, кроме долгов, принял предложение дяди. Соглашение было оформлено. Однако Гогенбергам так и не суждено было получить Конопихт и Хлумец: после революции их конфисковало чехословацкое правительство; сыновья Франца Фердинанда вели долгий процесс и проиграли его.

Отношения между императором и наследником престола несколько смягчились с годами. Франц Иосиф очень неохотно допускал родных к государственным делам, но по преклонному своему возрасту должен был делать послабления в пользу Франца Фердинанда. Зато с полной готовностью он предоставил племяннику управление всеми габсбургскими замками, коллекциями, сокровищами искусства и даже отпускал в его распоряжение немалые деньги на всевозможные ремонты и реставрацию. Вероятно, все это очень мало интересовало престарелого императора: он просто рад был занять чем-либо престолонаследника, дабы тот возможно меньше вмешивался в политические дела. По крайней мере, через несколько дней после сараевского убийства Франц Иосиф по телеграфу отдал приказ прекратить все реставрационные работы, начатые его племянником.

По-видимому, со времени его брака люди делились для Франца Фердинанда отчасти по такому признаку: кто признавал права его жены, тот был друг; кто их не признавал, тот был враг. Вильгельм II оказался другом потому, что проявлял большое внимание к княгине Гогенберг. Князь Бюлов в своих воспоминаниях приписывает тут заслугу себе. По его словам, германский император вначале был тоже возмущен браком Франца Фердинанда: опасался пагубного примера для своих собственных сыновей*. Но канцлер

*В этом Вильгельм II и не ошибся: его сын Оскар позднее женился на дочери графа Бассевица. По словам того же Бюлова (т. 1, стр. 625), на помолвке сына императора нелюбезно сказал отцу невесты: „Я же очень рад этому браку“. На что граф Бассевиц „сухо, с достоинством и с флегматичностью мекленбуржца ответил: „А я и еще того мельше“.

убедил его принести чувства в жертву политическому расчету. Позднее, когда по приглашению императора австрийский престолонаследник приехал с женой в Берлин с визитом, удалось (впрочем, не сразу и с большим трудом) добиться от императрицы Августы Виктории, чтобы она выехала встречать их на вокзал. Почти без преувеличения можно сказать, что отсюда пошла германская ориентация Франца Фердинанда, так расхопившаяся с германофобством кронпринца Рудольфа. Не меньше внимания проявил к княгине Гогенберг Эдуард VII, весьма мало интересовавшийся родословными и вопросами *Ebenbürtigkeit** (он, должно быть, считал Франца Иосифа маньяком). Франц Фердинанд немедленно высказался за сближение с Англией.

Понемногу стал сдаваться и сам австрийский император. Через пять лет после свадьбы княгине был по настоянию Эренталя пожалован высший „предикат“ *Durchlaucht*, а еще через четыре года она получила герцогское достоинство с титулом Высочества. Новой герцогине открылся доступ на все приемы даже в тесном императорском кругу; ей было отведено место тотчас за членами габсбургской семьи; она могла пользоваться императорской ложей и ездить в придворных каретах. Люди, видевшие в этот день Франца Фердинанда, говорят, что он сиял от счастья. „Ад“ кончился.

В борьбе за предикаты и за кареты было, конечно, немало смешного. Однако эта история любви печального одинокого человека очень трогательная. Вот уж именно: „единственная она, голубка моя, чистая моя... Положи меня, как печать к сердцу твоему, как печать на мышцу твою; потому что сильна как смерть любовь...“ Один из людей, проходивших в Сараеве по улице в день исторического преступления, встретил несшийся в конак открытый автомобиль со смертельно раненым Францем Фердинандом и его женой: „Они умирали, прижавшись плечом к плечу, головой к голове, и тела их странно покачивались, и что-то, по-видимому, они еще тихо шептали друг другу...“

*Наследование (нем.).

V.

Лорд Грей в своих воспоминаниях говорит: „Мир, по всей вероятности, никогда не узнает подкладки убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Едва ли существует или существовал человек, знавший всю правду об этом деле“*. Если был какой-либо иностранный политический деятель, который мог знать всю правду о сараевском убийстве, то, скорее всего, именно Грей, занимавший тогда пост министра иностранных дел, следовательно, имевший в своем распоряжении и доклады британских дипломатов, и секретнейшие донесения Интеллидженс Сервис. Думаю, что его слова довольно близки к истине.

Свою мысль виконт Грей пояснил (но весьма глухо и неясно: не то он что-то знает, не то нет). По его словам, разные круги не желали, чтобы Франц Фердинанд вступил на престол Франца Иосифа. „Высказывалось подозрение, — говорит министр, — что образовалось несколько заговоров для удаления эрцгерцога, и заговоры эти исходили из разных источников; одни заговорщики действовали независимо от других, и друг о друге они не знали“. Хотя Грей тут же оговорился: это только подозрения, — однако он считал возможным сказать, что в момент своего отъезда в Сараево Франц Фердинанд, в пределах возможного для людей предвидения, уже был обреченным человеком.

Что именно имел в виду глава британской дипломатии, мне неизвестно. Правда, кого только не обвиняли в убийстве эрцгерцога! Обвинение масонов не так уж удивительно по своей обычности (замечу кстати, что это обвинение поддерживается в нынешней советской исторической литературе). Были и домыслы еще более нелепые: немецкие исследователи обвиняли русский двор, а Уикхэм Стид — австрийский. Обвинение Романовых или Габсбургов в подсылке убийц к эрцгерцогу настолько глупо просто в психологическом отношении, что не стоит и простого упоминания. Виконт Грей, конечно, имел в виду не это.

*Viscount Grey of Fallodon. Twenty Five Years, London, 1925, v. 1, p. 308-9.

Но я не берусь расшифровывать мысль умершего министра.

Не может быть сомнения в том, что вступления Франца Фердинанда на престол не желало очень много людей и в Австрии, и вне ее (отсюда, однако, до планов „удаления“, как мягко выражается Грей, весьма далеко). Франц Фердинанд был недурной человек, честный, добросовестный, не очень злой. Между тем нелюбовь к нему была почти всеобщей. Кронпринца Рудольфа Австрия любила даже за легкомысленное поведение. Францу Фердинанду она ни в малейшую заслугу не ставила безупречную частную жизнь. За все время существования династии не было Габсбурга, более расположенного к славянству, чем Франц Фердинанд, однако убили его славяне. Он был глубоко верующий человек и ежедневно два раза бывал в церкви, но его совершенно не выносили в наиболее католических областях империи. По своим общим взглядам он не так уж сильно отличался от Франца Иосифа, но венцы, обожавшие престарелого императора, терпеть не могли наследника престола. Во внешней политике он опирался на Берлин, тем не менее Вильгельм II его недолюбливал и смеялся над ним. Он не был антисемитом (один из его адъютантов был еврей), но у евреев, в отличие от Франца Иосифа и Рудольфа, ни малейшей популярностью не пользовался. Не приходится останавливаться на венграх: они просто ненавидели Франца Фердинанда. Председатель боснийского сейма Димович после сараевского убийства заговорил об этом деле с графом Тиссой — и, естественно, заговорил „с ужасом“. Венгерский министр-президент невозмутимо ответил: „Так было угодно Господу Богу, а Господу Богу мы должны быть благодарны за все“. („Der liebe Herrgott hat es so gewollt und dem lieben Herrgott müssen wir für alles dankbar sein“, — Станоевич, стр. 44.)

Очень не любил наследника и сам Франц Иосиф. Об этом определенно говорит в своих воспоминаниях один из членов царствовавшей династии (Вельфлинг, стр. 146). Не скрывает этого и официозный, очень почтительный биограф императора Редлих. По его словам, Шенбрун и Бельведер (дворец Франца Фердинанда) были как бы два враждебных лагеря. На-

следник проявлял „не всегда вполне тактичное нетерпение“ в ожидании перехода к нему престола (стр. 427) — Франц Иосифу недостаточно тактичное ожидание его смерти, очевидно, не нравилось.

Больших идейных разногласий между ними, собственно, быть не могло. О политических взглядах Франца Фердинанда сказать почти нечего. Мироззрение у него было родовое, габсбургское, оно всем известно. Личная его добавка к этому мироззрению заключалась в мысли о превращении двуединой империи в триединую. Для этого он, не первый и не последний, собирался объединить славян: чехов, словаков, поляков, украинцев, сербов, хорватов, — на основе их взаимной расовой и братской любви. Надо думать, что в случае своего вступления на престол Франц Фердинанд быстро охладел бы к этой мысли. Его дядя на склоне долгой жизни пришел к выводу, что в Австро-Венгрии лучше ничего не трогать: иначе все рассыплется. Вполне возможно, что к такой же политике пришел бы и Франц Фердинанд. Считали его главой военной партии. Тут верно лишь то, что он терпеть не мог итальянцев и при случае рад был бы свести счеты с этими союзниками своей страны. Войны с Россией он не хотел и особенно воинственных речей никогда не произносил (впрочем, и наиболее воинственные речи Вильгельма II, по сравнению с некоторыми нынешними, могут считаться пацифистским творчеством). Затеял ли бы Франц Фердинанд мировую войну? Как на это ответить? Как учесть бесчисленные „если“ и „если бы“? Обвиняли эрцгерцога в „авторитарности“, в „желчности“ — это были черты истосковавшегося по власти человека: его дядя взшел на престол 18 лет от роду, Франц Фердинанд был наследником на шестом десятке. В общем, он был немного „правее“ императора, но и Франца Иосифа трудно было бы считать человеком крайне радикального образа мыслей.

До 1905 года Франц Фердинанд, по его же словам, обо всех событиях в австрийской политике узнавал из газет. Позднее император пошел на некоторые уступки. Главная борьба между Шенбрунном и Бельведером шла за военное ведомство. Начальником генерального штаба более четверти века состоял граф

Бек, сверстник и личный друг Франца Иосифа. Наследник выдвинул своего кандидата: это был очередной военный гений Австрии, Конрад фон Цецендорф. Жизнь научила Франца Иосифа не очень верить австрийским военным гениям; он находил, что гр. Бек ничем не хуже других и отлично может занимать свою должность не только в восемьдесят, но и в девяносто лет — по крайней мере, в драку не рвется. Однако уступил общему мнению армии о гениальности Конрада фон Цецендорфа и с яростью назначил его начальником штаба, перенеся на него сразу всю антипатию, которую ему внушали наследник престола и „новаторы“ вообще. Другие же предложения Франца Фердинанда император обычно отклонял, причем, по словам Редлиха, саркастически говорил: „Нет, так в это он уже тоже вмешивается!“ („Nein, auch um das kümmert er sich schon!“) С внешней стороны, отношения с годами смягчились, но когда наследник приезжал в Вену, император уезжал в Ипль. Уехал и в последний приезд Франца Фердинанда (перед Сараево). Говорили, что это была демонстрация: император рассердился, узнав, что эрцгерцог берет с собой на маневры жену.

Люди очень не любили Франца Фердинанда, — и он очень не любил людей. Славян, особенно чехов, предпочитал венграм и даже немцам — в этом, конечно, тоже сказывалось влияние герцогини Гогенберг. Однако не заблуждался и насчет отношения к себе славянского населения империи. Наследник престола часто говорил, что, вероятно, его убьют. В день последней, закончившейся в Сараево поездки эрцгерцога, в его салон-вагоне вдруг погасло электричество, пришлось зажечь свечи. „Я точно в гробу!“ — сказал он. Так рассказывают сопровождавшие его люди. Правда, людям свойственно привирать в рассказах, касающихся всевозможных предчувствий.

Удивительно то, что при подобном настроении Франц Фердинанд не принимал почти никаких мер предосторожности. Еще удивительнее, что не принимали их и люди, в обязанность которых входила охрана наследника престола. Техника защиты высокопоставленных людей в те времена очень отставала от

нынешней. Все петербуржцы знают, что царь разъезжал по столице почти без охраны или с такой охраной, которая ни от чего защитить не могла. В ранней юности я видел Франца Иосифа на улицах Вены: он медленно ехал в открытой коляске, и ни впереди ее, ни позади никаких полицейских не было. Диктаторы нашего времени очень подвинули технику вперед: в Москве улицу, по которой иногда проезжает Сталин, называют, по слухам, „Шпикадилли“ — так много на ней „шпиков“. Все же и по тем временам поездка эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево по полицейскому невежеству, беспомощности и беспечности устроителей может считаться рекордной.

В 1913 году Франц Фердинанд, к великому своему удовлетворению, был назначен генеральным инспектором всех вооруженных сил Австрии. До того он лишь числился „в распоряжении верховного командования“. В июне следующего года должны были состояться большие маневры в Боснии. По соображениям политики престижа, верховное командование желало, чтобы этим маневрам был придан особенно торжественный характер. В Боснии и Герцеговине были расквартированы 15-й и 16-й корпуса, и власть там фактически принадлежала военным: страной правил австрийский генерал-фельдцейгмейстер Поттирек. Он настоял на том, чтобы на маневры приехал наследник престола. Торжества должны были начаться 24 июня, а закончиться 28-го въездом эрцгерцога в Сараево.

Все в этом плане было неблагоразумно. Славянское население Боснии терпеть не могло австрийцев. Венской полиции было хорошо известно о существовании тайных обществ, в частности террористического общества „Единение или смерть“, иначе называвшегося „Черная рука“. Кроме того, самый день въезда в Сараево, оказавшийся роковым для австрийского наследника, был выбран весьма неудачно. 28 июня — годовщина сражения на Косовом поле, так называемый Видов дан (день св. Вита), день, стоивший независимости сербскому народу.

Поездке предшествовала весьма странная ведомственная переписка. Гражданское ведомство Боснии было подчинено австрийскому министру Билинскому.

Тот потребовал от администрации, чтобы на время пребывания наследника престола в Сараеве туда было послано *три* опытных сыщика. Администрация не без основания ответила, что трех сыщиков мало — надо послать по меньшей мере тридцать. Вена затребовала смету расходов. Оказалось, что командировка тридцати сыщиков обойдется приблизительно в 7000 крон. Билинский пришел в ужас и объявил, что таких денег дать не может. Поэтому сыщики вообще посланы в Сараево не были.

На местах представителем Билинского был „Президиальшеф дер Регирунг фон Босниен унд Герцеговина“, барон Карл Коллас. Он оставил нам воспоминания*, тоже довольно странные. Из них видно, что глава боснийской администрации был по убеждениям фаталист. Барон Коллас, прослуживший много лет среди мусульман, верил в *кисмет*“. Против этого в философском отношении возражать тут не приходится — конечно, судьбы не избежишь. Все же для охраны человека, которому могло грозить покушение, сторонники фаталистического учения явно не годились. В полицейском деле *кисмет* совершенно ни к чему.

VI.

В Национальной библиотеке есть фотографические снимки печати общества „Черная рука“, членами которого был убит эрцгерцог Франц Фердинанд. В кружке изображены рука, держащая знамя, череп, скрещенные кости, кинжал, бомба и какой-то флакон, очевидно, с ядом. В ободке надпись: „Уединенье или Смерт. Врховна Централна Управа“.

Общество „Единение или смерть“, почему-то называвшееся „Черной рукой“, было основано в мае 1911 года десятью людьми. Душой его и вождем был знаменитый полковник Драгутин Димитриевич, он же „Апис“, организовавший в свое время убийство короля Александра Обреновича и королевы Драги, впоследствии, в 1917 году, расстрелянный на салони-

*„Auf den bosnischen Wegspuren der Kriegsschuldigen“. (Kriegsschuldfrage, 1927, январь).

*„Кисмет, — объясняет Британская энциклопедия, — фатум, рок, мусульманское выражение, означающее судьбу человека в жизни“.

ском фронте. Я не стану излагать биографию этого человека; пожалуй, ни один из политических деятелей нашего времени, не исключая и Бориса Савинкова, не прожил жизни, более богатой трагическими приключениями. Для жизнеописания сербского Палена время еще не настало.

Устав общества „Черная рука“ был в свое время опубликован. Привожу два первых пункта (их всего 37): „1) Настоящая организация создается в целях осуществления национального единения всех сербов. Входить в нее может каждый серб, без различия пола, вероисповедания и места рождения, а также все лица, искренно сочувствующие ее целям. 2) Настоящая организация предпочитает террористическую деятельность идейной пропаганде. Поэтому она должна оставаться совершенно секретной для не входящих в нее людей...“ По статье 35-й, члены „Черной руки“ клялись в верности ей „перед Богом, согревающим меня солнцем, питающей меня землей и кровью моих предков“. По 33-й статье, смертные приговоры, выносившиеся „Верховной центральной управой“, приводились в исполнение, „каков бы ни был способ осуществления казни“; это, очевидно, и означают нож, бомба и яд на печати общества.

Устав и печать достаточно выясняют характер „Черной руки“. Это было общество карбонарского типа, но не возводившее себя ни к Адаму, ни к Филиппу Македонскому и не ставившее себе мировых задач. Руководили им решительные люди, очевидно, пользовавшиеся черепами и кинжалами для воздействия на романтическую природу молодежи. Задача же общества была чисто национальная: освободить Боснию, незадолго до того насильственно захваченную австрийцами.

К „Черной руке“ принадлежал и физический убийца эрцгерцога, 19-летний гимназист Гаврило Принцип. Его участь может служить наглядным примером относительности человеческих оценок и их зависимости от места и времени. После кончины Франца Фердинанда не только австрийские и немецкие, но и английские газеты называли его убийцу злодеем. Теперь в Сараеве мост, на котором Принцип стоял с револьвером в день 28 июня, назван его именем.

Известно нам о нем очень немного. Он был сын зажиточного крестьянина, учился в гимназии, сначала в Сараеве, затем в Белграде, аттестата зрелости получить не успел. Едва ли остались еще в живых люди, бывшие его ближайшими друзьями, — большая часть их погибла. Говорят, что он был умен и отличался смелостью. Об идеях гимназиста, естественно, много говорить не приходится. Гамильтон Армстронг, не указывая источника своих сведений, сообщает, что кружок Принципа увлекался писаниями Бакунина, Кропоткина, Троцкого и Савинкова. Бакуниным в славянских странах увлекались в молодости люди, впоследствии весьма от анархизма далекие (достаточно назвать самого Папича). Не знаю, были ли известны на Балканах савинковские романы; Троцкого же тогда и вообще весьма мало знали. Что до Кропоткина, то он действительно сыграл некоторую роль в жизни Принципа. Думаю все же, что к анархистам очень трудно причислить убийцу австрийского престолонаследника: в Боснии 1914 года он пошел в „Уединенье или Смрт“, как в другой исторической обстановке пошел бы за Иоанном Лейденским или за Аввакумом.

Самый ценный документ о Принципе — странного происхождения. Этот документ оставил нам австрийский врач Мартин Паппенгейм, психиатр, профессор Венского университета и, по-видимому, человек чрезвычайно любознательный. В пору мировой войны Паппенгейм занимался делом, свидетельствующим о любопытстве особого, художественного рода: он изучал психические аномалии у раненых и контуженых солдат. Каким образом он оказался в 1916 году в крепости Терезиенштадт, почему пробыл там почти год, не знаю. Но вполне понятно, что он мог заинтересоваться душевными особенностями „человека, из-за которого началась мировая война“.

Принцип, как несовершеннолетний, не был приговорен австрийским судом к смертной казни. Вынесенный ему приговор был странный и сложный: двадцать лет тюремного заключения, с одним днем полного поста в месяц и с заключением в какой-то особый карцер в каждую годовщину сараевского дела. Приговор этот чужд по духу русскому или французскому законодательству. Однако в огромном большинстве

стран Принцип был бы, вероятно, казнен. Судил его гласный суд, на который были допущены журналисты. Пыткам он не подвергался ни на следствии, ни позднее, в заключении. Напротив, обращались с ним, по его собственным словам, хорошо. Все это были „пережитки прошлого“ — теперь в разных странах мира поступили бы иначе.

Со всем тем отнюдь не приходится и переоценивать гуманность австрийских властей. „Нельзя себе представить, — пишет Грехэм, — чтобы западное цивилизованное государство могло так обращаться с попавшими в его власть детьми, каково бы ни было их преступление“. Это, конечно, преувеличение: в Англии Принцип был бы, надо думать, повешен. Верно, однако, то, что в австрийской крепости он умер очень скоро, — уж слишком скоро.

От природы он не отличался слабым здоровьем. При аресте он был ранен, позднее рана открылась и стала серьезной: пришлось произвести ампутацию руки. Каземат, в котором он сидел до перевода в больницу, был холодный и сырой. У Принципа развилась чахотка. Условия для нее были достаточно благоприятны. В пору войны, особенно в конце ее, все австрийцы, за исключением, быть может, очень богатых и очень ловких людей, находились в состоянии хронического недоедания. Нетрудно себе представить, как кормили в тюрьмах, да еще осужденных по такому делу. Едва ли Принцип умер от голода; он умер от сочетания голода с раной и с тяжкими моральными страданиями.

Доктор Паппенгейм стал посещать его в крепости. Врач был единственный культурный человек, с которым мог тогда разговаривать убийца эрцгерцога. Убедившись, что это не шпион, Принцип действительно с ним заговорил. Впрочем, „разговорами“ это назвать можно лишь условно. Больной, медленно умиравший человек что-то сообщал на ломаном немецком языке, Паппенгейм записывал телеграфным стилем его отдельные, часто почти бессвязные фразы. В печати записи врача появились лишь через 11 лет*, он не все

*Журнал „Current History“, август 1928 года.

уже мог разобрать и сам в своих давних записях. Привожу несколько отрывков:

„Очень тяжело одиночное заключение. Без книг. Решительно нечего читать. Не с кем говорить. Всегда читал, больше всего страдает, что нечего читать. Спит, обыкновенно, четыре часа в сутки. Часто сновидения. Прекрасные сновидения. О жизни, о любви. Думает обо всем, а особенно о положении своей страны. Кое-что слышал о войне. Слышал страшные вещи. Жизнь стала очень тяжела, когда больше нет Сербии. Плохо с моим народом. Война все равно произошла бы и без этого. Как человек идеала, хотел отомстить за свой народ. Причины: месть и любовь...“

Любовь к своему народу? Или другая? Принцип сказал Паппенгейму, что был влюблен. „До пятого класса учился отлично. Потом влюбился... Любовь к этой дразночке не прошла. Но он никогда ей не писал. Говорит, что познакомился с ней в четвертом классе. Идеальная любовь. Ни разу не поцеловал. Больше об этом не хочет ничего сказать...“

„Считает социальную революцию возможной во всей Европе. Больше не хочет говорить в присутствии сторожа. Обращаются с ним не худо. Все ведут себя с ним хорошо...“

„Он всегда нервен. Голоден. Недостаточно пищи. Одиночество. Ни воздуха, ни солнца... Больше ни на что в жизни не надеется. Жизнь пропала. Прежде, когда учился, имел идеалы. Теперь все это разрушено. Мой сербский народ. Надеется, что может стать лучше, но плохо верит. Их идеал был: объединение сербов, хорватов и словенцев, но не под австрийским владычеством. Какое-нибудь государство, республика или что-либо в этом роде. Если Австрия попадет в трудное положение, то произойдет революция. Ничего не происходило. Убийство могло подготовить к этому души. Всегда ведь были покушения на убийство. Террористы становились народными героями. Он не хотел быть героем. Он просто хотел умереть за идею. Перед убийством читал статью Кропоткина...“

„Два месяца ничего не слышал о событиях. Все ему безразлично, из-за его болезни и из-за несчастий его народа. Пожертвовал жизнью за свой народ. Не

может поверить, что мировая война возникла из-за его акта...“

Думаю, что незачем комментировать этот документ, столь странный во всех отношениях, особенно странный по тому, как он создавался: ученый профессор, очевидно, сидел у койки заключенного с карманным пером в руке. Скажу лишь одно. В возрасте Принципа было бы особенно естественно все приписывать себе: я погибаю — но война, мировая война, возникла из-за меня! Его эта мысль, напротив, явно преследует: он возвращается к ней беспрестанно: нет, не из-за меня, не из-за меня! О войне, кстати сказать, доходили до него печальные вести (частью от того же доктора Паппенгейма, — может быть, он ставил мысленный опыт: „как примет? как отнесется?“). Известие об отступлении русских войск в 1915 году произвело на Принципа впечатление ужасающее. Еще сильнее его потрясло занятие неприятелем Сербии. Нет, анархист он был сомнительный. С мыслью о том, что все пропало, Принцип и умер в апреле 1918 года, в пору выспих — последних — успехов германского оружия, за три месяца до начала наступления маршала Фоша.

Умер в полном одиночестве, совершенно незаметно — в камере никого не было. На утро часовой заметил, что уж очень неподвижно лежит на своей койке этот, столь напумевший в мире заключенный. Позвали коменданта, врача, все как полагается. „Человек, из-за которого возникла мировая война“, был мертв.

Похоронили его ночью, где-то в поле. Присутствовавший на этих ночных похоронах австрийский солдат, славянин по происхождению, записал, как мог, где именно в поле погребен убийца наследника австрийского престола. По заметке солдата впоследствии отыскивали тело. Останки Принципа были перевезены на родину. Его вторые похороны были совершенно иными.

VII.

Не вполне ясно, почему решено было убить именно эрцгерцога Франца Фердинанда. Точно так же могло бы быть совершено покушение на императора или на

какое-либо видное должностное лицо, на военного губернатора*, на одного из министров. Думаю, что в доброй половине всех вообще совершающихся в мире политических убийств выбор жертвы производится отчасти случайно, отчасти по соображениям практического удобства. Члены „Черной руки“, собственно, не имели оснований ненавидеть наследника престола больше, чем какого-либо иного из принцев габсбургской семьи.

Убийство эрцгерцога было, по-видимому, задумано на французской территории. Говорю „по-видимому“, помня слова лорда Грея о том, что никто никогда не узнает всей подкладки этого дела. Во всяком случае, хронологическую последовательность замыслов установить очень трудно. Быть может, когда-нибудь будет написана книга о тех французских, преимущественно парижских, уголках, где в XIX и XX веках подготавливались иностранцами покушения на иностранных политических деятелей. В настоящем случае приходится говорить не о Париже, а о Тулузе. В январе 1914 года в этом городе три молодых человека Голубич, Гачинович и Мехмедбашич собрались в гостинице „Сен-Жером“, на улице того же названия. Почему в Тулузе? Конспирация тут, верно, была ни при чем. Эти люди с трудными фамилиями не могли особенно интересоваться французскую полицию, особенно по тем беззаботным временам. Тулузу выбрали случайно — там съехаться было удобнее, отчасти и по соображениям экономии. В совещании должны были участвовать еще два молодых человека, но они жили в Париже и у них не хватило денег на билет из столицы в Тулузу.

Не знаю, существует ли по сей день эта гостиница; не знаю, известно ли ее владельцам и жильцам, что в их доме было принято решение, имевшее столь роковые последствия для мира. Но именно там было постановлено убить эрцгерцога Франца Фердинанда и упомянуто имя Принципа: вот подходящий человек. Не буду излагать подробно, как шли переговоры. Были какие-то письма, по-видимому, до нас не дошедшие

*Мысль о покушении на генерала Потгиорека действительно обсуждалась.

(во всяком случае, текст их мне нигде не попадался): такие письма, естественно, уничтожаются. Да они, вероятно, писались на условном языке. Отправлялись они просто по почте, а даже в те времена едва ли можно было запрашивать приятеля в письменной форме с полной ясностью, не хочет ли он убить австрийского престолонаследника. Многое неясно в подготовке всего этого дела. По-видимому, почти одновременно с тулузским совещанием Принцип и два его приятеля, из которых одному было шестнадцать лет, а другому немногим больше, самостоятельно пришли к мысли о необходимости убить эрцгерцога. Случайно из газет или даже из обрывка газеты они узнали, что Франц Фердинанд приедет в Сарасво на маневры, в Видом дан, в годовщину сражения на Косовом поле.

Шопенгауэр где-то говорит (цитирую на память, не буквально), что деятельный человек в жизни — точно пикольник в театре перед началом представления: он не знает решительно ничего, — занавес еще не поднялся, — но чувствует приятное оживление, — ах, как интересно! А может быть, будет вовсе не интересно? Может быть, пьеса скверная? Может, выйдет совсем не то, чего ждешь? Может, произойдут несчастья, катастрофы, убийства? В то самое время, как в Тулузе и в Боснии намечалось убийство Франца Фердинанда, наследник австрийского престола был настроен бодро и возбужденно. У него шли какие-то политические переговоры с Вильгельмом II, шла та же глухая борьба с Францем Иосифом. (В последнее время она сосредоточилась на так называемом „Гнаденреферате“: император сначала передал было наследнику свое право помилования преступников, потом взял его назад, так как Франц Фердинанд пользовался им слишком скупно.)

Как раз в те дни (чуть ли не день в день), когда Принцип окончательно решил убить австрийского наследного принца, престарелый Франц Иосиф заболел воспалением легких. По словам биографа императора (Редлиха), в Конопиштском имении эрцгерцога экстренный поезд стоял наготове: с минуты на минуту ожидался вызов в столицу. Император выздоровел.

Едва ли Франц Фердинанд мог думать, что дядя его переживет.

Каковы были планы эрцгерцога, какие именно переговоры он вел с Вильгельмом, этого мы не знаем. Об их конопиштском свидании и планах существует целая литература, в общем довольно курьезная. Мне попадалось у необычайно осведомленного автора даже изложение этой секретнейшей беседы в форме диалога: „Все теперь в ваших руках, Фердинанд“, — сказал с усмешкой император. „Ах, не говорите этого, Вильгельм!“ — ответил эрцгерцог, — и т.п. Более серьезными исследователями указывалось, что германский император предложил австрийскому престолонаследнику нечто вроде нынешнего гитлеровского замысла: создание единого рейха с включением в него всевозможных „жизненных пространств“. Предполагалось якобы, что после смерти Франца Иосифа и победоносной войны Австрия и Венгрия войдут в состав Германской империи как самостоятельные монархии, наследственные в роде Габсбургов; из славянских же земель будут составлены — тоже в пределах рейха — королевства для сыновей эрцгерцога от его морганатического брака: в Чехии, в Польше, может быть, и на „жизненных пространствах“ должны были воцариться Гогенберги.

Все это весьма маловероятно. Франц Фердинанд очень любил своих сыновей, однако едва ли его можно было купить обещанием создать для них вассальные престолы: трудно предположить, чтобы будущий глава тысячелетней австрийской династии согласился на включение габсбургского государства в состав империи Гогенцоллернов. Наследник Франца Иосифа оперался во внешней политике на Берлин, но едва ли мог идти так далеко. Вдобавок, с точки зрения этого католика из католиков, Вильгельм II был, помимо всего прочего (а может быть, и прежде всего прочего), еретик. Наконец, в те времена, до диктаторов и вождей, в мире существовали парламенты, газеты, общественное мнение: не так просто было бы убедить австрийцев и венгров войти в Германскую империю, да еще с отделением от Австро-Венгрии других габсбургских земель.

VIII.

На Косовом поле в Видов дан (28 июня) 1389 года султан Мурад-гази разбил сербскую армию князя Лазаря. Со времени этой битвы сербы стали платить туркам харах (дань). С днем сражения у сербов связано много трогательных сказаний; существует об этом дне целый эпический цикл „Лазариц“. Главный их герой — зять князя, Милош Обилич. И сейчас еще на поле битвы показывают три камня, отдаленные друг от друга на 50 локтей, по гигантским прыжкам богатыря, а также могилы турок, которых он перебил. В конце кровопролитного дня, после турецкой победы, султан проезжал по полю. Внезапно из груды убитых поднялся Милош Обилич и заколол кинжалом Мурада-гази, отомстив за свой народ.

Нетрудно понять, что въезд Франца Фердинанда в Сараево в Видов дан мог породить у молодых славянских романтиков воспоминание о Милоше Обиличе. Едва ли австрийские власти избрали этот день с целью умышленного вызова — это значило бы проявлять храбрость за чужой счет, за счет эрцгерцога, охрана которого была поставлена из рук вон плохо. Но и не знать о сербском национальном эпосе австрийское командование никак не могло. Все, думаю, объяснялось беспечностью, равнодушием, скептицизмом — это были и вообще отличительные черты Вены, не только Вены правительственной: если „nitchevo“, „set admirable Nitchevo russe“ — самое национальное из русских слов (что, как французские журналисты знали бы еще „avos“!), то, пожалуй, в значительно большей степени это было национальное слово австрийское. Вероятно, Конрад фон Гецендорф просто не подумал, Поттиорек решил, что сойдет, Коллас положился на кисмет.

25 июня Франц Фердинанд и его свита прибыли на австрийском броненосце в новые земли империи. В 11 километрах от Сараева находится курорт Илидж (или Илидже). Там эрцгерцог встретился с женой, которая приехала из Вены по железной дороге. Маневры происходили поблизости, в Тарчине, и сошли

* „Это восхитительное русское Ничего“ (фр.).

они отлично; маневры, сходящие плохо, вообще, верно, довольно редки. Франц Фердинанд был в восторге от войск, от приема, от настроения славян и послал императору соответствующую телеграмму. Может быть, он искренне поверил, что население Боснии очень его любит. По сведениям советского историка Н. Полетика, наследник престола сказал в Илидже: „Я начинаю любить Боснию“. Герцогиня Гогенберг выразилась еще ласковее: „Как мил этот народ!..“

Сараево — небольшой город у впадения реки Милячки в Босну, основанный в XIII веке и получивший через три столетия название от дворца (серая) боснийского вали Узрев-бека. В Национальной библиотеке есть старый путеводитель Флакса по этому городку, содержащий разные полезные сведения для немецких туристов: при встрече со знакомым местным жителем спрашивать его: „Како вам ие?“ и на такой же его вопрос отвечать „Како, тако“ („so-so“); при входе в ресторан осведомляться: „Можемо ли овде вечеряти?“, на что ждать ответа: „Можете, моя господо“; если плохо себя чувствуешь, кричать: „Мука ми ие“, а если хорошо, то: „Не ми ништа“ и т.д. Путеводитель и газеты того времени дают возможность с достаточной ясностью представить себе картину исторического убийства.

Через Милячку перекинут старый однопролетный Козий мост. Есть на реке и еще несколько мостиков (по карте путеводителя четыре). По длинной набережной Мил чки эрцгерцог должен был проехать из Илиджа в сараевскую ратушу, где был приготовлен торжественный прием.

В Илидже наследник престола остановился в гостинице „Бошна“. Вся чисто военная сторона его поездки была закончена 27 июня к вечеру. Оставался только парадный въезд в Сараево, назначенный на утро следующего дня. Эрцгерцог и жена его встали 28-го рано, побывали на утренней мессе, прочли газеты — мирные газеты того времени: главной сенсацией тех дней была „борьба черной и белой расы“, в виде матча двух знаменитых боксеров, негра Джонсона и Фрэнка Морана, — черная раса победила по пунктам, — да еще гибель взбесившегося в Одессе слона

Ямбо — об этом в „Матэн“, на первой странице, 27 июня была огромная телеграмма: „La révolte et mort de Iambo, l'illustre éléphant, émeuvent toute la Russie“*.

В начале десятого часа за гостями приехал военный губернатор Боснии генерал Поттиорек. Он тоже был в восторге от удачи путешествия наследника престола. Все понимали, что 84-летнему императору, только что оправившемуся от воспаления легких, жить осталось недолго. Поттиорек, блестящий генерал, впоследствии в борьбе с сербами не очень оправдавший высокое мнение о его военных дарованиях, имел основания связывать немалые надежды с приездом в Боснию эрцгерцога.

У ворот гостиницы остановились четыре великолепных автомобиля. В первом заняли места начальник полиции, правительственный комиссар и сараевский бургомистр; во втором ехали Франц Фердинанд, жена его и Поттиорек; рядом с шофером сел сопровождавший наследника престола граф Гаррах; в третьем и четвертом автомобилях находились разные должностные лица. В 9 час. 30 м. автомобили отошли в Сараево.

С той стороны тоже все было готово. Не буду сообщать подробностей о других участниках дела. На скамье подсудимых по сараевскому делу находилось много людей. Непосредственных участников покушения было шесть, если не предполагать, что на следствии кое-что осталось невыясненным. Террористы с бомбами заняли позиции на набережной, у мостов. По мостам, вероятно, всегда проходили люди, и среди них остаться незамеченным было сравнительно нетрудно; можно было и переходить с одного берега на другой. Кривые и узкие улицы Сараева также подходили для покушения, но едва ли террористам могло быть в точности известно, по каким из этих улиц проедет в ратушу эрцгерцог. Между тем набережной он никак миновать не мог. Все было обдуманно тщательнейшим образом. Наследник австрийского престола неизбежно должен был погибнуть на набережной, если не у первого моста, то у второго.

* „Бешепство и смерть знаменитого слона Ямбо воллуют всю Россию“ (Фр).

На самом деле все вышло не так, как предполагали организаторы покушения. Все вышло совершенно иначе. Эрцгерцог Франц Фердинанд погиб не там, где его ждали террористы, погиб не тогда, когда было предусмотрено, погиб не на набережной, погиб не от бомбы, погиб, в сущности, почти случайно. „Кисмет, кисмет“, — пишет в своих воспоминаниях барон Коллас.

„Если ты хочешь охотиться на слонов, произведи сначала над собой душевный опыт: выйди на полотно железной дороги, стань лицом к мчащемуся экспрессу и сойди с полотна тогда, когда локомотив будет от тебя в трех шагах: если твои нервы выдержат, ты можешь охотиться на слонов“. Читатель, быть может, знает этот совет знаменитого путешественника. Беда в том, что подобный опыт на железнодорожном полотне сам по себе связан с некоторым риском; этот экзамен требовал бы еще какого-либо предварительного экзамена: можешь ли ты подвергнуть свои нервы столь тяжкому испытанию и т.д. Иными словами, для опасных дел нужна тренировка. Стендаль, Толстой описали нам тренировку человека на войне. Смертельный страх, испытываемый Николаем Ростовым в первом деле, с годами сменяется равнодушием: он привык к огню. Но Ростов, офицер времен наполеоновских войн, бывал под огнем весьма часто, в течение ряда лет.

К террору привыкнуть невозможно, ибо такой профессии все же нет. Иные русские террористы, правда, считали себя профессионалами. Однако в действительности и за ними числились один, два, очень много, если три, террористических акта. Поэтому незачем верить воспоминаниям людей, описывающих, как они, сохраняя совершенное хладнокровие, „как по нотам“ разыгрывали свои грозные дела. В громадном большинстве случаев это то же хвастовство юного Ростова: „Ты не можешь представить, какое странное чувство бешенства испытываешь во время атаки...“ Террористические акты, „разыгранные как по нотам“, в истории чрезвычайно редки. Вот, пожалуй, Пален и Беннигсен как по нотам разыграли дело 11 марта, но на то это были Пален и Беннигсен.

Молодые люди, вернее, мальчишки, ждавшие 28 июня Франца Фердинанда на набережной реки Мильячки, нисколько на Палена и Беннигсена не походили. Легко было войти в „Уединенье или Смрт“; легко было даже согласиться с беззаботным видом на *дело*: „Согласен ли я убить эрцгерцога? Разумеется, о чем же тут говорить!..“ Но перед 28 июня надо было провести несколько дней в состоянии нестерпимого душевного напряжения. Надо было прожить нескончаемую последнюю ночь: „Завтра!..“ Ни малейшего конспиративного опыта у этих юношей не было. Они с загадочным видом говорили в последние дни знакомым, что готовят нечто необыкновенно страшное: вот вы увидите! Один из них накануне убийства эрцгерцога хвастал в кондитерской перед товарищами, что у него есть револьвер. „Не верите? Можете пощупать карман“. „Незачем щупать: вижу твой револьвер“, — ответил товарищ, гимназист шестого класса.

Беспомощности заговорщиков (исполнителей) в этом деле равна была только беспомощность австрийских властей: с двух сторон происходило какое-то соревнование в незнании своего дела. Трудно понять, почему террористов не арестовали на набережной, просто по их внешнему облику. Никакого „внутреннего освещения“ в организации не было, опытных сыщиков Вена и Будапешт из экономии не прислали, но наружной полиции на улицах Сараева при въезде эрцгерцога было, разумеется, достаточно. Правда, в солнечный июньский день народ толпился на улицах городка. Однако эти молодые люди странного вида (у каждого за пазухой была бомба немалых размеров) могли обратить на себя внимание самого обыкновенного добросовестного городского.

Как провели все заговорщики свою последнюю ночь перед делом, мы не знаем. Принцип до утра разговаривал с одним единомышленником, — разумеется, о завтрашнем дне, о том, что скажет о них потомство. „Я не хотел быть героем. Я просто хотел умереть за идею“, — говорил он в крепости доктору Паппенгейму. По другим сведениям, он в эту ночь побывал в казино. Бомбы террористы, по-видимому, получили только 28-го утром. В то же утро они встретились в кондитерской. Для последнего уговора? Нет,

диспозиция была готова, роли распределены. Вернес, встретились просто потому, что больше не могли вытерпеть одиночества. Затем они вышли на свои позиции, к мостам. Принцип стоял по счету пятым: у Латинского моста.

IX.

Как было сказано, автомобили эрцгерцога выехали из Илиджа в 9 час. 30 мин. утра. По дороге были две остановки: первая в лагере Филипповиц — Франц Фердинанд хотел поздороваться со стоявшими там частями; вторая у почты, где эрцгерцог имел „беседу по частому делу с аулическим советником Боснии“ („Матэн“, 29 июня 1914 года). Какая была беседа, какое могло быть частное дело в столь неподходящей обстановке, не знаю. В самом начале одиннадцатого часа автомобили показались на набережной Милячки. Шли они не очень быстро: эрцгерцог желал, чтобы его добрый народ мог видеть своего будущего императора. В церквах гремели колокола (в соборе шла панихида по сербам, павшим пять столетий тому назад на Косовом поле).

Первым в цепи террористов стоял Мехмедбашич, один из участников тулузского совещания. По диспозиции, он должен был вынуть из-за пазухи бомбу и бросить ее под автомобиль эрцгерцога. Дело было беспроигрышное, но выполнить его требовалось в течение двух-трех секунд. У молодого человека нервной силы не хватило, хоть трусостью он никак не отличался. Бомбы он не вынул и под автомобиль ее не бросил. Когда опомнился, поезд уже был далеко. Совершенно то же самое случилось со вторым заговорщиком, Кубриловичем. Черта в психологическом отношении интересная: после убийства он метался по городу и говорил друзьям, что „выхватил револьвер и два раза выстрелил в эрцгерцога“. На процессе это, кажется, приписывали хвастовству. Хвастать тут было совершенно бессмысленно: каждый мог понять, что выдумка будет тотчас разоблачена. Кубрилович, думаю, искренне поверил, что стрелял в Франца Фердинанда. Он на слонов не охотился, с железнодорожного полотна в трех шагах от мчащегося экспресса не

сходил — и был, конечно, в состоянии, близком к умопомешательству. Организаторы дела поступили правильно, заменив количеством недостаток технического качества исполнителей. Мехмедбашич и Кубрилович диспозиции не выполнили — ее выполнил третий террорист, Габринович, стоявший у моста Цумурья. В 10 часов 25 минут автомобиль наследника престола поравнялся с этим мостом. Габринович поднял над головой начиненную гвоздями бомбу (она была у него спрятана в букет цветов) и бросил ее под колеса.

Раздался оглушительный взрыв. Гвозди бомбы ранили немало людей в толпе, ранены были два офицера из свиты эрцгерцога, но сам он не пострадал совершенно. Почти не пострадала и герцогиня Гогенберг. Запальная капсюль лишь оцарапала ей шею.

На набережной произошло смятение. Все в этот день было торжеством глупости и нераспорядительности властей. Автомобили остановились посередине набережной и простояли так по меньшей мере пять минут. Кто-то орал диким голосом. Ген. Потгорек „догадался, что произошло покушение“, это, конечно, делает честь его догадливости. Австрийский лейтенант Морсей тоже „догадался“, что виновник покушения — молодой человек, бросивший под автомобиль цветы. Он ринулся на Габриновича. В ту же минуту вспомнил о своем долге постовой городской, так удачно следивший за порядком на вверенном ему участке. Он тоже ринулся, но не на террориста, а на лейтенанта Морсея с криком: „Не суйтесь не в ваше дело!“ Они вступили в рукопашную. Тем временем Габринович выхватил из кармана склянку с ядом, проглотил яд и бросился в реку. Об охране эрцгерцога не подумал решительно никто. За это время на место взрыва могли сойтись все террористы: и те, что пропустили очередь, и те, до которых очередь еще не дошла. Убить теперь эрцгерцога было легче легкого. Если Франц Фердинанд не погиб тут же, то именно потому, что технические качества заговорщиков приблизительно равнялись техническим качествам полиции.

Первым пришел в себя, по-видимому, сам эрцгерцог, бывший в совершенном бешенстве: поездка прошла столь прекрасно, и вдруг такой финал! — он это

считал финалом. По его приказу кортеж отправился дальше, согласно программе в ратушу. Автомобили проехали мимо Принципа. Но потому ли, что они теперь неслись быстро, или оттого, что, услышав гул взрыва, он счел дело конченным, Принцип поступил так же, как Мехмедбашич и Кубрилович: он не воспользовался ни бомбой, ни револьвером.

Х.

В ратуше, кажется, еще ничего не знали о покушении. Бургомистр-мусульманин начал было цветистую приветственную речь. Эрцгерцог резко его оборвал: „Довольно глупостей! Мы приехали сюда как гости, а нас встречают бомбами! Какая низость! — сказал он. — Хорошо, говорите вашу речь...“

Приветственная речь была сказана, но можно с большой вероятностью предположить, что она особенного успеха не имела. В свите наследника престола шло совещание: что теперь делать? Куда ехать отсюда дальше? У кого-то возникла довольно естественная мысль, что за первым покушением может последовать второе. Кто-то другой это отрицал: как же так, два покушения в один день, где это видано? Эрцгерцог продиктовал телеграмму детям — хотел их успокоить. Общая растерянность усиливалась оттого, что у герцогини Гогенберг была оцарапана шея — сочилась кровь. Теоретические гадания о том, бывают ли два покушения в один день, продолжались. Франц Фердинанд объявил, что заедет в больницу навестить раненных при покушении офицеров. Казалось бы, теперь следовало принять некоторые меры предосторожности. Однако местная полиция не оказалась крепкой и задним умом. На этом своем, последнем в жизни, пути эрцгерцог охранялся так же, как по дороге в ратушу, то есть никак. Единственную меру защиты принял по собственной инициативе граф Гаррах. Он обнажил саблю, вскочил на ступеньку автомобиля эрцгерцога и сказал, что так простоят всю дорогу. Вскочил слева. Надо было стать справа. Это опять был — кисмет!

Относительно маршрута приняли решение ехать той же дорогой — пожалуй, единственное разумное решение за весь день: террористы, конечно, давно

покинули набережную Милячки. Четыре автомобиля в том же порядке выехали в больницу. Но шоферам власти забыть сказать, как надо ехать. Между тем шоферы знали лишь прежний маршрут, составленный еще в Илidge: в ратушу — по набережной, из ратуши — свернуть на улицу Франца Иосифа. Так они и поехали. Только на углу названной улицы генерал Поттиорек вдруг заметил ошибку. Он сердито схватил шофера за плечо и закричал: „Стой! Куда едешь? По набережной!“... От внезапного окрика шофер, вероятно и без того растерянный, совершенно ошалел. Он быстро затормозил и остановился, наскочив на выступ тротуара. Кismet! На тротуаре, именно в этом месте, справа от автомобиля, теперь стоял — Принцип!

Он находился тут случайно. После взрыва бомбы Габриновича Принцип пошел — или побежал — с набережной Милячки в совершенном отчаянии: сорвалось! Габринович схвачен или будет схвачен, по его следам полиция доберется до других: все пропало! Принцип зашел в кофейню на улице Франца Иосифа (это главная улица городка), проглотил у стойки чашку кофе. Думал ли, что еще можно поправить дело? Быть может, по каким-либо неясным догадкам пришел к мысли, что наследник австрийского престола должен еще раз проехать где-либо здесь, поблизости? На это есть кое-какие указания. Все же это мало вероятно: Принцип не мог знать, куда поедет из ратуши Франц Фердинанд, если за пять минут до того не знал этого и сам эрцгерцог. Гостей ведь убеждали после покушения отправиться во дворец или даже прямо на вокзал. Ничто решительно не свидетельствовало, что они появятся на улице Франца Иосифа. Скорее всего, Принцип направился из кофейни куда глаза глядят, почти ничего не соображая. Было 10 часов 50 минут утра...

Вдруг прямо перед собой он увидел круто застопоривший великолепный автомобиль, *тот* автомобиль. Принцип не мог не узнать эрцгерцога: вероятно, не раз и не два в последние дни он вглядывался в фотографию человека, которого хотел убить. Выхватив из кармана револьвер, он стал стрелять. Промаяхнуться с трех или четырех шагов было трудно. Франц Фер-

динанд тяжело откинулся на спинку сиденья, герцогиня вскрикнула, поднялась и упала. Они были смертельно ранены. Генерал Потторек оцепенел. Ничего не сделал и граф Гаррах, стоявший с обнаженной саблей на ступеньке по другую сторону автомобиля. На убийцу бросился случайный прохожий, сербский студент Пузич. Принцип выронил бомбу — она не взорвалась. Со всех сторон сбегались жандармы, полицейские, офицеры...

Через несколько дней после сараевского убийства Л.Троцкий разыскал в парижской кофейне „Ротонд“ одно лицо, весьма близко стоявшее к главным участникам дела. Это был, по-видимому, организатор тулузского совещания Владимир Гачинович. Сам он к ответственности по делу привлечен не был, но в исторической литературе есть указания на то, что в обществе „Черная рука“, в котором он числился под номером 217, Гачинович играл роль огромную (кажется, впрочем, главным образом „идеологическую“). Принцип видел в нем „божество“*. Гачинович вырос в русской революционной среде, переводил Герцена и Бакунина, „с восторженной любовью читал роман Чернышевского „Что делать?“, останавливаясь перед сильной фигурой аскета Рахметова“. Есть все основания думать, что именно он указал на Принципа как на лицо, подходящее для убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, указал людям совершенно иного типа, Герцена не читавшим и Рахметовым не увлекавшимся.

Собеседник Троцкого сообщил будущему „человеку 25-го октября“, тогда сотруднику „Киевской мысли“, весьма ценные сведения об идеях, планах и настроениях группы людей, к которой принадлежал Принцип. С газетной (да и с исторической) точки зрения это был клад. Много позднее советский историк Н.П.Полетика написал о сараевском деле большое исследование и, разумеется, широко использовал старые статьи Троцкого. Можно ли предусмотреть будущее вообще, а в СССР в особенности? Со времени

*См. весьма интересные указания в статье Durham („Current History“, февраль 1927 года).

появления книги прошли долгие годы, „человек 25-го октября“ оказался константинопольским гадом и мексиканским псом, кажется, в Москве больше не слышно о трудах историка Н.П.Полетики. Работа его при всех своих недостатках была очень ценной: он собрал множество самых разнообразных материалов. Иные из них мне недоступны, особенно материалы, относящиеся к суду над убийцами эрцгерцога. Первоисточника по этому вопросу не существует: стенографический отчет о сараевском процессе исчез в 1918 году довольно загадочным образом. Барон Коллас в своей не раз цитировавшейся мною статье сообщает, что захватил отчет некий гофрат Черович. О судьбе этого ценнейшего документа мы можем только догадываться. Бог даст, он когда-нибудь найдется.

Главные участники сараевского процесса, насколько мне известно, своих воспоминаний не оставили. Как раз на прошлой неделе в „Пти Паризьен“, по случаю приближающегося 25-летия со дня убийства наследника австрийского престола, появилась корреспонденция сараевского сотрудника газеты. Он сообщает некоторые подробности об уцелевших участниках террористического движения той эпохи. Все они оставили политику и совершенно ею не интересуются: карьеры не сделал никто, „а когда слышат они о каком-либо покушении или заговоре, то содрогаются от ужаса“ („Пти Паризьен“, 8 июня 1939 года. Возможно, разумеется, что тут есть и некоторая „стилизация“). Из людей, ждавших Франца Фердинанда с бомбами на набережной реки Милячки, оказывается, живы еще двое. Мохамед Мехмедбашич, участвовавший в тулузском совещании, стоявший 28 июня у первого моста Цумурья, позднее привлекавшийся к ответственности по другому столь же грозному и трагическому делу, теперь работает столяром на том самом курорте Илидже, откуда эрцгерцог выехал в Сараево. Цветко Попович, находившийся на набережной по другую ее сторону, в настоящее время состоит директором учебного заведения. Жива и служит где-то врачом девушка, в которую был влюблен Принцип. Еще жив и председатель трибунала, судившего убийц Франца Фердинанда, он стал монахом.

Возвращаюсь к дню 28 июня 1914 года. По необъяснимой случайности автомобиль, можно сказать, подвел эрцгерцога к его убийце. По другой случайности на этом месте как раз в ту минуту оказался какой-то фотограф-любитель. Никто не мог знать, куда поедет из ратуши наследник австрийского престола. Вероятно, фотограф в мирный воскресный день просто желал собрать для своей коллекции картинки оживленных улиц. Может быть, он даже не знал, что на набережной произошло покушение: ведь с момента взрыва бомбы Габриновича прошло не более получаса. Скорее, впрочем, знал: Сараево — не Париж, такая весть должна была распространиться по городу очень быстро. Вдруг фотограф услышал выстрелы, увидел в двух шагах от себя странную сцену... Должно быть, это был энтузиаст фотографического дела и действовал он почти бессознательно, по механической привычке: что-то происходит — надо „заснять“. Он направил аппарат на место происшествия — и неожиданно-негаданно в глухом углу Европы „заснял“ событие, положившее начало величайшей катастрофе в истории мира.

Очень много было в те дни в газетах и изображениях, и описаний этой сцены: вслед за фотографом потрудились и художники, и неизбежные „очевидцы“. Как помнит читатель, на убийцу первым бросился сербский студент Пузич, за ним бросились другие. Принцип оказал отчаянное сопротивление. Произошла свалка. В общем смятении били Принципа, били друг друга, били какого-то ни в чем не повинного человека, которого почему-то признали злоумышленником. Бомба, брошенная или выроненная Принципом, не взорвалась истинным чудом; ее в суматохе чуть только не топтали ногами. Принцип выхватил из кармана склянку с раствором яда и поднес ее ко рту, но, кажется, она была выбита у него из рук. Попытка застрелиться — выбежавший из парикмахерской ошалевший обыватель схватил его за руку и „спас ему жизнь“... Так сообщают очевидцы, с полной уверенностью на них положиться трудно: кто мог разобрать и запомнить то, что происходило на улице в эту страшную минуту? (Все ведь длилось не более минуты.) Связдо изложить потом свои наблюдения для

газет было гораздо легче. Как бы то ни было, Принцип тяжело пострадал в свалке. Ему нанесли и несколько сабельных ран. Одна из них вместе с голодом впоследствии медленно свела его в могилу в каземате крепости Терезиенштадт.

Тем временем автомобиль эрцгерцога уже несся по улицам Сараева, — пришедший в себя генерал Потюрорек приказал ехать во дворец с величайшей быстротой. Франц Фердинанд был ранен в шею, герцогиня Гогенберг — в живот. Говорят, что в автомобиле эрцгерцог прошептал: „Софья, Софья, живи для наших детей!..“ Но во дворец они были перенесены уже в бессознательном состоянии. Власти успели вызвать епископа для отходной. Наследник престола скончался через двадцать минут после покушения. Его жена прожила на несколько минут больше.

Местное начальство растерялось. Посыпались телеграммы, телефонограммы, нелепые приказы, бессмысленные и свирепые меры. Со всех концов Европы журналисты неслись в Сараево. В Вене придворные ломали себе голову: как сообщить императору? Франц Иосиф не любил эрцгерцога, он потерял счет несчастьям и катастрофам, — но теперь ему было 84 года. Узнав о сараевском деле, император сказал: „Ни от чего на этом свете не уберегла меня судьба“. Затем он, естественно, занялся церемониалом. Распорядился, чтобы, Боже избави, не вздумали хоронить герцогиню Гогенберг в фамильной усыпальнице Габсбургов: ведь со всеми пожалованными ей титулами и предикатами она, по рождению, какая-то графиня Хотек. Распорядился, чтобы на гроб морганатической супруги наследника престола не забыли положить всер и перчатки: несчастье — несчастьем, но не надо забывать, что она австрийская фрейлина. Венка император не прислал. Объясняли это забывчивостью. Он мог забыть о чем угодно, но никак не о церемониале. Наконец, были при дворе люди, которые могли ему напомнить. Австрийского обер-церемониймейстера сам Франц Иосиф считал „фанатиком“.

Было ли кем-либо тотчас после сараевского убийства произнесено слово „война“? Не могу ответить, хоть прочитал несколько газет того времени. В первую минуту тревога была очень велика: как поступит

Вена? как отнесется к ее действиям Петербург? Передовые „Речи“ и „Нового времени“ были подробно переданы по телеграфу всей западной печатью. „Речь“, „отдав должное престарелому монарху, настаивает на том, что политика Вены породила национальную ненависть: для сербских патриотов покойный эрцгерцог стал символом политики аннексий“ (перевожу с французской передачи). Не говорило о возможности войны и „Новое время“. Тон австрийских газет был тоже в первое время не слишком воинственным. Понемногу тревога улеглась. В газетах снова появились статьи о „борьбе черной и белой расы“, то есть о матче боксеров Джека Джонсона и Фрэнка Морана. Матч, к сожалению, оказался неудачным, но седьмой раунд был восхитителен. — „Frank, hit him!..“ „Kill him, Jack!..“ Появилась и новая сенсация. Наш соотечественник, знаменитый летчик Сикорский с тремя пассажирами перелетел на аэроплане из Петербурга в Оршу, — 570 километров без остановки! „Un record unique dont nos amis les Russes peuvent être fiers!“* — писала газета „Матэн“ (30 июня).

Власти в Сараеве старались очистить себя от обвинений в легкомыслии и нерадивости. Везде в городе были вывешены траурные флаги. Очень торжественно прошла церемония перенесения тел убитых в собор, затем на вокзал. Мост, у которого Принцип ждал эрцгерцога, был назван „мостом Фердинанда и Софии“. Теперь он называется — „мост Принципа“.

Меры сараевского военного командования были сумбурны. Оно хватало и сажало в тюрьмы сербских гимназистов почти без разбора. В числе людей, привлеченных к ответственности по делу об убийстве эрцгерцога, были 16-летние мальчишки. Но к ответственности привлечено было всего двадцать пять человек: между тем аресты считались на сотни. Большую часть задержанных пришлось вскоре выпустить. Они не имели к делу ни малейшего отношения, разве только что были знакомы с террористами. В малень-

* „Фрэнк, ударь его!..“ „Убей его, Джек!..“ (англ.)

* „Единственный в своем роде рекорд, которым могут гордиться русские!“ (фр.)

ком провинциальном городке, вероятно, все были знакомы со всеми.

Что до настоящих террористов, то, за исключением Мехмедбашича, тотчас скрывшегося в горах, не ушел от властей никто. Заговорщики и тут проявили недостаток опыта. В те блаженные времена переходить границы, даже в Юго-Восточной Европе, было неизмеримо легче, чем теперь. Уйти из Сараева в Сербию могли все участники дела, — за исключением Принципа и Габриновича, схваченных на месте покушения. Один не ушел потому, что не хотел покидать барышню, в которую был влюблен. Разумеется, она могла бы уехать к нему вполне легально через несколько дней, но им необходимо было „бежать вместе“. У другого был совершенно надежный тайник. Большинство считали себя в безопасности: как полиция может до них добраться?

Конечно, полиция добралась до всех очень скоро. В литературе есть указания на допросы „по третьему градусу“. Но если это и неверно*, то в крошечном городке очень легко было установить, с кем встречались Принцип и Габринович: участники заговора ежедневно сходились в одной кондитерской. Выплыло и хвастовство некоторых из них: за несколько дней до покушения говорили, что произойдет нечто весьма страшное. Вероятно, из Вены в помощь местным властям были присланы опытные полицейские специалисты (хоть указаний на это я нигде не встречал). Так или иначе, австрийским властям стало известно все или почти все.

В отличие от некоторых других обвиняемых, Принцип держал себя очень мужественно. Сказал, что хотел убить эрцгерцога и сожалеет о кончине его жены. Добавил, что вторую пулю предназначал для генерала Потioreка. Всю ответственность принимал на себя и, по возможности, выгораживал своих товарищей.

*В упомянутой выше корреспонденции „Пти Паризьел“ приводят слова человека, замешанного в сараевское дело: „Меня били, когда привели в полицию, но не могу сказать, чтобы по-настоящему пытали. А как только нас перевели в военную тюрьму, побои окончательно прекратились. Так было и со всеми остальными. Знаю это отлично, так как я сидел поочередно в одной камере со всеми главными подсудимыми“.

XI.

Австрийское правительство явно хотело придать процессу убийц эрцгерцога Франца Фердинанда характер большого политического спектакля, рассчитанного на „весь цивилизованный мир“. Следствие велось с необычайной для империи Франца Иосифа быстротой и энергией. Хотя к ответственности привлечено было двадцать пять человек, все было готово через три месяца: в других странах, вероятно, потребовалось бы для подобной работы не менее года. В отношении каждого из подсудимых факты были установлены с достаточным приближением к правде. Интересно, однако, то, что слов „Черная рука“ в обвинительном акте нет. Власти едва ли могли не знать о существовании подобной террористической организации. Но, быть может, ссылаться на нее было невыгодно: если убили наследника австрийского престола какие-то карбонарии, то как же взваливать политическую ответственность на монархическую Сербию?

Некоторые попытки воздействия на суд со стороны австрийского правительства как будто были, но нерешительные и оставшиеся без последствий: и Европа 1914 года не походила на нынешнюю, и надобности в давлении не было. В коронном суде, при отсутствии присяжных заседателей, никаких неожиданностей опасаться не приходилось.

Большим политическим спектаклем процесс убийц эрцгерцога, однако, не оказался. Особенно важных разоблачений не последовало, да если б они и последовали, то мировой сенсации не вызвали бы. Хотя следствие велось чрезвычайно быстро, жизнь пошла еще быстрее: к тому времени, когда начался суд, „цивилизированный мир“ уже находился в состоянии резни, и ему было никак не до сараевского дела. По сравнению с битвой на Марне, дело это отошло не на второй, а на двадцатый план. Как раз перед началом процесса пал Антверпен. В Польше шли кровопролитные бои, имевшие огромное значение для Европы.

Обо все этом подсудимые знали мало. Однако какие-то сведения все же просачивались и в сараевскую тюрьму. Едва ли властям удалось скрыть 28 июля от заключенных, что Австрия объявила Сербии войну.

Мобилизация должна была повлечь за собой перемены в тюремном персонале, да и сторожа, среди которых были славяне, не могли не поделиться с заключенными такой новостью. Затем, по старому доброму международному обычаю, в камеру Принципа была допущена „овечка“, оказавшаяся неопытной и болтливой: желая обескуражить убийцу Франца Фердинанда, овечка сообщила, что сербы будут раздавлены „прежде, чем Россия закончит мобилизацию“, — таким образом Принцип узнал, что русская армия мобилизуется! Еще через несколько дней стало известно, что в Сараеве развешены огромные афиши „Gott strafe England“*, значит, в войну вмешалась Англия! Мы можем только догадываться, с какими чувствами узнавали все это заключенные сараевской тюрьмы.

Процесс открылся в Сараеве 12 октября 1914 года. Шел он в формах строго законных и культурных. Председатель, обер-юстицрат фон Куринальди (теперь католический монах), вел себя в высшей степени корректно, по возможности не стеснял подсудимых и не мешал защитникам. К большим политическим процессам в мире обычно готовятся обе стороны. В этом деле со стороны защиты никакой политической подготовки не было; не существовало организации, которая могла бы ее взять на себя в октябре 1914 года. Не было у защитников, людей разных взглядов, и общей идеи. Один из них, хорват Премушич, на суде заплакал и объяснил свои слезы душевной болью: ему тяжело защищать убийц человека, который так хорошо относился к хорватам. Напротив, другой адвокат, доктор Рудольф Цистлер, резко обвинял австро-венгерское правительство. Свою защитительную речь он построил на том, что измены в сараевском деле нет: речь могла идти только об отделении Боснии и Герцеговины от империи, а эти земли не принадлежат Австро-Венгрии по праву. Председатель неоднократно останавливал Цистлера, однако не липил его слова. Едва ли в какой-либо другой стране в разгар мировой войны могла бы быть сказана по подобному процессу подобная речь. Объяснялось это, думаю, не столько сомнительным либерализмом, сколько обычны-

*См. споску на стр. 69.

ми чертами Вены — равнодушием, скептицизмом, „шон гут“ом* и давней затаенной уверенностью австрийцев в том, что все равно все идет к черту, происуществовали тысячу лет, и будет.

Главными фигурами процесса были, естественно, Принцип* и Габринович: один убил эрцгерцога и его жену, другой бросил в них бомбу, ранившую много посторонних людей. Габринович после покушения проглотил яд и бросился в реку. Но цианистый калий на него не подействовал, а из воды его вытащили. Между ним и Принципом шло на суде некоторое соревнование, довольно естественное и вообще, а в их возрасте особенно: кто был „главный“, кто первый задумал убить Франца Фердинанда (в действительности, „первым“ не был ни тот, ни другой).

Держались они, впрочем, по-разному. Принцип с большим мужеством все принимал на себя и ставил себе убийство эрцгерцога в заслугу. Габринович выражал некоторое раскаяние. В своем последнем слове, обращаясь к суду, он сказал (цитирую по С.Грехэму): „Не думайте о нас худо. Мы никогда Австрию не ненавидели, но Австрия не позаботилась о разрешении наших проблем. Мы любили свой собственный народ. Девять десятых его — это рабы-земледельцы, живущие в отвратительной нищете. Мы чувствовали к ним жалость. Ненависти к Габсбургам у нас было. Против Его Величества Франца Иосифа я ничего не имею... Нас увлекли люди, считавшие Фердинанда ненавистником славянского народа, Никто не говорил нам: „Убейте его“. Но жили мы в атмосфере, которая делала его убийство естественным... Хотя Принцип изображает героя, наша точка зрения была иная. Конечно, мы хотели стать героями, и все же мы испытываем сожаление. Нас тронули слова: „Софья, живи для наших детей“. Мы все что угодно, но не преступники. От своего имени и от имени моих товарищей, прошу детей убитых простить нас. Пусть суд нас покарат, как ему угодно. Мы не преступники, мы

*От нем. *Schon gut* — Все в порядке. — *Прим. ред.*

*О нем уже тогда ходили пеллепшие легенды. По одной из них, он был сыном эрцгерцогини Стефании, жены кропприпца Рудольфа, и „метил габсбургскому роду“. По другой, он действовал по паущелиню незаконной дочери кропприпца Рудольфа и баронессы Вечера.

идеалисты, и руководили нами благородные чувства. Мы любили наш народ и умрем за наш идеал...“

Принцип тотчас внес поправку: „Габринович говорит за самого себя. Но он уклоняется от истины, намекая на то, будто кто-то другой внушил нам мысль о покушении. К этой мысли пришли мы сами, мы ее привели в исполнение. Да, мы любили наш народ. Больше ничего сказать не могу“.

Оба, думаю, говорили искренно. Между ними была разница в душевном настроении. Вряд ли Габринович рассчитывал смягчить судей своим последним словом. Оправдать его не могли. Приговорить к смерти тоже не могли: австрийский закон не допускал казни в отношении несовершеннолетних, и всем было известно уважение престарелого императора к закону. А присудят ли к двадцати годам тюремного заключения или к пятнадцати — это Габриновича не могло особенно интересовать в октябре 1914 года. Весь мир был уверен, что война продлится „самое большее год“. Конечно, так же думали тогда и подсудимые сараевского процесса: через несколько месяцев всех их освободит победа союзников, ведь Львов уже взят русскими войсками. Недежда сменилась отчаянием лишь позднее.

Суд, оправдавший девять подсудимых, отнесся почти одинаково к двум главным участникам дела. Оба были приговорены к двадцатилетнему заключению, с переводом в темный карцер в каждую годовщину преступления. Принципу был еще назначен один день полного поста в месяц; это большой разницы не составляло. В ином положении находились совершеннолетние участники дела. Судьба их оказалась другой. Особенностью сараевского процесса было то, что главные подсудимые избегали смертного приговора, тогда как их товарищей, Илича, Велько Кубриловича и Миско Иовановича, никого не убивших, никого не ранивших, суд приговорил к казни. Их повесили 3 февраля 1915 года.

Фактически разница была, впрочем, невелика. Подземные казематы крепости Терезиенштадт при продовольственных условиях военного времени действовали не столь быстро, как виселица, но столь же верно. Читатель знает судьбу Принципа. Участь девя-

ти его товарищей по сараевскому делу была такая же: они умерли в тюрьме, не дождавшись конца войны. Габринович погиб еще раньше Принципа от скоротечной чахотки. Очень немногие дожили до австро-германской капитуляции, увидели — и пережили — свой собственный апофеоз.

ХII.

Пифагор советовал ораторам: если хочешь сказать хорошую речь, молчи семь лет и думай о том, что скажешь. Требование, разумеется, чрезмерное: для адвокатов, например, или для политических деятелей оно явно неприемлемо. Как жаль, что настолько чаще встречается и в малой, и в большой истории противоположная крайность.

Когда читаешь речи, статьи, документы, относящиеся к периоду времени между сараевским делом и началом войны, невольно дивишься полной безответственности слов, принадлежавших, казалось бы, самым ответственным людям. Нельзя ставить в вину государственным деятелям, что они ничего не предвидели: замечание „управлять — это предвидеть“ всегда было чисто теоретическим афоризмом, осуществляемым на практике разве в одном случае из ста. Но многие печатные памятники той эпохи производят такое впечатление, будто их авторы думали о содержании своего творчества не то что менее семи лет, а менее семи минут.

Перелистываешь „красные“, „белые“, „синие“ книги, выпущенные в ту пору разными правительствами (наиболее подходящим общим для них заглавием было бы обозначение: „Желтая книга“). Историческая критика доказала совершенно бесспорно, что книги эти были заведомой фальсификацией. В одной только „Красной книге“ австро-венгерского правительства из составляющих ее 69 документов фальсифицировано было 38. Кроме того, позднее, по окончании мировой войны, в венском архиве нашлось еще 382 документа, которые при сколько-нибудь добросовестной работе должны были бы попасть в книгу — и не попали. Однако независимо от искажений, недомолвок, тен-

денциозных пропусков поразительна картина, которую дают и эти, и другие ныне нам известные документы. Граф Тисса, человек умный и даровитый, на протяжении одной недели без малейшей причины (кроме общей атмосферы желтого дома) из крайних противников войны становится ее решительным сторонником. Вильгельм II то заявляет, что Германия воевать не желает, что она не может победить коалицию из России, Франции и Англии, то пишет свои известные заметки на донесениях послов: ругает крепкими словами дипломатов, проявляющих здравый смысл, желающих сохранить мир (он выдумал и слова „окружение Германии“, теперь возродившиеся с таким шумом). Захочу — помилую человечество; не захочу — не помилую.

По сравнению с тем, что происходит ныне на наших глазах, политические действия, следовавшие за сараевским убийством, можно считать торжеством разума. Одному из австрийских социал-демократов в августе 1914 года приписывалось слово, сказанное будто бы не в виде остроты, а с недоумением и с отчаянием: „Не думал я, что моя жизнь будет „Жизнью за царя!“ — он совершенно серьезно, после австрийского ультиматума Сербии приписывал войну „интригам царского правительства“!

Он верил австро-венгерской „Красной книге“. С гораздо большим правом, при той же странной игре слов мы могли бы сказать, что жизнь нескольких русских поколений была „жизнью за Сталина“. Как она кончится — кто знает? Авторы красных, синих, белых книг о нас позаботятся — не мы первые, не мы последние. „Разум приходит поздно, как квартальный после преступления“. И то не всегда.

Мольтке Младший

I.

Генерал Галлиени писал в своем дневнике 25 сентября 1915 года:

„Работаю над записками. Да было ли сражение на Марне? Группа армий отступала перед врагом, каждая работала на себя. Можно ли отдавать приказания армиям, отступающим под давлением неприятеля? Они делают, что могут... Намечалась общая операция, предполагалось поддерживать огромный единый фронт без дыр, а между тем каждая голова работала самостоятельно — и так лучше...“

Удивительные строки. Один из главных участников сражения на Марне (быть может, самый главный) выражает сомнение в том, было ли вообще это сражение! В сущности, знаменитый французский генерал здесь развивает чисто толстовский взгляд на войну, относя его, правда, лишь к одному военно-историческому явлению.

Толстовская „теория“ вышла из наблюдений над наполеоновскими войнами. Все историки литературы отмечают (да это признавал и сам Толстой), что военные сцены „Войны и мира“ освещены так же, как соответственные картины стендаlevского „Le Rouge et le Noir“*: Фабрицио дель Донго участвовал в битве при Ватерлоо, сам того не зная: он ничего, кроме беспорядка и хаоса, не видел. В действительности, Стендаль заимствовал эти страницы из одной малоизвестной книги „Воспоминания солдата“, написанной ничем не замечательным, но подлинным участником кампании 1815 года.

Прочтите книгу Галлиени, воспоминания Пуанкаре, письма Мольтке — да, это как будто полное торжество толстовских воззрений: как будто те же лич-

* „Красное и черное“ (фр.).

ные страсти, личные счеты, личные интересы. Прочтите бытовые страницы в книге полковника Шарбонно — и здесь чисто толстовские сцены, те самые, о которых генерал Драгомиров писал (цитирую на память): „Тут каждый офицер скажет: да это с нашего полка писано“. И вместе с тем толстовская теория не так уж много даст для объяснения громадного всемирно-исторического события, которое справедливо было названо „чудом на Марне“.

У Толстого, как известно, все решает дух армии. В 1805 году русским крестьянам в солдатских мундирах было репительно незачем на австрийской территории, из-за Генуи и Лукки, воевать с французскими крестьянами. Поэтому Кутузов проиграл битву при Аустерлице. В 1812 году, напротив, вестфальским, гессенским, итальянским, польским, даже французским деревенским людям совершенно не нужно было идти в Россию, куда гнало их честолюбие или безумие Наполеона. Поэтому тот же Кутузов выиграл сражение при Бородино, от которого зависела участь Москвы, а с ним и всю Отечественную войну. На войне один батальон иногда сильнее дивизии, иногда слабее роты. Найдется смелый человек, который бросится вперед со знаменем, — и дело выиграно. Напротив, человек панический закричит „мы отрезаны!“ — и все пропало. Сражение выигрывает тот, кто тверже решил его выиграть.

Но в 1914 году обе стороны очень твердо „решили“ выиграть сражение на Марне. Дух был одинаково высок и во французской, и в германской армиях, как приблизительно равен по качеству был человеческий материал. В пору наполеоновских войн, пожалуй, батальон мог быть сильнее дивизии или слабее роты. Но 420-миллиметровое орудие всегда сильнее 75-миллиметрового. С техникой армий 1914—1918 годов бороться только духом довольно затруднительно. Бежать же вперед со знаменем было и невозможно, и бесполезно: никто не увидел бы, да куда же бежать, когда расстояние между сражающимися армиями составляет десять, пятнадцать километров? Толстовская теория частично устарела вместе с теми самыми военными теориями первой половины XIX века, против которых была она направлена.

Парадокс современной войны. Для Наполеона и его маршалов, для Фридриха, для Суворова война была профессией в самом настоящем смысле слова. Напротив, генералы, командовавшие армиями в Марнском сражении, никогда ни в какой серьезной войне не участвовали (разве некоторые в чине поручика). В сущности, это был их дебют. Другой парадокс. Ни один частный предприниматель не примет на службу директором завода или бухгалтером глубокого старика. Но в 1914 году нечеловеческое напряжение всех душевных, умственных, физических сил выпало на долю очень старым людям. По странной случайности, главные из них (за исключением Жоффра) были в ту пору больны. Тяжело болен был Мольтке, еще тяжелее Галлиени — оба они вскоре сошли в могилу. Больны были в 1914 году также Клок, Бюлов, его начальник штаба Лауенштейн. Поистине надо удивляться энергии, силе воли, выносливости всех этих людей.

Замечу еще одно: ни один из них не пользовался у себя на родине всеобщим признанием, тем авторитетом, который был у Наполеона, у Фридриха, у Суворова. Галлиени в своих воспоминаниях весьма отрицательно отзывается о Жоффре (они, кстати сказать, были еще с 1910 года соперниками по кандидатуре на должность верховного главнокомандующего). Сам Жоффр, довольно добродушный человек, сурово обошелся в мемуарах с Петеном и Кастельно. Фош в 1916 году был уволен от должности и впал в полную немилость. При этом Жоффр сослался на прямое предписание Пуанкаре об увольнении будущего генералиссимуса. Но Клемансо в своих воспоминаниях говорит, что, когда он сказал об этом президенту республики, тот только развел руками: „Господи! Эти генералы!..“ Немало рассказов такого рода можно найти и у Ллойд Джорджа. Он говорит, напротив, что в пору мировой войны французский генеральный штаб „считал самым опасным своим врагом не германского генерала Клука, а французского генерала Саррайля“!

Отнюдь не лучше обстояло дело в высших военных кругах Германии. Так, например, фон Фалькенгайна, который в начале войны был военным министром, а потом верховным главнокомандующим, ненавидели

большинство немецких генералов. Мольтке, Гинденбург, Людендорф настойчиво, почти ультимативно требовали его отставки, писали об этом императору Вильгельму. Очень нехороши были, по-видимому, и отношения Клука с Бюловым. Осведомленный историк войны (сам видный военный) считает даже, что дурные отношения между командующими первой и второй германскими армиями были одной из причин поражения немцев на Марне и провала наступления на Париж: в решительный день 6 сентября штабы обеих армий находились очень близко один от другого; если б фон Крук и фон Бюлов сочли возможным встретиться и сообща обсудить положение, то результат мог бы быть иной; но этому будто бы помешали борьба самолюбий и личные счеты двух старых генералов (они были в одном чине и одних лет).

Можно было бы умножить число сходных примеров. Не будем суровы в оценках. История кое-как все привела в порядок. Не подлежит сомнению, что и Галлиени, и Жоффер, и Фош — превосходные генералы. Вероятно, прекрасными военачальниками были и Крук, и Фалькенгайн, и Бюлов, и Мольтке, которого в Германии принято всячески ругать. Они терпеть не могли, бранили, не признавали друг друга, но так обстоит дело не только у знаменитостей военного мира. Да и не все тут, конечно, сводится к личным счетам и столкновениям. Среди генералов, как среди политических деятелей, писателей, художников, инженеров, учителей, фотографов, всегда была борьба партий, направлений, взглядов. Над всеми нами тяготеет и прошлое с его великими людьми: *absentes adsunt**. Не могло быть у Веласкеса личных счетов с Рафаэлем, который умер за много десятилетий до его рождения. Однако Веласкес уверял — быть может, искренне, — что смотрит на картины Рафаэля с отвращением. Престарелый французский ученый, бывший в молодости учеником Пастера, когда-то мне рассказывал, что в пору знаменитого спора между Пастером и Либихом, в те дни, когда в Париж приходила последняя книжка немецкого научного журнала, в лаборатории начиналась паника: читая работу Либиха,

*Отсутствующие присутствуют (*лат.*).

Пастер ругался ужасными словами, а иногда доходил до настоящих припадков бешенства. Между тем дело шло — о природе брожения!

Разница, однако, есть. Никто не заставлял и не мог бы заставить Пастера вести совместное исследование с Либихом или Рафаэля писать сообща картину с Микеланджело — да еще по указаниям Леонардо да Винчи. Но полководцы 1914 года делали общее дело: они приводили в исполнение план, который для большинства из них был чужим, которого многие из них отнюдь не одобряли.

По своей некомпетентности не берусь, разумеется, судить о военной стороне обоих планов: французского и германского. Поскольку дело идет о ней, позволяю себе лишь сослаться на мнение авторитетов. Они говорят об этих планах без восторга. Во Франции, как известно, верховный военный совет, незадолго до начала войны (18 апреля 1913 года), принял так называемый план № 17, — семнадцатый по счету с 1875 года. Он предусматривал решительно все, — кроме вторжения немцев через Бельгию! Столь же прекрасно разработанный план был у немцев — знаменитый план графа Шлифена. Впрочем, новейший историк утверждает, что такого *плана* никогда не было — была будто бы лишь краткая и не очень ясная записка, составленная графом Шлифеном в весьма преклонном возрасте. В довоенной Германии Шлифена многие считали гениальным человеком, он скончался за полтора года до начала войны. Германское верховное командование очень бранили за то, что оно „отступило от плана графа Шлифена“. При этом военные нередко забывают, что план графа Шлифена строился на нарушении нейтралитета не только Бельгии, но и Голландии. Поэтому, независимо от своих стратегических достоинств, он в 1914 году оказался совершенно неприемлемым по политическим и по экономическим причинам. Политика сыграла дурную шутку и с французским, и с германским командованием. Обои с началом войны пришлось поневоле импровизировать.

Преемником графа Шлифена с 1907 года стал Мольтке Младший. Его теперь почти все немецкие историки и теоретики военного дела считают бездарным человеком. Но это не всегда так было. Рекомен-

довал его императору как своего преемника не кто иной, как сам граф Шлифен, не очень, кажется, его любивший, но признававший за ним большие дарования. Очень высоко ставил его и Людендорф. Гинденбург уже после марнского поражения, после отставки и опалы генерала Мольтке просил Вильгельма II снова назначить его германским верховным главнокомандующим. Но это были исключения. Общество забыло о Мольтке на следующий же день после его ухода. Почти незамеченной прошла и его смерть.

II.

Генерал Гельмут фон Мольтке не оставил после себя, если не ошибаюсь, никаких трудов. Он написал несколько докладных записок, которые военным людям могут быть интересны, да и то не слишком. Но остались после него письма к жене, интересные в историческом, бытовом, психологическом отношении. Женат он был на своей родственнице графине Мольтке-Гуитфельд. По-видимому, это был очень счастливый брак. Письма генерала, охватывающие сорокалетний период времени, свидетельствуют о необыкновенной любви его и уважении к жене. Доверял ей Мольтке безгранично. В пору войны он сообщал жене в частных письмах самые секретные военные сведения. Достаточно сказать, что в письме от 9 сентября 1914 года он в почти безнадежном тоне говорит о военных шансах Германии! В ту пору только он один во всем мире мог так знать и так расценивать положение своей армии. Пусть моралисты решают, имели ли право германский главнокомандующий доверять и жене, и почте (или курьерам) тайну столь огромной важности. Для жены Мольтке написал, уже находясь в отставке, незадолго до смерти небольшую историческую справку о событиях 1914 года и о своей роли в них. В конце этой краткой записки (страниц в пятнадцать) он пишет: „Заметки эти предназначаются исключительно для моей жены. Они никогда не должны быть напечатаны. На долю мою выпало мученичество...“ Вдова генерала все-таки опубликовала заметки — для того, чтобы защитить его память.

Гельмут фон Мольтке приходился племянником знаменитому фельдмаршалу, командовавшему германскими войсками в 1866 и в 1870 годах. Это на нем тяготело почти как несчастье. Оба сына Данте были поэтами, и над ними обычно издеваются. Может быть, их стихи и не так дурны, но уж очень хорошо выходит, что дети „божественного Алигьери“ — бездарные поэты. То же до некоторой степени наблюдалось и в семье Мольтке.

Старого фельдмаршала прозвали в мире „великим молчальником“. Почему, собственно, его так прозвали, трудно понять: сочинения графа Гельмута Мольтке составляют девять томов. Великий молчальник писал, кроме военных трудов, политические, исторические, философские статьи, путевые очерки, афоризмы, стихи. Он написал даже роман „Два друга“. Этот роман я читал, но не дочитал. В нем красавица графиня Ида вышла замуж за мужественного рыцаря Эрнста на радость старому преданному слуге Фердинанду. Стихи же графа Мольтке, точнее, мадригалы много лучше. Он занимался также живописью, знал толк в музыке. Это был очень образованный, одаренный и своеобразный человек.

В мире он пользовался репутацией милитариста из милитаристов. Для нее, конечно, были основания. Мольтке был главнокомандующим в трех войнах и в своих речах ежегодно предсказывал четвертую чуть только не на следующую весну. 88 лет от роду он собирался снова стать во главе армии и повести ее на Париж*. Кроме того, ему приписывают изречение: „Вечный мир мечта, и не прекрасная мечта“. В отличие от многих других исторических изречений, вышеприведенное вполне точно: фельдмаршал действительно это сказал в 1880 году. Но был ли он в самом деле закоренелым, убежденным милитаристом вроде Бернгарди или Людендорфа? В частных своих письмах он утверждал, что ненавидит войну. Высказывал он иногда мысли самые неожиданные. Так, граф Мольтке где-то говорит, что в настоящее время войны затевают не короли и не полководцы, а биржи, — это

* „Еще пейза, даст ли мне возможность г. Булапже приехать в Грейзау“ (их имение), — довольно игриво пишет о войне фельдмаршал брату (письмо от 26 марта 1888 года).

могли бы сказать и Маркс, и Ленин. Самое удивительное, пожалуй, то, что незадолго до смерти он советовал своему племяннику не отдавать сына в кадетский корпус: незачем ему становиться офицером, пусть лучше изучает сельское хозяйство.

В частной жизни это был любезнейший человек. Он обожал свою жену, чрезвычайно любил мать, братьев, сестер, племянников, внучатых племянников и племянниц (детей у него не было). В 90-летнем возрасте он писал 15-летнему потомку: „Посылаю тебе двадцать марок. Если ты их положишь в сберегательную кассу, значит, ты скряга. Если же ты их сразу истратишь, значит, ты мот. Рекомендую тебе золотую середину“. Галантность не покинула его и на десятом десятке лет. В его письмах есть длинные рассуждения о красоте женщин разных национальностей и о разных красавицах, как императрица Евгения, как некоторые русские великие княгини. Он у себя, в здании генерального штаба, предоставил место какому-то Damengesangverein'у и неизменно посещал все вечера этого дамского музыкального кружка. Любимым его поэтом до конца дней оставался Генрих Гейне, хоть он и поругивал автора „Reisebilder“* за атеизм. После Генриха Гейне фельдмаршал всем предпочитал Осипа Шубина, поддерживал с этим писателем и личную дружбу. Под псевдонимом Осипа Шубина писала хорошенькая немецкая романистка Лиля Киршнер; писала она повести с умопомрачительными заглавиями вроде: „Mal Occhii“[†], „Gloria Victis“[‡] или „Finis Poloniae“[§]. Повести эти тотчас прочитывались в имении престарелого графа Мольтке, куда часто приглашался и сам Осип Шубин для совместного обсуждения последнего педевра.

В Германии боготворили фельдмаршала. Военные говорили о нем так, как набожные брахманы могут говорить о Брахме. В день его 90-летия император писал, что не может предложить ему никакой награды: „у вас все награды есть“. В политику он вмешивался не часто, — „это Бисмарк лучше знает“, — но с

* „Путевые картины“ (нем.).

† „Ядовитая смоковница“ (фр., лат.).

‡ „Слава побежденным“ (лат.).

§ „Конец Польши“ (лат.).

ним очень считались. Иногда он, Вильгельм I и Бисмарк объединялись для совместного обсуждения государственных дел. Им втроем было без малого триста лет. Относились три старца друг к другу не без иронии (особенно Бисмарк к двум остальным), но отдавали должное — императору за ранг, Бисмарку за ум, Мольтке за Седан. Фельдмаршал знал себе цену. На погребении императора Фридриха церемониймейстер по ошибке пропустил его в списке. Старик устроил страшный скандал — при новом дворе произошла паника, и фельдмаршалу отвели самое почетное место во всей погребальной процессии. При своих летних путешествиях он соблюдал строгое инкогнито, но любил, чтобы его немедленно узнавали и чтобы его появление производило радостный переполох в гостиницах и в ресторанах, а племяннику Гельмуту, знавшему старика наизусть, хмуро говорил: „верно, опять кто-нибудь разболтал“ ...

На посту начальника генерального штаба Мольтке оставался до 89 лет и наконец сам потребовал отставки, ссылаясь на то, что ему „стало трудно ездить верхом“. Выработал новый план войны (кстати сказать, противоположный плану графа Шлиффена) и удалился на покой в имение. Там по утрам сажал деревья, а вечером играл в вист. За вистом и почувствовал внезапно предсмертную слабость — и умер, глядя на портрет своей жены, скончавшейся за четверть века до него.

III.

Семья у Мольтке была большая, но будущий главнокомандующий 1914 года был любимым племянником фельдмаршала. У него старик и поселился с 1883 года. Племянник, естественно, чтит своего знаменитого дядю, но, по-видимому, без большого благоговения. В письмах к жене он обычно отзывается о фельдмаршале в благодушно-ироническом тоне. Для всего мира граф Мольтке был героем Кениггретца и Седана, первым полководцем Европы со времен Наполеона. В семье Мольтке Младшего он был просто „дядя Гельмут“.

Мольтке Младший был человеком иного поколения и иных взглядов. Он получил военное воспитание, прошел через академию, состоял в генеральном штабе, проделал блестящую военную карьеру. Однако круг его умственных интересов, как ни странно, имел мало общего с военным делом. Порою он целыми днями рисовал или играл на виолончели. „Устроил себе мастерскую художника, — извещает он жену, — пишу пейзаж. Много занимаюсь также виолончелью. Живу для искусства...“ Неизменно сообщает он жене, какие книги прочел и что о них думает. „Читаю книгу философа Гартмана „Философия религии“. Он доказывает, что религия должна эволюционировать, как философские учения, если она не хочет отстать и погибнуть...“ „Читаю сейчас „Историю французской революции“ Карлейля. Книга талантливая, но стиль аффектированный...“ „Несколько дней тому назад прочел книгу, которую и ты непременно должна прочесть, она будет тебе очень интересна. Это „Источники жизни Христа“ базельского профессора Вернле...“ Есть в его письмах отзывы о Геккеле, Ницше, даже о Бебеле, даже о Максиме Горьком: „На дне“ произвело на меня глубокое и отталкивающее впечатление. Не могу согласиться с таким мировоззрением...“ Действительно, было бы странно, если бы он согласился с мировоззрением Максима Горького. Зато понравилась ему в том же театре пьеса Метерлинка „Пелеас и Мелисанда“: „Она не драматична, но очень поэтична и замечательно сыграна. Я ее уже читал и даже хотел перевести, но не решился...“ Если дядя Гельмут всем писателям предпочитал Генриха Гейне и Осипа Шубина, то племянник на первое место ставил Гёте. „Я чрезвычайно рад, что тебе нравится „Фауст“. Я столько раз читал и перечитывал эту книгу, что знаю ее почти наизусть. Она влечет меня с неодолимой силой. В этом произведении сочетаются все тоны поэзии, гимны архангелов, саркастический смех демонов, глубокие мысли человеческого ума, ведущего борьбу с титанической энергией, и наивная болтовня невинной девочки. Это величайшее создание нашей литературы...“

Стиль последней цитаты не должен удивлять читателя. Так Мольтке писал часто и о предметах, с лите-

ратурой не связанных. „Вокруг меня царит ночная тишина. Сон на фетровых крыльях опустился на город, прекратив шум дня. Мирную тихую улыбку вызовет он на лицах бедняков и несчастных, которых несколько часов тому назад угнетали нищета и невзгоды...“ „Природа все погрузила в ванну своей вечной молодости. Над бранными делами людей подняла она зеленый флаг своей цветущей ароматной жизни...“

Во всем этом замечательна только подпись. Если бы писал это любой немецкий приват-доцент или литератор, удивляться никак не приходилось бы. Но писал (в разное время жизни) — начальник генерального штаба германской армии, человек, считавшийся главой военной партии Германии! Конечно, если рассуждать теоретически, то ничто не препятствует самому завязтому милитаристу играть на виолончели, переводить „Пелеаса и Мелисанду“ и писать жене о сне на фетровых крыльях и о зеленом флаге ароматной природы. Однако это странно. Добавлю, впрочем, что иногда (чрезвычайно редко) в переписке Мольтке Младшего попадают и „милитаристические настроения“. Так в письме с маневров он как-то пишет жене: „Как арабский конь вдыхает знойный ветер пустыни, так глубоко вдыхаю я запах пороха. Вот где моя стихия, моя душа, моя мысль. С безграничной радостью, с подлинным сладострастием бросился бы я в ураган войны. Нет ничего прекраснее в жизни солдата!.. Полной грудью вдыхаю я пороховой дым, он меня пьянит, как новое вино... Все нервы мои напряжены, все чувства обострены. О, прекрасная, великолепная жизнь воина! Я чувствую, что родился солдатом...“ Такие строки у Мольтке Младшего производят такое же впечатление, как неожиданные вставки в трудах некоторых наших соотечественников: человек говорит со вкусом, с любовью, с волнением о старом Петербурге, о Пушкине, о Владимире Соловьеве — и вдруг, точно вспомнив, что он советский профессор, вклеивает ни к селу ни к городу строки о классовой борьбе, о преступлениях буржуазии и т.д. Но у советских профессоров это, по крайней мере отчасти, объясняется житейской необходимостью, тогда как Мольтке писал интимное письмо жене. Замечу, что

„дядя Гельмут“, достаточно на своем веку повоевавший, отроду ничего не писал об урагане, об арабском коне, о сладострастии от порохового дыма. Племянник это сладострастие испытал — на маневрах! Кажется, ему самому стало неловко: тотчас вслед за приведенными строками он наивно добавляет: „Ты не должна, однако, принимать все это трагически!“

На старости лет генерал Гельмут фон Мольтке стал склоняться к теософии. Еще с 1904 года в письмах его к жене начинает встречаться имя Штейнера. Жена будущего главнокомандующего лично знала и чрезвычайно почитала вождя теософов. Был ли с ним знаком сам Мольтке, мне неизвестно. В одном своем письме из Карлсбада он пишет жене: „Я очень рад, что ты беседовала со Штейнером; для тебя ведь беседа с ним всегда такая душевная опора. Я был бы тоже счастлив повидать его в августе, если он придет в Берлин...“ Это свидание, однако, не состоялось, — Мольтке стало не до теософии: август, о котором он пишет в карлсбадском письме, был — грозный август 1914 года.

IV.

В политических взглядах Мольтке разобраться не так просто. Революционеров он обычно называл разбойниками или грабителями и считался человеком весьма консервативным. Но надо ведь принять во внимание „координату времени“. Профессор Бартелеми говорил, что человечество периодически поворачивается с левого бока на правый, затем — с правого бока на левый. В ту пору человечество лежало на левом боку. Консерватор Мольтке писал, например, 4 февраля 1905 года: „По-видимому, царь намерен установить либеральный строй. Это было бы благодеянием и для него самого, и для России...“

Неожиданные мысли высказывал он и по национальному вопросу. Шовинистом он не был никак. Мольтке беспрестанно бранил Германию и немцев за отсутствие идеалов, за грубый материализм в политике, за лицемерие, за лживость. „Поистине, немецкий народ — жалкое стадо“, — пишет он жене 5 марта

1904 года. Четырьмя годами ранее, в пору похода на Пекин, Мольтке замечает: „Об истинных причинах этой экспедиции лучше не распространяться. Если говорить откровенно, только из жадности мы и бросились на большой китайский пирог. Хотим строить железные дороги, разрабатывать копи, одним словом, наживать денежки. Мы ведем себя не лучше, чем англичане в Трансваале...“

За печатью, и левой и правой, он следил очень внимательно. Того пренебрежения к общественному мнению, которое так характерно для нынешних государственных людей (даже в некоторых свободных странах), у генерала фон Мольтке не было совершенно. Похвала „Berliner Tageblatt“ доставляла ему живейшую радость — комплиментами его на родине не избаловали. „У меня после маневров, „хорошая пресса“, — пишет он в 1912 году, — газеты явно перестали считать меня дураком“. Глава германской военной партии большой требовательностью не отличался. Человек он был вообще незлобивый. Не найти у него и ненависти к „врагам“: „наследственным“, „историческим“ и к врагам просто. Описывая жене свою заграничную поездку, он, например, очень лестно отзывался о Франции: „Удивительная страна! Во всем видно богатство, видна цивилизация...“ „Париж был великолепен... Меня снова поразило величие этой столицы...“ Англичан он, кажется, недолюбливал, но неизменно отдавал им должное. Настоящей же любовью генерала Гельмута фон Мольтке, по всей видимости, была Россия.

Наша публицистика с незапамятных времен бранила немцев за презрительное отношение к русскому народу. Можно было бы возразить, что и сама она не всегда проявляла нежные чувства к немцам. В русской классической литературе (за редкими исключениями) немец обычно комический персонаж, гоголевский мастер Шиллер, который „положил целовать жену свою в сутки не более двух раз“ и который говорит о себе: „Я швабский немец, у меня есть король в Германии... О, я не хочу иметь роги... Мейн фрау, гензи на кухня!..“ Великий мизантроп сказал: „Каж-

дая нация издевается над другими, и все совершенно правы“.

Презрительное отношение к русскому народу, может быть, и в самом деле свойственно большому числу немцев. Однако несомненно и то, что наряду с этим всегда было в Германии, даже у завзятых русофобов, и характерное преклонение перед огромностью ее территории, перед ее неисчерпаемыми богатствами, перед широтой русского национального характера, перед многим другим, включающим и „демонические глубины Достоевского“, и Caviar Malossol*.

Можно было бы написать исследование о победном шествии по западным странам русской икры — и в прямом, и в символическом смысле. В самом начале прошлого века граф Морков поразил воображение Парижа, послав в подарок Бонапарту бочонок икры (ее, кстати сказать, в первый раз, по неопытности, подали к столу Бонапарта — сваренной). Прошло более ста лет, но и по сей день в газетных отчетах о приемах в Москве обычно встречается восторженное упоминание об икре, иногда, — для couleur locale⁴, — просто „le Malossol“. Так было всегда и везде; в Германии же культ русской икры — и зернистой, и символической — был особенно велик. Генерал фон Мольтке, с детских лет близкий к германскому двору, не голодал, конечно, и у себя на родине. Но письма его из России, где он бывал неоднократно, написаны так, точно он приехал из голодного края и все не может опомниться. „Несравненное русское гостеприимство, — пишет он в 1903 году⁵, — совершенно завладело нами, как только поезд отошел от Вержболова. Нас тотчас позвали к завтраку. Подали свежую икру. Ее здесь едят ложками. Было и множество других вкуснейших вещей, и новички наелись досыта в ожидании большого завтрака. Чокнувшись водкой с новыми нашими русскими друзьями, мы перепили на шампанское, которое в России играет такую же роль, как у нас мозельское вино по 50 пфеннигов литр. С шампанским мы так больше и не расставались начи-

*Малосольная икра (фр.).

⁴Местный колорит (фр.).

⁵Мольтке сопровождал кропприпца, который отправился с визитом в Петербург. На границу за ними был выслан русский дворцовый поезд, и гостей встречал генерал-адъютант князь Долгорукий.

ная с этого первого завтрака до возвращения на германскую границу, где этот дивный напиток уступил место мюнхенскому пиву... Мне и во сне представлялись пирожки, рябчики, перепела, рыба, бутылки шампанского, увенчанные икрой...“

Письма его из Петербурга и Москвы почти неизменно полны восторгов. Особенно его поражала пышность придворных церемоний. „Днем видел, как в пятнадцати золотых экипажах, крытых пурпурным шелком, перевозили в Зимний дворец драгоценности короны. В каждую коляску впряжены четыре лошади белой масти, при каждой коляске — четыре человека в раззолоченных пурпурных мантиях. Впереди отряд кавалергардов. Кортёж — красоты феерической... Нельзя описать петербургское великолепие. Все пропорции здесь колоссальны... Что до Зимнего дворца, где мы живем, то ты получишь о нем представление, если я тебе сообщу, что в одной из его зал могут ужинать, за малыми столами, три тысячи человек...“ „Феерическая красота“, — повторяет он через два года, в следующую поездку в Россию. „На деньги от продажи драгоценностей дам (на выходе царя) можно было бы купить целое королевство...“ „Такой гвардии нет ни в одной стране...“ „В России принимают в солдаты лишь треть ежегодного контингента новобранцев; можно себе представить, каков подбор для гвардии...“ „Московский Кремль необычайно прекрасен. Это целый город, с дворцами, с соборами, размеров, возможных только в такой огромной стране, как Россия...“ „Зрелище это (дни коронации) так сказочно великолепно, что мы совершенно ошеломлены. Описать его невозможно, ты все равно не могла бы себе его представить. Перед этим великолепием теряешь мысли, трешь себе лоб и спрашиваешь себя: да точно ли ты в своем уме, или у тебя бред?...“ В почти столь же восторженных выражениях говорит он о сокровищах Эрмитажа, о Мариинском театре, о русском церковном пении, — „просто не веришь, что это поют люди...“ „Попадая в святую Русь, в эту колоссальную империю с безграничными пространствами, мы, европейцы, живущие в тесноте, испытываем такое чувство, точно покинули нашу планету и очутились в безбрежном мире...“

Русские симпатии Мольтке до некоторой степени отражались и на его взглядах по внешней политике. Так, в пору русско-японской войны он от всей души желает поражения японцам (что довольно неожиданно для главы германской военной партии). В письме к жене от 31 марта 1905 года он пишет: „Я всегда чувствую себя униженным, когда встречаю этих маленьких желтолицых людей. Они со времени своих побед смотрят на нас с совершенным презрением...“ „Я потерял всякую надежду на победу России“, — пишет он несколько позднее. Стратегия Куропаткина, впрочем, его возмущала: „С тех пор как мир существует, никто не вел войны так нелепо...“ Замечу, что симпатии Мольтке к России отнюдь не распространялись на славянские страны вообще. Балканских славян он терпеть не мог, а болгар называл „гуннами“ за жестокости, будто бы ими совершавшиеся в пору войны 1913 года; не предвидел он, что именно так, через год, сотни миллионов людей будут называть самих немцев.

Служебная карьера генерала фон Мольтке оказалась чрезвычайно удачной. Император относился к нему очень благосклонно; они встречались постоянно, вели дружеские беседы о самых разнообразных предметах, вплоть до загробной жизни. „Его Величество думает, — пишет как-то генерал жене, — что смерть есть начало новой жизни. Император много размышлял об этих вопросах и подходит к ним гораздо свободнее, чем можно было бы ожидать. Он сообщил мне, что однажды сказал пасторам: „Когда говорят школьникам, проходившим космографию, что Бог сотворил мир в шесть дней, то этим только пробуждают сомнения в их душах...“ Сам Мольтке очень интересовался религиозными вопросами. Он думал, что человек продолжает совершенствоваться и в загробной жизни, переходя постепенно из одной сферы потустороннего мира в другую. „Философский зверь“, как говорит Ницше, сидел в нем прочно.

В январе 1905 года император сообщил Мольтке, что наметил его кандидатом на должность начальника генерального штаба: граф Шлифен очень стар. „Мне, правда, предлагают фон дер Гольца и фон Бе-

зелера, — добавил Вильгельм II, — но первого я назначать не хочу, а второго не знаю...”

Ответ Мольтке делает честь его бескорыстию и независимости характера. Он сказал, что мог бы принять столь ответственную должность при одном условии: император должен обещать, что не будет вмешиваться в военные дела.

Вильгельм II был изумлен — он не привык к таким ответам. Генерал разъяснил свою мысль. Маневры германских войск, сказал он, превратились в совершенную комедию. Они всегда заканчиваются полной победой той армии, которой командует сам император: армия эта неизменно окружает противника и берет его в плен. Поэтому германское офицерство потеряло к маневрам всякий интерес; потеряло оно и доверие к самому императору, ибо не допускает мысли, что он может не замечать разыгрываемой перед ним комедии. Граф Шлифен, напротив, находит, что так и должно быть: ни один генерал и не смеет побеждать своего императора. Но ведь если возникнет война, дело пойдет иначе. Впрочем, добавил Мольтке, никому не известно, какова будет европейская война. Это будет война народов, исход ее не определится отдельной победой, будет долгая тяжкая борьба, из которой и победитель выйдет совершенно истощенным... Как окажется возможным руководить многомиллионными человеческими массами, я не знаю. Думаю, что не знает этого и решительно никто вообще...

Таков был смысл ответа генерала Мольтке императору. Ответ был удивительный и до некоторой степени пророческий, — в этом отношении он ничего не теряет по сравнению с планом графа Шлифена и с французским планом №17. Но, пожалуй, еще удивительнее то, что, выслушав этот ответ, император Вильгельм все же назначил генерала-агностика начальником штаба германской армии.

V.

К сожалению, в книге, выпущенной вдовой генерала фон Мольтке, отсутствуют письма, которые он писал в первый месяц войны. Однако его настроения

понятны по письмам предшествующим и дальнейшим.

Быть может, читателям достаточно ясен умственный и душевный облик человека, командовавшего в 1914 году самой мощной армией в истории мира. На должности верховного главнокомандующего оказался „интеллигент“ (или даже — по другому клише — „мягкотелый интеллигент“).

Слово не очень определенное, однако условный смысл его более или менее понятен. У нас теперь часто говорят об „ордене русской интеллигенции“. Это лестное для самолюбия обозначение привилось, хоть оно весьма спорно. Я прожил всю жизнь среди либеральных интеллигентов, среди них надеюсь свои дни и закончить, но совершенно не знал, что состою в ордене. Во всяком случае, с таким же почти правом можно говорить об ордене французской, немецкой, английской интеллигенции. В западных странах не вел в тюрьмы порыв „любви беззаветной к народу“. (Если верно, что „смех сквозь слезы“ — самое фальшивое выражение в русском языке, то это „любовь беззаветная к народу“ следует за ним в непосредственной близости.) Однако жертвенность была и у западных людей, они это достаточно наглядно показали в 1914—1918 годах. Генерал Гельмут фон Мольтке принадлежал к условному „ордену германской интеллигенции“ в такой же мере, как убитые на войне поэт Август Штрамм или социал-демократический депутат Франк. Случай довольно редкий, быть может, даже небывалый: самой мощной армией в истории мира командовал в 1914 году человек, который не верил в военное дело и, уж во всяком случае, ненавидел войну.

„О, если бы мне суждено было отдать жизнь для победы, — писал жене Мольтке 7 сентября 1914 года (в самый разгар битвы при Марне), — я сделал бы это с бесконечной радостью, по примеру тысяч наших братьев, сражающихся в настоящую минуту, по примеру тысяч других, уже павших. Какие потоки крови пролиты, как несказанно отчаяние ни в чем не повинных людей, у которых сожжен дом, разрушена ферма. Ужас охватывает меня при мысли о них. Мне кажет-

ся, что я несу ответственность за все это, а между тем я не мог поступить иначе...“

Свою ставку он устроил в Люксембурге, в помещении школы для девочек — в ней не было ни газа, ни электрического освещения. В классные комнаты поставили ровные столы вместо парт, на доски повесили карты, зажгли керосиновые лампы. Такова была при Мольтке главная квартира германской армии. Вероятно, для верховного главнокомандующего можно было найти более удобное помещение; по пути между Берлином и Парижем есть и здания, освещающиеся электричеством, школу с керосиновыми лампами, я думаю, в этой части Европы надо было искать нарочно. Мольтке говорил, что не хочет причинять беспокойство населению захваченной области. Некоторое „беспокойство“ он населению причинил и независимо от выбора здания для главной квартиры. Этот странный главнокомандующий, так искренно в письмах к жене говоривший о страданиях французского населения, полусознательно-наивно, „аскетическим укладом жизни“, точно старался замолить грех в безумном и страшном деле, главным участником которого ему суждено было стать и которое быстро его раздавило.

Этот человек был осколком старой Европы, той Европы, где злодеи не могли править культурным государством и не правили. Старый мир потонул, а самое воспоминание о нем производит эффект грустно-комический, как фильмы 1910 года.

Болдуин в два часа ночи вылетел на аэроплане в именование Чемберлена, проник с отрядом вооруженных людей к своему бывшему другу и приказал его убить — после ухода Болдуина „в доме лежали два трупа“. Одновременно в санаторию вблизи Лондона явились другие болдуиновы люди, чтобы арестовать Ллойд Джорджа; бывший премьер оказал сопротивление и был убит вместе со своей женой. Главнокомандующий британской армией тотчас печатно выразил восторг по случаю „чисто воинской решимости и исключительной храбрости“ Болдуина. Король Георг V по телеграфу выразил Болдуину глубокую благодарность*. Чем достигается бредовый эффект в предп-

*Эти строки были написаны в 1934 году, после кровавых событий в Германии и телеграммы Гилденбурга Гитлеру.

ствующих строках? Только переменной декорации фильма: он перенесен в страну, в которой в этом смысле почти ничего не изменилось. И точно так же, как в нынешней Англии, дело, подобное убийству Рема и Шлейхера, было бы невозможным бредом в прежней Германии. Морально-политической регресс, произошедший на наших глазах, поистине граничит с чудом. Думаю, что и германские генералы второй мировой войны, даже самые приличные, уже имели мало общего с Мольтке.

VI.

Позволю себе и воспоминания. Война застала меня в Париже. Помню страшную ночь 31 июля. Перед красными домами „Матэн“ с вечера стояла огромная толпа, движение, кажется, прекратилось. На экране каждые две-три минуты появлялись новости, одна грознее другой: „Тяжелая артиллерия австрийцев бомбардирует Белград...“ „Граф Пурталес* потребовал аудиенции у царя...“ „В Германии объявлено военное положение...“ „Необычайный энтузиазм в Петербурге“. В сравнение с ощущениями той ночи не идет и наш 1917 год. Решались судьбы Европы, кончалась эпоха в истории мира. Вдруг часов в 10 вечера не с экрана газеты, а с улицы, откуда-то слева, пришло известие: в Café du Croissant только что убит Жорес. Толпа ринулась туда по бульвару. Я был на месте убийства минут через пятнадцать после того, как оно произошло... „Il ne faut pas regarder de trop près les grands enfantements de l'histoire“². Много позднее вспоминал я эти слова Ренана в часовне петербургской больницы у окровавленных тел Кокоскина и Шингарева. Ренану легко было у себя в кабинете за книгами отпускать верные и бессердечные афоризмы о событиях с тысячелетней давностью...

*Пурталес Фридрих (1853—1928) — германский посол в России в 1907—1914 гг. 1 августа 1914 г. вручил русскому министру иностранных дел С.Д.Сазонову ноту об объявлении Германией войны России. — *Прим. ред.*

² „Не стоит разглядывать слишком пристально великие родовые муки истории“ (*фр.*).

Не помню, в ту ли ночь или в следующую, зажегся и стал бороздить небо в поисках вражеских аэропланов первый прожектор на террасе Автомобильного клуба. Пал Льеж, пал Намюр, немцы вошли в Брюссель. Далее — Шарлеруа, Лонгви, германская армия у ворот Парижа. Как это произошло, судить не мне; существует об этом громадная литература. Скептический историк утверждает, что во французском генеральном штабе целая школа издавна проповедовала: „Париж — географическая точка, и только“. Галлиени очень многое приписывал „à la nullité anglaise“*. Впрочем, он не щадил и своих: записи в его дневнике безжалостны. По-видимому, можно считать установленным, что в конце августа совет министров и верховное командование склонялись к сдаче Парижа: войну, разумеется, предполагалось вести дальше — без „географической точки“.

В ночь на 3 сентября правительство выехало в Бордо. Из воспоминаний Пуанкаре мы теперь знаем, что он сам, Рибо, Марсель Семба всячески этому противились. Мильеран и военные требовали отъезда правительства. Дело решил Гастон Думерг. „Господин президент, — сказал он, — долг иногда заключается в том, чтобы пренебречь обвинением в трусости“.

Парижане и в самом деле были чрезвычайно раздражены; они упорно не считали Париж географической точкой. Помню, как в начале сентября по бульвару Сен-Мишель шел на позиции какой-то запасный полк или батальон. В моей памяти остались лица этих немолодых людей: измученные, злобные и решительные. Толковать можно было так: „Ну, что ж, умирать так умирать, мы люди маленькие, в Бордо не уедем“... Правительство действительно как будто поторопилось — это была опшибка, очень отразившаяся на репутации парламентских министров. Покинуть Париж удалось бы и в последнюю минуту, да и сделать это нужно было иначе. Гамбетта в свое время создал себе популярность безобидным и безопасным воздушным шаром, поразившим народное воображение. В 1914 году можно было отлично улететь на военных

* „Английская бездарность“ (фр.).

аэропланах. Но „роскошного поезда с салон-вагонами“, тайного отъезда ночью с женами, с детьми, с прислугой, с собачками парижане не прощали правительству Вивиани и членам парламента. Страницы, посвященные отъезду из Парижа Пуанкаре в пятом томе его воспоминаний, показывают, как он сожалел об этом деле, столь неудачном в психологическом отношении. „Чувствую, что с каждой минутой растет моя скорбь, мое унижение“, — писал он в дневнике в день отъезда.

Власть в столице перешла к генералу Галлиени. В тот самый день появилось знаменитое обращение парижского главнокомандующего к народу, действительно превосходное по силе и сжатости: „Мне поручено защищать от врага Париж. Я выполню это поручение до конца“.

По случайному совпадению, Галлиени обосновался, как и Мольтке, в школе для девочек — в лицее Дюрюи. Вблизи этого лицея я однажды его видел, в первый и последний раз в жизни. Он медленно ехал в открытом автомобиле. За ним бежали люди. Уже в ту пору генерал был тяжело болен, он только что потерял жену — это совершенно разбило его личную жизнь. На холодном лице его было почти такое же выражение: решительное, твердое и мрачное.

В столице генерал пользовался в те дни огромной популярностью. Это в самом деле был очень выдающийся человек. Недостатками его были неуживчивый характер, мизантропия и резкость. О глухой борьбе, которая шла между ним и Жоффром, мы в ту пору, разумеется, ничего не знали, — позднее Бриан умолял их „поцеловаться в знак примирения“.

Германские аэропланы летали над Парижем, сбрасывали не очень разрушительные бомбы и не очень удачные прокламации. По ночам глухо доносилась отдаленная канонада; бои как будто приближались к столице. Говорили, что в Шербуре высадились три русских корпуса. Клемансо и Эрве об этом не писали ни слова — верили в те дни только их статьям, да и им верили не слишком. То, что позднее было так удачно названо *le boufrage de crânes**, процветало.

*Промывание мозгов, лживая пропаганда (*фр.*).

Газеты сообщали, что казаки в пяти переходах от Берлина и должны его занять, по всей вероятности, в будущий четверг. Сообщили также, что германские снаряды не разрываются, что штыкового удара немецкая пехота не выдерживает, что в Германии начался лютый голод, что войны в наше время далеко не так кровопролитны, как когда-то. Несколько позже в Стокгольме я видел образцы немецкого bouggaе de stânes — он был еще лучше. Нужно ли было все это? В те дни мне казалось, что не нужно: ведь никто все равно не верит. Но теперь результаты разных выборов и плебисцитов поколебали мою веру в нецелесообразность цензурного гнета. Быстрота, с которой тупеют люди, поистине безгранична.

В одну из тех незабываемых ночей (числа в моей памяти не сохранилось) выпал проливной дождь. Очень поздно я вышел на едва освещенную площадь Сорбонны. На углу бульвара Сен-Мишель стояла кучка людей. В ту пору можно было подходить к незнакомым людям и вмешиваться в разговор: все говорили об одном. Кто-то доказывал, что пронесшийся ливень затруднит продвижение немцам. „Нет, это не имеет значения, — возразил другой, — но, кажется, канонада стала слабее. Может быть, что-то произошло?..“

Что-то действительно произошло.

VII.

31 августа 1914 года, в 11½ часов утра, кавалерийский капитан Лепик, высланный на разведку по дороге к Компьеню, привез странное известие. По словам капитана, авангард армии фон Клука, вместо того чтобы идти прямо на Сен-Дени, свернул по направлению к Марне.

По-видимому, ни в ставке Жоффра, ни в ставке Галлиени никто этому сообщению не поверил: было достаточно ясно, что первая и вторая германские армии идут на Париж, — зачем стали бы они уклоняться от прямого пути?

Затем французский кавалерийский отряд, которым командовал капитан Фагольд, где-то на дороге

увидел несшийся германский автомобиль*. Французы открыли огонь. Германский офицер, принадлежавший к штабу генерала фон Марвитца, был убит. При нем оказался документ огромной важности — приказ верховного командования об изменении направления: авангарду армии Клука предписывалось свернуть на юго-восток.

О сражении на Марне существует необъятная литература. Трудно выяснить всю правду об этом событии, хоть произошло оно двадцать лет тому назад и хоть принимали в нем участие миллионы людей!.. Разные авторы излагают дело по-разному даже в основном (в подробностях расходятся друг с другом репутительно все). Некоторые историки (ген. фон Таппен, например) по сей день утверждают, что никакого поражения германская армия не понесла. А Галлиени, как мы видели, сомневался даже в том, было ли вообще марнское сражение. Об оценках и говорить не приходится. Если Луи Мадлен видит в битве на Марне „прекрасное французское творение, стройное, ясное, разумное, одним словом, классическое в такой же мере, как трагедия Корнеля или парк Ленотра“, то, например, германский кронпринц, командовавший в 1914 году пятой армией, пишет в своих воспоминаниях, что и германское, и французское, и английское командование в те дни стоили одно другого: „полное отсутствие стратегического искусства“ (когда бы жил Наполеон или Мольтке Старший, поясняет кронпринц, противная сторона была бы на Марне разгромлена совершенно).

У марнского сражения, кроме военной истории, была не написанная до сих пор история политическая, впрочем, тесно переплетающаяся с военной. В Елисейском дворце шла сложная драма, сюжетом которой был Париж. Некоторые министры, не без основания, находили, что немислимо „объявить столицу открытым городом“, то есть, иными словами, без боя отдать ее врагу. 29—30 августа сдача Парижа считалась неминуемой. Но двумя днями позднее, как раз перед

*В первый период войны такие происшествия еще случались часто. 8 сентября французские кавалеристы чуть было не захватили в плен самого Клука, который отстреливался из винтовки вместе с офицерами своего штаба.

отъездом правительства в Бордо, мучительный вопрос поднялся снова. Генерал Галлиени грозил отставкой, если не будут приняты решительные меры для защиты столицы какой угодно ценой. „Для ее сдачи я вам не нужен!“ — заявил он на заседании совета министров. Настроение почти везде было растерянное. „Все походили с ума“, — кратко замечает Галлиени в своем дневнике. Генерал требовал, чтобы для обороны Парижа в его распоряжение было предоставлено, по меньшей мере, три корпуса. Жоффр глухо этому сопротивлялся. Парижский главнокомандующий говорит, что Жоффр решил пожертвовать столицей: „La capitale est sacrifiée!“ В эту драму французского совета в Филях вмешались и политики. У них раздражение против главнокомандующего после катастрофического августовского отступления все росло. „Жоффр прекрасный инженер, но какой же это стратег?“ — говорил президенту Пуанкаре Поль Думер. Клемансо выражался гораздо сильнее — он в те дни был в состоянии постоянного бешенства*.

Пошли на компромисс... Для защиты Парижа была создана новая (шестая) армия, но вошли в нее преимущественно запасные войска, в боеспособность которых сам Галлиени верил плохо. Субординация этой армии была сложная: командовал ею генерал Монури, высшее руководство было возложено на парижского главнокомандующего, а сам он, естественно, был подчинен Жоффру. Была здесь и небольшая личная драма: Жоффр когда-то служил под начальством Галлиени (полковник Мейер рассказывает, что при телефонных обращениях к верховному главнокомандующему Галлиени никогда не называл его „mon général“[^], как был бы обязан; он говорил: „Allo! Est-ce vous, Joffre?..“[^]).

Как это ни странно, германскому штабу долго не было ничего известно о парижском сюрпризе. Читая в военно-исторических трудах, что генерал фон Клок

*По приглашению Пуанкаре Клемансо зашел к нему во дворец 27 августа и, к великому изумлению президента, осыпал его самой ужасной бранью („il vomissait sur moi des flots d'injures...“). — „Да вы с ума сошли, просто с ума сошли“, — только шептал глава государства.

* „Мой генерал“ (фр.).

^ „Алло! Это вы, Жоффр?..“ (фр.)

не подозревал о существовании шестой французской армии, мы, профаны, недоумеваем: отчего же генерал фон Клок не подозревал о существовании шестой французской армии? Да у него не было воздушной разведки, отвечают защитники генерала. Отчего же у него не было воздушной разведки? Все мы, вдобавок, очень много слышали об изумительной постановке шпионского дела у немцев. Из опубликованных недавно трудов мы знаем, что секретные агенты сообщали германскому командованию о любовных романах некоторых государственных деятелей союзного лагеря. Это, вероятно, также могло пригодиться. Но когда мы видим, что в сводке, поданной 2 сентября генералу Мольтке германской разведкой, в графе „французские вооруженные силы в Париже“ стоит вопросительный знак (смутно предполагалось, что какие-то запасные части там должны быть*), мы, естественно, спрашиваем: стоило ли тратить десятки миллионов на шпионаж, если в главном центре этого шпионажа, в столице Франции, можно было тайно от немцев собрать 150-тысячную армию, которая и нанесла германским войскам тяжелый, быть может, решающий удар?

Узнав, что армия Клука свернула по направлению на юго-восток, Галлиени, по словам очевидцев, сказал: „Я не смею этому верить! Это было бы слишком хорошо!..“ В ту же минуту в его уме сверкнула мысль, о которой с 1914 года написано, по меньшей мере, пятьдесят ученых трудов. Относящиеся сюда строки в дневнике парижского главнокомандующего за этот день нельзя и теперь читать без волнения: „Если первая германская армия движется к юго-востоку, то она тем самым открывает свой фланг для удара парижских войск. Думаю ударить по ней, несмотря на риск этой операции, несмотря на директивы верховного главнокомандующего...“ Не надо быть военным для того, чтобы оценить эти несколько слов: как никак, с ними связано спасение Парижа, Европы, быть может, цивилизации. Больной, замученный старик, по ночам бредивший какими-то маневрами, в этот

*Генерал Таппел, впрочем в отличие от других авторов, утверждает, что некоторые сведения об этом у Мольтке были. И здесь разогласие.

памятный день превзошел сам себя. Была ли его мысль необыкновенной с точки зрения стратегического искусства, должны были бы решить военные люди. К сожалению, и здесь их суждения совершенно расходятся. „Это была мысль гениальная“, — пишет генерал Бонналь. „Любому ребенку пришла бы в голову точно та же мысль“, — пишет полковник Мейер*. Вот и ссылайся на авторитеты! Все же приведу мнение Клука. Германский генерал говорил, что и по правилам военной науки, и по требованиям военного регламента парижский главнокомандующий не имел никакого права бросать свой гарнизон в атаку на проходящую мимо крепости неприятельскую армию. „Во всем мире только один генерал мог на это решиться, и, на мое несчастье, это был Галлиени“.

Затем произошел разговор по телефону между Галлиени и Жоффром — та глава в истории марнского сражения, которая вызвала нескончаемый спор между сторонниками обоих генералов. По заверению „галлиенистов“, весь замысел сражения принадлежит парижскому главнокомандующему. По словам „жоффристов“, этот план задумал Жоффр чуть только еще не с Шарлеруа. Галлиени требовал генерального сражения, с ударом шестой армии во фланг Клуку. Жоффр находил генеральное сражение преждевременным. По-видимому, разговор был очень бурный; некоторые его подробности неизвестны и по сей день. По словам одного военного писателя, Галлиени грозил, что своей властью бросит шестую армию против врага, не считаясь с запрещением верховного главнокомандующего. Жоффр подумал, взвесил шансы на успех и уступил: он был не только хороший генерал, но и честный человек. Спасение Франции было важнее личных соображений.

5 сентября в Бар-сюр-Об, в доме, где за сто лет до того жил император Александр I, состоялся военный совет, в конце которого Жоффр произнес историческую фразу: „Messieurs, on se battra sur la Marne“⁴. Впрочем, один из французских историков утверждает

*Однако и Мейер признает, что далеко не все генералы на месте Галлиени поступили бы так, как он.

⁴„Господа, сразимся на Марне“ (фр.).

ет, что не было ни совета в Бар-сюр-Об, ни исторической фразы, — ничего такого Жоффер никогда не говорил, все это будто бы выдумал другой французский историк. Но это не так существенно. Париж был спасен.

Было бы в высшей степени несправедливо умалять заслугу генералов, руководивших марнским сражением. Они себя не щадили, — трудно сомневаться в том, что Галлиени преждевременно свело в могилу напряжение душевных, умственных, физических сил, которого от него потребовали события 1914 года. О военной его заслуге пусть военные и судят, но человеческий подвиг Галлиени сомнений вызывать не может. Кронпринц, наверное, ошибается, дебютируя в столь неожиданной для него роли богоборца.

То, что было дальше, всем известно. Французы часто говорят о „чуде на Марне“. Выражение удачное, но точнее было бы говорить во множественном числе: сражение состояло из миллиона чудес. Очень велика была доля случайности во всем этом деле. Первым чудом было то, что Клок и Бюлов свернули с прямой дороги на Париж — защищать столицу было невозможно, по признанию самого Галлиени. Французский кавалерийский разъезд убивает германского офицера, везущего план верховного командования, этот план становится тотчас известным французскому штабу — второе чудо. За несколько дней до того, в порядке импровизации, под давлением политических доводов, чуть ли не вопреки воле верховного главнокомандующего создается шестая французская армия. Об этой армии Клок никаких сведений не получает. На пост парижского главнокомандующего за неделю до решительного дня назначается единственный человек, способный пойти на меру беспредельной важности, которой не сочувствовал Жоффер, — да, все это случай или, если угодно, чудо. В дальнейшем элемент случайности все нарастает. Героизм французской армии, дух ее — это совершенно бесспорно. Но дух был высок и у немцев — они во сне бредили взятием Парижа (есть тысячи свидетельств в письмах, в дневниках отдельных германских солдат и офицеров). Очень трудно нам отделаться от мысли: победили, к счас-

тью, французы, но могли победить и немцы*. И невольно вспоминаются приведенные выше слова Мольтке: никому не известно, какова будет европейская война... Как окажется возможным руководить многомиллионными человеческими массами, я не знаю. Думаю, что не знает этого и решительно никто.

VIII.

Не помню, какой писатель задал себе вопрос: любят ли пожарные пожары? И ответил утвердительно: любят. Очень многие военные говорят о войне с искренним ужасом. Однако маленький парадокс в этом есть. Умный, способный, энергичный человек всю жизнь готовится к одному делу, ему учится, о нем читает, о нем думает, дела же этого никогда не увидит — судьба как-никак странная. Генерал Гельмут фон Мольтке до 1914 года ни в какой войне не участвовал и начал свой боевой опыт прямо с должности верховного главнокомандующего.

Если б начинающему актеру, с детских лет бредившему театром, дали для дебюта роль Гамлета, он, вероятно, был бы крайне смущен, но испытывал бы, разумеется, и восторг. Для Мольтке именно настал „Der Tag“*. Под его верховным руководством германская армия вступила в борьбу с миром. Не может быть, чтобы никогда прежде в бессонные ночи свои он не мечтал об этой минуте. Вдобавок начало было так хорошо: Льеж, Намюр, Брюссель, Шарлеруа! Генерал фон Кюль, начальник штаба первой германской армии (Клука), утверждает, что за две недели эта армия с боями — от победы к победе — прошла 480 километров; другого подобного случая, по его словам, в военной истории не было. Немецкая печать была в упоении. Сам Максимилиан Гарден, никогда не отличавшийся шовинизмом, писал в те дни такие статьи, каким мог бы позавидовать любой газетный барабанщик.

*Ген. фон Кюль, начальник штаба Клука, пишет в своей книге (к которой дал весьма лестное предисловие маршал Франше д'Эпре), что и в последний день сражения на Марне все с обеих сторон висело па волоске.

* „Его день“ (нем.).

Между тем настроения генерала фон Мольтке были далеки от восторга и в дни высших успехов германской армии. Офицерам своего штаба он беспрестанно твердил одно и то же: „Не радуйтесь, радоваться рано и нечему“. Вероятно, он твердил это по педагогическим соображениям. Как немецкий патриот, он не мог не радоваться победам своих войск, даже и независимо от вопросов личных. Но этот религиозно настроенный человек восторгался далеко не всем. Сгорел Лувен, чуть только не превратился в развалины Рейнский собор. 3 сентября Мольтке писал жене: „Дай Бог, чтобы скорее произошло в России событие, которое нас избавит от русского нашествия“. Очевидно, он имел в виду революцию. Однако ведь революция означала и торжество людей, представлявших ему „шайкой разбойников“, и, уж во всяком случае, конец почти всего того, чем он так восхищался в России.

Вдобавок Мольтке тогда подпал под сильное влияние полковника Генцша. Этого человека в Европе знают мало. Но в немецких военных кругах многие и по сей день считают его злым гением Германии, главным виновником понесенного ею поражения. В 1917 году Людендорф назначил особую комиссию для расследования действий Генцша. Она, однако, не нашла в его действиях состава преступления. Полковник Генцш умер — унес с собой, говорит один германский историк, „тайну марнского сражения“.

Генцш не был ни бездарностью, ни предателем, ни злодеем. Перед войной его считали надеждой германского военного искусства. Кронпринц с некоторым ужасом говорит о „гипнотическом очаровании“ Генцша. Этот блестящий офицер был главным советником Мольтке. На своем посту он оказался хуже, чем злодей: Генцш был пессимист. Два мрачно настроенных человека объединились для руководства действиями германской армии — сочетание, правда, не слишком удачное.

Как на беду, остальные германские генералы грешили недостатком обратным — с ними по оптимизму могли соперничать только Жоффр и Фош (первый и на следующий день после Шарлеруа уверял, что все идет очень недурно, а скоро пойдет совсем хорошо; второй после победы на Марне говорил, что теперь

война кончена). Германские генералы, командовавшие отдельными армиями, забрасывали ставку сообщениями о своих блестящих победах. Мольтке наконец им поверил — и 25 августа снял два корпуса для отправки на Восточный фронт — в самом деле, если на западе все идет так хорошо. Забавно, что столь пессимистически настроенный человек главную свою ошибку допустил „по избытку оптимизма“. И, разумеется, первыми его за это стали поносить именно те генералы, которые ежедневно ему докладывали, что сопротивление врага совершенно сломлено. Жоффер в последние годы жизни, слыша, что победу на Марне приписывали то одному, то другому из его подчиненных, говорил со вздохом: „А вот если бы мы потерпели поражение, то кругом виноватым оказался бы именно я...“

Бранили Мольтке за все. Бранили, например, за то, что он „не сумел зажечь душу своих войск“. Кронпринц самым серьезным образом пишет: „Мольтке был решительно не способен к вдохновенным словам, которые граф Шлифен считал совершенно необходимыми для современного Александра. Умел их произносить наш противник, генерал Жоффер, и они действовали на его войска подобно трубным звукам. Мольтке же откровенно говорил, что ненавидит всякие декламационные заявления...“ Жоффер в качестве специалиста по зажигательным речам — это находка: он так же терпеть не мог декламацию, как и его противник. Кронпринц, конечно, имеет в виду исторический приказ французского главнокомандующего перед марнским сражением — едва ли не единственное его „зажигательное“ выступление. Участник боев на Марне, полковник Шарбонно в своих бытовых воспоминаниях пишет, что в его полку приказ главнокомандующего был прочтен 7 сентября, то есть через два дня после начала сражения! Читал монотонным голосом сержант, вперемежку с повседневными полковыми приказами по мелким служебным делам. Никакого впечатления слова Жоффера не произвели. Вот и трубные звуки!..

Именно критики, обвиняющие Мольтке в „недостаточном учете психологического элемента“, больше всего бранят его за отсылку в Восточную Пруссию

двух корпусов с Западного фронта. Все же следствием этой меры были, по крайней мере до некоторой степени, успехи на Восточном фронте, психологическое значение которых стоило самого лучшего зажигательного приказа. Если б Мольтке допустил победу Самсонова и Ренненкампа, то психологи, вероятно, тоже его поносили бы — за то, что он не отправил Гинденбургу подкреплений с Западного фронта: ведь на Западе победа уже была все равно обеспечена.

„Современным Александром“ Мольтке, конечно, не был ни в какой мере. Насколько мы можем судить, он просто был недурной генерал, знавший свое дело. Такими же хорошими генералами были и его соратники, командовавшие отдельными германскими армиями. Вероятно, „современными Александром“ не были и они. Отличался от них Мольтке тем, что, по общему своему миропониманию, плохо верил в возможность настоящего руководства действиями многомиллионной армии. Он верил лишь в самые основные общие положения военной науки, как некоторые старые врачи-скептики верят только в самые простые, проверенные вековым опытом идеи медицины: в диету при желудочной болезни, в пользу лесного воздуха при чахотке. Все предусмотреть — да еще из Люксембурга — было совершенно невозможно. Мольтке и предоставлял Клуку, Бюлову, Гаузену, кронпринцу больше свободы действий, чем предоставил бы им другой главнокомандующий. Это видно по всем его распоряжениям: составлены они в самой общей форме, — Мольтке чаще всего одобряет решения командующего армией или предписывает ему снестись со штабом армии соседней. Кронпринц почти с негодованием рассказывает о следующем эпизоде: в дни марнских боев у него вышло разногласие с герцогом Вюртембергским, командовавшим соседней, четвертой армией. Он обратился к Мольтке. Верховный главнокомандующий коротко ответил: „Желательно, чтобы четвертая и пятая армии столковались“.

Столковывались они плохо. Крук, „новый Блюхер“, шел вперед слишком быстро. Одни генералы не попевали за другими. На местах связи германских армий могли образоваться опасные пустоты (о них, о том, образовались ли они действительно и грозили ли

опасностью немцам, до сих пор ведется спор в германской военной литературе). Это предусматривалось именно одним из тех общих положений науки, в которые Мольтке верил. Осторожнее было замедлить темп движения на французскую столицу. Мольтке, вдобавок, тоже находил, что Париж — географическая точка. Вековая мудрость предписывала: прежде всего нужно уничтожить живую силу врага. Этому учил племянника и „дядя Гельмут“. Кроме того, — чудо бесплодной предусмотрительности немцев! — год тому назад, на маневрах 1913 года, разбирался именно этот самый вопрос: германская армия победоносно подходит к Парижу, французы отступают, но еще не совсем разбиты — что нужно делать: брать Париж или добывать живую силу французов? Император и Клок стояли за захват столицы; Мольтке и другие генералы „доказали“, что это неверно: живая сила много важнее. Нет ничего удивительного в том, что больной человек, измученный войной, ее ужасами, своей огромной личной ответственностью, решил поступить так, как было постановлено в мирной обстановке, по зрелом размышлении, на собрании светочей военной науки. Мольтке и обратился к командующим армиями со своим знаменитым приказом: „Намерение верховного командования: отрезать французов от Парижа, оттеснив их в направлении на юго-восток“.

В сочетании с миллионом других событий, и случайных, и несчастных, приказ этот повлек за собой марнское поражение немцев. Мольтке послал своего ближайшего сотрудника на фронт, выяснить положение на местах. Это была та самая „миссия полковника Генцша“, о которой написаны десятки научных трудов (существует о ней даже докторская диссертация). Каковы были точные полномочия полковника, приказал ли он, именем Мольтке, командующим армиями начать общее отступление или только предоставил им право это сделать, если они сами найдут нужным, — это не выяснили ни ученые, ни назначенная Людендорфом следственная комиссия. Скорее всего, Генцш просто заразил своим пессимизмом Клука и Бюлова, представив им общее положение германской армии в самом мрачном свете. Немцы отступили.

Разочарование в Германии было жестокое, — обывателю, уж во всяком случае, нужен был Париж, а не „живая сила“ — да и живую силу добыть ведь не удалось. Вероятно, Вильгельм II это чувствовал ясно, — он мог теперь думать, что был на маневрах прав в своем споре с Мольтке и со всем генеральным штабом. Отношения между императором и верховным главнокомандующим к тому же давно стали нехороши; первое столкновение между ними — и весьма серьезное — произошло в первый же день войны. По-видимому, неуверенность Мольтке очень раздражала императора: как все знаменитые банкроты, Вильгельм II обладал необычайно жизнерадостным темпераментом. „Наш могущественный повелитель не имеет ни малейшего представления о серьезности нашего положения, — писал жене главнокомандующий в дни своего высшего успеха, — он находится в состоянии экзальтации, которой я не выношу“. Десятью днями позднее, после Марны, Мольтке верно предсказывает будущее: „В конце концов, сила наша будет сломлена в этой борьбе на два фронта... Какое горькое разочарование! И нам придется платить за разрушения...“

Быть может, император был прав в том, что не хотел оставить столь безнадежно настроенного человека на посту верховного главнокомандующего. 13 сентября 1914 года между ними произошла какая-то сумбурная сцена, о которой мы можем только догадываться по следующим кратким словам Мольтке: „Я вынужден сознаться, что моя нервная система ослабела в результате перенесенных испытаний. Император должен был подумать, что я болен...“

Он был болен и в самом деле. Была ли его отставка следствием болезни, или болезнь (точнее, резкое ее осложнение) следствием отставки, сказать нелегко. Война раздавила этого человека, который был живым парадоксом германского милитаризма. Генерал фон Мольтке слишком любил жизнь, культуру, людей. Ему надлежало быть из стали или из дерева, а у него были нервы! Как человек, он, во всяком случае, привлекательнее генералов стальных или деревянных.

Верховному командующему было предложено от-

дохнуть. Вильгельм II пожаловал ему орден Железного Креста первой степени. Фактическая власть перешла к генералу фон Фалькенгайну. Несколько позднее, 3 ноября, Гельмут фон Мольтке был с почетом уволен. Историческая роль его навсегда кончилась. Кончалась и жизнь.

18 июня 1916 года он произносил речь, посвященную памяти фельдмаршала фон дер Гольца. Говорил на этот раз бодро: о победных лаврах, о Земле Обетованной — а жить ему оставалось несколько минут. Тотчас по окончании этой речи генерала Мольтке разбил удар. Он скончался тут же, в здании рейхстага.

Мата Хари

I.

Этот невысокий, небольшой, странной формы, странного цвета дом с садом не напрасно называется виллой. Он построен, вероятно, около ста лет тому назад и тогда был загородным, если не деревенским домом. Вилла „Реми“ расположена в той части Нейи, которая до сих пор сохранила глубоко провинциальный вид. Здесь еще нет больших домов; все особняки с садами. Очень мало лавок, почти нет кофеен — вот только одна, тоже необыкновенно провинциальная по виду, кофейня находится на улице Виндзор, как раз по соседству с № 11.

В № 11 жила Мата Хари. Здесь происходили ее „оргии“. Сюда же, очевидно, приходили к ней для деловых разговоров агенты германского генерального штаба. И для оргий, и для шпионских дел окруженный садом особняк на улице Виндзор был выбран чрезвычайно удачно: вот какой частью города всего менее могли интересоваться полиция и контрразведка.

По случайности вилла „Реми“ теперь сдается в наем; следовательно, ее можно осматривать. Я побывал в доме Мата Хари. В старинных уголовных романах Монтепена, Габорио, в разных „Тайнах розового дома“ описываются именно такие таинственные виллы. Сходство полное, вплоть до узких винтовых лестниц, соединяющих первый этаж со вторым. Может быть, помимо удобства, именно романтика этого старого особняка и привлекла внимание Мата Хари — ведь ее и погубила, главным образом, романтика.

Эта женщина очень долго волновала воображение людей; она продолжает волновать его и по сей день. Бласко Ибаньес, Шарль Гирш изобразили ее жизнь в романах. Были написаны о ней и пьесы, и фильмы. Делались попытки доказать, что расстреляли ее без

всякой вины — попытки весьма неудачные: едва ли можно сомневаться в том, что Мата Хари была шпионкой. Она даже была, если можно так выразиться, шпионкой в чистом виде.

Понятие шпионажа довольно неопределенно: под общим именем объединяются люди и действия, весьма различные по моральному характеру. Шпионом одинаково называется человек, за деньги выдающий военные секреты своей страны внешнему врагу, сыщик, выслеживающий врага внутреннего, и офицер, по воинскому долгу прокрадывающийся на неприятельскую территорию для разведки. Церемонились со шпионами всегда очень мало. До конца XVIII века их вешали без суда. Французская революция произвела принципиальную реформу и в этом деле: в 1793 году было предписано предавать шпионов суду особых военных комиссий. Результат был один и тот же, но так выходило благообразней — впрочем, не намного благообразней: как многие другие реформы Французской революции, эта была осуществлена лишь на тех бумажках, миллионы которых остались, на радость историкам, от Комитета общественного спасения и от других революционных учреждений.

Платили шпионам, в большинстве случаев, очень мало денег. Только самые важные агенты получали постоянное и большое жалованье. Но зато число шпионов было чрезвычайно велико. В 1914—1918 годах на эти дела тратились большие миллионы. Кто, например, выяснит, в какую сумму обошлась немцам Октябрьская революция? Не может быть сомнения в том, что одним из важнейших документов по истории большевистского движения 1917 года будет („через двести — триста лет“) гроссбух германского генерального штаба.

II.

Легенда такова. Земное воплощение дьявола, знаменитая красавица, танцовщица Мата Хари выдавала немцам важные военные секреты, относящиеся к боевым операциям 1914—1916 годов. Эти секреты она якобы узнавала от высокопоставленного француза, с которым была в близких отношениях, и сообщала еще

гораздо более высокопоставленному немцу, с которым также была в близких отношениях.

Легенде соответствует контрлегенда. Ни в чем не повинная мученица, красавица-танцовщица Мата Хари стала жертвой дьявольского умысла. Другая знаменитая артистка приревновала ее к своему мужу (весьма известному писателю) и из мести взвела на соперницу страшное обвинение в шпионаже. В результате коварных махинаций произошла тяжелая судебная ошибка, закончившаяся расстрелом невинной женщины. Но угрызения совести и по сей день терзают ту артистку, которая погубила Мата Хари. Недавно она ездила в Рим, покаялась папе и просила у него прощения.

И легенда, и контрлегенда не раз оглашались в печати. Не раз в печати назывались полным именем и высокопоставленный француз, и высокопоставленный немец, и артистка-предательница. Фамилии некоторых из них были даже названы с трибуны французского парламента. Не привожу все-таки этих имен: в легенде правды очень мало, а в контрлегенде все совершенная неправда. И Мата Хари отнюдь не была невинной жертвой, и та другая артистка никому ее не „выдавала“. Выдала ее, как мы увидим, Эйфелева башня.

Невежественная болтовня достаточно дорого стоила некоторым из людей, чьи имена молва связала с Мата Хари. Болтовня эта была одной из причин сенсационного процесса, на долгие годы прервавшего большую карьеру французского министра. Во всем деле Мата Хари судьба завязывала интригу так странно и неправдоподобно, как, пожалуй, постыдился бы сделать автор американского кинематографического сценария. Достаточно сказать, что фамилии двух людей, которые по своему положению могли знать все секреты, начинались с одной и той же буквы и кончались одной и той же буквой, — и именно этими двумя буквами начальной и конечной буквами фамилии были подписаны найденные у Мата Хари письма. Оба высокопоставленных человека были совершенно ни в чем не повинны, — тот, которому молва эти письма приписала, не был даже знаком с танцовщицей.

Мата Хари, повторяю, была шпионкой в чистом виде. Она не была ни французенкой, ни немкой, принадлежала и по рождению и по замужеству к нации, которая в войне не участвовала; не имела она решительно никаких причин желать победы Германии и поражения Франции (ее карьере танцовщицы вдобавок создал Париж). Мата Хари работала для денег и в особенности для ощущений. В политическом же отношении ее драма была только небольшим эпизодом в борьбе двух могучих государственных сил. В этой трагедии был бы уместен древний хор, — притом роковой. Эсхилловский, но не с одним, а с двумя корифеями.

Эти силы, боровшиеся в течение долгих десятилетий, были расположены, как нарочно, по соседству одна от другой. 2-е бюро (французская военная разведка) находилось в огромном здании военного министерства. В двух шагах отсюда, на улице Лилль, в здании германского посольства, помещалось до войны (не знаю, как теперь) самое важное — парижское — отделение Nachrichtenbüro (германская военная разведка). По внешности обитатели обоих зданий были в самых лучших отношениях друг с другом. Так, в пору дела Дрейфуса германский посол, граф Мюнстер, и военный агент, полковник Шварцкоппен, встречали в Париже самый любезный прием. В действительности единственной задачей полковника Шварцкоппена было выслеживание и покупка французских военных секретов. А сам он находился под весьма тщательным надзором 2-го бюро.

Французская разведка, разумеется, была совершенно права. Кампания, которая в пору дела Дрейфуса велась против нее во Франции значительной частью печати, теперь, в свете событий мировой войны, представляется не такой, какой казалась в 1899 году. Если не все, то очень многое тут было фатально. По древнегреческому мифу, фурия Немезида родилась от Юпитера и Необходимости. Миф очень глубокий и компромиссный: он пытался в идее вины и кары одну долю отвести высшей свободной воле, другую непреклонным, неодолимым законам жизни. В вине и каре людей XX века доля Необходимости явно преобладала. Была грозная опасность войны. Из

нее совершенно естественно вытекала потребность в военном шпионаже, — кто в этом виноват? На словах все государственные люди во все времена были убежденными пацифистами — трудно даже понять, откуда, собственно, в истории возникали войны? Но пока люди будут воевать, будут существовать и шпионы.

Через несколько лет после войны во Франции была выслежена и раскрыта шпионская организация, работавшая в пользу одной дружественной державы. Помню громовую статью по этому случаю покойного профессора Олара. Смысл ее сводился к изумленной и возмущенной лирике: „Как? Наши лучшие друзья?! После всего того, что было?!“ Профессор Олар так и умер при убеждении, что последняя война, война 1914—1918 годов, переродила человечество. Я могу только привести официальные данные: с 1918 года на рассмотрение французского суда поступило семь дел о раскрытых шпионских организациях во Франции*. Из них три работали на СССР, две на Германию, одна на Италию, одна на Англию. Не считаю „Фантомаса“, который, по-видимому, работал на разных заказчиков (кроме того, коммунистический шпионаж — явление особого, много худшего порядка).

Не стоит приводить по этому поводу моральные соображения. Вот разве одно можно сказать: как ни удобны и даже незаменимы услуги женщин в области шпионажа, привлечение их к этому делу производит особенно странное впечатление. Во всем мире женщины великодушно освобождены мужчинами от военной службы. Однако самые опасные и рискованные дела, с весьма реальной перспективой виселицы или Венсенского полигона, во всем мире поручаются женщинам. Мата Хари, „La Rouquine“[†], Ирма Штауб, „фрейлен Доктор“ — называю только наиболее известных. Их услугами пользуются пока нужно и пока можно — а потом, через несколько лет, зрители умиленно проливают слезы, глядя на расстрел Марлен Дитрих, играющей трогательную шпионку.

*Сущность этих дел изложена в монументальном труде R. Mennevie. *L'espionnage international*, т. II, p. p. 482—546.

[†]„Рыжеволосая“ (Фр.).

III.

Внешняя биография Мата Хари теперь выяснена достаточно. Для первых ее лет имеет особенное значение ценная работа Шарля Гейманса.

Мата Хари родилась в 1876 году в голландском городке Левардене. Ее настоящее имя Маргарита Целле. И отец и мать ее были голландские мещане. Впоследствии Мата Хари приписывала себе то очень знатное, то, по крайней мере, экзотическое происхождение. Иногда она объединяла знатность с экзотикой. Так, одному из своих ранних поклонников она рассказывала, что родилась от любовной связи принца Уэльского с какой-то индусской принцессой. Это было несколько неправдоподобно, да вдобавок и не слишком оригинально: всем известно, что будущему королю Эдуарду VII приписывались сотни таинственных связей и таинственных потомков. Позднее Мата Хари приняла другую версию: ее настоящие родители были действительно Целле, но не просто Целле, а фон Целле, и даже не просто фон Целле, а потомки герцогов фон Целле, почему-то утратившие герцогский титул. Герцоги фон Целле происходили от ганноверских гвельфов, к которым принадлежит и английский королевский дом. Таким образом, король Эдуард VII хоть и не был отцом Мата Хари, но все же приходился ей отдаленным родственником. Был ей сродни и император Вильгельм.

В действительности, как документально выяснил Гейманс, отец Мата Хари самый обыкновенный Целле, был лавочником. Черта характерная: профессия танцовщицы знатности не требовала, никакого титула на афишах Мата Хари писать не могла и не писала. Но такова были ее натура и в мелочах: она всякую ложь считала романтикой. Я думаю, ей по природе было трудно говорить правду, как многим людям по природе трудно лгать.

Мата Хари училась в лейденской школе, но курса не кончила: в нее влюбился директор школы и стал ее преследовать. Восемнадцать лет от роду она вышла замуж — по газетному объявлению. Голландский офицер знатного шотландского происхождения, капитан Мак-Леод, поместил объявление в газетах о том, что

желает жениться. До нас дошел благодаря неутомимым биографам и текст этого объявления, однако в двух вариантах. По одному варианту, капитан Мак-Леод искал невесту „предпочтительно с некоторым состоянием“ („de préférence un peu fortunée“). По другому варианту, он желал, чтобы невеста была без состояния („de préférence peu fortunée“). Эта довольно существенная разница может представлять интерес потому, что биографы Мата Хари расходятся и в моральной оценке капитана Мак-Леода. Большинство из них изображают капитана чудовищем: он пил запоем, всячески тиранил, истязал свою жену и сделал ее навеки несчастной. Но Гейманс, напротив, отзывается о Мак-Леоде в самых лестных выражениях, — это Мата Хари сделала его навеки несчастным.

На газетное объявление капитана откликнулись пятнадцать невест — уж не знаю, с некоторым состоянием или без состояния. Но Мата Хари приложила к письму свою фотографию, которая и решила дело. Они встретились и страстно влюбились друг в друга. Об этом свидетельствуют письма Мата Хари (они были напечатаны) — это не письма тургеневской девушки (как, верно, и догадывался читатель). „Какое счастье, что и у тебя, и у меня такой страстный темперамент! — пишет жениху 18-летняя невеста. — Нет, я не верю, что все эти утехи когда-либо кончатся... Да, милый, я надена все то, что тебе нравится. Ах, как мы будем наслаждаться!.. Смею надеяться, что после свадьбы, в розовой шелковой рубашке, я не обману всех твоих прекрасных надежд...“

Она довольно быстро обманула надежды капитана Мак-Леода. Капитан служил в голландской Индии. После свадьбы, представив жену ко двору, он уехал с ней на остров Яву. О том, что там было, мы можем лишь догадываться. В письмах к сестре Мак-Леод называет жену не иначе, как „эта подлая женщина“, „эта мерзавка“ или „эта низкая тварь“, — есть и более крепкие слова. „Ах если б, например, чума меня избавила от этой твари, — пишет лирически задумчиво капитан, — я мог бы еще быть счастливым“ (тогда на Яве свирепствовала эпидемия чумы). В другом письме Мак-Леод говорит: „Ах, если б у меня были деньги, чтобы купить ее согласие (на развод)... Ведь эта мер-

завка все делает для денег...“ „Господь Бог да избавит меня от этой твари! От всего сердца надеюсь на это. Аминь!“ — пишет он еще. Со своей стороны, Мата Хари писала, в тоне столь же задушевном, но более рассудительном: „Если б Джон умер, я была бы свободна... Конечно, Джон не очень крепок физически, но подобные ему слабые люди могут жить очень долго, если заботятся о себе и питаются яйцами и мясом“*.

По всей видимости, не приходится особенно идеализировать ни того, ни другого из супругов. В некоторое им оправдание следует сказать, что в их жизни случилась в Индии тяжелая драма. У них родился сын Норман, потом дочь Нон. К детям была взята служанка-малайка. Она была замужем за малайским солдатом голландской службы. Этого солдата капитан Мак-Леод за какую-то вину подверг строгому наказанию. Из мести малаец приказал жене отравить детей капитана, что она беспрекословно и выполнила. Мальчик умер в мучениях, девочка уцелела.

Детей своих капитан очень любил. Смерть сына потрясла его, однако нисколько не примирила с женой. В своих дальнейших письмах он беспрестанно говорит о необходимости спасти дочь от влияния „низкой твари“. Что будет, если он умрет, а Нон останется одна с матерью! „О, тогда кассиан“, тысячу раз кассиан для нее и для нашего имени!“ — пишет капитан Мак-Леод.

В чем было дело, не совсем ясно, Мата Хари изменяла своему мужу, сорила деньгами, развлекалась как могла — радоваться, конечно, было нечему. Но все же нелегко понять сосредоточенную ярость и ненависть, которой дышат все письма ее мужа (он был, кстати сказать, старше жены на двадцать лет). Как бы то ни было, после шестилетнего пребывания на Яве и на Суматре супруги вернулись в Голландию и там разошлись. На прощание комендант Мак-Леод поместил в газете объявление, что не будет платить по долгам жены, — этот человек, по-видимому, все делал через газеты.

*Charles S. Neymans, *La vraie Mata Hari*, p. 64.

*Малайское слово, означающее, по словам Геймалса, „сострадание“.

Вскоре после того они снова сошлись. Маргарита Мак-Леод обещала „начать новую жизнь“. Но и новая жизнь продолжалась очень недолго. В декабре 1902 года комендант навсегда выгнал из дому свою жену „за развратное поведение“. Маленькая дочь осталась при отце. Затем у Маргариты Мак-Леод были еще какие-то весьма сомнительные приключения в Амстердаме, в Гааге, в Шевенингене. Но, как Македония для Александра, Голландия была слишком для нее мала. Осенью 1903 года она переселилась в Париж и решила стать артисткой.

IV.

В выборе своей сценической карьеры Маргарита Мак-Леод, по всей вероятности, руководилась методом исключения. Голоса у нее никакого не было, следовательно, она не могла стать оперной певицей. По-французски она говорила с сильным иностранным акцентом, значит, не приходилось думать о карьере драматической артистки (голландская сцена мало ее интересовала). Кроме того, у нее не было таланта — это, правда, при надлежащей рекламе имело меньше значения. Ей оставалось выбрать — танцы.

Едва ли она хорошо танцевала (несмотря на все восторженные отзывы), — говорю это потому, что без всякой подготовки трудно стать танцовщицей 28 лет от роду, как нельзя в этом возрасте начать карьеру боксера или теннисиста. Впрочем, могут быть и исключения. Прославиться ей удалось очень легко. Разведенной жене команданта Мак-Леода пришла в голову счастливая мысль, навеянная ей пребыванием на Яве:

„Священный малайский танец“.

Нечто в этом роде носилось в парижском воздухе. Если не ошибаюсь, годом позже появились в Париже камбоджийские танцовщики. Покойная Айседора Дункан открыла настоящую Грецию. Позднее какалято другая танцовщица (кажется, Ниота Ниока) открыла настоящий Египет. Маргарита Мак-Леод открыла настоящую Яву. Это имело вдобавок преимущество: о

Яве, в отличие от Греции и Египта, никто не имеет ни малейшего представления. Может быть, на Яве и существуют „священные малайские танцы“. Может быть, никаких таких танцев нет. Во всяком случае, были основания думать, что парижские газеты не пошлют для проверки своих корреспондентов на Зондские острова.

Связи нашлись, и даже очень хорошие. Эмиль Гиме пришел в восторг — ему именно этого не хватало. Новая артистка покажет в танцах подлинное богослужение азиатских племен: „танец малайской баядерки пред Шивой, богом любви и смерти“.

Танец „малайской баядерки“ был каким-то вариантом танца Саломеи, который тоже соблазнил достаточное количество талантливых артисток и балерин. Весь арсенал дешевой поэзии был налицо — уж если не пощадили и „Шиву, бога любви и смерти“! Не хватало только подходящего имени для танцовщицы. Сначала называли ее „леди Греша Мак-Леод“. Она не была ни леди, ни Греша, но это звучало недурно: в имени Греша было, бесспорно, что-то русское или явайское, одним словом, восток, черт там разберет! Потом, однако, выяснилось, что жрице Шивы, бога любви и смерти, неудобно называться „леди Греша“. И тут явилась новая счастливая мысль:

„Мата Хари“!

Это звучное слово по-малайски значит „рождающаяся заря“ или что-то в этом роде. Сущность рождения зари заключалась в том, что баядерка во время танца постепенно раздевалась, оказываясь под конец совершенно голой, — так, по ее сведениям, было угодно Шиве. Священный малайский танец был впервые исполнен в круглой зале библиотеки музея Гиме 13 декабря 1905 года. Зала была превращена в „храм Шивы“. Мата Хари танцевала при свечах, на полу, засыпанном лепестками роз. Успех был необычайный. На следующий день весь Париж заговорил о восточной танцовщице. „La danseuse nue“* мгновенно вошла в моду. Дочь голландского лавочника оказалась „воплощением таинственного Востока“. Один из востор-

* „Обнаженная танцовщица“ (фр.).

женных рецензентов писал: „Ей известны все добродетели Вишну, все дела Шивы, все свойства Брахмы. С колдовскими чарами баядерки она сочетает богословскую эрудицию брахмана!“

Она и сама не страдала отсутствием самоуверенности. „Предоставьте мне исполнить большой танец перед Иродом, — писала она антрепренеру Астрирку*. — Я произведу впечатление, которого еще никто не испытывал и которого ни одна танцовщица до сих пор не могла произвести. Нет двух женщин, способных на такое очарование...“ „Все газеты единодушно твердят, что я идеальная Венера“, — пишет она позднее.

Перед Мата Хари открылись парижские гостиные, вплоть до первого в Париже салона графини Греф-фюль. Министры, послы, академики старались заполучить к себе жрицу Шивы. Ее выступлениям обычно предшествовал небольшой доклад: какой-то ученый человек объявлял, что перед публикой выступит „дева, прекрасная, как Урваси, невинная, как Дамаянти, вышедшая из монастыря, как Сакунтала“. Точность сообщения, читатель видит, необычайная. Оно производило впечатление. Почтительный *Université des Annales**, устраивающий разные добродетельные лекции для молодых барышень из лучших семейств, тоже пригласил деву, невинную, как Дамаянти, и ученую, как богослов-брахман, — показать священное искусство малайских танцовщиц. Правда, для аудитории *Université des Annales* ей пришлось надеть что-то вроде легкой шали. Это, кажется, было единственным исключением в ее карьере. На первом представлении в музее Гиме Мата Хари под конец священного танца еще сочла нужным оставить на себе нагрудник из нескольких металлических блях. Несколько позднее ее упростили отказаться и от нагрудника. Одна весьма известная дама писала Фуксу: „Мои друзья просят, чтобы Прекрасная Дама танцевала менее „прикрытой“, чем у Артюра Мейера. Она говорит, что так выйдет художественнее“^Δ.

*G. Astruc. *Le pavillon des fantômes*, p. 38.

*Исторический университет (*фр.*).

^ΔPaul Fichs, *Mata Hari. Le Crapouillot*, juin 1931, p. 31.

Надо думать, выходило вполне художественно. Я никогда не видел Мата Хари. Видел, однако, все ее портреты, их осталось довольно много. Если судить по этим изображениям, то следует признать, что легенда очень преувеличивает красоту знаменитой шпионки. Видел я и фотографию, снятую с нее в профиль и en face в Сюрте Женераль незадолго до расстрела. На этой карточке она просто ужасна — ожидание суда и казни быстро разрушило ее красоту (ей шел в ту пору 41 год). Черты лица у нее были неправильные и довольно грубые. Но, по-видимому, было в ней и большое очарование. В Париже, в Вене, в Берлине по ней сходили с ума самые разные люди. „Среди ее любовников, — рассказывает Гейманс, — были генералы, чиновники, один из высших служащих министерства иностранных дел, академик, военный министр, принцы и великие герцоги. Говорят даже о двух монархах“. „Принцы толпились в передней ее дворца“, — пишет Гомес Гарилло*. У испанского писателя, впрочем, богатая фантазия; дом Мата Хари отнюдь не похож на дворец. Может быть, и принцы не так уж там толпились.

Это была очень умная и одаренная женщина, с необычайным темпераментом, жадно любящая жизнь, жадно любящая позы и эффекты, взбалмошная до истеричности и болезненно лживая. Сочетание этих свойств обещало многое; однако из него несколько не вытекало с необходимостью тяжкое преступление.

Обстоятельства, при которых Мата Хари стала шпионкой, известны только германской разведке. Мы здесь вступаем в область догадок.

V.

Успех Мата Хари в Париже, где обычно создается или закрепляется артистическая слава, обеспечил ей возможность гастролей по всей Европе. Она выступала в Вене, в Берлине, в Амстердаме, в Риме, в Монте-Карло. Платили ей по тем временам недурно. Но бога-

*E. Gomez Garillo, Mata Hari, p. 70.

тая, беззаботная Европа довоенного времени вообще оплачивала артистов хуже, чем нынешняя Европа нищая, Европа мораториев, падающих валют, непосильных налогов и „внешних долгов, превышающих платежеспособность населения страны“ (по принятой теперь, прежде малоупотребительной формуле). Четверть века тому назад только знаменитые оперные певицы уже начинали загребать деньги. Мата Хари получала за выход в среднем около 200 золотых франков (то есть 1000 франков нынешних). Выступала она часто и, следовательно, могла бы и на свой заработок жить очень недурно.

Хозяйка кофейни, расположенной на улице Виндзор рядом с домом Мата Хари, хорошо ее помнит. Она рассказывала мне, что этот дом всегда осаждали кредиторы. В 1914 году Мата Хари, покидая Париж, буквально спаслась от них бегством: тщательно скрывала свой отъезд и выехала из дому ночью. Есть сходные указания и в печатных источниках. Она, по-видимому, не раз переходила от большой роскоши почти к бедности. Не слишком роскошной была ее квартира, та самая, на которой происходили оргии. Это и теперь видно, по размерам комнат, по ванной, по разным мелочам. О том же пишет Фукс, посетивший Мата Хари в 1912 году. „Она приняла меня в гостиной, отнюдь не блиставшей роскошью. Обои, ковры, мебель были потрепанные, все говорило о стесненном положении хозяйки. Мата Хари мне и сказала: ее покинул очень богатый любовник, у нее больше нет ни гроша. Безжалостные кредиторы ее преследуют, собираются описать имущество. Она решила продать все что можно, своего кровного коня Какатозса, который только ей позволял на себе ездить...“

Это не совсем понятно. Мата Хари немало зарабатывала танцами, ее щедро оплачивали богатые покровители, ей платила германская разведка, жила она не так уж роскошно и была кругом в долгу. Куда же девались деньги? Говорят, она играла в карты. Может быть, все на это и уходило, все ее разные и странные гонорары: от антрепренеров, от покровителей, от Nachrichtenbüro.

Только ли жажда денег толкнула ее на дорогу, оборвавшуюся у Венсенского полигона?

Думаю, что романтика шпионажа сама по себе сыграла немалую роль в судьбе Мата Хари. Она всю жизнь жила нервами, ощущениями, фантазией, точно вертела свой собственный биографический бульварный фильм. У этой женщины было чисто кинематографическое воображение: „дочь Эдуарда VII и индусской принцессы“, „герцогиня фон Целле“, „Явайская светская львица“, „леди Греша Мак-Леод“, „жрица бога Шивы“, „кровный конь Какатоэс, позволяющий ездить на себе только своей хозяйке“, — все это типичные сцены „сверхроскошного трагического боевика в три тысячи метров“. В своем боевике она играла роль роковой женщины, порою играла очень недурно. Глава „великосветская шпионка“ укладывалась в него превосходно.

Я, впрочем, не преувеличиваю значение этой черты ее характера. Наряду с бульварным романом была и подлинная Достоевщина. Мата Хари нуждалась в десятках тысяч, как Родион Раскольников нуждался в десятках рублей. Раскольникову тоже незачем было убивать Алену Ивановну; он мог давать уроки, мог стать биржевиком, мог красть бумажники из карманов. На убийство и каторгу его толкнул не голод, или не только голод — да, собственно, и не наполеоновская идея: наскоро, на заказ спитая идея лишь прикрыла то иррациональное и страшное, что теперь зовется Достоевщиной. Маргарита Мак-Леод, по всей вероятности, ни одной книги Достоевского никогда в глаза не видела. Но для него она была бы настоящим кладом.

Внешняя и внутренняя „инфернальность“, эстетика сенсационного боевика, постоянная нужда в деньгах, скучная борьба с безжалостными кредиторами, не желающими понять, что ей нужен, просто необходим ее кровный конь Какатоэс, — все это сплелось в клубок, задушивший Мата Хари. Некто узнал и воспользовался. Кто это был, как он узнал, где и когда предложил, чем соблазнил, чего именно потребовал — нам неизвестно. По всей вероятности, „некто“ был ее любовником*, — это азбука шпионского ремесла.

*С ней в 1914 году уехал из Парижа германский офицер, имя которого не было установлено.

Известно, во всяком случае, что шпионкой Мата Хари стала до 1914 года, быть может, задолго до войны, скорес всего, тотчас после развода с Мак-Леодом: тогда ей очень могли пригодиться и небольшие суммы. У германской разведки она значилась как „агент Н 21“. Буквой Н обозначались лишь старые агенты. После начала военных действий для обозначения германских шпионов, действующих во Франции, были приняты буквы АF (Антверпенский центр, Франция).

VI.

Существуют разноречивые указания о тех военных тайнах, которые она выдавала немцам. Важные ли это были тайны? Люсьето утверждает, что вследствие ее работы были потоплены семнадцать союзных транспортов с войсками и погибло не менее дивизии союзных войск*. На суде говорилось о выдаче секретов, относящихся к наступлению 1916 года². Но майор Ладу, заведовавший во время войны французской контрразведкой, заявляет, что Мата Хари свое шпионское ремесло знала плохо³. То же самое пренебрежительно говорит о ней ее знаменитая конкурентка по ремеслу, „фрейлен Доктор“.

В этих делах правды добиться очень трудно. Шпионаж в истории давал исключительно важные результаты в тех случаях, когда удавалось подкупить высшего офицера или видного политического деятеля противоположного лагеря. Но роль женщин-шпионок, быть может, вообще несколько преувеличивается. У Мата Хари были высокопоставленные друзья. Однако едва ли это очень способствовало ее работе. Надо думать, у военного министра (будь это и очень страстный человек) должны были бы тотчас возникнуть подозрения, если б „на ложе неги“ (как пишет один из биографов Мата Хари) иностранная артистка стала вдруг его расспрашивать о тайнах государственной обороны.

*Ch. Lusieto En missions spéciales, Paris 1926, p. 303.

²C-t Emile Massard, Les espionnes à Paris, Paris 1922, pp. 39-66.

³C-t Ladoux. Les chasseurs d'espions, Paris 1932, p. 251.

В июле 1914 года, за несколько недель до войны, Мата Хари выехала из Парижа в Германию. По словам Гейманса, она тогда была „совершенно осведомлена о военных планах Германии“! Биограф на этот раз несколько хватил. В июле 1914 года сам император Вильгельм вряд ли знал с уверенностью, что в августе начнется мировая война. Но уж, во всяком случае, германский генеральный штаб не стал бы осведомлять об этом платную шпионку-танцовщицу. Она ведь могла за деньги перейти в другой лагерь. К тому же если б Мата Хари знала о близости войны, то как шпионке ей, конечно, следовало бы остаться в Париже.

Думаю, что она была шпионкой рядовой и средней (по данным Люсьето, у немцев всего было около 15 тысяч секретных агентов). Более ценные шпионки, вероятно, менее эффективны.

Война застала Мата Хари в Берлине. В день объявления войны она завтракала в ресторане с главой берлинской полиции, с которым, по ее словам, познакомилась в мюзик-холле. „В Германии, — показывала она на суде, — полиция имеет право цензуры над театральными костюмами. Меня находили слишком обнаженной. Префект зашел осмотреть меня. Так мы и познакомились“.

В 1915 году Мата Хари вернулась во Францию и затем много разъезжала, занимаясь шпионажем.

Несколько позднее с ней случилось невероятное происшествие: Мата Хари влюбилась! Предметом ее любви был офицер, служивший тогда во Франции (он, разумеется, не имел представления о том, что она шпионка). „Это был единственный человек, которого я когда-либо любила“, — говорила она на суде.

Если угодно, это тоже был кинематограф. Скажу больше: любой автор американского сценария, отдавая свободной творческой фантазии, непременно закончил бы фильм именно так: первой чистой любовью роковой женщины. Но вместе с тем это была правда. Мата Хари влюбилась и мечтала о замужестве, мечтала напрасно. „Он не захочет... Он из знатной семьи, его отец не допустит такого брака“, — говорила она в 1916 году коменданту Ладу.

VII.

Первые сведения о том, что Мата Хари состоит на службе у немецкой разведки, получила британская Intelligence Service, — по-видимому, из Мадрида, где английские агенты каким-то образом проследили ее связь с германскими разведчиками.

Во время войны все союзные разведки не слишком посвящали друг друга в свои секреты; каждая по известным ей, вероятно, причинам предпочитала работать самостоятельно. В сентябре 1915 года в Париже состоялся съезд представителей французской, английской, русской и других союзных разведок: предполагалось создание „междусоюзного бюро“. Но, как рассказывает в своих воспоминаниях майор Ладу*, „все вопросы обсуждались — надо ли это подчеркивать? — с благоразумием, походившим на недоверие... Вся конференция протекла в этой глухой атмосфере, где самые слова казались подавляемыми, как если бы каждый боялся, что его слушает неприятельский шпион!“ В частности, наши английские друзья, — говорит далее комендант, — оставляли такое впечатление, будто они, чем выдать какой-либо секрет, предпочли бы, чтобы у них вырвали зуб“ (перевожу дословно, — читатель извинит неуклюжесть). По словам того же Ладу, единство разведочного фронта так и не было осуществлено за все время войны. Однако некоторыми сведениями союзные разведки, конечно, обменивались. В 1915 году Intelligence Service сообщила 2-му бюро, что известная танцовщица Мата Хари находится на службе у германского командования.

За ней было тотчас установлено в Париже самое тщательное наблюдение. Ее корреспонденция перехватывалась и читалась во французской контрразведке. „Я перечел ее перехваченные письма, — сообщает комендант Ладу. — Большая часть из них была адресована капитану, давно служившему на фронте. Все они были подвергнуты самому тщательному исследованию, испробованы в наших лабораториях при помощи всяких химических реактивов. В них не было

*Ladoux, p. 203.

ничего, решительно ничего такого, что могло бы повлечь за собой что-либо, кроме смутных подозрений“.

Она скоро заметила, что находится под тайным наблюдением контрразведки. Как ни странно, это не очень ее встревожило. Астриук рассказывает, что Мата Хари как-то провела ночь с французским офицером в Биаррице и, уходя, оставила ему записку: „А теперь, мой милый, ты можешь идти во 2-е бюро: расскажи там все это...“*

В августе 1916 года она явилась к майору Ладу, заведовавшему французской контрразведкой. Инициатива свидания была как бы встречная: не то чтобы она просила о приеме, не то чтобы он официально ее вызвал. Было нечто вроде обоюдного желания „побеседовать“, — так приблизительно встречались и беседовали Раскольников и Порфирий Петрович.

VIII.

Об их встречах рассказывал сам комендант Ладу. Мата Хари начала с жалобы в кокетливом тоне: за ней следят, в ее отсутствии какие-то люди роются в ее чемоданах, что за безобразие! Ладу отшучивался, слабо отрицая свое участие в установленном за ней надзоре. Затем перешли к небольшому делу. Танцовщица желала отправиться на лечение в Виттель, находившийся в прифронтовой полосе. Для этого нужен был пропуск. Майор охотно его выдал.

Вблизи Виттеля, в Контресксевилле, в ту пору создавался авиационный лагерь, специально предназначенный для воздушных бомбардировок врага. Немцы чрезвычайно им интересовались, и французская разведка это знала. Ладу был совершенно уверен, что Мата Хари едет в Виттель именно для авиационного лагеря. В гостиницу, где она остановилась, был под видом лакея введен разведчик. Другому агенту, переодетому офицером-летчиком, поручено было за ней ухаживать. Однако хитрости не дали решительно никакого результата. Мата Хари вела себя в Виттеле безукоризненно; по окончании курса лечения она вер-

*G.Astruc. Le pavillon des fantômes, Paris 1929, p. 40.

нулась в Париж и снова явилась к Ладу, — опять как будто без всякого дела, просто так, поболтать.

Вторая беседа была гораздо интереснее первой. Она велась в том же веселом, шутливом тоне — вот только говорились вещи не шуточные, далеко не шуточные. Тон дала Мата Хари: ей нужны деньги, так нужны, так нужны... „Правда? Сколько?“ — сочувственно спросил Ладу. „Много. Миллион франков“. „Где же нам такую сумму взять! Вот у немцев вы могли бы получить миллион, если б вы проникли в ставку нашего верховного командования“, — ласково сказал начальник французской контрразведки. Мата Хари столь же шутливо ответила, что за миллион она лучше проникнет в германскую ставку, благо это ей и нетрудно: всем известно, что она была любовницей (она назвала очень высокопоставленное лицо). „Ну, уж так прямо в германскую ставку? — усомнился Ладу. — Кто же вас туда введет?“ „Да мой другой любовник, поставщик У“.

„Имя это вылетело у нее как пуля, — вспоминает в своей книге комендант, — оно и погубило несчастную“. Поставщик У. был одним из главных германских агентов специально по найму шпионов.

Соглашение было заключено: Мата Хари поступает на службу французской контрразведки, выедет сначала в Испанию, оттуда в Бельгию, где и будет работать. На прощание комендант Ладу сказал ей внушительное напутственное слово — о некотором неудобстве службы на два фронта: надо непременно выбрать один, а то дело может кончиться плохо. Мата Хари ответила не совсем понятно, в своем обычном стиле: она родилась под знаком Змеи. Ее эмблема — змея. Когда в былые времена в зоологическом саду она проезжала верхом мимо клеток, змеи просыпались и шевелились... Но сегодня, возвращаясь под утро из игорного дома, она снова подошла к змеям — и на этот раз они не проснулись... и т.д. По-видимому, аллегория означала, что отныне она изменяет своему змеинному нраву — и будет верой и правдой служить французской разведке.

Комендант Ладу сам говорит, что при их расставании он еще совершенно не знал, каковы истинные намерения Мата Хари. Но его идея была очень проста:

французская разведка знала шифр, при помощи которого германский военный агент в Испании сносился по радио с германским верховным командованием. Эйфелевой башне было предписано перехватывать все радиотелеграммы, шедшие из Мадрида в ставку Гинденбурга.

Очень сокращая рассказ, пропуская много подробностей, скажу, что вскоре после прибытия Мата Хари в Испанию французская разведка расшифровала следующие две телеграммы, доставленные с Эйфелевой башни:

„В Мадрид прибыл агент Н 21. Ему удалось поступить на французскую службу... Он просит инструкций и денег. Сообщает следующие данные о местонахождении французских полков... Указывает также, что французский государственный деятель N находится в близких отношениях с иностранной принцессой...“

В ответной телеграмме германского штаба предписывалось:

„Скажите агенту Н 21 вернуться во Францию и продолжать работу. Получить чек Кремера в 5000* франков на Контуар д'Эсконт“.

Майор Ладу добавляет, что не все сведения, сообщенные Мата Хари о французских полках, были точны. Это подтверждает сказанное выше о ее шпионских заслугах. Не очень большой интерес представляло, конечно, и сообщение о романе государственного деятеля. Сами по себе телеграммы были незначительны. Но, разумеется, вопрос об агенте Н 21 разрешался ими бесповоротно.

Она вернулась в Париж и остановилась в Elysée-Palace (теперь больше не существующем). 13 февраля 1917 года в ее номер вошли полицейские агенты и под каким-то предлогом велели ей следовать за ними. Ее привезли во 2-е бюро. Там ее, как водится, сразу оглушили вопросом:

— Н 21, когда именно вы поступили на германскую службу?

— Я не понимаю, — ответила, побледнев, Мата Хари*.

*По другим сведениям, она получила 15 тысяч песет. Вероятно, было два чека.

*С-t Massard, L. c., p. 47.

IX.

Следствие продолжалось несколько месяцев. Дело поступило на рассмотрение военного суда лишь 24 июля 1917 года. Защитник, старый адвокат, редактор известного юридического журнала, был формально ей назначен советом сословия. В действительности председатель совета Анри Робер предложил защиту своему адвокату по его настойчивой просьбе: престарелый адвокат был давним другом танцовщицы и всячески это подчеркивал. Человек был, по-видимому, не без странностей. Перед казнью своей подзащитной он заявил властям, что она от него беременна. „От вас? — изумленно спросил прокурор. — Но ведь вам, кажется, больше 75 лет!“ — „Это ничего не значит. Я требую применения 27-й статьи уголовного кодекса...“*

Система защиты Мата Хари на суде была очень неубедительна. Она не могла отрицать, что получала деньги от немцев. Но, по ее словам, руководитель германской разведки, от которого она получила 30 тысяч марок, был ее любовником и платил именно за это. „Очень щедрый человек“, — заметил председатель. „30 тысяч марок — это моя обычная цена, — возразила Мата Хари, — все мои любовники платили мне не меньше“. Она получала, однако, деньги от разных германских офицеров? Объяснение было такое же. Но телеграфный обмен между Мадридом и Ставкой? Это ничего не доказывает: руководители германского шпионажа просто хотели отнести свой частный расход на счет государственной казны.

Не останавливаясь на показаниях Мата Хари по другим неотразимым уликам. Суд единогласно приговорил ее к смертной казни.

X.

Теперь все кончено. Дело переводится в другую инстанцию, в кассационный суд. Но сколько-нибудь серьезных поводов для кассации нет. Нельзя рассчитывать и на помилование президента республики.

*C-t Massard, L. e., p. 69.

В Сен-Лазарской тюрьме она ведет себя, в сущности, так же дико, как на воле. Однако теперь перспектива изменилась чрезвычайно. Безвкусный американский сценарий становится страшной правдой.

Мата Хари продолжает доигрывать — не нахожу другого слова. Можно в камере читать книги: есть романы Бурже, Прево, Рони. Она отказывается: сроду не читала романов. Ей нужны поэты, притом поэты восточные. В Сен-Лазарской тюрьме нет ни „Прем-Сагар“, ни „Бакта-Маль“, ни „Сундара-Канда“? Доктор приносит ей какой-то „Лотос доброго закона“... Она по-прежнему играет индусскую роковую женщину, — совершенно непостижимо, почему это ей так нравилось. Д-р Брале как-то спрашивает: какого она происхождения. Мата Хари отвечает неопределенно-загадочно: тут есть тайна; ее родина не то Бенарес, не то Голконда, не то Гвалиора...

Сестры тюрьмы предлагают ей помощь религии. Она отказывается с усмешкой. „Эти бедные женщины упорно хотят обратить меня в свою веру“, — говорит она доктору. Перед одной из сестер она танцует свой танец — очевидно, тот самый танец Шивы, „бога любви и смерти“, которым когда-то она сводила с ума Париж. Но танцует она его не в своем наряде, а в тюремном халате; не на сцене, осыпанной лепестками роз, а в камере № 12 Сен-Лазарской тюрьмы. Это, я думаю, было страшное зрелище. В перспективе вместо шутовского „алтаря Шивы“ виднеется столб Венсенского полигона.

Доктор Брале очень о ней заботится. Ей хочется его отблагодарить. Мата Хари предлагает открыть доктору три секрета — один даст ему любовь, другой золото, третий вечную жизнь. Может быть, она видела на сцене „Пиковую даму“?

Фильмовая лента вертится все быстрее, настает последний день. 15 октября 1917 года, на рассвете, к ней в камеру входит обычная в таких случаях процессия. Она спит — накануне приняла хлораль (все время в тюрьме его принимала). Ее будят. Произносятся обычные слова: „Мужайтесь, час искупления настал“ или что-то в этом роде.

Здесь начинается самая блестящая сцена всей ее жизни. Эти номера фильма по своему великолепны;

надо отдать должное ее игре, мужеству и силе характера. „Как? Так рано! На рассвете! Что за манера?..“ Она хотела бы, чтобы ее повезли на полигон днем после хорошего завтрака. „Папиросу?“ — „Нет, не надо“. — „Грог?“ — „Да, пожалуй, стакан грога“. — „Не имеете ли каких-либо сообщений властям?“ — „Не имею. А если бы имела, то не сделала бы!..“

Нужно одеться. Мужчины выходят. Она приглашает врача остаться в камере... „Да и вообще не время изображать целомудрие!..“ Говорит быстро, безостановочно. Туалет кончается. Она поедет в Венсен в бежевом манто, непременно в бежевом манто. Снова входят люди. Пастор предлагает помолиться. „Я не желаю прощать французам!..“ Впрочем, все равно. Все — все равно. „Жизнь ничто, и смерть тоже ничто, — объясняет она. — Умереть, спать, видеть сны, какое это имеет значение? Не все ли равно, сегодня или завтра, у себя в постели или на прогулке. Все это обман!..“ И вдруг раздается страшный хохот*, — „un rire macabre, inouï, invraisemblable“* — это преданный адвокат на ухо ей сообщает о своем удивительном способе отсрочки: „объявите себя беременной“. — „Беременная!.. Нет, я не беременна... Что еще? Да, письма...“

Она пишет три письма: одно сановнику, другое своей дочери, третье — тому капитану. Отдает их трясущемуся адвокату и насмешливо просит не перепутать: не надо, чтобы письмо любовнику попало к девочке, и обратно.

— Больше ничего? — Quand vous voudrez, Messieurs!..⁴

У ворот тюрьмы стоят пять автомобилей. С ней во второй садятся пастор и сестры. Автомобили несутся в Венсен по пустынным улицам спящего Парижа. Это длится недолго. Второй автомобиль останавливается у столба на полигоне. По другую сторону уже стоит черный катафалк с гробом.

*Впрочем, другой очевидец, майор Массар, ни о каком хохоте не упоминает. Он вообще описывает эту сцену проще (хоть по существу приблизительно так же).

*„Зловещий, пемыслимый, невообразимый хохот“ (фр.).

⁴Как вам будет угодно, господа!.. (фр.)

В десяти метрах от столба выстроилось двенадцать солдат. Мата Хари выскакивает из автомобиля и помогает выйти сестрам. Ее привязывают к столбу. „Повязки не надо!..“ Она с улыбкой кивает головой сестрам, адвокату, доктору. Бьет барабан. Раздается залп. В нее попадает одиннадцать пуль. Двенадцатый солдат, очень молодой, свалился без чувств, — почти одновременно с нею.

Тело тотчас отвезли в анатомический театр.

Источники публикаций

„Юность Павла Строганова“. Печатается по первой публикации — книга „Юность Павла Строганова и другие характеристики“, Белград, 1935 г.

„Большая Лубянка“. Печатается по первой публикации — газета „Дни“, Париж, 27 июня 1926 г.

„Неизданные произведения Пушкина“. Печатается по первой публикации — газета „Дни“, Париж, 22 сентября 1925 г.

„Печоринский роман Толстого“. Печатается по первой публикации — газета „Последние новости“, Париж, 12, 14, 16, 19, 26 сентября 1937 г.

„Из записной книжки 1918 года“. Печатается по первой публикации — газета „Последние новости“, Париж, 12 марта 1927 г.

„Из воспоминаний секретаря одной делегации“. Печатается по первой публикации — газета „Последние новости“, Париж, 20, 26 апреля, 22 мая 1930 г.

„Графиня Ламотт“. Первая публикация — газета „Последние новости“, Париж, 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября, 1, 8 ноября 1936 г. Печатается по этому тексту с внесением в него в начале 1950-х годов авторской правкой (архив М. А. Алдапова в Российском фонде культуры).

„Ванна Марата“. Печатается по первой публикации — газета „Последние новости“, Париж, 20, 21, 26 февраля 1932 г.

„Сент-эмилонская трагедия“. Печатается по первой публикации — газета „Последние новости“, Париж, 16, 23, 30 мая, 27 июня, 4, 11 июля 1937 г.

„Фукье-Тенвиль“. Печатается по первой публикации — газета „Последние новости“, Париж, 27 марта, 3, 10, 17, 24, 30 апреля 1938 г.

„Зягетт в дни террора“. Печатается по первой публикации — газета „Последние новости“, Париж, 20, 23, 30 июля, 3 августа 1939 г.

„Молодые годы принцессы Матильды“. Первая публикация — газета „Последние новости“, Париж, 24, 31 января, 7 февраля, 7, 24 марта 1937 г. под названием „Молодость принцессы Матильды“. Печатается по этому тексту с внесением

сенной в него в начале 1950-х годов авторской правкой (архив М. А. Алданова в Российском фонде культуры).

„**Фиески**“. Первая публикация — газета „**Последние новости**“, Париж, 24,25,31 декабря 1934 г., 1 января 1935 г. Печатается по этому тексту с внесенной в него в начале 1950-х годов авторской правкой (архив М. А. Алданова в Российском фонде культуры).

„**Французская карьера Дантеса**“. Печатается по первой публикации — газета „**Последние новости**“, Париж, 10 февраля 1937 г.

„**Пьякар**“. Первая публикация — газета „**Последние новости**“, Париж, 1,8,11,15,22 апреля 1934 г. Печатается по книге „**Портреты**“ (т.2), Париж, 1936 г.

„**Убийство президента Карно**“. Печатается по первой публикации — газета „**Последние новости**“, Париж, 5,12,19,26 декабря 1937 г., 2 января 1938 г.

„**Бург**“. Печатается по первой публикации — газета „**Последние новости**“, Париж, 10,17,24,31 июля, 3 августа 1938 г.

„**Кронпринц Рудольф**“. Печатается по первой публикации — газета „**Последние новости**“, Париж, 11,13,20,25,29 сентября, 4,6,9,11 октября 1938 г.

„**Кверетаро**“. Печатается по первой публикации — газета „**Последние новости**“, Париж, 7,8,15,22,29 января, 5,12,19 февраля 1939 г.

„**Сараевское убийство**“. Печатается по первой публикации — газета „**Последние новости**“, Париж, 9,14,21,28 мая, 4,11,18,25 июня 1939 г.

„**Мольтке Младший**“. Первая публикация — газета „**Последние новости**“, Париж, 30 июня, 7,13,20 июля 1934 г. под названием „**Фон Мольтке и сражение на Марне**“. Печатается по этому тексту с внесенной в него в начале 1950-х годов авторской правкой (архив М. А. Алданова в Российском фонде культуры).

„**Мата Хари**“. Первая публикация — газета „**Последние новости**“, Париж, 10,12 июля 1932 г. Печатается по книге „**Юность Павла Строганова и другие характеристики**“, Белград, 1935 г.

При подготовке текстов очерков „**Графиня Ламотт**“, „**Молодые годы принцессы Матильды**“, „**Фиески**“, „**Мольтке Младший**“ использован материал архива М. А. Алданова в Российском фонде культуры. Редакция выражает благодарность руководству Фонда за содействие.

СОДЕРЖАНИЕ

ЮНОСТЬ ПАВЛА СТРОГАНОВА
БОЛЬШАЯ ЛУБЯНКА
НЕИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПУШКИНА
(В связи с конгрессом спиритов)
ПЕЧОРИНСКИЙ РОМАН ТОЛСТОГО
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ 1918 ГОДА (Отрывки)
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СЕКРЕТАРЯ ОДНОЙ
ДЕЛЕГАЦИИ
ГРАФИНЯ ЛАМОТТ
ВАННА МАРАТА
СЕНТ-ЭМИЛИОНСКАЯ ТРАГЕДИЯ
ЗИГЕТТ В ДНИ ТЕРРОРА
ФУКЬЕ-ТЕНВИЛЬ
МОЛОДЫЕ ГОДЫ ПРИНЦЕССЫ МАТИЛЬДЫ
ФИЕСКИ
ФРАНЦУЗСКАЯ КАРЬЕРА ДАНТЕСА
ПИКАР
УБИЙСТВО ПРЕЗИДЕНТА КАРНО
БУРГ
КРОНИНЦ РУДОЛЬФ
КВЕРЕТАРО
САРАЕВСКОЕ УБИЙСТВО
МОЛЬТКЕ МЛАДШИИ
МАТА ХАРИ

Источники публикаций

Алданов М.

- А 49 Сочинения. — В 6-ти книгах. — Кн. 2: Очерки.— М.: АО «Изд-во „Новости”», 1995.—640 с.
ISBN 5-7020-0524

Центральное место в книге занимают очерки, связанные с необыкновенными личностями и волнующими событиями XIX—XX веков. Читатель оценит своеобразный юмор Алданова, его искусство находить интереснейшие исторические документы.

А $\frac{4700000000}{067(02)-95}$ — Без объявл.

ББК 84. Р

Марк Алданов

ОЧЕРКИ

Заведующий редакцией Л. Д. Соболев

Редактор Е. И. Бонч-Бруевич

Младший редактор Н. В. Потатужева

Художественный редактор А. И. Хисиминдинов

Технический редактор Н. А. Федорова

Корректор Т. П. Поленова

Технологи В. И. Руденко, В. Ф. Егорова

ИБ № 10591

ЛР № 040676 от 28 февраля 1994 г.

Сдано в набор 10.08.93 г. Подписано в печать 19.05.94 г.

Формат издания 84x108/32. Гарнитура „Антиква“.

Усл. печ. л. 33,6. Уч.-изд. л. 35,21. Печать офсетная.

Тираж 15 000 экз. Заказ № 5403. Изд. № 8994.

**АО „Издательство «Новости»“
107082, Москва, Б.Почтовая ул., 7.**

**Отпечатано с готовых диапозитивов
на Книжной фабрике № 1 Комитета РФ по печати
144003, г. Электросталь Московской обл., ул. Тевосяна, 25.**

